БОРИС ТИХОМОЛОВ

РОМАНТИКА НЕБА

БОРИС ТИХОМОЛОВ

РОМАНТИКА НЕБА

ПОВЕСТИ

ТРУДНЫЙ ВЗЛЕТ
В НЕБО
НЕБО В ОГНЕ

ТАШКЕНТ
Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма
1985

Р 2
Т 46

Тихомолов Б.

Романтика неба: Повести. Трудный взлет. В небо. Небо в огне.— Т.: Изд-во лит. и искусства, 1985.—592 с., ил.

В повестях, объединенных общим названием «Романтика неба» и во многом автобиографичных, летчик Герой Советского Союза Борис Тихомолов рассказывает о том, как он шел от детской мечты к покорению неба. Написанная пером опытного и непосредственного участника событий, трилогия впервые в нашей литературе освещает боевой путь прославленной авиации дальнего действия.

Р 2

Т $\frac{4702010200 — 230}{М 352(04) — 85}$ Доп.— 85

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1983 г. (Повесть «Трудный взлет». Оформление).

Книга первая



Трудный взлет

Как заполучить папу и маму

Детей находят в капусте, или их приносит аист. Это уже многие из нас, живущие в приюте, знали. Пожелают, например, какие-нибудь мама с папой иметь ребеночка, и — пожалуйста! Стоит только об этом сказать, как аист тут как тут, и в клюве у него пеленка, а в пеленке мальчик или девочка, это уже кого захотят. Ну, а бывает, что аист где-нибудь был далеко и не слышал заказа, тогда папа и мама идут в огород, где растет капуста, и там ищут.

А бывает так, что поблизости и аистов нет и огородов, а торчат одни голые холмы и горы да нефтяные вышки, тогда как? Тогда и не допросишься? Нет. Аисты, которые далеко живут, все-таки слышат просьбы — принести ребеночка, но только слышат вполуха, неясно, и адреса не расслышивают, и кого принести — мальчика или девочку, тоже не знают. Тогда они несут ребеночка в приют, в дом подкидыша. Ночью, конечно, несут и кладут его в специальную корзиночку, вделанную в нишу возле подъезда. А от этой корзинки идут провода к дежурной нянечке. Няня, может быть, в это время на стуле сидит, дремлет, носом крупу клюет, но как только аист ребеночка положит, сейчас же в дежурке звонок зазвенит и няня выходит и забирает ребеночка. А потом уж за ним и приходят папа с мамой.

Все это нам рассказывала наша любимая приютская няня, тетя Глаша, старая, добрая, с большим родимым пятном на левой щеке. Она и корзиночку эту показывала, и аистов, когда они кружили в небе.

Но, наверное, мои папа и мама жили где-то далеко-далеко и не знали, что аист уже выполнил их просьбу и уже давно принес меня. Я живу год, живу два, живу три и четыре живу, а папа с мамой за мной не идут! Приходят, но не мои...

Некоторым вон как везет: только-только появятся

и осмотреться еще толком не успеют, а их уже берут! Почему их, а не меня?!

И стал я задумываться, а не случилось ли так, что мои папа и мама пришли, не заметили меня, да и взяли другого? Ведь может так быть? И мне от этих мыслей становилось не по себе. Этак я, пожалуй, и совсем останусь без папы и мамы. Надо принимать какие-то меры.

Парень я был хоть куда! Всякий, кто меня видел впервые, удивленно ахал, смеялся и говорил, к зависти моих товарищей, таких же маленьких мальчишек и девчонок: «Смотрите, какой забавный рахитик!»

В приютской прихожей, возле вешалки, было высокое зеркало. Я подолгу рассматривал себя в нем и ничего забавного не находил. Даже наоборот: я сам себе нравился. Все у меня было не так, как у других: большая лобастая голова, круглый, как арбуз, живот и ноги — колесом, да еще ступнями вовнутрь вывернутые. И то, что незнакомые дяди и тети называли меня одним и тем же именем — Рахитик, лишь подчеркивало, что я такой маленький, а уже всем известный, раз они знают, как меня звать!

Днем мы все находились в большом зале с гладким навощенным полом, с множеством окон и высокими белыми дверями, из которых только одна, выходящая в прихожую, привлекала наше внимание: через эту дверь, в сопровождении доктора, сухонького старичка с седой бородкой клинышком и с пенсне на горбатом носу, входили в зал папы и мамы. И тогда мы, увидев вошедших, на секунду замирали и затем, набрав в легкие воздуху, поднимали такой гвалт, что доктор морщился и ронял пенсне, привязанное к черному шнурку, а няня Глаша затыкала себе пальцами уши.

Каждому из нас хотелось поскорее получить папу и маму, и каждый из нас старался привлечь к себе внимание пришедших: кто принимался визжать, кто смеяться, кто плакать. Я не кричал. Работая локтями, я пробивал себе дорогу, выбегал вперед и, подперев руками бока, останавливался. Я знал: на меня обязательно посмотрят, покажут пальцем и засмеются. Но что-то, видимо, я делал не так. Посмеявшись надо мной, вновь пришедшие папа и мама смущенно отводили глаза и торопливыми взглядами искали кого-то среди шумящей детворы. У меня обрывалось сердце: «Нет, не за мной! Эти папа и мама не мои. А может быть, все-таки мои?! Может, они плохо меня разглядели?»

— Смотрите-ка, мама и папа! Смотрите!

Отчаянно взвизгнув, я кидался животом на скользящий навощенный пол и, быстро-быстро перебирая руками, принимался крутиться, как мельница. Мелькали фигурки ребят в одинаковых белых костюмчиках, мелькали окна, двери, доктор с бородкой, папа и мама...

— Хватит! — сердито говорила няня. — Уже ушли, не старайся.

И я снова ждал других пап и мам. И они приходили. Выбирали других и уходили. А я оставался. И почему меня не брали?! Ну ведь ни у кого не было такого большого и круглого живота, на котором можно так ловко крутиться. И ни у кого не было таких забавных ног! А может, я плохо старался? Может, надо выучить еще какие-нибудь фокусы? Например, стоять на голове! Перекувыркиваться на спину! Или, прищелкивая пальцами, кружиться в танце?

Сказано — сделано! Я выучился подолгу стоять на голове, перекувыркиваться на спину и танцевать, прищелкивая пальцами. Но все напрасно, только няню до слез доводил.

После одного такого представления, когда ушли очередные папа и мама, уводя с собой нового счастливца, няня Глаша, заплакав, посадила меня к себе на колени:

— Бедный ты мой, бедный черноглазик! Ну кому ты нужен такой кривоногий? Хотели мы с сыном Алешенькой взять тебя, да, видать, не судьба — упекли его в Сибирь, на каторгу. Сначала мужа потеряла, а теперь и сына... — и заплакала, вытирая слезы кончиком белой косынки.

Нас окружили дети, все в одинаковых белых платьицах, и не поймешь, кто мальчик, а кто девочка.

— Няня Глаша! Няня Глаша! А зачем ты плачешь? Не плачь, мы любим тебя!..

Всхлипнув еще разок, няня Глаша ссадила меня на пол.

— Ну что же, родненькие вы мои, вечереет уже, больше, видать, никто не придет...

И в это время дверь скрррии-ип — и открылась! Сначала как-то боком, с оглядкой вошел доктор, и тут же вслед за ним пара: высокая красивая женщина с толстой русой косой, в длинном платье до полу и в газовом шарфе, и коренастый усатый моряк. Лицо смуглое, обветренное, в руке бескозырка. Вошел и замер, прижав бескозырку к груди.

— Мать честная, сколько вас тут!

Я смотрел на женщину. Она! Это была она — моя мама! В этом я не сомневался нисколько. Изумленно-взволнованное лицо, большие, широко раскрытые глаза. Они уже искали кого-то среди бегающей, прыгающей, орущей оравы ребятишек. И, конечно же, искали меня!

Я закричал, что есть силы:

— Мама! Мама! Куда же ты смотришь? Вот он я, погляди сюда! — и подпер левой рукой бок, правую поднял над головой, щелкнул пальцами.

Наконец-то! Наконец-то она посмотрела! Растерянный взгляд ее с каким-то испугом коснулся меня. По лицу пробежала судорога.

— Мама, а я умею плясать!

И принялся кружиться и прищелкивать пальцами.

Моряк смотрел на меня с любопытством. Он высвободил руку и, сунув бескозырку под мышку, стал прихлопывать ладонями.

— А ну, парень, наддай! Ай, молодец! Шире круг!

Он присел на корточки. Женщина сердито затеребила его за плечо:

— Ну, перестань! Ну, перестань же, Ермиша!

Газовый шарф сполз с плеча, длинная русая коса свесилась до самого пола.

Я продолжал приплясывать, но женщина на меня не смотрела. Она искала кого-то другого. Меня охватило отчаяние:

— Ма-а-ма! А я умею еще и так!..

Я упал на живот и закружился быстро-быстро, как мельница.

— О-о-о! — стонал от смеха моряк. — Вот молодчина! Вот молодчина!

Мелькали лица ребят, заскорузлые ладони матроса, складки женского платья. Мелькали окна, двери, доктор в белом халате, няня Глаша...

— Ай, молодец! Ай, молодец! Ну, ладно, хватит!— Моряк поставил меня на ноги.— А что ты можешь еще?

У меня все еще кружилось перед глазами, но я увидел, как женщина, показав на кого-то пальцем, что-то сказала доктору. Няня поднесла дрожащую руку ко рту.

— А я еще умею вот это!

Я кувыркнулся через голову на пол. Вскочил, опять кувыркнулся.

— Чудо! Чудо! — сказал, выпрямляясь, моряк и решительным движением надел на голову бескозырку.— Доктор, мы его берем!

Женщина всплеснула руками:

— Ермиша, что ты?!

Лицо моряка стало суровым.

— Доктор, мы его берем! — жестко повторил он.

Женщина в смятении кинула взгляд на притихших детей. Доктор сухо кашлянул, дрожащими пальцами поправил пенсне:

— Мадам, вы, кажется, хотели взять мальчика?

Женщина резко повернулась.

— Да, а что?

— Но ребенок, которого вы мне показали,—девочка!

Женщина смутилась:

— Разве?!

— Да. А этот вот — мальчик. И хороший мальчик. Возьмите его, жалеть не будете.

Доктор соврал, я это знал точно! Женщина выбрала Левку! У него курчавые светлые волосы и большие голубые глаза с длинными ресницами. Он только что появился в приюте, а его уже выбрали! Но зачем доктор сказал неправду?!

— Мама! — тихо сказал я. — А я умею стоять на одной ноге. Смотри!

Моряк шумно вздохнул и взял меня за руку.

— Кхм! Хорош парень, а, как ты думаешь, мать?

Женщина растерянно металась взглядом то на курчавого Левку, то на мои ноги колесом, и вид у нее был такой, будто она расставалась с дорогой, понравившейся ей игрушкой.

— Хорош, говорю, парень-то?! — переспросил моряк, и в голосе его прозвучало нетерпение.

— Да, да, — сказала женщина, кусая губы.

Моряк наклонился ко мне:

— Как тебя звать-то, сынок?

— Рахитик!—звонко ответил я.—Меня зовут Рахитик.

У женщины брызнули слезы из глаз.

Хочу стать летчиком

И стал я жить в новом доме. Дом-то, собственно, был не новый — старый, деревянный, двухэтажный, с крутыми лестницами. Стоял он на обрыве, возле самого моря. Сверху, если выйти за ворота, открывался широкий вид, слева были два пирса с ошвартованными возле них пароходами, дальше виднелись выкрашенные суриком

корпуса судов, стоявших на стапелях, подъемные краны, и за ними черным частоколом торчали нефтяные вышки. Горячий ветер приносил оттуда вместе с острым запахом смолы и краски свистки паровых лебедок и звонкие выкрики: «Вира!», «Майна!» А прямо внизу, под кручей, была песчаная коса и на ней приземистые строения с округлыми крышами — ангары. В них стояли гидропланы.

Каждое утро проходили мимо нашего дома на работу летчики и техники. Они спускались по крутой тропинке вниз, раздвигали визжавшие створы ангаров, выкатывали из них гидросамолеты и по деревянному настилу осторожно спускали их на воду.

Я знал распорядок работы летчиков до мельчайших подробностей. Сейчас вот двое в кожаных штанах и куртках, опоясанных ремнями, наденут на головы громадные пробковые шлемы с очками и заберутся в кабины, обтянутые со всех сторон растяжками из проволоки. Двое других встанут на качающийся на воде корпус гидроплана и начнут крутить пропеллер. Потом громкий выкрик: «Контакт!» — «Есть контакт!» Синий дымок, хлопок, другой, и, пугая чаек, раздается звонкий треск мотора. Рябит вода от воздушных струй, дрожит аэроплан. А у меня сердце замирает от восторга: до чего же здорово!

И вот гидроплан начинает двигаться. Все быстрее, быстрее. Скользит по воде, оставляя за собой пенистый след, потом отрывается, набирая высоту, становится меньше и меньше, превращается в точку и растворяется в небесной сини.

Я сижу верхом на глыбе песчаника, выпирающего из земли у края обрыва. Его шершавые бока еще хранят тепло вчерашнего знойного дня. В самое сердце западают мне вскрики чаек, синее море, голубое небо с резко очерченным горизонтом и этот вот рокот моторов. Возвращались гидропланы с другой стороны. Они внезапно выныривали из-за опаленных солнцем голых холмов и, нагоняя жуть, с шумом проносились над крышей нашего дома. Я вдавливал голову в плечи и замирал, а гидроплан, снизившись к воде, уже плавно опускался на морскую рябь и, взметывая в воздух радужные брызги, подруливал к берегу. Было в этом что-то чарующее, волшебное, непостижимое.

К вечеру я опять сидел на своем камне, ожидал, когда, возвращаясь домой, пройдут по тропинке летчики,

веселые, красивые, в голубых, как небо, френчах. На стройных ногах — желтые кожаные краги.

Я смотрел на летчиков с благоговением и всякий раз, проводив их взглядом, ощущал в своей душе какое-то неотразимое назревающее чувство. Да, да, конечно! А почему бы и нет?! Я хотел быть... летчиком! Вот только ноги мои меня смущали.

Конечно же, о своем решении я рассказал товарищам. Но меня подняли на смех. Предводитель мальчишек двора, долговязый и худой как вобла Котька Конопатый, подлетел ко мне, гыгыкнул и, привычным жестом прихлопнув свой огненный вихор, торчащий на макушке, насмешливо уставился на мои ноги. Пацаны, предвкушая потеху, окружили меня полукругом.

— Гы-ы! — сказал Котька и шмыгнул носом. — Летчиком, значит, хочешь быть! С такими колесами?!

Ребята покатились со смеху.

А я посмотрел на свои ступни, развернутые внутрь. Конечно, с такими ногами... Но ведь их можно, наверное, выправить?

Словно уловив мои мысли, Конопатый шмыгнул носом и, подмигнув пацанам, сказал:

— Слушай, Борька, давай я их тебе выправлю, а?

У меня всколыхнулась надежда.

— А можешь?

— А как же! — солидно сказал Котька. — Я все могу!

— Ну, тогда давай, — робко согласился я.

Пацаны сгрудились вокруг. Котька, ухмыляясь, засучил рукава.

— Садись крепче! Держись! Давай лапу.

Я вцепился руками в шершавые бока песчаника и протянул ему правую ногу.

— Ну, держишься? — спросил Конопатый.

— Держусь, — сказал я сквозь зубы.

Котька деловито оглянулся, хмыкнул и, подмигнув пацанам, сильно крутнул мне ступню. Острая боль пронзила меня. Я заорал благим матом. Кто-то крикнул из двора со второго этажа:

— Что вы над мальчишкой издеваетесь, мерзавцы?!

Пацанов как ветром сдуло: дробный топот босых ног, только пыль взвихрилась. А я сидел и плакал, не столько от боли, а сколько от разбитой надежды: и ничего-то он вовсе не выправил, этот Котька Конопатый. Ступня как была, так и осталась — носком вовнутрь.

Мать позвала меня обедать. Я послушно встал и — ковыль-ковыль, загребая вывернутыми ступнями дорожную пыль, поплелся домой.

Во дворе мальчишки играли в чижика.

— А, Рахитик! — закричала они. — Покрутись на пузе!

«Погодите, погодите! — злорадно подумал я. — Вот буду летчиком, тогда позавидуете!»

У нас зеркально натертый пол, и я, по заведенному порядку, прежде чем войти в прихожую, сапожной щеткой счищаю пыль с ботинок.

Мать внимательно следит за мной:

— Не спеши, не спеши! Вот тут сотри! И вот тут. А теперь разувайся. Не бросай ботинки! Поставь их на место. Рядом. Аккуратней. Теперь иди мыть руки.

Я начинаю злиться. Скоро летчики, закончив полеты, пойдут мимо нашего дома, а мне их так надо видеть!

Спеша, два-три раза звонко тренькаю соском умывальника и тут же вытираю смоченные руки полотенцем. На чистом полотнище остаются грязные следы от пальцев. Мать укоризненно вздыхает и, крепко сжав пальцами мои плечи, возвращает меня к умывальнику.

— С мылом! — командует она. — Как следует!

У нас с ней полуофициальные отношения. Мать сухо, без ласки приказывает, а я молча выполняю. Она не кричит на меня, не дерется, но и не занимается со мной. Видимо, не может простить мне Левку, которого взяли другие папа и мама, что живут через улицу от нас.

Я торопливо ем, роняя крошки на пол. Мать морщится:

— Куда торопишься?! Еще раз уронишь — заставлю все подобрать!

И я тотчас же роняю. Молчаливая дуэль взглядов. Я кладу ложку, сползаю со стула и собираю крошки. Все до единой. И странное дело — я не обижаюсь на мать. Теперь я знаю — спешить нельзя. «Поспешишь — людей насмешишь», — так любит говорить отец, которого сейчас нет дома. Мать говорит, что он в плавании, а ребята во дворе утверждают, что в тюрьме. Сидит за какие-то листовки. Я не знаю, что такое «листовки», но по уважительному тону ребят догадываюсь, что это — дело хорошее.

Я доедаю котлету, а мысли мои вьются вокруг решения стать летчиком. Опыт с ногами не вышел, конеч-

но же, по моей вине. Если бы я вытерпел и не заорал бы, то ноги мои были бы сейчас прямые. Что ж, наверное, придется как-то самому.

Мать ставит передо мной стакан с компотом. Пока я выцеживаю кисло-сладкую жидкость, во мне созревает решение: «Вот завтра как встану, так и буду ходить и выпрямлять ступни. Пусть больно будет, пусть, я все равно буду их выпрямлять!»

И утром, действительно, как только встал, сразу же вспомнил про свое решение. Попробовал вывернуть ступни как надо — получилось! Но едва ослабил мышцы — ноги сразу же вернулись в прежнее положение, носками вовнутрь. Но решение принято! Что-то во мне утвердилось. Видно, пришлась по вкусу моя первая победа, добытая трудом.

Вышел во двор, старательно выворачивая ступни, и меня тут же подняли на смех:

— Ха! Летчик вышел! Летчик! Смотрите-ка, как чикиляет!

Обидно, конечно, очень. Но если отказаться от этой затеи, так, значит, и летчиком не быть?! А дразнят — пусть! Отец говорил: «Не обращай внимания, подразнят и перестанут!» Так оно и было. Уже к обеду никто из ребят и не обращал внимания на мою странную походку. А я хожу. Больно, но хожу. День хожу, два хожу, неделю, месяц! Я уже привык к постоянной боли в коленках и щиколотках, и без нее мне уже было как-то непривычно и тревожно. И как-то незаметно я добился результатов, да еще каких! Если раньше ступни мои смотрели носками вовнутрь, то теперь — в стороны!

Мне пришло в голову, что можно погордиться собой. А ведь мог бы! После того, как я заполучил папу и маму, это была моя вторая победа.

Я занял свою позицию на камне и стал ждать, когда пойдут с полетов летчики.

И вот они идут. Я слышу их голоса. Ближе, ближе. Среди них был доктор, белокурый весельчак, по всей видимости, любимец летчиков, потому что только и слышно было: «Доктор, а это вот как? А это?» Доктор отвечал, и летчики смеялись.

Наконец вот они — появляются! Они проходят мимо меня, слегка запыхавшись от подъема в гору. Проходят, как всегда, занятые разговором, не обращая на меня внимания. Они привыкли к камню и ко мне, потому что я всегда был таким же безмолвным, как и глыба, на

которой сидел. А тут вдруг без всякого вступления сказал:

— А я могу и вот так! — И вывернул обе ступни в наружные стороны.

Доктор тотчас же остановился.

— А ну-ка, ну-ка?!

Летчики окружили меня.

— Ох, ты-ы! Вот это да-а-а!

Доктор присел передо мной на корточки.

— Это что — ты сам? — спросил он, пощупав пальцами мои лодыжки.

— Сам! — сказал я и покрутил ступнями в разные стороны.

Летчики рассмеялись.

— Молодец, молодец! — сказал доктор и, поднявшись, весело посмотрел на меня. — Ну, а кем же ты хочешь быть?

— Летчиком! — ответил я. — Я хочу быть летчиком!

Все снова рассмеялись, будто я сказал что-то несуразное.

— Гм! Летчиком, значит? — проговорил доктор. — Ну, а... читать-то ты умеешь по крайней мере?

Читать я не умел, даже по крайней мере. А как этому научиться, если мать неграмотная, а отец, у которого большая библиотека и много разных журналов с картинками, опять сидит в тюрьме за какие-то «прокламации» и за какой-то «стачечный комитет»?

Я опустил голову и тихо промямлил:

— Не-е-ет, читать я не умею...

— Ну вот! — сказал доктор. — Сначала научись читать, овладей грамотой, а только пото-о-ом. Понял?

— Понял, — чуть не плача, сказал я.

И летчики ушли. А я стал думать, как бы мне научиться читать.

На всякое хотенье имей терпенье

Мы с матерью ездили каждый день на конке в город, за покупками. Бородатый кучер с длинным кнутовищем, четверка лошадей, небольшой вагончик. Кривые улицы с крутыми подъемами и спусками. Лошади цокали подковами по булыжной мостовой, визжали колеса на поворотах. Кучер то и дело кричал: «Но-о-о!» — и звонил в колокол: блям-блям-блям-блям! Кондуктор, гремя ме-

лочью, встряхивал сумкой и скучным голосом выговаривал: «Билеты! Билеты!»

Мать сажала меня на скамью возле окна, и я во все глаза смотрел на вывески разных лавчонок, магазинов, мастерских. Мимо проплывали нарисованные пиджаки и брюки, штиблеты и сапоги, бублики и булки, чуреки и лаваши. А под ними, выстроенные в ряд, какие-то знаки. Я уже знал, что это буквы. Но какие?

Больше всего меня привлекала вывеска булочной. На ней была нарисована пышная булка и буквы, отчетливые, видны издалека. Проезжая мимо, я твердил: «Булка. Бул-ка! Бу-лоч-ная...» А ведь эта вот буква, которая впереди, наверное «б». А которая рядом, наверное, «у». Бу! А это вот — чуречная. Чу-рек! «Чу», «у»...

И я уже находил знакомые буквы на других вывесках. Эта вон «р-р-р», а эта «с», а эта «з-з-з»...

Я изучил все вывески и все буквы на них и питал к ним дружеские чувства. И дома, листая журналы, тоже находил своих друзей. Я бежал с журналом к матери:

— Мама! Мама! Смотри-ка, вот эта буква «бе-е-е», а эта — «а-а-а».

Мать равнодушно отвечала:

— Ладно, ладно, иди играй.

А мне так хотелось узнать, что написано под картинками. Но сложить буквы так, чтобы получилось слово, я не мог.

Однажды мы поехали с матерью на конке в другую часть города. Здесь не было ни лавочек, ни мастерских и не было вывесок, и мне стало скучно. Лишь одно здание привлекло меня: высокие круглые колонны уходили под самое небо, и там, наверху, большими золотыми буквами было выложено какое-то короткое слово. Я тотчас же принялся шептать: «Б... б... ба... н... ка!» И меня озарило! Я сорвался со скамьи и, надрывая связки, закричал:

— Ма-ма! Ма-а-ма!

Кучер с перепугу резко осадил лошадей:

— Тпрру! Стой! Что вы там, мальчонку прищемили?!

— Мама! Мама! — диким голосом кричал я, высунувшись из окна. — Смотри-ка: банка!

Пассажиры дружно рассмеялись. Кучер сердито сплюнул на мостовую:

— Тьфу ты! Оглашенный какой! Напужал до смерти...

Конечно, это была не банка, а слово «банк» с твер-

дым знаком на конце, который я игнорировал, потому что не знал его назначения.

И открытие свершилось! Я изнывал от нетерпения — скорее возвратиться домой, полистать отцовские журналы с картинками, под которыми было что-то написано, и мне так хотелось узнать — что?

Но дома меня ждало разочарование. С большим трудом мне удалось сложить два или три коротких слова. Зато на следующий день дело пошло на лад. Я не вышел во двор. Я ползал по полу среди разложенных и раскрытых журналов и складывал, складывал, складывал. И открывал! Это было волшебство! Это было таинство!

Через короткое время я довольно бойко читал. И у меня появились книжки. Соседка тетя Соня, очень тихая и почему-то вечно зябнувшая, застав меня за чтением, всплеснула руками:

— Это ты сам?!

— Сам! — не без гордости ответил я.

— Ну, молодец! Умница. — И принесла мне книжку и сказала: — Тут вот про тебя написано.

Я нисколько не удивился, потому что привык быть знаменитостью: ведь про меня знали все и во дворе, и в городе, повторяя мое имя — Рахитик, хотя дома меня почему-то звали Борисом.

В книжке я прочитал:

Я умница-разумница,
Про то знает вся улица:
Петух да Курица.
Кот да Кошка
И я немножко.

В этом стихотворении мне почудился какой-то подвох, и я пытливо уставился на тетю Соню. Ее большие грустные глаза с густыми ресницами искрились лукавством.

— Ну как, понравилось? — спросила она, зябко поведя плечами под шерстяной шалью.

— Понравилось, — ответил я, чтобы сделать ей приятное.

— Ну, тогда вот прочитай еще одну книжку, — и подала мне толстый том волшебных сказок Андерсена.

И с тех пор меня редко видели во дворе. Я сделался «книжным червем», так сказала тетя Соня, иногда силком выгоняя меня на улицу «подышать свежим воздухом».

Я читал все подряд — что понимал, чего не понимал. Меня увлекал сам процесс чтения. Я катился по книжным строчкам в какой-то совсем другой мир, мало похожий или даже совсем непохожий на тот, в котором находился сам. Я плавал по морям и океанам, стрелял из лука, скакал на лошади и спасал прекрасных царевен от чар злых колдунов.

Тетя Соня учила меня писать. У нее был красивый, ровный почерк, и она терпеливо внушала мне, что писать неразборчиво и грязно — невежливо. И я старался вовсю быть вежливым. И еще она заставляла меня рассказывать прочитанное. Я заикался, спотыкался, она меня поправляла и очень сердилась, когда я, торопясь, невнятно выговаривал слова.

А потом город захлестнулся полотнами знамен, демонстрациями и громовыми, как весенняя гроза, раскатами песен: «Вставай, проклятьем заклейменный!», «Отречемся от старого ми-ира!..»

Отец, вернувшись из тюрьмы, сразу же уплыл на пароходе возить снаряды на фронт красногвардейцам, а я стал играть в самолеты, на которых рисовал красным карандашом пятиконечные звезды, и в воздушных боях всегда падал на землю самолет белых.

Времена наступили беспокойные. По вечерам мать, тяжело вздыхая, запирала на засовы дверь и засветло укладывала меня спать. По ночам нас часто будили хлопающие за окном выстрелы и дробный топот ног. А когда потеплело и у подножья серых домов стала пробиваться зелень весенней травы, по улицам загремели винтовочные выстрелы и стали слышны крики и стоны раненых.

Три дня в городе шли ожесточенные бои. Прибегающие к нам соседки, беспокоясь за своих мужей, с плачем проклинали каких-то дашнаков, меньшевиков и эсеров...

От отца из Астрахани пришло письмо. Нам принес его знакомый матрос, Рябов. Я прочитал письмо матери. Выходило, что нам нужно было, бросив все, пробираться к отцу. А как?

Рябов посоветовал:

— Сейчас стоит у причала пароход, он отплывает в Астрахань, так что не мешкайте. Собирайтесь, я вас посажу.

Мать, охнув, всплеснула руками, жалостливым взо-

ром окинула комнату: комод, кровать с пирамидой подушек, отцовскую библиотеку, вешалку с одеждой.

— Все?.. Все бросать?.. О! О-ох!

Бестолково засуетившись, принялась увязывать узел.

И вот мы бежим по мокрым от дождя тротуарам. Под ногами скрипит стекло, лужи окрашены кровью, стены домов тоже — в буро-красных пятнах.

Шторм бил брызгами в окна портовых зданий. Налетевший дождь шквалом пробегал по улицам, бешено колотил по железным крышам и, прибив к мостовой клочки бумаги, с шумом уносился в море.

Обшарпанный, с вмятиной на правой скуле старый пароход разводил пары, судорожно вздрагивая, скрипел бортом о причалы. У трапа шумела толпа с чемоданами, с узлами. Люди растерянно и с надеждой смотрели на прыгающее судно, опасливо оглядывались на город и, вздрагивая от одиноких пушечных выстрелов, решительней напирали на узкие сходни.

В город входили турки.

Рябов повел нас стороной туда, где у затонувшего рядом с пирсом парохода прыгала на волнах двухвесельная шлюпка.

У матери затряслись губы:

— А как же мы сядем-то?

— Сядем, — хмуро сказал Рябов. — Нужда заставит — сядем. Турки-то... вон они — уже на Баилове. Возьмите узел, потом мне бросите и мальчонку подадите.

Сели с горем пополам, едва не опрокинув тузик.

К пароходу подошли с левого борта. Рябов, тарабаня веслами, разбойно свистнул, и два матроса, перевесившись через борт, сбросили веревочный трап. Рябов что-то крикнул им, и прямо в тузик упало большое брезентовое ведро на длинной веревке. Рябов схватил его и строго крикнул мне:

— Садись!

Я забрался в ведро.

— Глубже, глубже садись! Держись крепче! — и взмахнул рукой: — Вира!

И я взметнулся в небо.

Палуба забита людьми. Матросы, шагая по узлам и чемоданам, а то и через головы сидящих, повели нас на корму.

В воздухе что-то завыло, засвистело, и недалеко от парохода, глухо ухнув, встали три водяных столба, а

потом приглушенно хлопнули где-то в горах пушечные выстрелы. И опять засвистело...

Кто-то крикнул дико:

— Руби шварто-овы!..

Пароход засипел тоненьким голоском и вдруг, прочистив горло, рявкнул густым дрожащим басом. Зашаталась палуба, зашумели под ногами машины, и под страшные вопли толпы судно отпрянуло от пристани.

Комнатная ракета

Мы много ездили по голодающей России: Саратов, Астрахань, Самара. Даже в Киеве побывали! Все кругом разрушено, разбито. Заводы стоят, работы нет. Плохо. Чуть с голоду не умерли.

И вот мы в Ташкенте. Здесь как-то все по-другому. Сказочно. Высокие горы. До неба. Снежные макушки. Горы близко, кажется — рукой подать, а говорят, до них девяносто верст. Не верится. Да вот же они — рядышком совсем! Во-о-он, за теми деревьями.

Ташкент — город хороший, как сад — весь в деревьях. Кругом виноградники. А за городом — поля, водой покрыты: рис растет. Занятно!

Узбеки добрые, незлобивые. Мне легко дался их язык. «Салам алейкум, уртак!» — «Здравствуйте, товарищ!» Или: «Сыз кайда барасыз?» — «Вы куда идете?» — «Мэн базарга бараман» — «Я иду на базар».

Нам повезло: не сразу, конечно, месяцев через несколько, отец нашел работу при больничной электростанции, стал дизель-механиком, а я пошел в школу, до которой ой как далеко было добираться: жили мы на окраине города, а школа была почти в центре, на улице Гоголя. Школа номер пять имени «Коминтерна».

В школе пожилой, невысокого роста муаллим с седоватой острой бородкой преподает нам узбекский язык: чтение, произношение, письмо. Пишем по-арабски — справа налево. Я благоговею перед вязью арабского шрифта и очень усердно его вывожу. И произносить узбекские слова стараюсь правильно. Учитель любит меня и в классном журнале перед моей фамилией ставит высшие оценки: «Джуда якши!» — «Очень хорошо!»

Я и мой дружок Романов Иван, тоже недавно приехавший из России, жадно знакомимся с городом. Нам все в нем нравилось: и высокие тополя, стоящие вдоль улиц, и журчащие арыки, и вечерняя поливка улиц. За-

черпнет узбек ведром воду из арыка и ловко-ловко, пригоршней, брызжет воду на тротуар. И воздух сразу же наполняется пряным запахом прибитой пыли и благодатной прохладой. А в карагачах висят прикрытые платками клетки с перепелками, и оттуда раздается: «Пить-полоть! Пить-полоть!»

А базары какие! Горы дынь, и арбузов, и всяческих фруктов, которых мы сроду никогда и не видели. А виноград! Тяжелые кисти уложены высоко в плоские круглые корзины, и узбеки ловко носят эти корзины на голове. А арбы с громадными скрипучими колесами! Сидит узбек верхом на лошади, ноги на оглоблях. Едет среди базарной толчеи, кричит: «По-ошт! По-ошт! По-ошт!», а в арбе — женщины в халате с паранджой.

На центральной улице, укрытой тополями,— универсальный магазин, затем книжный, мы там тетрадки покупали, и рядом — небольшой, но такой интересный для нас магазин с привлекательной вывеской: на зеленом поле оранжевый заяц, надув щеки, изо всех сил дудел в трубу, из которой вместо звуков вылетали слова: «Детский мир».

Вот уже третий месяц, как мы ежедневно, возвращаясь из школы домой, заходим сюда, чтобы поглазеть на игрушки. Мы изучили их все наизусть, знали, где какая лежит, назначение и цену, и мы уже порядком надоели хозяину.

Хозяин, высокий горбоносый персиянин, проводив покупательницу, сладко потянулся и вопросительно посмотрел на нас с Ванюшкой, вот уже больше часа отиравшихся у прилавка.

— Ну, чиво нада? — спросил он и моргнул большими добродушными глазами. — Дэнга иест? Нэт дэнга?! Иды!..

Ванюшка, как бы не расслышав вопроса продавца, дернул меня за рукав:

— Погляди-ка, что это там такое?

Я посмотрел по направлению вымазанного чернилами пальца и удивленно выпучил глаза. На полке в углу стояла толстая связка каких-то странных, ярко раскрашенных картонных трубочек с камышинками.

Вкрадчиво спрашиваю:

— Дядя Ахмед, что это такое?

Ахмед покосился на полку, снова зевнул и, махнув рукой с длинными волосатыми пальцами, лениво сказал:

—А! Иды! Дэнга нэт, вси равна нэ купышь!

У меня были деньги, но они предназначались для покупки тетрадей. Два тяжелых медных пятака, ежесекундно напоминая о своем присутствии, приятно оттягивали карман.

Новые игрушки очаровали меня и, по всей видимости, были недорогие. «Куплю!» — решил я и потряс карманом.

— Есть деньги! Сколько стоит?

— Пить капэк! — ответил Ахмет.— Возмешь? Сколько дать?

— Д-две! — нетвердо сказал я, соображая, что если дома мать проверит, купил ли я тетради, будет мне на орехи под Новый год.

Ахмет взобрался с ногами на скамью и вытянул из толстой связки камышинок две трубочки.

— Дэржи! — сказал он.— Ха-арошний сурпрыз в Новый год устроишь.

Я положил на прилавок пятаки и жадно схватил покупку.

— А что это, дядя Ахмет? — спросил я, рассматривая аккуратно завальцованные с обеих сторон, ярко раскрашенные трубочки.

Ахмет, не торопясь, подобрал пятаки, швырнул их в ящик и, в третий раз зевнув, сказал:

— Комнатный ракэт. Панымайшь? Пустой путылка вазмэшь, здес спичкой футулок зажгешь... патом узнайш, что будэт.

— Комнатный, говоришь? — озадаченно спросил я.— В комнате пускать?

— Комнатный! — замотал головой Ахмет. — Новый год пустышь, папа с мамой радоваться будут. Иды!

Декабрь старого, 1925 года, как бы жалея об утраченной молодости, долго сыпал дождем на серые деревья, на глинистое месиво дорог, на грядки огородов с торчавшими капустными кочерыжками, а в канун Нового года вдруг расщедрился и повалил густыми хлопьями снега. К вечеру все вокруг стало по-праздничному чисто и нарядно.

Я прибежал со двора, вспомнил про свои ракеты и, дождавшись, когда мать вышла из комнаты, полез за ними под кровать. Ракеты лежали в небольшом фанерном ящичке среди многих, очень нужных мне вещей: обломков велосипедных спиц, старых граммофонных пластинок, гаечек и болтиков.

Вынув камышинки с картонными трубочками, я лю-

бовно вытер с них пыль и стал рассматривать место, где поджигать, но, услышав чьи-то шаги за дверью, проворно сунул ракеты под одеяло. Тревога оказалась напрасной: на пороге стоял Ванюшка, причесанный и умытый.

Новый год встречали вместе. Мы сидели на корточках перед ящиком, поставленным в углу, пили по очереди из бутылки лимонад и закусывали пирожками с капустой.

За столом у взрослых было шумно. Все говорили разом, стараясь перекричать друг друга, спорили о чем-то, курили. О приближении Нового года мы узнали по звону стаканов и по дружным восклицаниям взрослых:

— Давайте, давайте готовиться! Новый год подходит!

Я выхватил из-за пазухи приготовленные для этого случая ракеты, взял пустую бутылку из-под лимонада, поставил ее возле стены и опустил в горлышко камышинку.

— Как, обе сразу пустим или по одной? — зашептал Ванюшка.— Давай сразу, а? Вот здорово будет, а?

— Нет,— сказал я.— Сразу обе — жирно будет. Мы по одной. Ну, давай объявлять.

Мы взялись за руки, встали лицом к пирующим и только хотели объявить о предстоящем «гвозде программы», как гости разом поднялись, зазвенели стаканами, закричали:

— С Новым годом! С новым счастьем! Урр-р-а-а!..

Ванюшка безнадежно махнул рукой:

— Пустое дело! Не слышат. Валяй так.

Я опустился перед бутылкой на колени, вынул коробок из кармана, чиркнул спичкой. Тонкий серый фитилек, похожий на мышиный хвостик, загорелся сразу. Шипя и разбрызгивая мелкие искры, он быстро укорачивался. Вот огонек, мелькнув в последний раз, скрылся внутри картонной трубочки. Я инстинктивно попятился назад. «Что-то будет?!» — мелькнуло у меня, и в ту же секунду трубка сердито зашипела, пыхнула дымом и...

Вжжжахх!!.

Огненный смерч с треском ударился в потолок, ураганом пронесся вдоль комнаты, стукнулся в противоположную стену, отскочил к полу, промчался в обратный конец, упал рядом с бутылкой, взлетел вверх...

Вжжж! Вжжж! Вжжж! Вжжж!

Гости замерли в ужасе. Кто-то завизжал, кто-то полез под стол.

От мечущегося по комнате огненного колеса у меня зарябило в глазах.

Вжжж! Вжжж! Вжжж! Б-бахх!

Ослепительно ярко, с громким треском лопнула ракета под самым потолком. К моим ногам шлепнулась разорванная пополам картонная трубка с камышинкой.

Наступила мертвая тишина. Сквозь сизую пелену густого вонючего дыма едва просматривались перекошенные от страха лица гостей. Но мне виделось только одно: в дальнем углу из-за стола угрожающе поднималась коренастая фигура отца с всклокоченной бородой. Глаза его были жутко сердитые, а дрожащие руки уже нащупывали пряжку ремня. Я охнул и пулей вылетел за дверь.

Очнулся на улице, у сугроба, преградившего путь. Сердце бешено колотилось. От дурного предчувствия щемило под ложечкой: «Вот влетит теперь от отца ни за что ни про что!»

Скрипнув, хлопнула калитка. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной стоял Ванюшка.

— Эх, вот это здорово! — прошептал он.— Как она трахнула, а! Где у тебя вторая, а? Давай пустим!

Вторая ракета была зажата у меня в кулаке, спички тоже. Словно во сне, воткнул камышинку в сугроб, чиркнул спичкой, почти не глядя, поднес огонек к фитильку.

Вжжж-жжахх!

Хвостатой кометой стрельнул в небо огненный смерч.

Вжжж-жжж!.. Б-ббахх!!

Высоко-высоко, под самыми звездами лопнула и рассыпалась золотыми брызгами ракета. Мы стояли, раскрыв от изумления рты, и смотрели, как в воздухе медленно таяли огоньки.

— Вот это «ко-омнатная ракета»! — удивленно проговорил Ванюшка.— Выходит, надул нас Ахметка, а?!.

Трудна дорога к авиации

Мы в Ташкенте уже старожилы. Обжились совсем, привыкли, как будто тут и жили все время. Я уже взрослый парень, комсомолец, и мне семнадцать лет. Хожу в школу, но неохотно. Мне все кажется, что зря теряю время. Донимают мысли: кончу школу, куда пойду? Учиться дальше или — на производство? Слесарем, например, или электриком, как мой отец?

У меня затаенное желание — быть летчиком, но уж очень это казалось мне мечтой недосягаемой. А потом, на летчика учиться — надо крепким быть, сильным, физически развитым. А я дохлый какой-то: чуть что — простудился! Гланды распухли. Под носом мокреть. Но все

равно хочется! Только чувствую, сознаю: чтобы добиться этого, надо преодолеть какие-то трудности, навыки приобрести, получить уверенность в себе. А что? Как? Где? Не имею понятия...

Ну, для начала, скажем, нужно взяться за себя. Делать гимнастику по утрам, обтираться холодной водой. Впрочем, это я уже пробовал. Ненадолго меня хватало, дней на пять, не больше. Потом находились всякие предлоги, и упражнения отменялись. Стыдно мне было признаться самому себе, что мне попросту не хватало силы воли. А где ее взять, эту волю-то, как развить?

Я уже читал где-то, что в каждом человеке сидит Лодырь. И если этому Лодырю дать волю, то ой-ой-ой что будет! Значит, надо его ломать?! А ломать, это значит — применять насилие? А насилие всегда приносит боль. А Лодырь-то, это ведь ты сам! Значит, и боль нужно причинять самому себе! И выходит, чтобы сделать себе хорошо, нужно сначала для этого сделать себе... плохо?! Так ведь получается!..

И еще, у Лодыря есть помощник — Ловчила. Он всегда что-нибудь придумает, чтобы Лодырю жилось спокойно. Вот за этого Ловчилу и надо браться!

Но Ловчила и есть Ловчила, он неясный, неопределенный и скользкий, как налим. В обращении с ним надо суметь поставить себя так, чтобы твое желание — достигнуть поставленной цели — было превыше всего.

Дома у меня с матерью конфликты. Она считает, что я уже взрослый и мне пора «зарабатывать себе на хлеб». Чуть что — ворчит: «Вымахал вон уже какая дубина, а все книжечки читаешь да на шее родительской сидишь. Работать надо!»

Отец эту мысль преподносил по-другому: «Учись, сынок, учись прилежно. И пока ты молод, старайся трудностей не избегать: берись за всякую работу, за самую тяжелую. Потом тебе легче будет. И помни — только труд делает человека человеком».

Я очень уважал отца, и его слова крепко запали мне в душу. А потом — ведь я хотел быть летчиком! А летчик должен быть крепким, сильным, выносливым. Выходит, все-таки мать права — надо работать!

Иду из школы домой. А сам думаю, думаю. Где-то рядом, минуя меня, бьет большая жизнь. В Старом городе начали строить какой-то завод. Может, туда пойти? Далеко. Двумя трамваями добираться. Может, пойти на кир-

пичный завод? Нет, это не то. А что же? И сам не пойму, чего я хочу?

Надо мною что-то захлопало от ветра. Поднимаю голову и вижу: через улицу лозунг на красной материи: «Комсомол — на стройку!» Больше всего меня поразил восклицательный знак — требовательный, боевой. Я остановился, пораженный: вот он — ответ на мой вопрос! Вчера этого транспаранта не было, сегодня он появился, значит...

Я стоял, мучительно раздумывая: «Сейчас вот, если увильну от трудностей, спасую, значит, Лодырь победил! К черту!»

И я решительно свернул направо, к свежесколоченному бараку. Ага, вот и табличка: «Пункт приема на работу».

Толкаю дверь, вхожу. Сидит парень в косоворотке, белокурый, крепкого сложения, вздернутый нос облупился от солнца. Ладони шершавые, грубые, а глаза веселые, словно незабудки или васильки, и у меня от них прибавилось решимости.

— Здесь принимают на работу?

— Здесь, — улыбается. — Комсомолец?

— Комсомолец.

Раскрывает амбарную книгу.

— Хорошо. Как фамилия? Имя? Отчество? — Записал, сказал деловито: — К Сергею Одинцову пойдешь, к землекопам. — И, склонив голову набок, критически меня осмотрел. — Дохлый ты какой-то, не выдюжишь, пожалуй.

Я оскорбился, выпятив грудь:

— Ничего не дохлый, выдюжу!

— Ну-ну, ладно, это я так. Вот тебе записка. Завтра на складе получишь спецовку. Ясно?

— Ясно.

— Двигай.

Дома я не сказал, что бросил школу. Потом, как-нибудь...

Утром получил спецовку: рабочие ботинки, брезентовую куртку со штанами, рукавицы. Все новенькое, хрустящее, с кисловато-пряным запахом. Тут же облачился. Шагаю гордо: я — рабочий! Теперь и мой труд вольется в стройку, и на этом вот пустыре поднимутся стены сельмашзавода. А сейчас здесь пока только голое место: опаленные солнцем холмы, старые глинобитные заборы — дувалы, полуразрушенные кибитки с плоскими

земляными крышами, арыки с журчащей водой да обломанные колесами телег кусты виноградника. Все это надо снести, выровнять, выкопать траншеи для фундаментов стен...

В пыльном жарком мареве осеннего утра уже маячили обнаженные, загорелые до черноты спины землекопов. Слышался стук лопат и кетменей, скрип тачечных колес, выкрики.

Разыскал Одинцова. Он подошел, широкий, круглолицый, пышущий силой, поскреб ногтями под расстегнутой рубахой, окинул меня оценивающим взглядом и, добродушно ухмыльнувшись, пробасил, нажимая на «о»:

— На роботу, значит?

— На работу.

— Гм. Молодец. — И неожиданно лапищей придавил мое плечо.

У меня подкосились ноги. Я надломился, как тростинка, и едва не упал, а Сергей, словно и не заметив этого, повернулся ко мне спиной:

— Пойдем, я тобе струмент выдам.

Подошли к горе из тачек и лопат. Здоровенные тачки, с толстыми, как оглобли, ручками, с чугунными колесами. Поглядел по-хозяйски, словно выбирая лучшую, и двумя пальцами, легко, как пушинку, выдернул одну, бросил небрежно. Тачка, тяжело громыхнув, подкатилась ко мне. Вслед за нею полетела в кузов лопата: грум-грум-грум!

Я осторожно, словно к лошади, которая лягается, подошел к громадной тачке. Широко растопыренные ручки совсем смутили меня: да мне и рук не хватит, чтобы уцепиться за них!

— Ну-ну... — поощрил Одинцов.

Я наклонился и, едва-едва ухватившись кончиками пальцев за ручки, поднял тачку.

— Та-а-ак! — подбодрил Одинцов. — Топерь кати. Валай по этим доскам, во-о-он туды. Вишь, робята землю возят?

У меня от напряжения стало сухо в горле. Легко сказать: «Кати!» Тяжелая тачка, доски, по которым ее, проклятую, надо катить, а колеса-то не видать! И я с нежностью вспомнил: была у меня в детстве тачка — деревянное колесико выдвигалось вперед, и было видно, куда ее катить, а тут...

Одинцов сзади положил мне лапищу на плечо:

— Давай-давай, не робей!

Я сдвинул тачку с места, и она покатилась. Сама. И тут же сошла с доски, уткнувшись в виноградный куст.

— Ничего, ничего,— добродушно сказал Одинцов, — бывает. Таперь подымай, ставь колесо на доску.

Я беспомощно начал топтаться вокруг тачки. Да как же мне поставить колесо-то, если его не видно из-за высокого борта?!

Одинцов, посмеиваясь, смотрел на меня.

— Эй-эй-эй! Парень! Парень! — вдруг закричал он, увидев, что я собираюсь поставить тачку, подняв ее за передок. — Што ты! Што ты! — и опасливо оглянулся, не видит ли кто. — Срамотища какая! Разве так можно! Робята увидят — до смерти засмеют.

Я совсем растерялся:

— А как же тогда?!

Сергей подошел к тачке.

— А вот—очень просто: нажал на ручки—и поставил!

Да, действительно, у него все было просто: нажал и поставил.

Я поплевал себе на ладони, ухватил кончиками пальцев широко расставленные ручки и пошел. Шагов через десять забурился снова. Попасть колесом на доску мне удалось после третьей попытки.

Пока добрался с пустой тачкой до холма, откуда надо было брать землю, с меня семь потов сошло. А ребята бегали бегом с полными тачками. Я пригляделся к ним. И вовсе не богатыри, ребята как ребята, такие же, как и я. И мне стало стыдно за себя: чего это я так расквасился?!

Мое появление никого не удивило. Только один, за которым я занял очередь, очень худой и высокий парень с длинным лицом и лохматыми белыми бровями, повернулся ко мне:

— Новичок?

Я молча кивнул.

— Тачку не возил?

— Нет.

— Сыпь поменьше на первый раз.

— Ладно.

Парень, ловко орудуя лопатой, стал насыпать в свою тачку землю:

— Меня звать Алексеем, а тебя как?

Я назвал себя. Алексей бросил лопату и легко поднял тачку.

— Куртку сними, запаришься. И знай: бригада ра-

ботает сдельно. Понял? Так что приспосабливайся, чтоб за тебя никто не работал. — И побежал.

«Сдельно, значит! — подумал я, неумело ширяя лопатой в засохшие комья земли. — Ох, трудна дорога в авиацию!»

Я насыпал себе чуть-чуть и покатил. И скоро забурился. Прошел немного и снова забурился. Сзади нетерпеливо покряхтывали, потом, видать, у кого-то лопнуло терпение, и ломающийся голос прокричал:

— И какого черта ты буришься там все время?! Тоже мне — маменькин сыночек на работу пришел! Тебе соску сосать, а не тачку возить!..

И тут же другой голос:

— Заткнись! Сам-то без году неделю, как за тачку взялся, а разоряешься.

Глаза страшатся, а руки делают

...Телеги, груженные кирпичом, переезжали через меня. Я лежал, распластанный в дорожной пыли, и не мог подняться, не было сил. Ко мне подбежал, махая хвостом, соседский пес, ткнул меня носом в лицо и сказал:

— Чего это ты разоспался? Вставай, в школу опоздаешь!

Я открыл глаза. Передо мной с мокрой тарелкой и кухонным полотенцем в руках стояла мать. Лицо ее было сердито.

— Прошатался вчера целый день. Где тебя носило?

А я никак не мог припомнить, где меня носило: я все еще лежал там, в дорожной пыли, весь истоптанный копытами, избитый колесами.

— Ирод несчастный! — запричитала мать. — Наказание господне! Здоровенный балбес, а все по улицам шастает да книжечки читает. Работать надо!

И тут я вспомнил! Ох, да я же на работу опоздаю! Сдернул одеяло, вскочил и— ойкнул. Все тело будто не мое, словно в молотилке побывало.

Мать, прервав на полуслове фразу, с удивлением уставилась на меня. Сейчас бы самый раз признаться, что я бросил школу и пошел на работу, но не хотелось раньше времени огорчать отца. Ладно, промолчу пока. Не время.

Морщась от боли, встал на ноги, как на ходули: мышцы одеревенели. Да как же я работать буду?

Мать ушла, бросив на меня подозрительный взгляд,

а я попытался убрать постель. Да, вчера мне досталось крепко: я пришел домой полуживой. Но, кажется, ребята были мною довольны. К концу рабочего дня я уже хорошо справлялся с тачкой и насыпал ее полностью, как и другие. Совесть моя была чиста и перед самим собой, и перед бригадой.

И я уже начал было гордиться собой, да вовремя вспомнил стишок:

Я умница-разумница,
Про то знает вся улица...

И одернул себя: «Ладно самолюбоваться! Цыплят по осени считают».

На работу я опаздывал, и это было плохо. Мне не хотелось выглядеть перед ребятами разгильдяем и слабачком. Я инстинктивно понимал, что входить в коллектив надо достойно: сделаешь промашку, исправлять ее будет трудно. Нет, опаздывать нельзя! А как же быть? Выход был — пойти прямой дорогой. Мне нужно было перелезть через четыре дувала и перепрыгнуть через три арыка, достаточно широких и полноводных. В другое время все это было бы для меня пустяком, а сейчас, когда ноги не гнутся, пальцы как деревянные, какие уж там дувалы и арыки?

Но другого ничего не было, и я свернул на короткий путь. И прошел его! И появился вовремя. Ребята встретили меня возгласами одобрения, и это было для меня самым лучшим вознаграждением.

Я стал переодеваться и вдруг заметил, что у меня ничего не болит! И ноги отлично сгибаются, и пальцы на руках отошли. Вот что значит короткий путь! Я размялся, пока преодолевал препятствия.

Я подошел к своей тачке и запросто взял ее и покатил. И удивился. И даже посмотрел, а моя ли это тачка? Уж очень она мне показалась легкой и удобной. И я вспомнил слова отца: «Сынок, никогда не робей перед трудностями. Глаза страшатся, а руки делают!»

Ребята у нас были что надо: дружные, веселые. Колька Стрыгин, например. Словно собранный из разных частей: узкогрудый, сутулый, с длинными руками и обезьяньими ужимками, приносил он с собой на работу гитару и в обеденный перерыв задавал нам такие концерты, что сбегались рабочие из соседних и даже дальних бригад, чтобы послушать.

У Стрыгина был сильный голос. Длинными ловкими

пальцами он извлекал из своей старенькой облупленной гитары чарующие звуки. И когда он пел и играл, то становился красивым необыкновенно. Кстати, это он крикнул «заткнись» Витьке Завьялову, когда я в первый день застревал со своей тачкой. А Витька-то, оказывается, сам был маменькиным сынком! Отец у него знаменитый профессор медицины, а Витька тоже бросил школу и пошел в чернорабочие. Я ему сказал как-то: «Ну, мне, например, нужно работать, чтобы мышцы нарастить, сильным быть, потому что хочу учиться на летчика. А ты почему бросил школу?» — «А я, — отвечает, — потому, что хочу быть Че-ло-веком. Понимаешь? Мышцы — это само собой, их можно накачать гирями, гантелями, но Человеком от этого не будешь».

Я прикусил язык. Ох, и острый же этот Витька! Посадил он меня в калошу! И отец мне твердит все время: «Только труд делает человека Человеком», а я все понимал по-своему — на мышцы переводил.

Славными парнями были Сергей Губин и Петр Савченко: тихие, старательные. Ну и еще мой первый знакомый — Алеша Коробков. Он, оказывается, учился на втором курсе железнодорожного училища. Отлично учился, да бросил на время. У него что-то не ладилось с легкими, затемнение какое-то обнаружилось, и он решил выгонять это затемнение физическим трудом «на лоне природы». Он каждую неделю ходил проверяться и докладывал нам, что все «о'кэй!». Коробкова мы избрали своим комсомольским секретарем.

Наш бригадир Сергей Одинцов за свою могучую фигуру, за медлительность и, главное, за терпеливое добродушие получил от нас прозвище — Сережа Бегемот. Начальство его уважало, и наша бригада пользовалась иногда разными поблажками: для нас выделили помещение (оно потом превратилось в своеобразный клуб), там мы хранили свою рабочую одежду и свой нехитрый скарб, прятались от непогоды, которую скрашивал своим пением и гитарой Стрыгин.

Работали мы здорово: врывались в землю, как кроты. Сначала вроде бы неразбериха была, и казалось, что копошимся мы наподобие муравьев: один тащит соломинку в одну сторону, другой с такой же ношей ползет ему навстречу. Но постепенно стали определяться по фундаментным траншеям контуры будущего завода: кузнечного цеха, сборочного, механического, и эта определенность внушала нам гордость за нашу, хоть нехит-

рую, но профессию, и здесь мы чувствовали себя первопроходцами. Первые удары кетменя были наши!

Дома у меня уже знали, что я бросил школу и работаю. Отец было нахмурил брови, но пересилил себя: «Сделанного не воротишь... Однако... Ой, сынок, смотри — пожалеешь! — Подумал, подумал и согласился: — Ну ладно, видать, так надо». И на этом разговор закончился. Притихла и мать, хотя, когда я допоздна засиживался с книжкой, начинала ворчать, что-де «керосин-то нечего зря палить, он ведь денег стоит». В первую же свою получку я пошел в лавчонку и купил бидон керосина, за который мне снова от матери досталось: «Экую уймищу денег зазря потратил!»

А по выходным дням я с ног до головы рассматривал себя в зеркале. Все шло как надо: загорелый до черноты, ноги выпрямились и обросли упругими мышцами. И руки, и плечи, и торс — в узлах мышц. Прямо хоть сейчас иди в летчики. Вот что значит физический труд!

В нашу бригаду повадился ходить Иван Иванович Василенко. Лет сорока пяти, высокий, костистый, с веселыми голубыми глазами. Его знали на стройке все. Это был замечательный мастер-каменщик. Сядет где-нибудь повыше, на груду досок или кирпичей, закрутит из газетной бумаги «козью ножку», подопрет здоровенной лапищей острый подбородок и сидит, смотрит, как мы работаем. А нам лестно и любопытно: чего это он смотрит?

Пошел слух: Иван Иваныч набирает себе бригаду каменщиков — стены возводить. И каждый из нас возмечтал: вот бы попасть к нему! И мы, когда он появлялся у нас, старались вовсю: может, возьмет всю нашу бригаду!

Но он всю не взял. В проходной, после работы, когда мы пошли домой, остановил Алешу Коробкова:

— Мне нужен грамотный парень, пойдешь?

У Алеши длинное лицо стало еще длиннее.

— Иван Иваныч, что за вопрос — конечно, пойду! — И после паузы добавил: — Но не один!

У Василенко даже глаза заискрились, очень ему, видать, понравился ответ Коробкова.

— Торгуешься, значит?

— Торгуюсь, Иван Иваныч.

— Ну хорошо, тогда вот тебе списочек тех, кого я хотел бы взять. Пойдут — ладно, не пойдут... тоже ладно. Будь здоров!..

Мы с Завьяловым стояли неподалеку и все видели и слышали. И едва Иван Иваныч отошел, сразу же подбежали к Коробкову:

— Покажи!

Список был небольшой, всего пять человек. Были там и Стрыгин Николай, и Виктор Завьялов, и, к моему радостному удивлению, я!

И стали мы каменщиками. Получили разряд. Самый низший, конечно, но разряд. Это была уже ступенька в жизни.

Мы подготавливали фронт работ, замешивали раствор, укладывали на помосты кирпич, носили его на «козе» по шатким дощатым настилам на верхние этажи или, выстроившись в цепочку, перебрасывали его поштучно. А Иван Иваныч складывал да покрикивал: «Живей, живей, ребятки! Живей!»

Очень нравилась нам эта операция, когда кирпич совершает путешествие по воздуху, от общей кучи на помост, к стене.

Мы выстраивались метрах в четырех друг от друга, надевали рукавицы. Обычно к кучке становился Коробков. От первого подающего зависит, как полетит кирпич по цепочке, плоскостью по горизонту или будет кувыркаться. У Алеши кирпич не летел, а как бы скользил по воздуху, и принимающему оставалось только взять его, придавить чуть-чуть большими пальцами и, описав полуокружность, подтолкнуть его вперед, стараясь, конечно, чтобы кирпич не вращался. Бросил, повернулся, а следующий кирпич уже подлетает к тебе. Поймал его, придавил, повернулся, бросил, опять повернулся и снова принял и бросил. И слышно только по цепочке: ширк-ширк! ширк-ширк! А на помосте только: блям! блям! блям! — и растет горка. И ритм устанавливается такой, что кажется — кирпичи летают сами по себе, а мы можем в это время и пошутить, и посмеяться, и поговорить. Конечно, зевать при этом не полагается, а то получишь кирпичом по зубам... Но у нас этого не было.

Стоит только захотеть

— Та-а-ак! — наверняка подражая своему хирургу-отцу, сказал Виктор, щупая мышцы моего плеча. — Плечевой пояс развит отлично. Прекрасные мышцы! Ни грамма жира. Молодец. А ну-ка ноги!

Его ловкие пальцы работали, как у настоящего вра-

ча, четко определяя границы той или иной мышцы, которые он тут же и называл, бормоча слегка в нос: «Икроножная, камбаловидная, полусухожильная».

— А ну, повернись! — скомандовал он и, ткнув меня пальцем в живот, сказал, с шиком растягивая слова: — Ну-у-у, батенька мой, а вот это уже никуда не годится. Брюшной пресс надо развивать. — И опять пошел сыпать мудреными словами.

Виктор поражал меня своими знаниями по медицине. И он, конечно, твердо решил пойти по стопам отца, стать медиком. Но меня он осматривал не просто ради практики — он знал о моей мечте и взялся помочь мне «отработать мускулатуру».

Парень он был интересный, начитанный. Моего роста, но поуже в плечах, черноволосый, густобровый. На длинном лице его светились проницательные черные глаза, особую привлекательность придавали ему прямой нос и энергично сжатые, резко очерченные губы. Только вот зубы у него подкачали: белые, крепкие, но посаженные как-то «с заскоком», чуть ли не в два ряда. И когда он, разговаривая с кем-нибудь, вдруг улыбался, то собеседник невольно переводил взгляд на его зубы, а Виктор злился. Я из деликатности никогда не смотрел ему в рот — только в глаза, и он ценил это.

Итак, мне предстояло развивать брюшной пресс, а как, я забыл об этом спросить. Стоп! Я знаю такую работу: буду подавать Ивану Иванычу раствор на помост. Работа трудная, ну и что ж!

Утром мы набросали кирпичей на помост целую гору. Иван Иваныч, в фартуке и с мастерком в руке, занял «позицию».

— Ну как, готовы, орлы? Раство-ору!

Ребята поднесли мне два ведра раствора. Я берусь за дужку двумя руками и, выжимая тяжелое ведро, словно штангу, подаю его Ивану Иванычу. Тот небрежно, мизинцем берет тяжелый груз и, подперев дно ведра, ловко, одним махом выплескивает его содержимое на верхний рядок стены и тут же, не глядя, с шиком бросает мне ведро. Я ловлю его, ставлю, поднимаю другое. Выплеснув его, Иван Иваныч берется за мастерок. Работает он неуловимо быстро, виртуозно, и мы за ним едва поспеваем.

А в обеденный перерыв мы слушали Стрыгина. Я с завистью смотрел на его длинные пальцы, ловко сжимающие гриф гитары, и клял свои короткопалые руки. Как

мне хотелось научиться играть на гитаре, да пальцы короткие, хоть плачь!

Мои упражнения с ведрами явно пошли мне на пользу: брюшной пресс мой развивался нормально. Тугие сплетения мышц делали меня похожим на медицинский муляж — так отчетливо была видна мускулатура.

В один из погожих дней, когда мы отдыхали в обеденный перерыв, Иван Иваныч сказал:

— А ну-ка, хлопцы, подите сюда.

Он взял два кирпича, поставил их торцом на землю, прижав друг к другу плоскостями, и обхватил их сверху ладонью.

Мы с интересом его окружили, а он, казалось, без всяких усилий поднял кирпичи и поставил их на скамью.

— Вот. Кто так поднимет, тот настоящий каменщик.

Колька Стрыгин, усмехнувшись, отложил гитару, подошел, наложил ладонь и... кирпичи со звоном упали на землю, а мы покатились со смеху, такое у Стрыгина было растерянное лицо.

— А ну-ка, ну-ка! — смущенно пробормотал он. — Это я так — нечаянно. Сейчас подниму.

— Э-э-э, нет, нет! — возразил Иван Иваныч.—С первого раза, с первого раза! Кто следующий?

Подошел Завьялов, поставил кирпичи, прижал их плотнее друг к другу, поплевал на ладони, обхватил пальцами макушки кирпичей и, крепко стиснув губы, стал осторожно поднимать. Чуть оторвавшись от земли, кирпичи снизу разошлись, закачались и... выскользнули из пальцев.

Потом подходили другие. Кому удавалось, кому не удавалось. А я лихорадочно соображал: «В чем же тут секрет?» Какое-то полузабытое знакомое чувство охватило меня, и я вспомнил вдруг, как в детстве, сильно захотев, добыл себе родителей, как выправлял себе ноги, как научился читать. Это были мои, хоть небольшие, но победы, поощряемые желанием. И я отдал приказ самому себе: поднять во что бы то ни стало!

Я подошел, снял кирпичи со скамьи, поставил на землю, прижал друг к другу, наложил ладонь. Фаланги моих пальцев чуть-чуть, самыми кончиками захватывали ребра кирпичей.

— Куда там — пальцы коротки! — сказал кто-то за моей спиной.

Я был словно в полусне. Я так хотел, так хотел поднять!

И поднял. Оторвал кирпичи от земли. Но их надо было еще удержать!

Потеряв опору, кирпичи раздвинулись снизу, пружинисто закачались... Так, качающиеся, я и понес их к скамье и поставил! Общий вздох удивления был для меня величайшей наградой. Все во мне ликовало, гордость распирала меня: я победил самого себя, потому что я так хотел!

— Иди сюда! — сказал Иван Иваныч. — Покажи свою руку.

Я протянул ему руку ладонью вверх. Он цепко взял ее сильными шершавыми пальцами и поднял вверх, как поднимает рефери перчатку боксера-победителя.

— Вот, — сказал он. — Смотрите: рука небольшая, пальцы короткие, а поднял. И знаете почему?

— Откуда нам знать? — переглянулись ребята.

— Стоит только очень захотеть, — сказал Иван Иваныч, опуская мою руку. — Надо уметь хотеть, братцы, вот в чем дело.

Сжигаю мосты за собой

Осень. Погода слякотная. Моросит мелкий дождь, грязь по колено, работать нельзя. Мы сидим в бараке возле железной печки, топим ее докрасна древесными отходами. Открывается дверь, вваливается громадная фигура в брезентовом плаще с капюшоном. Это Сергей Одинцов, бригадир землекопов.

— Здорово ребята, — глухо окает он и ищет кого-то глазами. Встретился взглядом со мной, неожиданно подмигнул.

Ребята вскакивают, освобождают место возле печки. Степана любят на стройке — он комсомольский вожак, работяга, хороший товарищ.

— Да нет, ребята, я мимоходом. — Распахивает плащ, достает из кармана свернутую в несколько раз газету, протягивает мне. — Тут вот объявление интересное. В авиацию приглашают...

У меня обрывается сердце:

— В авиацию?! На летчика?

— Да нет, не совсем. Но ты почитай, почитай.

Хватаю газету, лихорадочно ее разворачиваю. И уже не слышу и не вижу ничего, кроме текста, набранного жирным шрифтом:

«Мастерские «Добролета» производят набор слуша-

телей в возрасте от 17 до 25 лет на шестимесячные курсы ЦИТа по подготовке авиаспециалистов: жестянщиков, клепальщиков, мотористов, сборщиков самолетов... Курсанты обеспечиваются стипендией в размере...»

Я разочарован и вместе с тем взволнован. Мне хотелось бы сразу на летчика. Впрочем... Я углубляюсь в расчеты и соображения. Мне сейчас семнадцать лет. Кто же примет меня учиться на летчика? Рано. В самый раз идти сейчас на эти курсы! Шесть месяцев проучусь, получу специальность — авиаспециалист. Звучит? Звучит. «Спе-ци-а-лист». Да еще «а-ви-а»!

Я умышленно опустил слово «младший», потому что долго им не собирался быть. Это — первая ступень. Потом средний, потом старший. А там, глядишь, и... летчик!

Да, а на кого же я буду учиться? На моториста? Заманчиво иметь дело с моторами, разбирать их, ремонтировать. Но ведь я хочу быть летчиком! Значит, важнее изучить самолет. Сборщик самолетов — вот какую специальность я должен получить!

Все. Рассуждения мои кончились. Я уже чувствовал знакомый трепет в груди и готов был к действию.

— Так что — идешь, значит?

Я пришел в себя и поднял голову. Надо мной стоял Иван Иваныч.

Я почтительно поднялся перед ним.

— Иду, Иван Иваныч!

— Ну и правильно. Завтра?

— Да, завтра. А сейчас побегу увольняться.

— А зачем это, чудак? — поднял брови Иван Иваныч. — Я тебя отпущу, и проходи там всякие комиссии. А вдруг забракуют, а ты уволился, а?

— Нет, буду увольняться. — Я уже не мог отказаться от принятого решения.

— Гм, — сказал Иван Иваныч. — Мосты сжигаешь, значит?

— Сжигаю.

Иван Иваныч неожиданно по-отечески погладил меня по голове, и у меня сразу же подкатил к горлу колючий ком. И мне жалко стало покидать и Ивана Иваныча, и стройку, и ребят, к которым так привык.

— Ладно, сжигай, — дошел до меня задумчивый голос Ивана Иваныча. — Может, так и надо.

Пришел домой взвинченный. Лег спать — не спится. Мысли разные одолевают. Все-таки уволился. Покинул

коллектив. А еще не знаю, пройду ли комиссию. А вдруг не примут, тогда как? Вспомнил своего дружка, с которым был знаком еще по пионерскому отряду. Хороший парень — Кирилл Виноградов. Образованный, начитанный, из интеллигентной семьи. Свой дом с садом. Рояль, библиотека. Вчера я принес от Кирилла несколько томов Джека Лондона, может, почитать, чтобы отвлечься?

Встал, зажег лампу, уселся. И увлекся: хватился — два часа ночи!

Уснул под утро, а проснулся — вялый-вялый, как дождевой червяк. В голове потренькивало, слипались глаза, в ноздрях стоял запах керосиновой гари, и настроение было неважное. А тут еще снег с дождем зарядил. На улице, конечно, грязища непролазная, и быть мне в моих ботинках целый день с мокрыми ногами.

Добираться до аэродрома было далеко. С полчаса месил грязь, пока дошел до трамвайной остановки. Потом под снежной падью долго ждал трамвая, а когда он появился, еще издали пронзительно скрипя колесами на повороте, то был скорее похож на тарантула или на фалангу, сплошь облепленную паучками-детишками, так много было пассажиров. Несколько раз обежав вокруг двухвагонный состав, кое-как примостился на «колбасе», между вагонами, да и то одна нога у меня была на весу.

От конечной остановки еще долго пришлось идти пешком, шлепая насквозь промокшими ботинками по глинистой жиже, сплошь покрывавшей булыжную мостовую. По сторонам тянулись наводящие тоску унылые сады с облепленными снегом ветками и бесконечные глиняные дувалы с черными трещинами.

Людей на дороге было много. Ссутулившись под мокрыми хлопьями снега, они шли, прижимаясь к обочине, и посылали проклятья вдогонку машинам, проезжавшим вблизи и обдававшим пешеходов грязью. Это были в основном ребята моего возраста или постарше, и я догадался, что они идут туда же, куда и я, и мне стало совсем неуютно. Значит, желающих привалит больше, чем надо, и будет конкурс.

Над железными решетчатыми воротами была закреплена эмблема: распростертые серебряные крылья с двумя перекрещенными разводными ключами, а ниже крупная надпись: «Авиационные мастерские «Добролета».

Люди, не задерживаясь, проходили в калитку, а я ос-

тановился в волнении, потому что для меня перешагнуть этот священный порог значило многое...

И я перешагнул с замиранием сердца и очутился словно бы в другом мире. Так же тихо, как и на улице, падал снег, но крупные хлопья его опускались не в грязные лужи, а на чистый мощенный булыжником двор, на аккуратные, посыпанные гравием дорожки, на клумбы, прибранные и ухоженные заботливой рукой садовника, на кусты обрезанных роз. И мне почему-то стало еще тоскливей, будто я, недостойный, дерзнул войти в это преддверие сказочного мира. Но люди шли. Они входили в едва заметную в высокой кирпичной стене ангара дверь, за которой слышался стук молотков, скрежет напильников и шум голосов.

Я перешагнул через высокий порог вслед за высоким и худым, как жердь, парнем в яркой клетчатой кепке. Резкий запах грушевой эссенции ударил в нос. Мы закашлялись и остановились, чтобы осмотреться. Громадный ангар был битком забит разобранными остовами самолетов. Вокруг них копошились рабочие в синих блузах и комбинезонах, стучали, пилили, сверлили, перекликались. Совсем рядом на двух козелках лежало обтянутое полотном крыло самолета, и девушка в красной косынке, макая в ведро кисть, ловко наносила на полотняное покрытие слой остро пахнувшего лака. Стоявший пожилой мужчина в синей блузе и с шикарными пушистыми усами, склонившись к девушке, что-то сказал ей, наверное, скабрезное, девушка вспыхнула и с негодованием ткнула ему кистью прямо в усы. Человек испуганно отпрянул, но было поздно, быстро сохнущий лак уже повис сосульками. Девушка прыснула смехом, а человек, стыдливо прикрыв ладонью нижнюю часть лица, поспешно скрылся за дверью. Высокий парень в клетчатой кепке расхохотался. Я тоже не мог удержаться от смеха — такое растерянное было лицо у этого усатого.

Сценка взбодрила меня. Я как бы влился в этот стук и грохот мастерских и в перекличку голосов. Долговязый, все еще смеясь, достал из кармана вельветовой куртки аккуратно сложенный носовой платок, вытер им слезы на своих по-детски розовых щеках, как-то смешно дернул шеей, будто ему был тесен воротничок, и, взглянув на меня острыми, как буравчики, черными глазами, спросил:

— Ты на комиссию? Нам, наверное, вон туда. Пошли!

Столярикум-малярикум

Возле двери с надписью «Санчасть» толпились парни. Я еще и сообразить как следует не успел, что к чему, а мой незнакомец уже принялся командовать:

— А ну, что столпились?! Разобраться по порядку! Кто за кем? Становитесь вот здесь — вдоль стены. Быстро-быстро!

Беспорядочная группа словно только и ждала этой команды, сразу переформировалась, расплылась, растянулась вдоль стены. Долговязый довольно грубо схватил меня за плечо и, ткнув в очередь прямо возле двери, начальственным тоном сказал:

— Стой тут, я сейчас! — и скрылся за дверью.

Минут через десять дверь открылась, и рыжая девушка в белом халате, кокетливо тряхнув пышным ореолом волос, сказала нараспев:

— Вхо-о-ди-ите. По десять человек.

Мы вошли. Большая светлая комната с цементным полом, справа — письменный стол, лысый доктор в белом халате, весы, ростомер, шкафы с медицинскими инструментами. Слева, возле входа — столик, за столиком девица:

— Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения? Раздевайтесь.

Ребята тотчас же принялись раздеваться, а я уставился на красочные медицинские плакаты, развешанные на стенах:

«Требования для комплектования курсантов в школы летчиков».

У меня от почтения даже дух захватило, словно я ненароком заглянул в святая святых.

Читаю дальше:

«Нормальная ступня... плоская ступня...»

«Интересно, а какая у меня ступня: нормальная или ненормальная?»

— Раздевайтесь! Живо! А ты чего рот разинул? — налетел на меня доктор, сверкнув устрашающе большими очками. — Для тебя что, особая команда нужна?! Раздевайсь!

Покосившись на девицу, я принялся торопливо разуваться. Носки мокрые, хоть выжимай, да еще с протертыми пятками. Ширнул их стыдливо в ботинки и встал босыми ногами на леденяще холодный пол.

Только что осмотренная группа, щелкая от холода

зубами, одевалась. Долговязый посмотрел на меня, подмигнул. Он уже был одет, но уходить не торопился. Девица с равнодушным видом стояла у весов, и мне нужно было к ней подойти. Срамотища какая, ведь голый же! А другие ничего, некоторые даже гыгыкали, и доктор на них покрикивал:

— Ну, тихо! Чего разоржались, как жеребцы?!

Я измерился и взвесился: рост 173, вес 57 килограммов. Ноги мои совсем окоченели, хоть дуй на них.

Доктор, грубо хватая за плечи цепкими руками очередного пациента, повелительно командовал:

— Высунь язык! Нагнись! Разогнись! — И девице: — Годен. Следующий!

Я подошел.

— Высунь язык!

Высунул. И тут же удивился: доктора передо мной не было!

— Нагнись! — раздалась откуда-то сзади команда. Я послушно нагнулся.

— Разогнись! — И возмущенно: — Убери язык!

Я, громко щелкнув зубами, быстро захлопнул рот.

Доктор сердито сверкнул очками:

— Балуй у меня! А ну — зубы! Та-ак, хорошо! — и желтыми от табака пальцами полез мне в глаза, больно задрал ресницы. — Гм!.. Гм!..

Повернулся к девице, сказал ей что-то по латыни, вроде: «Столярикум-малярикум». Отпустил ресницы, повернул меня бесцеремонно, толкнул в спину:

— Не годен. Следующий!

Я не сразу понял, что произошло, лишь по растерянному лицу долговязого догадался о сущности, словно выстрел, короткого слова: «Не годен!»

«Не годен?! Как это — не годен? Это я не годен — крепкий жилистый парень?!.»

— Девушка, девушка, что он сказал? Что?

Девушка ответила, пряча глаза:

— У вас фолликулярный конъюнктивит. Понимаете? Ну-у-у... воспаление слизистой оболочки глаз.

— Так ведь, девушка! Так ведь это... Это же ведь... пройдет. Ну, понимаете, я... я...

— Отойдите, не мешайте!

Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. Это был долговязый. Он участливо смотрел на меня.

— Читал, наверное, много?

— Да, — сказал я, готовый расплакаться.

— Ничего, бывает. Но ты не отчаивайся. Приходи завтра, что-нибудь скумекаем.

Я махнул рукой: чего уж там «скумекаем»?

Мир для меня рушился...

Добирался домой в невменяемом состоянии. Стыд терзал меня невыносимо. Я жгуче презирал и ненавидел самого себя. Не послушался умных людей — уволился. Расшумелся, растрепался, расхвастался: «Иду учиться на авиаспециалиста!» Дома напустил на себя таинственный вид, да так, что мать заробела. Сегодня чуть свет приготовила завтрак, чего с нею никогда не бывало, а вчера робко сказала мне, чтобы я гасил свет, да пораньше ложился бы спать перед комиссией. А что я ей ответил. «Не мешай, я как раз готовлюсь к этой самой комиссии». И читал до рези в глазах, почти до утра. И не выспался. Конечно, глаза красные, воспаленные. Вот тебе тут и «столярикум-малярикум»! Идиот! Хвастунишка несчастный! Сжег, что называется, за собой мосты! Как же теперь быть-то, ведь обратно хода нет!..

Мать встретила меня тревожным взглядом. Я собрал все свои силы и, напустив на себя беспечный вид, сказал небрежно:,

— Ну, мам, дела идут пока как надо: прохожу комиссию. Народу та-а-ам... Завтра опять идти, — и прошмыгнул в свою комнату.

Отца дома не было, ушел на суточное дежурство, и это облегчило мое положение. Он был проницательный и сразу догадался бы, что дела мои плохи.

— Тут Кирилл приходил, — сказала мать, подавая на стол. — Хочет тоже поступать на курсы. Просил, чтобы ты его завтра подождал, вместе пойдете.

«Значит, тоже решил, — подумал я. — А вчера колебался: «Да не знаю, как папа с мамой».

За него все решают папа и мама. Помню, в пионерский отряд ходил, а в пионеры не вступал. Дед у него был священником, а пионеры пели богопротивные песни. Вот папа с мамой и не разрешали галстук носить.

И тут я поймал себя на том, что остро завидую Кириллу. «Вот пройдет он комиссию и будет учиться, а я... Куда пойду?..»

Возвращаться на стройку нечего было и думать. И вообще, хоть беги из Ташкента!..

Лег спать в самом мрачном настроении. Разбудил меня Кирилл. Он пришел ни свет ни заря, в ладной куртке, в сапогах, в кожаной фуражке. Отец его работал главным бухгалтером на каком-то крупном предприятии, и жили они в достатке.

Я хмуро поднялся и стал одеваться. Носки были мокрые, ботинки тоже. Вчера забыл их пристроить возле печки. Надел какие есть, неприятно ощущая между пальцами ног холодную глинистую жижицу, и на душе у меня от этого стало еще гаже.

На дворе было темно, и так же, как и вчера, шел дождь со снегом. Но вчера я шел с надеждой и она согревала меня, а сейчас...

Опять трамваи, дорожные лужи, глиняные заборы, укутанные снегом деревья, вереницы людей, шедших в снегопаде с поднятыми воротниками курток и с согнутыми спинами, будто они несли какую-то невидимую тяжесть. Я шел быстро, не разбирая дороги, и Кирилл едва за мной поспевал.

— Куда ты несешься?! — кричал он, догоняя меня, и ломающимся баском шутливо напевал: — «Куды, куды вы удалились?..» — и тут же снова отставал, потому что я, избегая разговора, ускорял шаг.

Быстрая ходьба разогрела меня, и на душе вроде бы посветлело. Мы оставили всех далеко позади. Вот знакомые ворота. Я остановился перед ними, чтобы перевести дух, посмотрел на эмблему, едва видимую из-за густого снегопада, снял кепку, взмахнул ею, стряхивая снег, и, озоруя, громко сказал:

— Здрассте!

И мне тотчас же кто-то ответил:

— Здравствуйте.

Я обернулся. Чуть в стороне стояла густо запорошенная снегом лошадь, впряженная в бричку, и какой-то человек, в брезентовом плаще с капюшоном, возился возле заднего колеса.

— А ну-ка, молодые люди, — сказал человек, — подсобите задок поднять.

Мы подбежали с Кириллом, ухватились поудобнее.

— Раз-два — взяли!

Человек насадил колесо на ось.

— Молодцы, опускайте! — И забил чеку на место.— А теперь отворяйте ворота, тут я для вас учебные пособия привез.

Его Величество Случай

Слова «для вас» прозвучали для меня двояко: как болезненный укол и как надежда. Еще не соображая, что к чему, я ухватился за второе. Это был Его Величество Случай, которым мне нужно было воспользоваться. Но как?!

Кирилл, глядя с беспокойством на приближающихся людей, замялся:

— Да мы... на комиссию. Очередь надо занять...

— Ничего, ничего, — сказал я. — Ты иди во-он туда, в ту дверь, и налево, в санчасть, а я тут все сделаю.— И побежал в сторожку.

Плана у меня еще не было никакого, и мне оставалось только действовать. Нашел сторожа, пожилого узбека в ватном халате, перевязанном в талии платком. На ногах ичиги с калошами, на бритой голове — тюбетейка. Я поздоровался с ним по-узбекски, сказав: «Салам алейкум, ата», и он, расплывшись в доброй улыбке, ответил мне: «Алейкум салам».

Мы открыли ворота, и конь, прядая ушами на рокот авиационного мотора, втащил повозку во двор. Возница сказал:

— Беги, молодой человек, в мастерские, разыщи Николая Степановича, скажи, что привезли учебные пособия.

Я рванулся бежать, да вовремя спохватился:

— А кто такой Николай Степанович?

— Ваш инструктор, Сорокин, — ответил возница.— Ты его узнаешь сразу, он в такой красной турецкой феске с кисточкой.

И я полетел. Увидел феску...

— Здравствуйте, Николай Степаныч! Там пособия привезли.

— Что? Пособия? Ага, хорошо! — И перекрывая зычным голосом гул мастерских, крикнул: —Дубы-и-нин!

— Здесь, Николай Степаныч! — Перед нами объявился мой вчерашний знакомый. Увидев меня, оторопело заморгал глазами-буравчиками, потом сказал как бы про себя: «Угу! Ага!» — и к инструктору: — Что прикажете делать, Николай Степаныч?

— Возьми с десяток хлопцев и перенесите в класс учебные пособия.

— Есть! — И ко мне: — А ты, брат, хват. Молодец. Держись меня. Пошли!

У санчасти толпа — не пройти. Дубынин кашлянул, прочищая горло, и, подражая инструктору Сорокину, как и в прошлый раз, быстро навел порядок. Потом, подмигнув мне, сказал: «Стой тут», — и скрылся за дверью. Вскоре он появился в сопровождении ребят, прошедших медосмотр. Среди них — Кирилл.

— Ну, куда идти? Веди.

В бричке под брезентом лежали навалом деревянные молотки на длинной рукоятке, какие-то деревянные детали и дощечки, напоминающие собой плоские напильники. Все это мы перетащили в большой цех, уставленный рядами длинных прочных столов и скамеек. Цех громадный, застекленный с обеих сторон. Слева проглядывало серое небо, справа — внутренняя часть ангара, уставленная корпусами самолетов. В конце зала, на возвышении — стол и кафедра, сзади которой, на широкой глухой стене — большая классная доска.

Инструктор Сорокин, энергичный, подвижный, распоряжался группой курсантов, расставляющих столы и прибивающих на стену учебные плакаты. Красная феска Степаныча мелькала тут и там, и голос, зычный, повелительный, раскатисто гремел по залу:

— Ну, что вы там копаетесь?! Выше, выше! Не достаете? Ибрагимов, сбегайте за стремянкой! Дубынин! Разложите инструмент по столам!

Я старался изо всех сил: бегал, носил, переставлял, пока инструктор не сказал:

— Хватит на сегодня. Спасибо, ребята! Завтра опять к восьми. Работы много.

Дубынин с раскрасневшимся лицом подошел ко мне, протянул руку:

— Меня звать Георгий, а тебя как? Комсомолец? О-о! Хорошо! — Дернул шеей, стрельнул по залу глазами-буравчиками: — Сазонов! Алексей! Иди сюда!

К нам подбежал юркий паренек с густой шевелюрой светлых волос, прижатых на макушке вышитой узбекской тюбетейкой.

— Чего тебе?

— Вот, запиши — еще один комсомолец.

Алексей ловким движением выхватил из кармана ладно сшитой куртки блокнот.

— Фамилия? Имя? Отчество? Билет при тебе? Давай запишем номер. Все. Будь здоров! — и умчался.

Кирилл, ожидая меня, стоял рядом и с явной завистью смотрел на происходящее. Он не был комсомольцем и сейчас чувствовал себя неловко.

Георгий, видимо, хотел что-то спросить у меня, но, покосившись на Кирилла, обратился к нему:

— Комсомолец?

Кирилл отрицательно качнул головой.

— Гм, жаль. Тут поработать надо, классы оборудовать. Придешь?

Кирилл замялся. Я знал: завтра по поручению матери он должен съездить в аптеку за лекарством и отвезти его тетке, которая живет на другом конце города.

— Нет, — сказал я. — Он не может. У него хозяйственные дела.

Кирилл бросил на меня благодарный взгляд.

— Послезавтра я бы смог...

— Послезавтра начнутся занятия, — бесцеремонно перебил его Георгий. — Так что валяй по домашним делам. — И ко мне: — Ну, а ты приходи обязательно, сам понимаешь. — И дернул шеей, будто ему тесен воротник. — Ну, я пошел. Пока!

Только по пути домой я признался Кириллу, что забракован. Тот всполошился:

— Как же это?!

— А вот так: «столярикум-малярикум».

— Что же делать-то?

— Не знаю, буду ходить.

— Прогонят, — сказал Кирилл. — Тут строго. Авиация. И вход по пропускам.

— Все равно буду! — обозлился я. — В дверь прогонят, полезу в окно. Через забор буду лазить! Мне обратной дороги нет.

Кирилл скис по-настоящему, и это его искреннее участие тронуло меня и подожгло. Я почувствовал себя уверенней.

— Ладно, — сказал я. — Как-нибудь обойдется. Тут надо хорошо обдумать все.

На следующий день я пришел раньше всех. Знакомый узбек открыл мне калитку. Я сказал ему по-узбекски: «Здравствуй, отец!», он засиял, засветился в доброй улыбке: «Алейкум салам, ул бала!» — и проводил меня взглядом до самых мастерских.

Вскоре пришел и Николай Степаныч, а потом и ребята-комсомольцы. Георгий почему-то еще не появлялся. Инструктор дал нам указания, и мы принялись таскать

верстаки, прикручивать тиски, развешивать схемы, плакаты, разбирать и раскладывать по полкам инструмент. Инструктор то и дело поторапливал нас, тряся кисточкой на феске: «Живей, живей, ребята! Живей!» А мы и так поворачивались живо: работа уже подходила к концу, все расставлено, развешено, разложено, осталось только мусор подмести.

Мы с Сазоновым перетирали ветошью напильники и молотки, когда появился Дубынин и с ним два парня с туго набитыми мешками за спиной. Бросили мешки на верстак, принялись отряхиваться и обмахиваться: жарко. Подошел инструктор. Георгий ему что-то доложил, тот одобрительно закивал своей турецкой феской и, обернувшись, крикнул:

— Сазонов, ко мне!

Тут прозвенел звонок на обеденный перерыв. Мы кинулись было к дверям, чтобы пораньше прибежать в столовую, но нас остановили.

— Отставить! — повелительно скомандовал инструктор. — Прошу всех сюда!

Мы собрались в недоумении: что еще такое тут будет?

Инструктор сказал:

— Дубынин, постройте комсомольскую бригаду.

У меня екнуло сердце: «Комсомольская бригада?!» Значит, я в комсомольской бригаде?!

Георгий щелкнул каблуками.

— Есть построить комсомольскую бригаду! — Долговязый, как аист, шагнул, вытянул руку: — По ранжиру... станови-ись!

Мы быстро разобрались по росту.

— Ррравня-йсь!.. Смирррна-а! — повернулся кругом, четко отпечатал шаг, лихо взял под козырек. — Товарищ инструктор, комсомольская бригада по вашему приказанию построена!

У меня мурашки побежали по спине: до чего же здорово! Ну и молодец Георгий! И где он так научился?

— Вольно! — сказал Николай Степаныч.

— Вольно! — громко повторил Дубынин и, встретившись со мной взглядом, подмигнул. И я вдруг подумал, что эта торжественная церемония имеет какое-то отношение и ко мне.

Теперь мы смотрели во все глаза на Николая Степаныча и ждали, что он скажет.

— Товарищи! — как-то размеренно и веско заговорил инструктор. — По поручению дирекции и парторга-

низации авиамастерских объявляю вам благодарность за добросовестную работу по оборудованию учебных классов и цехов. — Он взволнованно запнулся. — От меня лично вам тоже благодарность. Спасибо вам, ребята. И... мы решили тут, чтобы вас, комсомольцев-активистов, все знали и видели, преподнести вам, в качестве награды, ботинки, рабочие костюмы и к ним — комсомольский значок и значок «Добролета».

Ребята тихо ахнули, а я чуть не упал от радости. Такие значки! Ведь это ж для меня важнее важного!..

Николай Степаныч повернулся к Дубынину:

— Прошу раздать награды!

Как во сне принимал я рабочий костюм и ботинки из рук Дубынина. Вручая подарки, он опять мне хитро подмигнул:

— Ну вот, видишь, как все хорошо получается!

Обедать мы, конечно, не пошли. Инструктор сказал: «Подберите мусор и можете быть свободными». Мы подобрали, подмели, переоделись, привинтили комсомольские значки. А вот значок «Добролета» куда? На фуражку бы...

А вообше здорово получилось! Рабочий костюм был мне как раз впору: черные брюки, черная куртка с четырьмя накладными карманами, новые ботинки.

Сазонов, красуясь перед оконным стеклом, вдруг сказал:

— Братцы, я придумал! У сквера в лавчонке продаются фуражки защитного цвета. Они дешевые. Давайте их купим и на них значки!

Идея всем понравилась, и мы гурьбой отправились в город. Продавец, тучный персиянин с большущим носом, радостно хлопал себя руками по жирным бедрам, когда мы в один миг купили у него тринадцать фуражек.

— А, спасыба, маладый люди! Ай, спасыба!

Дома я произвел фурор. Мать, увидев меня, всплеснула руками:

— О-о-о! Отец! Отец! Иди-ка сюда скорее, посмотри на сына!

Из другой комнаты, шлепая домашними туфлями, вышел отец. В очках, с газетой в руках. Снял очки, выпрямился, посмотрел, погладил бороду, взволнованно кашлянул:

— Ну и ну-у-у! Молодец, молодец. Ничего не скажешь. Умеешь своего добиваться. Поздравляю, сынок.

Мне бы тоже порадоваться, а у меня от этой роди-

тельской гордости в груди словно кошки когтями проскребли. Я умею своего добиваться?! Чего я, собственно говоря, добился? Ничего пока. Меня-то ведь не приняли!..

А вдруг?

Утром ко мне зашел Кирилл.

— Ну, ты пойдешь? — шепотом спросил он, оглянувшись на дверь.

Я кивнул головой и стал одеваться, предвкушая заранее, какой эффект произведет на него моя форма. Еще не сознавая ситуации, он уставился на мои новые ботинки, начищенные с вечера. Потом взгляд его скользнул по брюкам, тоже с вечера предусмотрительно положенным под матрас и сейчас держащим умопомрачительную стрелку. Нижняя чистая рубаха заправлена в брюки. Я, посматривал на себя в зеркало, был доволен собой. И вообще, на душе у меня не было паники. Кирилл чувствовал это и был в недоумении.

Натянув свитер, я не торопясь снял с вешалки куртку и, держа ее перед самым носом Кирилла, стряхнул с бортов несуществующие пылинки. Кирилл насторожился, но еще не совсем. Я надел куртку, одернул борта, посмотрел на себя в зеркало. Очень даже здорово я выглядел, это было видно по ревнивому взгляду Кирилла. Я надел плащ, снял с вешалки фуражку.

— Пошли! — сказал я.

Кирилл взглянул, увидел и обомлел.

— Постой, постой! — страстно зашептал он, вцепившись мне в плечо. — Это что у тебя за фуражка, а? — Он распахнул мне полы плаща. — И этот... костюм. И ботинки? Откуда? Когда?

Вошла мать с сияющим лицом:

— Опоздаете, ребята, скоро семь.

Мы вышли в темноту. Еще горели звезды, и под ногами в лужицах похрустывал ледок.

Кирилл, страстно любивший форму, всю дорогу никак не мог успокоиться. Он клял все на свете: и своих родителей, оберегавших его от пионерии и комсомолии, и самого себя — «безвольного и бесхарактерного», а в конце заявил:

— Ну и везет же тебе! — И тут же поправился: — Собственно, почему «везет»? Настырный ты, вот и везет. А я... — и махнул рукой. Потом молчал весь остаток дороги, явно переживая свою «неустроенность».

В мастерских возле доски приказов толпились ребята. Желающих было много, а в списках значилось только двести человек. Кто находил себя — радовался, кто не находил — печалился. Подошли и мы. Кирилл в списках значился, меня — не было. Мне стало неуютно.

У Кирилла на лице то радость, то печаль — переживает за меня. Хороший парень этот Кирилл!

Кто-то тронул меня сзади за плечо. Я обернулся. Это был Дубынин. Дернул шеей, молча приглашая меня следовать за собой.

Отвел в сторону, дал наставление:

— Держись ближе ко мне. Когда будет построение, встанешь в строй. Понял?

Еще бы не понять, конечно, понял! Я и сам думал встать в строй, ну, а сейчас и того лучше, в случае чего будет поддержка от старосты группы.

Наконец все успокоилось. Непринятые ушли, остальные принялись, по выражению Кирилла, «обнюхиваться».

У меня уже было много друзей. Наши фуражки со значками «Добролета» были как пароль: встретимся, небрежно козырнем друг другу и проходим дальше, к зависти и недоумению других.

Появился Николай Степаныч в своей турецкой феске, что-то сказал Дубынину, тот, расталкивая встречных, побежал в контору, и вскоре раздалась команда:

— Кто прошел в приказе!.. Станови-и-сь! Быстро! Быстро! Разбирайтесь по ранжиру!

Старосты групп, толкаясь, сортировали ребят по росту:

— Ну, ты куда забрался?! Давай на левый фланг! А ты там, эй, каланча в тюбетейке! Чего торчишь на камчатке?!

Мы с Кириллом встали было вместе, но нас разъединили: Кирилл был ниже меня ростом. Я стоял на правом фланге десятым или двенадцатым. Ох, и нехорошо же было мне!

Построением командовал коренастый светловолосый человек, одетый во все кожаное.

— Ррравняйсь! — скомандовал он и тут же улыбнулся.

Строй стоял «загогулиной» — команда дошла не до каждого.

Командир пожевал губами:

— Старостам групп навести порядок!

Тут же появились старосты и принялись толкаться и кричать:

— Ноги! Ноги! Носки ботинок должны быть на одной линии! Животы подобрать. Быстро!

Кое-как порядок был наведен. Старосты встали в строй.

— Смиррр-но! По порядку номеров... рррассчитайсь!

— Первый!

— Второй!

— Третий!

— Четвертый!

— Пятый!

На шестом заминка. Строй заколыхался. Всем было интересно посмотреть, кто не знает счета?

Дубынин выскочил злой, как черт:

— Ну? Ты чего запнулся? Шесть! Ну? Шесть!

Молодой узбек в халате, выпучив глаза, шептал про себя: «Быр, икки, уч, торт, беш...»

— Алты! — громко крикнул он.

Все рассмеялись. Командир прикрыл ладонью губы.

— Ну, алты так алты, — сказал он. — Старосты! Помогите рассчитаться!

После подсчета выяснилось: в строю было 156 человек. У меня отлегло от сердца. Сорок четыре человека не пришло. Значит, некомплект и у меня есть еще надежда...

Тут же в строю нам выдали жетоны, по порядку номеров, с четко выведенной цифрой. Мне достался тринадцатый номер. «Чертова дюжина!» Жетон мы должны приколоть к левой стороне груди. Нужно, например, инструктору вызвать кого к доске, он называет номер. Или замечание сделать — тоже номер! Очень удобно.

Дрожащими от волнения пальцами я приколол жетон под комсомольским значком. Все пока шло как надо. Но меня все равно не покидало чувство страха: вот проверят списки и спросят: «А ты кто такой? Откуда взялся?» и выгонят. И будет мне тогда «столярикум-малярикум»!

Нас ввели в учебный цех. Мы с шумом разместились, заняв места, отмеченные на столах поперечными линиями, и расселись кому как вздумалось: кто на скамьях, а кто на столах, спиной к инструктору. И вдруг зычный голос:

— Это кто там расселся раньше времени? Встать!

Все повскакали с мест, и в цехе сразу стало тихо.

Инструктор в красной феске властно возвышался за кафедрой. Сильный голос, энергичный поворот головы, огненный взор — все нас подкупало, вот только удивляла феска с кисточкой.

— Зарубите себе на носу! — продолжал инструктор. — Пока вам не будет подана команда «сесть» или «встать», никто не должен этого делать. Сесть!

Я шумно плюхнулся на скамью, остальные стояли в недоумении.

Инструктор вытянул шею:

— Та-а-к. Вон там, который сел сейчас... Тринадцатый! Как твоя фамилия?

Я встал, назвал себя.

— Та-ак! Молодец, тринадцатый! — и взял в руки журнал.

У меня захватило дыхание: «Ну, сейчас пропал!.. Черт меня дернул плюхнуться!..»

— Тарасов, Терентьев, Тимофеев, Турбаев, — вполголоса читал инструктор. — Гм! Почему тебя здесь нет?

— Не знаю, товарищ инструктор, — еле слышно пролепетал я.

Инструктор закрыл журнал.

— Сесть! — вдруг скомандовал он.

Все сели.

— Недружно садитесь, как торговки на базаре. Встать!.. Сесть! Встать!.. Сесть!

Через пять минут все вставали и садились дружно, враз.

Инструктор снова взял журнал.

— Андреев!

— Тута-а!

— Это что еще за «тута»?! Надо встать и ответить: «есть!» Понял?

— Понял, товарищ инструктор, — вскочив, ответил тот.

— Молодец. Садись. Архаров!

— Есть!

— Ахметов!

— Есть!

Началась перекличка, а я сидел ни жив ни мертв. Что-то будет? Что-то будет?..

— Все! — сказал инструктор и строго посмотрел в зал. — Есть такие, кого я не вызывал?

— Есть! Есть! — раздалось десятка два голосов.

— Запишем.

И он внес всех в книгу. У меня отлегло от сердца, но не очень. А вдруг?..

Теперь живем!

Ах, если бы не это мое шаткое положение, каким бы счастливым человеком я себя чувствовал! Здесь, в мастерских, казалось, сам воздух был насыщен романтикой полета. Я не мог без волнения смотреть на разобранные самолеты, такие сложные и вместе с тем такие простые.

Вот стоят в стеллажах крылья, громадные, глазом не объять. А ведь они были в воздухе, парили, поднимали летчиков и пассажиров. А фюзеляж-то! Освобожденный от матерчатой обшивки, он представлял собой нечто вроде этажерки: сплетение стальных трубок, проволок-растяжек, тросов, подвижных рычагов. Все это надо знать и все это надо уметь отремонтировать. И я смотрел на людей, которые там копошились, как на волшебников.

Самолеты ремонтировались разных конструкций: тут были и отечественные, пассажирские одномоторные, с деревянным крылом и матерчатой обшивкой, К-4 и К-5, и немецкие цельнометаллические «юнкерсы», и даже был один самолет, маленький-маленький, который назывался У-2, и он почему-то приводил меня в умиление.

Нет, все-таки я был счастливым человеком! Во время перерыва, когда курсанты нещадно дымили папиросами в специально отведенном месте, мы с Кириллом бродили среди разбросанных остовов и могли потрогать их рукой и вдохнуть в себя волнующий запах, свойственный только самолетам. Я вживался в них, впитывал в себя романтику полетов: над горами, над лесами, над пустынями. И так мне хотелось быть летчиком или пока хоть, на худой конец, — сборщиком самолетов. Так хотелось! Так хотелось!..

Кирилл тоже хотел быть летчиком, но я замечал, что хочет он как-то по-другому. Его прельщала форма, эмблемы, «золотые» пуговицы и ореол героизма, сопутствующий летчику. Он уже знал почти всех летчиков в лицо и по фамилии. Но наши впечатления от встречи с ними были так непохожи, словно каждый из нас говорил о другом человеке. «Ах, какая форма! Какая форма!» — восхищался Кирилл, а я говорил: «Подумать только, этот человек, может быть, только что был в воздухе, вы-

соко над горами, а сейчас вот идет по земле, среди нас...»

Занятия наши шли полным ходом: мотороведение, самолетоведение, приобретение навыков в обработке металла. Но пока только — навыков. Никакого металла нам не давали. Инструктор терзал нас упражнениями по отработке стойки возле тисков, учил, как правильно брать и держать инструмент, как им пользоваться. И проделывали мы все это... деревянным инструментом! Срамотища да и только! Мы видели во время упражнений, как рабочие в ангаре, взобравшись на стремянки, с любопытством смотрели на нас через застекленную стенку и смеялись, показывая пальцем, и нам было стыдно, так стыдно, что хоть провались сквозь цементный пол!..

А в перерыве — реплики:

— Ну, как поживают ваши деревяшки? Вы их еще не перетерли?

— Ладно зазнаваться! — огрызались ребята. — И вы не с молотком родились!

— Зато мы сразу работали настоящим инструментом, — подтрунивал мастер из слесарного цеха.

— А отчего это у вас, разрешите спросить, левая кисть подбита? — смеялись курсанты. — Уж не молоточком ли заехали?

— Го-го-го! — похохатывали мастера. — Ловко он тебя, Ефимыч, подковырнул, как в воду глядел!

Но программа есть программа, и мы под команду Николая Степаныча «пилили» деревянными напильниками две раздвижные деревянные подставки.

— Рраз-два! Рраз-два!..

А потом нам дали деревянные молотки с длинными ручками. Инструктор объяснил, что нужно делать: взять молоток за самый конец рукоятки и, положив локоть на стол, поднимать молоток только усилием кисти руки. По счету раз — поднять, по счету два — опустить. Поднять — опустить. Поднять — опустить.

— Чепуховое дело! — перешепнулись ребята. — Деревяшку поднять.

Примеряя молоток, я посмотрел через стеклянную перегородку в сборочный цех. Несколько любопытных уже вытягивали шеи, чтобы заглянуть к нам в класс. Один, самый вредный насмешник, бригадир Овчинников, высокий, рябой, балансируя на козелке, старался перейти на крыло соседнего самолета.

— Встать! — прогремела команда. — Приготовиться!.. Ррраз!.. Два!

Ужасающий грохот ста пятидесяти молотков потряс здание. Видно было, как в сборочном цехе шарахнулись от неожиданности клепальщики, а бригадир Овчинников, сорвавшись с козелка, к всеобщей потехе, загремел на лежавшие под самолетом листы старой алюминиевой обшивки.

Инструктор видел все это, глаза его сверкнули смехом, но команды он не прекратил:

— Ррраз!.. Два-а-а!.. Раз! Два!..

На седьмом ударе стала уставать рука, на десятом у многих уже не хватало сил держать молоток, а инструктор все считает и считает.

— Почему задробили?! Что за удар?! А ну, дружно!.. Ррраз!.. Два-а-а!

Грохот получился длинный и недружный. Секундой позже бессильно упал чей-то молоток. Все засмеялись:

— Выдохся товарищ!

А преподаватель по мотору и самолетоведению бортмеханик Константин Петрович Знаменский открывал нам тайны самолета и мотора. Он был полной противоположностью инструктору Сорокину: медлительный, спокойный. Удлиненное с тонкими чертами лицо, большие карие глаза. У него были изящные кисти рук с длинными пальцами, которыми он ловко держал мел или указку. Он не шумел, не кричал, не взрывался, и если случался какой беспорядок, прерывал на полуслове речь и так выразительно смотрел на нарушителя, что тот смущенно умолкал.

Знаменский отлично рисовал, немногословно и толково объяснял. С его уст слетали не слышанные мною волшебные слова, и я записывал их с благоговейным трепетом в свою тетрадь, уже разрисованную схемами рабочих циклов цилиндра, клапанов впуска и выпуска, хода поршня, шатуна и коленчатого вала, схемами крыла и фюзеляжа, с их расчалками, растяжками, подпорками, лонжеронами, нервюрами и стрингерами. И если раньше, когда увидел впервые авиационный мотор — с цилиндрами, трубочками и проводами — или кабину самолета с головокружительной путаницей всевозможных технических приспособлений, меня забрал страх: «Неужели все это можно изучить?!», то сейчас, слушая Знаменского, я постигал смысл его изречения: «Изучить можно все, было бы желание!»

Константин Петрович переносил нас в сказку, волшебную, нежную и героическую. Речь его была плавной, как парящий полет, но твердой, как гранитные скалы. Это вот можно, а это — нельзя. И добавлял: «Ни в коем случае!» И, чтобы мы твердо это усвоили, на каждом уроке повторял: «Любите технику, какая бы она ни была! Не позволяйте грубого отношения к ней, уважайте ее, и тогда вы сможете всецело на нее положиться: она вас не подведет!»

И, наверное, мы слушали и понимали его каждый по-своему. Ахмет Сафаров, например, тот самый узбек, который на первом построении сбился со счета, в перерыве восторженно говорил: «Мотор, а? Ай-я-яй, какой хитрый вещь! Я научусь его делать!»

Слушая Знаменского, Ахмет наверняка представлял себе весь процесс работы двигателя — с его нагрузками и перегрузками, с его рабочими циклами, я же видел в моторе только силу, крутящую воздушный винт. Я мысленно парил над землей. Я сжился со своими устремлениями — быть летчиком, отсюда и такое восприятие.

Учился я с восторгом и скоро уже мог безошибочно нарисовать бензиновую или масляную систему самолета, знал наизусть все узлы, мог точно сказать, сколько роликов имеется в рулевом управлении того или иного самолета и где они стоят. В классном журнале против моей фамилии стояли только высшие отметки: «Очень хорошо». В журнале-то «хорошо», а вот на душе у меня было плохо. Подходил к концу первый месяц учебы, нужно было начислять стипендию, и старшины бегали в контору сверять списки с наличием курсантов, и в бухгалтерии открылась неувязка — списки классных журналов не совпадали со списком приказа. Это мне сказал Дубынин, и я скис. Я рисовал себе самые мрачные картины, переживал позор изгнания.

В своем районе, где я жил, на меня смотрели с какой-то гордостью и с явным уважением. Взрослые останавливались поговорить, ребята моего возраста, все уже работающие, знакомые и даже незнакомые, приветливо здоровались, а мальчишки ходили за мной гурьбой и, глядя с восхищением на мою фуражку со значком «Добролета», называли меня летчиком. Все они как бы считали меня своим посланцем. И вот все это готово было рухнуть. Форму у меня, конечно, отберут, значок снимут. И кто я тогда буду для людей? Они смотрят на меня как бы с надеждой, я в их глазах уже что-то, и вот

это «что-то» вдруг окажется ничем! Обманом. Я обману людей, вот что! И они будут вправе меня презирать за это.

Так терзал я себя, стараясь, однако, не подавать вида, как мне плохо. Я даже расспрашивал Георгия, чем кончилась их беготня со списками. Я ждал, как приговоренный к смерти ждет своего последнего часа. И этот час наступил...

Я занял очередь в кассу. Ребята шутили, толкались. Им было весело, а мне... Я подошел к окошку, несмело, сдавленным голосом назвал свою фамилию. Кассир ткнул пальцем в ведомость и протянул ее мне: «Распишись». Я не верил своим глазам: да, там стояла моя фамилия!

Я отошел от окна, держа в руках пачечку совершенно новых рублевок. Я был богат, как Крез, и я был счастлив. Все волнения остались позади. Теперь я равноправный член этого веселого, славного коллектива будущих младших авиаспециалистов. Теперь мы живем!

Мы—специалисты

В марте нас перевели на практические работы. Стало куда интереснее. Мы получили в руки настоящие напильники, настоящие зубила и настоящие молотки. Теперь мы пилили, резали, рубили самое настоящее железо.

Сначала нам была дана задача: из кусочка полосового железа сделать прямоугольник и обработать обе его стороны «под плиту». Инструктор показал плиту. Ее отполированная, как зеркало, поверхность покрывалась слоем разведенной синьки. Готовую пластинку нужно положить на эту плиту и несколько раз кругообразно потереть. Если пластинка обработана правильно — синька покроет всю ее поверхность, если же нет — то будут окрашены только выпуклости.

— Ну, это ерунда! — загалдели ребята. — Сделаем!

Я был такого же мнения.

Заскрипели напильники, запахло паленым железом. Хорошо!

На зависть товарищам у меня раньше всех определились контуры пластинки.

Справа от меня трудился Сафаров Ахмет. По тому, как он работал, было видно, что человек никогда не держал в руках напильника. У меня уже почти вся пла-

стинка опилена, а он еще только вторую грань обрабатывает.

Я показал ему свою работу:

— Ахмет, смотри, а у меня уже почти готово!

Ахмет широко улыбнулся. У него были ровные белые зубы и добрые-добрые глаза, и когда он улыбался, то казалось, что все вокруг словно позолотой покрывается.

— А-а-а, карашо, карашо, — сказал он. — Твоя бистра работаешь, я так не умей.

Я снова зажал пластинку в тиски и несколькими взмахами напильника выровнял четвертую грань. Кажется, все. Теперь надо обрабатывать плоскость. Под плиту. Ах, да — забыл! Надо же проверить углы.

— Ахмет, подай, пожалуйста, угольник. Рахмат. Спасибо.

Я оглянулся: нет ли где поблизости Николая Степановича. Нет? Жаль. Он бы непременно похвалил.

Приложил угольник к пластинке и тут же, как бы для того, чтобы лучше разглядеть ее, повернулся к Ахмету спиной. Стыд ожег мне щеки огнем: угол получился тупой! Приложил к другой стороне — острый! Вот тебе раз! Не так-то, оказывается, просто — сделать под угольник, а как же тогда под плиту?..

Три дня провозился я со своей пластинкой, добиваясь ровной поверхности. Принес ее домой, показал отцу. Тот надел очки, взял металлический угольник и, держа пластинку на уровне глаз, провел им по поверхности. Лицо его выразило удивление. Я зарделся от удовольствия: сейчас он меня похвалит! Отец провел еще раз, задумчиво снял очки:

— Да, сынок, работа редкостная. И как это ты умудрился вынуть середину и не тронуть края?

Я торопливо засунул плитку в карман.

Эти дни, работая у тисков, многие, как бы невзначай, становились спиной к инструктору, когда он проходил по рядам. Но у того глаз острый:

— А ну, покажи!

Курсант краснел и готов был провалиться сквозь землю.

— То-то! А вы говорили — ерунда.

Плитку я все-таки сделал. Другую. И взялся за рейсмус. А медлительный Сафаров, между прочим, сделал уже рейсмус и взялся за плоскогубцы. Поделки его были самые лучшие и пошли на выставку.

— Ювелирная работа! — так отозвался о поделках Ахмета Николай Степаныч. — Золотые руки!

Апрель. Припекает солнце. С могучих тополей падают лохматые сережки. Шумит молодая листва, покрытая клейким глянцем. Из густой травы тянет горячей влагой и волнующе-вкусно пахнет грибами.

Учеба наша кончилась. Завтра — на работу. Уже объявлен приказ о присвоении нам звания «младший авиаспециалист» и о распределении по бригадам и цехам. Все разбились по группам. Вон там, в тени акаций, лежат будущие клепальщики, у кузницы расселись завтрашние мотористы. Мастера паяльного дела ушли в медницкий цех. Ахмет Сафаров — один из всех! — пошел в техническую лабораторию. Парень, пришедший из кишлака, откуда-то из-под Ангрена, оказался настоящим мастером. С ним начальство носится. Говорят: «Подает большие надежды» — и послали на выучку к мастеру-лекальщику.

Я — сборщик. Сборщики самолетов, пренебрегая скамейками, стоящими в тени тополей, разлеглись на траве. Вон они — самолеты! Разных конструкций и назначений. Поцарапанные, грязные, кое-как укрытые рваными чехлами. Все они пройдут через наши руки. Мы их разберем, рассортируем по частям, и каждый из нас будет делать свое дело. Георгий Дубынин, например,— клепальщик. Он «разошьет» самолет, сняв с него старую алюминиевую обшивку, и когда обнаженный скелет фюзеляжа, его стальные узлы и рамы побывают в руках слесарей, снова обошьет его серебристым алюминием. Остальное сделают сборщики. Они соберут из разных цехов все «кишочки» самолета и начнут их собирать воедино. Да! Еще мотор! Это самая важная часть самолета — его сердце. Тут нужно особое мастерство. Кирилл пошел в моторный цех. У него хватка моториста и, кроме того (а это было, пожалуй, для него самым главным), там выдают красивую спецовку: кожаное пальто-реглан на меховой подстежке, а тем, кто работает на стенде,— шлем с очками и перчатки с крагами.

Появился Николай Степанович. Одет по-летнему, во всем белом: белые брезентовые туфли, белые брюки, рубашка-косоворотка, вышитая украинским орнаментом, шелковый витой поясок с кисточками, на голове — непривычная для нас белая фуражка. Глаза веселые, добрые.

Сбежались ребята, окружили, радуются:

— Здравствуйте, Николай Степаныч!

— Здравствуйте, ребята! Попрощаться пришли?

— Попрощаться. Спасибо вам за все!..

Сорокин растроган, взволнован не меньше нашего.

— Ну, что вы, что вы! Это вам спасибо, что хорошо учились.

Он сел на скамью, широким жестом пригласил нас. Мы уселись вокруг. Густо пахла примятая трава, шелестели листвой тополя, лучики солнца пучками игл пронизывали ветви, все сияло, искрилось, радовалось с нами: мы — специалисты!

Я и наш секретарь комсомольской организации Сазонов попали в бригаду Александра Овчинникова. Не очень-то мы обрадовались такому назначению: никто так не смеялся над нами, как он, но, вспомнив про его падение тогда в ангаре со стремянки, мы утешились: в случае чего можно будет и напомнить ему.

Все, конечно, было непривычно для нас, когда мы пришли на работу. Битый час искали бригадира. Наконец нашли — в курилке. Увидев нас, он криво ухмыльнулся, бросил окурок в бочку с водой и нехотя поднялся. Он был еще молодой, но как-то по-стариковски развинчен. Высокий, костистый, с рябым квадратным лицом и невыразительным взглядом зеленоватых глаз.

— Пришли, работнички? — сказал он и, сплюнув в бочку, полез пятерней себе под кепку. Всем своим видом он так и старался показать, что мы ему вовсе не нужны и в общем-то даже в тягость.— Ну, ладно, пошли уж... получать инструмент.

И тут я вспомнил другого бригадира — богатыря Сергея Одинцова, и как он встретил меня, и как выдавал мне «струмент», первый в моей жизни. Сейчас я буду получать уже «инструмент», и уже в другие руки. Николай Степаныч научил нас владеть атрибутами слесарного дела. Молоток, зубило, напильник, гаечный ключ, ножовка, дрель — все ловко вливалось в ладонь.

Овчинников подвел нас к инструментальной, заполнил бланк требования на два комплекта инструмента. Пожилой кладовщик с длинным морщинистым лицом, в черном халате и в очках, едва державшихся на кончике острого носа, брякнул на стойку две новеньких запломбированных брезентовых сумки:

— Получайте, молодые люди!

— Спасибо.

Я не без трепета взял в руки тяжелую сумку. От нее

остро пахло брезентом, железом, маслом и чуточку грушевой эссенцией. Как мне хотелось поскорее посмотреть, что там? А бригадир скребет пятерней в затылке. Наконец он полез в карман потертых штанов и вынул связку ключей. Выбрал один, с погнутым колечком, отцепил, протянул не глядя неизвестно кому:

— Это вам.

Алексей взял ключ.

— Наша кладовая номер два... Гм... Отоприте ее, и там... Э-э... переберете инструмент.

Говорил он медленно, тягуче, с паузами и раздражающе гмыкал. а мы стояли, как на раскаленных углях: нам бы работать поскорее!

На комсомольском собрании мы постановили: утереть нос (это, конечно, в протоколе не было записано: «утереть», но смысл остается), утереть нос тем, кто над нами смеялся, когда мы упражнялись с деревяшками, и работать так, как нас учил Константин Петрович: не швырять детали на пол, как это, мы видели, делают некоторые работнички, бережно относиться к горючему и смазочному (а то мы сами видели, как они бензином сурков из нор вымывают и масло льют направо и налево), поддерживать в кладовых и возле стоянок идеальный порядок и чистоту, строго соблюдать противопожарные правила и, составив график работ, выпускать самолеты из ремонта не через три-четыре месяца, как они делают это сейчас, а по крайней мере в два раза быстрее.

Настрой у нас был самый боевой, а тут вот стой и смотри, как бригадир скребет себе затылок.

Наконец он что-то придумал:

— Ну вот, э-э-э... Гм... На сегодня все. А сейчас я Гм... Поеду... Э-э-э... Вулканизировать камеры.

Мы с Сазоновым оторопело переглянулись.

— И это все? — удивленно переспросил Алексей.

— Все,— равнодушно ответил бригадир.— А тебе что, мало? Гм... Завтра начнем разбирать во-он ту... калошу, Ю-21. Пока!—И, повернувшись, зашагал прочь. — Да! — вдруг обернулся он. — Инструмент числится за вами, так что-о... смотрите за ним в оба.

— Как это «в оба»? — торопливо спросил я.— Воруют, значит?

— Ну, зачем воруют! — ухмыльнулся бригадир.— Берут. У раззяв. Ясно?

— Куда уж ясней,— согласился Сазонов.— Ну и ну-у-у...

Длинная пристройка у высокой кирпичной стены ангара разделена на секции — это и были кладовые бригад, где уже копошились наши ребята.

Ржавый висячий замок долго не поддавался нам, пока мы не догадались окунуть ключ в стоявшую возле порога баночку с маслом.

Кладовая нас разочаровала. Замусоренный стружками земляной пол, поросший вдоль стен свинороем. Верстак с тисками завален разным металлическим хламом, по стенам — стеллажи, тоже с хламом. (А Знаменский нам говорил о культуре рабочего места!) Прямо у входа — опрокинутое вверх дном ведро, наверняка заменяющее скамью, потому что тут же лежал противень с разными болтами, болтиками, шайбами, шплинтами, а рядом — втоптанный в землю окурок, который немало нас удивил: значит, здесь, в нарушение правил противопожарной безопасности, еще и курят?!

Мы с Сазоновым молча переглянулись и без слов поняли друг друга. Нам нужна была работа? Вот она!

Изрядно устав, управились только к концу рабочего дня, зато кладовая стала — любо посмотреть!

Бригадира мы в этот день так и не видели, о чем, впрочем, и не сожалели.

Молодой человек, вам надо летать!

Утром, словно сговорившись, мы пришли на работу почти одновременно. Бригадир чуть-чуть нас опередил. Он подошел к кладовой, отпер замок, открыл дверь. И тут же, отпрянув, закрыл. Лицо его выражало удивление. Посмотрел на ключ, на замок, отошел шага на три, отсчитал двери: все правильно — вторая! Снова открыл и несмело, как в чужую, перешагнул через порог.

Буркнув что-то нечленораздельное в ответ на наше «Здравствуйте, Александр Васильевич!», он переоделся и, рассовав по карманам инструмент, молча вышел из кладовой.

У меня защекотало под ложечкой от обиды, а у Сазонова задергались щеки. Мы ждали похвалы, а вместо этого — такое безразличие!

Мы взяли свои сумки.

— Пошли уж...

— Пошли.

Овчинников лениво сдергивал с самолета чехлы.

— Прикатите бочку, — сказал он в пространство. — Бензин слить.

Я кивнул Алексею и побежал за бочкой. Прикатил, подогнал ее под самолет, отвинтил пробку и вспомнил: шланг с воронкой лежат в кладовой. Сбегал, принес. Один конец шланга сунул в отверстие бочки, другой, с воронкой, прицепил к сливной трубке.

Овчинников с Алексеем, стоя на стремянках, выдергивали шпильки из моторного капота.

— Можно сливать, Александр Васильевич? — спросил я.

— Сливай, — глухо ответил тот. — Знаешь как?

— Знаю.

— Удивительно!

«Ладно, ладно, куражься, куражься, будет и на нашей улице праздник», — подумал я, забираясь в пилотскую кабину.

Пока мы учились, я много раз побывал в этом святилище. И всегда меня охватывало глубокое волнение. Вот и сейчас пилотское кресло с привязными ремнями, ручка управления, педали, сектор газа и опережения, приборная доска с поникшими стрелками и запах, свойственный только самолету, все это такое желанное!.. Я зажмурил глаза и представил себя в полете. Реально представил, без сомнений: а смогу ли я управлять самолетом? Смогу! Мне бы только в школу попасть...

Открыл кран, прислушался: бензин, журча и хлюпая, полился в бочку. Все в порядке!

Раскапоченный Ю-21, высоко стоящий на несуразно голенастых шасси, стал похож на насекомое — богомола, а мы — на хирургов, копошащихся в его «кишочках». «Кишочек» было много, и все их надо было аккуратно отсоединить.

Мы подготавливали к съемке мотор и сейчас делали каждый свое дело. Овчинников обмяк. Сначала он со скептическим недоверием смотрел, как мы работаем ключом и отверткой, и лишь часа через полтора, хмыкнув, сказал одобрительно: «Ничего — пойдет». И потом только изредка давал короткие команды: «Поддержите снизу! Гм. Так, хорошо! А теперь осторожно — бородком!..»

Сам он работал быстро и красиво. Движения его рук были точны. Уж если он накладывал ключ на головку

болта, то сразу — без примерки, а отвертка так и мелькала у него в пальцах, словно сверло в головке дрели.

Уже к обеду у нас наладились молчаливо-добрые отношения, и, когда прозвучал гонг, бригадир, словно бы нехотя, слез со стремянки и, вытирая ветошью руки, сказал с ноткой удивления в голосе:

— Ну и ну-у-у! Гм. Что-то мы сегодня много сделали.

Самолет мы разобрали за четыре дня и все его «кишочки» в укомплектованном виде разнесли по цехам. И во всех цехах уже трудились наши парни. И было так приятно, когда подходит к тебе мастер, какой-нибудь твой дружок по курсам, в фартуке и рукавицах, и этаким солидным баском: «Здорово, браток! Ну, что тут у тебя? Ага — бензомасляная проводка! Бирку прицепил? Хорошо: отожжем, припаяем, сделаем новую. Будь спокоен — выйдет первый сорт!»

Мы приступили к разборке второго самолета, когда к исходу дня в воздухе появился какой-то невиданный мною пассажирский самолет. Сделав над аэродромом круг, он плавно приземлился и, подрулив к нам на стоянку, выключил мотор. Четырехлопастный воздушный винт, покрутившись с тихим шуршанием, остановился. Открылась дверь. Надтреснуто звякнув, опустилась на землю алюминиевая лесенка, по которой солидно сошел невысокого роста, лысый, с одутловатым лицом и заметным брюшком пожилой человек.

— Летчик, — сказал Овчинников. — Семенов. Гм! Интересно — не набрался! Трезвый, как стеклышко. Удиви-тельно!..

Семенов, не оглядываясь, направился в мастерские, а в проеме двери появился второй человек, сухопарый, высокий, в пенсне. Белая рубашка аккуратно заправлена в брюки, черный галстук, фуражка с эмблемой.

— Бортмеханик, — с почтением в голосе сказал Овчинников. — Петровский. Умница и летает хорошо.

— Как летает?! — удивился я. — Водит самолет?

— Да, а что же? Нужда научит.

— Какая нужда? — не понял я.

— Выпивоха этот Семенов. Пьет прямо в полете. Наберется до беспамятства и укладывается спать, а Петровский ведет самолет. Сам взлетит, сам и посадит. Умница, одним словом.

Петровский, легко сойдя на землю, принялся засучивать рукава. Увидел нас, махнул рукой:

— Ребята, помогите зачехлить машину!

Мы с Алексеем кинулись наперегонки.

Самолет носил красивое название: «Дорнье-Меркурий». Он и сам-то был красив. Толстое гладкое крыло с округлыми мягкими формами несло под собой объемистый и тоже гладкий фюзеляж с квадратными окнами — иллюминаторами. Эта гладкость придавала самолету ощутимую легкость, изящество, и стоявший рядом с ним весь гофрированный Ю-21 казался грубой, неотесанной железкой, которую если и можно было как-то сравнить с «Дорнье», то лишь только для того, чтобы удивиться — и как это такой кусок гофрированного металла может подняться в воздух?!

Петровский, и сам изящный, сверкая стеклами пенсне, помогал нам разобраться в аккуратно сложенных чехлах. Сам подтаскивал стремянку, взбирался на нее и ставил струбцинки на элероны, на руль поворота и рули высоты. Все это он делал легко, красиво, привычно, разговаривая при этом с самолетом, как с живым:

— Ну вот, мой хоро-оший, сейчас мы тебя при-и-вяажем, закрепим рули...

Я смотрел на Петровского, как на чудо, спустившееся с неба. Он заметил это, пытливо взглянул на меня и, ткнув мне пальцем в грудь, вполне серьезно сказал:

— Молодой человек! У вас много восторженности. Это хорошо. Вам надо летать! — И, отвернувшись, засвистел веселый мотивчик. А потом ушел, вежливо распрощавшись и оставив в моей душе бурю неосознанных чувств.

Теперь каждый день, работая, я то и дело посматривал на «Дорнье». Он стоял рядом с нами и был мне почему-то близким, волнующим, родным. То ли меня покорял его необычный четырехлопастный винт, то ли оттого, что в ушах моих все еще звучали слова бортмеханика Петровского: «Молодой человек, вам надо летать!»

Мне очень хотелось побывать в кабине «Дорнье», посидеть в кресле пилота, потрогать рули управления, посмотреть на приборы, вдохнуть в себя запахи кабины, от чего так сладко кружится голова.

Мы с Овчинниковым отвинчивали систему бензопровода. Бригадир лежал в фюзеляже Ю-21 и плоскогубцами придерживал гаечки, а я снаружи орудовал отверткой.

— Слушай, — прогудел из фюзеляжа бригадир. — Чуть не забыл! Завтра мы будем снимать мотор с «Дорнье», вот тебе... Гм... ключ от него. Там в багажнике

лежат компрессии, сходи и принеси парочку. Гм!.. Гм!..
И просунул мне ключ в щелочку.

Забыв обо всем на свете, я жадно схватил маленький плоский ключик.

— Да быстрей поворачивайся! — кричит бригадир.

Я хотел побежать, да спохватился: «Стоп!.. Компрессия... Две компрессии... Чего он городит?! Компрессия, это когда оба клапана в цилиндре мотора закрыты и поршень сжимает засосанную смесь. Вот что такое компрессия! Ее нельзя принести, и она не измеряется штуками. Ясно — он меня разыгрывает!»

— Александр Васильевич! — жалобным тоном взмолился я. — Пойдемте вдвоем, а то я один не донесу...

— А ты по одной! — кричит бригадир.

— Все равно не донесу, они тяжелые...

Овчинников смеется:

— Ну, тогда иди просто так, посмотри самолет, а я пойду перекурю.

Мы пошли вдвоем с Алексеем. Я отпер дверь. На нас пахнуло жаром нагревшегося от солнца пассажирского салона и целым букетом прочных авиационных запахов.

Лесенка лежала тут же. Я приставил ее и первым шагнул в салон. Ноги мягко ступили на широкую ковровую дорожку, устилавшую пол между двумя рядами пассажирских кресел, искусно сплетенных из тонких ивовых прутьев. Квадратные иллюминаторы задернуты шелковыми занавесками, что создавало в салоне таинственный полумрак. Впереди виднелась полуоткрытая дверь пилотской кабины. Чуть поскрипывал под ногами пол. С бьющимся от волнения сердцем я вошел в кабину пилота. От наброшенных снаружи чехлов здесь было почти темно, но я хорошо разглядел большую приборную доску с круглыми циферблатами термометров, манометров, высотомеров. Два сиденья, два штурвала. Под сиденьями — бензиновые баки, выкрашенные ярко-желтой краской.

Осторожно, как святыню, тронул штурвал, погладил кожаную спинку сиденья, подушку, привязные ремни, секторы управления мотором. Здесь сидел летчик. Он пользовался этими ручками, держал штурвал, смотрел на эти приборы. Через эти стекла он видел сверху города, села, реки. Смотрел на горы и пустыни...

Осмелев, я забрался в кресло пилота, поставил ноги на педали ножного управления, обеими руками, чуть

только, слегка, взялся за штурвал. Вот она — моя мечта!..

Меня привел в чувство будничный голос Сазонова:

— Ничего машина! Пойдем отсюда, жарко тут.

Заусеницы в работе

У Сазонова украли разводной ключ и плоскогубцы. Ну, только что вот положил на стремянку — и нету! Стали вспоминать, кто здесь был, кто проходил. Многие были, многие проходили, разве всех упомнишь?

Ребята всполошились — неприятно. Старые работники, у которых тоже стал часто пропадать инструмент, обвиняли цитовцев: «Ваши воруют!» — «А что, до нас все гладко было? — огрызались ребята. — Тоже воровали!» — «Воровали, да не так. Редко, по мелочам. А тут уж вон какой размах».

В обеденный перерыв собрались в курилке. Сидим, гадаем — кто? Дубынин хмурится, ворчит: «Заусеницы в работе. Наш, не наш — надо поймать. Кто возьмется за это дело?»

Решили, что комсомольцы все в ответе за это воровство. Всем и надо проявлять бдительность.

А мы с Сазоновым вспомнили одну историю и, поразмыслив, сошлись во мнении, что вором может быть цитовец из четвертой сборочной бригады Колька Жиганов, по прозвищу Хорь. Препротивная личность! Лодырь несусветный, балаболка и циник. Сидим мы, например, в кладовой, сортируем ролики и болты, а он — тут как тут! Сядет на ведро, как на горшок, и пошел трещать. И намекали ему, и прямо говорили: «Иди, не мешай, надоел!», а с него — как с гуся вода. Однажды сел так, провалился в ведро и застрял. Противно.

Решили мы тогда проучить болтуна. Подсоединили к ведру длинный провод, замаскировали его и на другом конце, за углом сарая, пристроили пусковое магнето: покрутишь ручку — возбуждается ток, слабый-слабый, лампочку от карманного фонарика не зажжет, а по напряжению — высокий, до 12 тысяч вольт. Бьет сильно, но совершенно безопасно.

Сидим, перебираем болты. Ведро рядом стоит, ждет своей жертвы. Приходит Кирилл — и на ведро! Мы с Алексеем прыснули смехом.

Кирилл насторожился:

— Чего вы?

Пришлось открыть секрет. Кирилл расхохотался и пересел на ящик.

На наш веселый шум появляется фигура. Он! Рыжий, волосы сосульками, глаза зеленые, быстрые.

— Чего смеетесь? — и тут же на ведро. Уселся плотно, заулыбался. — Хо-орошее кресло! Гы-гы!.. Хотите, новый анекдот расскажу? В некотором царстве, в некотором государстве...

— Знаешь что? — перебил я его. — Катись-ка ты отсюда со своими анекдотами! Что тебе — работы нет?

Жиганов живо повернулся вместе с ведром.

— А работа дураков любит!—нагло отозвался он.— И еще — от работы лошади дохнут. Гы!

— Ну, как хочешь, — сказал я. — Мое дело тебя предупредить. — И кивнул Сазонову. Тот поднялся, перешагнул через порог.

Жиганов проводил его взглядом сожаления: уходит слушатель, а ему так хотелось поскорее рассказать анекдот!

— Ты скоро?

— Сейчас, — обернувшись, хохотнул Алексей. — Ну, прямо вот только за угол зайду.

— А-а-а, — понимающе закивал Жиганов. — Валяй.

— Валяю! — уже издали отозвался Алексей.

Кирилл помирал со смеху:

— Ну, Колька, так, значит: «Жили-были...»

Жиганов, поблагодарив Кирилла взглядом, положил ногу на ногу и, еще плотнее утвердившись в ведре, привалился спиной к полке.

— Ну, так вот, слушайте: «В некотором царстве, в некото...»

В ту же секунду, дико заорав, он неистово дрыгнул ногами, вместе с ведром взлетел вверх, упал и, продолжая вопить, на четвереньках вылетел за дверь. Потом, уже издали, он поносил нас разными словами и обещал, что мы попомним этот случай.

Больше он к нам не показывал носа. И вот — эта досадная пропажа! Мы с Сазоновым догадывались, что это была месть Жиганова. Пока пострадал Сазонов, значит, теперь очередь будет за мной? А нельзя ли как-то эту версию использовать? Пойти ему навстречу? Положить на виду инструмент и откуда-нибудь подкараулить?

— Надо опять магнето применить, — предложил

Алексей. — Чтобы схватил и заорал, а то так-то рискованно — слизнет, и будь здоров!

Так и решили. Раздобыли длинный провод, один конец присоединили к фюзеляжу своего самолета, который, распластав крылья, лежал без шасси на козелках, другой протянули к стене ангара, где в стеллажах стояли старые крылья от самолетов К-5. За крыльями и сделали наблюдательный пункт.

Разложив инструмент на крыле, Алексей залез в фюзеляж, а я с магнето примостился за крыльями. Отсюда мне все было видно хорошо: и крыло, и лежащий на нем инструмент, и людей, которые проходят мимо. Раза два прошмыгнул Жиганов, но вида не подал, даже и не посмотрел. И мне уже неловко стало, может, зря подозреваем человека? И уже сидеть мне надоело, и интерес пропал. Вдруг вижу — из-за соседнего самолета рыжий клок выглядывает. Пригляделся — Жиганов! Ну, погоди ж ты у меня!

Рыжий клок ближе. Сделал перебежку, нырнул под стабилизатор и притаился. Мне он виден сейчас весь: сидит на корточках, выглядывает, как хорь из норы, стремительно и хищно. Алексей в фюзеляже гремит инструментом. Вот он появился в проеме двери пассажирской кабины, держа в руках снятое сиденье, вылез на крыло с другой стороны, спрыгнул на цементный пол. Жиганов выпрямился, одним прыжком подскочил к инструменту, оглянулся — не видит ли кто. Я, озлившись, бешено закрутил ручку магнето. Жиганов, еще раз оглянувшись, потянулся рукой к инструменту...

Дикий вопль, звон выпавшего из рук разводного ключа, рык Алексея, все слилось в единый звук. Сбежались люди. Вор пойман, все ясно. Сазонов разжимает пальцы, державшие за ворот Жиганова.

Гул голосов:

— У-у-у, в-ворюга!

— Набить ему морду!..

Прибежал Дубынин.

— Зачем? Пусть скажет, куда девал ворованное.

— Так он и сказал!

— Скажет. Ведите его в кладовую четвертой бригады, надо там поискать.

Повели. Жиганов показал, где искать. В углу, под хламом, в ящике лежали ключи, отвертки, дрели, плоскогубцы. Алексей тотчас же нашел свой инструмент, помеченный керном, обрадовался и обмяк:

— Зачем же ты таскал, дурак?

Жиганов судорожно шмыгнул носом:

— Да так, по привычке. Хотел бы нажиться, давно уж продал бы.

И по поводу истории с Жигановым был у нас на комсомольском собрании хороший разговор, потому что, как-никак, хоть Жиганов и не был комсомольцем, но был цитовцем, и мы за него перед всем коллективом были в ответе. Многие кричали тогда: «Выгнать!», а потом решили все-таки оставить: сам взмолился и попросился в медницкий цех. Ну что ж, может быть, там он найдет себя?

Пожар

Моего напарника Алексея Сазонова вдруг взяли учиться на комсомольские курсы, и я остался один.

Овчинников сказал:

— Сегодня... Гм! Будем на «Дорнье» мотор снимать. Надо кого-то на помощь взять. Из моторного цеха. У тебя там есть дружки? Сбегай.

— Ну как же, конечно, — Виноградов Кирилл! — обрадовался я. — Толковый парень!

— Ну вот и валяй.

Откровенно говоря, я в моторный цех давно не заглядывал. Этот цех для меня был святая святых, и ходить туда зря я считал неуместным. Только у Кирилла спрашивал: «Ну, как?» — «Ничего, — говорит, — собираем моторы». И вот сейчас был предлог, и я побежал.

Заглянул в сборочный:

— Виноградов здесь?

— Нету такого!

— Как это «нету»? Виноградов, Кирилл!

— Да так. Нету — и все тут!

В ремонтном тоже не оказалось. Я почесал в затылке: где же его искать? И тут меня кольнула догадка, и стало как-то больно за товарища: такой способный парень!..

Заглянул в моечный, увидел его и все понял!.. Понуро опустив голову, он стоял перед ванной, до половины наполненной керосином, и неприязненно смотрел на картер, с которого ему предстояло смыть застарелую грязь.

Все мечты его рушились прахом. Определяясь на курсы мотористов, он думал, что сразу же после их окончания ему поручат испытывать на стенде отремонти-

рованные моторы, а его послали на промывку! Возись вот тут с этими картерами, цилиндрами, шатунами, коленчатыми валами, отмывай грязь... Как все это скучно и неинтересно.

Кирилл вздохнул и, почувствовав на себе мой взгляд, поднял голову, смутился, покраснел, а потом махнул рукой:

— Все равно уж... Заходи. Помоги мне картер поднять.

— А я за тобой, Кирилл, — смущенно сказал я, помогая ему положить в ванную картер. — Нам нужен моторист на помощь, попросись к Овчинникову.

Кирилл ответил не сразу. Он поднял было глаза на меня, но, встретившись с моим настороженным взглядом, отвернулся.

— Что, не хочешь? — спросил я. — Ты не хочешь помочь нам снять мотор?!

— Да нет, — растерянно пробормотал Кирилл. — Не в этом дело. Понимаешь... Я подумал сейчас, что, может быть, мне вообще попроситься к вам в бригаду — самолеты собирать?..

— Как самолеты? — удивился я. — А моторный цех? Разве ты не хочешь изучить мотор?

— А что его изучать-то? — ответил Кирилл. — Я его уже весь изучил. Каждый болтик, каждую гаечку знаю. Хочешь, расскажу систему смазки или как зажигание отрегулировать?

Я промолчал. Мне была известна его способность схватывать все на лету, и втайне я завидовал ему в этом. Но мне известна была также и его слабость — забывать схваченное, скоро охладевать ко всему и самое обидное — не ставить перед собой никаких целей, никаких задач. Он всегда смотрел с благоговением на летчиков и бортмехаников, старался подражать им во всем: в манерах разговаривать, в походке. Считая их сверхчеловеками, не допускал даже и мысли о том, что при желании он и сам мог бы быть и летчиком, и бортмехаником.

— Понимаешь, — продолжал Кирилл, нервно теребя в руках тряпку. — Я вот... завидую тебе: ты хочешь быть летчиком, а я... я тоже хочу, но... ты будешь им, а я... Я нет! — Он снова вздохнул и, намочив в керосине тряпку, принялся ожесточенно тереть ею картер.

Я не знал, что сказать ему на это, но решил попробовать воздействовать на его самолюбие.

— По-моему, Кирилл, ты не хочешь быть летчи-

ком,— деланно усмехнулся я. — Надо хотеть сильно и каждый день, каждую минуту, тогда...

— Ах, оставь ты свою философию! — перебил он меня. — Слышал, знаю, что ты хочешь сказать! Но... Ты пойми, — он болезненно поморщился. — Я скажу тебе как другу: я боюсь летать. Да-да, боюсь! Чего уставился? Страх, понимаешь? Он всегда со мной. Ты, например, вечером ходишь с работы через кладбище, а я... я боюсь там ходить даже днем. Нет, нет, не спорь. У нас с тобой разное воспитание. В детстве меня пугали «буками», приучали к перинке, к теплу. По утрам умывали теплой водичкой, пичкали булками, сладостями. Вот и... напичкали! Нет, куда уж там быть мне летчиком!..

Мне стало жаль своего друга. Я давно замечал за ним непонятные вспышки раздражительности и хандры, но догадаться о причинах не мог. И наверное, очень уж наболело у него на душе, если он решился признаться в этом вслух.

— А кем же ты тогда думаешь быть? — растерянно спросил я его.

— Не знаю, — с грустью ответил Кирилл. — У меня такая неразбериха в голове. Вот, может быть, еще сборщиком поработать? Только не пустят, я уже знаю. Просился.

— Ну, а сейчас-то придешь?

— Приду. На один-то день отпустят.

Когда мотор был поднят на талях и «Дорнье» откатили в сторону, я, подставив высокую стремянку, с ведром в руке полез на подмоторную раму. Из пилотской кабины до меня доносился невнятный разговор между Овчинниковым и Кириллом.

Моторама вся в паутине отсоединенных проводов и трубочек: масляных, бензиновых, воздушных. В узлах — промасленная грязь, песок. Все это надо было тщательно прочистить и промыть. Работа кропотливая и долгая. Сейчас я наберу в ведро бензина, и мы с Кириллом примемся за дело. Разыскав конец толстой бензиновой трубки, я подставил под нее ведро.

— Эй, в кабине! Откройте бензиновый кран!

— Есть открыть! — послышалось в ответ.

Скрипнул кран, и толстая струя бензина полилась в ведро. Прозрачная, голубоватого цвета жидкость, распространяя сладковатый запах первосортного авиационного бензина, булькая и разбрасывая брызги, наполняла по-

суду. Вот уже три четверти ведра. «Пожалуй, хватит»,— подумал я и только хотел крикнуть, чтобы закрыли кран, как под ведром с легким треском проскочили синие электрические искры, — и вввах! — передо мной заплясали языки пламени...

Я в ужасе отпрянул.

«Что это?!. Откуда?!. Чудовищно! Невероятно!.. Страшный сон?!.»

Доли секунды я смотрел на колеблющиеся языки пламени, еще вялые и робкие, готовые угаснуть, так как они уже съели разбрызганную порцию бензина, но в следующую долю мой взгляд переместился на застывшую, как мне показалось, струю горючего, и уж потом я начал осознавать трагичность положения и верить тому, что это не сон... И тут же мысль: «Пламя надо накрыть брезентом! Чехлы! Они на земле... Долго, не успею...» А бензин льется!..

— Вввах! — вспыхнуло ведро. В кабине вскрик, топот ног, и я, отрезвев, спрыгнул вниз, за чехлами...

— Пожа-а-ар!! — раздался чей-то дикий голос.

Словно во сне, я схватил чехлы, влетел на стремянку, набросил брезент на ведро, и пламя почти погасло, остались маленькие язычки, а бензин льется, льется струей, брызжет горючими искрами мне на куртку, на руки...

Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь!.. — бьет набат.

Кто-то сдернул меня со стремянки. Падая, я видел бегущих людей. С меня сорвали блузу, затушили огонь.

Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь!..

— Пожа-а-а-ар!!

Топот ног, тяжелое дыхание. Как на экране в кино, замелькали в ускоренном темпе фигуры людей.

— Огнетушители!

— Давай, давай скорей!

— Песок!.. Скорей песок!..

— Туши!..

Меня оттолкнули в сторону. Я видел, как в самолет вбежали двое. В открытую форточку пилотской кабины выглянул бортмеханик Петровский.

— Огнетушитель!

Кто-то стукнул огнетушителем о землю и потянулся, чтобы передать. Пенная струя ударила Петровскому в лицо, сбила пенсне.

— Давай! Давай! — отплевываясь, кричит Петровский.

— Ох! Да они же сидят на баках с бензином! Взорвутся!

В форточке опять лицо Петровского:

— Заткнись!.. Огнетушитель!

Примчалась пожарная машина. Быстро размотав короткий шланг, пожарники выпустили из широкого раструба поток густой розоватой пены. Пламя сразу же пошло на убыль и погасло.

Пожар ликвидирован. Расходился народ. Укоризненно взглянув на меня, мимо прошел мокрый и оборванный Дубынин. Петровскому поливали водой на грязные, в кровь израненные руки. Он промывал глаза.

— Щенки! — буркнул, проходя, усатый мастер из клепального цеха.

Все разошлись. Голый по пояс, я стоял, прислонившись к столбу и чувствовал себя маленьким и ничтожным. Перед глазами все еще маячили оранжевые языки пламени, мелькали фигуры людей, в ушах пронзительно звенели удары в рельсу.

Пожар. Как это могло случиться? Моей вины здесь нет, действовал я правильно, но... стыд-то какой! Как после этого мы будем показываться людям в глаза? Теперь вот старые мастера будут смеяться над нами, «салагами», вспоминать деревяшки...

«А где же Кирилл и бригадир? — вдруг вспомнил я. — Что-то их не было видно...»

Звякнул рельс. Я вздрогнул. «Что это?! Ах, да — конец рабочего дня. Пора домой».

А кто же виноват?

Я плелся домой, по-стариковски шаркая ногами. Видел оборванного мокрого Дубынина, его укоризненный взгляд, будто это я целиком виноват в случившемся. Да!.. А кто же все-таки виноват? Я остановился. Острая догадка электрической искрой хлестнула меня по самому сердцу: Овчинников или Кирилл?..

Ясно — кто-то из них, может быть, нечаянно, повернул ручку пускового магнето. А может быть, нарочно? Конечно, бригадир не может сделать такое, он знает, к чему приводят подобные шутки. Значит, это сделал Кирилл?! Нет, трудно поверить. Невозможно! Кирилл парень грамотный и порядочный. Не мог он этого сделать. Не мог — и все тут!..

Смеркалось. Я сидел на корточках возле арыка и,

макая щетку в консервную банку с бензином, чистил свой рабочий костюм. Зашуршали кусты, и передо мной появился Кирилл. Глаза стеклянные, челюсть отвисла, и лицо бледное-бледное, до синевы.

— Ну, как? — дрожащим шепотом спросил он.

— Что — как? — не понял я.

— Сгорел самолет?

Я с удивлением уставился на Кирилла.

— Как это «сгорел»? Спасли. А вы где были? Ведь вы же с бригадиром сидели в кабине!

Кирилл судорожно глотнул воздух:

— Я... Мы... убежали...

Я выронил щетку:

— Убежали? Как это — убежали?

Кирилл по-детски всхлипнул:

— Ну, это... ведь под сиденьями были баки с бензином... Ну-у... Ведь они могли взорваться!..

Наступило тягостное молчание. Мне стало тошно. Мучительно стыдно за друга. Бессознательно шаря рукой по траве, я искал оброненную щетку. Попалась банка с бензином. Со злостью швырнул ее в воду.

— Убежали, значит? И оставили открытым кран? Пусть льется?! Пусть горит?!.

— Н-не помню... Кажется, оставили, — трясясь, лепетал Кирилл. — Н-не я открывал...

Я приблизился к Кириллу и долго смотрел на его белое от страха лицо, будто в первый раз видел. В наступившей темноте он был совсем неузнаваем: нос заострился, щеки обвисли, как у старика. Мне стало жаль его, и я спросил, уже смягчившись:

— Ну, а отчего же все-таки загорелось, ты знаешь?

Кирилл всхлипнул:

— Когда ты крикнул, чтобы открыть кран, Овчинников открыл, а я... Я и говорю ему: вот если повернуть сейчас ручку магнето, то может случиться пожар. А он и говорит: «Какой там пожар! Зажигание-то выключено!» И... и повернул ручку...

— Сам?.. Бригадир?.. Это точно?

— Да, сам...

«И куда девалась эта чертова щетка?! — Я вскочил, пошарил в кармане, загремел спичками. Меня трясло, как в лихорадке. — И это сделал бригадир?! Старый работник мастерских, который больше всех смеялся над нами, когда мы пилили деревянными напильниками?!»

Ломая спички, я чиркал ими о коробок. Ярко вспых-

нули, зашипели несколько серных головок. Их свет положил резкие тени на бледное лицо Кирилла, осветил тихую заводь арыка, сгустил ночь.

— Вот она!

Поднял щетку и бросил догоравшие спички в воду.

Вввах! — раздался до жути знакомый звук. Вспыхнул бензин на поверхности заводи, заплясали желто-красные языки пламени. У Кирилла подкосились ноги, и он с коротким стоном опустился на траву. И у меня тоже сердце екнуло, закатилось: за долю секунды я снова пережил прошедшее.

Бензин догорел, и пламя погасло. Стало темно и тихо. Кирилл зашевелился.

— Ох, и напугался, — прошептал он. — Так вот и представилось, что я опять в самолете.

...Проснувшись, я вскочил, сел на постели и некоторое время соображал, отчего я пробудился? На дворе светало. Осторожный стук в окно вывел меня из оцепенения. За окном стоял Кирилл. И тут я вспомнил все, и на душе у меня стало мрачно и гадко. Я отпер Кириллу.

— Ты чего? — шепотом спросил я его.

— За тобой зашел, — еле слышно ответил Кирилл.

— Так ведь рано же!

Кирилл устало опустился на стул, снял кепку, растерянно почесал себе лоб и, глядя куда-то в угол, сказал:

— Понимаешь... нам удобнее прийти пораньше. Стыдно же — все смотреть будут, пальцем показывать...

— Ну, этого не избежать, — с чувством досады ответил я. — Все равно отвечать придется.

— Мы придем, — как бы про себя продолжал Кирилл, — и сразу же примемся за промывку рамы. Там небось песку полно, пены. Пойдем, а?

Я покосился на товарища и только сейчас увидел, как изменилось, осунулось его лицо. Мне снова стало жаль его, и к этой жалости примешалось еще какое-то смутное чувство недовольства собой. Словно посмотрев на себя со стороны, я увидел мелкого эгоиста, этакую улитку, прячущуюся в домике своего собственного благополучия. Совесть моя была чиста, я не был виноват в этой истории и поэтому чувствовал себя уверенно и почти спокойно, нисколько не задумываясь о том, а какие же переживания выпали за это время на долю моего друга, наверняка в эту ночь не сомкнувшего глаз...

— Пойдем, Кирилл, пойдем, — заторопился я. —

Это хорошо, что ты зашел за мной. Я сейчас, быстренько.

Непривычно тихо было в мастерских. Косые лучи солнца, робко пробиваясь сквозь запыленные стекла, мягко освещали внутреннюю часть ангара, где на козелках стояли фюзеляжи разобранных самолетов, лежали крылья, рули с обнаженными ребрами лонжеронов, нервюр, стрингеров. Воздух был наполнен легким запахом бензола, отработанного масла, ацетона. Все это было настолько родным и близким, что, позабыв о своих вчерашних неприятностях, мы остановились посередине цеха. Вон стоит фюзеляж отечественного самолета К-4. Сегодня его поставят на шасси, выведут из цеха — навешивать крылья, хвостовое оперение. Потом его испытают в воздухе, и он улетит куда-нибудь далеко-далеко, и будет там возить пассажиров. А вон дверь медчасти, где мы когда-то проходили комиссию и где когда-то для меня рушился мир...

Кирилл толкнул меня локтем в бок:

— Помнишь — «столярикум-малярикум»?

Я повернулся к нему, хотел ответить, но, увидев его бледное, воскового цвета лицо с воспаленными глазами, с синими кругами, смутился. И Кирилл, уловив мое смущение, тут же обмяк, понурился. И разом слетело очарование, померкло радостное, сияющее солнцем утро. Пожар... Как хотелось бы, чтобы это был сон...

Мы вышли из ангара. Нет, не сон. Вон он — самолет. Стоит с облупленным, закопченным носом. Вокруг валяются обгорелые растерзанные чехлы, которыми я пытался затушить пламя. На рассыпанном песке видны следы многочисленных ног, желтые, застывшие хлопья пены. От самолета тянуло незнакомым враждебным запахом горелой резины, краски.

Молча открыли кладовую, взяли по ведру и так же молча, с чувством затаенного страха направились к «Дорнье». Подтащили стремянки, взобрались на мотораму. Нужно опять набрать в ведро бензина, опять открывать кран. Страшно. Я посмотрел на Кирилла. Он сжался и стал слезать со стремянки.

— Пойду сниму магнето...—посмотрел с неприязнью на обгоревшие клочья чехлов. — А ты прибери тут пока... Не могу — тошно смотреть...

Я заканчивал приборку, когда Кирилл вышел из самолета, неся в вытянутых вперед руках магнето.

— Вот, теперь можно открывать кран...

Моторама отмывалась легко. К великой нашей радо-

сти, самолет почти не пострадал от пожара. Спасла обшивка из тонкой листовой стали. Только обгорела краска да поджарились проводники.

Мы уже кончали промывку, когда мастерские понемногу стали наполняться шумом голосов. Приходили рабочие. Где-то одиноко застучала киянка, вслед за ней завизжала электродрель. Размеренно, три раза, ударили в рельс. Рабочий день начался.

Моторама была полностью промыта, сняты провода системы зажигания, и самолет выглядел так, будто и не было никакого пожара. Кирилл повеселел и даже, забывшись, засвистел веселый мотивчик.

Появился Овчинников, хмурый, с желтым измятым лицом. Избегая встречаться с нами взглядом, спросил:

— Ну-у, чего насупились? Испугались?

Мы промолчали. Что мы могли сказать человеку, старше нас по возрасту и по опыту, и по положению? Пусть выскажется сам.

— Не бойтесь, — глядя себе под ноги, сказал бригадир. — Я... Гм! Все рассказал, как было. Там уже объявление вешали — вас разбирать на комсомольском собрании, так я их... Гм! Уговорил. Виноват, мол, я, меня и ругайте.

Он вздохнул, поднял голову и с некоторым недоумением осмотрелся вокруг. Взобрался на стремянку, взглянул на мотораму и, растроганно гмыкнув, полез пятерней себе под кепку.

— Промыли все, прочистили? Ну, молодцы, ребята, спасибо.

Сказка наяву

Летом работа сборщика несладкая. После того, как фюзеляж самолета, обработанный слесарями, клепальщиками и мастерами-обойщиками, поставят на шасси, его выводят из ангара, где всегда тень и сквозит ветерок, под открытое небо. Здесь под палящими лучами солнца навешивают крылья, хвостовое оперение, нивелируют планер и доделывают тысячи разных мелочей. А жара такая, плюнь на фюзеляж — зашипит. Поэтому мы старались распределить работу так, чтобы «жаркую» проделать поутру, «прохладную» — днем.

К «жаркой» работе, например, относился монтаж бензосистемы и системы управления, когда надо было лезть в фюзеляж и укреплять там баки, ролики, трубки, при-

жимая их специальными хомутиками к борту самолета. Маленькие болтики, маленькие гаечки, пружинящие шайбочки «гровера». Болтики побольше, гаечки-коронки, шайбы, шплинты. В углах, самых неподходящих, — дырочки для роликов и хомутиков. Забираешься в этот неподходящий угол и оказываешься в жестком плену рам, лонжеронов и острых стрингеров, на которых лежишь и от которых терпишь постоянную боль. И эта боль заставляет тебя работать быстрее. Справился — хвала тебе, не справился — терпи!

И вот, лежа на стрингерах, в металлическом сплетении деталей, вынимаешь из кармана приготовленный ролик с кронштейном и, ограниченно действуя рукой, подводишь отверстие кронштейна к отверстию в раме. Теперь надо, так же ограниченно действуя другой рукой, попасть ощупью в это, уже двойное, отверстие болтиком, и если тебе удалось это сделать после нескольких попыток, то на кончик болтика накинуть шайбу и навинтить корончатую гайку. Здесь, конечно, не мешало бы иметь третью руку, так как болтик смотрит своим концом вниз и шайба держаться на нем не желает. Но при известной сноровке все обходится. Гаечка накручена на две-три нитки, и ты можешь опустить затекшие руки и дать им отдохнуть.

Но самое главное еще впереди: орудуя уже привыкшими, намозоленными кончиками пальцев, ты закручиваешь гаечку сколько можно и затем, проклиная ребрышки кронштейна, не дающие возможности подобраться к гайке ключом, затягиваешь ее до такого положения, чтобы было туго и чтобы коронка гаечки совпала своей прорезью со шплинтовым отверстием на болтике. А так как этого отверстия тебе не видать, то приходится все время щупать его проволочкой.

Наконец все сделано: гаечка затянута как надо, отверстие — вот оно, тут. Берешь шплинт и ощупью его вставляешь. Иногда вставишь, а иногда и нет... И это самое досадное и необъяснимое явление! Ну, все тут: проволока, даже толстая, проходит свободно, а шплинт — никак не желает! А ты лежишь в раскаленном, как духовка, фюзеляже, на острых стрингерах...

О прохожий! Если ты идешь мимо самолета, стоящего на сборке, и слышишь, как из фюзеляжа приглушенно несутся разные «латинские» слова — знай, это у сборщика не входит в отверстие шплинт!

К «прохладной» работе мы относили установку мо-

тора и монтаж всех его агрегатов: радиатора, винта, а также подвеску рулей управления — руля поворота, элеронов, рулей высоты. Это, пожалуй, самая приятная работа!

Возьмешь руль, вставишь его вильчатые кронштейны в кронштейны стабилизатора и закрепишь новенькими стальными пальчиками. Тут же на месте дрелью с тоненьким сверлом просверлишь в пальчике отверстие, наденешь шайбочку на пальчик и уже без всякой мороки вставишь шплинт, разведешь ему отверткой ножки — и готово! И смотришь — утром выводили из ангара металлический обрубок, а к вечеру — это уже самолет. Красивая серебристая птица! То-то гордость тебя распирает.

В этот день мастерские выпускали из ремонта сразу пять самолетов: три пассажирских и два почтовых Ю-21, и завтра с утра им надлежало подняться в воздух, в испытательный полет. Я волновался очень: Овчинников уступил мне свое право участвовать в испытательном полете на Ю-21, который мы собрали.

У немцев этот самолет был разведчиком с экипажем в два человека: впереди сидит летчик, в задней кабине — летнаб с турельным пулеметом. Теперь турели сняли, и вместо летнаба можно посадить пассажира, а если потесниться, то и двух. А вообще-то на них в «Добролете» возили почту и грузы.

Я пытался заранее определить свои ощущения и чувства при полете. Гм. Да-а! Не очень-то, между нами говоря! Сидишь, как курица на насесте — все открыто, даже ветрового козырька нет. И, наверное, в полете страшновато будет: повернешься как-нибудь не так и, пожалуйста, — вывалился!..

Кирилл, который перешел к нам в сборочную бригаду, вполне разделял мои ощущения и вроде бы тоже собирался слетать на втором самолете, но только что-то не очень горячими были его сборы.

Солнце уже начало нещадно палить, когда пришел летчик. Я не сразу догадался, кто это. В управлении «Добролета» я видел летчиков, одетых в синие френчи. На ногах — кожаные краги и желтые ботинки, а на левом рукаве, выше локтя, — серебряные распростертые крылья с пропеллером и с двумя перекрещенными мечами. И были эти летчики очень важными и недоступными. А этот — одет просто: белая рубашка с закатанными по локоть рукавами заправлена в синие брюки, на

босых ногах — запыленные сандалии. У него были мягкие черты лица, голубые глаза и светлые волнистые волосы, прикрытые на затылке форменной фуражкой с белым чехлом. И заговорил он просто:

— Здравствуйте, ребята!

Я, Кирилл и бригадир стояли на стремянках и закрывали капот мотора. Овчинников нехотя обернулся:

— Здравствуйте.

— Ну, как — самолет готов?

— Да вроде бы готов, — неопределенно ответил бригадир, и вид его красноречиво говорил: «Ходят тут всякие!» — А вам что? — уже с подозрением спросил он.

— Да вот, пришел испытать его в воздухе.

Только сейчас я обратил внимание на сверток, который незнакомец держал под мышкой. Это был синий летный комбинезон и кожаный шлем с очками, а в правой руке он держал какой-то ящичек со стеклянным окошечком.

Летчик! Я мигом скатился со стремянки и бесцеремонно уставился на пришедшего.

— Михаил Хохлачев, — отрекомендовался он и протянул мне руку. — А вы, наверное, бригадир? — обратился Хохлачев к Овчинникову. — Кто полетит со мной? Вы?

— Нет, — смутившись, ответил бригадир. — Вот он.

— Хорошо. — Хохлачев оглядел меня с ног до головы. — А в чем вы полетите?

Я пожал плечами:

— В чем есть! — и показал на свой рабочий костюм, надетый прямо на голое тело.

— Да вы же замерзнете!

— Ой, что вы! — удивился я. — Такая жарища!

Он улыбнулся:

— Ну, смотрите. Если будет невтерпеж, тогда просигналите мне, спустимся пониже. Садитесь, будете за летнаба. — И снова улыбнулся добрейшей улыбкой.

Я не заставил себя просить дважды и мигом очутился в самолете.

Конечно, я тысячу раз сидел и в передней и в задней кабине и мечтал, представляя себя в полете, но все равно, тогда у меня не было такого ощущения, какое я испытывал сейчас, разбирая руками привязные ремни. Сладко-сладко закатывалось сердце, и не верилось как-то, что вот сейчас моя мечта свершится!

Я перекинул через спину широкие плечевые ремни,

подхватил поясные и застегнул. «Все хорошо, — подумал я. — Вот очки бы еще. Для полного форсу!..»

И только подумал, вдруг слышу:

— Держи!

Я обернулся. У правого борта стоял запыхавшийся Кирилл и протягивал мне... очки! Правда, очки были шоферские, но все же — очки! И в них я буду совсем похож на летчика.

Я с благодарностью посмотрел на Кирилла:

— Спасибо, друг!..

Подошел Хохлачев.

— Привязались? Хорошо. Возьмите-ка вот это, — и протянул мне ящичек. — Это барограф. Он будет записывать скорость подъема, высоту и время нашего полета. Вам барограф знаком? Нет? Тогда поясню: это вот — перо, а это — барограмма с делениями. Эти жирные линии означают тысячи метров, а эти, потоньше, — сотни. Не уроните, в нем часовой механизм.

Он отошел, снял фуражку и, передав ее бригадиру, надел комбинезон и сразу стал стройным и красивым. Шлем и очки совсем преобразили его, а когда он натянул на руки замшевые перчатки с крагами, мне стало стыдно за бригадира, что он не узнал летчика и так неприветливо с ним обошелся.

Пока Хохлачев усаживался в кабину, я, зажав коленями барограф, надел козырьком назад свою кепку и привязал очки.

Мотор запустили сразу. Опробовав его на всех режимах, летчик вытянул обе руки в сторону. Овчинников и Кирилл бросились убирать из-под колес колодки.

До этого момента мне еще как-то не верилось, что все это по-настоящему, а теперь... Колодки убраны — путь свободен! И когда летчик прибавил обороты мотору, осторожно стронул самолет с места, чувство необыкновенного восторга охватило меня. Я был переполнен счастьем. Хохлачев развернул машину, и мы, оставляя за собой густые тучи пыли, порулили на другой конец аэродрома, чтобы встать против ветра.

Когда улеглась пыль, Хохлачев обернулся и, как бы спрашивая у меня разрешения на взлет, поднял правую руку. У меня от моей значимости расперло в груди, и я важно кивнул головой: «Все, мол, в порядке, можно взлетать!»

Заревел мотор. Самолет тронулся с места и, подми-

ная колесами кусты верблюжьей колючки, побежал по аэродрому, все быстрее, быстрее, быстрее. Сильные струи воздуха, норовя сорвать кепку, заколотили меня по голове. Я натянул кепку поглубже и пригнулся. Стало тише.

Пока я возился с кепкой, самолет оторвался от земли. Близко-близко мелькали колючки, борозды от костылей. Промелькнула проволочная изгородь, и земля как-то сразу стала удаляться. Под нами уже проносились арыки, огороды с джугарой и кукурузой, проплывали деревья, глиняные крыши мазанок. И по мере того, как мы поднимались выше, все уже не так быстро проносилось, а медленно, словно нехотя, отступало назад.

И уже под нами развернулась панорама: месиво домов и крыш, карагачей и тополей, людей, трамваев, улиц, переулков. Все это лезло в глаза скопом, потому что я, боясь что-либо не увидеть, не опознать, пытался охватить все сразу. Но предметы, надвигаясь, тотчас же ускользали назад, и с каждой секундой, по мере того, как мы набирали высоту, появлялись все новые и новые. Я был похож на песчаный бархан в пустыне, жадно глотающий влагу дождя, но не имеющий сил ее удержать. Я был ошеломлен, хотя еще толком ничего и не увидел, а только сознавал: лечу! Лечу! Лечу!

Город под нами. Я принялся разбираться в сплетениях его улиц. Нашел сквер, улицу Кафанова. А где же наш район? И только принялся искать его, как вдруг все качнулось, вздыбилось и стало опрокидываться вправо. Я поглядел за борт, чтобы посмотреть, куда же это все проваливается, и в страхе отшатнулся — передо мной зияла пустота! Посмотрел налево: здесь были и улицы, и город, и арыки, и сады, но только все это плавно поворачивалось вправо, и я понял — летчик делает левый разворот. Когда все встало на свои места, я заглянул в окошечко барографа. Длинная стрелка с пером протянула за собой чернильный след почти на три деления. Триста метров. Так быстро?!

Чарующе-красивые горы с мягко очерченными на фоне голубого неба снежными вершинами, со стремнинами скал, с прелестными долинами, с горстками примостившихся тут и там кишлаков — все это угрожающе надвигалось на нас. И уже видны были сверкающие солнечными брызгами ледники и пенистые реки. Я с беспокойством заерзал на сиденье: как бы не врезаться! Но горы тоже вдруг накренились и стали опрокиды-

ваться. Летчик делал второй разворот. Теперь горы оказались справа. Слева, вдали, сквозь густую зелень едва проглядывали крыши города. Под нами река Чирчик. Беря начало в горах, она опускалась в долину и растворялась в дымке горизонта. Яркой четкой палитрой расстилались поля. Там, где отчетливо виднелись квадратики, окраска их была нежно-зеленой, и я догадался, что это рис. Другая часть полей окрашена в густо-зеленый цвет. Конечно же — это хлопок! Я хорошо знал самые отдаленные окрестности города, но сейчас с трудом узнавал эти места. Сверху все выглядело по-другому: ни холмов, ни впадин, ни бугров, ни ям. Все было удивительно ровным, поражало взор отчетливостью линий и яркостью красок. И я ощутил в себе какое-то необыкновенно сильное и в то же время нежное, возвышенное чувство благоговения перед всем виденным и поймал себя на том, что и мыслю-то сейчас возвышенно. Мы, люди, копошимся в складках Земли и думаем, что это ее морщины, что Земля старая, а она молода и красива. Ее можно любить, ее нужно любить!..

Летчик опять сделал разворот. Сейчас мы летели по направлению к городу. Я с нетерпением вглядывался вперед, так мне хотелось посмотреть на город с высоты. Я взглянул на барограф: стрелка подошла к жирной линии с цифрой 1 и медленно поползла выше. В воздухе же чувствовалась приятная освежающая прохлада.

Вот и город! Но как странно он выглядит! Улицы, когда ходишь по ним, — пыльные, с выбитыми мостовыми, сейчас сверху казались идеально ровными и чистыми. Дома приняли очертания спичечных коробков.

Наконец, разобравшись в путанице улиц, я нашел свой район, а потом и свой дом. Какой маленький, до смешного, наш двор! Вот кто-то вышел из дому, похоже, что отец. Постоял немного и пошел к калитке. Даже не посмотрел вверх. Обидно. А вот и вокзал! Оставляя за собой клубы пара, к перрону медленно подходил пассажирский поезд. Какими маленькими кажутся с высоты его вагончики! Как игрушечные. И вот сквер! Центр города. От него в разные стороны разбегаются улицы, почти скрытые зеленью тополей. По улицам двигались игрушечные трамвайчики, автомобильчики, сновали в разных направлениях какие-то точечки. Я еле заставил себя поверить, что эти точечки — люди! Машина сверху похожа на машину, трамвай — на трамвай, поезд тоже на поезд, а вот человек, шагая, попеременно выставляет

вперед ноги, тогда точка превращается в запятую с виляющим вправо и влево хвостиком. Смешно!

Город отступил назад, и самолет оказался над выжженной солнцем пустынной местностью. Машину вдруг качнуло. Я вздрогнул и тут же почувствовал, как приятная прохлада сменилась ощутимым холодом. Барограф показывал три тысячи метров. Ого! Есть о чем порассказать дома и товарищам!

Однако я начинал мерзнуть. Металлические борта самолета дышали холодом. Ледяной ветер забирался под блузу, пробирал до костей. Только с правой стороны, где проносились выхлопные газы от мотора, ощущалось приятное тепло, и я прижался к правому борту.

Хохлачев обернулся, посмотрел на меня через очки и улыбнулся. Потом, ткнув в мою сторону пальцем, что-то спросил. Я не понял сначала, а потом догадался, что его интересуют показания барографа. Я показал три пальца. Хохлачев кивнул головой и отвернулся. В ту же секунду горизонт подскочил вверх, а земля вздыбилась вправо. На высоких нотах загудел, завыл мотор, и все вокруг закрутилось. У меня захватило дыхание, непонятная тяжесть навалилась на плечи, прижала к сиденью. Я хотел было ухватиться свободной рукой за борт, но рука настолько отяжелела, что я не смог сдвинуть ее с места. Внезапно вращение оборвалось, тяжесть свалилась, горизонт встал на место и тут же повалился в обратную сторону. Я понял — летчик делает глубокие виражи. Мне часто приходилось видеть, как военные самолеты выполняют эти функции, но одно дело — смотреть на них с земли и другое — самому находиться в головокружительном вращении. Я еще не успел осознать, нравятся мне эти виражи или нет, как Хохлачев, установив машину в горизонтальном положении, вдруг поднял обе руки над головой. У меня екнуло сердце: «Бросил управление!» Но полет продолжался нормально, и я догадался, в чем дело, и возгордился: при сборке и нивелировке несущих плоскостей мы хорошо отрегулировали самолет. И действительно, Хохлачев обернулся и, сияя в довольной улыбке, выставил большой палец руки и затем выразительным жестом дал мне понять, что сейчас будет снижаться.

Смолк мотор, горизонт взметнулся вверх, и машина, круто накренившись влево, принялась вращаться по спирали. Меня вдавило в сиденье, и виски словно кто пальцами сжал, а в ушах — нарастающая боль. Я за-

метался: если так будет продолжаться дальше... Ой! Я сделал судорожный глоток — и все прошло. И снова нарастающая боль, но я уже ученый: опять глоток — и боли как не бывало.

Хохлачев два раза оборачивался и кивком головы спрашивал: «Ну как?» Я сразу же делал бодрый вид и тоже кивком головы отвечал: ничего, мол, все в порядке, хотя сам с наслаждением полежал бы сейчас в раскаленном фюзеляже, до того замерз.

Пока мы вели немой разговор, самолет снизился до пятисот метров. Хохлачев вывел машину из спирали и прибавил обороты мотору. Здесь было уже тепло, и я оттаивал, как сосулька. Под нами проплывали хлопковые поля, а впереди сквозь зелень деревьев проглядывали многочисленные крыши домов.

Местность была совсем незнакомой, и я подумал, что мы, наверное, прилетели на какой-то другой аэродром и сейчас будем тут садиться. И действительно, мотор снова перешел на малые обороты, горизонт плавно поднялся вверх, и я вдруг заметил, как быстро-быстро приближается к нам земля. Мне даже страшно сделалось. Совсем близко промелькнули макушки деревьев, плоские крыши кишлака, глиняные заборы, арыки. Мелькнула проволочная изгородь, и через несколько секунд колеса зашуршали по зарослям колючки: а потом, поднимая пыль и подпрыгивая на неровностях, самолет побежал по полю.

Хохлачев подрулил к какому-то ангару, выключил мотор и, расстегнув привязные ремни, стал выбираться из кабины.

«Куда же мы все-таки прилетели? — соображал я.— И почему летчик не сказал мне, что будет садиться на другом аэродроме?»

Не расстегивая ремней, я продолжал сидеть на месте, с интересом рассматривая ангар и выдававшуюся из-за него часть какого-то здания. Ангар и угол здания показались мне знакомыми. Я пригляделся и ахнул: «Да ведь это же наши мастерские! Как же я их не узнал?»

Подошел Овчинников, протянул руку за барографом.

— Ты чего расселся? — удивился он. — Слезай, приехали!

Я расстегнул ремни и выбрался из самолета. Хохлачев, уже без комбинезона, в фуражке и со шлемом в руках, подошел ко мне.

— Ну как, понравился полет? — спросил он.

А я и сказать ничего не могу. Я был еще в сказке, и только невнятный подспудный страх беспокоил меня: вот я сейчас проснусь, и все это будет только сном! И вместе с тем я чувствовал — свершилось что-то, пока необъяснимое. И словно бы не я, а кто-то другой голосом глухим и срывающимся от волнения воскликнул:

— О! Теперь я ваш должник, товарищ Хохлачев!..

Хохлачев, склонив голову набок, с интересом на меня посмотрел.

— Ах, вон как? Гм!.. — подумал немного, сказал: — Что ж, подожду. И... благословляю! — С этими словами он перчаткой хлопнул меня по плечу. — Отдадите мне долг, лет... ну-у-у... через десять. Идет?

Сказка еще продолжалась. Я все еще видел волшебный сон.

— Отдам! Непременно отдам!.. — только и мог я сказать.

Два разных взгляда

Я словно повзрослел в этот день. Что-то со мной произошло, и эта перемена властно требовала от меня действий, а каких, я еще и сам не знал.

Раньше я прибежал бы как угорелый домой и еще с порога закричал бы: «А я сегодня летал, вот!» — и пошел бы звонить во все колокола и хвастаться. А сегодня пришел домой солидно, с полным сознанием своей новой значимости. И только за ужином, когда мы в вечерней прохладе пили чай под керосиновой лампой в беседке, увитой виноградными лозами, я, как бы между прочим, сказал, обращаясь к отцу:

— А я тебя сегодня видел. Днем.

Отец посмотрел на меня с удивлением.

— Как это — днем? Днем я был дома, а ты на работе.

— Вот я тебя и видел дома! — продолжал я загадочным тоном. — Ты вышел во двор, постоял немного и пошел к калитке.

Мать, наливая из самовара в отцовскую кружку крутой кипяток, с интересом прислушивалась к нашему разговору.

— Правда! — удивился отец, левой рукой принимая кружку, а правой неуклюже отгоняя порхающего возле

лампы мотылька. — Почтальон принес газеты. А где же ты был в это время?

Я показал пальцем вверх и сказал как можно равнодушней:

— Там.

Мать приняла это на себя и обиделась (она потихоньку от отца помаливалась богу).

— Да мелет он, прости господи, незнамо что, а ты его слушаешь!

— И все-таки я был там! — повторил я упрямо.

Отец сразу догадался, о чем речь.

— Летал? — спросил он, и в голосе его прозвучало одобрение.

— Угу! — сказал я, прихлебывая чай.

Мать выронила блюдце:

— О господи!

За столом воцарилось молчание. Отец задумчиво помешивал ложкой в кружке. Он сразу понял, что этот полет для меня много значит, что я не просто покатался, а что-то решил, что-то утвердил, чего-то добился.

О керосиновую лампу стукнулся с налета жук, упал на скатерть и принялся топорщить крылья, стараясь перевернуться на живот. Я смахнул его на землю.

— Ну и как? — внушительно спросил отец. И из его вопроса, заданного с каким-то оттененным ударением на слове «как», я понял, что сейчас его интересует не мое впечатление о полете, а мое решение о дальнейшем. Он словно бы подталкивал меня, как иногда благожелательный экзаменатор подталкивает ученика к правильному ответу.

И я сказал то, что уже давно было у меня на сердце:

— Папа, я хочу быть летчиком!

Мать зашептала: «Свят, свят, свят!..», а отец удовлетворенно вздохнул, словно только такого ответа от меня и ждал.

— Ну что ж, молодец!

Он не был щедр на похвалы, но мне и этого было достаточно. Он слов на ветер не бросал, и если похвалил, то, значит, действительно было за что.

Больше мы на эту тему дома не говорили, и я никому на нашей улице о своем полете не рассказывал. И правильно сделал, потому что об этом всем, во всей округе рассказала мать. И люди, получив эти сведения из вторых рук, поверили в меня, что я сразу же и по-

чувствовал по их предупредительному отношению. Я ощутил их локоть, поддержку, их желание видеть во мне настоящего летчика. И я не мог их подвести, и сам стал активно желать. Неистребимо, сильно, беспрестанно! Я просыпался с этим желанием, с этим желанием работал и с этим желанием ложился спать.

А Кирилл, слетав, как-то скис. Он переменился после этого полета и, видно, что-то открыл в себе и в чем-то утвердился...

...Пришел летчик Капулло, высокий, сильный, порывистый. Через левую руку небрежно перекинут кожаный реглан, в другой, как и у Хохлачева, — шлем с очками и барограф.

— Самолет готов? — твердо спросил он. — Кто полетит?

Пауза. Я с удивлением посмотрел на Кирилла. Что с ним? Да он побледнел!

Толкаю его локтем:

— Ну что же ты, Кирилл?!

— Я... я полечу, — еле слышно пробормотал Кирилл.

Капулло энергично повернулся к нему.

— Вы? Отчего же молчите? Вот вам барограф. — Повернулся к Овчинникову, протянул ему фуражку: — Возьмите. — Надел реглан, шлем, очки, тщательно застегнулся. — Садитесь! — И полез в кабину.

А Кирилл был одет так же, как и я в тот раз: штаны, чувяки и рабочая блуза на голое тело. Ведь говорил же я ему!

Снял с себя блузу, подал:

— На вот, оденься.

Оделся как-то бессознательно. А вот шлем у него был! И очки! Настоящие. И где он их достал?

Кирилл забрался в кабину. Я подал ему барограф и, чтобы подбодрить, показал ему пальцем «на большой». Он кисло улыбнулся.

Мы с Овчинниковым подергали за винт. Мотор запустился, и Капулло, погоняв его на всех режимах, приказал убрать колодки.

Я помахал Кириллу рукой, он не ответил.

Пробыли они в воздухе около часа. Сели, подрулили, выключили мотор. Я подбежал к самолету, когда Капулло и Кирилл уже из него вылезли. У летчика было недовольное лицо, и он что-то выговаривал Овчинникову, а тот пожимал плечами и разводил руками, потому что

тут мы были ни при чем: самолет не наш, просто Овчинникова попросили подготовить его к полету.

Кирилл стоял у хвоста самолета или вернее — висел на передней кромке стабилизатора и, держась за него обеими руками, громко икал. Его тошнило.

Я сбегал в кладовку за чайником, набрал из крана воды, налил полную кружку.

— На вот, выпей и ополоснись.

Выпил, и его тут же вырвало.

— Нагнись, я полью тебе на голову.

Он приходил в себя медленно: икал, стонал, пошатывался. В его глазах все еще вставало на дыбы: опрокидывался горизонт, вращались горы, зияла пустота и мчалась навстречу земля. Все было высоко, грандиозно, непривычно, а оттого и страшно. Ну, а когда Капулло, проверяя устойчивость самолета, поднял обе руки над головой, и самолет, задрав нос, в жуткой невесомости стал заваливаться вправо, Кирилл чуть не умер от страха. Тут его затошнило и вывернуло наизнанку. Барограф при этом он, конечно, уронил, за что и получил хороший нагоняй от летчика.

— Нет, — заключил свой рассказ Кирилл, — пусть медведь летает, у него шкура толстая. А я... я изнеженный маменькин сыночек, приученный спать на перинке, есть булочку, размоченную в молочке, и манную кашку. Да! И еще конфеты. И пирожное! У меня другой мир. Другой. Весь в рамочках. Позолоченных. Куда уж мне!

Долго он потом, копаясь в себе, безжалостно, словно изгоняя злого духа, исступленно занимался самокритикой.

Дверь в школу

Школы летчиков — где они? Как в них поступают? Что для этого надо? Эти вопросы одолевали меня. Но толком мне никто не мог ничего объяснить.

Разыскал Дубынина. Он теперь бригадир клепальщиков. Солидный стал, в плечах широкий.

— Да, слышал, есть такие школы, а вот как в них попасть, не знаю.

— А где бы узнать?

— Да сходи в Осоавиахим или в военкомат, там и узнаешь.

— Легко сказать — сходи! Я же работаю, а в выходной и у них выходной.

— Ну тогда иди в ячейку. Разыщи Воронкова, он у нас Осоавиахимом заворачивает.

Воронкова я нашел в конторке. Он сидел с каким-то парнем и писал объявление. Я шагнул через порог. Он поднял голову.

— А, здорово! Чего тебе?

— Да вот, в школу хочу. В летную.

Воронков почесал переносицу:

— Гм!.. В летную — не знаю, а вот в снайперскую разнарядка есть. Стрелять умеешь?

— Умею,— сказал я.— Из рогатки.

Оба прыснули.

— Нет, я по-серьезному! — все еще смеясь, сказал Воронков.

— И я по-серьезному! — вскипятился я. — Что, не веришь? Ставь пузырек на пятьдесят шагов, враз расшибу! Только вот рогатки нет.

— Ладно,— сказал Воронков. — Тогда вот что: после обеда зайдешь сюда, вступишь в Осоавиахим, и я включу тебя в стрелковую группу, будешь готовиться к соревнованиям.

Я взорвался:

— Слушай, Виктор! Какого черта ты мне голову морочишь? Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему! Мне школа нужна, понимаешь? Летная. На летчика учиться, а ты...

Виктор поднялся из-за стола и, сжав губы, крепко щелкнул меня пальцем по лбу.

— Думать надо! Вот этим котелком! Осоавиахим — это тебе дверь в школу! Понял?

Щелчок был внушительный, но еще внушительней были слова: «Дверь в школу», и они охладили мой пыл. Я даже застыдился своей несообразительности.

Я вступил в Осоавиахим и стал посещать стрелковые курсы, которые открылись в нашем районе.

Инструктор-латыш по фамилии Айва был точен и строг, и это нам очень нравилось. Группа наша была большая, все производственники и комсомольцы с предприятий нашего района. Занимались по-серьезному; отрабатывали стойки, положения, позиции, знакомились с разными системами оружия, в том числе со снайперским. Стреляли в войсковом тире: из малокалиберных винтовок, из трехлинейки, из трофейных английских винтовок «Росса» со скользящим затвором и с диоптрическим прицелом и даже из нагана.

Я старался изо всех сил нащупать эту самую «дверь в школу», и дела у меня шли неплохо. По окончании курсов на стрелковых соревнованиях города я, выйдя далеко вперед по стрельбе из нагана и из трехлинейки, занял первое место. Обо мне появилась статья в газете с моей фотографией, и в Осоавиахиме я стал «своим».

Все хорошо, конечно,— портрет, слава, свита мальчишек, называвших меня почтительно «снайпером», но... это было не то. Я искал «дверь», открыл ее и вроде бы вошел. А где же школа? Я же летчиком хочу быть!

Чуть ли не каждый день забегал после работы в ячейку Осоавиахима:

— Ну как?..

— Нету пока разнарядок.

Шел домой разочарованный, опустошенный, стараясь избегать встреч со знакомыми, потому что они, переживая за меня, задавали мне такие же вопросы: «Ну как?» И я отвечал им, пряча глаза: «Нету пока разнарядок».

И вдруг — есть! Объявление в газете: «...набор курсантов в третью объединенную авиашколу ГВФ...»

Бегу к Овчинникову:

— Александр Васильевич, отпусти, тут такое дело!..

— Гм!.. Ну, раз дело — валяй.

Валяю. Еду трамваем в город, в Осоавиахим. Меня встречают возгласом:

— А-а-а, наш снайпер пришел! Ну вот и дождался. Знакомься: представитель из школы Кабанов. Дима! Вот тот парень, о котором мы тебе говорили!

Кабанов моего роста, но плотнее и старше — лет двадцати. Круглолицый, со светлым чубом и голубыми глазами. Одет по форме: темно-синий китель с «золотыми» пуговицами и с эмблемой на рукаве, отутюженные брюки, до блеска начищенные ботинки.

Кабанов, светясь приветливой улыбкой, подошел, подал руку.

— Мечтаешь, значит?

— Мечтаю.

— Это хорошо. Мне говорили о тебе. — Осмотрел меня с ног до головы. — Вот таких бы мне ребят подобрать: комсомолец, с авиацией знаком, и желания хоть отбавляй. А на техника не пойдешь?— вдруг спросил он.— Нет? Ну, ладно, готовься к комиссии.

Я помялся: спросить бы... Он заметил:

— Что, вопросы есть? Задавай.

— А-а-а... что надо, чтобы пройти?

— Ну, для тебя не очень-то много: мандатную комиссию — раз! — он загнул палец. — Тут у тебя все в порядке: отец старый революционер, ты комсомолец и рабочий, так что пройдешь. Медицинская комиссия — два!— загнул второй палец и окинул меня взглядом.— Здоров, не сомневаюсь. Ну и... общеобразовательная — три! У тебя ведь среднее образование?

У меня похолодело в груди и в голове молнией пронеслось: «Недоучился, бросил школу! Все пропало!.. Что ответить? Что?!»

В это время дверь настежь — и на пороге человек, коренастый, стремительный, с острым взглядом темно-карих глаз. Кивок головой и четкое: «Здравствуйте!» Не задерживаясь, он последовал в кабинет председателя Осоавиахима.

Кабанов ко мне, шепотом:

— Председатель комиссии Голубев. Быстро садись за стол, вот бумага, вот ручка — пиши заявление.

А я потерял дар речи, хочу сказать и не могу. Во рту пересохло, язык не ворочается. Какое заявление — неуч я! Нет у меня среднего образования!..

Кабанов придвинул мне стул, рукой придавил плечо:

— Садись! Ты — авиационный кадр, понял? Тебе первому и подавать заявление, так велел Голубев. Ну, чего ты одеревенел? Летчика не видел, что ли? Вот ручка — пиши: председателю комиссии товарищу Голубеву... Пиши, пиши!

От глубокого волнения и подавленности, не в силах вникнуть в содержание того, что диктовал мне Кабанов, я механически водил пером по бумаге. Лишь через некоторое время до меня дошел смысл: я писал свою короткую биографию: сборщик самолетов, комсомолец. На фразе: «имею среднее образование», споткнулся, но ненадолго и, чтобы не привлечь внимания Кабанова, написал: «Закончил стрелковую школу, активист Осоавиахима».

Кабанов кончил диктовать.

— Все,— сказал он.— Проставь число, месяц, год: 13-е октября 1931 года. Проставил? Так. Теперь подпись. Вот.— Посмотрел на часы: — Ой-ой, опоздал! — Схватил пресс-папье, промокнул. — Ты свободен! Завтра к десяти на мандатную комиссию. Документы прихвати, отцовские! — И убежал, помахивая моим заявлением.

Все произошло как во сне. Ощущение у меня было такое, будто подхватило меня мощным течением и понесло против моей воли.

Я вышел на улицу. В висках стучало. В сознании возникла вялая мысль, что ведь, наверное, в газетном объявлении были упомянуты в условиях приема требования о среднем образовании, как же я упустил эти строки? Обрадовался, прочитал только первое, бросил газету, помчался! А теперь вот — получай по носу. Конечно, заявление мое Голубев прочтет и, не найдя в нем упоминания об образовании, сразу же поймет, в чем дело. Так что плакала моя школа, и мне вообще-то можно завтра и не приходить... Но я пришел.

К комиссии я приоделся: глаженые брюки, курточка, фуражка с эмблемой, ботинки надраил. На меня косятся и беспрепятственно везде пропускают.

Народу — полно. Толкутся возле дверей, не пройти. Все хотят быть летчиками, и у всех, конечно, среднее образование, не то что у меня.

Выкликнули десять человек, в том числе и меня. Вошел, волнуясь. Все мне кажется, что документы у меня несолидные. Готовясь к вопросу о происхождении, я обратился к отцу. Он, покопавшись в своих бумагах, извлек какой-то старый, потертый на сгибах документ, обозначавший, что такой-то «направляется стачечным комитетом на судоверфь для установления связи и руководства...»

Я даже растерялся как-то:

— Ну, пап, что это за документ?!

— Ничего, ничего, сынок, ты покажи, там люди умные сидят, поймут.

И верно! Только мои бумаги оказались на столе, как один из членов комиссии, старый, седой, с обвислыми усами, осторожно, двумя пальцами, взял отцовскую бумажку, взглянул на нее, бережно расправляя пальцами загнутый уголок, и передал ее соседу. Тот прочитал, покачал головой: «Ну и нуу-у-!» — и передал третьему. Потом они посмотрели на меня тепло-тепло. Усатый собрал документы, протянул их мне:

— У тебя все в порядке, молодой человек. Таким отцом можно гордиться. Желаю удачи.

Я поблагодарил и вышел. А на душе недоумение: как же так получается — не читали они, что ли, моего заявления?

Народу прибавилось — целая улица! Кабанов бегает на рысях. Хотел спросить у него, что делать дальше, да куда там! Смотрю, девица в кожаной куртке прижимает кнопками к двери объявление: «Прошедшим мандат-

ную комиссию надлежит явиться 17-го октября к 10 часам утра в зал кинотеатра «Хива» для прохождения общеобразовательной комиссии...»

Читаю, а на душе у меня словно кошки скребут. Плохо мне, плохо. Надежды, можно сказать, никакой. Недоучка!

Стараюсь взять себя в руки. «Через три дня, значит. Как раз в выходной. Что ж, явимся!..»

Бороться так бороться!

Зимний кинотеатр «Хива», намеченный на капитальный ремонт, был предоставлен в распоряжение приемной комиссии. Двери в зал еще закрыты. Разношерстная толпа молодежи, разбитной и веселой, запрудила тихую улицу с могучими, по-осеннему голыми тополями. Разговоры, смех, дым коромыслом. Курят, грызут семечки. Я присматриваюсь. Народу много, и все, конечно, хотят пройти комиссию, значит, будет конкурс, да еще какой! Мне неизвестна программа предстоящих экзаменов, но математики я боюсь. Не ладил я с нею, а тут еще — недоучка! И на что мне надеяться с таким «багажом»? А какой-то голос мне шепчет: «Когда не на что надеяться, надейся на Его Величество Случай! Шансик слабый, конечно, но все же он есть! Надейся! Борись до последнего!»

Ну, на Случай так на Случай! И бороться так бороться!

Открылись двери:

— Входите!

Мы вошли. Чуть косяки не вынесли. Заняли места на скрипучих скамьях. Шум, гам, громкие выкрики, перебранка. Пахнет потом, табаком, пыль — до потолка. Я умостился на седьмом или восьмом ряду у прохода. Меня приемом «выжмем сало!» пыталась было вытеснить какая-то компания, но я, вцепившись руками и ногами в сиденье, поддал плечом, и сосед, рыхлый парень с круглой, как луна, физиономией, вылетел пробкой, за ним другой. Кто-то крикнул: «Братцы, это свой!» — и атака прекратилась.

Утвердившись, я вперился взглядом в сцену. За длинным столом, покрытым красной материей, усаживались члены комиссии. Не спускаю глаз с председателя комиссии летчика Голубева: энергичный, подвижный, таким и должен быть летчик в моем представлении.

В зале шум несусветный, казалось, нет сил угомонить

эту шумящую аудиторию. И вдруг голос — отчетливый, сильный, и что поразило нас всех — женский:

— Ти-хо!

И стало мгновенно тихо. И в этой тишине — топот каблучков: топ-топ-топ! Мы вытянули шеи. Худенькая женщина, хрупкая, изящная, придерживая тонкими пальцами концы пуховой шали, накинутой на плечи, спускалась по ступенькам в зал. И мы вдруг почувствовали ее власть над нами, власть ее каблучков, власть тонких пальцев, власть ее голоса.

Она вышла в проход, твердо ступая по широким доскам пола и, не останавливаясь, короткими броскими фразами объяснила нам, какие экзамены мы будем сдавать: напишем диктант, затем сочинение и потом решим несколько примеров и задач по математике. Вот и все.

Она уже подошла почти вплотную ко мне и вдруг без всякой паузы сказала:

— А сейчас... Внимание! Все сидящие с краю по этому проходу назначаются старшинами рядов. Старшины... Встать!

У меня сработало, как в ЦИТе. Я бессознательно вскочил, вслед за мной, неуверенно, вразброд, поднялось еще человек десять, остальные сидели в недоумении.

— Что, я непонятно сказала? Поднимайтесь, поднимайтесь!

Кто-то въедливо хихикнул, и зал грохнул хохотом.

Учительница улыбнулась, поблагодарила меня взглядом, высвободила руку из-под платка, подняла ее над головой. И зал стих. Все старшины стояли, как было приказано.

— Старшины! Пойдите на сцену, получите тетради и карандаши, раздайте по своим рядам.

Получили, раздали. Карандашей было мало — один на двоих. Нам сказали: «Разрежьте их пополам и очините». Мы так и сделали. И вот уже раскрыты тетради, как раз посередине, чтобы можно было расшивать, и мы готовы писать диктант. Не очень-то удобно — на коленях, но что поделаешь?

Диктант был заковыристый, со многими ловушками, но я их видел, а кто не видел, тот вздыхал, и вздохов было много, и шепотных вопросов тоже, но учительница их сразу пресекала:

— Кто там шепчется?! Прекратите сейчас же!

Диктант написан, листки из тетрадей вырваны и сданы. Нам приказали прийти через четыре дня.

Пришли. В вестибюле на доске — списки, напечатанные на машинке. Проталкиваюсь, ищу свою фамилию. Ого! Высшая оценка: «Оч. хор». Это уже что-то! Стою у доски, раздуваю зоб: ох, похвастаться-то хочется! Делаю вид, что ищу свою фамилию. Нахожу, тычу пальцем, радостно восклицаю, к досаде тех, кто вообще своих фамилий здесь не находил. Были и еще счастливчики, с такими же оценками, как и моя, но мало, всего восемь человек, я — девятый.

Нас приглашают в зал. Занимаем прежние места. Сегодня тише, людей поубавилось. Вот тебе и среднее образование! Читать надо больше!

Мы приготовили тетради, зачинили карандаши. Будем писать сочинение.

— Тема вольная, — говорит учительница. — Напишите о каком-нибудь событии или о человеке, поразившем ваше воображение. На это вам дается полтора часа. Начинайте!

И меня охватило какое-то опьянение. Было желание — написать хорошо, и было еще что-то большое, важное и неуловимое. Да, а о ком мне писать? Я зажмурился, и в памяти отчетливо встали мои далекие друзья-строители: студент Алеша Коробков и сын профессора Виктор Завьялов. Бригадир Одинцов и Василенко Иван Иваныч. И Колька Стрыгин — гитарист. Мой выбор пал на Стрыгина. Я увидел его, нескладного, некрасивого, с непомерно длинными руками и сильными пальцами, ловко охватывающими гриф гитары, и услышал его голос, чарующий, проникновенный. Я увидел людей, его слушающих, с взволнованными лицами и увлажненными глазами...

Я писал быстро, едва поспевая за образами и фразами, меня обступившими. Ощущение было такое, будто кто-то стоит у меня за спиной и диктует, диктует. Я ничего не видел, ничего не слышал, что происходило вокруг меня, я видел только то, о чем писал. Видел четко, ясно, до галлюцинации. Слышал удары кетменей, скрип тачечных колес, дыхание рабочих. Вдыхал запах свежевырытой земли и запах пота.

Писал, нисколько не думая о правильности изложения — о морфологии, грамматике и синтаксисе. Я вообще не думал ни о чем, потому что мне... диктовали, диктовали, диктовали...

И вдруг что-то произошло! В меня ворвался шум зала: шелест бумаги, шорох, чьи-то вздохи и сдержанный

шепот: «Петька, а Петьк! Как правильно писать: «семячки» или «семички»?

Я оторопело уставился в свою исписанную мелким почерком тетрадь. В голове пусто-пусто и как-то муторно, до тошноты. Ни о чем не хочется думать и писать не хочется. Да я и не мог писать, потому что... выключился! Кончили мне диктовать...

Я испугался: «Да что же это такое со мной творится?!» Появилась вялая мысль: «Хоть прочитать бы, что я там накулемал?» Но и читать не хотелось, не было сил.

Мое внимание привлек топот каблучков: топ-топ-топ! Ближе, ближе! Я сжался, притих, а она уже стоит надо мной. Ощущаю ее дыхание на своем затылке.

— А ты почему не работаешь?

— А я... Я... уже написал!

— Так быстро?

— Д-да-а.

— Ну-у... если написал, — с явным недоверием сказала она, — тогда давай свою работу и выходи.

Я отдал ей листки и вышел.

Четыре дня нестерпимых мук и терзаний. Шел, как на казнь. Доска. Список. Толпятся ребята. Ругаются, вздыхают, счастливо смеются. Робко подхожу, ищу свою фамилию и не верю глазам — вторая отметка «оч. хор»!

Может, я сбился, не там посмотрел? Нет, точно, это мои отметки!

— Вот это здорово! — воскликнул кто-то за моей спиной.— Две высшие оценки! Такого нет ни у кого. Молодец!

«Это про кого, про меня?!»

Просматриваю список. Точно — ни у кого! Вот это да-а-а!..

И уже меня распирает всего от гордости и от восторга, и я стою и тычу пальцем в свои непревзойденные оценки: вот я какой! Вот я какой!..

Но в это восторженное чувство, как в бочку с медом, потихоньку, исподволь, начинали просачиваться капельки дегтя, и третья графа, которую я вначале игнорировал, теперь назойливо напоминала о себе. И к тому времени, когда нас пригласили в зал, от моего восторга не осталось и следа. Я потускнел и сник. Математика! Здесь уж, я понимал, мне не поможет никакой случай. Здесь надо было знать!

Я занял место на своем заметно поредевшем ряду, вынул из кармана помятую тетрадь. На сцене, на двух тре-

ногах была установлена большая классная доска, и Сергей Петрович, учитель по математике, худенький, в сером костюме и со старинным пенсне на носу, громко стуча мелом, записывал примеры и условия алгебраических задач.

В зале — тихий гул голосов, людей осталось мало, и шуметь было некому. И в этом тихом гуле уж очень громко прозвучали знакомые шаги: топ-топ-топ! — стучали каблучки. Но меня они уже не трогали, не умиляли. Я чувствовал себя выбывшим из игры и в данную минуту размышлял, сейчас мне встать и уйти или потом?

Топ-топ-топ-топ!

Я поднял голову. Учительница. Идет и высоко над головой держит в руке тетрадные листы. Подходит ко мне, останавливается, кладет мне руку на плечо.

— Вот, если бы я сама не видела, как этот худенький юноша («Это она мне?» — доходит до меня)... работал над сочинением, то никогда бы не поверила, что так хорошо можно написать. Молодец! — И подает мне мои листки: — Вот, возьми себе на память.

Внимание всех привлечено ко мне, все вытягиваются, смотрят, и мне от этого становится еще горше.

Учительница ушла, протопав на прощание каблучками. Сергей Петрович достукал на доске свои задачи и, потерев носовым платком пальцы, выпачканные мелом, пригладил свой седеющий бобрик волос.

— Прошу работать!

Общее движение, шелест тетрадных страниц, сосредоточенные взгляды. Работают люди! Я тоже прикидываюсь сосредоточенным. Списал с доски условия задач, примеры с «иксами» и «игреками» и с квадратными корнями и скис окончательно: все, что было на доске, этого я как раз не проходил. Что же делать-то? Посидел немного, и когда ребята, решившие задачи, стали сдавать свои работы, я положил свой листок себе в карман, поднялся и вышел вместе с ними, твердо решив больше сюда не приходить. И так все ясно: экзамена не сдал — двери в школу для меня закрыты...

И все же я пришел через четыре дня. Просто так пришел, без всяких планов и надежд. Правда, сначала была мысль — найти Кабанова и поговорить с ним. Но потом я отверг эту мысль. Что я скажу ему — что не выдержал экзамена? Или чтобы попросить его сделать мне исключение? Нет, это нечестно. И мало того — я вообще не

должен с ним встречаться! Чтобы не было вопросов. Тошно и так.

У открытых дверей стоят ребята. Группами. Разговаривают, курят. Степенные, солидные. Я остановился в стороне и долго смотрел на них. Счастливчики! Они уже виделись мне в летной форме, в комбинезонах, в шлемах с очками...

— Ребята, входите!

Побросали окурки в арык, пошли. Пошел и я. Посмотрю хоть на списки...

Списки висели прежние, только фамилии тех, кто не выдержал экзамена, были вычеркнуты красным карандашом. Я отвернулся: не хватало мужества увидеть на своей фамилии красную черту. Вычеркнут из жизни, из мечты...

Мимо, упруго шагая, прошел Голубев:

— Быстро, быстро, в зал!

Я оглянулся: «Это он мне?»

Появился Кабанов, спешит догнать председателя. Увидел меня, остановился и скороговоркой:

— Ты не огорчайся этой оценкой. Понимаешь, Сергей Петрович... Ну, словом, было утеряно несколько работ. Не нашли и твоей. Так мы проставили «уд». У тебя же две «оч. хор»! Пошли! — И умчался.

Ничего не понимая, я все-таки задержался у доски, разыскал свою фамилию, не тронутую красным карандашом, и в графе «математика» увидел оценку «уд».

Я вошел в зал и робко сел в самом заднем ряду. Мне было тошно. Все происшедшее никак не укладывалось в сознании. Конечно, это был редчайший Его Величество Случай, но... честно ли будет им воспользоваться?

Словно сквозь сон доносились до меня слова председателя комиссии:

— ... и вы, сидящие здесь, в этом зале, в честном конкурсном соревновании («Это я-то в честном?!») завоевали право пройти еще одно, очень трудное, испытание — медицинскую комиссию. Вас здесь около двухсот человек, а поедут в школу шестьдесят пять. Вот и судите, какой строгий будет отбор...

У меня отлегло от сердца: «Зачем я буду зря казниться, если предстоит еще борьба? Пройду комиссию, — вот мне и оценка! А пройти я ее должен на отлично. Должен — и все тут!»

Нельзя распускаться!

Приземистые корпуса военного госпиталя с белыми занавесками на высоких сводчатых окнах чинно стояли среди гигантских, в несколько обхватов, тополей и карагачей. Прямые аллеи, тротуары, выложенные кирпичом, высокие стены аккуратно подстриженных кустарников, за которыми в газонах, шурша опавшей листвой, шныряли черные дрозды. Деревья и кустарники были голые, но оттого, что тротуары и аллеи содержались в чистоте: ни окурка, ни бумажки, ни опавшего листа, эта голость не вызывала чувства грусти, а наоборот, настраивала на то, что осень и зима — дело проходящее, и когда настанет срок, лопнут почки на деревьях, пробьется новая трава, зажелтеют одуванчики — первые разведчики весны...

Настроение у меня было самое лирическое, хотя, собственно, радоваться-то было еще нечему. Кто знает, какие опасности могут тебя подстеречь? Как с глазами тогда, когда на курсы ЦИТа поступал? За глаза я теперь не боялся, а вот за ухо... Позавчера, вдруг вспомнив, что у меня в детстве болело правое ухо, я решил показаться врачу. В платной поликлинике женщина-врач тщательно меня осмотрела, проверила слух.

— Ну что ж, — сказала она. — У вас все хорошо, молодой человек. Слышите вы отлично.

— Доктор, — сказал я. — А вот... я на летчика хочу.

— На летчика?— переспросила она и поправила лобный рефлектор. — А ну-ка дайте я посмотрю ваше правое ухо. — Взяла никелированную воронку, посмотрела. — Гм... Да-а... У вас болело ухо в детстве?

— Болело, — ответил я. — А что?

Она посмотрела на меня с чувством сожаления:

— У вас шрам на барабанной перепонке. Вас забракуют.

— Шра-а-ам?!

Вот этого я меньше всего ожидал. Все можно натренировать, как-то скрыть, завуалировать, а шрам так и останется шрамом, хоть лопни!

Меня словно из ушата холодной водой облили. Я шел домой сам не свой. Надо же — шрам! Что же делать-то? Вроде ничего и не поделаешь. Но распускаться нельзя. Нельзя распускаться! Надо что-то придумать. Но что? И я принялся рассуждать и в конце концов пришел к логическому выводу: я должен пройти все кабинеты толь-

ко на отлично! Лоркабинет оставлю напоследок. И если моя сводная медицинская карта будет только с отличными отметками, то последний врач, естественно, не будет проявлять особой бдительности, а даже, может быть, наоборот — проявит невнимательность. Может так быть? Может! С другой стороны, имея отличные оценки всех других кабинетов, легче уговорить врача быть снисходительным. Ну, и у меня ведь есть еще в запасе Его Величество Случай! Ведь может быть, скажем, так: старенькая женщина-врач. В очках. Подслеповатая. И она этого шрама не разглядит. А слышу-то я хорошо! Так и пройдет. Чего же тут панику разводить?

Я так убедил себя в незыблемости избранного мною метода, что никакие сомнения меня не тревожили.

Я с умыслом немного опоздал. Пусть комиссия возьмет «разгон», разработается и установит какой-то эталон, а я должен показать результаты выше этого эталона. И еще — начинать проходить комиссию нужно с самого трудного кабинета, из которого больше всего выходит забракованных. Отличная оценка этого врача задаст тон всем остальным.

Приемная уже была полна народу: кто был раздет, кто раздевался. Дежурная сестра, пожилая, строгая, регистрировала пришедших:

— Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения? Вот вам медицинские листы. Это вот — сводный, он должен быть всегда наверху. Ясно? Раздевайтесь.

В длинном коридоре с множеством дверей стояли очереди. Я встал в сторонке и осмотрелся: где же тот кабинет — самый трудный? И скоро увидел его: во-он там, в конце коридора, где титан. Самая короткая очередь возле этой двери. Из нее как раз вылетел парень, весь мокрый, лицо растерянное, жалкое.

— З-зверь, а не доктор! — простонал он и со злостью запихнул медицинские листы в урну. — Забраковал, п-парразит! — Встретился со мной взглядом, пожаловался: — Пока я здесь стоял, из восьми человек только двое прошли!

Подхожу, чтобы занять очередь к «зверю» и «паразиту». У двери с надписью «невропатолог» жмется группа ребят в чем мать родила. Какой-то шустрый парень, оттолкнув меня, подскочил и пальцем: «Раз, два, три, четыре... — принялся считать. — Одиннадцать, двенадцать! Я тринадцатый? Не пойдет! — И ко мне: — Ты сюда? Уступаю. Я за тобой».

Двенадцатым был в очереди высокий парень атлетического сложения, красивый, мощный, хоть ставь на пьедестал. Он важно прохаживался, держа листы за спиной, расправлял грудь и плечи, поигрывал мускулатурой. Подойдя к нему, я почувствовал себя пигмеем, до того он подавлял своей массивностью. Было в нем что-то наигранное, нахальное. Он мне не понравился.

— Кто здесь последний, ты, что ли? — вызывающе спросил я.

Парень, чуть повернув гордо посаженную голову, взглянул на меня через плечо сверху вниз, презрительно скривил губы.

— Ну я-а-а, — хрипло пробасил он и сплюнул мне под ноги. — Ходють тут всякие!

Да, действительно, доктор свирепствовал вовсю: из одиннадцати человек прошли с оценкой «удовлетворительно» только четыре. Не очень-то! Гигант заметно нервничал, а я был подобранно-спокоен: все во мне сейчас мобилизовано для выполнения самого важного — пройти этот первый трудный кабинет на «отлично».

Вышел очередной, вздохнул счастливо, вытер пот со лба:

— Хорошо! — сказал он и мотнул головой. — Ну и зве-е-ерь!

А великан уже топтался перед дверью. Подошел, глубоко вздохнул, расправил плечи, словно готовясь выйти на ринг, и вдруг со всего размаху толкнул дверь ногой, открыл ее, шагнул через порог и лягнул дверь с той стороны.

А у меня как-то само собой получилось: я подставил свою ступню, дверь ударилась, самортизировала, и получилась щель. Я тотчас же прильнул к ней: что же там будет?

Доктор, склонив подстриженную под короткий бобрик лобастую голову, что-то писал, торопливо и нервно. «Ну, ясно, — подумал я, — невропатолог сам должен быть нервный». А парень стоит, держит анкеты за спиной и босой ногой шлепает по полу.

Доктор по-прежнему пишет, а парень шлепает ногой. Интересно, долго так будет продолжаться?

Наконец доктор резким движением положил ручку на стол и, не поднимая головы, рыкнул:

— Ну-у?

А парень без всякого смущения в ответ:

— Ну во-от, я прише-е-ел. — И шумно вздохнул, расправляя плечи.

Доктора словно пружиной подбросило, он вскочил, оперся кулаком о стол. Ноздри его трепетали, глаза сверкали гневом.

— Садись на стул! — почти заорал он.

Парень, играя мускулатурой и явно красуясь, важно прошагал до стула и, небрежно бросив на край стола листы, принялся усаживаться с таким видом, будто он пришел к теще на блины.

Доктор, шумно дыша, принялся его осматривать, ощупывать, остукивать, резким тоном подавая команды: «Руки вперед!», «Растопырь пальцы!», «Закрой глаза!»

Наконец послышалась команда:

— Марш на кушетку!

Парень, по-прежнему красуясь, какой-то приплясывающей походкой направился к кушетке и долго укладывался на ней. Доктор, постукивая себя по бедру молоточком, нетерпеливо ждал.

— Ну-у, разложился? — и несколько раз провел ему рукояткой молоточка по груди и животу, перешел к ногам и там черканул по подошвам ног... Парень, игриво гоготнув, дрыгнул ногами.

— Лежи у меня! — процедил сквозь зубы доктор и наложил указательный и средний палец парню на глаза. Что он там сделал, я не понял, но парень, крикнув: «Ой», ударил доктора по руке.

Доктор брезгливо поморщился:

— Ой? — сказал он. — Не годен. Следующий!..

Когда атлет выходил, я не узнал его: сутулый, жалкий, словно футбольный мяч, из которого выпустили воздух.

Теперь идти мне. Подошел, подобрался весь, как перед прыжком с высоты, приоткрыл дверь.

— Доктор, разрешите войти?

А из-за двери:

— Кхм-кхм! Да-да, войдите.

Вошел, прикрыл за собой дверь, встал по стойке «смирно».

— Здравствуйте, доктор!

Смотрит на меня с интересом.

— Кхм! Кхм! Здравствуй, здравствуй. — И широким жестом: — Прошу на стул.

Я четко подошел, положил перед ним документы и сел. И выпрямился. И замер.

Доктора словно подменили: сияющий, светлый. Посмотрел, постучал, покомандовал, но уже тоном отеческим, мягким.

— Прошу на кушетку.

Я быстро улегся, вытянулся в струнку — сама готовность! Теперь надо быть внимательным: отчего это парень ойкнул?

Доктор размашисто прочертил мне рукояткой молоточка по груди, по животу, по ступням. Подошел к голове, наложил мне пальцы на глазные яблоки и... Из глаз моих посыпались искры...

«Что он делает?! Больно же!..» Но я был готов ко всему — стерпел, не крикнул «ой!» и даже не шевельнулся. А он все давит и давит. Боль несусветная. Чтобы как-то уменьшить ее, я чуть передвинул глазные яблоки — пусть давит на новое место. А он, — вот уж действительно — зверь, — надавил еще сильнее. Тогда я озлился: «Не шевельнусь больше, хоть выдави совсем!»

И не шевельнулся. Вытерпел. И он отпустил. Слышу только — хлопает меня ладонью по плечу:

— Молодец, отлично! — и поставил мне в листе отличную оценку.

Последний барьер

Все остальные кабинеты были для меня «семечки». Первая отличная оценка невропатолога сыграла свою роль: я видел, с какой почтительностью рассматривали врачи мой длинный лист. Ну и еще, конечно, мои: «Разрешите войти?», «Здравствуйте, доктор!», «Спасибо» — тоже значили много.

Наконец все! Я прошел предпоследний кабинет. На сводный лист любо-дорого смотреть! Ни у кого не было такого! И вот мне предстоит последнее решающее испытание: кабинет отоларинголога...

От подобранности моей не осталось и следа. Страшно...

Подхожу к кабинету, ноги дрожат, подгибаются. Занимаю очередь. Стою. Мечтаю: вот была бы там сейчас старенькая добренькая женщина-врач. В очках. Лицо в морщинах. Подслеповатая. Может, она и не увидит мой шрам. А если бы и увидела, то ее, старенькую, добренькую, можно и уговорить. Слезу пустить, поплакать... И еще сводный лист у меня такой хороший..

И так я ее себе нарисовал, что видел на ее лице каж-

дую морщинку и даже голос слышал — слабый, слегка дрожащий...

Меня толкнули в спину:

— Ну иди, чего стоишь, твоя же очередь!

Я очнулся, подошел к двери и остро ощутил, как бьет меня отвратительная дрожь и тело потом покрывается. Сейчас вот... Сейчас.

Открываю дверь и слышу свой жалкий, подхалимский голос:

— Доктор, разрешите войти-и-и?

Я ждал, что сейчас прозвучит в ответ надтреснутый старческий голос, а в ответ прогудело раскатистым басом:

— Да-да, входи!

Я вошел и обомлел: сидит здоровенный рыжий доктор в белом халате с засученными рукавами. На мускулистых руках — огненные волосы, пальцы толстые, как сосиски, и тоже волосатые. Ну разве такого уговоришь?..

— Здравствуйте, доктор!

— Здорово, — пробасил в ответ. — Садись.— И, прищурив глаза с пушистыми белыми ресницами, вопросительно на меня посмотрел.

Я нерешительным движением положил перед ним листы и, как бы поправляя бумаги, пододвинул к нему сводный лист. Но он, даже не поглядев, отложил сводный лист в сторону и взял свой. И я совсем скис. Скидки мне не будет. А как он на меня посмотрел!..

И началась проверка: на слух, на шепотную речь. Слышал я хорошо и отвечал точно.

— Та-а-ак, та-ак, — добродушно басил он. — Хорошо-о-о!

А я не спускал глаз с воронки, которую вставляют в ухо. Как на кобру смотрел, с душевным содроганием. И вот его толстые пальцы-сосиски тянутся к воронке.

— Давай сюда ухо.

Подставляю левое. Смотрит, кладет воронку на стол, берет ручку, макает в чернильницу.

— Та-а-ак, хорошо-о-о. Запишем: левое ухо... — Перо, споткнувшись, брызнуло чернилами. Доктор, чертыхнувшись, поморщился: — Во! Кляксу посадил. Хорошая примета! — Взял пресс-папье, промокнул и, продолжая писать, сказал: — Давай правое ухо.

Я ни жив, ни мертв: «Что делать? Что делать..?»

В полубессознательном состоянии встаю со стула, беру его за спинку, волоку ножками по полу. Со скрипом.

И жестко ставлю: бряк! Поворачиваюсь вокруг своей оси, сажусь и подставляю ему... левое ухо.

Доктор, положив ручку, взял воронку, вставил в раковину. Меня всего, с головы до ног, охватило трепетной горячей радостью: «Прошло! Прошло!..»

Но я обрадовался рано. Он что-то заподозрил. Может быть, ему через пальцы передалась моя восторженная дрожь? Не вынимая воронки, доктор сбоку подозрительно на меня посмотрел. На лице его было написано: «Интересно, чему этот осел радуется?» Взгляд его скользнул по листу: да ведь он же второй раз смотрит левое ухо!

И все понял, и зарычал:

— А ну, давай сюда правое ухо!

Схватил меня за голову, чуть шею не свернул. Ткнул воронку и тут же с сердцем шмякнул ее об стол:

— Ты что мне с таким ухом целый час голову морочишь?! Не годен! — Схватил ручку, занес, как копье, чтобы навеки пригвоздить мне приговор...

Я упал на колени:

— До-октор!!,

Это был вопль отчаяния, мольба о сострадании. И вижу — его здоровенная лапища дрогнула на полпути. Он поморщился и бросил ручку на стол. Ну ясно — добрейшей души человек!

Я потрясен до глубины души, слезы брызнули фонтаном. Для пущего эффекта, размазываю их по лицу, а сам смотрю, что он делает.

Доктор изучал мой сводный лист. Я громко всхлипнул, он поморщился, но лист не бросил.

— Ну и ну-у! Вот это ли-и-ист! Я такого еще не видел. — И ко мне: — Ну, чего ты ревешь? Чего ревешь? Ты знаешь, что такое летчик? Надо быстро набрать высоту! Быстро снизиться! Перемена давления, а у тебя — шрам на барабанной перепонке! Ну, какой из тебя летчик с таким дефектом?!

Я хлюпнул носом, молитвенно сложил руки:

— Доктор! Честное слово, из меня будет хо-роший летчик!..

Он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся:

— Ну, ладно, не реви. Будь по-твоему: годен условно.

Через несколько дней мать провожала меня на вокзал. У меня был фанерный чемодан с продуктами на дорогу, эмалированный чайник, подушка и толстое ватное одеяло, потому что ехал я в Россию, где была зима и трещали морозы.

Я становлюсь знаменитостью

Пять суток в дороге — это было здорово для нас! Все уже в поезде знали, что едут летчики. Ну, не летчики, конечно, а только еще пока курсанты авиашколы и то — будущие. Но все равно, мы не возражали и поправок не вносили, когда нас называли летчиками.

Ехали дружно, весело. У нас была гармонь, и мы под нее устраивали во время остановок пляски на перроне. Один парень, узбек, Усманов Артык, гибкий, проворный, лихо танцевал лезгинку. И папаха откуда-то у него появилась. Заломит ее, вскинет руки, взвизгнет дико: «Асса! Асса!» — и пошел частить по кругу ногами, обутыми в ичиги. Сразу же толпа вокруг. Развлечение.

А дальше все холоднее и холоднее. А приехали — все заснежено, заморожено. Деревья в инее стоят. Я такого еще не видал. Как в сказке!

С вокзала нестройной толпой дошли до общежития. Охо-хо! Вот это доми-и-на! Громадное здание в пять этажей, множество окон. Здесь нам жить. Авиашкола! Не верится. А может, это сон? Подхожу, как к святыне, трогаю стену рукой. Шершавая, холодная. Моя мечта! Вот она — школа! Я буду любить тебя всей душой! Все перенесу, все перетерплю, но летчиком стану!

Кабанов ведет нас на пятый этаж. Крутые марши лестниц с цементными ступенями. На площадках дневальные. Привлеченные топотом наших ног, открывают двери, смотрят: «А-а-а, новенькие! Будущие летчики!»

Взобрались. Толкаем дверь. Входим. Громадное помещение с подпорными колоннами уставлено рядами железных коек: три ряда слева, три ряда справа. Между койками — тумбочки. Койки голые — одно железо, от которого веет холодом.

— Ну вот, мы первые! — сказал Кабанов. — Нам и обживать. Кладите вещички и пошли в каптерку, получать постельное белье.

Спустились вниз, в каптерку, получили по матрасному мешку, наволочки для подушки, простыню и одеяло. Все пока, на первый случай!

Вышли во двор. Стог соломы — громадный, под белой шапкой, и от него по снегу — золотистая тропинка. Набили поплотней «пуховики», поволокли на верхотуру. Зашили, размяли, застелили простыней, одеялом. Чудно! Матрасы — как бочки. Перестарались, наверное, пожадничали. Что же делать — расшивать?

— Ничего,— сказал Кабанов. — Все правильно, не огорчайтесь. Поспите — умнете. Через недельку будет самый раз. Я-то уж знаю.

С пятого этажа, сквозь мерзлое стекло открывается панорама: река, занесенная снегом, деревья в сказочном украшении, из-за них выглядывают крыши домишек и над ними — дымки свечечками. Слева железнодорожный мост в три ферменных пролета.

— Сбегать бы на речку. Можно, Дима?

— Можно. К ужину не опоздайте. Через два часа.

— Ладно.

Помчались, грохоча ботинками по гулким лестничным ступенькам.

— Ребята! Ребята! Река замерзла! Ле-од! Ле-од!..

Замерзла река? Лед? Интересно. Я такого еще не видел. Видел лужицы с тонкой корочкой льда, но чтобы замерзла река...

Бегу по снегу, не разбирая дороги. Точно — замерзла! Лед толстый и прозрачный, даже страшно. По реке на коньках носятся пацаны. Покататься бы... Никогда не катался!

Прошу у одного:

— Слушай, парень, дай покататься.

Парнишка попался добрый. Садится на пенек, отвязывает с валенок коньки.

— На, катайся. Как надоест — перебросишь их тут вот, через забор, а мне уроки пора готовить.

— Спасибо, малый.

— Пожалуйста! — и убежал.

Привязал кое-как, встал и тут же растянулся. Поднимаюсь на четвереньки.

Пацаны смеются:

— Не катался никогда?

— Никогда.

— Откуда сам-то?

— Из Ташкента.

— О-о-о! Там жарища небось...

— Да есть.

Встаю на коньки, и ноги мои тотчас же устремляются вперед. Падаю снова.

Пацаны подлетают:

— Дядь, дядь, а ты носки расставляй в стороны!

«Дядя»?! Я не ослышался? Нет. Точно — я уже «дядя». Первый раз в жизни назвали меня «дядей». Значит, что-то случилось? Что-то произошло?

Поднимаюсь, расставляю носки. Получается! Стою, вибрирую. Пацаны подхватывают меня под руки:

— Давай мы тебя покатим!

Покатили. Сказочно скользить по льду!

И вот, уловив технику отталкивания и скольжения, я уже катаюсь сам. До самозабвения. Звенят коньки, разрезая лед, свистит ветер в ушах. Меня зовут, кричат, машут руками. Я отмахиваюсь:

— Ладно уж, дайте покататься!

И не заметил, как опустилась ночь. Я один на реке. Луна. И мороз покрепчал. Идти бы надо. Ну ладно — еще разок. И только докатился до середины реки, вдруг— крррак! — что-то гулко треснуло, и сердце в груди: ек!— покатилось в пятки.

Что это? Лед треснул, вот что! От мороза. Страшно.

Осторожно, на цыпочках добрался до берега. Сел на пенек, отвязал коньки, перебросил их через забор, как было сказано, пошел домой. «Домой...» Вот он теперь — мой дом в пять этажей. Подошел к нему, прижался щекой и поцеловал холодную стенку. Я был счастлив бесконечно.

В столовую я, конечно, опоздал. Все закрыто. Ну и ладно, зато накатался досыта.

Ватное одеяло мне навязала мать. Силком, со скандалом. Не хотел брать: «Ну вот еще — перед ребятами позориться. Не возьму!» Мать в слезы. Отец вступился: «Бери, не ломайся, слушайся старших».

Взял. А сейчас ух как хорошо! В помещении не топлено, даже и печек нет. Не предусмотрено. Потому что наш красавец дом вовсе и не дом, а бывшая мельница. Потом будет дом. Потихоньку. А сейчас некогда, время не терпит: летчиков надо скорее готовить. Своих, советских. Оттого и клич брошен: «Комсомол — на самолеты!» Да из наших ребят никто и не был в претензии. Не утеплили — значит, не успели. Вся страна сейчас живет в переустройстве, и тут не до комфорта.

Ребята уже были в постелях, укрывшись с головой одеялами. Сверху наброшены куртки и пальтишки.

— Ух ты! Холодно-то как! — глухо сказал кто-то из-под одеяла. — Подбросить дровишек, что ли?

— Подбросил! — и пошел хохот по всему залу:

— Ну, Петька Фролов! Ох, чудак!..

А утром я встал и чуть не упал: ноги меня не держали. Накатался вчера. Досыта. Вот теперь ходи, как на ходулях.

Умываться надо было идти вниз. Я взял чайник с привязанной крышкой, полотенце, мыло, зубной порошок и щетку, рассовал что можно по карманам и, кряхтя от боли в ногах, поплелся к выходу.

Разминая одеревеневшие мышцы, с великим трудом спустился до четвертого этажа. Подумал: «Если так буду спускаться, как раз до вечера и доберусь...» А на площадке четвертого кто-то воду расплескал по ступенькам, и она заледенела. А я наступил каблуком и по ступням моим будто кто сзади с маху ударил. Ноги взбрыкнулись, как вчера на реке, и я, выпустив чайник, лихо помчался вниз на спине. Чайник, аккомпанируя привязанной крышкой, с ужасным грохотом скакал впереди. На промежуточной площадке чайник, закрутившись, сделал несколько скачков и снова ринулся вниз, а я за ним. Так мы скакали вплоть до третьего этажа. Тут нас поймали. Подняли, отряхнули, а заодно и посмеялись. И если бы не проклятый чайник с крышкой, никто бы и не знал о моем полете. А так на меня после этого долго показывали пальцами и говорили с усмешкой: «Вон тот парень, который спустился по ступенькам на спине с пятого этажа».

Конечно, они здорово привирали, а что с них возьмешь?

Так я и стал знаменитостью.

Винегрет в голове

Мы устраивались несколько дней. Толчея, неразбериха. Люди приезжали со всех сторон: из Чувашии, из Мордовии, из Сибири и Урала, и со средней полосы России. Некоторые, покрутив носами (неустроено, холодно), забирали манатки: «Нужна нам эта школа, как собаке пятая нога!» — и уезжали. Ну и катитесь! Невелика потеря! Слабаков будет меньше.

Через неделю все установилось, стабилизировалось. Были назначены командиры учебных групп, ну и, конечно, старшина — глава над курсом.

Нас сводили в баню и там всех переодели. Китель, брюки из грубого черного сукна, сапоги, черная шинель, черная фуражка с лакированным козырьком. На фуражке латунная эмблема — «птичка» с пропеллером. Если ее потереть рукавом — блестит, как золотая. Вот только пуговицы бы еще золотые! На черном-то как бы они хорошо выглядели! А пуговицы подгуляли: невзрачные

черные железные пуговицы с выдавленной эмблемой. Ее и не видать вовсе!

Оделись и как-то вроде бы все потеряли свою индивидуальность. Это только на первый взгляд так казалось, а на самом-то деле индивидуальность не только осталась, но как-то даже подчеркнулась. Ну, например, всем же выдали одинаковое обмундирование, а вот сидит оно на каждом по-разному: на ком с шиком, а на ком как на палке! Смотреть тошно.

— Ну, Петь, — говорю я своему товарищу по группе Агееву. — Что ты согнулся, как знак вопроса? Выпрями спину-то! И фуражку выпрями, пригладь, — что она у тебя, как у повара колпак?

А он отмахнулся от меня, как от назойливой мухи:

— А мне и так хорошо. — Вот и все тут.

И сапоги у него тоже какие-то — култышками и рыжие. Ну почисть их сапожным кремом, доведи до блеска. И ходить надо тоже с достоинством. Подтянись, держи голову высоко и ногу ставь твердо.

— Петь, ну ты же курсант, понимаешь? Будущий летчик, так держи себя браво, шагай красиво!

— Отстань! — сердился он. — Мне и так хорошо. — Это у него отговорка такая была любимая.

Ну, за нас, конечно, сразу взялись: строевые занятия, шагистика. Старшины, назначенные из курсантов, побывавших в армии, свое дело знали. А дело-то, собственно, все в том, чтобы красиво, четко подавать команды. Такие команды и выполняются с удовольствием.

А военрук школы Киреев — просто чудо! Маленький, кругленький, быстрый. Носил он хромовые сапоги и широченные брюки-галифе. На боку планшетка. Голос звонкий-звонкий. Выстроит курс, прокатится шариком вдоль всего строя: «Товарищи курса-анты-ы! Ушки топориком! Ушки топориком! Слушай мою кома-анду! Ррравня-айсь! — И опять пробежит, подравняет, добиваясь идеальной прямой. — Сми-и-рррна! — Напррра-во! Ать-два-а! Ша-аго-ом... аррш!»

И несколько сотен ног, обутых в сапоги, дружно, разом — по булыжной мостовой: хррруп-хррруп! хррруп-хррруп! хррруп-хррруп!

И мы идем через город, запеваем песни.

Красивый строй — это прежде всего хороший дух, бодрое настроение. Это единство, спаянность, дружба, это локоть товарища, это подмога, опора и внутренняя гордость. Хороши мы были бы, если бы плелись из общежи-

тия до учебного корпуса кое-как, вразвалку и вразброд. Провалиться можно было бы от стыда!

И лишь тогда, когда мы научились хорошо ходить, нас повели в учебный корпус. Громадное здание в пять этажей стояло солидно, веско. Мы вошли в него, как в святая святых, тихо, молча. Самолетный класс, моторный класс, аэронавигации, теории авиации... Экспонаты, экспонаты, экспонаты: обнаженное крыло самолета — с лонжеронами, стрингерами, нервюрами. Системы рулей в сборе и в схеме. Фюзеляжи, ролики, троса... Разрезанный мотор, вдоль и поперек, такой конструкции и такой — от зари авиации до наших дней. Цилиндры, поршни, шатуны, системы смазки. Компас, карты, измерения углов. Силуэты самолетов: над морями, над горами, над пустынями. Небо, облака, трассы полетов...

И этот запах — авиационный...

Было от чего закружиться голове! Мы ходили как пьяные от счастья и от теплого затаенного сознания, что вот кто-то, чья-то ясная головушка, чьи-то добрые руки создали для нас все условия: учись, познавай, становись человеком, нужным для Родины.

Эх! Имел бы я законченное среднее образование да знал бы алгебру и математику, учился бы играючи, а так... Самолет, мотор — пожалуйста! Знаю назубок. Выхожу к доске или к экспонату с указкой и не хуже учителя сыплю терминологией и получаю отметки «отлично».

«Сопротивление материалов». Тут у меня уже раздваивалось: у доски отвечаю отлично, даже учитель делал квадратные глаза, когда я без запинки разбирался в сложной схеме разложения сил. Нарисует он принципиальную схему лонжерона крыла и давай — поясняй ему стрелочками, как будет работать конструкция на сжатие, на скручивание, на растяжение. И я моментально разберусь, что к чему. А вот письменная... не получалась! Формулы надо писать, выводы делать: что из чего, делить «игрек» на «зет» и множить на «икс». То горячей волной обдаст, то холодной. У доски отлично, письменно плохо. Разве только «сдуешь» когда у соседа...

Говорит мне учитель:

— Лодырь ты, вот что, мой друг! — И теряется, какую же отметку выводить? И выводит среднюю — уж очень здорово я силы раскладывал.

С «Теорией авиации» — так же: все понимаю, все представляю, а как дойдет до выведения формул — стоп! Тяну на тройку.

«Аэронавигация». Тут как-то получалось интересно. Преподаватель из летнабов, побывавший в серьезной аварии, с обгоревшим лицом и кистями рук, примет доклад у дежурного по классу, подойдет к столу, обопрется об него кулаками, постоит так с полминуты, потом с размаху стукнет по столу костяшками пальцев и скажет:

— Земля — это есть классический эллипсоид!..

Значит, он на «взводе» и на уроке можно заниматься чем угодно. Мы брали карты и, разложив их на скамьях, изобретали себе сложные маршруты: измеряли курсы, вносили поправки на снос, на магнитное отклонение, исчисляли потребный запас горючего и намечали, где надо садиться на заправку. Преподаватель с довольным лицом ходил меж столов, поглядывал и щедро ставил нам отличные оценки. А может, так и было?

Изучали мы и аэродромную службу. Преподаватель — латыш, по фамилии Нокеляйнен. Как-то шла ему эта фамилия: деликатный, интеллигентный, голубоглазый. Удлиненное лицо, приплюснутое у висков, волнистые светлые волосы, высокий чистый лоб, маленький рот с красиво очерченными припухлыми губами. Нокеляйне — бывший военный летчик-истребитель, побывал в аварии. Он интересно вел уроки, не очень чисто выговаривая по-русски, и это у него получалось тоже как-то мягко и красиво, и запоминающе.

— Нат артромом фикурять нельзя! — четко выговаривал он, и слова его словно впечатывались в нашей памяти.

Конец теории

А в выходные дни мы отправлялись в город, чаще всего в театр. Местная труппа, очень веселая и очень нами любимая, непринужденно и мило ставила оперетты: «Сильва», «Марица», «Цыганский барон».

Марица была немного толстовата, но энергичная, подвижная, с красивым голосом, и мы любили ее всей душой и прощали ей ее объемистость. А возлюбленный Марицы, весельчак и балагур, когда по ходу действия должен был держать ее на руках, делал при этом такие уморительные рожи, что театр сотрясался от взрыва хохота и аплодисментов. Здесь мы переживали счастливые часы, страдали, влюблялись, ревновали, испытывали сладость благополучного исхода в соединении любящих сердец и выходили из театра с настроением возвышенным

и восторженным и словно бы очищенными от окалины нашей напряженной в трудной учебе жизни.

Но чтобы попасть в театр, нам надо было еще пройти «чистилище». Очень требовательный старшина, прежде чем отпустить нас в город, выстраивал увольняющихся в общежитии и придирчиво осматривал.

— Пуговица болтается, выходи из строя!

— Товарищ старшина!..

— Ррразговорчики!..

— Сапоги! Это что за сапоги?! Кто их будет тебе чистить — старшина? Выходи из строя!

Пройдет вдоль рядов, все увидит, все заметит. Ну, кажется, нормально, сейчас отпустит, а он командует:

— Смиррр-на!.. Кррру-гом!

Теперь мы стоим спиной к старшине и поеживаемся от его взгляда.

— Это что-о-о?! — гремит голос. — Что это такое, а?! Как для себя, так сапоги начистили, а для старшины так нет? На пять минут ррразойдись! Чистить задники сапог!..

Что поделаешь — расходимся, чистим задники сапог. Для старшины.

Время шло. Мы учились, ощущая всем своим сознанием, всем своим желанием наступление новой «эры» в нашей жизни — переход с теории на практику. Мы взрослели.

Пришла весна, тополя набрали почки, и по берегам Хопра с почерневшим ноздреватым льдом появились в снегу проталины, в которых ярко зажелтели ивовые прутья. Верба, украсившись пушистыми сережками, пробуждала в душе волнующие чувства. А волнений было много. Всяких. Нужно готовиться к экзаменам по пройденным предметам теоретического курса и получать отпуск, чтобы поехать домой, похвастаться, покрасоваться. Ребята шныряли в поисках эмблем и «золотых» пуговиц, которые курсантам хотя и не полагались, но без них-то ведь нельзя! Как появишься домой — эффекта не будет и вообще!..

Добывали пуговицы разными способами: официально и неофициально. Самые дотошные принялись устанавливать, положены ли курсанту «золотые» пуговицы? Установили — выпускнику теоретических курсов уже положены. Ну, а раз положены — давай! А не дают. Говорят — нету. Как это «нету»? Просьбы, нарекания, жалобы. Вы-

яснилось — снабженцы прозевали вовремя дать заявку в высшие инстанции. Нет пуговиц на складе. Но разведка донесла — есть! Только зажимают их для какого-то там «всякого случая». Ах, зажимают?! Петиция начальнику снабжения Бершадскому. А тот наотрез отказал: «Не дам — и все тут!» Кто смирился, а кто нет.

Бершадский любил играть в шахматы. Но ему не было равных партнеров в городе. Только один курсант из четвертой группы, Алексей Трегубов, щуплый и невзрачный парень с густой шевелюрой огненно-рыжих волос, был достойным противником Бершадского. Они часто играли с переменным успехом, и лишь немногие знали, что если Бершадский выигрывал, значит, так было надо. Выиграв, Бершадский становился добрее, и на нашем курсе появлялись костюмы для самодеятельности или музыкальные инструменты, которых официальным путем оркестранты никак не могли добиться.

Вообще-то Бершадский был человек неплохой, умный, с чувством юмора, и курсанты его любили.

Он появился у нас в общежитии к вечеру, неожиданно, разыскал Алексея Трегубова, и они, уединившись в красном уголке, уселись за шахматным столом.

На этот раз, блестяще выиграв две партии, Бершадский был неумолим. Высказанные Алексеем, как бы между прочим, просьбы о пуговицах, были категорически отклонены. Тогда Трегубов предложил сыграть еще и выиграл. Задетый за живое Бершадский захотел отыграться — и проиграл! И снова попросил — и снова проиграл. Крупное лицо его с тонкой розовой кожей покрылось фиолетовыми пятнами. Так сокрушительно он еще никогда не проигрывал. Бершадский сгреб шахматные фигуры в ящик стола, тяжело поднялся и, сопровождаемый дежурным по курсу, направился к вешалке, где висела его шинель. Вешалка была курсантская, общая, и он долго копался в темноте, ворча сердито: «Моя? Не моя. Опять не моя!» — и раздраженно к дежурному:

— Почему у вас здесь лампочка не горит?

Дежурный вежливо щелкнул каблуками:

— Нету, товарищ начальник! Вторую неделю рапорт у вас лежит...

— Рапорт, рапорт, — уже примирительным тоном проворчал Бершадский. — Подковыриваешь?.. Да где же моя шинель, ч-черт ее подери! — закричал он. — Дайте же как-нибудь сюда свет, что ли!

— Днева-а-льный! — громко крикнул дежурный. —

А ну, быстро, выверните лампочку в красном уголке и вверните ее у вешалки!

— Выверните, вверните, — опять проворчал Бершадский. — Черт знает что такое!

— Вот именно, — с готовностью поддакнул дежурный и снова щелкнул каблуками.

Прибежал дневальный с лампочкой и с табуреткой в руках. Поставили тумбочку, на тумбочку табуретку, ловко забрался.

Свет включен, а шинели нет!

У дежурного вытянулось лицо, и он грозно посмотрел на дневального. Тот кинулся к вешалке.

— Да вот же она, ваша шинель, товарищ начальник! Как же вы ее не нашли? Сукно-то вон какое — сразу выделяется.

Бершадский недоверчиво тронул рукой воротник шинели.

— Действительно вроде бы моя. — Повернул шинель. — Нет, не моя. Пуговицы черные...

Постоял в раздумье, бросил на дежурного подозрительный взгляд и решительным движением полез в карман шинели. Вынул носовой платок, записную книжку, карандаш с металлическим наконечником. Не торопясь, положил все на место и, склонив голову набок, с хитрецой посмотрел на дежурного.

— Тэ-э-эк,— сказал он, и в голосе его послышались смешливые нотки. — Тэ-э-эк. Значит, пока мы играли в шахматы, пуговицы мои почернели?!

Дежурный беспомощно развел руками:

— Ничего не пойму, товарищ начальник! Это чего же — обнесли, значит? То есть, простите, — ваши срезали, а черные пришили?! Да я их разыщу!.. Из-под земли достану!

Бершадский, замахав руками, рассмеялся:

— Что вы! Что вы! Не надо горячиться, не надо. Так как вы сказали: «Обнесли, значит»? — И расхохотался. — Ну, артисты, ну, артисты!..

Все еще смеясь, он снял свою шинель, надел ее с помощью дежурного и, поблагодарив его кивком головы, сказал:

— А пуговицы завтра будут. Для всех. Золотые, — и вышел.

Итак, с пуговицами вопрос был решен положительно. Ребята на радостях качали Трегубова, и вечером следующего дня, собравшись в общежитии, все золотые, все

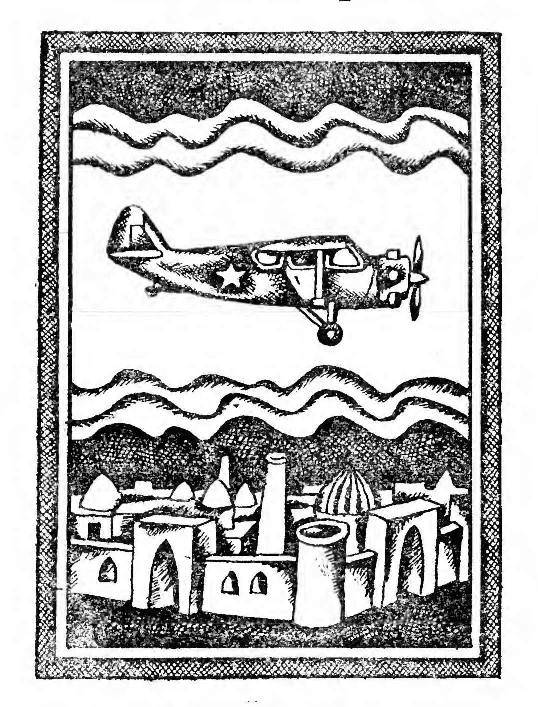
красивые, все повзрослевшие, решили объявить соревнование между учебными группами на лучшую сдачу экзаменов. И все вдруг стали серьезными и тихими. Разложили конспекты, схемы, чертежи и гудели, гудели по всем углам.

А в воздухе пахло весной, и счастьем, и переменой в жизни. Но счастье это и перемену в жизни надо было еще отстоять в экзаменах.

Я тоже вносил свой посильный вклад, сдавая на «хорошо» и «отлично». И даже «Теория авиации», против моего ожидания, прошла на «хорошо», и «Сопромат».

Я чувствовал себя таким счастливым! Таким счастливым и уехал в отпуск.

Книга вторая



В небо

Инструктор Ермолаев

Мы совершили прыжок, мы качественно изменились: теория позади, и вот нас разбили на летные группы. Это было очень волнующе и возвышало нас в собственных глазах. Если до этого мы были просто курсантами авиашколы, то теперь стали учлетами. Правда, не стали еще, пока становимся. И нам уже не терпелось, окрестившись в первом вывозном полете, поскорее приобщиться к новому положению и званию.

Наша группа была третья. Девять человек. Инструктор — Ермолаев. Мы его еще не знали и не видели. Кое-кто из инструкторов приходил в общежитие. Придет, спросит потихонечку, где такая-то группа, и тут же его окружают ребята, смотрят во все глаза. Вопросы, вопросы...

А у нас — чувство зависти и обиды. Вон в четвертой группе инструктор Рыбалко приходит уже третий раз. Подойдет к общежитию, задерет голову, свистнет разбойно. Ребята сразу же кидаются к открытому окну, бегут по лестнице вниз, и потом, смотришь, всей группой пошли в лес. Только и слышишь от них: «Наш инструктор! Наш инструктор!» Носятся со своим инструктором!

Потом все инструкторы пришли в общежитие. Это уже официально. Пришел и наш. Выше среднего роста, худощавый, смуглый, длиннолицый.

Инструктор — это бог, овеянный романтикой воздушного простора, на него можно и поглазеть, но не так, как это делает, например, Саша Чуднов, низенького роста, коренастый, рыжий. Примостился на полу у самых ног инструктора, смотрит снизу вверх преданными глазами.

Разговор у нас не очень-то клеился, так, обычные вопросы и ответы.

— Ну, как живете?

— Ничего живем.

— Теорию кончили?

— Кончили теорию.

В это время взрыв смеха в соседней группе: инструктор Рыбалко чем-то рассмешил своих.

Саша Чуднов задал наводящий вопрос:

— Товарищ инструктор, расскажите, как вас учили летать?

Инструктор оживился:

— О-о! Учили здорово! Еще на старый лад. Хорошо учили! — И с увлечением стал рассказывать про этот «старый лад», нисколько его не осуждая, а даже наоборот, как бы жалея о том, что сейчас это не поощряется. Выходило так, чем хлеще, не стесняясь в выражениях, инструктор разнесет в полете курсанта, тем лучше.

— И вообще, — решительно закончил он, — учлет должен быть закаленным и не распускать мокрети под носом. Ясно?

— Ясно! — ответил Петр Фролов и демонстративно шмыгнул носом. — Не распускать мокрети!

Мы постарались рассмеяться, но у нас это получилось не так весело, как у четвертой группы.

Инструкторы ушли, а мы, готовясь спать, затеяли спор об этом «старом ладе».

Я слышал про такой метод обучения разные байки, но не очень-то верил в них: «Как же можно, — думалось мне,—непотребно бранясь, унижать достоинство ученика, да и свое тоже?» А тут вот, пожалуйста, оказывается, можно. И у меня стало нехорошо на сердце.

А на следующий день с утра началась суматоха.

— Быстро вытряхивать матрасы! — торопил старшина.

О! Вытряхивать матрасы? Это уже что-то. Это — точка на старой жизни! Это новое, неизведанное. Мы едем в лагеря! Будем жить в палатках. Романтики хоть отбавляй. Здорово!

Старое ватное одеяло. Куда его? Выбросить? Нет, оно еще пригодится. Впереди ой-ой-ой сколько зим, прожили-то пока одну. Возьму! Будет жарко — подстелю под себя, холодно — накроюсь. Свернул, увязал, положил.

А чайник? Мой старый громогласный друг! У тебя отбита эмаль на боках, еще бы—скакать по лестницам! Но ты еще послужишь мне и моим друзьям. Ты будешь стоять в палатке на почетном месте. Как хорошо в жаркий летний день пить родниковую воду из твоего носика! А там, в лагерях, — речка. И родники. Я уже знаю. Спрашивал.

Ехали с песнями. На машинах. По полям, перелескам, лугам. Дорога гладкая-гладкая, как асфальт. Воздух чистый, пьянящий, чуть пахнет полынком. Полевые цветы.

А вон и лагерь! Белые-белые палатки в два ряда. Несколько домиков и самолеты У-2. Зеленые, с надписью на крыльях: «СССР...» и номер. Мы примолкли. Уж очень было все как-то сказочно. И не верилось: неужели мы вот прямо завтра начнем летать?

Палатки с дощатыми барьерами, три топчана, три тумбочки. Посередине — врытый в землю одноногий стол. Пахнет свежеструганными досками и речным песком, которым посыпан земляной пол.

— Ого! Да это же дворец! — закричал Петр Фролов, швыряя фуражку на стол. — Ну, где будешь спать?

Фролов заводила. Невысокого роста, коренастый, лобастый. Фуражку носил шестидесятого размера. Любил пофокусничать: снимет фуражку с чьей-либо головы: «Не моя?» И каким-то неуловимо быстрым движением напялит ее на себя аж по самые уши: «Моя!»

Все смеются, удивляются. Как так можно? Фуражка-то пятьдесят шестого размера!

Но однажды он попался. Напялил, а снять не смог. Потом ребята под общий хохот мыльной водой размачивали.

Забот, хлопот — целый день: набивать матрасы, размещаться, обкладывать снаружи дерном палатки, расчищать дорожки, посыпать их песочком. А потом еще надо бы на речку сбегать, посмотреть, послушать, как лягушки квакают. Но недосуг, старшина не пускает, кричит, разоряется.

Натрудились, намучились, а спать неохота: светло же еще, а отбой. Старшина тут как тут:

— Ррrразговорчики!

Еле уснули. И только, кажется, глаза смежили — заиграла труба, закричал дневальный:

— Подъе-е-ом!.. Встава-ай!..

— Ох, поспать бы еще, понежиться...

— Братцы, а ведь сегодня полеты! Быстро!

Все быстро-быстро, бегом. Зарядка, туалет, завтрак — и строем к самолетам. Одеты мы уже по-летному: комбинезон, кожаный шлем с очками, а у кого даже перчатки с крагами. И где добыли?

Командир отряда, стоя в отдалении, лицом к самолетам, дает команду:

— Отря-а-ад! Становись!

И мы тут же выстроились возле левого крыла. Инструктор с техником встали возле мотора.

— Ррравня-а-айсь!.. Смир-рно-о! Товарищи инструкторы, ко мне!

Инструкторы шагают, сходятся, окружают командира полукругом. Короткий разговор, инструкторы дружно отдают честь, поворот кругом и — к самолетам!

— Запускать мото-оры!

Инструктор, в кожаном реглане, в застегнутом шлеме, статный, красивый, ловко забирается в переднюю кабину, а мы занимаем свои места: кто становится у стабилизатора, кто у крыла, кто помогает технику провернуть винт.

И по всей линейке — команды:

— Выключено?

— Выключено!

Клац, клац, клац, клац! — техники проворачивают винты.

— Внимание!

— Есть внимание!

Техник дергает за винт.

— Конта-акт!

— От винта-а-а!

И — вжи-вжи-вжи-вжи! — летчик крутит ручку пускового магнето.

Хлоп! Трах! Тр-тр-тр-тр! — стрельнув синим дымком, тут и там запустились, заработали, заурчали моторы.

Ох, сердце прыгает, прыгает! Здорово! Красиво-то как!

Мотор опробован, инструктор дает команду:

— Убрать колодки!

Убираем. Техник залезает в кабину: первый полет — инструкторский. Чуть отрулив, взлетают с предварительного старта. А мы строем идем к центру аэродрома, где уже торчат флажки, лежит посадочное «Т» и хозяйствует стартовая команда.

Наш первый учебно-летный день начался.

Старый лад

Мы идем, натыкаясь друг на друга, потому что смотрим вверх. Интересно! Самолеты, взлетев, собираются над аэродромом в строй. По звеньям. Первое — наше. Впереди — Рыбалко. Справа... Кто же это справа? Летит, словно привязанный, впритык. Наш, наверное, Ермолаев?

А левый! Левый! О-хо-хо! Вот умора! То обгонит, то отстанет. Чей это? Кто это?

Отряд пролетел над нами, так и оставив всех гадать, кто идет слева от Рыбалко. На старте поднялся спор. Каждый с пеной у рта отстаивал честь своего инструктора. Саша Чуднов тоже орал, а я молчал, потому что знал — справа от Рыбалко идет Людвичек, а слева, стало быть, Ермолаев. И сердце заныло. Ничего хорошего я не ждал от этого полета. Ведь должен же он понимать свой позор. Вот отсюда-то и «старый лад»! Будет он на нас вымещать свое неумение летать...

Отряд, развернувшись, шел к аэродрому. Хорошо шел, в общем-то слаженно, только один, портя строй, болтался где-то в стороне, и это была наша тройка!

Каждый хвастался своим инструктором:

— Вот наш идет! Вот наш идет!

А мы кусали губы. Хоть бы скорее садились, что ли! Разошлись, сели, зарулили.

— Кто полетит первый? Ты? Давай. Возьми ухо!

Петр Фролов воткнул в отверстие шлема трубку резинового уха, приладил, застегнул шлем. В кабине он присоединит трубку к резиновому шлангу, через который инструктор в специальный раструб будет давать в полете команды.

— Ну, ни пуха!

— К черту!

Побежал, забрался на крыло, козырнул, доложившись. Инструктор кивнул головой: «Садись!»

Сел, пристегнулся, поднял правую руку: «Готов!» Инструктор порулил к старту, попросил взлет. Курсант-стартер, осмотревшись, как учили — не рулит ли кто по взлетной, не идет ли на посадку — опустил к ноге красный флажок, поднял белый и картинно выставил его вперед: взлет разрешен! Самолет, мотая рулем поворота, как курица хвостом, побежал на взлет.

Первый полет — ознакомительный. Его делает инструктор. Он строит маршрут — «коробочку», проходит над аэродромом и садится.

Второй полет: ученик кладет ноги на педали, левую руку на сектор управления мотором, правую — на ручку управления рулями глубины и элеронами, но не управляет, а только прислушивается, как это делает инструктор.

В третьем полете уже пытается, под контролем инструктора, все это проделать сам. А дальнейшее будет зави-

сеть от самого курсанта: освоит — значит, через определенное количество провозных выпустят в самостоятельный полет, а если нет, то выпустят на... «ундервуде». «Ундервуд» — это пишущая машинка, на которой будет напечатан приказ об отчислении из школы.

Наш самолет шел на посадку.

— Второй! Кто полетит второй? Саша, ты?

Чуднов перевалился с ноги на ногу и улыбнулся, забавно сложив губы трубочкой. В такие моменты он походил на медвежонка, выпрашивающего конфетку, и в этой конфетке ему никогда не отказывали.

— Ну давай я, что ли...

Я подал ему ухо.

— А ты чего тянешь? — спросил он у меня.

— Боюсь что-то. Пусть остынет немного, а то как начнет на «старый лад».

Саша застегнул шлем.

— А-а-а. Ну и пусть! Не обращай внимания, — и побежал к самолету.

Петр Фролов, опустив голову, на ходу расстегивал шлем. Подошел, шумно вздохнул:

— Пфа-а! — тряхнул головой, обтер ладонями лицо.— Ну и ну-у.

— Что?

— Во бога, во христа...

— Да что ты?

— Честное слово! От взлета до посадки...

У меня в груди стало пусто. Сидеть и слушать, как он мешает тебя с грязью?

А сзади кто-то из курсантов, подражая голосу инструктора, выкрикивает разные обидные эпитеты и хохочет.

Я обернулся. А-а, Семушкин, из пятой группы. Худой, сутулый, с угловатым красным лицом, сам любитель подперченных слов.

— А чему ты радуешься? — обозлился я. — Что тебя смешали с грязью?

— Подумаешь! — равнодушно парировал он. — Деликатный какой. Сидел бы себе у маменьки под юбкой!

Я промолчал. Да, тут кто-то кого-то не понимает. А может, действительно я не прав? Отец, которого я уважал, всегда внушал мне, что достоинство человека — вовсе не пустой звук, а большое всеобъемлющее понятие, которое распространяется от своего маленького «я» до

чувства любви к делу, которому служишь, к Родине, чей хлеб ты ешь...

С тяжелым чувством я готовился к полету. Вставил ухо, застегнул шлем, взобрался на крыло, козырнул:

— Товарищ инструктор, курсант такой-то к полету готов. Разрешите садиться?

Кивок головой:

— Садись. — И очень внимательный взгляд сквозь темные стекла очков.

Я сел, пристегнулся, присоединил шланг к уху. Инструктор, подняв правую руку в кожаной перчатке, принялся поправлять зеркало, прикрепленное к стойке центроплана. Через него он может, не оборачиваясь, видеть лицо курсанта. Мы встретились с ним взглядом. Он поднял трубку с резиновым раструбом:

— Готов?

Я кивнул:

— Готов!

Подрулили, попросили старт, взлетели.

Весь подобравшись, чтобы не коснуться рулей, я смотрел, как двигаются педали ножного управления, как ходит ручка. Ее замысловатые движения меня поразили. Очень сложные были движения! Ни секунды спокойствия: взад-вперед, влево-вправо и потом — кругами, кругами. И так весь полет. Я подумал, что летчик из меня не получится, потому что эти движения я никогда не запомню, не перейму...

Сделав круг, мы сели.

— Ну, понял? — спросил инструктор, глядя на меня через зеркало.

Я кивнул головой:

— Понял.

— Теперь клади левую руку на сектор газа. Только не сильно, не сильно! — вдруг закричал он, хотя я еще ни к чему не прикоснулся. — Ноги на педали! Положил? Чуть-чуть, смотри! Ручку бери! Взял? Порулили.

И он рывком сорвал машину с места.

Подрулили к стартеру, остановились.

— Проси старт!

Я поднял правую руку. Стартер махнул белым флажком. Инструктор пошел на взлет.

Двинулся вперед сектор газа, ходуном заходили педали, замоталась от борта к борту ручка. Пробежали, стуча колесами по кочкам, оторвались. Я посмотрел за борт: земля все дальше, дальше. Стараюсь найти линию гори-

зонта. Ага, вон она, ниже капота. Едва касаясь управления, я пытался понять смысл их движения, но мне это не удавалось — я не поспевал двигать рукой за мотающейся ручкой управления.

После первого разворота инструктор сказал:

— Бери управление!

Я кинулся на ручку, поймал ее и на долю секунды остановил ее движение. Ручка тотчас же бешено рванулась, больно ударив меня по коленкам.

— Что ты делаешь, так перетак! — заорал инструктор. — Брось управление! — и принялся осыпать меня бранными словами.

Я отдернул руку и взглянул в зеркало. Наши взляды скрестились, и он осекся, будто кто ему рот заткнул.

Остальную часть полета мы продолжали молча. Я не прикасался к управлению, а он не подавал мне никаких команд.

Сели, подрулили.

— Вылезай!

Я отстегнул ремни. Вылез. Встал на крыло:

— Товарищ инструктор, разрешите получить...

Он прервал меня кивком головы:

— Следующий!

Готовлюсь вылететь на «ундервуде»

Ну вот, я с ходу завел себе врага, да кого — инструктора! А чем это кончится? «Ундервудом»!

А я, оказывается, был не один такой. Здоровый парень, Фирсов Игнат, из группы Джафарова, стоял в отдалении и держался ладонью за правое ухо. По щекам — следы слез.

— Игнат, ты что?

Посмотрел на меня, смутился, вытер ладонью щеки.

— Да вон Джафар принялся в полете лаять, я огрызнулся, а он, — Игнат всхлипнул и снова схватился за ухо, — взял да выставил трубку за борт.

— Так ты иди к врачу!— всполошился я.

— Тю-у! — сказал Игнат. — Сдурел? Чтоб на «ундервуде» спровадили? Я летчиком хочу быть. Потерплю.

Все слетали по два раза. Я тоже. Молча летали. Я сидел, подобрав руки и ноги, смотрел на горизонт, как он опрокидывается на развороте и где прочерчивает стойки

самолета. Куда становится при горизонтальном полете и как взметывается вверх, когда самолет идет на посадку.

В полете я старался не смотреть на затылок инструктора, и Ермолаев, видимо, чувствуя это, повернул зеркало в сторону.

Чего он хотел, катая меня по воздуху? Ясно чего: повозит, повозит, потом, когда придет время кого-то выпускать, меня представит к отчислению. Сначала даст меня на проверку командиру звена Бобневу, потом командиру отряда Носкову, потом командиру эскадрильи Гаспарьяну и потом — «ундервуд»! Я-то ведь летать не умею! Вот и все!

Кончились полеты. Инструкторы порулили на стоянку, а мы пошли строем домой. Сейчас мы пообедаем, часок отдохнем, а к вечеру придем к самолетам, драить, осматривать матчасть и готовить ее к завтрашнему дню. И пока мы шли и потом переодевались, умывались, обедали и отдыхали, я все думал, думал. И ничего путного мне в голову не приходило. Жаловаться на инструктора? Некрасиво. Да и сам-то будешь в каком свете выглядеть? «Почему,— скажут,— для всех инструктор хорош, а для тебя — плох? Значит, ты сам плохой!» И они будут, наверное, правы. Нет, не пойдет это дело! А что же пойдет? «Ундервуд»? И «ундервуд» не пойдет! Это после таких барьеров, таких передряг, когда цель — вот она, близка, и вдруг отказаться от нее, отступить.

Мы заканчивали уборку самолетов, когда пришли инструкторы. Техник Лапин подал Ермолаеву колодку, тот уселся на нее, как на стульчике, а мы расположились на траве. Саша Чуднов — вот совпадение! — опять оказался у ног инструктора и принялся смотреть ему в глаза преданным взглядом.

Фролов хмыкнул, толкнул меня локтем и довольно громко сказал:

— Посмотри-ка, что он там хвостиком выделывает!

Все оглянулись, а Саша и ухом не повел: сидит, ест глазами начальство.

Справа от нас Рыбалко что-то горячо объяснял ребятам, спрашивал: «Ясно? Хорошо, пойдем дальше...»

Эх, мне бы там сейчас сидеть!

Слева доносились выкрики инструктора Джафарова. Он азербайджанец и плохо говорит по-русски: «Я скока раз буду вам гаварыть?! Суда нога не нада палажить, суда нога палажить нада!!»

Видимо, какой-то олух, садясь в самолет, наступил но·

гой на перкалевое покрытие и продавил его. Я вполне разделял возмущение Джафарова.

Ермолаев давал замечания. Всем давал, а меня обходил молчанием. Я сидел сзади всех и смотрел ему прямо в лицо, стараясь встретиться с ним взглядом, но он избегал этого, делая вид, что изучает запись в своем блокноте. А что там, собственно, он мог записать? Ведь сегодня после полетов мы, обменявшись впечатлениями от первых провозных, установили: наш инструктор полностью никому не давал управления, чтобы курсант мог почувствовать машину. А вот Рыбалко, например, давал! Он даже клал руки на борт самолета! Разница? Разница.

— Вопросы есть? — спросил инструктор, не поднимая головы.

— Есть!— почти выкрикнул я.

— Задавайте. — Он уже знал, от кого исходит это восклицание, и, подняв голову, усмехнулся. — Я вас слушаю.

«Вас»! Он со всеми говорил на «ты», а со мной — на «вы». Значит, он меня понял?! А сдаваться не хочет. И раз не хочет сдаваться он, значит, нужно сдаваться мне! Действовать так, как Фирсов Игнат: молчать и терпеть, если хочешь быть летчиком... Могу я быть таким? Нет!.. Все во мне протестовало: «Нет!..»

— Вы забыли сказать обо мне, товарищ инструктор,— сдавленным голосом проговорил я. — Что я делал не так. Я исправлюсь...

Ермолаев опустил глаза:

— Ну-у-у... собственно... рано еще говорить. Замечания для всех одинаковы, — вывернулся он. — Вы, как и все, жестко держите управление. Зажимаете его...

Мы с Фроловым переглянулись. Зажимаем управление? Да ведь он же никому его не доверял!..

А Саша Чуднов тут же с вопросом:

— Товарищ инструктор! Товарищ инструктор! А вот, когда нужно сделать разворот, как ручка должна идти — сразу в сторону, или ею надо покрутить?

— Покрутить, конечно, — убежденно сказал Агеев.

Петр Агеев — мой друг, высокий, скуластый, с умными карими глазами, в которых светилась лукавинка. Он и фразу-то бросил двусмысленно, но инструктор иронии не уловил и, бросив на Агеева благодарный взгляд, принялся долго и путано объяснять, как надо действовать рулями перед разворотом и в самом развороте.

...Мы вошли в уплотненный режим лагерной и учебно-летной жизни, где каждая минута была на счету. Полеты, теоретические и строевые занятия, уборка лагеря. И даже в воскресные дни выходили с лопатами на аэродром — выравнивать летное поле. Но мы втянулись в этот режим и считали его само собой разумеющимся: так оно и должно быть!

Летали мы трудно с нашим Ермолаевым. Никому из нас он не доверял полностью управления, все время держался за ручку, на разворотах вмешивался, и мы так и не могли как следует прочувствовать машину. Мои отношения с ним были по-прежнему натянутыми, и полеты не приносили мне удовлетворения. В груди всегда стоял комок обиды.

Первыми в самостоятельный полет вылетели ребята из группы Рыбалко. Торжественный момент! А мне горько было смотреть, потому что приближался день, когда Ермолаев включит мою фамилию для проверки на предмет отчисления.

Потом пошли и у других инструкторов самостоятельные вылеты. И уже включились в работу командиры звеньев и командир отряда, дающий санкцию на вылет. Курсанты с проверяющего не спускали глаз, и когда он вылезал из передней кабины и, стоя на крыле, начинал копаться с ремнями, все уже знали — сейчас парень полетит самостоятельно! Командир вытаскивал подушку от сиденья, чтобы не выдуло ветром, и, взяв ее под мышку, спрыгивал на землю.

И вот уже вылетели во всех группах, а наш все возит и возит... Наконец дал. Троих. Первого Сашу Чуднова. Командир слетал со всеми, Чуднова сказал «придержать», а командиру отряда предложил Фролова и Агеева, и оба были выпущены. Саша очень огорчался, но командир звена сказал ему: «Высоко выравниваешь. Земли боишься!»

Командир звена Бобнев

Через неделю — все почти летают, остались только слабачки, кандидаты на «ундервуд». И на полеты зачастил командир эскадрильи Гаспарьян. Среднего роста, худощавый, с широкими черными бровями и большими глазами, жгуче-черными и совсем не грозными, какими должен был бы обладать, по нашему мнению, комэска, а внимательными, добрыми и мягкими. Но все равно мы

робели перед ним. А он приедет на своем никелированном велосипеде, наденет шлем — и в самолет. И мы уже знаем — этот полет у курсанта последний...

В нашей группе не вылетели трое: я, Чуднов и Крутов, молчаливый парень крепкого сложения, неповоротливый, угрюмый.

Самолет стоит, молотит воздух винтом: чаф-чаф-чаф-чаф! Обе кабины пустые. Сейчас в переднюю сядет командир звена Бобнев, и наша судьба будет решена: кому, может быть, посчастливится и он будет выпущен в самостоятельный, а кому «ундервуд»... Кто же первый?.. Как приговоренный смотрю на Ермолаева.

Инструктор глухо:

— Иди, тебе лететь.

Подходит Бобнев. Круглолицый, веселый, с добрейшей улыбкой. Застегнул шлем, хлопнул меня ладонью по плечу:

— Ну, что ты, голубь! Выше голову! Иди, садись.

А я — куда уж там выше? — согнулся до земли под тяжестью переживаний. Все, конец! На отчисление...

Сел в кабину, пристегнулся, присоединил переговорный шланг.

Бобнев забрался на крыло, нагнулся ко мне:

— А ты не робей, не робей! Не настраивайся! Взлетать как, сам будешь?

Я даже икнул от неожиданности:

— Нет, товарищ командир, вместе.

— Хорошо, — и сел в переднюю кабину. — Давай выруливай.

Я взялся за сектор газа, чуть-чуть стронул его. Мотор заурчал, и машина поехала, но я уже вижу, что не туда. Жму на правую педаль. Самолет послушно повернул вправо, да так и поехал опять не туда! И пока я заметил и исправил положение, мы сделали хороший зигзаг.

А Бобнев сидит и ни во что не вмешивается. Стартера я тоже чуть не проехал. И тут тоже Бобнев не вмешался и ничего не сказал.

Я попросил старт. Стартер взмахнул белым флажком.

— Взлетай! — сказал мне Бобнев.

А я уже сижу весь потный от старания и от смущения, что даже и рулить-то не умею, куда уж там взлетать!

Однако делать нечего, передвигаю сектор газа. Больше, больше. Машина побежала. Быстрей, быстрей! А я уже взглядом воткнулся в горизонт и вижу: церквушка,

что стоит вдали, начала перемещаться вправо. Давлю ногой на правую педаль и впервые ощущаю упругость воздуха и послушность машины: церквушка остановилась и начала было перемещаться влево, но я подправил левой ногой, а потом чуть-чуть правой...

— Хвоста! Хвоста поднимай! — крикнул командир, и я, чуть дыша, двинул от себя ручку.

— Так, хорошо, держи! — сказал Бобнев.

Ручка была в движении непривычно легкая, но упругая.

Самолет бежал, прыгал, наконец оторвался, и тут я почувствовал, как ручка под давлением Бобнева мягко пошла вперед.

— Держи так! — крикнул Бобнев. — Не давай ей пухнуть!

И я, не спуская глаз с горизонта, ушедшего под капот, держал управление, все время ощущая нарастающее давление на ручку.

— Хорошо!— крикнул Бобнев.— Теперь сбавляй обороты!

Я сбавил, глядя на счетчик.

— Ну, делай первый разворот!

Я принялся крутить ручкой.

— Это зачем? — обернувшись ко мне, рассмеялся Бобнев и взял управление. — Что это вы все крутите ручкой? Вот, смотри, как это делается! Не бросай! Не бросай управление! Давай вместе сделаем.

И он сделал плавный разворот. И я удивился! Ручка не билась у меня в руке, не моталась из стороны в сторону, двигалась плавно и едва заметно. А когда он вывел самолет из разворота, то и вовсе замерла. Это было так непривычно.

— Ну, понял? — спросил Бобнев, глядя на меня через зеркало. — Чего ты уставился на ручку? Веди самолет! — и, к моему изумлению, положил руки на борт.

Сначала у меня все зарыскало влево и вправо, вверх и вниз, но я тотчас же уловил реакцию самолета на движение рулей и вдруг понял, что самолет может и сам лететь, только не мешай ему и вовремя подправляй...

И меня всего захлестнуло счастьем. Сам, сам веду самолет! Значит, я умею?!

— Ну вот,— сказал Бобнев,— молодец! Теперь давай делай второй разворот. Не торопись! Не торопись. Отожми чуть-чуть ручку... Та-ак, та-ак! Делай крен, развора-

чивай... Молодец! Не заваливай, не заваливай! Поддержи крен... Ну, ты совсем молодец. Выводи! Ну, вот и все!

Я с облегчением вздохнул. Все во мне ликовало: сам! сам! Я сам сделал разворот! Руки командира все время лежали на борту! Вот это летчик! Вот это человек!..

Мы сделали полный круг, потом еще и пошли на посадку.

— Давай будем вместе сажать, — сказал он. — Ты сажай, а я буду контролировать.

Я — весь внимание. И, видимо, все-таки полеты с Ермолаевым не прошли для меня впустую: я запомнил положение машины при планировании, положение земли, ее близость и мелькание травы. И как при посадке поднимается нос самолета, и уходит вниз горизонт...

Мы сели.

— Давай еще! — сказал Бобнев. — Полетим в зону.

Сейчас у меня со взлетом получилось неплохо, командир не сделал мне ни одного замечания, и руки его все время лежали на борту!

В зоне мы проделали виражи, мелкие и глубокие, и даже сделали две «мертвые» петли. Прилетели, сели. И мне показалось, что я сам посадил самолет. И мне даже показалось, что Бобнев на посадке держал руки на бортах, но в это я уж не поверил. Наверняка мне это показалось.

— Ну, вот что, — сказал Бобнев, когда мы подрулили к предварительной линии. — Давай-ка еще один полетик по кругу!

Сделали еще полетик. На душе моей — сияние. И только когда Бобнев сказал: «Вылезай», я очнулся от сказочного сна. Ведь меня же Ермолаев дал на отчисление!..

В самолет садится Чуднов. Ермолаев на меня не смотрел, стоял в стороне с сумрачным лицом, и ребята к нему боялись подходить.

Наш самолет, сделав круг, заходил на посадку. Вот он подошел к земле, выровнялся и, вместо того, чтобы плавно подойти еще пониже, стал взмывать вверх. Да ведь он же сейчас упадет!.. Но мотор гавкнул, заработал на полных оборотах, и самолет, угрожающе покачавшись на пятиметровой высоте, ушел на второй круг.

И второй заход такой же. Рядом стоял Рыбалко и с интересом наблюдал.

— Куда! Куда тянешь?! — закричал он, будто Чуднов мог его услышать. И когда самолет опять ушел на второй

круг, безнадежно взмахнул перчаткой. — Высоко выравнивает. Боится земли.

Не выпустили Сашу, сказали — «возить».

Потом Бобнев сделал три полета с Крутовым и вылез, а вместо него сел командир отряда Носков, суровый, молчаливый, в темных очках.

К концу полетов приехал комэска на велосипеде и сделал несколько взлетов и посадок с ребятами, в том числе и с Крутовым, а утром следующего дня Сергей собрал свои пожитки. Отчислили. А меня пока что эта чаша миновала.

Блюдце с молоком

И на следующий день я опять полетел с Бобневым. Потом с Носковым, и потом уже, к концу полетов, сел в кабину комэска Гаспарьян. Взмахнул перчаткой:

— Давай! Полет по кругу.

И почти весь полет молчал, только после третьего разворота раскричался:

— Кто так делает коробочку? Тебе водовозом быть, а не летчиком! Угол упреждения кто будет держать?!

А мне уже было все равно, как меня отчислят, с хорошей коробочкой или с плохой, и я не старался и как-то даже чувствовал себя спокойно.

Сели. Зарулили. Жду приговора. Опять взмах перчаткой:

— Давай еще! — голос строгий-строгий.

Сделали еще полет. Сели. И какого черта он меня терзает? Весь полет молчит, не ругается, значит, нечего сказать?

Подруливаю к предварительной линии. Гаспарьян молчит. Что-то возится в кабине. Поднимается. Вылезает. Опять возится. Вынимает подушку...

Что это?! Я не верю своим глазам.

Нет, не может быть! Не может!

Гаспарьян спрыгивает с крыла, показывает мне два растопыренных пальца: «Два полета по кругу».

И мне вдруг стало страшно. Впереди никого нет! Кабина пустая! Сделаю ошибку — кто исправит?

Беру себя в руки. Осторожно выруливаю. Прошу старт. Стартер подмигивает мне и взмахивает флажком.

Взлетаю. Набираю высоту. Гудит мотор, свистят расчалки, и ветер сзади бьет по шлему. Сто метров! Сбав-

ляю обороты, плавно отжимаю ручку, делаю первый разворот. Вывожу. Прошел немного — пора! Делаю второй разворот. Триста метров. Перевожу машину в горизонтальный полет и тут уже набираюсь духу — посмотреть в переднюю кабину. Да, действительно — никого нет! Я — один! Я веду самолет. Сам! Внизу — железная дорога. Поезд идет. Товарный. Речка Елань. Наш палаточный городок. Горизонт в сиреневой дымке. На аэродроме что-то изменилось. Ага, кончились полеты, машины рулят домой.

Делаю третий расчетный разворот, не отрываясь смотрю на посадочное «Т». Пора! Убираю обороты мотору, перевожу самолет на планирование. Делаю четвертый разворот, строго выдерживаю скорость. Земля ближе, ближе. Цепко держась взглядом за землю, плавным движением ручки выравниваю машину, подпускаю ближе. Еще ближе! Мелькает трава, борозды от костылей. Подтягиваю ручку и слышу, как колеса нежно-нежно касаются земли. Я замер. Машина бежит, постепенно замедляя скорость. Комэска стоит возле стартера и машет мне перчаткой, чтобы я взлетал прямо с посадочной, и снова выставляет два растопыренных пальца.

Ясно! Даю газ, взлетаю. Уверенно и смело.

Не было после этого человека счастливее меня!

Я уже летчик! Самолет мне послушен. Я летаю самостоятельно. Я хожу с гордо поднятой головой. Не хожу — порхаю! Я берусь за любую работу, хватаюсь за все. Я полон жизнерадостного трепета. Я живу! Летчик же я, летчик!

Но вот случилось как-то при полетах. Вдруг похолодало, и откуда они взялись, низкие облачка? Так себе вообще-то, даже и не облачка, а клочья полупрозрачного тумана. А я как раз взлетал. В самостоятельный полет. И при наборе высоты, метрах на пятидесяти, вижу — мчится на меня серая пелена! А у меня все запрограммировано, все распланировано, разложено по полочкам: первый разворот — на сто метров, хоть умри! Потом — отжимаю ручку, ввожу самолет в крен и смотрю, чтобы горизонт чертил капот мотора как раз по головке пятого цилиндра. А тут... И я влетаю в облачко!

И ни горизонта, ни высоты... Самолет несет меня, несет... Куда несет? И как несет? Мотор только: у-у! у-у! Крылья шипят, расчалки свистят, и ничего не видно! И мысли обрывками — ручку толкнуть? Выскочить? А земля-то близко! Не успею выхватить. Зацеплюсь кры-

лом. Врежусь. И уже затылок сжимают холодные пальцы смертельного ужаса, и уже мне кажется, что я переворачиваюсь...

На секунду мелькнула земля, и я решился: отжал ручку от себя и — выскочил! Высота метров пятьдесят. Незнакомая местность. Где аэродром? А самолет летит. Сам! Уносит меня от аэродрома! Уносит! А я-то что? А я-то кто? Мозг? Да, конечно, мозг, но мозг туго варит! Вернее, совсем не варит...

И если бы я мог присесть на краешек дороги, как это может сделать обыкновенный странник-пешеход, посидеть, подумать!

А тут ведь каждую секунду меняется обстановка и осложняется ситуация. Проклятый самолет может занести меня черт-те куда!

И в голове у меня закрутилось, завертелось, хоть плачь! Где аэродром? В какой стороне? Там? Там? Или там? Что мне делать, как ориентироваться? Подо мной поля, поля, поля. Овраги. Проселочные дороги. Местность совершенно незнакомая!

Беру себя в руки, успокаиваю. Надо же подумать, осмотреться! Осматриваюсь. Нет, незнакомая местность. Я тут не летал. С трудом внушаю себе, что летать-то, конечно, я здесь летал, но на большой высоте, а оттуда все выглядит иначе.

А самолет несет меня, несет... И страх берет. И в то же время ощущаю, просыпается во мне спортивный интерес, передо мной стоит задача, надо ее достойным образом решить.

Сижу, держусь за управление, жду, может быть, наткнусь на что-нибудь знакомое?

Почему-то я все больше пялил глаза налево, считая, что слева должен быть аэродром, а тут посмотрел направо: да вот он — аэродром?! И «Т» лежит, и самолеты рулят. И как его сюда занесло, не пойму, все в голове перемешалось. Однако радость-то какая! Скорей, скорей на посадку!

Я разочарован — задача решилась сама собой, и ощущение такое, будто меня, как котенка, ткнули носом в блюдце с молоком...

Пытаюсь разобраться, почему аэродром оказался у меня справа, а не слева? Но так и не разобрался, потому что мне надо было с непривычно малой высоты рассчитывать на посадку.

Сел, подрулил. Инструктор Ермолаев светился, как

именинник. Впрыгнул на ходу на крыло, забрался в кабину, буркнув мимолетом:

— Молодец! Рули домой! — и положил руки на борта кабины.

Это была первая его похвала и первое доверие — руки на бортах.

Все на меня потом смотрели квадратными глазами, но это мне уже не льстило, потому что в этом полете я кое-что понял, а они — нет.

Конечно, гордиться собой я имел право, хотя бы потому, что доставалось мне все это нелегко, но я понял самое главное: летное дело — это не просто специальность и профессия, а большое, тонкое искусство, в котором надо делать бесконечные открытия, которое надо каждодневно познавать и развивать. И чем больше ты будешь летать, и не просто летать, а летать творчески, с любовью, с жесточайшими придирками к самому себе, тем больше у тебя шансов выйти целым и невредимым из самой трудной ситуации, а это кое-что да значит.

Жаворонки

Мне показалось, что я только-только сомкнул глаза и стал по-настоящему крепко засыпать, как вдруг чьи-то безжалостные руки затормошили меня:

— Вставай, вставай! На полеты опоздаешь.

Не открывая глаз, я нащупал рукой подушку, поднял ее и положил себе на голову, стараясь закрыть лицо и уши. Но подушка тотчас же отлетела в сторону, и Петр Агеев громким шепотом проговорил:

— Борька, вставай! Довольно дурака валять! Ты же в стартовой команде. Забыл?

Я откинул одеяло и, поднявшись, сел, спустив с койки ноги.

— Ну, чего расшумелся? Ведь ночь же. Темно совсем...

— Ладно, хватит! — нетерпеливо прошептал Петр.— «Темно»! Разлепи глаза-то! Проспал. Второй раз бужу.

Я открыл глаза и поспешно вскочил на ноги. Действительно, уже светало и нужно было торопиться.

Быстро и бесшумно убрал постель, оделся, снял с вешалки шлем с очками и вышел из палатки, в которой, досыпая, сладко похрапывали двое моих товарищей по летной группе.

Завтракать было уже поздно, я проспал. Да и не хоте-

лось. Сон еще сковывал все тело. Потягиваясь, дошел до дороги, ведущей на летное поле, и остановился, поджидая товарищей.

Наступило утро. Гася звезды и оставляя за собой высокие перистые облака, розовые и прозрачные, быстро уходила на запад короткая летняя ночь. Над узкой, извилистой речкой, приподнявшись, повис туман, влажный и теплый. Растворяясь в сумерках, сливались с неясным еще горизонтом выстроенные в ряд учебные самолеты. Светилось окошко в столовой. Было тихо кругом. Лагерь спал, белея палатками.

Похрустывая гравием, четверо курсантов подвезли тележку со стартовым имуществом.

— Все забрали? — спросил я и, не дожидаясь ответа, взялся за ручку. — Поехали!

Шли долго, оставляя на влажной, еще не скошенной траве длинные извилистые следы от ног и две широкие полосы от резиновых шин тележки. Словно боясь разбудить кого-то, разговаривали тихо, короткими отрывистыми фразами.

И вдруг, расколов предрассветную тишину, над спящим лагерем разнеслись певучие звуки трубы. Мы остановились, замерли, с наслаждением прислушиваясь, как горнист старательно и умело выводит утреннюю зорю.

— Це тоби не до-ома, це тоби не до-ома! Вста-вай! Вста-вай! — подражая трубе, пропел Агеев и крикнул громко: — Встава-ай!

И в лагере тоже, вплетаясь в мелодию горна, во всех концах палаточного городка закричали дневальные:

— Подъе-о-ом!.. Встава-ай!..

И сразу загудело, как в улье. Лагерь проснулся, рабочий день начался.

Распорядившись выкладывать посадочный знак, я взял флажок, полотнище ограничителя и зашагал, отмеряя расстояние. Отмерив, остановился, чтобы посмотреть. Все так, как и сказал командир. Место старое, что и вчера и месяц назад. От многочисленных посадок и взлетов летное поле здесь полысело. По оголенной земле, перекрещиваясь, разбегались в разные стороны тугие поблескивающие бороздки — следы от металлических пяток хвостовых костылей. Лишь кое-где торчали истерзанные кустики травы. Жалкая картина! Но место удобное. В другой же части аэродрома хуже: встречаются неровности. Машины прыгают там, как козлы. Только знай смотри в оба!

Выложив ограничитель, я пошел было назад, чтобы свизировать прямую линию, и вдруг увидел: в перекрестке трех бороздок сидят, качая желторотыми головками, три голых птенчика.

Я остановился.

Птенчики были совсем маленькие. Они сидели в ямке на голой земле, среди еще не просохших скорлупок, время от времени поднимая на тонких, старчески сморщенных шейках сплюснутые большеротые головки. Птенчики дрожали от утренней свежести. На их посиневших пульсирующих тельцах мелко-мелко трепетали голые отростки — будущие крылья.

«А ведь где-то рядом, наверное, мать сидит, — подумалось мне. — Дожидается с нетерпением, когда я уйду, чтобы согреть их».

Подошел Агеев.

— Ты что?

— Да вот, погляди, — ответил я.

Агеев взглянул и замер, пораженный.

— Смотри-ка, жаворонки! — прошептал он. — Вот тебе раз! — Он нагнулся, присел на корточки, посмотрел изумленно, растерянно. — Это что же такое, а? Высиживала и не боялась? А над ней самолеты грохали, костылями землю чертили! Рядом совсем. Вон смотри — свежий след. Вчера только. А вон еще! И еще! Знаешь что?..

Петр вскочил, нетерпеливым жестом сбил на затылок шлем, поскреб пальцами лоб.

— Да-да, знаю! — сказал я. — Мы переложим старт. Передвинем немного. А здесь воткнем флажок, чтобы знать.

И старт был передвинут на новое место.

Загудели, вылетев прямо от стоянки, самолеты. Набрав высоту, расползлись по небу выполнять учебные полеты. Пришли курсанты в строю, разноголосые, шумливые.

— Борька! — кричали они. — Ты что старт по-чудному разбил? Вот будет тебе сейчас на орехи!

Прилетел Носков, вылез из самолета, постоял, недоуменно покрутил головой и зашагал к стартовым знакам.

— Старшину стартовой команды с помощником ко мне! — прогремел его рассерженный голос.

Мы с Агеевым переглянулись.

— Трое суток обеспечено, — сказал я. — Пошли.

И мы побежали.

— Вы что, не выспались сегодня? — строго спросил командир и покраснел от гнева.

Мы молчали.

— Я вас спрашиваю!

— Т-товарищ командир, — запинаясь, проговорил Агеев, — там... птенчики! — и показал рукой на флажок.

— Какие еще птенчики?! — загремел командир.

— Ж-жаворонки, — сказал Петр.

— Где жаворонки? — уже тише спросил командир. — Что вы мне чепуху мелете! На выбитом, голом месте?

— Да, на выбитом.

Командир моментально остыл:

— А ну, пойдем!

Мы не шли, а прыгали, вились вьюнами вокруг командира.

Вот и флажок. Почти из-под ног вспорхнула и села невдалеке птичка с хохолком.

Командир подошел, посмотрел. Кустистые брови его дрогнули, и в углах губ разгладилась морщинка.

— Вот глупая! — проговорил Агеев. — Где птенцов высидела.

— Нет, не глупость это, пожалуй, а мудрость, — тихо сказал командир. — Мудрость и мужество, и материнская любовь. В поле выводки гибнут от хищников: лис, хорьков, змей. Здесь же их нет. Здесь — человек... Так-то вот. Ну ладно, — добавил он и, повернувшись, зашагал прочь. — Старт оставьте, как есть. И флажок оставьте. Пока не вырастут.

И ребята узнали про эту историю, и никто из них вовсе и не думал смеяться над нами, а наоборот, смотрели на нас теплыми глазами, потому что мы, наверное, открыли в их сердцах то, о чем они сами и не подозревали.

Седьмой километр

Лето пролетело быстро. Наступившие дожди и холод прогоняли нас на зимние квартиры. Мы прощались с лагерем, с тихой речкой Елань, на берегу которой своими руками поставили и широкий дощатый помост с пружинящим трамплином и лесенками. Здесь мы купались в знойные летние дни, ловили на удочку окуней и собирались поглазеть на самого высокого нашего курсанта, Григория Ромина, любителя нырять головой вниз с пят-

надцатиметровой высоты. («Вышка с вышки прыгать хочет»). Ромин, катаясь на рейнском колесе, неудачно упал и сломал себе руку. Ему наложили гипс и скоро сняли, оставив легкую шину. И Гриша прыгал с вышки с шиной. Приложит поврежденную руку к бедру и так нырнет. Здорово у него получалось!

Ну, а осенью какое же купание? Прибежим только, посмотрим, и Петр Фролов обязательно скажет что-нибудь смешное. Вот и сейчас, взглянув на воду, он задрожал, будто от озноба, даже зубами застучал:

— В-в-в!.. А с-с-ег-г-годня в-в-вроде бы т-т-теплее... и в-в-в ш-шинелях м-ммож-жно к-купаться...

И так это у него натурально получилось, что мы все покатились со смеху.

Попрощались с лагерем до будущего года и переехали жить в большое шикарное общежитие на центральном аэродроме. Нас много, и все мы — одно целое, потому что живем одними страстями, одними интересами. Мы рвемся в небо, оперяемся, обрастая опытом и знаниями, и крылья наши обретают силу.

На дворе белым-бело. Все в снегу, все в радужном блеске. Это когда солнце. А когда валит снег, все в сказочной прелести. Дивно, замечательно!

Зима прибавила нам хлопот: самолеты мы переставили на лыжи, и утром, прежде чем подготовить к запуску мотор, нужно много переделать, и при этом быстро-быстро, но и осторожно.

Мороз под тридцать, все звенит, к металлу не прикоснись, прилипнешь сразу. В моторе поршни пристывают так, что винт не провернешь. Надо накрыть мотор толстым, стеганным на вате чехлом, поставить полярные лампы и греть, греть, греть горячим воздухом. Потом, когда мотор прогреется, быстро-быстро залить в бак горячее масло, убрать лампу, снять чехлы и...

— От винта!

— Есть от винта!

Пах-пах-пах! Р-р-ррр!

А иногда и не «пах!» и не «р-р-р!». Тогда аврал. Тогда обидно: все летают, а ты копошишься. Выворачиваешь свечи, проверяешь зазор между электродами, дышишь на них, сердцем просишь: «Ну, дай искру! Зажги в цилиндре смесь!» Свечи после полетов мы уносим с собой, чуть ли не кладем их под подушку. Чистим, моем, наводим блеск. Подлизываемся к ним. Мы готовы на все — лишь бы летать!

А иногда возишься, возишься, да и забудешь вовремя стукнуть ногой по лыже. А они примерзнут, да так, что и машину с места не стронешь. Вот обидно-то!

А в полете увлечешься, высунешься за борт — и готово! Прихватило! Ты, конечно, ничего не чувствуешь. Прилетишь, сядешь, вылезешь из машины, а тебя тут же с ног валят и давай оттирать лицо снегом. Все ходили с обмороженными щеками, лбом и носом.

Центральный аэродром не мог обеспечить все отряды полетами. Летом он эксплуатировался круглый день в две смены, а зимой — день короток, и нам по очереди приходилось летать на аэродроме «седьмого километра».

Путь к нему идет вдоль линии железной дороги. Летом промчаться на машине — сплошное удовольствие. А зимой? Сядешь в кузов, проедешь метров двести — все, снежный занос — забуксовала машина! Вылезаем, толкаем, несем ее, можно сказать, на руках. Только забрались, проехали чуть-чуть:

— Вылезай! Р-р-раз-два — взяли!

И так каждый раз. И я разозлился:

— К черту! Надоело! Пошли, ребята, пешком.

Ребята мнутся: семь километров по шпалам? В меховом комбинезоне? Гм! Удовольствие малое. Не соглашаются.

— Лучше на машине...

— Ну, как знаете. Пока!

По шпалам ходить противно, это известно каждому: три шага нормально, а четвертый — так себе. Никакого ритма. Идешь и злишься: «Чтоб вы провалились в тартарары!»

И еще: если поезд идет, бросайся, как соленый заяц, в снежную целину. Снег сыпучий-сыпучий, тотчас же набьется в валенки, и, пожалуйста, наслаждайся — по икрам и ступням бегут холодные струйки растаявшего снега...

Но самое главное еще впереди. Ты подошел к аэродрому. Вот, рукой подать, всего метрах в ста — небольшой деревянный барак с полосатой «колбасой» ветроуказателя на мачте. Вон самолеты стоят, крутят винтами, вокруг самолетов приплясывают от мороза инструкторы. Солнышко светит вовсю, искрится радужно снег. А ты стоишь, изрядно вспотевший, скребешь ногтями в затылке и думаешь, как бы без потерь преодолеть последний рубеж чистого искристого снега, который нанесло в глубокий кювет — метров сорок шириной и метра два глубиной?..

А тебя уже увидели. Техник машет: «Давай, давай! Мотор зря работает!»

Инструктор тоже обрадовался: «Давай, давай! Горит программа! План не выполняется!»

Был бы бог, перекрестился бы, а так — с замиранием духа шагаешь и... проваливаешься аж по самую шею! И куда уж там в валенки — за шиворот тут же набивается сухой сыпучий снег! А ты барахтаешься, как мышь в сметане, не идешь, а плывешь, с боем отвоевывая у сорокаметрового пространства каждый сантиметр...

Но все кончается. Все сдается перед человеческим упорством. Отдавая остаток сил последним шагам, чуть ли не на четвереньках подползаешь к самолету, хватаешься пальцами за борта и так висишь некоторое время, не в силах поднять ногу на крыло. И пока приходишь в себя, инструктор, словно арбитр на боксерской арене, стоит над тобой и взмахом руки подчеркивает слова полетного задания. Слов ты не слышишь, потому что в ушах звенит от сумасшедшей усталости, а по пальцам читаешь: «Полет в зону. Высота восемьсот метров. Два виража мелких, влево и вправо, четыре глубоких. Две петли, два переворота через крыло, два боевых, два срыва в штопор. Все! Валяй!»

Тут я набираюсь сил, становлюсь коленом на крыло, поднимаюсь и, словно куль с картошкой, переваливаюсь в кабину. Сажусь. Замираю на несколько секунд.

Уф-ф! Какое блаженство!

Инструктор машет перчаткой:

— Давай!

Даю! Взлетаю по белой сверкающей россыпи в голубую солнечную высь. Первый разворот. Второй. Пока самолет набирает высоту, смотрю вниз: где же машина с ребятами? Еще на полдороге. Толкают бедняги! Услышали меня, задрали головы. Я троекратно качаю крылом: «Привет толкачам!» Поняли насмешку, грозят мне кулаками.

«Ладно, толкайте, а я полетаю!»

На высоте трехсот метров резко меняется температура: синий столбик термометра, прикрепленного к стойке крыла, показывает ноль. Солнце светит и даже греет. Тепло. Благодать-то какая! И до чего же хорошо! Ч-черт побери, до чего же все здорово!

Покрутился, покувыркался. Все, программа выполнена. Иду к аэродрому. Сажусь. Подруливаю. А вылезать

не хочется. Знаю, вылезу — замерзну. Я еще мокрый весь.

Подходит инструктор:

— Не устал?

— Нет, что вы, товарищ инструктор. Наоборот, отдохнул!

Смеется.

— Еще слетаешь?

— О! Конечно, товарищ инструктор!

— Давай. Задание старое.

— Есть, товарищ инструктор!

И опять иду в зону отрабатывать глубокие виражи. Хочется сделать так, чтобы при исполнении фигуры не изменялась бы высота, а это трудно: при крутом вращении машина норовит зарыться носом или, наоборот, задрать нос и потерять скорость. Хороший глубокий вираж — это шик, это почерк летчика, а мне так хотелось иметь хороший почерк!

Смотрю вниз: где ребята? Подъезжают. Ну и хорошо, как раз!

Прилетаю. Сажусь. Доволен до невозможности: сегодняшнюю свою норму я вылетал.

А на земле неуютно. Чего я тут буду зря околачиваться, время терять? Да и день как-то вдруг потускнел, облака наползли, вот-вот снег пойдет.

— Можно, товарищ инструктор, я домой пойду?

Удивленно смотрит на меня:

— Пешком? Да ты отмахал уже! — И тут же соглашается: — Давай.

Зашел в барак, перекусил стартовым завтраком, запил горячим чаем и опять, с замиранием сердца, полез в муторную снежную осыпь.

Когда вылез на полотно, подумал: «Зря, наверное?» Но обратно хода не было: решение принято. Полежал немножко, набираясь сил, и пошел: три шага нормально, четвертый — так себе...

Конкурсные испытания

Стоял конец апреля. В лагеря выезжать было еще рано, и мы летали на центральном аэродроме, большом и гладком, как бильярдный стол. Программа наших учебных полетов на У-2 подходила к концу, и мы с вожделением поглядывали на новый, больший по размерам самолет П-5, на котором должны были продолжать свою

дальнейшую учебу. Они уже стояли, эти самолеты, часть в ангарах, часть под открытым небом, под новыми чехлами, строгие, с округлыми формами. Это были двухместные бипланы деревянной конструкции и тоже, как и У-2, с перкалевым покрытием, но с гораздо более мощным мотором и большей скоростью полета.

В этом самолете для курсанта уже отводилась передняя кабина с удобным креслом, с широкой приборной доской, из которой солидно выглядывали с десяток черных циферблатов приборов. Управление такое же — ручка, только с «бубликом» на конце, ножные педали. Слева у борта — колонка с секторами газа, штурвальное колесо для поднятия и опускания передней кромки стабилизатора. Это уже удобство: облегчается управление машиной на взлете и посадке.

А задняя кабина — смех один. Борта открытые. Узкое сиденье и ручка короткая, изогнутая. Ребята сразу же назвали ее «кривондылькой», сразу же отметив и ее недостатки: чтобы добрать эту ручку полностью при посадке, пилоту нужно, подавшись вперед, вдвинуть ее почти под сиденье. А если курсант в передней кабине «зажмет» управление? Рычаг-то у него вон какой! Не позавидуешь инструктору...

Что-то школьное начальство забегало, зашепталось. Нас заставили наводить везде порядок: и в общежитии, и в ангарах, и на стоянках. Драить самолеты, подновлять хвостовые номера, каждый день бриться, подшивать белые подворотнички, ходить только строем, с песнями.

Приехала какая-то комиссия, большая, строгая. Узнаем потрясающую новость: часть курсантов, заканчивающих программу самолета У-2, будет переведена в особую группу ускоренного обучения для подготовки из них инструкторов. Выпуск в этом году. Остальные будут учиться еще два года. Часть!.. А какая это «часть» — неизвестно. И от кого эта «часть» зависит, от тебя самого или от инструктора? Выиграть два года — это здорово!

Было над чем задуматься и принять какие-то меры. А какие? Саша Чуднов, например, прямо из кожи стал вылезать: крутится вокруг инструктора, глазки жмурит, масляный, сладкий. Ну, подхалим, ну, подхалим! И Ермолаев, сразу, конечно, внес его в эту «часть».

А я и не надеялся. Куда там! У нас с инструктором по-прежнему отношения строго официальные: «Товарищ инструктор, какие будут замечания?» И все. Не

любим мы друг друга. Я его за то, что он, по общему признанию, — плохой летчик, он меня, наверное, за строптивость. Всех он по-прежнему поругивал, меня — никогда, и это ему, наверно, трудно доставалось.

И напрасно Саша старался! Оказывается, определять кандидатов на ускоренные курсы будет комиссия, для чего и назначаются специально разработанные конкурсные испытания. Кто наберет нужное количество баллов, тот и прошел!

Когда зачитали нам условия этих испытаний, я задумался: где у меня слабинка? В каких элементах полета? Разработал, взвесил все, от взлета до посадки.

Взлет.

Тут многое зависит от аэродрома: ровный аэродром — и самолет разбегается спокойно. Спокойно отрывается. Оторвался — не давай ему сразу отходить от земли, придержи чуть-чуть, пусть наберет скорость, а уж потом и уходи в набор! Получится очень красивый взлет. Я долго добивался такого взлета, даже с кочковатого аэродрома, и добился. Теперь у меня все получается автоматически.

Посадка.

Это уже особая статья, так сказать, честь летчика, его автограф. Бобнев учил рассчитывать сразу, после третьего разворота. Прицелился, учел силу ветра — и убирай мотор, планируй, делай последний, четвертый разворот. И если ты сел без подтягивания мотором, точно у «Т» — хвала тебе! Но ты можешь один раз сесть у «Т», а другой раз промазать или не дотянуть — значит, ты еще не настрелялся и не умеешь точно учитывать силу ветра. Значит, тренируйся, набивай глаз и руку, доводи полет до автоматизма. И я доводил. Беспощадно к себе придираясь, добивался при любой обстановке садиться только у «Т». Добился!

Ну, в зоне, само собой, все должно быть в идеале. Глубокие виражи я отработал: на какой высоте вводишь, на такой и выводишь. Мелкие я не любил. Долго очень тянется эта процедура: сидишь и ждешь, когда самолет замкнет большой радиус виража, — и крен все время надо поддерживать один и тот же, и за высотой следить. Терпение нужно. Но я умел терпеть.

Словом, тот первый урок, когда я, взлетев, оказался в облаках, даром не прошел: бояться мне было нечего. Да я и не боялся, а наоборот, вдруг опять ощутил, что весь внутренне подтягиваюсь, и в груди у меня будто пружина тугая накручивается. Я готов к испытаниям!

И даже знал, на каких упражнениях наберу высшие оценки. На самых трудных — на расчетах и на посадке.

Очки подсчитывались по какой-то сложной шкале, из которой я понял только одно: посадка (при всех полетах!) в пределах: первый ограничитель — «Т» — второй ограничитель дает четыре балла. Посадка точно возле «Т» — пять! Если сел вторично возле «Т», уже ставится шесть! За третью посадку — семь! И так далее, по нарастающей.

Неплохо! Если постараться, то можно обеспечить себя победными баллами.

И вот в назначенный день мы выходим на старт строем. Начищенные, наглаженные, торжественные. На старте обстановка «академическая». Стоят столики, за столиками — члены комиссии: с анкетами, журналами, карандашами. Председатель комиссии, высокий, лобастый, с густой волнистой шевелюрой светлых волос, расхаживал с комэском поодаль. Гаспарьян выглядел перед ним совсем маленьким, но в наших глазах он от этого ничего не терял. Мы любили своего комэска.

Носков доложил, председатель комиссии кивнул головой:

— Начинайте!

И закрутилось.

— Товарищ инспектор! Курсант такой-то, самолет номер такой-то, к полету готов! Разрешите выполнять первое задание?

И бежит к самолету, садится, пристегивает ремни, выруливает к взлетной, оглядывается по сторонам, как положено, просит старт, взлетает. А члены комиссии проставляют в своих журналах оценки по элементам поведения: как садился, как застегивался, как взлетал.

Взлетает второй, третий, четвертый, пятый. Первый подходит к третьему развороту. Я не спускаю с него глаз, а сам уже весь вжился в природу. Погода отличная. Тихо. Небо покрыто кисейными облаками, и солнечный свет, словно сквозь сеточку, мягко ложится на землю.

«Ну, давай, давай! — это я мысленно командую первому. — Не растягивай коробочку, делай третий разворот!..»

Нет, прошел! Теперь труднее будет: «Т» далеко, плохо видно, и в расчете можно ошибиться. А задание — посадка без подтягивания и скольжения.

Ну, конечно! Слишком рано убрал газ и теперь сядет далеко до первого ограничителя и получит двойку.

Так и было! Жалко. Еще две такие посадки — и он будет выведен из соревнования.

Второй сел между первым ограничителем и «Т». Фирсов Игнат из группы Джафарова. Молодец, четверка! Третий промазал — двойка. Четвертый сел у «Т». Ого! Чей это? Ну, конечно, из четвертой группы! Рыбалко даже покраснел от удовольствия.

Пока дошла очередь до меня, трое уже вышли из игры.

Я садился в кабину, сдерживая волнение, старался не думать о полете, не «перегорать». Кажется, мне это удалось.

Первая посадка — у «Т»! Отлично!

Второй полет: расчет со скольжением, влево-вправо. Тут надо ухо держать востро! Я любил расчеты со скольжением, но все равно, чтобы не увлечься, проскользишь ниже пятидесяти метров — и скинут балл.

Подхожу с явным промазом, совсем близко к «Т», и люди хорошо видны, которые на старте, головы задрали, смотрят. Убираю мотор, делаю четвертый разворот и, чуть-чуть пропланировав, скрениваю машину вправо и левой ногой — ш-ширк! — давлю на педаль. Машина валится вниз. Так, хорошо! Теперь влево. Земля несется на меня. И во мне, словно в точном приборе, отсчитывается каждый потерянный метр высоты. Хватит! Вывожу, планирую. Ручку добираю возле первого ограничителя, и машина, пролетев еще несколько метров, приземляется точно у «Т».

Конечно, может быть, мне и повезло, как говорят ребята, но в расчете со скольжением возле «Т» еще не садился никто.

Посадка с подтягиванием. Ну, это ерунда! Мне эта пустяковая посадка принесла семь баллов.

Расчет от центра аэродрома с выключенным мотором. Здесь уже сложнее. Надо учитывать фактор торможения винта. Учел. Сел у «Т». Восемь баллов!

Остался полет в зону. Полетел, покувыркался. Петли, перевороты, глубокие виражи, срыв в штопор. Кончил задание, пришел, сел... Все? Все!

Я уже не сомневался, что это последние мои полеты в группе Ермолаева.

А вот Чуднову не повезло: на первом же полете, чуть промазав, принялся тянуть ручку на себя, машина взобралась метров на пять и, потеряв скорость, свалилась на левое крыло, встала на нос, постояла немного, словно думая, в какую же сторону падать, и легла на лопатки. Как

курица — вверх ногами. Очень неприятно видеть машину в таком положении. И Чуднова жалко, и даже Ермолаева, которому Рыбалко тут же сказал:

— Я ж тебе говорил? Нечего было тащить его на эти испытания...

Инструктор Власов

И наша жизнь переменилась. Как-то сразу мы стали взрослыми, хотя мне, например, не было еще и двадцати. И это ощущение взрослости помогало нам серьезней относиться к полетам, к учебе, к новой машине.

Самолет П-5 мы освоили быстро и незаметно. Инструктор нам попался молодой, Андрей Власов. Выше среднего роста, круглолицый, белокурый и очень простой, застенчивый. Когда он давал нам вывозные полеты, то мы часто в воздухе поворачивались назад, чтобы посмотреть, сидит ли в задней кабине инструктор.

Выпустил он нас всех самостоятельно, не дав и половины провозной нормы.

— Чего вас возить-то? — словно оправдываясь перед нами, сказал он. — Летаете вы здорово, и я тут у вас в общем-то лишняя фигура.

Конечно, от таких слов можно было бы и зазнаться, но мы не зазнались, потому что Власов был хорошим летчиком и все тонкости летного дела умело передавал нам. Был он немногословен, объяснял коротко, двумя-тремя словами, но слова эти были такими точными и так легко и свободно воспринимались сознанием, что казалось потом, будто эти понятия были в тебе самом и никто их тебе не внушал. Например, он приучал нас сажать самолет с боковым ветром, говоря при этом:

— В жизни вам всегда будут дуть боковики, пусть для вас это будет привычным положением. — И показывал, как надо бороться с боковиком.

Оказывается, сущность была в том, чтобы перебороть в себе рефлекс: машину несет влево, и рулем поворота надо действовать тоже влево, хотя очень хотелось бы парировать снос правой ногой. Но это как раз и опасно: самолет войдет в скольжение и запросто может опрокинуться.

И когда инструктор нам показывал, страшно было переламывать в себе установившееся понятие. А убедившись на практике, как это здорово получается, удивились до чего же все просто!

Или еще такая мелочь: в момент посадки, когда по-

гашена скорость, самолет не слушается элеронов, а тут вдруг поддул ветер под крыло и машину швыряет в опасный крен, как быть? А по Власову очень просто: выправляй рулем поворота. Резкий толчок ногой, и машина сядет как надо, на оба колеса. Он такие мелочи словно придумывал. И начинял нас, начинял. И мы привыкли относиться к этим мелочам со всей серьезностью.

Учеба наша подходила к концу. Это было видно по всему — и по тому, как к нам относились окружающие, начиная от курсантов младших наборов и кончая техниками, пилотами-инструкторами, командирами, и по самой программе полетов. Мы ощущали себя так, будто все время находимся в блаженном состоянии невесомости. Именно невесомости, потому что почвы под ногами еще не обрели, от нее два года назад оттолкнулись, чтобы снова обрести, но уже в ином качестве.

Курсанты младших наборов смотрели на нас восхищенно — расширенными глазами, и это было мерилом нашей значимости. Техники были на равных и отношением своим подчеркивали, что ценят наши знания, а потому и доверяют в работе, выполняя которую, мы законно могли собой гордиться.

Что? Отрегулировать порядок зажигания в моторе? Пожалуйста! Заменить амортизационную стойку шасси? Нет ничего проще! Мы все умели, мы все любили. А вот это, пожалуй, было самым главным — уметь любить. Всем сердцем, всей душой, каждой клеточкой своего существа.

Ну, а самой высшей оценкой было отношение к нам пилотов-инструкторов. Уже не покровительственное, почти равное. Но все-таки пока «почти». И эту грань мы ощущали и ждали с нетерпением, когда она сотрется.

А стиралась она нашими полетами. Мы уже не ходили в зону на отработку элементов высшего пилотажа, все это было позади. Мы вникали сейчас в навигацию, и полеты эти были насыщены волнующей романтикой, пока неясной, как горизонт, затянутый голубоватой дымкой, с клочками облаков, с широкой панорамой прекрасной земли, которую невозможно было не любить. И когда ты сидишь в кабине, смотришь на карту, потом вниз, то невольно чувствуешь себя волшебником — оракулом, предсказывающим будущее, которое действительно появляется впереди, сначала неясно, в форме размытого пятна, потом конкретно, с контурами, с деталями, по которым

и опознаешь поселок, городишко, речку или озеро, почему-то непременно с названием «Ильмень».

В назначенном месте ты меняешь курс, и снова перед тобой лежат в неведомом пространстве открытия, открытия, открытия. Замыкая треугольник маршрута, ты подходишь к своему аэродрому совсем с другой стороны, будто ты обогнул земной шар, и тебя всегда при этом охватывает чувство совершённого таинства в преодолении Пространства и Времени. Вошел в одно пространство, вернулся из другого.

И наконец настал день, когда эта последняя грань, это «почти» стерлось. Мы сделали последние полеты, сходили в зону на высший пилотаж, попетляли, повиражили, поштопорили.

П-5 в отличие от У-2 хорошо входил в штопор. И если забраться повыше, тысячи на две метров, да, убрав мотор, свалить самолет на малой скорости вправо или влево, то он, опустив в свободном падении вертикально к земле нос, начнет вращаться вокруг своей оси все быстрее, быстрее, быстрее. А ты сидишь, прижав ручку к животу, и, наметив себе ориентиром церквушку или озеро, считаешь обороты: раз! два! три!.. пять! шесть! семь! Хватит!

Отпускаешь ручку, даже отдаешь немного вперед, ставишь ноги в нейтральное положение, и самолет, прекратив вращение, выходит из пике. И потом тебе нужно осторожно, без рывков, вывести его в горизонтальный полет, дать мотору обороты и идти домой, потому что ты потерял всю высоту.

Штопор — это штука! Здесь тоже, как и при посадке с боковым, нужно поступать противно инстинкту. Машина и так устремляется носом к земле, так, казалось бы, куда уж там отдавать ручку от себя, надо на себя. А на себя-то некуда! И бывает так, что некоторые, потеряв контроль над собой, пытаются вывести машину из штопора только рулем поворота, а машина и ухом не ведет, все крутит и крутит. А земля-то вот она — мчится и мчится! И наступает страх. Смертельный ужас, парализующий разум и волю. И гибнет человек от страха...

...Мы сделали последние полеты, зарулили. Инструкторы выстроили свои группы у самолетов, поздравили нас, обняли.

— Все! Вы теперь настоящие летчики, — взволнованно сказал нам Власов Андрей. — На равных. Но...—

и многозначительно поднял вверх указательный палец. И больше он ничего не сказал, но мы поняли и так.

«Мы еще только птенцы. Желторотики. Еще не настоящие летчики. Это звание нам выдано авансом. Перед нами еще барьеры, барьеры, барьеры. Неизведанные трудности. С ними мы будем сталкиваться, брать, преодолевать и вместе с тем — набираться опыта, мужать. В небе, которое будет для нас добрым небом...

Ох и страшно!

Нас повели в склад, где пахло кожей, нафталином и разными другими запахами, свойственными этим помещениям. Вошли мы туда серыми, безликими, а вышли... О! Какими красивыми мы оттуда вышли! Я тут же вспомнил Кирилла, так любившего форму. Уж он бы восхитился от души: потрогал бы, разгладил бы, погладил.

Нам выдали прекрасные костюмы из какой-то зеленовато-голубой шерсти в рубчик, брюки навыпуск, китель, конечно, с «золотыми» пуговицами, черные шинели — тоже с «золотыми» пуговицами, фуражки, эмблемы, кожаные пальто-регланы с нежнейшей меховой подстежкой, летний и зимний комплект кожаных перчаток-краг, два шлема — зимний и летний, два комбинезона и кучу разных мелочей: шелковые белые подшлемники, шерстяные свитеры, носки, белье, ботинки. Мы нагрузились и задворками, стараясь не встретиться со своими друзьями-однокашниками, которые, не выдержав конкурсных испытаний, остались в курсантах, разошлись по своим квартирам. А они у нас были пока где попало, по частным домам. Но никто из ребят не роптал и никаких претензий не предъявлял, потому что стали мы теперь людьми самостоятельными и уже получили первую зарплату.

Потом начался организационный период: формирование новых учебных отрядов, эскадрилий. Нас начали слетывать, тренировать в дневных полетах, в ночных, строем и вслепую.

Вот это были полеты! Кабина с колпаком, сзади командир звена или отряда. Набрал высоту, закрылся — и ты наедине с приборами. Дерзай! А ты: «Здрас-сте!» — смотришь на них, как баран на новые ворота, будто сроду не видал. Все идет вразброд, как в басне Крылова... Это было новшество, и кое-кто отнесся к нему с недоверием.

— Этого еще не хватало! — ворчали скептики. — Сидеть в закрытой кабине, под каким-то дурацким колпаком, дрыгать ногами и гоняться за каким-то шариком и стрелками? Да ерунда все это! Летчик — это птица! Он связан с землей, с горизонтом, с чистым воздухом. А в облаках и птицы не летают...

Но разговоры разговорами, а программа есть программа: изучай, тренируйся, совершенствуйся, как предписано сверху!

Мне эти полеты пришлись по душе. Во-первых, интересно: сидишь под колпаком и беспрестанно ощущаешь: то вдруг на несколько секунд тебя охватит чувство опьянения, то состояние невесомости, а то вдруг как-то поиному заворчит мотор. И стрелка «пионера» перед глазами пляшет, а шарик мотается туда-сюда, и указатель скорости ведет себя нервозно, и компас как пойдет, как пойдет... А открыл колпак, и все становится на свое место. И никаких тебе опьянений, никаких невесомостей, никаких изменений.

Постепенно приходит догадка: «Ага! Когда ты в слепом полете, тогда за управлением сидит человек думающий. Отбрасывая напрочь все естественные ощущения, он опирается только на разум, давший ему приборы, пусть пока несовершенные, но все же что-то, чем ничего. И если по ним хорошо натренироваться, то можно летать в любую погоду».

Не очень-то у меня получалось сначала. Едва накинешь колпак и защелкнешь замок, как пошло тебе казаться! Вот машина начала заваливаться в левый разворот. Ты уже готов отреагировать рулями, а глянешь на приборы — все в порядке и никакого разворота нет. А тебе все кажется и кажется. И только большой тренировкой можно выбить из себя веру в этот разгул ощущений.

Мы летали на У-2 в несколько машин. Я только что вылез из кабины, как меня позвали.

— Иди, там Гаргоцкий тебя зовет, прыгать будешь.

— Какой Гаргоцкий, куда прыгать?

— Да иди, там покажут.

Иду заинтересованный. Чувствую что-то новое, а что?

Подхожу. Незнакомый человек с длинным бледным лицом выгружает из машины какие-то сумки защитного цвета с металлическими кнопками. Тут же с интересом крутятся молодые инструкторы. Иные придут, посмотрят и — ходу.

Обращаюсь к незнакомцу:

— Вы меня звали? Это что?

— Да-да, звал. А это парашюты. Хорошо, что вы пришли, комэск приказал с вас начинать.

— С меня? Что ж, хорошо, — согласился я, еще не понимая, в чем дело.

— Помогите, — сказал Гаргоцкий, обращаясь к инструкторам. И ко мне: — Повернитесь.

Все еще не понимая, что происходит, я повернулся к Гаргоцкому спиной.

— Ну вот, хорошо! — сказал он, и я почувствовал, как мне что-то надевают на спину.

И тут я догадался — парашют. Пронеслась мысль: «Прыгать?! Да нет, не может быть! Я же парашюта и в глаза не видел, не знаю, что и как. Просто это, видимо, примерка».

Держу себя спокойно. Смотрю, как Гаргоцкий, встав передо мной на колено, застегивает мне карабины у бедер.

— Не туго?

— Нет, нормально.

Поднялся, застегнул карабин на груди.

— Так. Теперь запасной. Подайте!

Ребята подали запасной.

— Пристегивайте его к животу. Вот к этим кольцам.

Щелкнули еще два карабина.

Гаргоцкий осмотрел меня со всех сторон. Оттянул резинки на парашютах, громко хлопнул ими.

— Ну, а открывать знаете как?

Я пожал плечами:

— Ну-у... за кольцо, наверное?

— Верно!— сказал Гаргоцкий. — Вот за это. Только не сильно. И самое главное — не обронить кольцо. Когда выдернете и парашют откроется, тогда вы его привяжете за лямку. Вот сюда. Потерять кольцо — это позор! Ну, а если не откроется главный, тогда откроете запасной. Кольцо, вот оно — прямо на парашюте...

До меня, словно издалека, начинает доходить смысл этой подготовительной операции.

Да ведь он готовит меня к прыжку!..

А ребята стоят, смотрят на меня с восхищением. И эти восхищенные взоры как бы заморозили меня. Прыгать мне вовсе не хотелось. Что же делать? А делать было нечего. Конечно, я мог бы спокойно расстегнуть карабины, снять парашюты и сказать: «Я не буду прыгать, потому что не готов». Вот и все. И никто бы меня не заставил. Но на такой отказ нужно было мужество, а у ме-

ня его не было. Да еще к тому же комэск сказал... И я промолчал.

— Так,— сказал Гаргоцкий. — Когда вылезете на крыло, просунете кисть правой руки вот в эту резинку. Ясно? Возьметесь за кольцо, прижмете туго руку к груди и по команде летчика прыгнете. Лучше спиной вниз. Ясно? — словно откуда-то издалека доносился до меня его голос. — Дергать за кольцо будете не сразу. Досчитайте до трех — тогда. Дернете раньше — зацепитесь за хвост, погубите себя и летчика. Ясно?

И он сыпал, сыпал наставлениями.

Как только парашют откроется, я должен подтянуться на лямках и сесть. Это удобно. Привязать вытяжной тросик. Обязательно, иначе — позор! Затем определить направление ветра и развернуться к нему спиной.

— Это делается очень просто,—гудел мне в уши Гаргоцкий.—На качелях качались? Ну вот, возьметесь правой рукой за левую лямку, левой за правую, потянете, и парашют развернется. Ну, пошли!

И меня повели. Как на заклание!..

Летчик Куликов, пожилой, высокий, носатый, перевесившись через борт, смотрел, как я, подталкиваемый сзади, забирался в кабину. Уселся. Умостился.

Куликов клюнул носом:

— Готов?

Я кивнул.

Куликов отвернулся и порулил. Стартер взмахнул флажком. Взлетели, пошли в набор высоты. Первый разворот. Второй. Я опасливо взглянул за борт. Мне туда прыгать?! Переборю ли я себя? Вдруг испугаюсь и не прыгну?.. — это было для меня страшнее страшного — вернуться на аэродром в самолете. Позор на веки веков!..

Третий разворот. Четвертый... Высота пятьсот метров. Пролетаем над стартом. Люди маленькие-маленькие. Задрали головы, смотрят. Им-то, конечно, интересно, а мне каково?

Шестьсот метров. Так быстро? Куликов повернул голову, кивнул: «Вылезай!»

Поднимаюсь. Ухватившись руками за стойку центроплана, вытягиваю левую ногу из кабины и ставлю ее на крыло. Ветер не очень сильный. Куликов опытный летчик и догадался убрать скорость до возможного предела.

Левой рукой держусь за борт, правую продеваю в резинку. Продел, взялся за кольцо, прижал руку к груди.

Смотрю на Куликова. Вниз не смотрю, страшно. Боюсь, что испугаюсь и полезу назад...

Куликов клюнул носом:

— Пошел!

Я отпустил руку и, оттолкнувшись от крыла ногами, повалился в пропасть...

Лечу спиной вниз. Ветер свистит в ушах. Хочу вздохнуть и не могу, нет воздуха! Мелькает мысль: это от испуга. Вспоминаю: надо же считать! Считаю до трех и со всего размаху дергаю кольцо. Со страхом отмечаю: никакого сопротивления, будто я взмахнул пустой рукой. Меня резко перевернуло, и теперь встречный воздух распирает мне легкие. Хочу выдохнуть воздух и не могу! Парашют не открывается!.. А я задыхаюсь...

Гулкий хлопок над головой, жесткий толчок. Меня мотнуло, как тряпочную куклу, горизонт, перевернувшись, встал на место. Тишина! Звонкая-звонкая! И волна радости и счастья...

Лязгнули буфера, тоненько просвистел маневровый паровоз. Я взглянул вниз: подо мною сортировочная. Поезда стоят, ходят люди, задирают головы, смотрят. Меня несет к аэродрому. Быстро несет и... спиной по ветру. Если так приземлюсь, сальто обеспечено. Не глядя на стропы, берусь за них обеими руками — левой за правую, правой за левую. Тяну. Ничего не получается! Стропы пружинят, я поднимаюсь на них чуть-чуть и только. Парашют не разворачивается. И снова мысль: это меня силы покинули от страха...

Земля несется на меня как оглашенная! А я спиной. Это все равно, что на большом ходу прыгать с приступки поезда не вперед по ходу, а назад. Что же делать?

Ага, знаю! Раздвигаю ноги циркулем и начинаю раскачиваться: вправо-вправо-вправо! Парашют развернулся, но мало. А земля вот она — летит на меня сбоку. И тут я вспомнил еще одно наставление Гаргоцкого: землю принимать обеими ногами, прикоснулся — падай!

Я так и сделал. Упал и, кажется, нормально. Сначала меня поставило на голову, потом опрокинуло на спину и так поволокло, щедро засыпая мне за воротник комбинезона мелкий гравий и колючку. Я беспомощно, как жук, мотаю руками и ногами и не могу перевернуться на живот: мешает запасной парашют. А главный надулся от сильного ветра, распарусился и такую взял прыть, что машина скорой помощи не могла меня догнать.

Наконец мне удалось отцепить запасной. Ну, теперь

легче! Перевернулся на живот и, вспомнив последнее наставление Гаргоцкого, дернул руками за верхние стропы. И парашют послушно улегся!

Подъехала машина. Выпрыгнули люди, отцепили парашют, собрали купол. Сестра помазала мне йодом расцарапанные лоб и щеку.

Ребята восхищенно сказали мне:

— Здорово прыгнул! Затяжным!

Я промолчал, потому что храбрости в этом не видел никакой.

А кольцо было привязано как полагается, но когда я это сделал — убей, не помню.

Царапины на лбу и на щеке я носил, как ордена. И когда меня спрашивали: «Где это ты расцарапался?», я небрежно отвечал: «Да так, с самолета с парашютом прыгал».

А нужно ли кричать?

И вот мы уже инструкторы, идем в общежитие к курсантам. Идем с волнением: мы будем учить их летать! Учить... Вернее, мы будем с ними учиться летать. Вот это другое дело! Но им-то ведь об этом не скажешь. Авторитет инструктора и прочее...

Авторитет. А как его держать — авторитет? Важным видом? Я когда смотрелся в зеркало и попробовал напустить на себя «авторитет», то прыснул со смеху: оттуда выглядывал черноволосый худощавый мальчишка, которому еще впору было в чижика играть или в пятнашки. Нет, не шел мне важный вид.

Ну, а как же мне себя с ними держать? Запанибрата? Свой рубаха-парень? Нет, не пойдет. Они по возрасту почти все мне ровесники, а то и старше, и если так поставить себя перед ними, то к хорошему это не приведет. Элемент подчинения и уважение — вот на чем должны основываться наши отношения. И в то же время надо держать себя с ними на расстоянии: они меня на «вы», и я их на «вы».

Вот такие примерно мысли одолевали меня, пока я собирался на первую встречу со своими будущими учениками.

Ох, тонкая это штука — должность инструктора-пилота! Справлюсь ли? И когда подумал хорошенько, решил — справлюсь. Не боги горшки обжигают!

Стояла весна. Деревья, еще полупрозрачные, едва по-

крылись молодой листвой. Скворцы уже носили корм птенцам. Стонали голуби на крышах, и река несла свои вешние воды меж поросших вербой берегов.

На этот раз общежитие мне почему-то уже не казалось таким монументальным, хотя сердце дрогнуло от почтения к этим крепким, кирпичной кладки стенам, названным нами потом «инкубатором». И, пожалуй, точнее названия придумать было невозможно.

Мы во главе с командиром отряда Чулковым, среднего роста, темноволосым и очень спокойным, всегда уравновешенным человеком, поднялись на пятый этаж. Дневальный, встретив нас на лестничной площадке, диким голосом закричал:

— Общежитие, сми-и-рррно-о! — и доложил Чулкову.

Мы вошли.

Курсанты находились на местах подразделений. Я разыскал свою группу, тоже под номером три. Меня усадили на койку и тут же разместились прямо на полу сами. Все, как и в тот раз. И я невольно посмотрел себе под ноги, а не сидит ли там Саша Чуднов?

И все же, раговаривая с ними, я больше обращался к тем, кто сидел сзади, потому что мне казалось, что там-то именно и должны быть самые способные ребята.

Для начала знакомлюсь с ними со всеми. Раскрыл блокнот со списком:

— Баскаков!

— Я!

Поднимается парень атлетического сложения. Все в нем крупное, крепкое и спокойное, даже, пожалуй, чересчур спокойное. Ну и глыба! Если разбежаться да стукнуться об него — расшибешься в лепешку!

— Садитесь. Бурко!

Ого! Ничего себе, подбросили мне курсантиков! Из заднего ряда встает высокий плечистый курсант с добрым-добрым рябоватым лицом. Ручищи длинные, и сам весь могутный, настоящий русский богатырь.

Делаю заметку: «Сидел позади».

— Садитесь. Глущенко!

— Есть!

Вскакивает парень, чуть рыжеватый, лицо в веснушках, глаза живые-живые, с лукавинкой. У меня в списке против его фамилии не проставлены инициалы. Спрашиваю имя и отчество.

Оглянулся на товарищей, словно ища поддержки, дернул плечом:

— Хведор Иванович я, товарищ инструктор!

Я не смог удержаться от улыбки:

— Как-как?

Ребята оживились. Глущенко укоризненно на них посмотрел, чем вызвал еще большее оживление и смех. И я сразу понял, этот парень общий любимец. Что ж, хорошо! Значит, ребята дружны между собой и дружбу эту можно укрепить, не давая в обращении с ними никому предпочтения.

— Федор Иванович я, — поправился Глущенко.

— Ну вот, это другое дело, — сказал я, проставив в блокноте инициалы. — Садитесь. Денисов!

Из заднего ряда поднимается высокий парень с тонкими чертами лица. Весь какой-то невозмутимый, воспитанный, интеллигентный.

Беру Денисова на заметку: случайно он оказался сзади или это его привычка — не выставлять себя напоказ?

— Садитесь. Кравченко!

Всех по одному поднял, всех осмотрел. Десять раз сказал: «Садитесь». Начало сделано. Я уже и сам привык к этой форме обращения, и их предупредил, что так будет и впредь.

И вот мы опять в Устиновке. Палаточный городок, тихая речка Елань, большое-большое летное поле, выстроенные в ряд новенькие У-2.

Так же начался наш летный день. Мы, инструкторы, тоже взлетев с предварительного старта, построились в воздухе и с шиком прошлись над аэродромом, не давая повода никому из курсантов оспаривать качества своего учителя.

И в первый же день я понял, как тяжела работа инструктора. Взлет — посадка, взлет — посадка. Целый день. А поскольку самолетом управляет неопытная рука, машина рыскает из стороны в сторону, то влево мотнется, то вправо, то вверх полезет, то вниз повалится. Был бы ты в воздухе один, куда ни шло, а тут как пчелы роем... И хочется дать ученику больше инициативы, да нельзя, опасно, можно и столкнуться. И сидишь, и крутишься, как на иголках, потому что первая твоя ошибка будет и последней...

А на рулежке пыль, и все в глаза инструктору. С утра-то ничего, аэродром влажный от росы, а как подсохнет — все твое! И еще — болтанка. И воздух взбудоражен самолетами. Иной раз попадешь на взлете или на

посадке в такую струю, и начнет тебя корежить, а курсант не поймет, думает, что инструктор в управление вмешался. Посмотришь на него в зеркало — лицо жалкое, растерянное...

И кричать мне вовсе на них не хотелось. Я только говорил им в трубку ровным, спокойным голосом.

— Начинайте разворот! Крен! Крен! Поддерживайте крен! — И если курсант не справлялся, вмешивался в управление. — Вот как это делается! Держите!

Уже на третий день полетов я имел о каждом курсанте определенное представление.

Преемственность поколений

Больше всех меня порадовал Денисов. Он сразу прочувствовал самолет, его реакцию на движение рулей и установил свой режим полета, такой же спокойный и ровный, как его собственный характер. Уже на пятый или шестой день полета он самостоятельно сажал машину.

Остальные летали ровно, со своими промахами и ошибками, от которых быстро избавлялись. А Баскаков и Умеренко избавляться от ошибок не хотели, и, самое главное, с посадкой у них не ладилось совсем. То с углом подойдут, то начнут высоко выбирать, и я стал готовить их на «ундервуд».

Памятуя о Саше Чуднове, я учил ребят сажать машину на колеса с полуопущенным хвостом. Такая посадка всегда хороша, особенно при сильном ветре.

Старшина моей группы Масляков летал отлично, инициативно, но вот беда, его тошнило в полете.

Выпустил я их почти всех одновременно, никому не дав полностью вывозной программы, только Баскакова долго возил, а Умеренко был отчислен.

С Баскаковым не получалось никак. Наблюдая за ним в зоне через зеркало, я видел, как на фигурах высшего пилотажа — переворотах через крыло, при срыве в штопор, при петле — бледнеет его лицо и страхом наполняются его глаза. Он весь каменел в эти минуты и так впивался в ручку управления, что мне показалось однажды, будто его намертво заело.

Отчислить бы его, да командир отряда сказал:

— Вози! Сейчас с отчислением строго.

А я так понимал: летное дело — это не ремесло, где плохо или хорошо — сойдет, а искусство; и если уж у человека нет способностей, вози не вози, все равно летчи-

ка из него не получится: убьется где-нибудь, да еще людей загубит. И командир звена Петько с моим мнением соглашается. Нет, не лежала у меня душа к Баскакову! Невнимательный какой-то, нерасторопный, и его непостоянство в посадке меня настораживало. Ну как такого выпускать самостоятельно?

И все же выпустили с грехом пополам. И когда он летал один, мы все боялись за свою машину.

Сейчас, когда ребята вылетали самостоятельно, инструкторам стало куда легче. Только погода нам иногда мешала: поднимется ветер и дует, дует. Надо бы прекращать полеты, да жалко: программа большая, уплотненная, план и так еле-еле выполняется. И командир отряда «выходил из положения». «Садитесь, — говорит, — товарищи инструкторы, в переднюю кабину». — «Так как же садиться-то, товарищ командир, полеты-то самостоятельные?!» — «А вы, — говорит, — не вмешивайтесь в управление, вот они и будут самостоятельные!»

Меня такая «логика» возмутила, и, кроме того, на своих ребят я надеялся: с ветром они справлялись отлично, недаром же я их учил сажать машину с полуопущенным хвостом! Я дал ребятам свой шлем, а был он у меня у одного такой, я сам скроил и сшил его из замши.

— Вот, ребята, вам мой шлем, и будете вы по очереди за инструктора.

Так и сделали. И летали целый день. Только к вечеру увидел меня командир на старте и опешил.

— Ты почему тут?

Я сделал удивленный вид:

— Товарищ командир, да у меня же по программе самостоятельные полеты в зону!

— А я что сказал? — процедил сквозь зубы командир.

Я прикинулся простачком и — боком-боком — сделал несколько шагов в сторону, чтобы поставить командира спиной к старту, где мои ребята как-раз садились в кабины.

— А что вы сказали, товарищ командир?

Командир побелел:

— Как что? Я сказал, чтобы все инструкторы сели в передние кабины! А вас это не касается?!

— Хорошо, хорошо, товарищ командир! — согласился я, наблюдая, как взлетает моя тройка. — Сейчас сяду. Вот прилетят, и сяду...

Подходит инструктор Лобов Иван, любимец Чулкова.

— Товарищ командир, ветер-то упал. Пусть сами полетают, устали мы.

А ветер действительно упал, и командиру пришлось согласиться. Но мне он долго не мог простить этой проделки.

Самолеты на линейке стоят на козелках, и колеса «отдыхают» на весу. Масляков, быстрый, дотошный, осматривая машину после полетов, сказал мне:

— Товарищ инструктор, посмотрите, какой люфт, — и подергал за колесо.

Да, действительно, люфт большой. При боковом ударе на взлете может запросто срезать контрящую шпильку, и колесо спадет. Подзываю техника:

— Радченко, вам не кажется, что люфт великоват?

— Кажется, товарищ командир! — охотно соглашается техник. — Инженер об этом знает.

— Гм! Знает. Ну и что?

— Втулки надо менять, а их нет.

На предполетном церемониале докладываю командиру о недопустимом люфте колес.

Чулков смотрит на меня хмуро, он еще не забыл вчерашнее.

— А что поделаешь? Летать-то надо! — И тут же постарался снять с себя ответственность: — Будьте осторожны, только и всего!

Ну вот! Вчера заставлял инструкторов летать с курсантами в «самостоятельных» полетах, сегодня — «будьте осторожны!». А это значит, если что случится, виноват инструктор, потому что был «неосторожен».

Логика заведомо необъективная, что может быть хуже во взаимоотношениях людей? И вот уже день для меня стал каким-то сумрачным, хотя с утра все радовало...

Ветра нет, штиль, — и пыль, поднимаемая самолетами, тучей висит над стартом. Я сижу в передней кабине, прикрывшись воротником, в задней — курсант Куликов просит старт. Стартер пожимает плечами: «Пыль, ничего не видно!» Стоим, молотим винтом воздух, а меня грызет обида: слова командира не выходят из головы.

Наконец горизонт проясняется, стартер разрешает взлет. Куликов летает отлично, но сейчас, из-за штиля, разбег увеличивается намного, и самолет, медленно набирая скорость, принялся считать колесами бугры и ямы. И каждый удар отзывался в сердце — жалко было машину. Наконец, стукнувшись последний раз, мы оторвались. Я облегченно вздохнул и по привычке выглянул из каби-

ны, чтобы посмотреть на колеса. Правое бешено вращалось, а левое... А где же левое?! Смотрю и не верю — левого колеса не было! Торчала голая полуось, вымазанная тавотом, и шайбы-прокладки, крутясь и вибрируя, сваливались одна за другой вниз...

Я откинулся на сиденье. Вот здорово! И что удивительно, в эти секунды я не испытывал никакого страха, просто, видимо, не успел, потому что в моем сознании яркой вспышкой возникла картина.

Я, курсант ЦИТа, при мастерских «Добролета», лежу в траве, а рядом, за стеной подстриженных кустарников, сидя на скамье в тени тополей, ведут беседу два летчика.

«Ты помнишь Федоскина? — говорит один другому.— Они ходили на Р-1 звеном на стрельбы с пикирования по щиту. Ну, командир увлекся и очень низко вышел из пике, а Федоскин, он был ведомым, снес шасси. Так что он сделал? Чтобы сохранить машину, сел в хлеба. На брюхо. Да не просто сел, а сначала винт поставил горизонтально, чтобы не сломать. Раз пять заходил».

Вот этот разговор я и вспомнил. Словно специально хранил его в памяти для такого случая... И я уже знал, что мне делать. Выключу мотор, остановлю винт горизонтально и так буду садиться. Машина, конечно, встанет на нос, но винт не будет поломан, значит, не будет и аварии!..

Авария! Я не должен делать аварии. Не должен, и все тут!

И опять в груди словно пружина тугая закручивается. Куда уж тут страху! Ему некуда было приткнуться.

Куликов, ничего не подозревая, сделал первый разворот, потом второй. Смотрю на старт, а там — переполох, словно муравейник встревожили. Самолеты заруливают, выстраиваясь в ряд, бегают курсанты. И вот уже заворачивают левое полотнище посадочного «Т», что означает: неисправна левая сторона шасси! И вот кто-то бежит, держа над головой наше злополучное колесо...

Осторожно посматриваю через зеркало на Куликова. Он уже, молодец, заметил переполох, но сбит с толку моим спокойным видом. Качнул крылом, чтобы привлечь мое внимание. Я обернулся, закивал головой и, показав пальцем на левую сторону шасси, взял управление. Теперь мы будем приводить в действие задачу летчика Федоскина.

Мы в воздухе одни. Полеты прекращены, все самолеты стоят в одну линейку с выключенными моторами. Ле-

жит посадочное «Т» с завернутым полотнищем и на нем — колесо. Толпятся люди. Даже отсюда видна их встревоженность. Мелькает злорадная мысль: «Командир отряда уже записывает себе авансом аварию (это в лучшем случае!) со всеми вытекающими отсюда последствиями». А у меня на сердце спокойно. И вовсе не из-за необходимости, а чтобы покрасоваться драматичностью положения, разворачиваюсь и прохожу над стартом: «Нате, смотрите, какой я инвалид! Без колеса-то как садиться? Сейчас вот трах-бах-тара-рах! И машина вдребезги!»

Ну, а теперь за дело! Лихо разворачиваюсь и по малому кругу веду машину к третьему расчетному развороту. Мотор выключил с прямой. Планирую. А винт вращается! Ну, понятно, от встречного воздуха. Сбавляю скорость. Пропади ты пропадом, вращается, и все тут!

Еще сбавляю скорость. Ага встал. Но вертикально! Ах ты! Включаю магнето, увеличиваю угол планирования. Винт закрутился, и я, к общему разочарованию, ухожу на второй круг.

Конечно, на земле не догадываются, чего я добиваюсь, и поняли наверняка, что у меня душа с телом от страха расстается. Ладно, думайте как хотите, а я своего добьюсь!

Захожу второй раз. Поставил. Горизонтально! Но едва увеличил угол планирования, винт снова встал вертикально! Вот ч-черт!

Включаю мотор, ухожу снова. Успеваю заметить: командир звена Петько обреченно взмахнул перчаткой: «Садись уж, не мори душу, не трусь...»

А я злюсь на себя за свою недогадливость и уже на третьем заходе знаю точно — сейчас поставлю винт как надо.

Захожу. Выключаю мотор. Задираю машину, чтобы быстрее остановить распроклятый винт. Остановил. Вертикально. Ладно, сейчас я тебя перехитрю! Увеличиваю угол планирования, и винт — хлоп! — встал горизонтально!

Планирую на малой скорости. Не дышу. Молю всех святых, чтобы винт не повернулся. Самолет с правым креном подходит к земле, тихо-тихо касается травы колесом. Я — весь внимание. Отклоняю рули, все сильнее, сильнее. Самолет бежит, бежит, постепенно замедляя скорость, а я держу ему крен. Держу, держу! И вот самолет

остановился, замер, постоял чуть-чуть и, повалившись на левую ось, мягко уткнулся цилиндром в землю.

Бежали курсанты с криком «ура». А я, словно во сне, вылез из кабины, нагнулся, сорвал травинку, сунул ее в рот и отгрыз кусочек...

Самолет тут же подняли, поставили на место злополучное колесо, уже с новыми бронзовыми втулками, нашлись ведь, значит! И мы продолжали полеты, будто ничего и не случилось.

Командир отряда, сразу же списав с себя аварию и все «вытекающие из нее последствия», повеселел, а я, конечно, раздул от важности зоб, потому что из-за врожденной скромности никому не сказал, что этим благополучным исходом обязан вовсе не своей находчивости, а опыту прошлых поколений.

Два витка штопора

И сказали мне друзья:

— Ох, и везет же тебе, Борька!

Который раз слышу эти слова, да все как-то не придавал им значения.

«Везет». А что такое «везет»? Как Иванушке в «Коньке-Горбунке»? И вообще я уже и не знаю, обижаться ли мне на такие выводы или нет. Иванушка не обижался на своих братьев, потому что:

Старший умный был детина,
Средний был и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.

Ну, дураку-то, ясно, ума не хватает, так он заменяет его старанием. А где старание, там, наверное, и умение. А где умение, там и везение. Это уж точно!

Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается.

Ну вот, мне клад и дался! И получил я за эту посадку от начальника школы в награду велосипед, о котором мечтал. И статья в газете была: «Героический поступок инструктора такого-то».

Заголовок статьи мне не понравился. Уж очень крикливо. И героика здесь ни при чем. Да ее и не было в этой ситуации. Просто в нужный момент я отдал частицу того, что мне дали старшие поколения. Меня кормили, поили, обували, одевали. Учили. И от меня ждали, чтобы

я от учебы взял все или даже больше и, прилагая к полученным знаниям самого себя, свой ум, свою хватку, свою любовь к делу, отблагодарил бы всех за все своей работой, чтобы люди знали: на тебя можно рассчитывать, ты — нужен. А когда ты нужен людям — это самое великое счастье в жизни.

Но нужность определяется еще и собственными устремлениями. Скоро я стал ловить себя на том, что скучаю в этих вот однообразных учебных полетах, тоскую по пространству.

И стал я проситься: «Отпустите! Хочу летать на трассах, возить грузы, почту, пассажиров. Хочу видеть горы, реки, леса, моря. Хочу простора!»

А мне сказали: «Ты нужен здесь». И все!

И я работал и... тосковал. Все больше и больше.

И вот мы уже перешли на П-5. Я сижу на парашюте в задней неудобной инструкторской кабине, хмуро смотрю на широкую спину Баскакова, собирающегося в полет. Все ребята давно уже летают самостоятельно, а у него не ладится с посадкой. И вообще не ладится ни в чем. Позавчера, заправляя самолет бензином, он полез на крыло, наступил ногой не там, где положено, порвал покрытие и провалился. Позор на всю эскадрилью! Я спросил у Чулкова: «Сколько можно?» Он ответил: «Вози!»

А сейчас мы полетим в зону: виражи, боевые развороты, штопор. Мой взгляд, как бы сравнивая две величины, скользит то по спине Баскакова, то по ручке управления, торчащей у меня под сиденьем, и мне от этого становится нехорошо.

Взлетаем, набираем высоту, уходим в зону.

Высота две тысячи метров. Прохладно. Воздух прозрачен, пахнет озоном. Гляжу через борт: речка Елань, лагерь, аэродром с выбитой лысиной в центральной части, ниточкой тянутся рельсы, паутина проселочных дорог, поля с колосящейся пшеницей, хутора, деревушки. Все словно нарисовано рукой дотошного художника, волнует, привлекает взор. Хоть тысячу раз смотри — не насмотришься!

Но нам надо работать. Говорю в трубку:

— Два виража, левый — правый, по пятнадцать градусов!

Начинает делать, но, конечно, не так: заваливает сразу в крен, не увеличив скорости, и машина лезет вверх. Молчу. Пусть сам увидит.

Вираж сделан, и на высотомере стало на сто пятьдесят метров больше. Не видит, будто так и надо.

Делает правый вираж — еще сто пятьдесят! Опять не видит! Ладно, теперь пусть сделает штопор, чего тянуть?

Говорю в трубку:

— Сделайте левый штопор. Два витка. Выполняйте!

Жду. Никакой реакции. Самолет идет по горизонту, набирает высоту.

— Вы меня поняли, Баскаков? Левый штопор. Два витка!

Кивает головой: «Понял». И снова продолжает полет по прямой. Не решается. Страшно.

Внизу под нами виражит самолет. Мы вошли в чужую зону.

Начинаю терять терпение:

— Баскаков! Вернитесь в свою зону!

Зашевелился, посмотрел за борт, развернулся. Вот наша зона: озеро и хуторок. На приборе две тысячи шестьсот. Продолжает полет по прямой.

— Баскаков! Выполняйте задание: левый штопор, два витка!

Опять никакой реакции. Боится.

Я теряю терпение. Убираю мотор, гашу скорость до критической и резким движением левой ноги сваливаю машину в штопор.

Мне из задней кабины хорошо виден весь самолет. Вот он, перевернувшись через крыло, лег на лопатки и затем, круто опустив нос, сделал виток вокруг своей оси, пока что вялый, неопределенный. Второй — уже энергичный, и машина, словно живая, коротко вздыхает: а-ах! А-ах!

— Выводите!

Педаль ножного управления тотчас же сдвинулась вправо. А ручка? Ручка торчит под сиденьем. Держит, значит, у груди...

А машина, глотая высоту, отсчитывает витки устойчиво и резво.

Я хочу добиться, чтобы он переломил себя, свой страх и вывел бы сам.

— Выводите!

Никакой реакции. Правая педаль до отказа.

— Ручку! Ручку от себя!

А машина: а-ах! А-ах!

Хватаюсь сам. Не тут-то было: управление зажато. Намертво!

— Ручку-у! Отпусти ручку!

Не слышит... Страх коснулся моего затылка холодными пальцами. В долю секунды десяток вариантов, и все отметаются, как непригодные.

«Выпрыгнуть с парашютом? А как же он? Нет, не пойдет!..»

А машина крутит, крутит...

В отчаянии нагибаюсь, беру обеими руками ручку и что есть силы дергаю. Ручка подалась! Вращение мгновенно прекратилось.

Вывожу самолет из пикирования. Высота триста метров. Я весь как тряпочный...

Садимся, заруливаем. Подбегают ребята — Глущенко, Кравченко, Масляков, лица бледные-бледные.

— Что случилось, товарищ инструктор?

— Ничего! Все нормально. Откуда вы взяли? Садитесь, Глущенко, идите в зону в самостоятельный полет: два мелких, четыре глубоких, два боевых, штопор — два витка. Масляков! Садитесь в заднюю кабину, хотите?

Масляков делает кислую физиономию:

— А что поделаешь, товарищ инструктор, надо!

Маслякова до сих пор тошнит в полете, и мы с ним решили: надо закаляться. И он упорно летает, летает, и всякий раз его рвет. Жалко. Отличный летчик и парень замечательный.

Вылезаю, снимаю парашют, иду искать командира отряда.

Чулков стоит в отдалении, скрывая свое смущение за темными стеклами очков. Подхожу и вызывающе:

— Товарищ командир, может, вы слетаете с Баскаковым на штопор?

Ворчит миролюбиво:

— Ладно, ладно, не задирайся, видел. Отчислим уж...

Экзотика

Приказ пришел неожиданно. Из Москвы: «Начальнику школы. Вам надлежит выделить одного летчика на транспортную работу в Средней Азии...»

Переглянулись желающие сменить должность инструктора, призадумались: «Мы к тому климату непривычные. Жарко, скорпионов много и тарантулов. Подождем».

А я подумал: «Средняя Азия? Пауки? Скорпионы?

Тарантулы? Удивили! А экзотика восточная? А барханы? А верблюды с колокольчиками? Поеду!»

И поехал. Но не туда, куда просился, а куда послали...

И как ни тешил я себя в мыслях Средней Азией, как ни готовился к ней, все же поездка до места назначения произвела на меня удручающее впечатление. Безводные пустыни, раскаленные пески, бледное солнце в белесоватом небе, жара... Поезд, скрипя колесами, медленно тащился среди барханов, и кажется, нет им конца и края и никогда мы не доедем до станции.

В довершение всего началась пыльная буря. Горячий ветер с ревом проносился вдоль поезда, поднимая тучи пыли, песчаной завесой загородилось солнце. Разом померк день. За окном и в вагоне заметались вихри, и не было спасения от всюду проникающего песка. Он скрипел на зубах, забивался в легкие, толстым слоем оседал на вспотевшем лице.

И в душу мою вкралось сомнение: «А не ошибся ли я, дав согласие поехать в этот ад?»

Думая об этом, я сел в автобус, следующий до аэропорта, и с этими же мыслями постучался к командиру транспортного отряда. Мне ответили:

— Да-да, войдите!

Командир, пожилой сутуловатый мужчина, стоял у раскрытого настежь окна и смотрел на подруливавший к линейке большой четырехмоторный самолет. Мне видно было, как дежурный, пятясь, ловко дирижировал флажками, и летающая громада, рявкая моторами, тяжело ползла в указанное место.

Я видел летное поле, неровное, окруженное со всех сторон барханами. И ни одного деревца вокруг, ни одной травинки!

День клонился к концу. Солнце, большое и хмурое, бросая на барханы мрачный красноватый свет, медленно опускалось на холмы. Ветер, горячий, с раздражающим запахом железа и серы, врываясь в окно, раздувал пузырем белую шелковую занавеску. И снова тоскливое чувство зашевелилось в моей груди: «Здесь вот мне жить и работать. В этом пекле, в этой пустыне».

В памяти встали белые палатки на зеленом лугу, речка Елань, водяные лилии на ней, резвые всплески окуней и щурят, вышка для ныряния и прозрачная вода, сверху теплая, а внизу, у дна, — холодная как лед... И летное поле — зеленое-зеленое... Сеном пахнет. Ромашки цветут...

«Стоило менять?» — подумал я и кашлянул с досады.

Командир обернулся, медленным движением снял фуражку и, вынув из кармана платок, провел им по высокому морщинистому лбу.

— Извините, — сказал он, опускаясь на стул. — Совсем забыл о вас. Присаживайтесь.

И этот его усталый жест, и простое дружеское обращение, и ласковый оценивающий взгляд глубоко сидящих серых глаз смутили меня. Я покраснел и представился.

— Значит, к нам на работу? — спросил он. — Хорошо. А не боитесь? У нас ведь трудно.

Командир посмотрел на меня выжидательно.

Хотел похвастаться, что не пилот я какой-нибудь, только что закончивший школу, а инструктор, со стажем. Но вместо этого против воли вырвалось у меня:

— Трудно!

Похолодел я и потерял дар речи.

«Трус! — пронеслось у меня в голове. — Маменькин сыночек! Стыд-то какой! Приехал работать и вдруг...»

Но командиру мой ответ почему-то понравился. Откинулся он на стуле, улыбнулся приветливо.

— Правильно, молодец! Не люблю верхоглядства. В нашем деле нужна осторожность. Не что-нибудь возим — пассажиров. А пассажир, брат, у нас особенный. И полеты особенные. Будете пахать человеческую целину...

И направил меня командир в отдаленный район, в самое сердце пустыни.

— Идите, отдыхайте, — сказал он. — Завтра вас отвезут.

Гостиница для летчиков была пуста, и я один занимал трехместный номер на первом этаже.

Было душно. Не включая света, я открыл окно, но вместо ожидаемой прохлады в комнату ворвался жаркий воздух от барханов, которые сейчас, под лунным светом, казались доисторическими спящими животными.

Спать было еще рано. Я достал газету из кармана плаща, включил настольную лампу с надтреснутым зеленым абажуром и уселся читать. И тут же налетела мошкара и затолклась, затолклась в бестолковом хороводе. И какие-то жучки один за другим с просяным звоном сыпались с налета на зеленое стекло и падали мне на газету.

Прилетела бабочка, большая, толстобрюхая, и, рассыпая с крыльев серебристую пыльцу, принялась биться внутри абажура, и он зазвенел, как надтреснутый коло-

кол. Я поймал бабочку и выбросил в окно, но она тотчас же вернулась, ударилась, обожглась, упала на газету и, дробно барабаня крыльями, принялась кружиться на спине. Я поднялся, чтобы закрыть окно, и в это время — ширк! Что-то промелькнуло, как мышь, и я, чуть не вскрикнув от неожиданности, отпрянул в дальний угол комнаты. На газете, накрыв лохматыми лапами бабочку, сидел громадный паук...

Вот тебе и романтика! Вот тебе и экзотика!

Я слышал раньше о тарантулах и фалангах и еще о каракуртах, укус которых смертелен для человека, но никогда не видел их, и сейчас, трепеща от омерзения и страха, смотрел на эту чертовщину. А чертовщина, повернувшись на месте, чем-то клацнула два раза: хрусть-хрусть! — и на газету легли откусанные крылья.

Я осмотрелся: чем бы его прибить? Но прибить было нечем. Тогда, значит, надо его выбросить. Стряхнуть с газетного листа за окно, иначе я не усну!

Каждый нерв мой был напряжен до предела. Газета лежала чуть свесившись. Я подкрался и, осторожно взявшись за края, тряхнул листом. Паук вылетел вместе со своей жертвой, и я даже слышал, как он шлепнулся о кирпичный тротуар. В ту же секунду я с треском захлопнул створки окна и вытер ладонью холодный пот со лба.

Спал я плохо. И хотя перед тем, как ложиться, тщательно перетряхнул все постельное белье, в каждом шорохе мне мерещились пауки.

Ночью я проснулся от нестерпимой жары. Подушка мокрая от пота, простыня тоже. Тогда, плюнув на всех пауков на свете, я открыл окно, не принесшее мне, впрочем, никакой прохлады, взял простыню и вышел во двор, где за дощатой перегородкой была душевая. Вода теплая, но все равно приятно. Намочил простыню, отжал чуть-чуть, да так и улегся в постель, укрывшись мокрой простыней.

Было еще темно, когда меня разбудил рев авиационных моторов: техники готовили к рейсу самолет, и мне надо было вставать.

Все начинаю сначала

Громадный четырехмоторный самолет Г-2, трясясь от рева моторов и от жестких бросков воздушных волн, летел над пустыней. Не летел, а как-то прыгал, словно те-

лега по выбитой булыжной мостовой. И оттого, что в фюзеляже не было иллюминаторов и никаких удобств для пассажиров, полет совсем не походил на полет. Пассажиры располагались где как придется: на полу, в развилках могучих металлических распорок, подпорок, лонжеронов, стрингеров и даже внутри толстопрофильных крыльев. Многих, особенно женщин, укачивало, и они, глядя друг на друга, «входили в солидарность». Но все равно это были счастливые люди: им достался билет, и они, пусть ценой таких вот страданий, преодолев Каракумы, через три часа будут дома.

Прилетели. Узловой аэропорт. Отсюда мне еще надо добираться самолетом местных линий. Прилетел С-2, тот же У-2, только в три кабины: летчик и сзади два пассажира.

И вот я на месте. Иду с чемоданом. Это все мои пожитки. А что еще надо двадцатитрехлетнему человеку? Я прибыл работать, только и всего, а все остальное приложится!

Командир летного подразделения Заэрко, белокурый, молодой, дает мне провозные на П-5 по аэропортам и запасным площадкам. Заэрко пилотирует, а я сижу в задней кабине в обнимку с пассажиром. Мы везем почту, какие-то ящики для разведчиков-нефтяников и мотки электропровода, уложенные в грузовые кассеты, что висят под крыльями. Кассеты похожи на торпеды и придают самолету солидный вид.

Погода отличная, и я веду по карте ориентировку. С юга на северо-запад течет Амударья. Слева — пустыня Каракум, что значит — черные пески, справа — Кызылкумы — красные пески, и по пустыням, как волны морские, — барханы. Смотрю на них с душевным трепетом. Да-а, здесь вся надежда только на мотор: откажет — труба, садиться негде. Это тебе не матушка Россия с ровными просторами полей! Экзотика!

Жизнь гнездится только возле реки: небольшие городишки с глинобитными домами, кишлаки. Каналы в пустыню впиваются, виноградники зеленеют, хлопковые поля.

Разыскали затерянный в песках городишко, сели. Я вылез из кабины, осмотрелся.

Аэродром широкий, с песчаными заносами. Сбоку — развалины древней крепости, вдали сквозь пыльную дымку город просвечивается с небелеными древними стенами, с плоскими крышами. Под ногами колючка верблю-

жья хрустит, над головой, в древнем небе, — солнце древнее висит. Только самолет не древний, двадцатого века. Ворвался в дремотную Азию, стоит, крутит винтом, мотором чавкает.

Вижу: начальник порта пассажира ведет — старика дряхлого, с жиденькой белой бородкой. В руках старика узелок. Из узелка ичиги с калошами новыми выглядывают. Два рослых молодых каракалпака его провожают, сыновья, наверное. Все трое в шапках-малахаях. Идут, жмутся друг к другу, на мотор с опаской поглядывают.

— Шайтан! — говорит старик. — Джинн! — и в страхе жмурит глаза.

Начальник смеется:

— Это, отец, не злой, это добрый джинн. Садись, он отвезет тебя, куда захочешь!

Стал я усаживать пассажира, гляжу, а он босой! Ноги черные-черные, как головешки. Пятки в порезах и трещинах, а на подошве кожа — толщиной в палец... Стоит босая нога на борту самолета! Дичь! Несуразица! Современная техника с древностью встретилась.

И тут я вспомнил слова командира: «Будете пахать человеческую целину». Не понял я тогда, какую такую «человеческую»? А сейчас будто светом озарило. Подумал: «Тут мое призвание — целину пахать, древнюю Азию от спячки поднимать...»

И сам не знаю отчего, защекотало у меня в носу и в груди сладко сделалось. Сел я рядом с пассажиром, обнял его, похлопал ладонью по спине. Дрогнули у старика губы, глаза изумленно раскрылись. Вздохнул, открыл беззубый рот, сказал глухо, с трудом подбирая русские слова:

— Сапасиба... таварич!

Отвезли мы старика, куда ему надо было, сдали груз, приняли почту, полетели дальше.

Вообще-то, конечно, мне надо было бы сделать на каждом аэродроме по две, по три посадки — пристреляться, приловчиться, да самолет был сильно загружен, а разгружать его всякий раз у нас не хватало времени.

— Да чего тебе тут посадки-то делать? — сказал мне Заэрко. — Насажался небось в школе-то, пока инструкторил?

— Да это верно, конечно, — согласился я, — посадок у меня много, но все-таки...

Заэрко взглянул на часы:

— Времени в обрез, полетели! Вот сейчас будет аэродром так аэродром. Цирк!

Летим на север. Я тщательно сверяю карту с местностью, стараясь запомнить характерные ориентиры, но они невыразительны. Амударья вильнула влево и скрылась в запыленной дали песков. Летим над Кызылкумами. Старик не выходит у меня из головы, и я смотрю теперь на пустыню с уважением и впитываю, впитываю романтические названия больших и малых населенных пунктов: Чимбай, Куня-Ургенч, Ташауз, Кыз-Кеткен, Ходжейли...

Азия. Древняя-древняя Азия. Таинственная. Загадочная. Неоткрытая.

Пески кончаются. Под нами оазис с сетью оросительных каналов и снова пустынная местность, только уже зеленого цвета густых камышовых джунглей, через которые зловеще просвечивается вода. Необъятное пространство воды — дельта могучей и своенравной Амударьи. Тут еще пострашнее, чем в пустыне. Откажет мотор — сгинешь, как иголка в стоге сена, и не выберешься никогда...

Нас обдает прохладным влажным воздухом, пахнувшим водой, рыбой и гниющими водорослями. Горизонт сразу прочищается от пыли, становится четким, с синеватой полоской появившегося вдали моря. Внизу — свободные от растительности пространства воды забиты птицей: утки, гуси, пеликаны, длинноногие фламинго...

Аэродром действительно «цирк». Узкая песчаная полоска, ограниченная дамбой, высокой стеной камыша, барханами и пенистым морским накатом.

Садились через дамбу, возле которой стояли группой несколько войлочных юрт. Думал, заденем колесами. Нет, ничего, миновали.

И тут я понял, что мне, инструктору «со стажем», нужно забыть, что у меня за плечами опыт. Нет у меня никакого опыта! Летали мы в тепличных условиях, только при отличной погоде и на шикарнейших аэродромах, на которых при посадке можно и промазывать и недомазывать хоть на целый километр. Испортилась погода — командир закрывает полеты. Улучшилась — открывает. Все берет на себя. А ты ни за что не отвечаешь и поэтому ни в какие сложные ситуации не попадаешь. Командир за тебя все обдумает, все решит. Здесь же летчик сам командир, и все задачи решать ему самому, и

притом надо решать быстро и точно, иначе допущенная ошибка может быть последней.

Да, мне пришлось начинать все сначала. Здесь я еще ничего не знал, ничего не умел...

Первый самостоятельный

Сколько у летчиков бывает первых самостоятельных полетов? Много. И каждый первый, как первая любовь, с волнением, с ошибками, с разочарованиями и с переживаниями...

Лечу один. В свой первый. Познаю. Пространство. Время. Обстановку. Я настороженн и ко всему отношусь с недоверием. Земля враждебно смотрит на меня вздыбленными волнами барханов или густой сетью оросительных каналов. Приглядываюсь, прислушиваюсь, как работает мотор и нет ли каких «симптомов». Замолкнет, тут тебе и конец, садиться некуда...

Неожиданно появились облачка. Так, не облачка — намек. Щепотки ваты тут, там и, главное, ниже меня. Что делать? Снизиться? Боязно, все-таки первый раз лечу, на малой высоте трудно вести ориентировку, можно и проскочить аэродром. А машина тащит меня, тащит. Облачка гуще, и от них — тень по земле. Неуютно.

Вспомнил: начальник аэропорта, выдавая мне сопроводительные документы, сказал: «В Кыз-Кеткене ясно. Жми!»

Жму. Над облаками. Земля скрылась совсем. Ругаю себя на чем свет стоит за нерешительность. Нужно было бы сразу идти низом. А сейчас пробиваться к земле опасно, мала высота. Как поступить? Возвращаться? На срамотищу? Пилот-инструктор! Со стажем!..

А самолет несет меня, несет, вместе с моими переживаниями. И облака вдруг кончились. Как ножом обрезало! Облегченно вздыхаю, хватаюсь за карту, восстанавливаю ориентировку. Все в порядке!

Первая посадка. Аэродром громадный и какой-то неуютный, с песчаными заносами. Развалины крепости, мрачные в своем одиночестве. Небольшое зданьице аэропорта. Полосатый конус на шесте надулся, значит, ветерок приличный. Лежит посадочное «Т», флажок торчит, трепещет на ветру. Делаю круг, рассчитываю, сажусь, подруливаю. Мотор не выключаю: небольшой мешок с почтой у меня в кабине. Отдаю его начальнику порта, принимаю взамен другой. Обмениваюсь документами.

В заднюю кабину садится пассажир в высоких охотничьих сапогах, с ружьем, с патронташем и сумкой. На голове кепочка, надетая козырьком назад, видно, бывалый летун. Сел, пристегнулся. Все, можно отправляться!

Взлетаю, устанавливаю курс. Небо чистое, но дымка, видимость неважная, только вертикально вниз. Начинаю беспокоиться: аэродром, на который мне сейчас садиться, очень трудно найти, вся местность вдоль и поперек изрезана следами древних оросительных каналов, запаханных, засеянных, укатанных, но упорно не желающих сойти с лица земли, и аэродром совсем не похож на аэродром, исчерканный, искромсанный. Самолет повис в какой-то пыльной мути, и это осложнило полет: горизонт не виден, нужно вести машину по приборам и в то же время надо смотреть на землю.

И начинает мне казаться... Оторвешься взглядом от приборов, чтобы посмотреть на землю, тут же: «гва-гва-гва!» — загавкал мотор, и у тебя в голове чувство опьянения. Значит, склоняясь к борту, ты чуть-чуть, на какой-то миллиметр, потянул ручку управления за собой, и вот изменился режим полета. Незначительно изменился. Но был бы виден горизонт, ты сразу бы тогда определил эту незначительность и автоматически ввел бы поправку, игнорируя ощущения. А так — взглянешь на крыло, и кажется тебе, что машина заваливает вправо. Ты тотчас же инстинктивно кидаешься исправлять положение, только мысленно кидаешься, потому что у тебя уже опытом тренировочных полетов выработан фактор торможения. Но все равно рука незаметно дрогнет и еще чуть-чуть потянет ручку влево. И вот уже кажется опять, что машина совсем завалилась, вот-вот опрокинется. Но возьмешь себя в руки, посмотришь на приборы — все нормально, только компас показывает, что ты уклонился влево. Исправил, придержал, установил чуткую стрелку на нужном делении. Ну, а кто будет за борт смотреть, искать этот чертов аэродром, замаскированный под местность?

И все-таки самолет подтащил меня к аэродрому! Расчетное время полета подходило к концу, и я уже порядком перенервничал, рисуя себе мрачные картины постыдного возврата («Не нашел, товарищ командир!»), как вдруг увидел прямо перед собой лежащее на сером фоне клеверного поля посадочное «Т».

Тут у меня и гора с плеч, и я уже в своих глазах умница-разумница. Быстро снижаюсь, иду на посадку.

А на конус-то не посмотрел, силу ветра не определил и рассчитал по обстановке предыдущего аэродрома, где дул хороший ветерок. А здесь был штиль, и я промазал. Срамотища! Если б немного и — в арык!

Тут уж мне действительно повезло по-настоящему, и урок я получил хороший. Сгорая от стыда перед пассажиром и начальником порта, сдал почту, принял еще одного пассажира, тоже с ружьем, и полетел туда, где «цирк».

Сел хорошо. Через дамбу. Пассажиры сказали мне спасибо и закинули сумки через плечо, а я спросил у них, показывая на патронташи, в которых торчали патроны, заряженные пулями:

— Это на кого же такие?

— На кабана, на тигра, — как-то буднично ответили охотники.

— Как-как? — озадаченно переспросил я. — На тигра? А где же они здесь, тигры-то, в камышах, что ли?

— Ого! — сказали охотники. — Сколько хотите. И именно в камышах. Тут же островков полно, а на них — кабаны. Ну, а тигру это блюдо! Вот обратно полетим — покажем.

Тигры! Я с почтением посмотрел на высокую стену камышей, тут и там прорезанную извилистыми протоками, и подумал, что мне, пожалуй, повезло работать здесь. Романтики хоть отбавляй, экзотики тоже. А к паукам и скорпионам еще прибавились и тигры. И кабаны. И розовые пеликаны, и грациозные фламинго, и миллионы разных птиц. А пустыни? Что хранят в себе пустыни? Какие открытия мне еще предстоят?

Домой я вез четырех пассажиров. И мне уже приятно было видеть и узнавать знакомые ориентиры. Они, как друзья, появлялись из дымчатого горизонта и говорили: «Я тут! Ты правильно идешь, до дома столько-то минут полета», — и уплывали под крыло, чтобы завтра снова приветствовать тебя.

И с каждым днем таких друзей у меня становилось все больше и больше. Если в первых своих полетах я замечал только что-то крупное, объемное — характерный изгиб реки, утес, развалины древней крепости или отроги гор, то потом, прижатый плохой погодой, вынырнув из облаков, мог по цвету песка безошибочно определить, над какой пустыней лечу, и сразу же сказать, где Амударья, с правой или с левой стороны, выйти к реке и по ней в любую погоду прийти домой.

И наверное, нет на всей земле такой своенравной реки-путешественницы, как Амударья. Она стремительно несет свои мутные клокочущие воды, с остервенением вгрызаясь в берега. Биография ее сложна и запутанна. То она поит Арал, то Каспийское море, а то снова Арал. Она может так себе, шутя, за несколько часов, вдруг намыть посередине остров или перекинуть русло. По ее груди ползают, шлепая колесами, буксиры-каюки, таща за собой плоскодонные баржи. Когда по течению, так это хорошо, а если против? Заглохнет мотор, значит, надо приставать к берегу. Пристанут, что же делать? А утром, смотрят — нет реки, кругом песок... И потом, чтобы выйти к воде, приходится копать каналы.

Кто кого напугал?

Больше всего я любил летать к Аральскому морю. Туда, где «цирк», особенно летом, когда жарко. Если смотреть на устье реки с высоты трех тысяч метров, то после унылого вида песков Каракумов и Кызылкумов дельта ее представляется сказочно красивой. Здесь и воздух прозрачен, и краски ярче. До самого горизонта простираются темно-зеленые массивы камышовых джунглей. Вдали, в обрамлении яркой зелени, голубеет спокойное зеркало Аральского моря, искристая поверхность которого, сливаясь с небом, теряется в золотистых лучах солнца. В освежающей прохладе едва ощущаются запахи воды и водорослей.

Если же лететь над дельтой бреющим полетом, то будет видно только сплошное море камышей да поблескивающая среди них вода. Лишь кое-где встретятся небольшие островки, заросшие кустарником, и плавни из многолетних наслоений отмершей растительности. Горячий влажный воздух кажется здесь вязким от густых запахов рыб и гниющих камышей. Встречающиеся временами чистые пространства воды почти всегда заполнены дичью: утками, гусями, пеликанами. Поэтому полеты на малой высоте, особенно весной, сопряжены здесь с некоторой опасностью: можно столкнуться в воздухе со стаей птиц и потерпеть аварию.

Прижатые низкой облачностью, мы летели на маленьком самолете С-2 над самыми макушками камышей. Беспокоясь и думая о встрече с птицами, я напряженно всматривался вперед, готовый в любую секунду увернуться, избежать столкновения.

Неожиданно меня затормошили за плечо. Я вздрогнул и обернулся. Сидевший сзади меня пассажир-каракалпак что-то кричал мне, показывая вниз рукой. Я посмотрел, но ничего особенного не увидел. Тогда пассажир, рискуя вывалиться из кабины, поднялся с сиденья и, наклонившись ко мне, крикнул:

— Шерхан!

Наверное, у меня было изумленное лицо, потому что пассажир рассмеялся и опять, показав назад рукой, повторил:

— Шерхан! Тигр!

Увидеть тигра на воле не каждому удается. Я круто развернул самолет и взял обратный курс. Пассажир, держась руками за борта, почти лежал у моего плеча.

— Вот он! Вот он!

Я не видел никакого тигра, но сейчас же поспешил поставить самолет в вираж. Описывая круг с глубоким креном, летали мы над небольшим зеленым островком, окруженным стеной камыша.

Нет, ничего не видно! Наверное, пассажир ошибся. Но он, протягивая руку, упорно показывал на землю:

— Да вот же он! Вот!

Меня брала досада. Не мог же я кружиться без конца! И упустить возможность увидеть тигра тоже было жалко. И я кружился, кружился, всматриваясь вниз. Нет, не вижу ничего!

Островок в поперечнике метров сто, выпирал из воды бородавкой, вокруг — камышовые джунгли. По островку тут и там растут кустарники, все остальное покрыто травой. Ну все-все осмотрел, а где же тигр? Где?

Время от времени я оборачиваюсь к пассажиру и читаю у него в глазах удивление.

— Ну вот же, вот!!!

Черт его подери, этого тигра и меня вместе с ним, слепого идиота! Да вот он! Лежит, распластавшись в траве, и лупит себя хвостом по бокам. И увидел я его только потому, что, разозлившись, полоснул он когтями по траве и содрал зеленый покров, и показалась земля, а потом стал виден и тигр.

Меня немного удивило, что он не убежал. И задело. Как это так? Дикое животное и шумящий, рычащий самолет. Должен же он испугаться! А он еще и злится, нервически дергает хвостом, царапает когтями землю.

«Ну,— думаю, — погоди ж ты у меня! Сейчас я тебя напугаю так, что под тобой будет лужа!»

Захожу на него спереди, пикирую. Высота небольшая, времени для размышлений мало, для наблюдений тоже, но все же я успел заметить, как тигр, вместо того, чтобы бежать, подобрал под себя задние ноги, и у меня где-то в подсознании, электрической искрой пролетела тревога. Это меня и спасло, потому что я приготовился. В момент, когда мы сблизились, навстречу мне взметнулась разъяренная оскаленная пасть. В долю секунды я успел выхватить машину из пике. Мимо, совсем рядом с крылом, обдав меня громоподобным ревом, пронеслось клыкастое чудище...

Я выровнял машину и, не оглядываясь, полетел туда, где «цирк». Я был потрясен, потому что осознал, какой опасности подвергал своими необдуманными действиями пассажира, себя и самолет. Да и кто мог подумать, что дикое животное окажется таким решительным? Запоздай я на долю секунды, и все было бы кончено...

Прилетел, сел.

Начальник порта Михаил Ильин поглядел на меня с тревогой:

— Что с тобой? Да на тебе лица нет, бледный весь и трясешься. Что-нибудь случилось?

Я вяло махнул рукой:

— Да нет, ничего особенного. Напугал я тут одного товарища тигра. Дай-ка воды попить...

Особенный случай

В порту стоял на приколе совершенно новый самолетик пассажирского типа АИР-6. Верхнее расположение крыла, уютная кабина: впереди — кресло пилота, позади — диванчик для двух пассажиров. Шелковые занавески на окнах. На борту надпись: «Наркомздрав».

Стоит самолет под чехлами, не летает.

— Почему?

Техник Джумат Балтабаев объясняет:

— Самолет пригнали Наркомздраву Каракалпакии, а летчика нет.

— Как это нет, а мы?

— Мы — это другая система. Аэрофлот сам по себе, Наркомздрав тоже...

Самолет меня заинтересовал. Сплю и во сне вижу, как я на нем по вызову летаю с врачами, с хирургами. Ведь это же тебе не почту привезти или моток проволоки,

а спасти человеческую жизнь! Тут твоя нужность увеличится до беспредельности.

И как-то в свободный день я пошел в Наркомздрав.

Принял меня сам нарком, высокий крупный мужчина с открытым умным лицом. Обрадовался, когда узнал, с каким вопросом я к нему пришел. И мы договорились, что через правительство республики нарком будет просить меня в аренду, хоть на год. Просьба была удовлетворена, и я, получив полную свободу в действиях, временно вышел из подчинения Аэрофлота. А это значило, что я мог летать, куда хотел, когда хотел, на свой риск и страх выбирая площадки. Это меня устраивало вполне: что может быть лучше такой самостоятельности? И если вести себя с умом, то в этих полетах можно получить хорошую закалку.

И я стал летать, чаще всего с хирургом Халмуратовым. Это был талантливый хирург. Местный уроженец, каракалпак, добрейший человек, для которого его профессия была призванием души и сердца. Мы сдружились с ним.

Но длительная стоянка самолета отрицательно сказалась на моторе, он стал употреблять масла больше нормы, значит, надо ремонтировать мотор. А где? Только в Ташкенте. В тех самых мастерских, в которых я учился и работал сборщиком.

И стал я готовиться к полету, но погода испортилась. Горизонт потускнел, затянулся туманной дымкой. Холодный порывистый ветер гнал с севера низкие облака. Изредка с громким шелестом сыпалась в сухую траву снежная крупа. Термометр на стойке самолета показывал плюс три. Самая скверная температура. Куда уж лететь! Залезешь в облака и сразу же обледенеешь. А что может быть хуже обледенения?

Я зачехлил машину и только было отправился домой, как открылась форточка в пилотской комнате и летчик Куренной крикнул громко, не скрывая издевки:

— Борька! Собирайся, твой друг приехал. Ха!

Форточка с треском захлопнулась. Я тупо уставился на лежавшую в траве консервную банку с помятыми боками. Утром, греясь, ребята гоняли ее вместо футбольного мяча. Сейчас крупа выбивала на ней барабанную дробь. Да-а-а, погодка!

— Борис-ака!

Я обернулся. Ну, конечно, это он, Халмуратов. Одет по-дорожному: в порыжевшем от времени драповом паль-

то и в шапке-ушанке. В правой руке чемоданчик с хирургическим инструментом, в левой — бланк телеграфного вызова: «Срочно! Кегейли. Требуется немедленная хирургическая помощь...»

— Борис-ака, здравствуйте! Как ваше здоровье? Как погода? Как самолет?

Вот он всегда так: «Борис-ака, Борис-ака!» Почему «ака»? Ака — это старший брат. А какой я старший, если ему за тридцать, а мне всего двадцать три?

Но я польщен. Уж столько почтения и ласки в этом слове «ака»!

— Здоровье хорошее, спасибо, Уразмет-ака, — в тон ему отвечаю я. — Погода, сами видите, плохая, и самолет не в лучшем состоянии: «гипотония».

— Что означает — мало давление?

— Да. Масла.

— Так, так, понимаю. — Халмуратов хмурит густые брови. Черные глаза его светятся лукавством, а угловатые черты лица — добротой. — Это значит большой расход масла?

— Вот именно, большой. Жрет проклятый мотор свыше всякой нормы. Вот, хотел лететь в Ташкент ремонтировать...

— Да, да, да,— говорит Халмуратов и, осторожно обходя меня, направляется к самолету.— Плохо дело, совсем плохо. Тысяча километров через пустыни, через горные ущелья, и на таком моторе! Совсем далеко! Однако в Кегейли ближе. Много ближе. Полетим, а?

Он уже открыл дверцу кабины, осторожно положил на сиденье чемоданчик и, обернувшись, посмотрел на меня с добродушной усмешкой.

Я разозлился. Вот хитрый лис! Всегда так: начнет уговаривать и уговорит! Нет уж, хватит испытывать судьбу! Пусть медведь летит в такую погоду, а мне еще жить хочется. Никуда мы сегодня не полетим!

— Лететь надо! — словно угадав мои мысли, мягко сказал Халмуратов. — Понимаете, Борис-ака, случай-то какой,— он щелкнул пальцами,— особенный.

— У вас, Уразмет, все случаи особенные, — взглянув на клочкастые облака, проворчал я. — Извините меня, Халмуратов, но мы не полетим. Вы же видите, какая погода!

— Вижу, дорогой, вижу. — Он подошел ко мне, обнял за плечи. — Борис-ака, Борис-ака! Не притворяйтесь злым человеком! Вы же знаете, от нашего полета зависит

жизнь человека. Понимаете, — жизнь! А погода... — Он посмотрел на облака. — Да что вам, в первый раз, что ли? Борис-ака!

Снова открылась форточка, и тот же Куренной прокричал:

— Борька! Не поддавайся агитации! Погода дрянь. Нас не пускают, и мы идем домой!

— Вот видите, не пускают! — засмеялся Халмуратов. — Значит, мы полетим. Уж я-то вас знаю.

Вышел Заэрко, посмотрел на облака, ткнул носком ботинка кем-то брошенную коробку от папирос.

— Не советую, Борис. А то знаешь — «повадился кувшин...» — и пошел вслед за пилотами, которые с поднятыми воротниками черных прорезиненных курток цепочкой шагали по направлению к городу.

Тут меня совсем злость взяла: не к лицу командиру такие слова говорить, хоть я ему и не подчинен!

Летчики ушли, и я знал, они уверены — я полечу. А мне страшно. А ну, как закроет все туманом? И порт закроет, что тогда? Нельзя лететь! И не лететь нельзя.

Мне представился больной. Хлопкороб или животновод. Лежит, стонет. На Советскую власть надеется, помощи ждет. А помощь от меня зависит...

Огляделся я. Все вокруг затянуло снежной пеленой. Словно дразня и напоминая лишний раз о нелетной погоде, уныло звенела банка с помятыми боками. Снежная крупа, ударяясь о жесть, отскакивала в сторону и с тихим шелестом ложилась в траву. Я поддал банку ногой:

— А, черт с ней, с погодой! Полетим, Халмуратов!

И мы полетели.

Сразу же за городом облака прижали нас до самой земли. Густо сыпалась крупа, исчез горизонт, и все стало каким-то призрачным, неясным, будто художник на белом сетчатом фоне нарисовал небрежно голые тополя, округлые кроны карагачей, которые внезапно выныривали перед самолетом, преувеличенно большие и грозные.

Кегейли мы нашли с великим трудом. Низина, где стоял кишлак, была затянута густым туманом. Мы сели наугад на узкой полосе, засеянной клевером. Самолет катился долго, очевидно, под уклон, и остановился лишь тогда, когда заехал колесом в какую-то канавку.

Я выключил мотор.

— Хвала аллаху! — шутливо сказал Халмуратов.

Я чувствовал себя разбитым. Кажется, и Халмуратов тоже. А ведь ему еще работать...

Мы вылезли из кабины. Молочно-белый туман оседал на бровях и ресницах мелкими капельками. Остывая, потрескивал мотор, и где-то тихо журчала вода.

Халмуратов прислушался.

— Кажется, едет всадник,— сказал он.

И тут же защелестела земля под копытами, звякнули удила, пахнуло острым запахом конского пота, и из густого тумана показалась сивая от влаги морда лошади, а за ней — большая приплюснутая шапка из черной овчины.

— Аэропланчи-шофер? — обрадованно воскликнул всадник. — Аман-сиз ба! — и ловко спрыгнул с седла.

Это был юноша лет девятнадцати, с большими карими глазами и тонкими, как у девушки, чертами лица. Одет он был по-городскому: в темно-синий пиджак и такие же брюки, заправленные в ичиги.

Бросив повод на шею коню, юноша, подавая жесткую прямую ладонь, почтительно поздоровался с нами и, обращаясь ко мне, так быстро заговорил по-каракалпакски, что я ничего не разобрал. Халмуратов улыбнулся и вступил в разговор. Юноша, услышав родную речь, удовлетворенно закивал головой, ловким движением подхватил свисавший с гривы коня повод и протянул его Халмуратову.

Уразмет перевел:

— Кегейли близко, всего в километре. Этот юноша — Керим — приехал за нами. Он предлагает нам свою лошадь. Сам пойдет пешком.

Я оглянулся на самолет. Невесть откуда взявшаяся комолая корова с треугольным амулетом на шее, удивленно выкатив глаза, настороженно обнюхивала колесо.

— Кош! Кош! — закричал я, отгоняя любопытное животное. — Нет, Халмуратов, поезжайте один, а я покараулю самолет. Желаю удачи!

Посланцы аллаха

Они уехали, а я полез проверять масляный бачок. Осмотр не утешил меня: треть бака была выработана. Впрочем, я не очень беспокоился: на обратную дорогу хватит.

Скоро на двуколке приехал Керим и с ним старик в овчинной шубе и в лохматой папахе. Ослепительно улыб-

нувшись, Керим подал мне записку от Халмуратова с просьбой, оставив самолет на попечение старика, приехать в больницу. «Приезжайте, пожалуйста, — писал он, — очень нужно».

Я поехал. Рыжий конь, наклоняясь на ходу и пофыркивая, ретиво стучал копытами по узкой проселочной дороге, бегущей вдоль опустевших хлопковых полей.

Подул ветерок. Туман закрутился и стал разбегаться клочьями, оставляя за собой светлые блики солнечных лучей.

Керим, дернув вожжами, поглядел на небо, ярко голубеющее сквозь облака, засмеялся радостно, сказал:

— Жаксы! Все жаксы! — Показал на поля: — Это жаксы! — Показал на проглянувшее солнце: — И это жаксы! — Стукнул себя ладонью по груди: — Здесь тоже жаксы! — Потом, подумав немного, очевидно, подбирая слова, кивнул головой: — Халмуратов-ака жаксы! Аэропланчи-шофер жаксы! — Подумал еще немного, видно, трудно ему доставались русские слова, вскинул голову, улыбнулся, сказал: — Советский власть жаксы! — И, внезапно вспомнив что-то, насупил брови, сжал губы в тонкую полоску. — Мулла жаман! — вдруг сказал он и сплюнул на дорогу. — Жуда жаман мулла! — и снова сплюнул.

Конь, фыркнув, осторожно перетащил коляску через арык с мутной илистой водой, взобрался на бугор и, звонко пожевывая удила, остановился возле коновязи, где уже стояло несколько запряженных в арбы лошадей и два-три оседланных ишака. Невдалеке сквозь длинный ряд молодых пирамидальных тополей с соломенными шапками воробьиных гнезд проглядывали кирпичные стены больницы.

Я встретил Халмуратова в коридоре. Он вышел из операционной в белом халате и шапочке. Прикрывая за собой дверь, из-за которой слышался плач новорожденного, сказал, довольно потирая руки:

— Спасибо тебе, Борис-ака. Ты спас две человеческие жизни! — И посмотрел на меня каким-то оценивающим взглядом, будто ожидал, как я отнесусь к этой похвале.

Я смотрел на Уразмета: куда он гнет?

Халмуратов, шагая рядом, положил мне руку на плечо.

— Ну, ладно, ладно, дружище, не сердитесь. Я не хотел вас обидеть. Конечно, ни вы, ни я, ни аллах, а как сказал комсомолец Керим...

— Советская власть? — перебил я его.

— Вон как! Он с вами тоже делился своими чувствами?
— Тоже.
— И про Гульзиру говорил?
— А кто такая Гульзира?
— Возлюбленная Керима и дочь муллы. Но мулла продал ее за большой калым богатею-старику. И вот Керим страдает.
Халмуратов грустно улыбнулся, открыл дверь в ярко освещенный солнцем кабинет главврача и пропустил меня вперед.
— Сейчас вы будете ругаться, — сказал он, развязывая тесемки халата. — Сейчас, как это говорится по-русски, мне нагорит за милую душу.
Уже догадавшись, в чем дело, я, опускаясь на стул, скользнул взглядом по вороху бумаг, лежавших на столе. Ну, конечно! Вон телефонограмма: «Кегейли, Халмуратову. Срочно», и название какого-то неизвестного мне кишлака. А далеко ли отсюда этот кишлак и в какую сторону. Если по пути, на юг, то ничего страшного, а если на север, тогда не хватит масла на обратный путь. Тогда садись где попало и... Посмотреть бы по карте, да планшет в самолете остался.
— Где это?— без обиняков спросил я.
Халмуратов застыл с удивленным лицом. Халат, соскользнув с плеч, упал на ковровую дорожку.
— Что — где?
— Да этот вот кишлак?
— А-а-а, кишла-ак? — засуетился Халмуратов, поднимая халат и бросая его на спинку стула. — Урга? Да здесь вот, недалеко... Возле Кунграда. Немножко... с той стороны.
— На север, значит?
Вид у Халмуратова был растерянный.
— Да, на север... Понимаете, случай такой...
Я щелкнул пальцами:
— Особенный?
Халмуратов рассмеялся:
— Да, особенный! Вот именно — особенный! — Склонил голову, посмотрел на меня умоляюще: — Борис-ака!
Ну, как ему отказать! И сам понимаю — надо. Но масло. Масло!
Халмуратов смотрит на меня в упор. Я различаю в его глазах сочувствие и просьбу.
— Ну что, позвонить, чтобы встречали?

— Звоните, что уж тут поделаешь?

На улице у подъезда толпился народ: мужчины, женщины, дети. Когда мы вышли, все моментально притихли и почтительно расступились, давая нам дорогу. Стоявшие возле самого крыльца две старые каракалпачки, увидев нас, приложили руки к груди, принялись шептаться.

Халмуратов сказал мне тихо:

— Вы знаете, что говорят люди в кишлаке? Они говорят, что мы — боги. Что мы посланцы аллаха. Это им изрек сам мулла! Будто мы его молитвами спустились с неба из облаков, чтобы вылечить больную Аджурат. Ах, мулла, мулла, хитрый мулла! Я знаю его. Ему семьдесят лет, и он ненавидит Советскую власть. А вот и Керим! Керим, почему ты такой сердитый?

И повторил свой вопрос на родном языке.

Керим и впрямь был сердитый. Щеки его пылали, глаза выражали негодование. Садясь на передок двуколки, он разразился длинной и пылкой речью, в которой часто слышались слова: «Мулла жаман! Жуда жаман!» (Мулла плохой! Очень плохой!)

Подъезжая к площадке, мы увидели такую картину: старый каракалпак, что остался сторожить машину, расстелив на пригорке шубу и прикрыв шапкой глаза, безмятежно спал. Рядом, глядя в нашу сторону, стоял оседланный конь, а у самолета, то и дело подлезая под шасси, сновала молодая каракалпачка в ярком шелковом халате, шароварах и красных сафьяновых сапожках на высоких каблуках.

Я забеспокоился:

— Смотрите, смотрите, что она делает?

Керим натянул вожжи и, приподнявшись на передке, так посмотрел на девушку, что мне все стало ясно. Это была Гульзира.

— Сейчас узнаем,— вылезая вслед за мной из коляски, сказал Халмуратов и направился к девушке, которая как ни в чем ни бывало, продолжала раз за разом подныривать под самолет.

Движения у девушки были удивительно четки и грациозны, словно у балерины.

— Эй, женщина, что ты здесь делаешь? — спросил Халмуратов.

Гульзира что-то ответила и, поднырнув еще два раза, остановилась поодаль, скользнула по Халмуратову почтительным взглядом и опустила голову. Я подошел бли-

же. Халмуратов еще что-то спросил. Она ответила, бросая куда-то через меня из-под длинных ресниц любопытные взгляды больших, чуть косо поставленных миндалевидных глаз. На вид ей можно было дать лет пятнадцать, не больше. Она стояла, опустив загорелые, погрубевшие от работы руки, и мелкими белыми зубами прикусывала пухлые губы.

— Это Гульзира, — шепнул мне Халмуратов. — И у нее нет детей. Мулла сказал ей: «Сходи, к священному аэроплану, на котором спустились посланники аллаха, подлезь девять раз под самолет, и у тебя будут дети». И вот, Борис-ака, — Халмуратов улыбнулся, — она пришла лечиться!

Он поманил каракалпачку пальцем и, когда она подошла, шепнул ей что-то на ухо. Каракалпачка вздрогнула, подняла голову, взглянула на Керима и, резко повернувшись, побежала к коню. Схватила уздечку, обернулась еще раз, посмотрела пристально и, как мне показалось, печально на нашего возницу, ловко вскочила в седло. Вышитая золотом тюбетейка блеснула на солнце и скрылась за холмом. Керим, приподнявшись в коляске, долго смотрел ей вслед, потом вздохнул и тронул лошадь вожжами.

Барса-Кельмес

Мы очень устали в этот день. И сейчас, развалившись на вязанках камыша, с наслаждением смотрели в глубокое звездное небо. Рядом, полыхая желто-красными языками пламени, трещал костер. Оранжевые блики выхватывали из мрака то округлый бок кибитки, то кучку спящих баранов, то дремавшую лошадь. Иногда торжественная тишина ночи нарушалась пронзительными выкриками ночных птиц с реки или разноголосым жалобным плачем шакалов со стороны песчаных барханов.

Очень хотелось спать. Но на костре закипал чайник, и я, боясь обидеть хозяина — древнего старика-каракалпака, пожелавшего угостить нас чаем, прикладывал большие усилия, чтобы не уснуть.

Хлопотавший у костра старик разговаривал с Уразметом по-каракалпакски. Молодой животновод — правнук нашего хозяина — имел неудачную встречу с тигром в плавнях Амударьи, и, не прилети мы вовремя, дело кончилось бы плохо. Сейчас, после операции, старик не знал, чем отблагодарить людей, спасших жизнь его правнуку.

Халмуратов долго объяснял старику, что мы здесь ни при чем, что мы не сами прилетели, а нас послали.

— Вас прислал аллах! — убежденно сказал старик, показывая узловатым пальцем на восток. — Я знаю.

Халмуратов, усмехнувшись, приподнялся на локте и посмотрел на меня.

— Это сказал мулла?

Старик подложил в костер вязанку камыша. Огонь, затрещав, ярко вспыхнул, сгустив и без того черную ночь.

— Мулла, — неохотно ответил хозяин.

— Я так и знал! — снова ложась, проворчал по-русски Халмуратов.— Не люблю хитрецов. Им все на пользу: и наши промахи, и наши достижения. — Нет, ата, — уже по-каракалпакски заговорил Халмуратов.— Нас прислал не аллах, а советский закон, повелевающий лечить бесплатно всех, кто в этом нуждается.

Старик загремел крышечкой чайника.

— Все равно аллах, — упрямо возразил он. — Я знаю. Так сказал мулла. И еще он сказал: «Советская власть от аллаха».

Халмуратов шумно завозился на своей подстилке:

— А что — плохой закон?

Старик, удивленно покосившись на хирурга, растерянно ткнул пальцами в свою реденькую седую бороду. Может, он чем обидел гостя? Может, ему совсем бы не надо болтать об этом советском законе, который никак не выходит у него из головы? Восемьдесят семь раз он встречал горячее лето, и ему есть о чем вспомнить. Больше полжизни пас он чужих баранов, обрабатывал чужую землю, сеял чужой рис и чужую джугару. Он помнит многое. На спине его, между лопаток, до сих пор сохранились багровые шрамы — следы байской плетки—камчи. Много он мог бы рассказать о старых эмирских законах, и они тоже были освящены аллахом! Все непонятно, все мутно, как в бурных потоках Амударьи.

Старик присел к костру, провел заскорузлыми ладонями по бороде:

— Во имя аллаха, милостивого и милосердного! Нет! Советский закон — хороший закон. — В голосе старика прозвучало искреннее убеждение. Он повернулся к Уразмету, и морщинистое, коричневое от загара лицо его, освещенное неровным светом костра, вдруг стало значительным и мудрым.

— Сейчас я простой колхозник, — сказал он, прижимая руки к груди, — а вы ко мне прилетели лечить моих

правнуков. Раньше этого не было никогда. Тебя, Уразмет Халмуратов, я вижу своими старыми глазами первый раз. Аэропланчи-шофера Бора я тоже вижу первый раз, но народная молва говорит, что табиб Уразмет, сын Каракалпакии, хорошо исцеляет людей и что аэропланчи-шофер — твой друг — любит слушать рассказы стариков, которые в молодости слышали эти рассказы от других старых людей. Тебя, Уразмет, я ничем не могу отблагодарить, потому что денег ты не берешь за свои труды, но твоему другу я расскажу старое сказание про Барса-Кельмес...

В это время вскипевший чайник сердито плеснул водой в костер. Зашипели угли. Старик вздрогнул и с суеверным страхом зашептал слова молитвы.

— Борис-ака! Вставайте чай пить! — позвал меня Халмуратов. — Сейчас хозяин расскажет нам старую легенду про Барса-Кельмес!

Я поднялся. Мне приходилось уже слышать об этом таинственном озере с загадочным названием «Пойдешь — не вернешься». Посередине озера, на каменистом острове,— развалины Чертовой Крепости, в которой, по старинному преданию, какой-то царь из древних времен упрятал свои несметные сокровища. Совсем недавно трое геологов отправились к озеру, да так и не вернулись...

— Вам повезло, — сказал Халмуратов, когда я, поджимая под себя ноги, усаживался рядом с ним на разостланную кошму.— Даже одно название старики произносят с трепетом. Видите, он молится, просит у аллаха прощение за то, что собирается сделать.

Кончив шептать молитву, старик заварил чай, затем достал из сумки три пиалы, лепешки, пригоршню кишмиша и все это умело, по-хозяйски разложил на большом платке. Потом, плеснув из чайника немного в пиалу, с вежливым поклоном передал ее Халмуратову.

Налив чуть на донышке мне и потом себе, он, не торопясь и как бы обдумывая вступление, сделал два-три маленьких глотка, осторожно опустил пиалу на кошму и, устремив в пространство торжественный взор, медленно, нараспев заговорил. Видимо, стараясь для меня, он отчетливо выговаривал каждое слово, и я понял все содержание легенды, не расходящееся с тем, что мне было уже известно. Тут и могущественный Хорезмшах Фарасман, власть которого распространялась на север, вплоть до Венгрии, и на юг, до Индии и Китая, и процветание наук, ремесел, строительство плотин и каналов для орошения

пустынь. Смерть Фарасмана, упрятавшего сокровища, раздоры между эмирами, пригласившими иноземные войска для усмирения бунтующего народа, нашествие Чингисхана, разорение страны и превращение богатых земель Хорезма в песчаные пустыни.

...Долго искали люди несметные сокровища Хорезмшаха Фарасмана. Много смельчаков уходило в страшные болота, и ни один не возвращался обратно. И люди стали бояться этих мест. Крепость назвали Шайтан-Кала, а озеро — Барса-Кельмес.

Там птица не пролетит, не пробежит джейран и чабан не прогонит своих овец. Проклятое аллахом место...

Старик замолчал, потом со словами молитвы провел ладонями обеих рук по своему морщинистому лицу.

Костер угасал. Из-под кучи серого пепла, лениво облизывая камышинки, выскальзывали оранжевые язычки. Камышинки, изгибаясь и корчась, словно живые, вспыхивали разом и превращались в пепел.

Фыркнул конь, проблеяла овца, и где-то в камышах закричала птица. С неба глядели крупные звезды.

Халмуратов, обняв руками колени, молча смотрел на огонь.

— Между прочим, — тихо сказал он, — старик не в курсе последних событий: в районе этого озера нефтяники-разведчики закладывают скважины. И там есть палаточный поселок, и нефтяникам нужны рабочие...

— Да? — заинтересовался я и почему-то вспомнил про Керима.

— Мы завтра должны туда слетать, — продолжал Халмуратов. — Нет, нет, не садиться! — предупредил он мой нетерпеливый жест. — А только так, посмотреть...

И я понял его, я уже знал его план! Он тоже думает о Кериме! Ах, умный, порывистый и благородный мой друг!

— Но ведь масла! Масла не хватит!

— Найдем, — поднимаясь, сказал Уразмет. — Утро вечера мудреней. Пойдемте спать.

Мы вылетели на рассвете. Еще курился туман над рекой, и кое-где в небе блекло мерцали звезды. Самолет, подпрыгнув несколько раз по кочковатой площадке, легко оторвался от земли. В открытую форточку пахнуло теплым влажным воздухом с запахом мяты, водорослей и воды. День обещал быть жарким, и не верилось, что только вчера сыпала снежная крупа чересчур рано пришедшей осени.

Делаю круг над площадкой. Наш хозяин восторженно машет обеими руками. Честь-то какая, честь! Пролетая над ним, я три раза качнул самолетом. Прощай, старик! Вряд ли мы увидимся еще раз...

Набираю высоту, ставлю курс. Под нами темные воды Амударьи смешиваются с синими водами Аральского моря. Впереди отвесной стеной стоит крутая возвышенность Устюрта.

Загорался день. Как-то сразу посветлело небо, и потоки солнечных лучей окрасили все вокруг в нежно-розовый цвет. Оглянувшись, я увидел через стекла кабины сплюснутое полушарие солнца, всплывающего из-за морского горизонта. Море вдруг потемнело и покрылось рябью, но ненадолго, через минуту оно снова было спокойным, голубым и чистым, словно умылось.

Море осталось позади. Под нами проплывали белые кручи возвышенности. С любопытством оглядываю незнакомую мне местность, которая на карте моей отмечена словами: «Не исследовано». Никаких признаков воды и растительности! Ровная поверхность выжжена беспощадным солнцем. Лишь весной на короткий срок здесь появляются всходы обильной травы, и тогда сюда стекаются огромные стада диких коз и джейранов.

Нетерпеливо всматриваюсь вперед. Вот оно, озеро Барса-Кельмес! Бело-розовое, оно искрится под солнцем алмазными брызгами. Это кристаллическая корочка соли, а под ней наверняка всепоглощающая трясина. В середине озера, словно бородавка, — скалистый островок с развалинами крепости. Бурые глыбы лежат хаотично.

А вот и палатки нефтяников, они стояли километрах в двух на север. Рядом с палатками чернели груды металлических конструкций.

Приближаемся к озеру. Сбавляю обороты мотора, иду на снижение. Триста метров. Самолет тряхнуло, и в кабину ворвался тошнотворный запах сероводорода и паленого металла. И вдруг меня охватило какое-то странное чувство тревоги. Машину опять тряхнуло. Мы над самым островком. Мрачные глыбы, каменная осыпь. Промчались на бреющем полете. Все промелькнуло, осталось позади, только озеро еще под нами, и запах, и чувство беспокойства.

А вот и берег. Все! Воздух чистый, и страх исчез. Что это — внушенное или в самом деле — какие-то флюиды?

Вспоминаю слова старика: «Там птица не пролетит,

не пробежит джейран и чабан не прогонит своих овец. Аллахом проклятое место!»

Вглядываюсь вниз, в песчаный лик пустыни, и мысли толпятся, толпятся. Вспоминается что-то вычитанное о древней истории этих мест и мерещится прошлое: минареты, мечети, дворцы. Хорезмшах с пышной свитой, арабский полководец Кутейбой. Свистели стрелы, полыхали пожары и, заливая кровью землю, в тучах пыли двигались орды Чингисхана. Все это было, и все прошло...

...Стрелка масляного манометра дрогнула и поползла налево. Все — кончилось масло! Надо садиться... Впереди Кегейли, дотяну ли...

И вот мы снова садимся на той же полянке в Кегейли. Нас снова встречает на двуколке Керим. Он смотрит на нас с каким-то досадным недоумением:

— Телеграмму только-только передали, а самолет уже прилетел. Как можно так быстро?

— Какую телеграмму?

Керим недовольно хмурит брови.

— Есть тут больной один...

Халмуратов влетает в коляску:

— Тогда давай спешить!

Керим сердито сплевывает на дорогу.

— Зачем спешить? Не надо спешить. Ничего с ним не случится, с толстым жирным муллой. Вчера на свадьбе объелся плову. Жадный мулла, плохой мулла! Пусть ему шайтан помогает. Тьфу!

Счастье Керима

Халмуратов взбежал на крыльцо и, столкнувшись в дверях с завхозом, тут же при мне попросил его раздобыть для самолета автомобильного масла. Потом кивнул мне головой и скрылся в больничном коридоре.

Я остался на улице. И только хотел присесть на лежащее возле дувала толстое, вросшее в землю бревно, как к больнице лихо подкатила грузовая машина с брезентовым верхом. Не выключая мотора, шофер, вихрастый парень в рабочей спецовке и в вышитой узбекской тюбетейке, схватив помятое ведро, побежал к арыку за водой. Из кабины, сняв фуражку и отряхивая ее от пыли, вылез загорелый до черноты мужчина лет пятидесяти, с веселыми молодыми глазами, черной бородкой клинышком, с черными усами, но с совершенно седой головой.

Забыв о приличии, я бесцеремонно уставился на его

бородку и усы, стараясь определить, натуральные они или крашеные?

Незнакомец широко улыбнулся, обнажив два ряда белых крепких зубов.

— Не старайтесь угадывать, — сказал он, подавая мне руку. — Борода моя не крашеная, а зубы не вставные. Смею вас уверить. — И тут же представился: — Вертий Никита Тимофеевич.

Я раскрыл от удивления рот. Это был известный геолог, начальник разведывательной геологической экспедиции, изыскательные партии которой были разбросаны по всей Каракалпакии.

— Вот, еду в Турткуль за кадрами,— сказал он, наклоняясь и подтягивая за голенища брезентовые сапоги.— Этот чертов Барса-Кельмес мне всю душу вымотал! Табу! Запретная зона у местного населения. Боятся панически злого духа — шайтана. Не идут туда работать ни за какие деньги! А рабочие нужны вот так. — Он провел себе пальцем по горлу.— Ну что, поехали?

Эти слова уже были обращены к шоферу, успевшему долить воды в радиатор.

У меня мелькнула мысль:

— Простите, одну минутку!

Геолог, открывавший дверцу кабины, остановился.

— К вашим услугам.

— Я, наверное, сегодня привезу вам двух рабочих,— сбивчиво начал я. — Понимаете, тут... романтическая история. Влюбленная молодая пара. И им нужно скрыться.

У геолога заблестели глаза.

— Милый, я вам буду очень обязан! Со мной дочь — геолог, и женское общество для нее будет большой радостью.— Никита Тимофеевич похлопал себя по карманам брезентовой куртки.— До чего же замечательно! Одну минутку, я ей сейчас записку напишу.

Он вынул блокнот, карандаш с наконечником, написал несколько строк и, вырвав листок, подал его мне.

— Это дочке, Веронике. Ну, желаю вам успехов!

Машина уехала, а я долго стоял у дороги, провожая взглядом вздымающийся к небу столб пыли.

— Борь-ака! Сейчас привезут масло для аэроплана!

Я обернулся. Передо мной стоял Керим, чья дальнейшая судьба была в моих руках.

— Хорошо, дорогой, давай-ка сядем, и расскажи мне все по порядку.

Мы сели на бревно. Серый тонконогий ишак, стояв-

ший у коновязи, задрал морду, настороженно стриганул ушами, прислушался к чему-то и, резво закрутив хвостом, принялся свистеть и рявкать громоподобно: «Иа! И-а! И-а!»

От этого разбойного рыканья градом посыпались воробьи с тополей. Выругался петух за дувалом, возмутился индюк: «Брлю-брлю-брлю-брлю!»

Керим поднялся, чтобы попотчевать крикуна камчой, но я удержал его:

— Зачем? Пусть кричит себе на здоровье. Садись, рассказывай дальше.

Керим сел, ковырнул носком сапога землю.

— Я все сказал, Борь-ака. Все. Я люблю Гульзиру.

Налетел ветерок, ласковый, теплый, последний привет уходящей осени. По дороге, перечерченной частыми тенями от тополей, понеслись наперегонки желтые листья. Черной молнией мелькнул дрозд. Сел, осмотрелся, покосился на нас и принялся деловито переворачивать желтым клювом листочки.

Вороной красавец конь под высоким узбекским седлом грыз перекладину коновязи. Помахивали хвостами ишаки, бродили куры, разгребая навоз, и где-то кричал удод: «Гу-гу-гу-гу!»

Тихо и мирно было вокруг. Но это только казалось так. Рядом сидел Керим и страдал. Где-то металась в тоске Гульзира, и злой, настороженный глаз старого мужа внимательно следил за ней.

— Я люблю Гульзиру, — повторил Керим, глядя, как дрозд, упираясь, тащил из земли длинного дождевого червя.— И я убью Алланбия. Сегодня же ночью...

— Вот это глупо, — сказал я.— Ты попадешь в тюрьму, а твоя Гульзира достанется другому.

Керима словно подбросил кто. Он стоял передо мной взъерошенный, как воробей. Большие карие глаза его сверкали яростью. Он топнул ногой:

— Моя Гульзира? Нет!

— Керим,— спокойно спросил я.— Ты очень любишь Гульзиру?

Лицо Керима тотчас же приняло растерянно удивленное выражение. Склонив голову набок, он посмотрел на меня укоризненно и, не удостоив ответом, сел. Губы его вздрагивали. Было видно, он прилагает большие усилия, чтобы не расплакаться.

Я обнял его за плечи:

— Керим, ты не ответил: готов ли ты ради Гульзиры пойти на все?

Керим резко повернулся ко мне:

— Готов!

— Тогда укради ее!

Керим разочарованно вздохнул и отвернулся. Плечи его поникли, голова опустилась. Подперев ладонью щеку, он принялся рассматривать, как из-под бревна, на котором мы сидели, охотясь за кузнечиком, осторожно выползала ящерица.

— Одноглазый Алланбий, — глухо проговорил Керим, — заплатил за Гульзиру большой калым. Четыре верблюда, три вола и двадцать пять баранов. Он не простит мне кражу. И у меня нет коня. А у него везде друзья, и у них хорошие кони. Они поймают меня и отрежут голову. Нельзя украсть. Я думал.

Кузнечик, взобравшись на травинку, подобрал на всякий случай под себя пружинистые ноги и замер, греясь на солнышке. Ящерица сделала стремительную перебежку.

— А куда бы ты поехал, — не унимался я, — если бы у тебя был хороший конь?

— Никуда,— последовал ответ.— Я думал. Здесь ведь только две дороги — на север и на юг. Вдоль Амударьи. Свернуть никуда нельзя. Алланбий даже не поедет за нами в погоню. Он пойдет к своему кунаку на почту и позвонит. И нас поймают. Я думал.

Ящерица подкралась еще ближе. Не спуская глаз с беспечного кузнечика, она приготовилась к прыжку.

— Есть еще одна дорога, — сказал я, наклоняясь и поднимая с земли ивовый прутик. — Смотри!

Осторожно, чтобы не спугнуть ящерицу, я притронулся прутиком к кузнечику. Испуганно щелкнув ножками, он оттолкнулся от травинки и полетел, расправив голубые крылья.

Приподнявшись и проводив его взглядом, Керим медленно повернулся ко мне. Лицо его сияло радостью.

— Борь-ака! О-о! Борь-ака!..

Мне не очень-то понравилась его восторженность. Он мог неправильно понять меня, предположив, что я смогу отвезти его с Гульзирой, хоть до самого Ташкента.

— Успокойся, — сказал я. — И не радуйся. Тебе еще предстоят большие испытания. И я не совсем уверен, пойдешь ли ты на них.

Керим побледнел от обиды и, выпрямившись, гордо поднял голову.

— Я мужчина, — твердо сказал он. — И еще я комсомолец! Я сказал: «Я готов!»

— Хорошо, хорошо, — перебил я Керима, несколько обескураженный его решительным тоном. — Меня радует твое мужество. Но... ты видел, куда полетел кузнечик?

— Н-нет,— растерянно пробормотал Керим. — Он улетел и все...

— Твой кузнечик упал в арык, в воду,— строго сказал я.— И ему нужно здорово поработать, чтобы выбраться оттуда. Ты меня понял?

Керим поднял сияющие глаза:

— Понял, Борь-ака! Я все понял! Я буду трудиться всю жизнь. И Гульзира тоже. Мы ничего не боимся. И я поступлю так, как скажет мне мой старший брат Борь-ака! О-о! Ты будешь гордиться своим младшим братом...

— Ты умница, Керим,— похвалил я его. — И я вижу, что ты действительно ничего не боишься. И я горжусь тобой. Молодец! Теперь слушай: ты знаешь, куда я тебя отвезу?

Керим насторожился:

— В Самарканд?

Я улыбнулся:

— Нет, дальше.

— В Ташкент?

— Еще дальше.

— В Актюбинск?

— Нет. В Барса-Кельмес!

Слова прозвучали как выстрел. Керим побледнел и, сделав шаг назад, почти упал на бревно рядом со мной.

— Сейчас нам привезут масло,— продолжал я, делая вид, что не замечаю его состояния. — Я поеду к самолету, а ты иди за Гульзирой. Как приведешь, так и полетим. Ты меня понял?

Сзади нас хрустнула ветка. Керим медленно обернулся и вдруг подобрался весь, словно барс, готовый к прыжку. Лицо его побледнело, а пальцы правой руки с хрустом сжали рукоятку камчи.

Я тоже обернулся и увидел перед собой горбатого старика в новом шелковом халате, опоясанном белым платком. На голове незнакомца красовалась чалма, и кончик ее, кокетливо свисая, закрывал левую сторону лица с пустой глазницей.

Вперив в меня единственный глаз, старик, перебирая пальцами холеную седую бороду, угодливо улыбнулся:

— А-а-а,— сказал он, почтительно склоняя голову.—

Салам-алейкум, аэропланчи-шофер! Да продлятся твои дни, да умножится твое потомство!

— Алейкум-салам,— ответил я, догадавшись, что это Алланбий, и сердце мое сжалось. До чего же я был неосторожен! Старик, несомненно, слышал наш разговор.

Алланбий, склонив голову, засеменил к коновязи. Вороной встретил его тихим ржанием. Отвязав повод, Алланбий вставил ногу в стремя, покосился на Керима и взобрался в седло.

Стоявший рядом с конем ишак поднял было морду, чтобы снова закричать, но Керим, стремительно сорвавшись с места, подбежал, стеганул его камчой. Конь, испугавшись, взвился на дыбы. Мотнулась чалма, открылся в страхе беззубый рот.

— Чтоб тебе!.. Чтоб тебе поперхнуться камнем! — закричал Алланбий, повернул коня и ускакал по направлению к почте.

— А-а-а, он поехал звонить! — воскликнул Керим, потрясая камчой.— Чтоб тебе сгореть, старый шакал! — И ко мне: — Мы поедем в Барса-Кельмес! Мы поедем к шайтану. Мы поедем, куда скажешь, Борь-ака! О-о, надо скорее скакать в Кыз-Кеткен за Гульзирой. Борь-ака, жди меня, я поехал...

И он убежал. Я остался один, но не надолго. Скрипнула дверь в больнице, и на пороге показался тучный мужчина в помятом шелковом халате, кое-как повязанном бельбагом — поясным платком поперек громадного живота. Надетая наспех чалма сползла на левое ухо. Увидев меня, незнакомец торопливо сошел с крыльца и, отерев рукавом халата пот со лба, проговорил:

— Аэропланчи-шофер! Да будет долгой ваша жизнь, да сопутствует вам святой Хызыр! Вы не знаете, куда поехал всадник?

Догадавшись, что передо мной отец Гульзиры и мулла и что появление его и Алланбия как-то связано с историей Керима, я решил сказать правду, ибо знал, что он мне не поверит. Так оно и случилось. Сказав мне «рахмат» за услугу, мулла подошел к ишаку, все еще обиженно помахивающему хвостом от удара камчи, кряхтя взобрался на него и, ткнув пятками округлые бока животного, поехал в обратном Алланбию направлении.

Снова скрипнула дверь, и на пороге появился Халмуратов. Шапка на затылке, пальто расстегнуто. Сбежал с крыльца, сказал взволнованно:

— Борис-ака! Я еду в Кыз-Кеткен. Там больной.—

И, подмигнув, пожал мне руку: — Ну, желаю удачи! Да пусть сопутствует вам святой Хызыр!

Я удивленно уставился на Уразмета.

— Ведь я же ничего не говорил вам о своих планах! Откуда вы узнали?!

Халмуратов похлопал меня ладонью по плечу:

— Не удивляйтесь, бесхитростная ваша душа. Вы так горячо разговаривали с Керимом, что мы слышали все: я и мулла. — Уразмет кивнул на открытое настежь окно. — Я не мог вас предупредить. Ох, и взвился же он!

Зацокали копыта, и к крыльцу подскакал на высоком черном коне молодой каракалпак, ведя на поводу оседланную лошадь. Халмуратов подхватил повод и ловко вскочил в седло.

— Ну, пусть сопутствует!..

Они ускакали, и я снова остался один, раздумывая над тем, как стремительно стали развиваться события. И все-то мы напортили, все усложнили. И надо же было так!

Кляня и ругая себя за неосторожность, я принялся расхаживать вдоль дороги, то и дело посматривая за угол, откуда должна была появиться арба с маслом.

Два ведра масла

Перевалило за полдень. Тени от тополей повернулись на восток и, прикрыв собою запыленную придорожную колючку, слились в единую темную полосу, открыв взорам неприглядную пыльную и ухабистую дорогу. На душе у меня было очень неспокойно.

Опыт с маслом, который я собирался проделать, был, конечно, рискованным. Авиационное масло по своим качествам и вязкости значительно превосходит автол, и меня беспокоило: как отнесется мотор к такой подмене? А вдруг заклинит, что тогда?..

Я прошагал более двух часов в ожидании, пока наконец не услышал тягучий, как смола, скрип колес. Я бросился за угол. Наконец-то! По дороге, разбрасывая колесами пыль, медленно шагала лошадь, запряженная в арбу с высокими колесами. В седле, удобно поставив ноги на толстые оглобли, дремал старый каракалпак в выгоревшей от солнца, приплюснутой шапке из черной овчины.

Подъехав ко мне, возница чмокнул губами. Лошадь остановилась и, тяжело поводя облезлыми боками, понуро опустила голову.

«Час от часу не легче!— подумал я, глядя на выступающие ребра лошади. — Да этот пегас будет плестись к самолету до самого вечера!»

— Салам-алейкум,— сказал возница и почесал себе рукояткой камчи меж лопаток. — Вот, привез масла.

Он говорил по-русски, невероятно искажая слова, и, как видно, очень гордился знанием русского языка.

Я посмотрел на поклажу: старый молочный бидон с помятыми боками, два ведра, покрытые мешковиной, какой-то ящик, несколько снопов сухого клевера. Сесть было некуда, да и не хотелось. Я махнул рукой:

— Поехали!

Старик тронул лошадь. Заскрипели колеса, клубами поднялась пыль. Я забежал вперед и пошел по обочине дороги.

На сердце у меня было неспокойно, словно я что-то забыл и мне обязательно нужно вернуться. Улицы кишлака были безлюдны, но меня не покидало ощущение, что за нами кто-то наблюдает настороженным, враждебным взглядом.

Мы выбрались на окраину и свернули на проселок. Справа — голая, выжженная солнцем холмистая местность, вся усыпанная громадными обломками скал, постепенно переходила в мрачные отроги гор Султануиздага. Слева тянулись убранные голые поля с торчащими стволами джугары и кукурузы на межах. Дальше играла на солнце мощными струями Амударья. Тонули в серой дымке по-осеннему прозрачные кроны деревьев. Было тихо и мирно кругом. И вместе с тем беспокойство мое росло и росло. Меня раздражало солнце, спускающееся к горизонту, шуршание колючки под ногами, и этот нескончаемо-однообразный скрип колес. И я все время чувствовал на своей спине чей-то взгляд. Может быть, это смотрит возница?

Я чуть-чуть повернул голову, скосил глаза. Возница сидел, опустив голову, и явно дремал. Облезлая папаха его моталась из стороны в сторону. Нет, это не он. Но кто же?

Один раз, внезапно обернувшись, я заметил, как что-то мелькнуло и скрылось за обломком скалы. Я не был уверен: может быть, мне показалось? Но сердце у меня дрогнуло. Я был один и совершенно безоружен.

Впереди показался самолет, стреноженная лошадь, черная папаха сторожа. Я облегченно вздохнул.

Лошадь, подняв голову, заржала. Ей тихо ответила

наша. Сторож встал, отряхнулся и пошел ловить своего коня. Поймал, снял путы, подтянул подпруги. Когда я подошел, он уже сидел в седле. Жиденькая седая бородка его трепетала от ветра. Морщинистое, изрытое оспой лицо приветливо улыбалось.

— Мир тебе, аэропланчи-шофер! Да сопутствует тебе святой Хызыр!

— Мир тебе, — ответил я. — Рахмат, спасибо. Ты никого не видел?

Сторож покосился на подъезжавшего возницу.

— Нет, не видел,— громко сказал он и тут же добавил шепотом:— Кругом бродят шакалы. Но ты не бойся, тебя не тронут, ты — посланец аллаха. — И громко: — Ко мне никто не подходил. Прощай, я поехал.

И тронул коня.

Мне стало не по себе. Я огляделся. В километре от нас, возле гор, виднелись развалины древней крепости. Может быть, там засели шакалы? Или они прячутся за обломками скал? В небе парил стервятник-орел. Кого он высматривал? Может, он уже инстинктивно предчувствует кровавую тризну? Еще сильны законы шариата, еще рыскают по пустыням остатки разбитых басмаческих банд. Еще сопротивляются байские сынки. Никак не могут смириться, что власть теперь принадлежит простому народу.

Возница кашлянул, привлекая мое внимание.

— Аэропланчи-шофер, мы приехали. Будем выгружать?

Сказано это было тихим голосом, но в словах его мне уже послышалась скрытая угроза. Не понравился мне и сам старик. Как-то уж очень старательно, как мне казалось, щурил он глаза и отводил их от моего испытующего взгляда.

— Давай бидон,— сказал я.— Сейчас я его тебе освобожу.

Возница ухмыльнулся:

— Бидон? Какой бидон? Ведра!

Я опешил. Недоброе предчувствие кольнуло в сердце. Я не взобрался, а влетел в арбу. Сорвав мешковину, замер в яростном недоумении. Передо мной были два ведра, наполненные маслом, но каким!

Я бросился к бидону. Сбивая пальцы, откинул крышку. На меня пахнуло какой-то кислятиной.

— Что это?!

— Кумыс, аэропланчи-шофер! Немножко пить бу-

дешь — душа обрадуется. Много пить будешь — счастье придет, голове сладко будет, песни петь начнешь...

Я задыхался от гнева:

— Где масло? — грубо прервал я его разглагольствования.

Старик с искренним удивлением и каким-то испугом поднялся с седла и заглянул в арбу. В его глазах мелькнуло сначала недоумение, затем обида.

Два ведра великолепного сливочного масла стояли на том же самом месте, куда он их поставил. Чего же еще надо этому капризному аэропланчи-шоферу? Может быть, в масло попал какой-нибудь сор?

Старик, кряхтя, перешел по оглоблям на арбу, наклонился над ведрами и, запустив два грязных пальца в масло, вытащил муху, потом соломинку.

Я молча сполз с арбы. Все пропало! Может быть, в эту минуту Керим со своей Гульзирой ждут меня в Кыз-Кеткене и надеются на выручку? А я, я, который все это затеял!..

Я был в отчаянии. Я чувствовал себя предателем. Если не сумею помочь молодым, все кончится для них трагически.

Меня привело в чувство настойчивое покашливание старика. Я обернулся. Ведра с маслом и бидон с кумысом уже стояли на земле, и возница растерянно топтался возле них.

— Ну, что тебе?!

Старик засуетился.

— Вот кумыс, вот масла. Хороший масла, якши. Аэроплан кушайт, курсак не будет пропал...

И умолк, явно ожидая благодарности.

Я скрежетнул от бешенства зубами: «Да что он, издевается, что ли, надо мной?» Однако сдержался, ругаться не стал. Преклонный возраст собеседника обезоруживал меня.

— Ладно,— сказал я.— Спасибо. Рахмат. Можешь идти.

Но старик не уходил. Он смотрел на меня растерянно и умоляюще.

— Ты чем-то огорчен, аэропланчи-шофер? Ты чем-то недоволен?

Не дождавшись ответа, он растерянно потеребил жиденькую, в несколько волосков бородку.

— Вы вчера, когда спустились с неба и спасли мою внучку Аджурат,— старик часто заморгал глазами, — и

подарили мне правнука, — две крупные слезы выкатились из щелочек глаз и повисли в складках у рта, — я был самым счастливым человеком под луной. Я сказал: «Надо поблагодарить посланников аллаха от всей души и от всего сердца». Я продал корову и пошел к мулле за советом...

Словно яркий луч осветил мне все происходящее.

— Что-о? Ты пошел к мулле?!

— Да, к мулле,— простодушно подтвердил старик.— Мы всегда идем к мулле за советом. Он взял деньги и сказал, что передаст их сам, а мне велел ехать в больницу к завхозу.

— Так. И ты поехал?

— Да, поехал.

— И ты привез от него вот это масло?

— Нет, аэропланчи-шофер, я привез нехорошее черное масло. Мулла дал мне его попробовать. Оно было невкусное. Тогда я подумал... О-о-о, аэропланчи-шофер! Я подумал то же, что подумал мулла! Он сказал: «Аэроплану нужно хорошее масло, из молока коровы. Езжай на базар и купи два ведра масла». Я продал барана и еще козу и...

— Ладно, хорошо!— перебил я его. — А куда же девалось то — нехорошее масло?!

Старик, собираясь с мыслями, обиженно пожевал губами:

— Нет, ты меня перебил, и у меня все перепуталось. Я скажу все по порядку.

— Ладно, рассказывай,—согласился я, всматриваясь в обломок скалы, из-за которой выглядывала баранья папаха. — Продолжай, ата, я слушаю.

Пока старик рассказывал «по порядку», я мучительно соображал, как мне выйти из создавшегося положения. История с маслом, конечно, подстроена Алланбием и муллой. Лишив меня возможности вылететь, они сделали засаду! Вон они, сидят, за скалами: один... другой... третий. А вон еще один! Они почти не скрываются, они уверены в успехе...

Тонкий комариный звон дошел до моего сознания только тогда, когда я увидел, как настороженно навострил уши запряженный в арбу конь. Я прислушался. Самолет!

Решение пришло мгновенно: надо посадить его и попросить поделиться маслом!

Я бросился к кабине, открыл дверку, откинул спинку

заднего сиденья, одним рывком выдернул уложенную туда постель — одеяло, подушку, две простыни.

Трах! — затрещало разрываемое полотно. Старик, умолкший на полуслове, смотрел с изумлением, как я разрываю простыню.

Так, готово! Теперь быстро — выкладывать знак!

Я отбежал в сторону, проверил направление ветра. Белое «Т» легло на коричневую землю. Хорошо! Теперь сверху еще одну полоску. Что обозначало: «Требую посадку!» Отлично! А теперь прижмем камушками, чтобы не сдуло. Все! Вот только бы он увидел!

Меня трясло, как в лихорадке. Ведь это мой единственный шанс! А вдруг самолет пролетит стороной? Да, надо еще убрать лошадь. Вон туда, подальше.

Я схватил лошадь под уздцы и отвел ее. Теперь все готово. Только бы не пролетел стороной! Только бы не стороной!..

Я покосился в сторону скал. Папахи заволновались. Ага, поняли, что ко мне идет подкрепление.

Самолет был еще далеко. Он шел низко над землей, почти бреющим полетом, и это меня встревожило. Обзор у летчика с такой высоты незначительный, и если он пролетит чуть-чуть стороной...

Я обеспокоенно похлопал себя руками по карманам, хотя хорошо знал — спичек у меня быть не могло, потому что не курю. Посмотрел на старика. Ну, а у него и подавно. Каракалпаки не курят папирос, они жуют табак. Так как же мне все-таки привлечь к себе внимание пилота? Ведь не просить же мне огоньку вон у тех шакалов!

И тут я вспомнил про ракеты, давно лежавшие у меня в самолете. Две красные ракеты. Но как ими выстрелить без ракетницы?

Разыскал ракеты и принялся вертеть их в руках. Массивные картонные патроны с капсулем. А что если... Самолет уже близко и летит стороной. Надо принимать какое-то решение!

А, была не была! Я выхватил из сумки с инструментом трехгранный напильник, воткнул его тупым концом в землю и, зажав патрон в ладони, ударил капсулем по острию.

Глухой хлопок, струя огня, и в воздух, шипя, полетела ракета.

Самолет, уже почти пролетевший площадку, резко взмыл вверх и стал разворачиваться в нашу сторону.

Я готов был прыгать от радости. Подбежал к старику и обнял его:

— Добрый ты, добрый старик! Но глупый. Зачем даешь себя обманывать мулле? Зачем ходишь к нему за советом? Овцу продал? Деньги ему отдал? Вот он их себе и присвоил! Не верь мулле. Он жулик, обманщик, прохвост...

Я оставил ошалевшего от такого святотатства старика и побежал встречать идущий на посадку самолет. Это был П-5, и в кабине его сидел мой лучший друг Гришка Куренной.

Подрулив и выключив мотор, Куренной сказал, таинственно понизив голос:

— Они ждут тебя вот тут, у запасной площадки, — и он показал точку на карте. — Я знаю все. Мне Халмуратов рассказал. А тебе чего надо? Масла? Хорошо, я дам, только у меня нет ведра.

Я обнял Гришку, спрыгнул с крыла и побежал к своему самолету.

«У него нет ведра, ха! Зато у меня их целых два! Сейчас я вывалю это проклятое масло на землю...»

Я подлетел к ведрам, накрытым мешковиной, но, взглянув на старика, опешил. Он стоял, опустив руки вдоль тела, и, казалось, смотрел внимательно куда-то вдаль, за горизонт, уже окрашенный медным закатом солнца. Лицо старика было спокойно, совершенно спокойно. Щелочки глаз закрылись совсем, и из них, из этих щелочек, текли по морщинам слезы...

Я не стал вываливать масло. Я подошел к старику, положил ему руки на плечи.

— Ата, ата, зачем ты плачешь?

Старик всхлипнул по-детски.

— Я продал барана и еще козу и купил масла и еще кумыс. Все мужчины любят кумыс. Он придает силу и доброту. Я был счастлив и думал принести это счастье тебе и табибу Халмуратову. Но ты недоволен, и сердце мое обливается кровью...

Я был готов от стыда провалиться сквозь землю. Человек отдавал свое сердце, а я так плохо думал о нем!

— Прости меня, ата, прости! Я доволен. Я очень доволен! Я беру твой кумыс и твое масло. Помоги мне его погрузить...

Я увез кумыс и масло, которое чуть не стоило жизни Кериму и его возлюбленной. Это был хороший подарок молодоженам, там, в Барса-Кельмесе.

В песках Каракумов

Громадное оранжевое солнце, освещая косыми лучами волнистую поверхность Каракумов, медленно опускалось в мутную дымку горизонта. По всей пустыне потянулись длинные тени от барханов. Постепенно они сливались в сплошное серое покрывало, отчего все вокруг становилось сумрачным и таинственным.

Я перегонял самолет после капитального ремонта из ташкентских мастерских в Турткуль. Летел один, без пассажиров. Я немного замешкался с вылетом и сейчас, торопясь добраться до аэродрома засветло, беспокойно вглядывался вперед.

«Хоть подпорку под солнце ставь, — подумал я. — И куда оно торопится?»

Еще раз измерив глазом высоту солнца, я посмотрел на часы и успокоил себя: «Успею!»

Сильно хотелось пить. Давал себя знать крепко проперченный жирный бараний плов, которым угостил меня буфетчик аэропорта. Обед я запил бутылкой кваса, холодного, со льда. Квас мне очень понравился, и я попросил буфетчика наполнить мой двухлитровый термос, который я всегда брал с собой в полет.

Мне давно хотелось пить, но я нарочно удерживал себя, чтобы потом с большим наслаждением ощутить, как в пересохший рот, пощипывая язык, холодной струей польется ароматный напиток. Предвкушая удовольствие, я нетерпеливо облизнул губы и, заговорщически подмигнув своему отражению в приборной доске, потянулся рукой за спинку кресла, где у меня обычно стоял термос.

И вдруг на мгновенье я увидел распластанную тень. Вслед за тем тяжелый удар потряс машину, в ветровое стекло брызнуло чем-то темным. Затарахтел, захлопал, застрелял мотор. Самолет клюнул носом и пошел на снижение. По стеклу, разбегаясь в разные стороны, поползли красные ручейки... Кровь!

Все еще не понимая, что случилось, и поэтому страшно испугавшись, я принялся беспокойно обшаривать глазами пустыню, ища хоть какой-нибудь площадки. Как назло, сокращая маршрут, я, удалившись от Амударьи, оказался в центре Каракумов...

Внизу угрожающе качались гребни застывших песчаных волн. Ни клочка ровного места! Лишь впереди отчетливо выделялась открытая с юга и с запада большая впа-

дина с ровной, как стол, сероватой поверхностью. Но о посадке на нее нечего было и думать. Я знал, там, под слоем пухлой солончаковой пыли, таится бездонная трясина, как на озере Барса-Кельмес...

Что же выбрать? Барханы или эту предательскую площадку?

Я представил себе, как самолет, ударившись колесами о гребень бархана, перевернется на спину, как заклинится дверка, как польется бензин на горячий мотор, как вспыхнет и затрещит...

Встала и другая картина: колеса глубоко вязнут в солончаковой жиже, самолет закидывает хвост, становится на нос и... тоже опрокидывается на спину и погружается в трясину. Исход один, и выбора у меня нет. Впрочем... Можно будет, пожалуй, попробовать сделать «компромиссную» посадку — сесть на озеро, но только как можно ближе к берегу, а может быть, и на самый берег, если там не будет саксаула...

Выключаю мотор. Стало слышно, как шипит, разрезаемый крыльями воздух и что-то снаружи дробно стучит по фюзеляжу.

Самолет снижался быстро. Вот уже совсем близко замелькали подковообразные вершины барханов. Вот-вот заденут колеса... Но гребни промелькнули, и самолет опустился на самой кромке пыльно-серого ковра. Он бежал, подрагивая, и вдруг резко убавил скорость, почти споткнулся. Я увидел, как противоположный берег впадины стал плавно подниматься вверх...

«Ну, все... опрокидывается! Сейчас хрустнет винт, хвостовое оперение...»

Я откинулся на кресле. Казалось, у меня остановилось сердце и замерло время. Самолет уже не падал, он повис на каком-то невидимом острие... на точке... Рука моя окаменела, сжав управление, и весь я со всей силой, со всем напряжением души и мысли ушел в этот порыв: удержаться, не опрокинуться!

Легкий шум прозвучал странно и неожиданно: самолет уронил хвост на землю. Я в изнеможении опустил плечи и облегченно вздохнул. Рука, сжимавшая ручку, бессильно упала на колени. Нет, не опрокинулся! Самолет цел, и все обошлось благополучно. Значит... значит... «Ничего еще не значит! Радоваться рано», — подумал я, разглядывая застывшие на стекле красные пятна и потеки.

Да, радоваться особенно было нечему. Самолет цел,

и это, конечно, хорошо, ну а дальше? А если я не сумею взлететь?

Я открыл дверку и выбрался наружу. Самолет стоял, глубоко увязнув колесами в сероватой пыли, странно и непривычно накренившись на нос и правый бок, будто рассматривая что-то в искрящейся поверхности солончака. Чуть пошатываясь и оставляя за собой глубокие следы, я побрел к мотору. С каждым шагом ноги мои увязали все глубже и глубже, и мне стало страшно: а что же там, дальше, если возле колеса я провалился выше колен?!

Пустыня молчала. И в этом молчании отчетливо, до жути, раздавались звуки, будто кто-то царапался о полотняную обшивку самолета. Я с недоумением и страхом шагнул в сторону и увидел: большая серая птица, степной орел, ударившись о мотор, застряла между цилиндрами, жалкая, искромсанная, и конец крыла ее, трепыхаясь от ветра, выколачивал дробь по обшивке. Как угодил этот орел в самолет? Случайно или сам напал? Мне приходилось слышать о таких нападениях, но я не верил, а теперь вот — факт налицо. Напал, конечно, увидев постороннего в своих владениях.

Забывшись, я сделал несколько шагов вперед и вдруг почувствовал, что ноги мои, не встретив опоры, погружаются в холодную маслянистую жидкость. Трясина!

Я в ужасе взмахнул руками, инстинктивно всем телом подался назад, упал на спину, перевернулся и пополз, загребая локтями пухлую податливую пыль. А когда добрался до самолета и сел на колени, то почувствовал себя до конца обессиленным. Долго сидел потом, приходя в себя и унимая нервную дрожь во всем теле.

Потом встал, стараясь не глядеть в жуткую черноту развороченного пыльного покрова, забрался на колесо и вытянул птицу за крыло. Скользнув по мотору, орел тяжело упал на солончак, нелепо задрав к небу могучую когтистую лапу. К счастью, он ничего не поломал в моторе, лишь выбил две тяги толкателей клапанов. Тяги у меня были в запасе: взял в мастерских, будто знал, что пригодятся.

Однако извозился я порядочно: весь, по самую шейку! И пахнет от меня, как от бегемота, принимавшего грязевую ванну. И в туфлях хлюпает. Противно!

Я еще раз огляделся. Все вроде бы, хвала аллаху, ничего — обошлось, да только вот как взлететь отсюда? Нужна площадка по меньшей мере метров шестьдесят в

длину, и, конечно, нужны люди, чтобы вытащить отсюда самолет. А где их взять — людей в пустыне?

Подавляя в себе растущее чувство одиночества и беспомощности, я оглядел сонливые, но настороженны ряды барханов, эти набегающие друг на друга странные гребни, плотным кольцом окружившие пыльное озеро. Нет, не выбраться мне отсюда!

Ну, это уже было ни к чему—поддаваться такому настроению. Я тряхнул головой, отгоняя от себя мрачные мысли, и, выбравшись из солончака, зашагал вдоль кромки озера. Но ничего утешительного не нашел. Барханы, барханы, кусты саксаула. Правда, если их подрубить, эти узловатые, крепкие, как железо, корни, то тогда, пожалуй, расчистив полоску возле самой кромки озера, можно и взлететь. Был бы у меня кетмень, может быть, я расчистил бы и сам... А кто поможет мне вытащить самолет? Провернуть винт для запуска мотора? Нет, без посторонней помощи мне не обойтись никак! И такие уж веские были эти «но», что на меня снова навалилось чувство безысходности. И я подумал: если не смогу взлететь отсюда, останется самолет стоять в озере, как памятнику, как молчаливый укор... Хороший, исправный самолет! И каждый раз, пролетая над ним, летчики будут указывать пальцем: «Вон видите, самолет стоит? Это посадил такой-то...» Меня даже передернуло от этой мысли. Ничего себе, попал в знаменитости! Памятник.

Солнце сплюснутым багряным шаром опускалось за горизонт. Вокруг угрюмо теснились барханы, в неподвижных кустах саксаула тоскливо шелестел ветер.

«Ну вот и ночь наступает, — подумал я. — А площадки нет. Разве только эта вот... Но она мала, ничтожно мала!»

Я стоял у пологого склона бархана, образовавшего у самой границы солончака узкую песчаную полоску метров двадцать длиной. Полоска была неровная, с буграми и впадинами, с корявыми кустами саксаула. Удлинить площадку невозможно: с одной стороны на нее надвигалась громада соседнего бархана, с другой она обрывалась глубокой выемкой. Мала, очень мала полоска! Но лучшего нет.

При других обстоятельствах я не стал бы ломать голову, можно или нельзя взлететь с такой площадки. Я просто сказал бы: «Нельзя!» Но сейчас стоило подумать.

Я медленно ходил взад и вперед, мучительно разду-

мывая, и вместе с тревогой где-то в глубине души у меня брезжило смутное, обнадеживающее воспоминание.

Что же мне вспоминалось? Какая-то узкая площадка или разговор о ней? Нет. Что-то из книжки? Тоже нет. Но что же, что?

И я вспомнил! Это было давно, в детстве. Так же надвигались сумерки, и тоже стоял самолет, и двое летчиков ходили возле него. Они говорили о короткой площадке, о взлете. И я, мальчишка, слушал их... Да-да! Надо, чтобы несколько человек держали самолет за хвост и крылья, пока пилот не даст мотору полные обороты. Затем по команде люди отбегают, и самолет чуть ли не с места оторвется от земли...

Да, все хорошо, красиво, но... Нужны люди! И за ними придется идти. Двадцать километров до автомобильной дороги, а там еще километров пятнадцать до колхоза. Сумею ли я без воды, по страшной жаре преодолеть эти первые двадцать километров? Раскаленные пески и жажда. Невыносимая жажда. От одной мысли об этом горло у меня перехватило спазмой.

Вспомнив о термосе с квасом, я поспешил к самолету и, чтобы как-то подбодрить себя, засвистел было песенку о капитане, который никогда не унывал, но звуки, едва возникнув, тотчас же гасли, растворяясь среди барханов, и молчание пустыни казалось вязким-вязким, властным, засасывающим, как песок.

Оборвав мотив, я молча дошел до самолета, думая о том, как открою сейчас термос и буду пить маленькими глотками, смакуя и наслаждаясь. Сначала я решил, что утолю жажду до конца, но потом передумал. Я выпью только одну чашечку, а остальное сохраню для предстоящего похода. Так будет лучше.

И вдруг, открывая дверцу кабины, вспомнил, что... оставил термос у дежурного по аэропорту! Вспомнил со всей отчетливостью и беспощадными подробностями. Забыл! Эх, ротозей!

Долго стоял я, потрясенный, всячески ругал себя за эту оплошность, могущую стать роковой...

Наступала ночь. В темнеющем небе одна за другой загорались звезды. Зябко поежившись от налетевшего прохладного ветерка, я посмотрел с сожалением на грязные брюки и туфли, еще не успевшие просохнуть, и полез в кабину. Примащиваясь на заднем сиденьи, безуспешно приноравливался удобнее положить ноги. Засыпая,

вспомнил, как вчера вечером в Чарджоу ходил с удочкой на Амударью и там текло много-много воды...

Мне снилась вода. Я пил ее, пил и никак не мог напиться. Потом буфет в аэропорту, холодная, запотевшая бутылка с квасом. Из горлышка, обдавая холодом, клочьями выползала пена. Она текла по рукам и по всему телу.

И вдруг я проснулся. В ушах моих явственно звучал детский плач: у-а! у-а! у-а!..

Я открыл глаза, не понимая, сон это или явь. Было холодно. В кабину сквозь занавески проглядывала полная луна. Звонко тикали часы на приборной доске, показывая одиннадцать часов, значит, я проспал всего два часа. Снаружи под чьими-то легкими шагами прошуршал песок, и тонкие детские голоса закричали нестройным хором: у-а! у-а! у-а!..

«Что за наваждение?!» — подумал я, отодвигая занавеску.

Вокруг самолета в ярком лунном освещении шныряли какие-то шустрые тени. Некоторые из них, вскидывая вверх остроносые морды, издавали тонкие протяжные крики, похожие на плач детей.

Шакалы? Откуда они здесь?!

Протянув руку, я нащупал ручку управления и резко дернул ее на себя. На крыльях с шумом сдвинулись элероны, громко стукнул руль высоты.

Шакалы мгновенно исчезли за барханом, будто их и не было, только следы остались на песке да перья от съеденного орла.

Я поднялся и сел. Все тело дрожало от пронизывающего холода. Тонкая полотняная рубашка с короткими рукавами, белые брюки и легкие брезентовые туфли, хорошо подходившие к знойному дню, ничуть не спасали от стужи.

Поглядывая в окно на появившихся снова нахальных хищников, я принялся ожесточенно потирать себе плечи и кисти рук, но теплее от этого не становилось. Казалось, небо с мерцающей россыпью звезд, ровный свет луны и бесконечная вереница барханов, далеко видимых в прозрачном воздухе, — все это источало холод. И не верилось, что днем здесь нестерпимо палит солнце...

Однако нужно было что-то предпринимать. Не сидеть же так, сложа руки, и коченеть от холода!

Решение пришло быстро: я пойду сейчас же! Это даже лучше, что я проснулся. От ходьбы согреюсь, и ночью

не так будет мучить жажда. Ну, а шакалы... Про них говорят, что они трусливы и никогда не нападают на человека.

Сборы были недолгие: я захватил планшет с картой и, открыв дверку, выпрыгнул наружу. Испуганно шарахнулись шакалы и где-то за барханами взвыли обиженными голосами. Резким холодом обожгло лицо, шею, голые руки. Я инстинктивно попятился назад, но тут же решительно хлопнул дверкой и, чтобы согреться, бросился бежать по направлению созвездия, которое наметил себе как веху.

Бежать было трудно. Ноги проваливались по щиколотку, разъезжались в стороны, в носки набивался песок. Пробежав каких-нибудь три-четыре десятка шагов, я остановился перед высокой кручей бархана. Вздрагивая от холода, сел, торопливо, не развязывая шнурков, сдернул с ног туфли, стянул носки, вытряхнул из них песок. Просто удивительно, как быстро он туда набился! Пока обувался, оценивающе посматривал на бархан. Вчера, намечая маршрут, я совсем упустил из виду, что мой путь лежит навстречу движущимся барханам и что мне придется брать их приступом с крутой стороны. Ах, если бы было наоборот! Тогда оставалось бы только взбегать по наклонному подъему и потом соскальзывать вниз...

Первые мои попытки взобраться на бархан были неудачны. Я бешено работал руками и ногами, но безуспешно. Из-под ног, увлекая меня за собой, лавинами осыпался песок. Планшет, висевший через плечо, все время соскальзывал вперед и путался в ногах. Только догадавшись пересечь подъем наискосок, я смог взобраться на бархан.

Туфли снова были наполнены песком. Непостижимым образом он набивался в носки и словно тисками сдавливал пальцы. Сел, разулся, вытряхнул песок, снова обулся. Поднялся, сбежал по бархану вниз и опять очутился перед песчаной кручей. Брать в лоб я ее уже не стал — обошел стороной. Вроде бы легче, а когда подумал, насколько длиннее из-за зигзагов будет мой путь, устрашился: «А хватит ли сил?!» Двадцать километров здесь смело превратятся в сорок...

Холодно светила луна. Мерцали звезды. С каким-то жутковатым звоном шелестел под ногами песок. Я шел и садился, вытряхивал песок, обувался и снова шел. Очень раздражал планшет. И зачем я его взял?

Пытался подсчитать, с какой скоростью я передвига-

юсь по намеченной прямой? Нормальный ход человека — шесть километров в час. Это по ровной дороге, а у меня? Ползу, как черепаха, часто останавливаюсь, да еще зигзаги делаю, обходя барханы. Не обольщая себя, делаю вывод: три километра в час, а то и два... Не очень-то!

Пальцы на ногах натерты в кровь. Вытряхиваю песок, засовываю носки в туфли и, перевязав шнурки, перекидываю их через плечо. Пойду босиком. Песок неприятно щекочет изнеженные ступни. Увязая по щиколотки, неприятно ощущаю разность температур: верхний слой холодный, чуть глубже — обжигающе-горячий. То и дело наступаю на колючие сучки. Теперь мне приходится еще смотреть под ноги, а я уже чувствую усталость...

Наступал рассвет. Впереди, на востоке, небо окрасилось в сиреневый цвет. Одна за другой гасли звезды, побледнела луна. И вот из-за волнистой линии горизонта, брызнув острыми лучами, выглянул краешек солнца. Он заметно шевелился и вдруг выплыл круглым ослепительным диском.

Первые же обильные лучи солнца вызвали у пустыни вздох. Я остановился, пораженный, поднял голову, прислушался. Да, именно вздох! Мне не показалось.

Уф-ф-ф! — прошелестело кругом, и сразу наступила тишина.

Собственно, до этого я не слышал никакого шума, но наступление тишины услышал сразу.

«Что же это был за шум? — подумал я, опускаясь на песок. — Ветер! Ветер и звон песка. Шум — это движение барханов!»

Я лег на спину и, отдаваясь теплой ласке солнечных лучей, блаженно потянулся. Сладко слипались веки, неудержимо тянуло ко сну.

Проснулся от ощущения жажды. Каракумы дышали зноем. Над гребнями барханов, словно струйки прозрачной воды, плясало марево. Это было так реально, что я, невольно сделав глотательное движение, тут же разочарованно отвернулся. То, что я увидел, заставило меня встрепенуться: у моих ног лихо носились по испещренному мелкой рябью песку две небольшие ящерицы.

Живые существа? Значит, близко вода! Я приподнялся на локте, жадно осмотрелся вокруг. Нет, только пески и... мираж.

Это совсем не вязалось с моим представлением о пустыне. Я всегда думал: если в песках нет воды, значит, нет и ни одного живого существа. Но вот ящерицы резво

бегают друг за другом и, как видно, не изнывают от жажды.

Подкараулив одну из них, я быстро накрыл ее ладонью, подержал немного, боясь упустить, но, не ощутив никакого сопротивления, осторожно приподнял руку. К моему удивлению, ящерицы там не оказалось. Странно! Куда же она делась? Не могла же она провалиться сквозь землю!

Я машинально ткнул пальцем в песок. Оттуда бойко выскочила ящерица. Отбежав в сторону, она припала животом к песку и стала мелко-мелко дрожать. Сухой песок расступился под ней, и через три-четыре секунды от ящерицы не осталось и следа.

Я сел и потрогал пальцами израненные ноги. Идти в туфлях нечего было и думать, а босиком страшно. Раз я видел ящериц, значит, здесь есть и змеи, и скорпионы, и тарантулы, и каракурты.

Но идти было надо, пока не припекло. Сон не освежил меня, и поэтому движения мои были вялыми, каждый шаг сопровождался болью в ногах и суставах.

С трудом поднявшись на очередной высокий бархан, я заметил торчащий из песка странной формы и расцветки сучок. Едва я поравнялся с ним, как сучок неожиданно сорвался с места и, злобно шипя, кинулся к моим ногам. Я остолбенел. Передо мной была ящерица сантиметров двадцать длиной. Остановившись у самых моих ног, она широко разинула безобразную пасть, злобно сверкнула выпученными глазками и вызывающе зашипела. У меня зашевелились под фуражкой волосы: кто знает, может, эта штука ядовитая, если так бесстрашно нападает на человека!

Ее толстое тело с кривыми когтистыми лапками было сплошь покрыто бородавками самых неожиданных расцветок. Ловко опираясь на тонкий подвижный хвост, она стояла на задних лапках и, раскачиваясь на месте, угрожающе раскрывала похожий на кошелек рот.

Я шикнул на нее, громко хлопнув в ладоши. Однако ящерица не испугалась, а, когда я шагнул, стремительно бросилась к моим ногам, норовя вцепиться в брюки.

Забыв, что стою на вершине бархана, я попятился назад и, увлекая за собой лавину песка, покатился вниз.

— Черт бы побрал эту ящерицу! — в сердцах заорал я, досадуя на свое позорное падение, но тут же осекся и замер: в двух шагах от меня, угрожая раздвоенным языком, ползла длинная змея. Я сжался от страха, ста-

раясь быть незаметным, а змея, ткнув голову в песок, вошла в него, словно в воду, и скрылась, оставляя на поверхности свой волнообразно изгибающийся контур.

Солнце стояло в зените, когда я, окончательно выбившись из сил, беспомощно уткнулся лицом в горячий песок. В висках оглушительно стучало, а в глазах сквозь розовый туман возникло видение: голубоватые каскады воды стремительно бежали меж огромных, покрытых мхом, валунов, с ревом ударялись о них, щедро разбрызгивая радужную пыль...

Я жадно тянулся к источнику, глотая ртом насыщенный влагой воздух, но в легкие огненной струей врывался зной пустыни. Сухой, распухший язык шершавой теркой обдирал нёбо.

Подняв отяжелевшую голову, я долго с лютой ненавистью смотрел на песчаную кручу, на которую так бесплодно тратил свои последние силы. Вот граница, выше которой мне никак не удается проползти: сухой кустик какой-то травы. Чуть выше, совсем близко от вершины бархана, завораживая взор, свешивался гладкий корень саксаула. Доползти бы до него, дотянуться пальцами... Я снова уронил голову, полежал некоторое время, набираясь сил, потом, опершись о песок руками, медленно поднялся на колени. Долго, как ребенок, который учится ползать, качался, удерживая равновесие. Не спуская завороженного взгляда с выступающего из песка корня, пополз вверх.

Песок струйками стекал вниз под ободранными, расцарапанными в кровь коленками. Не замечая боли, стиснув зубы, я с отчаянной настойчивостью двигал руками и ногами. Я знал: если прекращу движение и сползу назад, то уже больше не наберусь сил, чтобы подняться и снова ползти вверх. А это значит — конец! Нелепый конец... Может быть, у самой дороги, от которой до реки не больше ста метров. Надо подняться! Подняться во что бы то ни стало! Добраться, ухватиться руками за корень, и... тогда я спасен! Мне страстно хотелось верить, что этот бархан — последний на моем пути.

Вот почти рядом, качаясь в розовой дымке, показался сухой кустик травы. Кустик долго стоял на одном месте, потом растворился, исчез, а вместо него в каких-нибудь полутора метрах выплыл гладкий, отполированный ветрами корень. Он то приближался, то снова удалялся, притягивая к себе и дразня. А я все двигал, двигал руками и ногами, яростно глядя на корень.

Круче стал подъем. Сверху вниз устремлялись многочисленные песчаные ручейки. Сливаясь в общий поток, накапливаясь, они готовы были сокрушительной лавиной обрушиться на меня, отбросить назад.

Я видел, с какой угрожающей быстротой подтачивался, заострялся и нависал надо мной массивный карниз бархана и медленно, очень медленно приближался корень. Еще немного — и карниз обрушится. Еще два-три движения — и я у цели!

В последнем отчаянном рывке я только успел зажать немеющими пальцами корень, как навалилась тяжесть. И снова в розовом тумане запенился, зашумел поток...

Я открыл глаза. Поток исчез, но шум остался, ровный, жужжащий. Мелкой дрожью сотрясался бархан, прыгали бесчисленные песчинки.

Я не сразу догадался, что это за шум и почему трясется надо мной бархан, а когда понял, подтянулся из последних сил, перевалился грудью через кромку бархана и, очутившись наконец на его вершине, увидел: по дороге, подскакивая на ухабах и поднимая пыль, удалялась рейсовая почтово-грузовая автомашина.

Тяжело, с перебоями заколотилось сердце, гоня по венам сгустившуюся кровь. Я перевернулся на спину и, силясь не потерять сознание, стал смотреть на небо. Вверху парил ястреб. Внезапно, сложив крылья, он камнем ринулся вниз. Я проводил его глазами до самой земли и, когда ястреб исчез за густой порослью кустарника, вдруг понял, что пустыня кончилась и что где-то рядом должна быть река.

Я приподнялся и сел. Положил на колени локти, подпер ладонями подбородок. Кружилась голова, к пересохшему горлу колючим клубком подкатывалась тошнота. Когда прошла слабость, осторожно, чтобы не упасть, я поднялся сначала на колени, потом встал во весь рост. Теперь я видел крутую излучину реки. Это был уже не мираж и не галлюцинация. Сухие, потрескавшиеся губы сами по себе растянулись в торжествующей улыбке. Я не удержался и, полуобернувшись, показал пустыне кулак.

С трудом передвигая одеревеневшие ноги, падая и ломая кусты, продирался я сквозь колючие заросли. А когда увидел пологий песчаный берег, без сил упал на колени и, задыхаясь от нетерпения, пополз к воде...

На следующий день, сопровождаемый большой группой всадников, я верхом на коне подъезжал к своему самолету. Председатель колхоза, тучный пожилой туркмен,

тяжело повернувшись в седле, показал камчой на ровную поверхность пыльного озера:

— Озеро Шайтана. Ни одно животное не посмеет перебежать его. Даже птицы над ним не летают. Ты счастливо отделался.

Всадники спешились. С любопытством поглядывая на самолет, отвязали от седел кетмени.

Через час, нарушив молчание пустыни, зарокотал мотор. Испуганно шарахнулись кони, приседая на задние ноги, ошалело затрясли головами. Колхозники-туркмены, не скрывая страха, крепко держали самолет за хвост и крылья. Я махнул рукой. Самолет рванулся с места и, скользнув колесами по расчищенной площадке, легко оторвался от земли.

Я набрал высоту, сделал над колхозниками прощальный круг, трижды качнул крыльями, и взял курс домой.

Новые маршруты

А дома меня ждал приказ, согласно которому я переводился в Ташкент на работу в транспортный отряд Узбекского управления ГВФ.

Ну, в Ташкент так в Ташкент! Новая техника, новые трассы. Горы. Города. Большие расстояния. Размах. В Турткуле все маршруты укладывались на одной стороне планшета, а сейчас нужно делать «гармошку». Летишь, летишь — город! Самарканд, или Фрунзе, или Ош. А чтобы добраться до них, нужно горы пересечь. Снеговые. Высокие-высокие, великолепно величавые. В ледяных сверкающих шапках. Дикое нагромождение скал, стремнины, долины, пенистые реки. Как глянешь вниз, от восторга захватывает дух. И какое это счастье все-таки — быть летчиком! Все видеть, все любить. Ведь это ж наслаждение — моя работа! Летать, летать, летать — вот мой девиз. Красиво летать, хорошо, четко. Придираться к себе. Совершенствоваться. Точно в назначенное время вылетать. И я вылетал — минута в минуту. Как можно больше перевезти грузов, почты, пассажиров. И я возил, хотя в план работы летчиков тонно-километраж не входил, летчику засчитывался только налет часов.

Нет загрузки? Что ж, приветик! И летчик вылетал на пустом самолете.

Говорю таким:

— Слушайте, ребята, куда это годится?

— А что, — отвечают. — На это начальство имеется. По загрузке. Оно и зарплату за это получает.

— Зарплату, значит? А если это наземное начальство недосмотрело или не имеет совести, тогда как? Вот ты сейчас полетишь за полтысячи километров в бесполезный полет, сожжешь горючее, сработаешь материальную часть, да еще зарплату за это получишь и за налет часов. А польза? Никакой. Вред один.

Пожимают плечами:

— Не нами установлено...

Не нами... Прилетаю в промежуточный порт, разгружаюсь. Мне лететь дальше, а дежурный равнодушно говорит:

— В Турткуль загрузки нет, лети так.

А у меня уж и ноздри раздулись:

— Нет загрузки? Как это нет?! Не верю! Парразиты вы и лодыри!..

Швыряю планшет, сумку с бортовыми документами, бегу в склад, а за мной — оскорбленный «паразит и лодырь» чуть не с кулаками.

На дверях табличка: «Вход посторонним воспрещен»,— плевать! Влетаю, окидываю взглядом горы ящиков и тюков и тут же нахожу груз в порт моего назначения.

Взрываюсь окончательно:

— Это что?! А это что?! И вот еще! Да тут на десять самолетов хватит! Ну, как тебя назвать за это? «Нет загрузки». Вредитель ты, долгоносик амбарный!..

За такие слова можно было бы и по носу схлопотать, но меня боялись, потому что думали: раз так смело перекрещивает, значит, кто-то у него за спиной стоит. А кто стоял за моей спиной? Никто. Сознание одно и только. Но им казалось, что стоит. Да, собственно, так оно и было: у меня-то сознание правое, а у «долгоносика» нет. Он уже все моментально подсчитал и взвесил. Ему нарываться на скандал невыгодно — осудят да еще накажут, и строго, ибо действительно — такое отношение к своим прямым обязанностям равносильно вредительству: «На кого работаешь? Ты зачем сюда поставлен?..»

И я всегда улетал с полной загрузкой. И пусть хоть мне за это не платили, я был счастлив сознанием своей нужности для дела.

К нам пришли новые самолеты ПР-5. Почти то же, что и П-5, только в пассажирском варианте. Серебристого цвета, с красной стрелой вдоль округлого фюзеляжа,

с обтекателями на колесах. Уютная пассажирская кабина на четыре человека, три окна-иллюминатора по каждому борту, шелковые занавесочки, и пилотская кабина закрывается от непогоды подвижным прозрачным фонарем. Красавец самолет! Изящный, стройный.

Я получил такую машину и очень гордился своим самолетом, и любил его, как живое существо. Его было за что любить, потому что он давал мне ощущение собственной значимости. С его помощью я участвовал во всем большом, что происходило в стране: строились ли новые заводы, или возникали города, или врезались в пустыню оросительные каналы, или вставали буровые вышки, — все так или иначе проходило через кабины наших самолетов. Геологи, биологи, технологи, врачи, мелиораторы садились в пассажирские кресла, захлопывали дверку, счастливые от сознания, что вот сейчас они легко и просто сделают прыжок через пустыню. Они летели созидать, и я относился к ним бережно.

Можно провезти человека по трассе так, что в аэропорту прибытия его вынесут из самолета на носилках. А можно так, что он почти и не почувствует болтанки. Но для этого надо лететь на высоте не менее трех тысяч метров, подвергая, правда, себя и пассажиров некоторому кислородному голоданию. Взлетев, я сразу же ставил самолет в набор высоты. Внизу, в кипении нагретых, взбудораженных струй, машину так швыряло, что порой страшно становилось не только пассажирам, но и мне самому. А наберешь три тысячи метров — и словно бы проткнешься через пыльный потолок в чистый-чистый, прохладный и спокойный воздух. Под тобой лежит ровным слоем пыльная мгла, сквозь которую едва просматривается пролетаемая местность. Самолет словно замер, не дрогнет. Пассажиры спят. Вот и вся реакция на кислородное голодание. А ты сидишь, опершись локтями в коленки, и двумя пальцами держишься за «бублик» ручки управления, ноги на педалях. Смотреть некуда, да и не на что: все давно пересмотрено, все изучено, только на компас разве. Перед тобой три часа полета. А от сознания, что тебе еще предстоит сделать два полных рейса туда и обратно, становится скучновато, и ты набираешься терпения. Для общего дела.

Просидеть неподвижно в кабине восемь часов под монотонный гул мотора — трудно, да тем более летая по одной и той же трассе, в одних и тех же условиях: жара, пески, пыльная дымка, мутные воды Амударьи. Почи-

тать бы в полете, да как? Я всегда вожу с собой книги и журналы и в портах в свободные минуты читаю. А в полете? Сколько времени зря пропадает! Почитать бы!

Не спуская глаз с горизонта, достаю журнал «Вокруг света», кладу его на колени, раскрываю. Интересный рассказ, с продолжением. И едва отвлекся, мотор — гав-гав-гав! Взгляд на горизонт, легкое движение ручкой, ножными педалями. Исправил, и опять глаза в страницу. И снова — гав-гав-гав! Ну что за чтение?

Лечу несколько минут, вперившись взглядом в горизонт. Ровно лечу, хорошо. В воздухе спокойно, а журнал прожигает коленку. До чего ж интересный рассказ!

Нет, надо все-таки как-то устроиться! Соображаю: как? Самолет вообще-то устойчивый, в спокойном воздухе горизонтальное равновесие его можно отрегулировать стабилизатором, а курс можно контролировать по компасу. Что касается встречных самолетов, их на этой высоте здесь нет. Г-2 летают на шестьсот—восемьсот метров, мои друзья по ПР-5 выше тысячи не забираются. Говорят, что нечем дышать, мало кислорода. Глупости какие! Я-то летаю — и ничего. И пассажиры не жалуются.

Вожусь, регулирую, соображаю. Я занят экспериментом, и мне уже не скучно. Констатирую факт, так, для себя: когда человек занят — работает, увлекается, время для него идет в другом порядке. На земле прошел час, а ему кажется, что несколько минут! А если всегда и во всем увлекаться, гореть, искать, так это ж здорово, черт побери!

Отпускаю ручку. Так хорошо! Стабилизатор отрегулирован, и самолет летит как надо.

Беру журнал, читаю, но сам настороже, и до меня не доходит смысл прочитанного, потому что слушаю, а как мотор? Сначала ничего, а потом гав-гав-гав! Ясно! Изменился режим полета. Смотрю на горизонт, на компас, исправляю курс. Незаметно для себя я надавил чуть-чуть на левую педаль, и самолет стал разворачиваться влево.

Так, что же делать? Ага, очень просто. Надо разрабатывать в себе угловое зрение: одновременно видеть и страницу журнала и стрелку компаса, благо, он стоит удобно, на полу кабины. Провожу эксперимент. Получается, но плохо. Я немного резковато подправляю курс ногой. Приноравливаюсь делать это деликатней. Не очень-то на первых порах. Но ведь если взяться!

Читаю и вижу стрелку компаса. Все больше и больше читаю, все реже и реже отрываюсь. И я уже не в самоле-

те: я в дебрях Африки, продираюсь сквозь лианы, мчусь на пироге по бурным притокам Конго.

Гляжу на часы и не верю своим глазам: через двадцать минут посадка!

Теперь я стал брать в полеты кипы журналов и толстые книги. С утренней зарей взлетал, с вечерней садился. И еще бы летал, да день кончался быстро.

Выбирался из кабины с чувством сожаления и без всякой усталости, будто кто-то другой вел самолет, а не я.

Сквозь ураган

Над Турткулем с утра нависла знойная тишина. Полосатый ветроуказатель на мачте бессильно повис, на виски давила тяжесть. Люди всматривались в мглистое небо, по которому медленно взбирался необычно красный диск солнца. Быть буре!

Радист Криушин с утра безуспешно пытался установить связь с северным и базовым аэропортами. В эфире творилось что-то невероятное. Криушин сорвал с курчавой головы наушники. Комната наполнилась писком, злобным шипением и частыми взрывами атмосферных разрядов.

— Попробуй тут разберись! — ворчал радист, просматривая тексты принятых радиограмм. — Но кое-что есть: Чимбай запрашивает самолет для пассажиров и больного. Просит очень, что-то там случилось. Погода хорошая, ясно, штиль.

Криушин открыл небольшое окошечко, пробитое в стене, передал радиограммы дежурному.

Взлетев, я сразу же стал набирать высоту. В воздухе было спокойно, даже чересчур спокойно, и это мне не нравилось, потому что выходило из рамок обычного. Местность внизу едва просматривалась. Все было серо: воздух, земля, небо. С каждой сотней метров земля различалась труднее и труднее и наконец скрылась совсем. Самолет, однообразно гудя мотором, повис в пространстве. Глазу не за что было зацепиться, терялось представление о «низе» и «верхе», и я перешел на слепой полет.

Скоро засветило над головой. Вперемежку с рваными клочками пыльной мглы замелькали голубые лоскутики чистого неба. В кабину щедро брызнули радостные лучи солнца, воздух засиял бирюзой. Три тысячи метров!

Постепенно, по мере удаления на север, мгла внизу начала рассеиваться, и вскоре воздух стал чистым и про-

врачным до самой земли. Скорее по привычке, нежели по необходимости, я всмотрелся в пролетаемую местность и удивился. Взглянул на часы, схватил планшет с картой, проверил время вылета. Все верно! Может быть, часы стоят? Снял кожаную перчатку с левой руки, завернул рукав комбинезона, сверил свои часы с бортовыми. Нет, часы идут правильно! Но почему же я вдруг оказался здесь, в конце маршрута, если должен в это время находиться где-то на половине пути? Неужели ветер? Сильный попутный ветер? Тогда какой же он силы?!

Схватил опять планшет, достал аэронавигационную счетную линейку, прикинул. Получилась несуразная цифра — сто восемьдесят километров в час! Нет, я, наверное, ошибся. Прикинул снова. Да, сто восемьдесят километров. Но ведь это же ураган!

Я сбавил обороты мотора и перевел самолет на снижение. Впереди внизу сквозь темно-зеленые шапки карагачей маячили белые стены аэропорта Чимбай. На земле стоял полный штиль. Это было видно по ветроуказателю и по нависшей в воздухе пыли, которую подняла давно проехавшая автомашина. Никаких признаков беспокойства или сигналов о надвигающемся шторме я не обнаружил. Странно. И на сердце у меня стало тревожно.

Вот из служебного здания вышел дежурный. Он посмотрел вверх и тотчас же побежал обратно, очевидно, за флажками. Значит, нас не ожидали так скоро. Вот снова выбежал дежурный. У него в руках белый и красный флажки. Он бежит к временной стоянке для прилетающих самолетов. Значит, по трассе все спокойно и обратный вылет разрешен.

Я посадил машину, подрулил к стоянке и выключил мотор с твердым намерением задержаться с обратным вылетом. Но задержаться мне не пришлось: в порту находился тяжело больной ребенок, ожидавший срочной хирургической помощи.

Метеорологические данные были в норме, и я полетел, взяв с собой на борт четырех женщин с двумя детьми...

По великим пустыням, поднимая на огромную высоту клубы раскаленной пыли, с бешеной скоростью, с ревом несся упругий вал. Стремительные потоки, срываясь с верхушек барханов, плотной непроницаемой стеной заслоняли мир. Небо сошлось с землей, померкло солнце. Стало темно и душно, запахло серой.

Ураган обрушился на Турткульский аэропорт внезап-

но, всей своей силой, всей тяжестью, с воем, с грохотом, унося с собой вырванные с корнем молодые деревца, кусты хлопчатника, листы железа, доски. В аэропорту повалило забор, в мгновенье ока сорвало и унесло в мрак ветроуказатель, как тростинку, пригнуло к земле, сломало высокую мачту. Туго натягивая стальные тросы, заплясали на привязи самолеты. Бежали люди, ослепленные, оглушенные. Свирепый ветер сшибал с ног, хлестал в лицо крупными горстями жаркого колючего песка, забивался в рот, в легкие. Песок был всюду — сухой, горячий, звенящий.

Начальник аэропорта Ларин, вспотевший от напряжения, стоял за спиной радиста, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

За стеной шумел ураган, могучими ударами сотрясал небольшое приземистое здание, тоскливо дребезжал стеклами. В комнате густой завесой висела пыль.

Криушин снял наушники, выключил аппарат.

— Шабаш, свистопляска! — сказал он и, размазывая грязный пот, устало провел ладонями по лицу. — Хоть плачь.

Обоим было не по себе. Полчаса назад они радировали в Чимбай, что у них благоприятная погода, разрешили выпустить самолет в обратный рейс и вот никак не могли наладить связь, чтобы задержать самолет. Телеграф не работает, по телефону не дозвонишься. Что делать, как сообщить? Пропадет самолет в ураган, сомнет его, ударит о землю...

В соседней комнате требовательно затрещал телефон. Ларин сорвался с места, бросил на ходу:

— Соединили с Чимбаем!

Самолет уже превратился в едва заметную точку, когда в Чимбай по телефону было передано сообщение: «Задержать самолет! Принять все меры по обеспечению его надежного крепления! С юга движется ураган».

Дежурный побледнел, выронил трубку. На другом конце нервничали:

— Алло! Алло!

Дежурный дрожащей рукой поймал трубку, хрипло прокричал:

— Поздно уже! Поздно! Вылетел! — В немом отчаянии схватился руками за голову. — Что делать? Что делать?

Летели бреющим, над самыми барханами. Горизонт был затянут сумрачной жаркой мглой. Ориентируясь по компасу, я не отрывал глаз от мелькающих под крылом редких кустов саксаула. Иногда мгла, сгущаясь, растворяла в себе и эту последнюю связь с землей. Я в страхе напрягал зрение, но самолет уже выскакивал из пыльной завесы и мчался дальше на юг.

Меня охватывало опасение. Так дело не пойдет. Если еще хоть немного ухудшится видимость, будет потеряна всякая ориентировка. Бреющим идти нельзя, опасно. Отрываться от земли и того хуже: тогда не найдешь, не нащупаешь ее в этой сумятице. Нужно выходить к реке, по ней можно найти город, а потом аэродром.

Изменил курс, и вскоре резко расступились барханы, затемнела поросшая кустарником пойма реки. За ней, сливаясь с общим фоном пыльной мглы, клокотала мутными водоворотами широкая Амударья. Река не принесла мне облегчения: чуть-чуть, неуверенной темной полоской выделялся ее низкий песчаный берег, который то и дело пропадал из виду в крутых поворотах. И мне становилось страшно.

В тьму я влетел внезапно. Самолет вздрогнул, как конь, остановленный на всем скаку, резко дернулся в сторону, повалился набок, и все перемешалось в густой песчаной кутерьме. Я замер, ожидая удара. Я ничего не видел, а широкая грудь реки была подо мной... Внезапно показалась кромка берега, но почему-то слева, вверху. Резкий рывок рулями — и машина, едва не черпнув воду, выровнялась.

В кабине, засыпая глаза, металось облако пыли. За бортом, заглушая мотор, ревел и свистел косматый ураган. От его ударов самолет то взлетал вверх, то проваливался, и в такт ему взлетала и проваливалась спасительная кромка берега — единственное, что связывало с жизнью нас, семерых человек... Иногда она на несколько секунд пропадала совсем, и я отрешенно ожидал удара. Но вновь из темноты выскакивала линия берега, и я вновь с горячей надеждой цеплялся за нее взглядом.

От бесконечных толчков и встрясок болела спина, ныли руки. А время ползло, ползло. Самолет едва двигался вперед против сильного ветра. Я уже потерял счет времени, продвигаясь к югу, пока наконец не вышел на город. Сначала разглядел пристань с причаленными каюками и плоскодонными катерами, потом совсем близко

закачались, запрыгали в песчаных вихрях телеграфные столбы, плоские крыши домов. Теперь мне надо развернуться влево. И едва я подставил крылья к ветру, как нас подхватило и понесло, и пока я исправил положение, потерял ориентиры. Мелькают какие-то крыши, не разобрать. Машину швыряет, бросает...

Внезапно прямо подо мной вынырнуло здание аэропорта с поломанной мачтой ветроуказателя. Я успел заметить, как высыпали люди из помещения, радостно замахали руками. Здание и люди так же внезапно утонули в тучах пыли. Садиться было уже поздно, нужно заходить против ветра.

Я понимал всю отчаянность своего положения. Трудно, почти невозможно будет снова найти аэродром по отдельным клочкам ставшей вдруг незнакомой местности. Вот южная граница аэродрома. Я узнал ее по тополям. Деревья клонились по ветру, сгибались. Опасаясь столкновения с ними, я слегка взмыл вверх и сразу же потерял из виду и тополя, и землю. В замешательстве несколько секунд пролетел вслепую. В стекла кабины густыми снопами летела горячая муть. Неожиданно самолет, будто наткнувшись на что-то, вздрогнул и, дико заревев мотором, повалился вниз. Инстинктивно я успел дать мотору полные обороты, и в ту же секунду неодолимая сила сорвала меня с сиденья.

«Конец!» — подумалось мне, и тут же с отчетливой ясностью я представил себе, как самолет, придавленный неодолимой силой урагана, с ревущим мотором плашмя ударится о землю...

Я ощущал необыкновенную четкость сознания. Страха не было, было только сильное чувство досады на то, что я побит в схватке с непогодой, не отстояв жизни своей и пассажиров...

Падение прекратилось неожиданно. Меня с силой швырнуло в кресло, и я ощутил под рукой живое дрожание рулей. Совсем близко промелькнуло дерево, сверкнуло озерцо. Жив! Жив! Проплыли глиняные крыши кишлака, прямоугольники огородов, ровные грядки хлопкового поля. Запестрела в глазах густая сеть наполненных водой арыков. Я жив! Да, это была жизнь, почти отнятая у меня и потом дарованная. В эти доли секунды я прошел школу, будто учился тысячи лет. И уже смотрел сейчас в свирепый оскал урагана без неприязни, потому что это тоже была жизнь со своими проявлениями, это был учитель, строгий и взыскательный. Он пре-

подал хороший урок, который пригодится мне в трудный час смертельной опасности.

И сейчас совершенно хладнокровно, цепляясь взглядом за отдельные ориентиры, я сделал круг и снова зашел против ветра. Мне повезло, я рассчитал правильно. Вот медленно подползают знакомые крыши колхозной овчарни. Сейчас будет аэропорт. Вот он!

Иду на снижение почти на полных оборотах. Поваленная мачта, разметанный забор. Согнувшись под ударами ветра, стоят наготове люди. Колеса коснулись земли, самолет, пробежав метров десять, замер на месте, весь дрожа и грозя вновь оторваться от земли под порывами ветра. Опасность еще не прошла, она тут, рядом. И если убрать обороты мотору, ветер поддует под крыло, опрокинет самолет, сомнет.

Но подбежали люди: один, другой, третий. Много людей, много радостных взволнованных лиц. Они что-то кричали мне, повисая на крыльях. И самолет стоял, подрагивая, словно возбужденный конь, познавший опасность и вышедший из нее победителем.

Дорулить до стоянки было тоже делом нелегким, но довели, привязали. Высадили пассажиров, увезли на «скорой» мальчика. Я тоже вылез, весь расслабленный и потрясенный. Не подавая вида, как мне плохо, стараясь твердо шагать и прямо держаться, направился в дежурку. Зашел за угол и, оглянувшись, не видит ли кто, прислонился к стене. Сейчас мне нужен был покой, хоть на несколько секунд, чтобы собраться и прийти в себя.

А за углом женские голоса:

— Какой плохой летчик попался: все время трясло, и сесть никак не мог...

Это была оценка мне. Что ж, может быть, и правильная...

Без вести пропавший

Четыре пассажира: двое мужчин и две женщины, все молодые и симпатичные, летели с каким-то важным заданием в Ургенч. И очень спешили. Они обязательно должны быть там в этот же день. Обязательно!

Их провожал сам начальник Узбекского управления ГВФ. Ну, раз сам, значит, действительно очень важно. И я тоже преисполнился значимостью этого полета.

Синоптик Костя Гребенюк, давая мне сводку погоды по трассе, сказал:

— Вообще-то все вроде бы нормально, но ты там поглядывай. Что-то мне эти миллибары-изобары не нравятся.

Костю летчики любили. Он хоть молодой, но башковитый. И бывало так: все кругом ясно и прекрасно, а он говорит: «Не очень-то там доверяйтесь, погода испортится». И даже пояснял, когда и как. И точно, все выходило так, как он сказал.

Особенно он опекал нас, «одномоторных пиратов», не оснащенных рациями, а потому беспомощных в затруднительных обстоятельствах.

Вот и сейчас, раз уж Костя сказал свою знаменитую фразу — «миллибары-изобары не нравятся», значит, он обеспокоен. Но свежие радиосводки докладывали: по всей трассе — ясно. Штиль. Дымка. Видимость пять километров.

Мне лететь почти за тысячу километров. Первый прыжок трехчасовой, через горы, минуя Самарканд, на Чарджоу, где я должен сесть на заправку. И оттуда на Ургенч, два с лишним часа, через пустыню Каракумы. Веселенький маршрут, хороший. Но времени в обрез: весь полет — шесть часов, да в Чарджоу на заправке потеряю час, итого семь. И мне останется до захода солнца полчаса.

Все рассчитано, все взвешено. Вылетаю с шиком, точно в назначенное время, минута в минуту, и сразу же набираю высоту. Через час полета передо мной встанут горы, и их надо будет перешагнуть через Джизакский перевал. А если он забит облаками, то самолеты в рейс не пускают. Самое нудное место! Другой раз сидишь в Самарканде, до дому рукой подать, один час двадцать минут полета, и погода кругом отличная, а перевал закрыт — сиди! Иной раз по двое, по трое суток высиживаешь. Какой синоптик попадется: другой, который вредный, да еще захочет показать свою власть, выйдет, посмотрит, увидит — облачко к скале прилепилось, все, перевал закрыт.

Вокруг взвешенная муть, видимость неважная, словно смотришь через кисею, и горы просматриваются плохо. Набираю еще тысячу метров и пробиваюсь в чистый воздух. Все видно хорошо, но гор нет, гряда облаков. Вот тебе на! А по сводке все открыто. Как же быть? Возвращаться?

Да... Трудное дело — возвращаться... Для каждого летчика это прежде всего вопрос чести. Удовольствия

такое возвращение не принесет никому. Прерванный полет — это уже чья-то недоработка. Нагорит синоптику — раз. Диспетчеру — два. Прибавится минус в работе управления — три. Летчик здесь не виноват, конечно, и никому даже и в голову не придет упрекнуть его в этом. Но где-то глубоко-глубоко в подсознании людей отложится минусок в определении качеств этого летчика и как человека и как пилота. Один минусок, другой минусок, третий, — и, пожалуйста, количество перейдет в качество! А кому хочется минусового качества? Никому! А мне тем более. Хочу плюсы. Хочу летать отлично. Но ведь это само собой не придет, отличное качество-то! За него надо бороться, настырностью, умом, уменьем. Жизнь ставит перед тобой задачи, решай их смело, но с разумом, конечно, на рожон не лезь!

Примерно в таком духе рассуждал я, подлетая к гряде слоистых облаков, закрывавших горный хребет. Возвращаться, конечно, я не был намерен, но лезть в эту кашу все-таки было страшновато. А может быть, там, за слоистыми облаками, да вдруг будет «рожон», в виде грозовых? А с ними шутки плохи, может так тряхануть, что куда хвост, куда крылья! Да и скалистые пики рядом...

А время идет, и самолет тащит меня, тащит прямо в неизвестное. Сердце сжимается, сжимается... А с собой я уже ничего не могу поделать. Не могу свернуть, решил!

Облака ближе, ближе... Летят навстречу со скоростью сто восемьдесят километров в час.

У-у-ух! Ворвался! Сразу стало слышно, как вибрируют расчалки, как поет мотор и свистит в неплотно прикрытой форточке ветер.

Все мое внимание на приборах: нервная стрелка «пионера», подрагивая, стоит вертикально, значит, самолет летит по прямой, и чуткая стрелка компаса это подтверждает. А вот стрелка вариометра мягко и настойчиво полезла вверх. Смотрю на указатель скорости. Сто восемьдесят километров в час! Ну, все понятно: мы попали в восходящий воздушный поток. Вверх не страшно, лишь бы не вниз.

Я занят, и у меня в кабине уютно-уютно. И я уже посмеиваюсь над своими страхами, чуточку горжусь собой. Вот и еще приобретенный опыт! В копилку его!

Через четверть часа облака кончились. Здесь воздух прозрачен и чист. Справа от меня видны просторы Кызылкумов, слева — долина Зеравшана с плодородней-

шими землями, с древними городами. Впереди — Бухара, а потом Чарджоу, но там что-то творится. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что это «афганец» — пыльная буря, ураган, который налетает внезапно из Афганистана.

Ну вот и, пожалуйста, еще задачка! Что делать? Чарджоу закрыт, это ясно, и лететь туда по меньшей мере глупо. Пассажиры мои до Ургенча. А что если...

Я заерзал на сиденье: ох и заманчиво! Рвануть прямо в Ургенч, через пустыню?! Правда, это грубое нарушение, за уклонение от трассы по головке не погладят, ну, а если обстоятельства заставили?

Под «давлением обстоятельств» беру новый курс. Страшновато, конечно, а вдруг откажет мотор? И допустим, я сяду нормально где-то в песках, но кто нас там найдет? Да и кому вообще придет в голову искать пропавший самолет в пустыне?

Риск, риск и риск. Но все же сворачиваю. Теперь мы летим наперегонки с «афганцем». Кто кого!

Беру планшет, нахожу на карте свое местонахождение, замеряю расстояние. Пятьсот километров. В идеальных условиях — два часа и сорок минут полета. Не так-то уж много. Впрочем... Я забыл про пассажиров! Ну, там... помыться-побриться захочется, а условий нет...

Подумав, решил: спрошу у них самих. Достаю блокнот, пишу записку. Слева за моей спиной — окошечко в пассажирскую кабину. Вырываю листок, сворачиваю, передаю.

Читают, переглядываются, смеются, пишут ответ:

«Это очень хорошо, что мы так скоро будем на месте. Ради этого мы готовы потерпеть. Дерзайте!»

Ну, тогда, как говорится, с богом!

Летим. Ровно, спокойно. Под нами пустыня. Там-то внизу жарко, конечно, а здесь, на высоте, термометр на стойке показывает плюс пять. Прохладно, и мои ноги стынут, часто вызывая вполне известные ассоциации. У меня-то все нормально — есть приспособление, а пассажирам каково? Переживаю. Однако тут же отвлекаюсь. Меня всегда волнует пустыня, когда я лечу над ней. Волнует своей загадочностью, своим прошлым, скрытым под толщей песков. Вон из-под барханов едва проглядывают контуры развалин крепостных стен и сети оросительных каналов: и это в самом центре пустыни! Значит, здесь когда-то жили люди. Но когда? И что за-

ставило их уйти отсюда? Какое бедствие? Пески? А откуда они взялись, эти пески, и почему? Тайны, тайны, тайны... Походить бы там, покопаться. Прикоснуться б рукой к великому прошлому. И невольно отсюда, с высоты трех километров, я прикасался к этому прошлому. Мысленно снимал песчаный покров, возрождал города, поселения, заселял их людьми.

И все мое существо наполнялось трепетным чувством волнения, необыкновенного счастья. И всякий раз я признавался себе в том, что люблю, люблю до самозабвения свою чудесную профессию.

Может быть, конечно, она не для всех летчиков была такой, но это уж зависело от взгляда на профессию и на самую жизнь. Если ты не будешь чувствовать себя неотделимой частицей этой жизни и не сумеешь слиться с ней, деятельно, гармонично, не будешь дерзать, искать, увлекаться, познавать, то существование твое будет серым и бесплодным, мучительным для тебя самого и для людей, тебя окружающих.

Ну вот, пустыня помогла мне скоротать время, а ураган сократил мой полет. Я все время видел его. Он шел слева грозной в своей неистовости красновато-коричневой тучей песка, поднятого на высоту трех тысяч метров, и двигался на северо-запад, к Ургенчу. Но мы были впереди.

Где-то на севере создалось низкое атмосферное давление, и воздушные массы, сдвинувшись и приобретя инерцию, ринулись туда, чтобы заполнить пустоту. И мы, подхваченные воздухом, преодолели четыреста километров за час.

И вот мы над поймой реки. Здравствуй, великая и своенравная Амударья! Теперь нам веселей, мы вышли на трассу, и на сердце у меня празднично, и до посадки осталось пятнадцать минут. Я обернулся и посмотрел через окошечко на пассажиров: как-то их самочувствие? Они поняли, что полет подходит к концу, и на их лицах я увидел радость.

Я с ходу сел, торопливо подрулил к стоянке и выключил мотор. Мои пассажиры быстро покинули самолет, а дежурный, поздоровавшись, спросил, откуда я явился: все порты давно закрыты, и в эфире творится черт-те что — ни по радио, ни по телеграфу связи нет.

А когда я сказал, что из Ташкента, он засмеялся: «Брось разыгрывать! Ты из Турткуля!»

Ураган налетел через сорок минут и свирепствовал четыре дня. И все эти дни Ташкент был в тревожном неведении: куда девался самолет с четырьмя пассажирами на борту, раз он не прилетел в Чарджоу?

Почтовый скоростной

А я летал себе и летал и все новости узнавал самым последним.

Мне сказали:

— Что ж ты?

А я ответил:

— А чего я?

А мне сказали:

— Ну как же! Ты что, не знаешь? Из Москвы пришло распоряжение послать пять летчиков в Тбилиси, в учебно-тренировочный отряд, для изучения и освоения новой материальной части. Двухмоторный, почтово-скоростной, по фамилии СБ, или ПС-41. Классная машина, пальчики оближешь. Ясно?

У меня екнуло сердце от недобрых предчувствий:

— Ну и что?

— Как что? Он еще спрашивает! Уж кому-кому, а тебе бы самый раз на нем летать!

И я все понял: обыграли, значит, обошли...

Упрямо спросил:

— Ну и что?

— Заладил свое: ну и что, ну и что. Уже назначили, кому ехать.

— Это кому?

Мне перечислили «кому».

Я опустил голову, к горлу подкатил горький комок обиды.

Да, конечно, если так посмотреть, — все летчики достойные. Ну, а рассуждая логически, то какой же смысл осваивать новую матчасть человеку, который по тем или иным положениям не будет на ней летать? Командир отряда Вотенцов, например, или его заместитель Пантелли, или, скажем, Алексеев Илья, летающий в Кабул? Что для них этот самолет?..

— Не вешай голову, — говорят мне, — иди добивайся!

И я пошел. Разыскал Вотенцова и срывающимся голосом, без обиняков:

— До каких пор, товарищ командир, вы будете меня

держать в черном теле? Я что — такой уж плохой летчик, что...

Вотенцов сразу понял, о чем я, и смущенно:

— Ладно, ладно, не кипятись, обмозгуем это дело.

И действительно, дня через три мне говорят:

— Собирайся, поедешь...

Так и поехал я, шестым, вроде бы полуофициально. Во всяком случае таким я себя чувствовал.

Самолет мне понравился очень. Чуткий, маневренный, скоростной. А высоту набирал после взлета так, что даже страшновато становилось с непривычки. Лезет вверх, как оглашенный. Десять метров в секунду!

Освоили, оттренировались, вернулись домой. А тут и самолеты пригнали: пять штук. Стоят, красавцы, под новыми чехлами. Я на них не смотрел. Не рассчитывал: куда уж там! Летал себе на своем ПР-5, возил пассажиров в разные концы, по разным трассам: Самарканд, Андижан, Фергана, Ош, Алма-Ата.

И опять до меня задним числом доходят сведения. Первым полетел на новом ПС-41, как и положено, сам командир отряда Вотенцов. Хороший летчик, ничего не скажешь, но аэродром в Ургенче ограниченный, для скоростных самолетов совсем не приспособленный, и поэтому мазать на нем не положено, а Вотенцов промазал! И пришлось ему устраивать «кордебалет» в конце пробега — разворачивать машину на скорости с помощью мотора.

К счастью, шасси выдержали крутой скоростной поворот, все обошлось, но начальник управления снял Вотенцова с самолета. Полетел второй. Тоже летчик неплохой. И с ним такая же история! И с третьим! И с четвертым! Тут уж сказался психологический фактор— недоверие к машине и боязнь промазать. И уж очень смущала зона отчуждения, где местные жители из соседних кишлаков брали возле самого летного поля песок для строительных нужд, и поэтому полоса подхода была вся испещрена крутобокими ямами. Посадочное «Т» лежало метрах в тридцати от этих ям, и нужно было уметь приземлить машину точно у полотнища. Для тихоходных Г-2 это не представляло труда, а для скоростных — проблема.

Напуганный начальник управления, чтобы избежать в дальнейшем неприятностей, поставил машины на прикол. Стоят пять красавцев самолетов под новыми чехла-

ми, не летают. Месяц не летают, два не летают. Из Москвы запрос: «Почему не летают самолеты?»

В трудное положение попало начальство: летчики отстранены, посылать некого, да летчикам и самим-то уже расхотелось летать на такой машине. Ни к чему! Что делать? Пока соображали, из Москвы второй запрос, строгий: «Под личную ответственность!»

И тут вспомнили про меня. А я давно не летал на этом самолете, и для порядка мне нужно было дать контрольно-тренировочные полеты и чтоб в летной книжке отметка была: «проверен», «допущен». А кто даст такие полеты и где? Договорились с военными летчиками.

Капитан Синченко Николай Михайлович, лет сорока, худощавый, темноволосый, с живыми карими глазами, надевая парашют, окинул меня быстрым изучающим взглядом с ног до головы. И его манера надевать парашют, застегивать карабины, и быстрый оценивающий взгляд выдавали в нем летчика в полном смысле этого слова.

— Давно летал? — спросил он, щелкнув карабином грудной перемычки.

— Давно, — сказал я.

— Машина нравится?

— Очень! — ответил я.

— И правда, великолепный самолет, — согласился он. — Ну, пошли садиться.

Мы полетели в зону, и я показал ему, что умею. Покрутились, повертелись.

— Разминайся! Разминайся! — кричит он мне по телефону. — Давай боевой разворот!

Я сделал, но вяло.

— Эх, тюлили-малина! — крикнул он. — Давай-ка я!

И сделал такой боевой разворот, что у меня чуть глаза на лоб не повылезали.

Сели мы вроде бы неплохо, а он говорит:

— Знаешь, аэродромы-то у нас для этих машин ограничены, поэтому, чтобы точно рассчитать, подходи ближе к «Т» и после третьего разворота выпускай полностью посадочные щитки. Понял?

Я даже поперхнулся:

— Что-о? Разворот со щитками? А можно?

— Еще как! — ответил Синченко. — Испытано и верно. Давай попробуем!

На расчете после третьего разворота я все пытался убрать моторы, а Синченко мне не давал.

— Рано, рано! — кричал он. — Подходи поближе! Ближе! Еще ближе!

Ну, это уже ни в какие рамки не входило: так близко я еще никогда не рассчитывал, даже на У-2!

— Убирай газы! — кричит Синченко.

Я полностью убираю моторы.

— Выпускай щитки!

Толкаю от себя рукоятку щитков. Машина резко клюнула носом и, когда я ввел ее в глубокий разворот, стала валиться вниз, как камень, и в то же время была послушна рулям.

Это было здорово, черт побери! Посадочное «Т», вот оно, перед самым носом, и, когда я вывел самолет из разворота, мне все отлично было видно и я уже знал точно: сядем как раз возле самого «Т»!

Так оно и было! Я в восторге и весь в ощущении энергичного снижения, крутого разворота и мягкой-мягкой посадки. Вот это самолет так самолет! А летчик-то! Летчик! Ну, умница!

Машина бежит еще по прямой, а он обернулся ко мне, глаза сияют:

— Ну, как? Понравилось? Вот то-то же! Сделаем еще?

— Сделаем!

Синченко написал обо мне самый восторженный отзыв, чему я немало смутился. Это им надо было восторгаться, а не мною. Щедрый подарок он сделал мне, научив так красиво и смело рассчитывать.

Спасибо, Синченко!

Дня через три меня вызывают. Мне нужно сделать несколько тренировочных посадок уже на нашем самолете и на своем аэродроме. Ну что ж, это правильно. Я должен прочувствовать машину, на которой буду летать.

Иду к самолетам. Возле одного из них, расчехленного, отвязанного, копошатся люди: инженер отряда, всеобщий любимец Пантин, коренастый, подвижный и круглый, как колобок, и бортмеханик самолета, он же по совместительству радист Алексей Бондаренко, славный парень с густой шевелюрой вьющихся волос, и два моториста. Подхожу, смущенно здороваюсь. Не привык я к такой обслуге.

Бондаренко докладывает: все в порядке, моторы опробованы, можно выруливать.

По лесенке взбираюсь на крыло, вынимаю из кабины парашют, разбираю лямки, надеваю, подгоняю карабины. Бондаренко тоже снаряжается и лезет на крыло.

Забираюсь в кабину, усаживаюсь, застегиваю ремни и вживаюсь в приборную доску. Пока готовлю моторы к запуску, Бондаренко лежит на крыле и смотрит, все ли правильно я делаю. А я не тороплюсь и все делаю как надо. Моторы запущены, Бондаренко забирается в свою кабину.

Рулим на старт, а там три легковые автомашины и люди толпятся. Приглядываюсь: начальник управления Масленников, его заместитель по летной части Самсонов, главный инженер Борисов, человек, которого никто у нас не любит за чванливость и заносчивость.

Включаю переговорное устройство, спрашиваю у Бондаренко:

— Что это начальство собралось, кого встречают?

— Да нет, приехали посмотреть, как мы летать будем.

Я не поверил. Думал, он шутит.

— Нет, это ты серьезно?

— Вполне.

Меня охватило чувство гадливости и острой обиды. Вся эта возня вокруг меня, оттирание на задний план и, наконец, вот это — нескрываемое недоверие. Почему они не устроили такие смотрины Вотенцову или тем, другим, которые промазали? Да и сажать-то меня на этот самолет они вовсе не собирались — нужда заставила...

Отвечаю Бондаренко:

— Нет, Леша, они приехали посмотреть, как я буду бить машину!

Бондаренко не понял:

— Как — бить?

— А, ладно, потом объясню.

Подруливаю к старту, прошу взлет. Стартер взмахнул флажком.

Даю обороты моторам. Больше, больше, больше! Самолет бежит, бежит. Отрывается! Выдержал пониже над землей, и — в набор высоты. Десять метров в секунду! Десять секунд — сто метров! Можно убирать шасси. И вдруг вижу: из-под капота левого мотора — дым!

Я еще и сообразить ничего не успел, а руки все сделали сами: толкнули рычаг уборки шасси, ввели в раз-

ворот машину, вывели, убрали обороты левому мотору. Дым прекратился. Ну и хорошо! Иду на правом. Самолет держится прекрасно. Делаю разворот и по малому кругу захожу на посадку. Выпускаю шасси, деликатно, красиво сажусь. Отклоняюсь на пробеге влево и выключаю зажигание. Отодвигаю фонарь кабины, смотрю с опасением на левый мотор, готовый в любую секунду ударить рукой по кнопке огнетушителя.

А Бондаренко уже под мотором. Ловит ладонью текущую из-под капота жидкость. Нюхает.

— Бензин?

— Нет, вода.

— Так это был не дым?

— Пар. Вода лилась на глушитель.

— Откуда?

— Не знаю.

Вылезаю из кабины, снимаю парашют. К нам бегут люди. Впереди всех, сверкая стеклами очков, главный инженер. Подбежал, поймал струю понюхал, сложил губы сковородником:

— Он сжег петрофлексы!

Мне словно пощечину влепили. Вон как, сразу же и обвинение! Это, выходит, я во всем виноват?!

Задыхаясь от обиды, я соскользнул с крыла на землю. Борисов, брезгливо морщась, вытирал носовым платком пальцы. Подъехали машины, вышел, громко хлопнув дверкой, Масленников и за ним Самсонов. К самолету колобком подкатился Пантин.

— Что случилось?

Не видя меня, главный инженер недвусмысленно кивнул головой в сторону пилотской кабины:

— Да вот, сжег петрофлексы.

Я дернулся с вполне определенными намерениями, но Пантин, быстрый на реакцию, жестом руки остановил меня и, с возмущением взглянув на Борисова, сказал:

— Глупости говорите, товарищ главный инженер! Летчик здесь совершенно ни при чем. Наоборот, скажите ему спасибо, что не растерялся.

— П-позвольте! П-позвольте, — возмутился в свою очередь Борисов.

— Нет уж вы позвольте! — взорвался Пантин. — Что ж, по-вашему, летчик из-за этих ваших петрофлексов должен грохаться об землю?! Сказал бы я вам еще пару слов, да ладно...

Борисов, ища поддержки, умоляюще посмотрел на

начальника управления, но тот, видя по лицам присутствующих, что поведение главного инженера возмутило всех, сделал вид, будто не заметил этого взгляда, и дал возможность Пантину высказаться.

Самолет отбуксировали на стоянку, сняли капоты с мотора и обнаружили причину: лопнул шланг системы водяного охлаждения. Ничего страшного, если принять во внимание, что я своевременно выключил двигатель.

Ну, а теперь мне предстоял полет в Ургенч. По положению меня должны туда «провезти». Показать мне, как надо садиться на этом ограниченном аэродроме и дать энное количество тренировочных посадок. А кто это сделает и как? Если бы у нас была машина с двойным управлением, вроде той, на которой меня тренировал капитан Синченко, тогда бы проще. Но такой машины у нас не было, а закон есть закон. Долго гадали, кто повезет, и остановились на Пантелли: заместитель командира по летной части, ему и карты в руки.

А Пантелли явно боится лететь в Ургенч. Да и какое, собственно, он имеет передо мною преимущество, чтобы учить меня? Однако лететь надо.

Пантелли сказал мне виноватым голосом:

— Садись в кабину штурмана.

Но я отказался. Сидеть в носовой части?! А если промажет, да закатится в яму, да встанет на нос — сплющит там меня в лепешку!

— Нет уж, полечу с Бондаренко, там веселей.

— Ну, как хочешь.

Полетели. Зашли в Чарджоу. Сели. Все хорошо. Поформили немножко: самолет новой, совершенной конструкции и строгой обтекаемой формы привлекал к себе взоры летчиков и техников. Подходили, щупали, смотрели, спрашивали. Приятно.

До Ургенча мы дошли в два раза быстрее, чем этот же маршрут я покрывал на ПР-5. Впечатляюще! Ощущение было такое, будто земной шар уменьшился в размерах, и к этому надо было привыкать. Тут кое-что менялось. Ориентировка, например, при малой высоте полета куда сложнее, и летчику поэтому нужно быть всегда собранным, внимательным, быстрым в расчетах, учитывая при этом ограниченный запас горючего. Прохлопал ушами, заблудился, и вот уже перед тобой стоит угроза аварии со всеми прочими последствиями. Так что преимущество даром не давалось.

На посадку Пантелли зашел далеко, и ему не были

четко видны посадочное «Т» и границы летного поля, а эта граница как раз и пугала его. Он нервничал, и неуверенность его чувствовалась во всем: как раскачивал машину, определяя положение, и как подтягивал моторами и, в конце концов, перетянул. Уходить на второй круг вроде бы стыдно, все-таки замкомандира. И Пантелли решил садиться. Приземлились далеко за «Т», пробежали ретиво до самой границы, и там пришлось на скорости разворачивать машину мотором...

Обычно при таком приеме либо слетают покрышки с колес, либо ломаются шасси, но нам повезло. Все обошлось, только разве за исключением конфуза, который произошел на глазах у всех пассажиров, выбежавших поглазеть на посадку невиданного самолета.

Я догадывался, что творилось в душе Пантелли, который в сущности был неплохим парнем, и мне было его искренне жаль. Конечно же, сейчас начальник порта докладывает по радио начальнику управления о том, как произошла посадка...

Итак, все формальности соблюдены. Я получил в пилотском свидетельстве отметку, разрешающую полеты на самолете ПС-41 «в любых метеоусловиях днем и ночью». Отметка обязывающая, и я понимал, что дана она мне авансом и, чтобы мне действительно соответствовать по летным качествам такой оценке, надо быть в деле достижения совершенства просто беспощадным к самому себе. И я готов был к этому.

И вот я уже вырос в глазах людей и в своих собственных. Одет я был теперь сообразно самолету: куртка и штаны на оленьем меху, унты, меховые перчатки, меховой шлемофон, потому что летать мне предстояло на больших высотах, с кислородной маской, а вверху мороз под сорок градусов.

Мой первый рейс прошел блестяще. Спасибо капитану Синченко! Я посадил машину точно у «Т», о чем тотчас же было доложено начальнику управления, в меня поверили, и стал я летать без помех тысячу километров туда, тысячу километров обратно. И, наверное, счастливее меня не было летчика на земле.

Секретные шторки

Полет до Ургенча занимал три часа да обратно почти столько же. И вот в эти часы я должен сидеть не шелохнувшись. Сидеть, можно сказать, бездеятельно,

едва касаясь пальцами штурвала. Скучно. А чем бы занять это время? С пользой для себя? Читать? Нет, на этом самолете уже читать нельзя — скорость не та: отвлечешься, потеряешь ориентировку. А что же? И придумал опять! Но это была моя тайна, потому что узнай о ней начальство, вряд ли оно одобрило мою затею. А мне она была нужна: я решил натренировать себя до совершенства в слепом полете.

Сделал шторки на резинках, с крючочками, и едва взлечу — вынимаю из-за пазухи свое изобретение — раз-раз! — и обзор закрыт! Беру курс, засекаю время, набираю высоту и весь маршрут иду вслепую. Здорово! И совершенно безопасно, потому что только я летал по этим трассам, на этой высоте.

И скоро мне уже стало все равно, слепой или не слепой полет. Я даже установил зависимость приборов и их взаимозаменяемость. Скорость, например, замерялась специальной трубкой, укрепленной на крыле, и эта трубка при полете в облаках часто покрывалась льдом, и указатель скорости выходил из строя. Тогда я ориентировался по приборам ПК, контролирующим работу моторов. Они очень чутко реагировали на изменение скорости полета.

И еще я обнаружил одну важную закономерность: полет из Ташкента в Ургенч занимал три часа, а обратно — два с половиной, а то и два. И так все время. Отчего бы это? Догадаться нетрудно, значит, на высотах воздушная среда постоянно движется с запада на восток.

И вот я в поиске. Волнуюсь, переживаю, радуюсь открытиям. Счетную линейку не выпускаю из рук. Сегодня я лечу домой на высоте пяти тысяч метров, завтра на шести, послезавтра на семи. И замеряю, замеряю, замеряю... Результат поразительный: чем выше — тем сильнее ветер, дующий с запада на восток. А нельзя ли использовать это обстоятельство для экономии горючего? С востока на запад лететь низом, а с запада на восток как можно выше? Конечно, можно! И начал использовать.

И мне смешно и радостно смотреть, как инженер Пантин, замеряя остаток горючего в баках, удивленно пожимает плечами. Уж очень много остается. А я Пантину ничего пока не говорю про свое открытие, потому что решил удивить его еще больше.

Вылетаю из Ургенча, набираю высоту восемь тысяч

метров, устанавливаю минимальную скорость, на какой только может держаться самолет в воздухе. И так иду на самых малых оборотах. В спину нам дует сильный попутный ветер и тащит нас, тащит домой.

И вот мы над Ташкентом. Сваливаюсь с верхотуры, где был мороз пятьдесят градусов, вниз, где жара под пятьдесят. Самолет белый-белый от инея, еще бы, перепад температур в сто градусов! Подруливаю, выключаю моторы. Бежит Пантин, прикладывает ладони к холодному боку машины:

— Ого! Морозец. На какой же это высоте вас носило? А ну-ка, замерим горючее!

Лезет на крыло, открывает пробки, опускает щуп. Бондаренко, давясь от смеха, толкает меня в бок:

— Посмотри-ка, посмотри на его лицо!

Пантин сидит на крыле по-турецки, и лицо у него действительно такое, что мы с Алексеем покатываемся с хохоту.

— Ничего не понимаю! — говорит инженер. — Нет, слушайте, ребята, да у вас же полные баки! Вы что, заправлялись, что ли, по дороге?

А вот в Чарджоу летом я летать не любил. Аэродром неровный, с песчаными заносами, по которым рулишь, как по шпалам, и жарища страшная. Как в печке. Прилетаешь, снимаешь парашют, разоблачаешься. Пока разгрузят, пока загрузят, самолет так накалится на солнце, что плюнь на крыло — зашипит.

Все готово, пора вылетать. Забираешься на крыло, одеваешься в меха, лезешь в лямки парашюта, и когда садишься в кабину, то уже весь мокрый-мокрый и противно ощущаешь, как по спине струится пот. Запустил моторы и, не прогревая, куда уж там, скорей рулишь на старт. Долго рулишь, страдая от жары и от грубых толчков. Прирулил, развернул машину. Надо взлетать, а стрелки термометров стоят на красной черте. Перегрелись моторы! Как быть? Нельзя взлетать, опасно. Однако взлетаешь, надеясь на авось. И едва оторвавшись, сразу же, вопреки инструкции, убираешь шасси и лезешь вверх. Вверх, вверх!

На трех тысячах уже облегчение. А на четырех и того лучше. Тут уж мороз, градусов двадцать. Моторы сразу же приходят в норму, а ты — нет. Сидишь буквально в луже, столько поту натекло, и рубашка хоть выжми, прилипла к спине. Тогда начинаешь «продуваться»: открываешь форточку, высовываешь руку навстре-

чу движению и, оттопырив рукав, подставляешь его под сильный напор ледяного воздуха.

Благодатная прохлада пронизывает тебя насквозь, обдувает спину, ноги, надувая костюм, как скафандр. И вот ты уже сухой и охлажденный...

...Март 1939 года. В Москве идет XVIII партсъезд, материалы которого срочно нужно довести до каждого советского человека, в самые отдаленные уголки. А погода плохая, особенно в Ташкенте: туман, слякоть. Самолеты на приколе. Куда уж тут лететь в такую погоду! Соображаю: только одному моему ПС-41, пожалуй, под силу пробиться к солнцу, сквозь толщу сырых облаков, грозных своей критической температурой для обледенения.

А там, в глубинке, — прекрасная погода. Соблазн велик. Слетать бы! До чего ж интересно! Что я, зря тренировался? И потом у меня же в пилотском свидетельстве штамп: «Разрешается совершать полеты на самолетах II, III и IV классов с пассажирами, грузом и почтой в любых метеоусловиях днем и ночью».

Мозолю глаза начальству:

— Выпустите!

— Туман, не видишь, что ли?

— Ну и что? Подумаешь, костры разожжете.

— Ладно, не зуди! Москву запросили, ждем разрешения.

Пришел ответ: разрешаем.

И я полетел. А что для меня нового? Ничего. Только то, что шторки свои секретные не натягивал. Развернулся в тумане, взял курс и поставил машину в набор высоты. Стекла тут же мазнуло ледком. Лезем вверх. Ледок все толще. Ничего, пробьемся! Прибор указателя скорости уже начал чудить. Заледенел: скорость падает, падает. Смотрю на ПК — нормально, никакой реакции, значит, скорость нормальная. Вариометр показывает устойчивый набор высоты. Пять тысяч метров. Скорость на приборе 140 километров час. Критическая скорость. Если бы была фактически такая, мы ввалились бы в штопор. Бортмеханик, наверное, копался с рацией и ничего не видел, а тут взглянул на прибор — ой, мама! — и закричал тревожно:

— Скорость! Скорость!

А я этой реакции ждал и потому спокойно:

— Леша, Леша, без паники, трубка «пито» замерзла.

Бондаренко сконфуженно:

— А-а-а...

Шесть тысяч метров. Застветлели, засветлели, позолотились облака, и брызнуло солнце! Весеннее, радостное, яркое! Небо синее-синее, какое не увидишь с земли. И море облаков. Мчимся над ними бреющим. Температура воздуха — минус сорок пять, но солнце греет, и ледок со стекол, с кромки крыльев осыпался и улетел, и трубка «пито» освободилась от ледяного набалдашника, и скорость стала какая надо.

Бондаренко связался по радио с Ургенчем. Оттуда дали погоду: «Ясно. Ветер юго-восточный, три метра в секунду. Видимость двадцать километров».

Вот и хорошо. Берем курс на Ургенч. А через час полета кончились облака, и нам с верхотуры уже видна Амударья, разделяющая две пустыни. И они родные мне, эти пустыни, и разные: одна с красноватым песком, другая с серым. Отчего бы это? Тайна...

Я вырос здесь, над этими песками, и они были ко мне милостивы и учили меня уму-разуму. И эта школа, и эти уроки, порою суровые, наверняка пригодятся мне когда-нибудь. Ведь не зря же все это было? Не зря.

У меня на душе радостно. Сейчас я выполнил важное задание. Меня уже ждут. Вон стоит машина, а вон самолеты турткульского звена. Сейчас мой нужный груз поедет, полетит в разных направлениях в глубинку. И люди будут читать и будут знать, чем живет в эти дни страна.

Хорошо, когда людям нужна твоя работа, твое умение, твой опыт. Вот и пригодились мне мои секретные шторки! И мне ли только одному?

Долг платежом красен

Из Москвы пришел приказ: «Использовать самолеты ПС-41 для тренировки летного состава».

Мне говорят:

— Может, перейдешь в учебно-тренировочный отряд?

— Нет, спасибо. Хоть верхом на палке, но летать по трассам. ПР-5 найдется? Ну и прекрасно!

— Хорошо, договорились. Тогда временно поинструкторишь, подготовишь себе смену.

Привезли приставную кабину с инструкторским штурвалом, оборудовали самолет, назвав его «щукой». Он и впрямь стал походить на щуку своим удлиненным носом.

Начались полеты над аэродромом. Как в школе: взлет — посадка, взлет — посадка. «Товарищ инструктор, какие будут замечания?»

Летчиков присылали из разных управлений, и со стажем, и молодых. Для меня они были все одинаковы, и различал я их только по полету. Другой, с «опытом», с «положением», начнет выламываться перед молодыми и даже перед тобой, строить из себя фигуру. И в кабину садится со значением: лицо кислое, безразличное, глаза тусклые. А как возьмется за управление, то будто не штурвалом крутит, а оглоблей, неряшливо и грубо.

Ты ему замечание, а он губы поджимает: возраст у него приличный, и летный стаж большой, и «положение». Я перед ним мальчишка и с какими-то еще замечаниями...

Ага, губы поджимаешь? Хорошо, я тебя проучу!

Садится в кабину парнишка. Невысокого роста, аккуратный, подобранный, без «стажа» и без «положения». Совсем молодой. Берет управление деликатно, нежно, потому что машина такая, не терпит грубостей. И летит. И сразу же ухватывает особенности самолета, и вживается в него, и «выписывает» в воздухе свой почерк, в котором все — и страстная любовь к полету, и наслаждение. Обернешься, как бы невзначай, незаметно посмотришь, чтобы не смущать, и видишь такое вдохновенное лицо! И сердце наполнится восторгом: «Прекрасный будет летчик! Спасибо тебе, мой друг!» И выпускаю его в самостоятельный полет, не дав и половины вывозной программы. А летчика с «опытом» и «положением» — вожу.

И вот на старте в ожидании полетов меняются они ролями: один-то уже вылетел и почти кончает программу, а другой еще не удостоился чести вылетать самостоятельно. И уже слава идет о том и о другом: «Ваську-то Селезнева, совсем молодого, инструктор выпустил сразу, почти и не возил, а Глыбину, ну, этому — командиру ростовского отряда — полторы программы выдал! Вот проучил так проучил. И поделом!»

Я твердо знал: человек должен цениться исключительно за свои качества, а не за то — кто за его спиной стоит и на каком «положении» находится. Ну, а летчик — тем более, ибо ему доверяется жизнь людей. Летчик должен быть летчиком, в полном смысле этого слова, на которого, как правило, в трудный час можно положиться.

В учебно-тренировочном отряде появился новый начальник штаба. Узнаю фамилию. Хохлачев.

— Хохлачев. А как его звать?

— Михаил Елисеевич.

— Летчик?

— Летчик. Старый.

— Он!

— Кто он?

— Крестный мой! Десять лет тому назад он поднял меня в воздух!

И я побежал искать Хохлачева.

Влетаю в помещение отряда:

— Начальник штаба здесь?

— Здесь. Вон его кабинет.

Подхожу к двери. Волнуюсь. Очень. Сейчас я увижу человека, который десять лет тому назад меня благословил. Произвел в рыцари. Перчаткой по плечу...

Стучусь, открываю дверь:

— Разрешите войти?

— Да-да, пожалуйста! — Быстрый взгляд. — Вы ко мне? Одну минутку, сейчас допишу.

Нет, конечно, он меня не узнает. Да и вряд ли он помнит тот эпизод. А я его сразу узнал. Запомнил. Густые волнистые волосы, заостренный нос, добрые глаза. Он! Кончил писать, поднял голову:

— Я вас слушаю.

— Здравствуйте, Михаил Елисеевич! — сказал я.— Вы меня помните? Десять лет тому назад... Перчаткой по плечу?

Хохлачев внимательно на меня посмотрел, и глаза его потеплели. Он поднялся из-за стола, шагнул ко мне, всмотрелся:

— Здравствуйте! Неужели? Так это, значит, вы? Вы? Добился-таки! Прямо не верится... — И растроганно обнял меня.

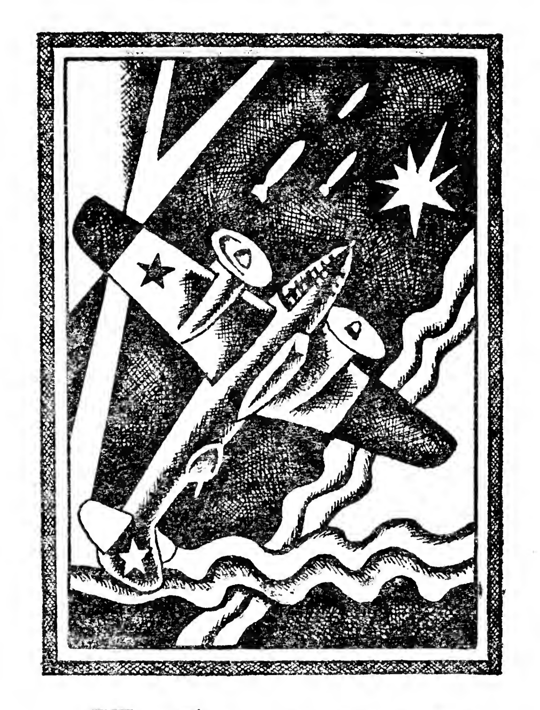
— Я, Михаил Елисеевич! Я, ваш крестник. Добился. Летчиком стал и пришел поклониться вам. Спасибо!

...Что-то радиоприемники громыхают немецкими бравурными маршами. Что-то пылко очень речи произносят на сборищах фашистов, и ревут луженые глотки солдат: «Хайль, Гитлер!»

Тревожно на душе... Тревожно...

А утром проснулись — война!

Книга третья



Небо в огне

Три смерти

Война идет уже восьмой месяц, а я сижу в тылу. В Ташкенте. Вожу грузы, почту, пассажиров. Все как и в мирное время. Очень неприятно и стыдно перед теми, кто уже там — на фронте.

Многих здесь война как будто бы и не касается. Она далеко. И к тому же скоро кончится. У нас пушки, ворошиловские залпы и все такое, а фашисты вон, как пишут в газетах, уже танки закапывают в землю: горючего не хватает.

Так успокаивали себя люди, сидя вечерком за чашкой чая или гуляя по ярко освещенным улицам города, мимо витрин и магазинов с одеревеневшими манекенами, мимо дверей ресторана, из которых то и дело выплескивались на булыжную мостовую грохот джазовой музыки и куплеты, привезенные из Львова:

Сосиски с капустой
Я очень люблю —
Ждем вас во Львове!..

Глупая песня!

Война! Она уже перемалывает человеческие судьбы, и оттуда, издалека, сюда — в глубокий тыл, доносится ее смертельное дыхание. Словно электрической искрой пронзительно и больно бьют прямо по сердцу сообщения о смерти товарищей.

Вчера я узнал печальную новость: погиб мой славный друг, наш общий любимец Саша Чинов. С первых же дней войны он попросился на фронт. Его не пускали. Он настоял. И вот летел на По-2, подбили, взяли в плен. Пытали. Вырезали звезды на теле, жгли раскаленным железом. Умер Саша героем. Давно ли вместе ходили на рыбалку, ночевали в отдаленных портах и соревновались, кто больше сделает рейсов, перевезет пассажиров и грузов.

Война обнажила людей, и каждый предстал перед

взором не только другого, но и перед самим собой таким, каков он есть на самом деле, а не таким, каким казался прежде. Ну, кто, например, мог подумать: Саша Чинов, тихий, незаметный парень, и, пожалуйста, оказался героем! Да еще каким! Из уст в уста передавалась о нем молва. Наши отбили, освободили пленных, на чьих глазах пытали героя, захватили карателей, но Саша был уже мертв, так и не сказав, где штаб армии, откуда он летал.

Или вот летчик Грызлов. На вид солидный, мужественный, с квадратным «волевым» подбородком, командир тяжелого четырехмоторного корабля Г-2. А как он вел себя, когда его посылали обслуживать фронт? Даже вспомнить стыдно: в Москве, в штабе дивизии, чуть не валялся в ногах у начальства. Плакал. Просил. Умолял: «Пошлите на тыловую работу! У меня же дети, жена!»

Фронт изгибался, трещал по всем швам, солдаты захлебывались в крови, отражая удары врага. Не хватало снарядов, патронов, винтовок.

И уставший до смерти командир авиационной дивизии сказал, брезгливо вглядываясь в квадратный «волевой» подбородок:

— Вы будете возить оружие к передовой. В случае неповиновения — под трибунал. Идите.

В громадном и неуклюжем транспортном самолете Г-2 летчики сидят открыто, как в лодке. Поэтому все, что делается на земле, с высоты трехсот метров видно хорошо. Подлетая к полевому аэродрому, сооруженному наспех возле передовой, увидел Грызлов полыхание взрывов, столбы дыма, а в воздухе, почти у самой земли, воздушную карусель. Пять фашистских истребителей гоняли «ишачка».

С земли уже махали Грызлову: давай, давай! Садись скорее! Снаряды на исходе, нужны патроны для пулеметов!

Не сел Грызлов. Стал разворачиваться, хотел уйти. Но один из «мессершмиттов» оторвался от строя, спикировал и скрылся где-то за хвостом, явно заходя в атаку. Тогда вне себя от ужаса Грызлов убрал моторы и пошел на посадку куда глаза глядят. Трахнул колесами по деревенской уборной, сшиб, разнес в щепки древнюю бревенчатую хатенку, свалил амбар и запахал тяжелыми шасси картофельное поле... В конце пробега самолет завалился в болотистую балочку и, ткнувшись носом в

обрыв, замер, нелепо подняв в дымное небо громадный алюминиевый хвост.

Кругом трещало, грохало, и вставала столбами земля вперемешку с соломой. Не успел Грызлов выбраться из кабины, как перед ним, словно из-под земли, — лейтенант с двумя кубарями в петличках. В темной от пота гимнастерке, с измазанными глиной локтями и коленками. Щеки ввалились, глаза, словно блюдечки, большие, круглые, сумасшедшие.

— Ага, летчики?! Сколько вас? Берите оружие. Надо выбивать фашистов вон там, возле балки. За мно-о-ой!.. Уррра-а-а!..

Второй пилот, бортмеханик, радист кинулись вслед, с винтовками наперевес.

Откуда-то из-за плетней выбежали бойцы: не люди — тени! Черные от бессонницы и копоти. Рты разинуты, а крика не слыхать. Пробежали жидкой цепью, и вместе с ними откатился огненный вал, и уже бухало где-то за балкой.

Огляделся Грызлов — никого. Один. Экипаж ушел выбивать фашистов. Ну и ладно. Бросил в кусты винтовку, поправил шлем, очки, поддернул ремешок планшетки и пошел, держа направление на восток.

Сначала шел так, без всякой мысли, с единственной целью — добраться до своего аэродрома. Его почти не останавливали. Ясно же — сбитый летчик идет к своим, знакомая картина.

Его подвозили, угощали куревом, кормили. Грызлов не торопился. В грохоте пушек, прыгающих навстречу по ухабам, в ржании коней, в шуме обозов, в дробном топоте солдатских ног, в нахальном реве фашистских самолетов, залетающих в глубокие тылы, затерялась бесследно человеческая песчинка по фамилии Грызлов.

И лишь на пятый день, когда случайно наткнулся на аэродром с транспортными самолетами Аэрофлота, в голову пришла спасительная мысль — плюнуть на все и рвануть на попутном самолете домой. Его уж, наверное, и с довольствия списали. Кому придет в голову искать «погибшего» Грызлова в Средней Азии?! А там он скажет, что отправили домой.

Знал, что это дезертирство и что расплачиваться за это придется жестоко, но уже ничего не мог поделать с собой. Непреодолимая, властная сила захватила его целиком. Домой! Домой! Прочь отсюда, от этого ужаса! Жить. Любой ценой, но только жить!

Нашел знакомого летчика.

— Направляюсь домой. Отпустили. Возьмешь?

— Садись. Жалко, что ли.

И Грызлов оказался дома. Снова надел на себя личину солидности. Авторитетный летчик, командир тяжелого корабля. Такие на полу не валяются. Ему поверили. Дали экипаж, самолет, и стал он летать над песками пустынь. Грузы, пассажиры. Все как и в мирное время.

И все — и не все. Не знали же о нем ничего окружающие, а только относиться стали с какой-то подозрительностью. Все на фронт, а он с фронта. Грызлов и раньше-то не отличался сердечностью, а сейчас и подавно. Стал замкнутым, злым. А меня ненавидел. Встретит, передернет плечами, будто ему промеж лопаток льдинку опустили, и пройдет, молча поджимая губы. Не мог он мне простить двух историй.

Одна короткая.

Прилетел он как-то в промежуточный аэропорт, явно не в духе, вошел в занятый мною и еще одним молодым летчиком номер и сказал, не обращаясь прямо ни к кому из нас:

— Здесь буду я.

Молодой летчик вскочил, удивленно вытаращил глаза и машинально потянулся за своим планшетом, висевшим на спинке кровати.

— Сережа, не волнуйся, — сказал я. — Дядя шутит. Здесь будем мы. Ведь нас двое.

Сережа понял, ухмыльнулся и демонстративно развалился на койке. Грызлов с сердцем хлопнул дверью.

Вторая история длиннее и требует предисловий.

Не скажу, чтобы меня не страшила война. Я боялся, да еще как! Но, расспрашивая ребят, побывавших «там», слушая их рассказы, старался сделать безразличное лицо. И, наверное, мне это удавалось, потому что постепенно обо мне сложилось мнение: каменный человек, ничем его не проймешь!

Ну, каменный так каменный. Вот и хорошо: с каменного меньше спросу. И я по возможности всегда старался показать свою «каменность».

Спиртного не употреблял совсем. Имел к нему непреоборимое отвращение. Да и некогда было. Я весь уходил в полеты. Старался овладеть этим искусством в совершенстве. Красиво взлететь, красиво, с точного расчета сесть. Старался вести самолет так, чтобы пассажи-

ров не укачивало. И всегда, когда можно было, тренировался в слепом полете. Останавливаясь на ночевку в каком-нибудь промежуточном аэропорту, я еще продолжал оставаться во власти полета, обдумывая каждую его деталь и мысленно вводя поправки: завтра сделаю вот так.

И вот как-то прилетел я в один порт. Линейка установлена четырехмоторными Г-2. Значит, с местами плохо.

Вхожу в гостиницу, а там уже дым коромыслом: собралась компания. На столе, возле алюминиевого авиационного поршня, доверху набитого окурками, две-три поллитровки, куски хлеба, бумажка с солью, очищенные луковки. Не иначе как справляют чьи-то именины!

— А-а-а, каменный прибыл! — встречает меня уже слегка захмелевший Грызлов. — Садись.

Мне очистили место. И уже булькает водка, наполняя стакан. Я знаю, ребята обижаются, что я не пью с ними, и сейчас, пока Грызлов наливает, все косо посматривают на меня. Чувствую, если откажусь, — обижу смертельно. Подавляя тошноту, говорю спокойно:

— Ребята, вы знаете, я не пью...

— Как же, знаем, — говорит Грызлов, ставя бутылку на стол. — Хочешь хорошеньким быть.

— Нет, не поэтому. Просто не пью. Но с вами за компанию выпью.

— Спасибо, уважил. — Грызлов пододвинул стакан. — Пей!

Меня уже мутит, но я не подаю вида.

— Это моя доля? — интересуюсь, принимая прозрачное пойло.

— Нет. Будет еще.

— Гм!..

Вторую дозу я не выдержу. Меня вывернет наизнанку. А этого я как раз и не должен допустить. Иначе тогда мне не будет прохода. В порядке забавы меня будут потчевать при каждом удобном и неудобном случае.

В комнате тишина. Все смотрят на меня не очень-то добрыми глазами. Кое-кто даже приподнялся с места, глядя на мою руку, держащую стакан.

Я заставил себя улыбнуться.

— Знаете, — сказал я как можно беспечней, — мне надо сходить в город. — В комнате общее движение.— Если можете, налейте мне всю мою долю сразу. Выпью и уйду.

Грызлов, недобро усмехнувшись, поднялся, подошел

к бачку и снял висевшую на кране алюминиевую кружку.

— На.

Я взял кружку, вылил в нее содержимое стакана. Тошноты как не бывало. Вместо нее — злость. Ладно, посмотрим, кто кого! Поставил кружку на стол.

— Лей!

Явно ощущая вызов, Грызлов в сердцах выплеснул в кружку остаток водки. Кто-то неодобрительно произнес:

— Нельзя же так... Ты что? Пол-литра же!

Конечно, он переборщил, но тем хуже для него! Я поднес кружку к губам, улыбнулся, окинул всех взглядом.

— За ваше здоровье, ребята!

Пил медленно, не торопясь, словно воду. Выпил. Не морщась, поставил кружку на стол, ленивым движением отщипнул кусочек хлеба, пожевал, сказал «спасибо» и, провожаемый изумленными взорами, вышел...

А три дня спустя взлетал Грызлов с аэродрома, расположенного рядом с полноводной Амударьей. Солнце еще не взошло. Лишь восток был окрашен мутной розовой дымкой. И туда, на зарю, взял разбег самолет. Пробежал, вздымая за собой песчаные вихри, оторвался и, неся свои могучие шасси с бешено вращающимися колесами, поплыл, словно нехотя, низко-низко, над самой землей. Гулко ревели четыре мотора. Мелькнула песчаная дамба, прибрежные кусты. На летчиков пахнуло дыханием реки, могучей и своенравной, с мутной клокочущей водой.

И тут словно бес попутал Грызлова. Будто не он, а кто-то другой отжал штурвал больше, чем надо, и тяжелая громадина, зарывшись колесами в воду, разом потеряла скорость. Вздымая к небу каскады брызг, машина рухнула в мутные водовороты...

Так бесславно погиб этот видный собой человек с «волевым» подбородком.

Но Грызлов погиб не один. Пытаясь спасти командира, утонул бортмеханик — Павлик Смородин...

Мы втроем

В тот день начальник управления Заев получил два неприятных сообщения: одно пришло из Москвы в засургученном пакете, уведомлявшее о дезертирстве Грызлова, а другое принесла радиограмма.

Начальник, прочитав, устало опустился в кресло, крепко сжал ладонями виски:

— Ну, Грызлов — это понятно... А Павлик-то при чем?

Я ничего не знал. Я забрался в глубинку и перебрасывал на своем четырехместном самолете экспедицию геологов к Аральскому морю.

Я любил этот район. Необъятные разливы реки. Камышовые джунгли. Миллионы разных птиц. Море. Бирюзовое. Смотришь на него с высоты — дух захватывает! Воздух — как хрусталь: прозрачный-прозрачный. Пахнет водорослями. Тихо. Мирно вокруг. Какая там война? Где? Чепуха! Кошмарный сон. Нет никакой войны!

Солнце клонилось к закату, и я уже подумывал, где ночевать: здесь, на острове в Аральском море, или все-таки удрать от комаров в пустыню? Время еще есть долететь до Чимбая.

Пока раздумывал, радист аэропорта принес радиограмму:

«Срочно. Вылетайте в Чарджоу. Вам будет приготовлен старт для ночной посадки». Подпись начальника управления Заева.

Что такое? Лететь ночью по необорудованной трассе? А ноздри уже раздулись, и сердце: тук-тук-тук! Я даже присел на колесо от волнения. Черт возьми, такой полет! Ночь. Горят звезды, а под тобой — жуткая тьма. Жуткая, потому что враждебная. А ну как откажет мотор? Но он не откажет, я знаю!

Радист смотрит на меня с восхищением. Такого еще не было. Это очень, очень высокое доверие. Персональное. Семьсот километров! Ночью. Над пустыней. И один. Совсем один!..

Прикидываю в уме, кто из моих друзей, летающих на легких самолетах, находится сейчас на этой трассе? По крайней мере — пять.

Радист сказал, угадав мои мысли:

— В Чарджоу только что сели Кирясов, Куренной, Торчинов и Береза. Все. А вызывают лично вас...

Мне, конечно, очень лестно, что вызывают именно меня. И я, как и радист, догадывался, почему. Но какая была причина для этого вызова?

Разрешить этот полет могла только Москва. И... даже главное управление ГВФ не взяло бы на себя такую

ответственность, не имея на то государственной причины. А таковой я не видел.

Все здесь было непонятным, за исключением одного: начальник управления, взявший на себя такую ответственность, нуждается именно в моей помощи. Разве мог я ему отказать?! Нет. Никогда! Я его обожал, как и все другие летчики и техники. И все мы готовы были для него сделать все возможное.

И я полетел. Ночь окутала меня через полчаса. Будто набросила покрывало со звездами. Внизу подо мной сначала угадывалась извилистая лента Амударьи, но потом и она растворилась. Никакого признака жилья и даже никакого признака земли! Хоть бы огонек какой мелькнул. Нет. Черная мягкая пыльная мгла. Ощущение такое, будто я повис среди звезд в первозданном пространстве. Но страха нет. Восторг.

Самолет похож на огнедышащего дракона. Впереди, от мотора, из раскаленных докрасна глушителей, вылетают синеватые язычки пламени. Теплый воздух касается моих щек. Самолет живой. Он дышит. Он мой друг. И я, как всадник к своему коню, ощущаю к нему чувство нежности. Я один. Совсем один. Но я привык. Потому что мы — вдвоем.

Через три часа я увидел впереди по курсу зарево. Город. И сразу же исчезло очарование полета. Я уже не межзвездный скиталец. Я — пленник Земли...

Я сел возле светового «Т», выложенного из фонарей «летучая мышь», и подрулил к стоянке. Выключил мотор. Все для меня сейчас было странным и непривычным.

Из ярко освещенных окон порта ложились на утоптанную землю длинные полосы света. Бестолково метались ослепленные мотыльки. Таинственно, словно высматривая что-то, высовывался из темноты длинный нос самолета Г-2.

Подошли двое: инженер и техник. Я вылез из кабины, поздоровался:

— Зачем меня вызывали, не знаете?

— Иди, — как-то глухо сказал инженер. — Он ждет тебя в диспетчерской.

Диспетчерская на втором этаже. Я взбежал по лестнице. В коридоре возле полуоткрытой двери молча толпились техники. Услышав мои шаги, они разом повернулись ко мне и, глядя на меня с каким-то испуганным интересом, молча расступились, давая дорогу.

Я удивленно остановился:

— Ребята, да что вы так смотрите на меня? Не видели, что ли?

Все потупились. В задних рядах кто-то громко вздохнул:

— Пожалуйста, будь хоть ты человеком!

Я пожал плечами. Ничего не понимаю.

В кабинете было несколько человек. Начальник управления в запыленном плаще сидел боком к столу и, облокотившись о спинку кресла, сосредоточенно смотрел на настольную лампу, возле которой, звеня крыльями о зеленый абажур, билась ночная бабочка.

— Ага, прибыл, — сказал Заев, поднимая на меня уставшие глаза, и жестом руки показал, что докладывать не надо. — Садись.

Я опустился возле него на предусмотрительно подставленный кем-то стул, снял шлем и, положив его на колени, замер в ожидании. Все было так необычно: и этот вызов, и ночной полет, и настороженные взгляды техников, и эта вот предусмотрительность. Что случилось? Почему это вдруг на мне, незаметном летчике одномоторного пассажирского самолета, сконцентрировалось столько внимания? Им что-то от меня надо. И я почувствовал, надо что-то большое, важное и необычное. Что ж, я готов!

— Так вот, — сказал Заев, сжимая в замок пальцы обеих рук. — Сегодня утром... — он сделал паузу, словно подбирая подходящие слова. — Сегодня утром... разбился самолет. Погибли двое...

Я внутренне содрогнулся, но промолчал. Ведь я же «каменный»!

— Грызлов и Павлик Смородин...

Я приподнялся со стула.

— Грызлов?! Да ведь только что вот... позавчера...

— Ты пил с ними водку! — чуть улыбнувшись, закончил начальник. — Знаю. И вот теперь их нет.

Я растерянно замолчал. «Пил водку». К чему это он?

Заев тронул меня за колено:

— А про водку не обижайся. Ты правильно ее тогда пил. — Он наклонился ко мне и, заглянув в глаза, закончил, разделяя каждое слово: — Пил потому, что так было надо.

Он подобрал ноги в запыленных ботинках и тяжело поднялся со стула. Я тоже встал, чувствуя, что именно сейчас будет сказано то, ради чего меня вызвали.

— Мне кажется, — сказал начальник, — что ты хорошо знаешь смысл и значение слова «надо». Так вот,— он положил мне руку на плечо, — надо. Я не приказываю тебе, а просто по-человечески прошу. Ты волен отказаться, как отказались другие. — Он покосился на дверь. — Словом... их надо отвезти домой. Немедленно. Сейчас же. Чтобы на рассвете ты был уже там. Понял? Ну, как?

У меня захватило дыхание. Я смотрел на начальника восхищенными глазами. Я любил его в эти минуты больше жизни! Взять на себя такой полет! Шестьсот пятьдесят километров ночью, по необорудованной трассе, да еще в горах!..

Бабочка все еще билась о зеленый абажур. Заев шагнул к столу, осторожно поймал ее в пригоршню и выпустил в раскрытое окно.

Я встал по стойке «смирно»:

— Разрешите готовиться к вылету?

Начальник кивнул:

— Готовься.

Спускаясь по лестнице, я слышал, как впереди меня, словно осенний лист, гонимый ветром, шуршало слово: «Летит! Летит! Летит!».

Я вышел на площадку. По-прежнему метались в электрических лучах ночные бабочки, и любопытный нос Г-2 так же выглядывал из темноты.

Подъехала машина скорой помощи и остановилась возле моего самолета. Я отвернулся. Через несколько минут нас... троих проглотит ночь. Мы будем лететь среди звезд. Я неразговорчив, мои пассажиры тоже. Они будут сидеть позади меня.

Мне было жутко. Но... так было надо.

Мы прилетели на рассвете. Город еще спал. Еще горели уличные фонари. Над рекой светился туман. Аэродром белел от росы. Рейс закончен.

Я снизился на триста метров и сделал глубокий вираж. Словно сирена, тревожно гудел мотор:

— У-у-у-у!..

Левый! Правый! Еще раз левый! Еще раз правый!

Хватит! Вон выбежал дежурный из здания аэропорта.

Я убрал обороты мотору, и разом наступила тишина, непривычная, звонкая. Всю дорогу под звездами, среди снежных горных вершин, мотор рассказывал мне сказки: жизнь — это движение, это рокот прибоя, это

шелест листвы, это легкий полет облаков, это песнь, это крик пастуха. И вдруг — тишина!..

Но нет, я слышу, как шипит под крыльями воздух, как свистят расчалки. Это тоже жизнь. Смерть — это... там, за моей спиной. Рядом.

Колеса коснулись земли. Все! Рейс окончен. Бежит дежурный с флажками. Позабыв сигнализировать, он смотрит на самолет испуганными глазами. Я подрулил, выключил мотор и вылез на крыло. Только сейчас почувствовал, как устал. В голове пощелкивало, и ноги — словно ватные.

Спустился на землю, расстегнул шлем, снял его, чтобы освежить голову, и, не оглядываясь, пошел прочь.

Неожиданно, нос к носу, столкнулся с женщиной. Этого еще не хватало! Павликова жена...

Я видел ее глаза, полные ужаса и такой непередаваемой боли, что сердце мое замерло от сострадания. Но я взял себя в руки. Я собрал последние силы, сделал строгое лицо и, загородив дорогу женщине, впившейся взглядом в мой самолет, заорал:

— Что вам здесь надо?!

— Па-авлик!..

— Нет здесь никакого Павлика! Я привез груз! — Я гневно обернулся к дежурному: — Почему вы разрешаете ходить посторонним по линейке? Проводить немедленно!

Подбежали техники, схватили ее под локти, повели.

— Видите — начальник ругается. Здесь нельзя.

Женщина не сопротивлялась.

— Павлик... Павлик... — стонала она.

Это было куда страшнее, чем сам ночной полет.

Дезертирую... на фронт

Два самолета, стоявшие в укромном углу за ангарами, вот уже третью неделю привлекают мое внимание. Что за машины, откуда взялись?

Самолеты мне нравились. Это были совершенно новые, цельнометаллические монопланы с низким расположением крыла. Упрятанный в обтекателе звездообразный мотор. Трехлопастной воздушный винт. Антенна. Убирающиеся в полете шасси. Несмотря на объемистый фюзеляж, самолет выглядел изящно и строго.

Пытаюсь разгадать его назначение. Если в военном варианте, то это, очевидно, разведчик дальнего действия.

Если в гражданском, то почтово-грузовой. Хотя при нужде на нем можно было бы возить и пассажиров. Хорошие машины, что и говорить! Но чьи они, кому принадлежат?

На мои расспросы в порту все пожимают плечами. Известно только, что пригнали их военные летчики. Пригнали и поставили. Вот и все.

Военные? Но почему они тогда стоят на гражданском аэродроме? Странно.

Однажды, идя на работу, я, сделав добрый крюк, зашел посмотреть на самолеты. Ага, наконец-то! Возле них кто-то копался. На бетонной площадке лежали аккуратно сложенные чехлы, стояла тележка с батареей аккумуляторов, и два человека, сидя на корточках под крылом, что-то укладывали в открытые люки.

Я подошел:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

Продолжают копаться.

Начинаю издалека:

— Скажите, пожалуйста, чьи это самолеты?

Щуплый механик с флегматичным лицом, не торопясь, вылез из-под машины, разогнулся, расправил под новеньким ремнем складки новенького комбинезона. Очевидно, ему не очень хотелось копаться, или было не к спеху, или он обладал общительным характером, только через несколько минут я уже знал, что моего собеседника зовут Иваном, по фамилии Архангельский, что самолеты этой конструкции принадлежат особой группе связи при Генеральном штабе Красной Армии и что их нужно перегнать в Москву по назначению. Экипажи приехали вчера, но вот беда — с одним летчиком случился острый приступ аппендицита, и Вася Челышев отвез его в больницу.

Я чуть не подпрыгнул от радости:

— Кто, кто? Вася Челышев?! Среднего роста? Круглолицый? Симпатичнейший, добрейшей души человек? Он?!

— Он.

— Ч-черт побери! Надо же быть такой удаче!

Я и сам не знаю, чему так обрадовался. Васю Челышева я знал, но не очень близко, по Балашовской школе, которую вместе кончали. И обрадовался-то я, пожалуй, не столько Челышеву, сколько тому, еще пока не твердо определившемуся в моем сознании обстоятель-

ству, которое благодаря ему, Васе, должно сложиться.

С Челышевым я встретился в тот же день. И вот она — моя судьба!

— Слушай, — сказал Челышев. — Чего ты здесь, в тылу отираешься? Пошли к нам в группу. У нас хорошо. Интересные полеты. В Ленинград летаем, через линию фронта...

Он неторопливо рассказывал про летную работу в группе связи, а я слушал его, затаив дыхание.

— Ну, а с фашистскими истребителями встречаться приходится?

— А как же — часто!

— Ч-черт побери!.. Бывают воздушные бои?

— Ну, какие там бои! Удираешь во все лопатки, и все тут. Самолеты-то наши почти не вооружены. А у них пушки.

Я разочарованно молчу. Нет, не то. Это не по мне. Удирать не годится.

— Вот у нас был случай, — продолжает Челышев.— Летел летчик на По-2, генерала вез. Вдруг, откуда ни возьмись, «мессер»! Увидел, развернулся и с ходу — трррах! — дал очередь. А нашему-то куда деваться? Лететь нельзя — собьет. Тогда он выключил мотор и сел на лесную прогалинку, которая как раз перед ним оказалась. Полянка ровная. Самолет пробежал и остановился. Выскочил летчик с генералом, хотели в лес бежать. А летчику машину жалко. Он и кричит генералу: «Хватай за хвост, опрокидывай!» Схватили машину за хвост, подняли, поставили на нос, на мотор — «свечку» сделали — сами тут же притаились: бежать-то уже поздно. А фриц на второй заход идет. Смотрит — «свечка» стоит и никого нет, никто не шевелится, значит, все — подбил! И ушел.

История эта меня развеселила, и я проникся глубоким уважением к летчику, как видно, в достатке обладавшему находчивостью.

— Ладно, — говорю, — ты меня убедил, и я с радостью пойду служить в вашу группу, но ведь меня отсюда не отпустят!

— Как это не отпустят? — удивился Челышев. — Ведь не с фронта идешь, а на фронт. Напиши рапорт и все тут!

— Подавал, бесполезно.

— Не пускают? — Удивлению Челышева не было границ. — А ты знаешь что? Попросись будто бы в от-

пуск. Мол, хочу поправить свое пошатнувшееся здоровье и все такое. А я тебя потихоньку натренирую, и ты полетишь вместо Беляева. Идет?

План Челышева мне понравился, и мы принялись за его реализацию.

Отпуск мне дали охотно, тем более, что стоял февраль. Погода по трассам была плохая, и самолеты почти не летали.

Несколько дней я вместе с бортмехаником (он же и радист) Ваней Архангельским возился возле своего самолета. Изучал его до последней заклепки и с каждым днем все больше и больше проникался к нему любовью и доверием.

Самолет и на самом деле был хорош. Удобная просторная пилотская кабина, прекрасный обзор, отлично устроенные механизмы уборки и выпуска шасси и закрылков, и, что особенно меня порадовало, — красиво продумана и смонтирована доска с контрольными, аэронавигационными и пилотажными приборами.

Словом, я был по уши влюблен в свою машину, и уже никакая сила не смогла бы меня от нее оторвать.

Наша подготовка подходила к концу. Осталось опробовать машину в воздухе и, составив соответствующий протокол о самостоятельном вылете на новой материальной части, получить в учебно-тренировочном отряде (УТО) отметку в пилотском свидетельстве, без которой я не смог бы отправиться в путь.

Сделать это было не так-то просто. Ведь афишировать свое участие в подготовке к полету мне было никак нельзя. Любой дежурный диспетчер мог бы поинтересоваться: а какое отношение к этому делу имеет пилот транспортного отряда Узбекского управления ГВФ? Дошло бы дело до начальства — и плану нашему конец.

Но все складывалось в нашу пользу: высокая оперативность Васи Челышева, скверная промозглая погода и моя личная дружба с начальником УТО Михаилом Хохлачевым.

В пасмурный февральский день, под моросящим дождем Вася Челышев, спрятав меня в фюзеляже, вырулил на старт для «личной» тренировки. Взлетел. Сделал круг. Сел. Его место в кабине занял я.

Черт возьми, до чего ж хороша была машина! Легкая, послушная, устойчивая. Я сделал несколько поса-

док. Летал бы и дольше, но Васе эта музыка надоела, и мы отрулили на стоянку.

Потом мы пошли в УТО. Челышев заполнил форменный бланк, и я дрожащей рукой положил перед Хохлачевым свое пилотское свидетельство. Мой авиакрестный взял его, покрутил в руках, на минутку задумался, с хитрецой посмотрел на меня и, сказав: «Ну, ну, понятно!», сделал нужную отметку.

И мы улетели. А в День Красной Армии, получив личное оружие, я принял присягу. И стал летать. И был счастлив, потому что полеты, полеты, полеты...

Как воевать не воюя

Три месяца прошли как в угаре. Только прилетишь — задание: срочно! Фельдъегерь с пакетом! Генерал с документами! Важно! Секретно! Ответственно!

Фельдъегерь с пакетом — это фигура! В его громадном портфеле заключена подчас судьба дивизии, армии, фронта, жизнь тысяч и тысяч бойцов. И от того, как скоро его доставишь, зависит многое...

Туман, пурга, непогода — летишь. Рядом линия фронта. Ой, смотри, не зевай! Наблюдай за воздухом! Маскируйся на бреющем полете, ныряй в овраги, в поймы рек, ежесекундно держи ориентировку. Не ровен час, очутишься на занятой врагом территории, и оглянуться не успеешь — возьмут тебя в «почетный караул» «мессершмитты» и приведут на свой аэродром.

Было так с одним пилотом. Взлетел с генералом и майором на борту, взял курс на Елец. Дымка, низкие облака, чуть сыплет снежок. Погода что надо! Летит, смотрит на карту — сверяет с местностью. Все правильно: вон она — река, мост, железная дорога, которая ведет прямо на Елец...

Иногда облака закрывают землю. Не беда! Железная дорога приведет куда надо. Летит бреющим. Только столбы мелькают. Генерал с портфелем на коленях и адъютант сидят в пассажирской кабине, прислонясь к борту, спят. Измучились, устали. Трое суток без сна — шутка ли!

Смотрит летчик на железную дорогу и не видит — компас отклонился чуть-чуть. Совсем немного. Хоть бы раз глянул — вспомнил бы: от Москвы идут две дороги. Одна на Орел, другая на Елец. Но Елец — наш, а Орел — под немцем.

Промелькнула узловая станция. «Волово!» — думает летчик. От нее до Ельца сто километров. А это было вовсе не Волово, а Горбачево, и от него до Орла тоже сто километров...

«Сейчас будет Ефремово! — говорит сам себе летчик, а пролетает возле Мценска. — Ага, вон уже и город видать. Точно по времени. Елец!»

На миг оторвался взглядом от железной дороги и обомлел: справа сзади близко-близко идет МЕ-109. Глянул назад — и там! И над головой висит. Зажали в клещи, ведут, как теленка...

Рванул газом, убрал мотор. «Мессершмитты» проскочили. Клюнул к земле в надежде уйти бреющим. Куда там, догнали, пристроились рядом, крылом к крылу, открыли фонари, скалят зубы, смеются. Им радостно: будет шнапс, будет награда, да еще какая! Видно им, как за окошком в пассажирской кабине мечутся две фигуры: генерал и майор. Уж, наверное, у генерала в портфеле что-то есть интересное.

...Проснулся генерал от толчка, глянул и все понял. На секунду зажмурил глаза: может, сон? Нет, не сон: вон они, фашистские свастики!

У майора лицо как бумага. Сидит, за сердце держится. Плохо.

— Спички! — кричит генерал и срывает с портфеля сургучные печати. Вынимает толстый пакет, кроша пальцами сургуч, обрывает крепкий шпагат.

— Спички!!

Майор зажигает сразу десяток спичек. По кабине разносится острый запах серы.

Бумаги горят плохо. Каждый листок нужно разворошить, отделить от другого и сжечь, а пепел развеять. Успеют ли?

Летчик, почувствовав гарь, догадался: «Жгут бумаги! Значит, нужно выиграть время». Потихоньку убрал обороты мотора, убавил скорость. «Мессершмитты» тоже убавили, но закачались. Для них такая скорость мала, можно свалиться в штопор, а земля рядом — опасно.

Один из летчиков, совсем мальчишка, не выдержал, ушел. Другой, что слева, с рыжими клочкастыми бровями, погрозив кулаком, приблизился вплотную и ткнул металлическим крылом в деревянное. Словно бритвой обрезал: улетел кусок консоли, затрепыхались по ветру лоскутья матерчатой обшивки. Покачнулась машина,

вот-вот упадет. Волей-неволей пришлось давать обороты до максимальных.

Рыжий оскалился в довольной улыбке и большим пальцем правой руки показал вниз, на землю, где уже были видны стоявшие на аэродроме самолеты.

...Задыхаясь от дыма, генерал и майор жгут документы, письма, фотографии. Миг — и все исчезло в синеватом огне. И вот уже вьется струйкой дымок и рассеивается в прах серый пепел. У генерала тлеет рукав, но он не замечает этого. Лицо его строгое, сосредоточенное.

Кажется, все! Генерал расстегнул шинель и, стараясь не встречаться взглядом с майором, достал из кобуры пистолет...

Летчик попал в плен, потом бежал. Так и стала известна эта история.

Нет уж, лучше не зевать. Лучше тысячу раз проверить, чем один раз ошибиться. Летчику, как и минеру, ошибаться нельзя. Тут не бухгалтерия. Тут уж заново не пересчитаешь. Резинкой не сотрешь и новую цифирку не проставишь...

Летал я много и жадно. Рейс из Москвы в Краснодар и обратно — около двух тысяч километров в один конец — завершал в короткий мартовский день. То руганью, то угрозами, то лаской и лестью, смотря по обстановке, добивался быстрейшей заправки бензином на конечных пунктах посадки. Но зато как хорошо было, вернувшись, увидеть на лице командира радостное удивление.

Но... числясь на службе в действующей армии, я скоро перестал различать разницу между полетами здесь, в группе, и в тылу. И в то же время до меня доходили слухи о гибели моих друзей, служивших в других частях. Погиб такой-то, там-то — сбили зенитки. Упал в Ладогу, сраженный огнем истребителя, такой-то и такой-то. И вставали они передо мной, жизнерадостные, полные сил и надежд, веселые, умные, какими я их знал по совместной работе в мирное время. А теперь их нет. Горюют их семьи, жалеют друзья.

И уж кажется мне, что опасность именно там. И что хотел я этого или не хотел, а, пожалуй, схитрил: пристроился на «теплое место». И от этих мыслей мне было не по себе.

Как-то в столовой, во время ужина, я сказал об этом командиру. Он посмотрел на меня с удивлением.

— Вы же знаете, что делаете важное дело, — сказал

он сухо, придвигая к себе стакан с чаем.—Но считайте, что просто вам повезло. Вы отлично летаете в плохую погоду, то есть тогда, когда истребители противника сидят. Ваши шансы на встречу с ними практически равны нулю. Вы хотите видеть лицо врага? Вряд ли вам это удастся, даже если вы будете воевать в бомбардировочном полку, куда, я слышал, вас тянет. Впрочем... завтра я пошлю вас в осажденный Ленинград.

Осажденный Ленинград. Чудеса героизма и стойкости. Занесенные снегом кварталы. Трупы на улицах...

Голод. Трудно представить себе его ощущение, когда ты сыт. Я пережил в детстве голод, и у меня осталось в памяти только мучительное чувство пустоты и угасания.

— Тетя Паша, — сказал я заведующей столовой, пожилой рыхлой женщине с отечными ногами. — Завтра я лечу в Ленинград.

У тети Паши мгновенно увлажнились глаза. Она всплеснула руками и полезла в карман за платочком. Потом торопливо ушла и вернулась с буханкой черного хлеба:

— На вот, сынок, кому-нибудь дашь там...

В Ленинград я в тот день не попал. Была плохая погода: стоял туман, и меня послали в обычный, будничный полет, в Сталинград.

— Там погода терпимая... Тепло, — отводя глаза в сторону, сказал диспетчер, — а задание очень важное. Очень. Подшипниковый цех тракторного завода вот-вот остановится. Нужна листовая сталь для сепараторов. Нужны танки для фронта, понимаешь? Вот. Ты отвезешь эту сталь. Там тебе будут рады. Жми.

Он проводил меня до самолета. Хрустел под ногами снег. Стояли сказочно убранные инеем березки. Стояли зачехленные самолеты. Стоял туман. Слева таинственно темнел сосновый бор, справа тонуло в молоке летное поле, и ряд зажженных для взлета костров из промасленных тряпок мазал белизну тумана неподвижными пятнами черной копоти. Было тихо. Щипал за щеки мороз.

— Март — кривые дороги, — проворчал диспетчер, сбивая с березки ударом ноги по стволу мохнатый иней.— Весна, а морозит, как в январе. — Он остановился. — Слушай, ты этой метеосводке не верь. Погода кругом паршивая, даже там. Понял? Так что — соображай. Лучше всего выходи на Камышин. Вернее будет.

А уж оттуда, если прижмет, — бреющим по Волге. Ну, да не мне тебя учить! Валяй, жми. И ни пуха тебе, ни пера!

— Иди ты к черту! — с сердцем ответил я, досадуя на то, что полет в Ленинград не состоялся.

Часа полтора мы шли в облаках, густых и белых, как вата. Пора определяться. Нужно пробиться к земле, восстановить ориентировку.

Медленно теряем высоту. 400 метров. 300. 200. 100... Молоко. Гм!.. Дальше снижаться рискованно. Вынимаю из-за голенища сапога аэронавигационную счетную линейку. Прикидываю. Судя по времени, мы должны быть где-то за Тамбовом. Местность там ровная, возвышенностей нет. Можно попробовать снизиться еще. Зимой в тумане это делать опасно. Белый покров снега неотличим от тумана, и землю можно увидеть лишь тогда, когда... в нее врежешься.

Вести самолет по приборам и одновременно высматривать землю — трудное дело. Отвлекаться нельзя — опасность рядом. Малейшая ошибка, и...

Говорю бортмеханику:

— Ваня, гляди в оба!

— Гляжу. Ничего не видно. Молоко!

Летим. Переживаем. А если так будет до самой Волги, что тогда? Мы проскочим ее, потеряем полностью ориентировку и будем мотаться до полной выработки горючего. Потом упадем. Ткнемся в заснеженную землю, превратив машину в груду металлических обломков.

Но нам повезло. Облака внезапно чуть-чуть приподнялись, и мы увидели под правым крылом железную дорогу. Бежит товарный поезд. Вьется дымок из трубы. Машинист, с паклей в руках, выглядывает из окна паровозной будки. Снимает фуражку, машет нам. Отвечаю ему троекратным покачиванием крыльев. Машинист в восторге. Из-за его спины высовывается лицо помощника. И все осталось позади. А впереди уже видны станционные дымки и хатенки.

Жадно всматриваюсь в местность. С малой высоты ее опознать трудно: очень быстро проносятся ориентиры. Но я все же узнаю, и сердце сладостно екает: Балашов! Здесь я когда-то учился на летчика. Это было давно-давно, и в то же время недавно. Всего-то девять лет назад...

Погода явно улучшается. Заметно теплеет. И это ме-

ня беспокоит. Может раскиснуть аэродром, и тогда нам не сесть.

Волга. Сталинград. Дымы, дымы: коптят заводы. Ищу аэродром. Вот он! Подлетаем. Ну, конечно, на испещренном лужами снегу — крест из черных полотнищ. Летит в воздух красная ракета. Посадка категорически воспрещена. Ничего себе — влипли в историю! Что же делать?

Летим вдоль города. Ага, вон еще аэродром! Подлетаем. То же самое. На душе противно. Город под нами выглядит неряшливо. Слякотные улицы, черные дымы из труб. Вспыхивают звездочки под дугами трамваев, ползают букашки-люди.

В наушниках щелчок:

— Командир, сзади, в стороне, вижу еще аэродром.

— Где, Ваня, где? — Круто разворачиваю машину.— Так, вижу. Идем туда!

Подлетаем. Небольшой аэродром, очевидно, школьный. Три ангара. Серое приземистое здание. Шест с традиционной «колбасой». На сером, осевшем снегу поля, разрисованного вдоль и поперек следами посадочных лыж, четко выделяются полотнища «Т». В воздухе несколько тренировочных самолетов с лыжами под брюхом.

М-да! Значит, поле катками не укатывалось, снег рыхлый и, если машина провалится на пробеге, — полный «сальто-мортале» через голову обеспечен.

Однако выхода нет. Садиться нужно. Питаю слабую надежду на то, что баллоны наших колес — толстые. Может, и обойдется?

Захожу в круг. На старте смятение. Двое сломя голову бегут к посадочному «Т». Третий вытягивает руку вверх. В воздух летит красная ракета.

Ладно, не волнуйтесь! Заводу нужна листовая сталь. Нужна до зарезу. И даже если самолет опрокинется, — танки на фронт пойдут! И решат исход боя. И спасут много-много жизней советских бойцов.

На поле выложен крест. Плевать. Планирую на малой скорости. Люди на старте, сбившись в кучку, замерли. Мне видны их растерянные лица.

Добираю ручку. Машина садится, едва-едва касаясь колесами мокрого снега. Замедляется бег: тише, тише. Каскады тяжелых брызг мокрого снега с грохотом бьют по закрылкам. Я жду: вот-вот самолет осядет, споткнется и начнет с размаху закидывать хвост.

Все обошлось, нас спасли широкие баллоны. Разво-

рачиваюсь, рулю. К нам бегут люди. Высокий худощавый капитан с длинным обветренным лицом на ходу вскакивает на крыло.

— Ну, вы и отчаянно! — запыхавшись, говорит он и жмет мне руку. — Что это вам так приспичило? Откуда вы?

Узнав о прозаическом грузе, он разочарованно пожимает плечами:

— Стоило рисковать! Завод остановится? Чепуха какая! Ведь не везете же вы здесь броню на два десятка танков! — Капитан смеется, довольный своей шуткой.— Рулите к штабу, я буду стоять на крыле.

Дорулив до бетонной площадки, я выключил мотор, выбрался из кабины и, разминая затекшие ноги, пошел вслед за капитаном в дежурное помещение, чтобы позвонить.

— Так вы говорите — будут рады? Посмотрим.

Недоверчиво хмыкая, капитан завертел ручкой телефона. С трудом связался с заводом, угодив прямо к директору:

— Алло! Товарищ директор? Слушайте, тут вот к вам самолет прилетел...

— Ну? — равнодушно прохрипело в трубке. — Так что из этого?

Капитан еще раз хмыкнул и многозначительно посмотрел на меня:

— Ну вот видите — сплошной восторг! Нет-нет, это я не вам. Понимаете, летчик привез листовую сталь для сепараторов...

— Что, что?! Для сепараторов?! Не может быть! Откуда звоните?

Я торжествующе посмотрел на капитана и вышел из прокуренного помещения на воздух.

Лечу в Ленинград

Я лечу в Ленинград. Волнуюсь. Сотни наставлений, тысячи советов. Маршрут полета знаю назубок. Взлечу, обойду Москву с восточной стороны и возьму курс на Тихвин, до которого лететь 525 километров над местностью, где совсем недавно был враг. Линия фронта слева. Близко. Зазеваешься — пиши пропало.

— Срежут сразу! Там истребители только и шастают, — говорят мне ребята, — так что мотай на ус.

Мотаю.

В Тихвине посадка. Заправка бензином. Дальнейший полет под эскортом истребителей. Ладожское озеро пересеку в самой нижней его части. Выходить к Ленинграду буду прямо на маяк. Левее, метрах в трехстах, — немцы.

— Мотай на ус.

Мотаю, беспокоюсь: а далеко ли виден маяк?

— Далеко, — говорит один.

— Так себе, — говорит другой. — Смотря какая погода. Там часто налетают туманы. Так что — мотай на ус.

Мотаю. Туманы? Гм! А вдруг мне «повезет» и будет туман или дымка. Долго ли уклониться? Ведь триста метров!

Ко мне подходит Вася Челышев, отводит в сторону.

— Слушай, когда прилетишь в Тихвин, там наверняка будут стоять десятка два транспортных самолетов. Им тоже в Ленинград. Но прикрытия не дают. Понял? Они будут ждать тебя.

Я готов был обнять этого доброго парня.

— Понял, Вася, понял! Мы вылетим вместе.

Вася ухмыляется:

— Только учти: истребителям это не нравится, скорость мала, и им приходится кружиться в вальсе. Мотай на ус.

Мотаю.

Наконец приезжает фельдъегерь. Пожилой, усатый. В тулупе, в валенках, с громадным кожаным портфелем. Я его не узнаю. Он критически осматривает меня: «Новенький?» — и цепкими пальцами прижимает к себе портфель.

Взлетаем. Удивительно приятное это чувство — волнение новизны. Я еще не был «там», и мне предстоят открытия. Я не знаком с природой северней Москвы и, стыдно признаться, — не был в Ленинграде вообще. Не пришлось. Не успел. Отсюда волнение.

Красавец город встает в моем воображении, опутанный колючей проволокой, огороженный рвами, противотанковыми надолбами, «ежами», обложенный мешками с песком, заваленный снегом. Хмурый, суровый, непоколебимый.

Москва, как и всегда, окутана мглой. Держусь ее восточной стороны. Леса, леса. Видимость только вниз. Строго выдерживаю курс. Но — что это? Мимо мелькнул человек, повисший на стропах! Еще чуть-чуть, и мы

столкнулись бы. Удивленно пялю глаза во мглу. Вот — еще один! Пригасил парашют, стремительно валится вниз. Опытный, ч-черт...

И вдруг меня осеняет догадка: «Шпионы! Диверсанты! Надо предупредить своих!».

— Ваня! Ваня! Быстро свяжись со штабом, доложи: «В восточной стороне Москвы, в районе Пушкино, сброшены парашютисты!..»

Круто разворачиваюсь, пикирую к земле. Ищу. Бесполезно. Видимость скверная, а под нами лес и малонаселенная местность. Становлюсь на курс и долго не могу прийти в себя от наглости фашистов. Подумать только, средь бела дня сбрасывать шпионов, чуть ли не на самую столицу.

Воздух проясняется. Виден горизонт, видно все вокруг. Неприглядная картина! Расщепленные снарядами сосны, вывернутые с корнем березки. Все покрыто снегом, но даже толстый слой его не в силах скрыть изборожденное воронками лицо земли.

Тихвин. Среди длинной лесной прогалины — аэродром. Левая часть вся уставлена самолетами ЛИ-2, правая — почти пуста. Лишь возле одинокой землянки стоит с десяток истребителей американской конструкции с крикливым названием «томогаук».

Садимся, заруливаем к транспортникам. К нам тотчас же подъезжает бензозаправщик. Фельдъегерь сидит в кабине, топоршит усы, держится за портфель. Он не намерен вылезать. Ну, ладно, Фома Кузьмич, сиди, а я погуляю.

Пока Ваня Архангельский возится с самолетом, я вылезаю и медленно иду вдоль границы летного поля. С любопытством осматриваюсь. Мне все интересно здесь и немножко жутко.

Молча, плотной стеной стоят сосны — хранительницы тайн. За ними — нетронутый девственный снег, усыпанный сосновыми иголками. Ни одного человеческого следа! Оно и понятно: чуть ли ни на каждом шагу — предупредительные надписи на фанерках: «Не ходить— мины!»

Вглядываюсь в снежную целину и нахожу то, о чем мне говорили ребята: «подснежники!». Вон, странным образом прислонившись к подножью сосны, застыл округлый ком рыхлого снега. Под комом — щель, в темноте которой из-под угловатого козырька немецкой каски выглядывает жуткий оскал мертвеца. Пришел,

увидел и... не победил. Откуда ты? Из какой земли гитлеровской Германии? И кто оплакивает тебя сейчас горючими слезами?

А вон, левее, торчит из-под снега рука с черными скрюченными пальцами. Не далась ей Россия!.. А вон нога в подкованном солдатском ботинке. «Подснежники». «Хайль Гитлер!» Вот тебе и «хайль».

Возвращаюсь к самолету. Заправщик отъехал в сторону. Можно запускать мотор. Но я не тороплюсь. Оглядываю длинную вереницу стоящих вдоль леса ЛИ-2. Кое-где еще не закончены работы. Бортмеханики торопятся, летчики нервничают. Ко мне, запыхавшись, подбегает один из них: молодой, веснушчатый, голубоглазый. Наверное, второй пилот. Шапка сбита на затылок, комбинезон расстегнут. Видно, бежал с дальнего конца. Жарко.

— Слушайте, пять минут еще можете подождать, а?

— Можно. — Неожиданно спрашиваю: — Жантиева знал?

Летчик кивает головой:

— Ибрагим Увжикович? Как же, знал. Его сбили. Над Лугой. Вот так же отстал... Нырнул, и все тут.

«Нырнул». Как просто! А ведь жил человек добрейшей души. Высокий, красивый. Осетин. Работал. Имел жену, детей. Был счастлив. Но пришли эти вот... «подснежники» и убили. За что?

Летчик не уходит, видимо, что-то хочет спросить. Я поощряю его кивком головы.

— И еще, пожалуйста, ребята просят — держите скорость поменьше. Прошлый раз какой-то из ваших как дунул... И мы остались без прикрытия. Еле ноги унесли. У них ведь пушки, а у нас... шкасики.

— Ладно, учту. Все?

— Все.

— Ну, беги! Ваши пять минут уже прошли, вон тебе машут.

Еще раз окинул взглядом воздушную армаду. Все работы закончены, все готовы. Кое-кто уже запускает моторы. Правильно! Им надо взлететь раньше меня, сгруппироваться, а я их догоню.

Не торопясь забираюсь в кабину. С другой стороны просеки за мной наблюдают. Летчики-истребители садятся в самолеты. Один из них, высокий, с горделивой осанкой, прохаживается вдоль линейки. То и дело посматривая на часы и оглядываясь в мою сторо-

ну, он делает подчеркнуто-нетерпеливые движения руками.

— Кто это? — спрашиваю у шофера-заправщика.

— А! — досадливо махнув рукой, ответил шофер.— Командир эскадрильи. — И, подняв воротник полушубка, неожиданно добавил: — Дерьмо человек.

Я смущенно промолчал. Шофер пожилой, ему лучше знать. Однако — эпитет...

Ревели моторы, кружилась снежная пыль, и самолеты один за другим уходили в серое небо. Они везли медикаменты и продукты осажденному Ленинграду.

Подождав, когда взлетит последний самолет, подрулил к старту и я. Командир эскадрильи, сделав мне кистью руки небрежный жест, не торопясь подошел к моему самолету, взобрался на крыло. Ко мне в кабину глянуло обветренное худощавое лицо с белесыми глазами.

— Слушай, ты, — вызывающе сказал он, увидев в моих петличках два кубаря. — Чего резину тянешь? Мои хлопчики сопровождают тебя, а не этих... — он кивнул головой в сторону взлетевших ЛИ-2 и грубо выругался.— Понял?

Меня затрясло от бешенства. Так оскорбить летчиков-тружеников!

— Понял, — как можно спокойней сказал я, глядя в упор в его глаза. — Все понял. И знаешь что — иди-ка ты отсюда!..

Я оттолкнул от борта его руки и с треском захлопнул фонарь.

Мы догнали летевших беспорядочной кучкой ЛИ-2 возле Волхова. Забравшись в их середину, я сбавил скорость и осмотрелся.

Странное это было зрелище. Мы летели плотной жужжащей кучкой над самой землей, а над нами рассерженными осами стремительно носились тройками взад и вперед наши истребители. Фашистские молодчики были тут как тут. Они, в свою очередь, держась на почтительной высоте, ходили над нашими и высматривали — не отстанет ли кто из ЛИ-2?

— Слоеный пирог, — высказал Ваня Архангельский свои соображения. Он был у меня в экипаже оптимистическим философом.

В Ленинграде

Все было совсем не так романтично, как я представлял. Пчелиным роем мы пересекли кусочек Ладоги, дошли до маяка и разлетелись по своим аэродромам.

Наш аэродром, какой-то неопределенной конфигурации, окруженный со всех сторон густым сосновым лесом, беспорядочно уставлен самолетами разных конструкций. Копошатся люди: что-то разгружают, что-то укладывают. Подъезжают и уезжают машины. Все как будто бы так же, как и на других аэродромах, и вместе с тем не так. Что-то здесь все-таки было особенное, а что — никак не понять!

Сугробы снега. Тропинки. Темные масляные пятна на местах стоянок самолетов. Сосны и между ними — двухэтажные дома с бревенчатыми стенами. Вот на крыльцо с поломанными перилами вышла женщина, укутанная в платок. Постояла, посмотрела безучастно и ушла. Движения ее были медленные, скупые.

Тогда я посмотрел на людей, разгружавших самолет. И они тоже, ссутулив спины, двигались вяло и безучастно.

И только тут я понял, в чем особенность этого аэродрома. Здесь были голодные люди.

К нам, поскрипывая снегом, подъехала легковая машина с двумя автоматчиками. Я уже знаю от ребят — шофера звать Сашей. Он сейчас вылезет из машины, поздоровается с нами, как со старыми знакомыми, и тотчас же начнет хвастаться своими автомобильными покрышками, которые «пуля не берет».

Так оно и случилось. Пока наш Фома Кузьмич выбирался из самолета и впихивался со своими громоздкими тулупом, валенками и портфелем в «эмку», Саша успел все рассказать о покрышках. Увидев на моем лице признаки сомнения, он, недолго думая, выхватил из кобуры пистолет и — бах! бах! — два раза выстрелил в заднее колесо своей машины. И никто не ойкнул, никто не выругался, и даже никто не обернулся на выстрелы. Мне только осталось рот раскрыть от изумления. Довольный произведенным эффектом, Саша сунул пистолет в кобуру и, сказав, что вторым рейсом заедет за нами, сел за руль.

Наконец, Фома Кузьмич умостился, автоматчики за-

няли свои места, и Саша, резво сорвав машину с места, умчался на своих непробиваемых покрышках.

Мы с Архангельским завязывали последние тесемки на зачехленной машине, когда мое внимание привлек робкий хруст снега под чьими-то неуверенными шагами. Я оглянулся. Передо мной стоял худой, как скелет, человек в серой измятой шинели, в кирзовых сапогах и шапке-ушанке с завязанными у подбородка тесемками. Это был ополченец. Он вышел из леса и сейчас, бессильно опустив руки, тяжело переводил дыхание. Он смотрел на меня большими круглыми глазами, полными неизъяснимой печали и доброты, страстной надежды и разочарования.

Наконец он отдышался и слабым голосом, который еле было слышно из-за налетевшего внезапно ветра, сказал без всякой интонации:

— Товарищ летчик, не найдется ли у вас кусочка хлеба?

Я был потрясен. Острая жалость к незнакомцу, презрение к себе за свою сытость ожгли мне щеки жгучим стыдом. Я был растерян и уничтожен в своих же собственных глазах. Я был готов провалиться сквозь землю. Некоторое время я не мог раскрыть рта, чтобы сказать ему, что я — сытый и довольный, собираясь лететь в Ленинград, не догадался взять с собой хлеба, чтобы здесь хоть кому-нибудь принести мимолетное счастье...

Сказать «нет» человеку, который смотрит сейчас на тебя с такой надеждой, было превыше моих сил. Но все же я должен был сказать ему это слово, ибо у нас действительно не было ничего...

Он, наверное, понял мое замешательство как-то по-своему. В его светлых глазах вдруг мелькнула настороженность. Я видел отчетливо: он что-то соображал, прикидывал, и взгляд его стал холодным, стальным.

Мое сердце разрывалось от невыразимого страдания. Как я могу доказать ему, что у меня действительно ничего нет?!

И тут я вспомнил! С неделю назад, когда мы собирались лететь сюда, тетя Паша дала мне буханку хлеба. Куда я ее дел? Я положил ее в багажник!

Я резко повернулся:

— Ваня! Помнишь, я клал буханку хлеба в багажник? Посмотри, там ли она?

От нетерпения я сам взбежал на крыло, выхватил

у Вани отвертку, открыл багажник и запустил в него руку. Буханка была на месте. Я облегченно вздохнул и вытащил ее наружу, промерзшую насквозь и твердую, как камень. «Такой хлеб давать истощенному, слабому человеку?!»

Я оглянулся на ополченца. Он стоял не шевелясь, безучастно глядя перед собой большими светлыми глазами.

Я спрыгнул с крыла. Сгорая от стыда, подошел к нему и, робко протягивая буханку, пробормотал:

— Вы извините меня, хлеб несвежий, жесткий. Но это все, что у нас есть...

Человек очнулся, медленно опустил глаза и посмотрел на буханку равнодушным взором, будто оценивая значимость предмета, который ему предлагали.

Внезапно глаза его разгорелись. Он словно ожил. Движения его стали быстрыми, отрывистыми. Он вскинул голову, недоверчиво посмотрел на меня:

— Это вы мне?

— Берите, берите, — пробормотал я.

Он протянул было руки, но тут же отдернул их.

— Всю?

— Ну, конечно же!

Он пожирал буханку глазами. Он ласкал ее взглядом, впиваясь зрачками в каждую впадинку, в каждый бугорок чуть пригоревшей корочки.

— Да берите же в конце концов! — воскликнул я, потеряв терпение.

Он схватил буханку сухими длинными пальцами, секунду подержал на весу, и вдруг, весь подавшись вперед, прижал ее к груди. Лицо его было растеряно.

— Это невероятно! — бормотал он. — Невероятно! Как в сказке. Как во сне.

И вдруг он как-то скис, опустил плечи и, оглянувшись по сторонам, прошептал:

— Но у меня... У меня нет ничего равноценного. Ведь это так много, так много. Разве только эта вот... фамильная память... Отец получил золотые часы на конкурсе пианистов в Варшаве...

Дрожащей рукой мужчина расстегнул пуговицу шинели и вытащил из-за пояса брюк большие карманные часы на массивной цепочке.

У меня в груди что-то оборвалось. Мне стало тошно.

— Эх, вы!.. Как вам не стыдно... Идите!

И человек заплакал:

— Простите. Простите великодушно. Боже мой боже мой...

Он повернулся и пошел по тропинке в лес, прижимая левой рукой к груди хлеб, а в опущенной правой все еще держа часы. Золотая цепочка, оставляя за собой змеиный след, волочилась по снегу.

Саша привез нас в гостиницу к вечеру. Мы вылезли из машины возле небольшого трехэтажного дома старинной постройки. Узкая улица была заставлена вереницей трамваев, заваленных снегом по самую крышу.

Саша громко хлопнул дверкой:

— Пойдемте, я вас провожу.

По глубокой траншее, пробитой в громадных сугробах, мы прошли в узкую темную арку ворот и очутились в небольшом дворе, заставленном вдоль стен какими-то станками, прикрытыми брезентом. Возле окованной железом двери с большим висячим замком стоял, опершись о винтовку с примкнутым штыком, часовой в овчинном тулупе. Он стоял безучастно, как манекен. Страшно худое лицо с заострившимся носом, глубокие глазницы. Он не шевельнулся, когда мы проходили мимо него. Он даже не повел глазами, чтобы посмотреть на нас. И было видно, что стоял он из последних сил. И если бы сейчас взять у него винтовку, то он непременно упал бы.

Ваня Архангельский обеими руками впился мне в локоть:

— И он еще стоит на посту! Я не выдержал бы. Я лег бы и умер.

— Тише ты, услышит.

По узкой темной лестнице мы поднялись на второй этаж. На лестничной площадке, в тесной каморке, сидели за маленьким столиком трое в военной форме. Один пил чай, двое играли в шахматы. Трещала печурка в углу, тускло светила коптилка, сооруженная из артиллерийской гильзы.

Услышав наши шаги, один из играющих поднял голову и вгляделся в темноту:

— Это ты, Саша?

— Я, Николай Сергеич.

— Летчиков ведешь?

— Летчиков.

Саша протянул ему какую-то бумажку. Тот прочитал ее, аккуратно свернул и положил в карман гимнастерки. Осмотрев нас внимательно, очевидно, запоминая лица, он сказал:

— Добро, проходите. — И снова склонился над доской.

Нас встретила женщина с отечным лицом. Взяв со стола в прихожей горящую коптилку, она прошла в небольшую комнатку с двумя застланными свежим бельем койками. Саша распрощался и ушел, а женщина сказала тусклым голосом:

— Раздевайтесь, умывайтесь, а я проведу вас в столовую.

Мы с Ваней переглянулись.

— Куда, куда, в столовую? — переспросил Иван.

— А как же — ужинать. Вам положена летная норма.

— Летная норма! — сказал Архангельский, садясь на стул и сдергивая с ноги унт. — И это здесь — в Ленинграде! Для приезжих! Ч-черт знает что!

И все-таки она отвела нас в столовую. Небольшой зал, десятка полтора столиков, накрытых белыми скатерками. Приборы, бумажные салфетки. И, может быть, от этой неожиданной опрятности и какого-то, как нам казалось, искусственного домашнего уюта на нас повеяло таким холодом, что мы поежились. Все здесь нам казалось невероятным и совершенно не подходящим для голодающего города, где крошке хлеба не было цены.

Ваня сидел как на иголках. Ерзал на стуле и не знал, куда девать свои огрубевшие руки со следами несмываемого масла.

Принесли ужин. Конечно, это была весьма и весьма относительная «летная норма», но здесь, в Ленинграде, она должна означать и, конечно, означала великолепный «царский» ужин.

Мы сидели, опустив глаза. И стоявший во дворе часовой все маячил перед нашим взором.

И оба враз, не сговариваясь и не глядя друг на друга, мы потянулись к вазе с бумажными салфетками, взяли по нескольку штук и, придвинув к себе тарелки, осторожно стряхнули в бумагу содержимое.

Мы спустились на второй этаж и прошли мимо сторожки, где по-прежнему двое играли в шахматы, а третий пил чай.

— Туалет во дворе налево, — не поднимая головы, сказал один из них.

— Ладно, спасибо.

Мы вышли во двор. Где-то в небе гудел самолет, и синие лучи прожекторов, ища его, бегали по облакам.

И с каждым поворотом луча все во дворе приходило в движение. Вот зашевелилась бочка, вытянув длинную тень, вот искривились стены, сверкнули стеклянными глазницами окон и помрачнели в тяжком раздумье.

Наших ног коснулась тень от штыка часового.

— Вот он! — шепнул Иван и принялся совать мне в руки теплый размокший сверток. — На, иди лучше ты!

Часовой стоял все в той же позе, прислонившись спиной к кирпичной стене и опираясь обеими руками о винтовку. Да жив ли он?!

Конечно, это было не по уставу — подходить к часовому, да еще разговаривать с ним. Но как же тогда вручить ему наши свертки?

Кажется, мне пришла на ум удачная мысль. Громко кашлянув, я сказал:

— Пойдем, Ваня, за ворота, посмотрим, как наши будут лупить фрица.

И мы пошли к воротам. Проходя мимо часового, я при свете прожекторов увидел его внимательные глаза. Вот раздвинулись сухие губы, и до нашего слуха донесся хриплый, едва различимый старческий голос:

— Не выходите, сынки, за ворота — комендантский час.

— Да? Мы и забыли! Спасибо, папаша.

Мы повернули назад. В это время где-то вдалеке глухо захлопали зенитки. Лучи прожекторов сошлись в пучок и остановились на сверкающей точке. Поймали! По крышам домов пролетела осыпь осколков от зенитных снарядов.

Пройдя часового, я подошел к ранее намеченному мною зарешеченному окну подвала и, кладя на подоконник оба свертка, сказал:

— Слушай, отец! Вот тут я положил тебе поесть. Но ты эти свертки сейчас не трогай. Будешь сменяться — тогда...

И мы ушли. И между прочим, не было нам радости от этого поступка. Мы делали его от души, без всякой задней мысли, без всякого желания покрасоваться. И все же в этом мерещилось нам что-то унижающее достоинство человека. Впрочем, наши мерки, конечно, никак не подходили к трагически тяжелой ленинградской действительности.

Мы погасили коптилку, подняли на окне светомаскировку и улеглись в холодные постели. За окном то угасали, то вспыхивали вновь лучи прожекторов, и в раз-

ных концах города взрывались тяжелые снаряды дальнобойной фашистской артиллерии. Было далеко за полночь, а мы никак не могли уснуть.

— А ведь я где-то читал, — сказал, приподнимаясь на локтях, Иван,—что для голодающего человека хлеб— хуже яда. Правда это или нет?

— Ладно, Ваня, спи, — сказал я ему, — завтра нам лететь. — А сам подумал, что, действительно, как бы старику от этого подарка не было худо.

Мы проснулись от стука в дверь. Это был Саша. Он уже приехал за нами. Было позднее утро. В голубом небе неподвижно висели позолоченные солнцем облака. На соседней крыше искрились сосульки. Хороший день! Мы быстро оделись и, чтобы не встречаться с хозяйкой (еще позовет завтракать!), потихоньку вышли на лестницу.

На втором этаже в сторожке было трое. Лица возбужденные, будто что-то стряслось необычное. Один из них, опираясь плечом о косяк двери, говорил:

— Ну вот, понимаете? Замок на месте, пломба, сургучная печать, все целое, а он...

Мы прошли мимо, сказали «доброе утро», вслед за тем — «до свидания» и стали спускаться вниз. Шагая по ступеням, я машинально прислушивался к словам говорившего.

— Да, так вот: все, значит, цело, а у него полный рот набит. Ест что-то, и еще в кармане. Откуда взял? Ограбил склад? Говорит: «Летчик дал». Ищи дурака! Кто поверит? Ну, конечно, все отобрали, взвесили, а его «на губу». Будет сидеть, пока не признается...

Содержание этих слов до меня дошло не сразу. Только выйдя во двор и увидев другого часового, я вдруг осознал смысл услышанного. Круто повернувшись и прыгая через две ступеньки, я помчался вверх. Влетел, запыхавшись, и с ходу выпалил:

— Часовой, который ночью стоял, где он? Мы отдали ему свои порции ужина!..

Сидевшие в каморке приподнялись, глядя на меня с неописуемым изумлением.

Эх, капитан, капитан!

И вот мы снова летим в Ленинград. Во всеоружии.

— Ваня, ты хлеб уложил?

— Уложил.

— И консервы?

— И консервы.

— Отлично!

Еще бы! Наш багажник забит до отказа. Сухой паек. Хлеб, сухари, Даже репчатый лук, который Ваня раздобыл где-то, в одном из наших полетов на юг.

— Витамин! — сказал Ваня, укладывая связку.— Чудо! Ленинградцы будут на седьмом небе.

Стоит апрель. Но он мне не нравится, этот вероломный месяц. Два дня назад над аэродромом свирепствовала такая пурга, что самолеты пришлось откапывать. А вчера как-то сразу потеплело. Снег осел, стал тяжелым, зернистым, как саго. Впрочем, мы летим на север, а там должно быть значительно прохладней.

Приехал фельдъегерь — тот же Фома Кузьмич. Мы встречаем его как старого знакомого. Смеясь, подсаживаем в самолет. С возгласом «эй, ухнем!» подталкиваем сзади в неуклюжий овчинный тулуп. Фома Кузьмич ворчит, как медведь, топорща в сдержанной улыбке усы.

Взлетаем. Берем курс на Тихвин. Небо почти очистилось от облаков, и тепло солнечных лучей ощущается основательно.

Внизу под нами все в сказочном блеске: снег, снег, снег. Нетронутая белизна. Темно-зеленый бор повеселел. А на опушке березки собрались, размахивают голыми ветвями по ветру. Вспыхивают на солнце сосульки, свисающие с деревенских крыш. Черными лоскутками носятся вокруг церквей грачиные стаи. Весна идет. На сердце тревожно...

Тихвинский аэродром нам не понравился. Снег расползался под ногами хрустящей влажной кашицей. Фома Кузьмич сидел нахохлившись в самолете. И хотел бы выйти, да нельзя. Он — в валенках. А калоши не взял. Вот беда!

Я тороплю шофера-заправщика:

— Петрович, скорей, скорей! Как бы нам здесь не застрять.

Петрович молчит, с сердцем выключает насос и, криво улыбаясь, поглядывает на противоположную сторону аэродрома, где летчики-истребители, собравшись вокруг командира, о чем-то спорят.

— Полет-то важный небось? — спрашивает заправщик у Кузьмича.

— У нас все полеты важные, — нехотя отвечает

фельдъегерь. — Кровь из носу, а доставить надо. Так мне сказали, когда я выезжал.

Меня тоже предупреждали о важности полета. И по этому поводу у нас с командиром был разговор.

— Доставить нужно обязательно, — сказал командир, придвигая мне бумажку. — Вот, читай: «При любых обстоятельствах», но без сопровождения не ходить, даже если будут подходящие условия полета. Понял? Распишись.

Заправка кончилась.

— Зря все это! — неожиданно сказал шофер, укладывая шланг.

— Что зря?

— Да вот — заправка. Никуда вы не полетите. — Петрович ткнул носком сапога в мокрый снег. — У нашего, этого... — он кивнул в сторону летчиков-истребителей, — баба здесь, и все такое. И лететь ему в Ленинград нет никакого резона. Аэродром — вон он — часа через три раскиснет совсем. И тогда лафа! Сиди, жди, когда снег сойдет и травка появится. А в Ленинграде-то воевать по-настоящему придется. — Петрович с сердцем плюнул в крупчатый снег. — Тьфу ты, прости господи, говорить-то тошно! Ребята, видите, спорят. Он не хочет.

«Он» — это капитан, командир эскадрильи, которого Петрович, как видно, недолюбливает, ну и наговаривает лишнее. Как это — не полетит? Куда он денется? Взлечу я, взлетят и они. Им еще даже проще: машины их легче, а баллоны, пожалуй, пошире моих.

Я запустил мотор и порулил на старт. Машина грузла, но не очень, взлететь можно вполне.

Останавливаюсь возле «Т», окидываю взглядом эскадрилью истребителей. Винты крутятся у всех. Ну вот и хорошо! Наговорил, значит, лишнего Петрович. Поехали!

Самолет, пробежав несколько дольше обычного, оторвался. Набирая скорость, я убрал шасси, выдержал машину над полем и лихо, с разворотом взмыл вверх. Хорошо! В плечах знакомый зуд летного задора. И если посмотреть с земли на такой разворот — это очень даже красиво выглядит. Знай наших!

Лечу вдоль аэродрома. Техники стоявших на ремонте ЛИ-2, приставив ладони к глазам, смотрят вверх, на меня. Я доволен.

Смотрю на старт. Что это?! Порулившие было на взлет истребители отруливают обратно. В чем дело? Не-

ужели действительно не полетят? Да, похоже, заруливают к стоянкам.

Сажусь. Самолет останавливается возле «Т». Тут же стоит с выключенным мотором «томогаук» командира эскадрильи. Возле крыла — сам капитан. Смотрит на нас без тени смущения.

Открываю фонарь, кричу:

— В чем дело? Почему не взлетаете?

Голос мой разносится по всему аэродрому. Это видно по техникам ЛИ-2, с интересом следящим за нами.

Комэск, не удостаивая меня ответом, молча ударяет носком унта в мокрый снег и показывает пальцем на ямку.

Я укоризненно качаю головой, перевешиваюсь через борт и кричу громко, чтобы слышали все:

— Баба ты, а не летчик! Курица! Да с этого покрова можно взлетать хоть сотню раз. Смотри!

Взлетаю. Делаю круг. Сажусь.

— Ну, будете сопровождать?

Командир презрительно сплевывает в снег и отворачивается.

Вне себя от ярости, резко даю обороты мотору, взлетаю еще раз. Сажусь.

— Ну, будешь взлетать или ты... за фашистов?

Кажется, я его пробрал. Наконец-то у него заговорило самолюбие. Он побледнел, вздрогнул, словно от пощечины, и, согнувшись, принялся торопливо расстегивать кобуру пистолета.

И тут я услышал голос Фомы Кузьмича:

— А ну, ну, полегче на поворотах! Ты, там, щенок! Положи пистолет обратно!

Команда была внушительная. Комэск, уже вынувший пистолет, с сердцем сунул его в кобуру.

Я обернулся. Фома Кузьмич, открыв фонарь, стоял во весь рост, как медведь на дыбках: громадный, взъерошенный, злой.

— Так-то оно лучше, — удовлетворенно проворчал Кузьмич. — Теперь спрашиваю я: будете сопровождать?

Комэск, залезая в кабину, выразительно посмотрел на фельдъегеря:

— Идите вы, знаете куда?!

И захлопнул фонарь.

— Так, все ясно, — проворчал Кузьмич. — Заруливай, командир, на стоянку. Вылет не состоится. А он... Эх, молодо-зелено! Жаль, однако, парня.

Я зарулил на стоянку и, не выключая мотора, стал раздумывать над создавшейся ситуацией. Все сводилось к тому, что нам надо сейчас же, пока не раскис аэродром, вылетать домой, иначе застрянем на долгое время.

Но Кузьмич рассуждал по-иному.

— Командир, не придумывай, — глухо сказал он из своей кабины. — Улетать нельзя. Этот дружок, видать, оборотистый. Улетим — всю вину на тебя свалит. А за это знаешь что?.. Ночевать будем.

Ну, ночевать так ночевать. Я выключил мотор. Итак, мы будем жить на этом островке, как робинзоны. Ведь не пойдешь же проситься в гости к комэску?

— Хорошо, что у нас продовольствие есть, — сказал я.

— Да, — уныло отозвался Архангельский, вылезая на крыло и с грустью рассматривая свои меховые унты. — Продовольствие есть, а вот калош нету. Дела...

Мы просидели в Тихвине трое суток, пока не расчистили себе для взлета узкую дорожку, добираясь сквозь толстый слой хлюпкого снега до песчаного грунта.

Перед самым вылетом узнали от прибежавшего Петровича новость: комэска сместили с должности и под конвоем отправили в Москву.

— Ну вот и разобрались! — сказал Кузьмич, потирая ладонью небритые щеки. — Эх, капитан, капитан!..

Я—фанатик

Погиб где-то под Клином мой старый друг Саша Слесарев. Сбили, подожгли истребители. Жалко до слез. Еще в тридцатые годы мы инструкторили в Балашовской школе. Были в одном звене, спали в одной палатке. Хороший был человек. Прямодушный, добрый.

Я пришел в столовую в подавленном состоянии. Сидел, ждал, когда подадут на стол, но официантка, наклонившись, шепнула мне на ухо:

— Вас просит к себе командир группы. Он здесь, в столовой, в первом зале.

Командир группы? Это ново. Все летные дела мы обычно решаем с комэском, и не в столовой, а в штабе. Зачем я ему? Меньше всего хотелось мне сейчас вести разговоры с начальством. Все мне здесь надоело, все опротивело. Летаем по тылам, утюжим воздух и числимся в действующей армии. «Действующая». Действующая там, где погиб Слесарев...

Командир встретил меня приветливо. Поднялся, подал руку и, усадив рядом с собой за стол, где уже стояли два прибора, достал из тумбочки графинчик с водкой.

Я неохотно выпил, поставил рюмку и, ловя вилкой соленые грибки, стал ждать, что скажет командир. Я уважал его. Он был славным человеком. Высокий, атлетического сложения, красивый, с крупными чертами лица и чуть вьющимися каштановыми волосами.

Начал он издалека. С высокой похвалой отозвавшись о моих летных способностях, намекнул на то, что на меня уже составлен наградной лист, что я тут на месте, и что во мне нуждаются, и даже хорошо говорят в Генеральном штабе.

Я слушал его, кивал головой и краснел. Приятно было, конечно, но куда он клонит?

Выпили еще. Слегка захмелев, он сказал наконец напрямик:

— Ты знаешь, тебя искали в Ташкенте! А нашли у нас. И вот — шифровка. Читай.

Я взял листок. Там значилось: летчика такого-то, с получением сего, откомандировать в распоряжение АДД — штаба Авиации Дальнего Действия. И все.

У меня екнуло сердце. Как перед прыжком с парашютом. Я хотел на войну? Вот она! Куда уж больше. Ночные бомбардировочные рейды. Прожектора, зенитки, истребители...

Командир отодвинул тарелку, положил локти на стол и, наклонившись, заглянул мне в лицо:

— Вот: от-ко-мандировать. Понял? А можно и не откомандировывать. — Он выпрямился, наполнил рюмки. — Все-таки мы обслуживаем Генеральный штаб! — Он помолчал, ожидая, когда выйдет официантка, принесшая вторые блюда. — Между нами говоря, командующий АДД Голованов выговорил у Сталина право набирать себе летчиков. На кого укажет — персонально, тот и его! Но Генеральный штаб может сделать исключение. Нужно твое согласие. Рапорт. Понял? — Командир поднял рюмку. — Словом, если хочешь остаться, а я этого желал бы, то мы сейчас выпьем с тобой по последней — и делу конец.

Я осторожно отодвинул свою рюмку.

— Не хочу вас обижать, товарищ командир, но... Раз зовут, значит...

Командир, расплескав водку, резким движением по-

ставил рюмку и, откинувшись на стуле, помотрел на меня с искренним удивлением.

— Не спеши. Не спеши с ответом. Подумай еще денька три...

— Нет, товарищ командир, я решил.

Он долго молчал, ожесточенно пиля ножом отбивную, наконец не выдержал, брякнул об стол ножом, схватил рюмку:

— Черт с тобой, фанатик ты этакий! Давай. За твои успехи. Искренне и от всей души!

В штабе АДД меня спросили, на какой технике я желаю воевать — на отечественной или на американской?

Американские бомбардировщики?! Двухмоторные БИ-25? Хорошие машины. А что, полки на них уже укомплектованы? Нет? Надо еще ждать самолеты? Благодарю покорно. Лучше уж пошлите меня на отечественные.

И меня послали на самолет конструкции Ильюшина. ДБ-3ф! Звучит. Дальний бомбардировщик!.. Полк располагался под Москвой.

На вокзале, ожидая пригородного поезда, я вдруг увидел в толпе тщедушную фигурку знакомого летчика. Протолкался.

— Колька! Бобровский, ты? — Мы обнялись. — Ты куда? В сто сороковой? Да что ты? Вот здорово! Значит, вместе?

— А я не один, — смешно дергая вздернутым носиком, сказал Бобровский. — Нас целая команда — двенадцать человек. Да вот они.

К нам подошла целая компания. Все из ГВФ.

— Ба-а! Кого я вижу — Виктор, Кришталь! Салам алейкум, уртак! Ты из Ташкента? Вот встреча!

Бобровского я знаю по Балашовской школе. Вместе инструкторили. Виктора по Ташкенту. Он летал в санитарной авиации. Тоже маленького роста, худой, изящный, как девочка.

Поезд остановился у дощатой площадки, окруженной громадными соснами. Мы сошли молчаливой группой и остановились, чтобы осмотреться. Было тихо, сумрачно и неуютно. Кое-где вдоль заборов заколоченных дач еще лежали грязными кучами сугробы снега. Пахло сыростью и хвоей. Тревожно кричали грачи. Накрапывал дождь.

— Дождь, братцы, хорошая примета! — сказал кто-то. — Потопали, ребята.

Долго шли мимо заборов, мимо сугробов, мимо пахучих сосновых стволов, пока не уперлись в кирпичную ограду с железными воротами и часовым. Предъявили документы. Прошли.

Гарнизон. Чистота. Порядок. Красивые здания с высокими окнами. Очевидно, раньше здесь был санаторий. Разыскали штаб.

— Ага, новенькие? Хорошо!

Нам выдали талоны на питание, распределили по эскадрильям. Показали наши койки в общежитии.

— Все! А теперь погуляйте, осмотритесь. Когда будете нужны — позовем.

Гуляем. Осматриваемся. Самое главное, конечно, узнать, где столовая и какой там распорядок. Где кино. Можно ли ездить в Москву.

День клонится к вечеру. Мне надоело гулять. Меня тянет посмотреть, как полк готовится к вылету.

— Пошли, ребята?

— Да ну-у-у... Лучше в кино.

Иду один. По широкой мраморной лестнице поднимаюсь на третий этаж. Там, в большом зале с высоким лепным потолком и громадной люстрой, наше общежитие. Мой дом. Моя квартира. Здесь располагается офицерский состав полка. Множество коек, уставленных рядами, и одна из них — моя.

Возле высоких дверей останавливаюсь. Осматриваюсь. Налево и направо — широкий коридор с высокими сводчатыми окнами, завешенными кое-где черной светомаскировочной бумагой. На паркетном полу натоптанные тропинки. От крашеных панелей пахнет олифой. Все мне здесь незнакомое, чужое, необжитое.

За дверью слышен гул голосов, выкрики, шелест разрываемой бумаги. Открываю, вхожу и тут же спотыкаюсь о чье-то распростертое на полу тело.

— Курс — двести семьдесят восемь! — не обращая на меня никакого внимания, восклицает «тело». — Магнитное склонение — плюс шесть!

Длинноногий старший лейтенант в темно-синей гимнастерке без пояса, растянувшись на карте, рассчитывает боевой курс. Рядом, стоя на коленях, коренастый лейтенант со шрамом на щеке, приложив к карте длинную линейку, ловким движением руки отрывает ненужную белую полосу. Поворачивается, прикладывает карту к

другой, приглаживает ребром ладони. Готово! Карта склеена.

Шарит по полу рукой:

— Эй! Кто взял мой карандаш и линейку?! Дай сюда!

— Слушай, Петро, подай, пожалуйста, клей.

— Лови!

— Ну-ну, потише! Ты же мне фрак испачкаешь.

— Го-го-го!

Это штурманы готовятся к полету. Летчики пока занимаются кто чем хочет: один пришивает к гимнастерке пуговицу, другой читает, третий бродит между коек и думает о чем-то своем, по губам его скользит улыбка. В дальнем углу кто-то, лежа на койке, напевает под гитару сентиментальный романс. Рядом двое застыли над шахматной доской. Третий лежит, закинув руки за голову, и не мигая смотрит в потолок. Четвертый что-то мудрит с пистолетом. Я стою как раз над ним, и мне видно, как он, вынув обойму, отодвигает затвор и вкладывает в ствол девятый патрон.

— Зачем это? — я спросил машинально. И он ответил тоже машинально, не поднимая головы и не удивляясь такому глупому вопросу:

— Для себя. Этот патрон называется «для себя».

— Это как же?

— А так, — ответил летчик, осторожно спуская и придерживая пальцем курок. — Если что случится. Вот... собьют, например, и ты упадешь в расположение врага. Весь израненный. Только одной рукой шевельнуть можешь. Ну, одной-то рукой рамку не отведешь, пистолет не зарядишь. А так — пожалуйста — взвел курок и...

— Себя?!

— А это уже судя по обстоятельствам. — Он положил пистолет в кобуру и, взглянув на часы, поднялся с койки. — Пора одеваться.

И больше я для него не существовал. Я вообще в этом зале ни для кого не существовал. Меня не замечали. Мне было неприятно, но я воспринимал это как должное.

Ребята собираются в бой. И может быть, кто-то из них сегодня уже не вернется... Может, вон тот, стройный младший лейтенант с курчавой шевелюрой? Или тот, коренастый капитан, похожий на Швейка? Они идут на подвиги. А я? Я пойду сейчас в столовую, потом в кино и вечером, ни о чем не беспокоясь, лягу

спать в этом большом пустом зале. Утром встану выспавшийся, а они придут с боевого задания, уставшие до крайности, с зелеными лицами, с ввалившимися глазами...

Открылась дверь. Дежурный по штабу, высокий носатый лейтенант, заглянул в помещение:

— Прошу всех в штаб на получение задания.

И тут все пришло в движение. На глазах таяла, пустела вешалка. Летчики натягивали комбинезоны, опоясывались ремнями, проверяли обоймы пистолетов и уходили.

Зал опустел. Слово «всех» меня не касалось, и я остался один. Ряды коек, сохранивших конфигурацию тел своих хозяев, терпеливо ждали героев. Только наши тринадцать выделялись щегольской заправкой-выправкой. Противно смотреть.

Я подошел к своей койке и лег. Потом встал, посмотрел. Нет, не то! Надо хорошо полежать уставшим тяжелым телом. Долго полежать. И тогда на соломенном матраце образуется вмятина. Но для этого надо много полетать. Между прочим, кто-то до меня ведь спал на этой койке. Почему он не оставил никаких следов? Ах да, вспомнил! Мне удалось случайно подслушать разговор двух летчиков, когда я застилал белье.

— Уже девятый, — сказал один. — Несчастливая койка. Не возвращаются с первого же вылета...

— Да, да, — сказал другой. — Уже девятый.

Что ж, буду спать на этой несчастливой койке. Ладно, поживем — увидим. Да, еще: нас, новеньких — тринадцать, а по списку я числюсь последним. Такая моя фамилия. Но ведь я подкидыш, а на подкидышей, как я слышал, все несчастливые приметы действуют наоборот.

Счастливая койка

Все наши тринадцать коек оказались на редкость счастливыми. Вот уже третью неделю как мы в полку, а никто из нас не погиб: каждую ночь мы возвращаемся на свою базу целыми и невредимыми. Мы уже стали завсегдатаями кино и танцплощадки. Мне это не нравится, и я все время ворчу, подбивая ребят пойти к командиру и потребовать, чтобы нас включили в боевую жизнь.

— И что ты торопишься? — удивлялись ребята. —

Нас поят, кормят, обувают, одевают, а на тот свет мы всегда успеем.

— На тот свет? Почему на тот свет? Я не собираюсь на тот свет. Наоборот, я хочу подольше прожить.

— А тогда чего напрашиваешься?

— А то! Летное дело — искусство? Искусство. А раз искусство, значит, надо в нем постоянно упражняться. Вон, отберите у скрипача скрипку, и через месяц-другой его пальцы потеряют нужную гибкость.

— Слушай, не гуди, надоел! — прервал меня один из летчиков. — Не проявляй так уж рьяно свой патриотизм. Ты что думаешь, мы хуже тебя? Нам в штабе что сказали: «Когда будет нужно, мы вас позовем». Сейчас мы не нужны. А почему? Я скажу: полку не хватает самолетов. Завод, который выпускал Ил-4, перебазировался на восток. Понял? Он еще только начинает работать. Ясно? При чем здесь мы?

Я почесал в затылке. Вот именно — «при чем здесь мы?»

И все-таки страх одолевал меня все больше. Да, ребята подозревали меня в показной храбрости, а то был страх. Я хорошо знал, что значит перерыв в летной работе. У нас в Аэрофлоте, если летчик не летал хоть с полмесяца, ему обязательно дадут провозные. И это на простые, дневные полеты! А тут ночь, прожектора, зенитки. Ил-4 самолет одноштурвальный. Тебя никто не повезет на цель и не покажет, как и что. Просто натренируют по кругу, дадут посадок десять днем и ночью и пустят в бой. Разбирайся, как знаешь.

Я разыскал заместителя командира полка по летной части, невысокого застенчивого майора Зинченко, и уговорил его дать мне провозные на Ил-4.

И вот мы на старте. Под ногами исчерченная резиновыми штрихами бетонка — длинная взлетно-посадочная полоса. Аэродром дышит весной. Травы еще нет, только намек на нее, а поле зеленое. В ясном-ясном голубом небе кое-где застыли облачка. Дальний лес тонет в мареве и колеблется, словно живой. Нежная ароматная теплота разливается вокруг. Хорошо!

Бомбардировщик, стреляя в патрубки на малом газу, молотит винтами пряный воздух. Взбираюсь на крыло, перекидываю ноги в пилотскую кабину и сажусь в кресло, на парашют. Надеваю лямки, застегиваю карабины. Их металлические щелчки ласкают слух, а ноздри раз-

дываются сами собой, улавливая знакомые волнующие запахи живых моторов.

Майор Зинченко сидит в носу, в Ф-1, на сиденье штурмана. Сидит, как в клетке. Вставил в гнездо ручку управления, откинул педали. И все! Не густо. В моей кабине штурвал, пилотажные и всякие другие приборы, сектора управления моторами, тормоза на педалях. А у него ничего! Соверши пилот грубую ошибку, и он не в силах ее исправить. Ни за что бы не сел в такую кабину!

А Зинченко сидит. Не обернувшись, небрежно взмахивает рукой: дескать, давай, взлетай, чего копаешься.

Я с восхищением смотрю на его затылок. Черт возьми, ведь надо же! Он даже не держится за управление!

Закрываю фонарь, кладу левую руку на рукоятки управления моторами, прошу у майора разрешение на взлет. Поехали! Взревели моторы, и самолет нехотя побежал по бетонке. Нехотя. Это слово больше всего подходило к моей машине; нехотя побежал, нехотя набрал скорость, нехотя оторвался от земли, нехотя стал набирать высоту.

Не понравился мне самолет: тяжелый, неповоротливый. И несмотря на то, что мы взлетали на пустой машине, без бомб и с неполными баками горючего, вертикальная скорость его была никудышной: два — два с половиной метра в секунду. А на ПС-41 — десять! Разница большая. Ощущение было такое, будто моторы недодают мощности.

Делаю круг, захожу на посадку. Рассчитываю, не отрывая взгляда от посадочного «Т», которое смотрит на меня левым боком, рассчитав, убираю полностью обороты моторам. Самолет круто опускает нос и валится вниз. Как утюг! Последний, четвертый разворот делаю на убранных моторах, только ветер свистит в фонаре. Земля вращается перед самым носом, кажется, вот-вот — и врежешься. Но мне не кажется: я привык именно к таким расчетам и посадкам. Так спокойнее.

«Т» занимает нужное положение. Энергично вывожу машину из разворота, продолжаю планировать. Садимся легко и неслышно возле самого «Т».

Зинченко оборачивается ко мне. На его лице любопытство и удивление.

— Ты всегда так рассчитываешь?

— Всегда, товарищ командир. А что, неправильно?

— Нет, почему ж — хорошо. В этом расчете есть свои преимущества. Ты отлично видишь старт, потому что близко к нему подходишь. И машина у тебя идет на посадку устойчиво. Но... — он чмокнул губами. — У нас так не принято. И боюсь, что ночью, при загруженном аэродроме, тебе будет трудно.

«Трудно! — подумал я. — Уж кому будет трудно, только не мне! Я знаю. Видел, как они летают. Уйдут от аэродрома черт-те куда и тянут, тянут на моторах на малой высоте. Старт виден где-то на горизонте, и как он лежит — не разобрать. Моторы ревут, машина качается, летчик нервничает, а подлетает ближе, вдруг обнаруживает, что не так зашел! Исправлять ошибку уже поздно, и он уходит на второй круг...»

— Так,— сказал Зинченко,— взлетим еще. Отработаем уход на второй круг со щитками.

Я поморщился. «Уходить на второй круг с выпущенными посадочными щитками на таком утюге?..»

Взлетаю. Делаю круг. Подхожу к четвертому развороту еще ближе, чем в первый раз. Убираю моторы, планирую, разворачиваюсь. Посадочное «Т» почти под нами. Нащупываю рукой рычаг выпуска щитков и резко отдаю его от себя. Машина словно наталкивается на что-то, и земля летит на нас.

Расчет был точный, но скрепя сердце энергично даю полные обороты моторам. Они ревут, ревут, бедняги, отдавая свои две тысячи лошадиных сил, а машина падает, падает... В ожидании удара инстинктивно втягиваю голову в плечи. Лишь у самой земли падение прекращается, и самолет, качаясь, некоторое время удерживается в таком неопределенном положении и затем медленно, очень медленно начинает набирать высоту. Черт возьми, до чего же неприятно! Моторы ревут из последних сил. Только на них и надежда! А если в это время какой-нибудь из них вздумает чихнуть, что тогда?!

Мы ушли далеко-далеко, прежде чем я набрал безопасную высоту. Ладно, пора убирать щитки. Дергаю за рычаг. Машина, словно из-под нее разом убрали воздушную опору, камнем валится вниз. Пренеприятнейшее ощущение — сыпаться с ревущими моторами!

Наконец, хвала аллаху, все кончилось. Мы летим как надо. Вытираю ладонями пот со лба и даю себе клятву никогда не выпускать щитков на посадке. Никогда!

Сажусь, заруливаю. Майор Зинченко встает с сиде-

нья, открывает астролюк над головой и, высунувшись из него, машет технику рукой, чтобы тот подал лесенку. Значит, он собирается выпустить меня самостоятельно? А ведь мог бы, кажется, еще немного полетать со мной...

Во время обеда Бобровский спросил меня, уныло глядя в тарелку:

— Ну как?

— Что «ну как»? — переспросил я, косясь на Кришталя, теребившего тонкими пальцами бахрому салфетки.

— Ну, это... машина?

— А-а-а... Н-ничего машина, — неуверенно сказал я и поежился от взгляда Виктора. — Т-тяжеловатая немного...

Виктор оторвал нитку от салфетки и слабо вздохнул:

— Вот-вот — тяжеловатая... немного. А для нас — особенно. Пойдем, брат Николай...

Я посмотрел им вслед. Нехорошо себя чувствуют ребята. Отрешенно. Не по силам им этот самолет.

В тот же вечер ко мне подошел исполняющий обязанности командира эскадрильи майор Назаров. Щуря карие, чуть выпуклые глаза с воспаленными от недосыпания веками, осмотрел меня с каким-то любопытством и, устало проведя ладонью по лицу, сказал хрипловатым голосом:

— Пойдем подлетнем чуток. Я тебе ночью провозные дам.

На аэродроме тихо. Полк ушел на боевое задание, и в воздухе только мы одни. Ночь — чудо! Тихая, теплая. В небе, в сиреневой дымке, только что народившийся месяц пас отары звезд. На земле, темной и притаившейся, не было видно ни одного огонька. Чернели лесные массивы, разрезанные на куски светлой лентой реки. Тянулись вдаль линии железных и шоссейных дорог. Там, на западе, совсем недалеко отсюда, они пересекали фронт и уходили к врагу. Странно. И обидно: советские дороги служат фашистам...

Поглядывая на электрическое «Т», иду по кругу. Делаю третий разворот.

— Рано! — кричит Назаров. — Промажем!

— Нет, товарищ майор. Сядем хорошо.

— Ну, ладно, давай! — с усмешкой в голосе соглашается Назаров.

Я знаю: он уверен, что промажем. Тем лучше. Мы

сядем как надо, и пусть он знает, что летчики ГВФ не лыком шиты.

Я стараюсь вовсю. Надо рассчитать абсолютно точно. Пальцы левой руки сжали сектора управления моторами. Глаза сами ведут отсчеты высоты расстояния. Так, хорошо!

Моторы умолкают враз. В наступившей тишине отчетливо слышно, как шипит разрезаемый крыльями воздух да похлопывают глушители. Круто планирую к земле.

— Ты что, хочешь садиться? — В голосе Назарова смешливое недоумение.

— Да, товарищ майор!

— Да что ты, промажем! Уходи на второй круг!

— Не промажем, товарищ майор. Сядем точно!

— Промажем, я тебе говорю!

Наши пререкания слушают радист и стрелок, и поэтому уходить мне сейчас на второй круг никак нельзя. Планирую.

Назаров молчит.

Делаю четвертый разворот, выхожу на посадочную полосу с длинной линией электрических огней.

И вдруг — что это? На земле вспыхивает яркий свет прожектора, и сильный луч освещает бетонку. Отчетливо виден каждый шов между плит и следы пригоревшей резины.

Я разочарован и вместе с тем обрадован. У нас в ГВФ ночные посадки совершаются по зажженным фонарям «летучая мышь». Земли не видно, и лишь световая точка служит ориентиром. А тут светло, как днем.

Садимся точно у «Т». Заруливаем на взлетную полосу. Назаров молчит. Уснул он там, что ли?

— Еще полетим, товарищ командир?

— А хочешь?

— Еще бы. Конечно, хочу!

— Знаешь, — после некоторого раздумья признается он. — Возить тебя нечего, а вылезать не хочется. Что я там буду торчать на старте. Я вздремну тут пока, а ты полетай. Идет?

И он действительно вынул ручку, защелкнул педали и, растянувшись во весь рост на полу кабины, закрыл лицо воротником комбинезона.

И я подумал: «Вот и выходит, что койка моя — счастливая».

Боевое крещение

Утром в столовой я встретился с майором Назаровым.

— Садись со мной, — сказал он. И я снова почувствовал на себе его оценивающий взгляд. Он прихлебнул из стакана горячего кофе и, обжегшись, поставил его на стол. — Хорошо летаешь... Я так еще никогда не рассчитывал. И даже не знал, что так можно. Здорово получается!

Я покраснел, почувствовав его моральное превосходство. Не каждый смог бы так вот запросто сказать такие слова другому, да еще молодому летчику, а ведь он замещал заболевшего командира эскадрильи.

— Товарищ командир, — сказал я. — Мне хотелось бы закрепить начатое...

Назаров посмотрел на меня искоса:

— Хочешь слетать на боевое задание?

— Хочу, — признался я. — Но только не слетать, а летать.

Он рассмеялся, словно я сказал какую-то несуразицу. Допив кофе, поднялся.

— Ладно, поговорю с командиром полка, а ты постарайся никуда не отлучаться. Он тебя вызовет.

Это был для меня день мучений. Уже перевалило за полдень, а меня не зовут. И майора Назарова не видать. Что такое? Как расценить это молчание?

И наконец распахивается дверь. Я — в который раз! — поднимаю голову и слышу, как дежурный произносит мою фамилию. Вскакиваю, как на пружинах.

— Куда?

— К командиру полка.

Все, кто были в общежитии, проводили меня взглядами до самых дверей. Кто-то крикнул вслед:

— Ни пуха тебе, ни пера!

Я вздрогнул от радости: ведь это уже почти признание!.. Вышел. Потом опомнился, открыл дверь, просунул голову:

— К черту!

Зал наполнился хохотом.

Постучавшись и получив разрешение войти, я сразу же заметил, с каким трудом присутствующие в кабинете стирают улыбки с лиц.

Кроме командира полка, здесь было четверо: начальник штаба, комиссар, заместитель по летной части и майор Назаров.

«Ясно, говорили обо мне», — подумал я и, смущаясь, доложил, что летчик такой-то прибыл.

— Садись. — Командир полка пододвинул мне стул.

Я сел, не смея поднять глаз. Чувствовал, что все здесь присутствующие относятся ко мне доброжелательно, но почему они смеются? Что смешного в моих поступках? Ну, правда, я подбивал ребят пойти всем вместе и потребовать, чтобы дали самолеты. И пока я тренировался, они ходили в штаб. Так что же тут такого?

— Та-ак, — сказал командир, прикрывая ладонью улыбку. — Значит, выражаем недовольство? Делегацию подсылаем? Хорошо-о.

Я смутился совсем. Пропало дело. Сейчас мне дадут такой самолет...

— Да, конечно, а что же... — пробормотал я. — Столько времени болтаемся. Ребята воюют, а мы...

— Ну разумеется, — уже серьезно сказал командир. — Летать хотят все, но, к сожалению, это невозможно. Ты, наверное, знаешь, что у нас не хватает самолетов.

— Знаю, мне говорили.

— Вот-вот. И еще у нас нет штурманов.

Я удивленно поднял глаза:

— Штурманов? Товарищ командир, а я могу и без штурмана!

Начальник штаба, и комиссар, и майор Зинченко, и Назаров разом прыснули от смеха. У командира полка перехватило дыхание.

— Что? Что ты сказал? — Он заразительно расхохотался.

Глядя на него, засмеялся и я. Но, откровенно говоря, мне было непонятно, чем я их рассмешил. И что тут такого смешного — летать без штурмана? Всю жизнь летал — и ничего! В любую погоду...

— Нет, брат, — все еще смеясь, сказал командир.— У нас без штурманов ни на шаг. Он приведет тебя к цели, сбросит бомбы...

— А сбросить и я могу. Аварийно. В моей кабине рычаг есть.

Командир переглянулся с комиссаром.

«Ну что, — говорил его взгляд. — Видал ты такого фрукта?»

Комиссар кашлянул в кулак.

— Да не мучай ты его, Алексей Иваныч! Ну дай ему слетать. Кстати, и случай есть.

Командир вдруг стал серьезным.

—. Ты думаешь?

— А что же — справится. И погода как раз подходящая. Дай ему только штурмана получше.

Командир на несколько секунд задумался. И сейчас же в кабинете все неуловимо изменилось. Если только что ощущалась неофициальная, дружественная, почти семейная обстановка, то сейчас от нее не осталось и следа. Чуть скрипнули стулья, шаркнули по полу ноги, и позы всех сидящих из расслабленных и вольных приняли положение готовности.

— Хорошо, — сказал командир и посмотрел на Назарова. Тот встал.

— Я вас слушаю!

— Дайте ему штурмана Киндюшова. Стрелка и радиста — по вашему усмотрению. Самолет — «девятка». Вылет... — командир посмотрел на часы, — в семнадцать тридцать. Все. Выполняйте!

Назаров откозырял, четко повернулся и вышел. Вслед за ним поднялись и вышли все остальные. И только тут до меня дошел смысл происходящего — мне предстоит боевой вылет! Это было все, что удержалось в моем сознании, все остальное прошло мимо.

Я вскочил со стула, досадуя, что не догадался этого сделать раньше.

— Разрешите идти, товарищ командир?

— Нет, погоди. — Командир полка встал и, подойдя к висевшей на стене карте, ткнул в нее пальцем. — Вот здесь, в тридцати минутах полета от линии фронта, стоят эшелоны противника. Два с солдатами, один — с боеприпасами. Их надо разбомбить. Понял?

«Интересно, — подумал я, — как же мы их ночью-то искать будем? И что, они будут нас ждать?» А вслух сказал:

— Понял.

Командир будто прочел мои мысли.

— Они не уйдут, потому что, во-первых, партизаны взорвали перед ними и сзади тоже путь, ну и, во-вторых, потому что... ты ведь с вылетом не задержишься? Тебе вылетать... — он посмотрел на часы, — через сорок пять минут. Сейчас твой штурман получит задание и — в путь!

Я с недоумением посмотрел за окно. Стоял день. Светило солнце. Голубело весеннее небо.

— Да-да, конечно, — пробормотал я, ощущая не-

приятный холодок на спине. — Я вылечу вовремя. Разрешите идти?

— Идите.

Я козырнул и вышел. Ноги у меня слегка заплетались. Я ничего не понимал. Полк был ночным, и вдруг... такая неожиданность! Посылают днем... Без сопровождения. Но ведь это же... Чуть только сунемся к линии фронта, и — пожалуйста! — истребители тут как тут. У них пушки, а у нас... пулеметы.

Все остальное я проделал как во сне. Оделся, спустился, сел в машину, где меня ожидал экипаж.

Техник доложил о готовности материальной части. Заправка такая-то, бомбовая загрузка такая-то. Я выслушал его, дал экипажу команду: «Занять места!» — и полез по приставной лесенке на крыло.

Надел парашют, сел в пилотское кресло. Окинул взглядом приборную доску, которую летчики называют «иконостасом», пощупал рукоятки уборки шасси управления моторами.

Самолет дышал теплом двигателей. Пахло маслом, чуть-чуть бензином, чуть-чуть аэролаком. И эти запахи, и рукоятки, и приборы — все было таким знакомым, близким и родным, что страхи мои рассеялись.

Штурман Киндюшов занял свое место. Обернулся ко мне, подмигнул. Пора запускать моторы. Я уже приготовился подать команду, как вдруг чуть слышный разговор в наушниках привлек мое внимание.

— Ну, Серега, считай, что это последний наш вылет...

Пауза. Наверное, шлемофон второго еще не был подключен, и мне не слышно было, что он ответил.

— А как же, — продолжал тот же голос. — Летчик молодой, зеленый. Первый раз летит, да еще днем. Собьют «мессера», как пить дать!..

«Ага! — подумал я. — Молодой? Зеленый? Ладно, посмотрим». И заорал во всю глотку:

— От винто-ов!

Взлетели. Я взял курс и поставил машину в набор высоты. Смотрю вниз, на землю. Весна в разгаре. Леса словно пеной зеленой обрызганы. Поля — как ковер. Солнце светит, и небо — голубое-голубое! Горизонт дымкой затянут. А мне очень интересно увидеть, где же это линия фронта проходит и как она выглядит?

Набрал высоту четыре тысячи метров. Прохладно стало. Вижу, Киндюшов почему-то с пулеметом возится, заряжает. «Ну, — думаю, — это он так, для порядка».

Зарядил, потом к иллюминатору прижался. Оглянулся и я. Посмотрел направо, налево. Вроде ничего. Лечу, выдерживаю курс. Вдруг слышу крик:

— Слева внизу позади два «мессершмитта»!

Штурман спокойно:

— Ну и что?

— Преследуют!

Поворачиваю голову, смотрю. Ничего не видно. «Два истребителя, — думаю, — это плохо!»

Во рту становится горько. Соображаю: что же делать? Хоть бы облака были! Вглядываюсь вперед — облака! Но еще далековато и выше нас. В голове проносится: «Подо мною бомбы. Тысяча триста килограммов. попадет пуля по взрывателю — только пух полетит...»

Прибавляю моторам обороты, до максимальных. Держу прежний курс, набираю высоту. Нервы напряглись, и самолет напрягся. Летит, не качается, словно застыл. Стакан с водой поставь — не дрогнет. А сердце стучит: «Догонят или не догонят?»

Радист кричит:

— Догоняют!

А штурман в ответ:

— Молчать! Что за паника?! Командир знает, что делает!

Это я-то знаю? Ничего я не знаю!..

Оборачиваюсь. Слева — никого. Справа... Ох, вот они! Два черных силуэта, две торпеды. Носы кверху, сзади — дымки от моторов. Форсируют, нажимают фашисты.

Бросаю взгляд вперед. Облака ближе. Взгляд назад, и — «мессершмитты» ближе. Снова ощущаю горечь во рту. Киндюшов сидит в кресле, делает вид, будто сверяет карту с местностью. Но я знаю — это для меня, чтобы придать мне спокойствие.

В наушниках слышу тяжелое дыхание радиста. Догадываюсь — возится со спаренными пулеметами, заряжает, вращает башню. Но «мессера» еще за пределами огня наших пулеметов. Вон они, их уже видно в деталях: темно-зеленые, с короткими обрубленными крыльями. На хвостах — свастики, в носах — пушки. Сейчас они будут стрелять.

Неожиданно для себя произношу хриплым голосом:

— Патроны беречь! Раньше времени огонь не открывать!

А в это время в носу у «мессершмиттов» оранжевые

вспышки, и прямо на меня летят жгутом огненные шарики. Отворачиваю самолет, инстинктивно втягиваю голову в плечи, прижимаюсь к бронеспинке сиденья. Мимо сверкнули стремительные искры, и в тот же миг мы влетели в облака. У-ф-ф-ф!

По груди, по рукам и ногам течет волна радости. Ушел! Остались фашисты с носом!

Только тут я пришел в себя. Вот она — та самая деталь, которую я прохлопал ушами: облака! Что сказал комиссар? Я вспомнил его слова. Он сказал: «И погодка как раз подходящая». Эх, шляпа я, шляпа! Впрочем, почему я недоволен? Все идет отлично. Если и струхнул немного, так об этом же никто не знает.

Самолет летит по заданному курсу. Градус в градус. Это трудно — так точно держать курс в облаках. Но я держу.

Прошло минут двадцать. Чувствую — машина кренится влево. Или это мне так кажется? На секунду отпускаю штурвал и педали. Нет, кренится, да еще как! Что за новость? Когда мы взлетали, этого не было.

— Скоро цель, — говорит штурман. — Снижаться будем как — сразу или постепенно?

Я могу сразу, могу и постепенно. Но мне хочется проверить штурмана и одновременно показать ему свое умение снижаться в слепом полете с заданной скоростью.

— Лучше постепенно, — говорю я. — Сколько метров в секунду надо терять?

Киндюшов хватается за линейку. Хлоп-хлоп — готово!

— Полтора метра в секунду.

«Ишь ты — полтора. Хитрец. Испытываешь? Давай-давай».

Сбавляю обороты моторам. Устанавливаю скорость снижения полтора метра в секунду. Ни больше ни меньше.

Самолет кренит все сильней и сильней. Просто терпения нет никакого. И что за причина? Я уже устал держать штурвал и правую педаль.

Снижаемся. Мелькает мысль: «Вот выйдем из облаков, а «мессершмитты» тут как тут!»

Но облачность толстая, почти до самой земли. Выныриваем. Высота сто пятьдесят метров. Под нами лес, река, за рекой железная дорога. Штурман вскакивает, становится на колени.

— Курс триста двадцать! — командует он.

Разворачиваюсь, смотрю вперед. Змеятся рельсы, мелькают шпалы, проносятся столбы. Быстро-быстро-быстро. Жалею: «Ах ничего не увижу с такой высоты!»

Увидел: разъезд в три колеи. Три товарных поезда. На крышах вагонов группки солдат и зенитные пулеметы. По путям ползают зеленые фигурки. От паровозов — дымки и облачками пар. Все тихо, мирно. От линии фронта далеко. Погода плохая. Кто их найдет?

Они нас еще не видят и не слышат. Но вот зеленые фигурки, словно в кино, когда рвется лента, сначала замирают в неподвижных позах, потом бегут врассыпную.

Целюсь самолетом на средний состав. На нас летит задний вагон с красным флажком на буфере. Штурман нажимает кнопку бомбосбрасывателя и тут же кричит:

— Ого-о-онь!!

А у меня чувство досады: «Ах, черт! Эту команду воздушным стрелкам должен дать я, командир экипажа!»

Громкий треск, словно разрывают полотно — это наши пулеметы. Самолет вздрагивает — отрываются бомбы. Пороховая гарь, и сзади глухие удары: бум! бум! бум!.. Упругие воздушные толчки швыряют машину. Мелькают вагоны, искаженные ужасом лица солдат, сидящих на крышах. Проносятся паровозы. Треск прекратился. Все! Задание выполнено. Разворачиваюсь с набором высоты. Горят вагоны, клубится дым и что-то рвется, разбрасывая искры.

Штурман дает курс. Ухожу в облака. Выше, выше! Пытаюсь прийти в себя, разобраться в чувствах и в этой искрометной кутерьме. Был страх? Нет, пожалуй, не был. Я просто... не успел испугаться. И это все? Все.

Я разочарован. В глубине души. А на поверхность начинает выплывать разный красивый мусор: «Если посмотреть со стороны, то я вел себя молодцом. Ведь в нас стреляли! И может быть, наша жизнь была на волоске».

А голос другой, трезвый и рассудительный: «И никто в тебя не стрелял! Просто они не успели».

Ладно, не будем копаться в чувствах. Ведь это мой первый боевой полет, мое боевое крещение, мое посвящение в «рыцари».

Однако же, черт возьми, что с самолетом? Я уже вывернул почти до отказа штурвал, а он все кренит и кренит. Наконец дошло, и я тут же награждаю себя вполне заслуженным эпитетом:

— Идиот!

— Что-что? — переспрашивает штурман.

— Нет, ничего. Это я так, про себя.

Проверяю догадку. Точно! При взлете, как положено, я включил бензиновые краны обоих баков: левого и правого крыла. Включил и не проверил, равномерно ли расходуется в полете горючее. Ну, конечно, в правом 300, а в левом 1200. Молодец, что и говорить! Шляпа. Сундук с гвоздями. Как же я теперь буду заходить на посадку? Ведь левый разворот делать опасно — можно запросто перевернуться в воздухе.

Садимся с прямой в сумерках. Аэродром пустой. Самолетов почти нет. Только два или три задержались рядом с нашей стоянкой. Полк ушел на боевое задание.

Подрулил, выключил моторы. Отстегнул парашют, вылез на крыло. Ну и устал же я из-за этого крена!

Киндюшов по приставленной лесенке спустился на землю. Я смотрел на него с уважением. Вот это штурман! Мне бы такого. Так точно вывел на цель!

Спрыгиваю, подхожу к нему и, не смущаясь тем, что рядом стоят радист со стрелком, благодарю:

— Спасибо, друг, за такой полет.

Киндюшов смущен.

— Ну что ты! Тебе спасибо. Держался как надо. — И тут же шепотом: — Командир полка Щербаков!

Оборачиваюсь. Точно, командир полка. Высокий, стройный.

Командую: «Смирно!», докладываю. Мне видна его белозубая улыбка. Принял доклад и к штурману:

— Ну как?

Я не расслышал, что сказал Киндюшов, — в это время рядом заработал мотор, — только увидел краем глаза, как стоявшие тут же радист со стрелком подняли руки и выставили вверх большие пальцы.

Мы—экипаж

Утром в столовой ко мне подошли трое: капитан и два сержанта. Капитан пожилой, плотный, с совершенно лысой головой. Чем-то похож на медведя. Протянул руку с толстыми короткими пальцами, представился:

— Евсеев. Назначен к вам в экипаж штурманом.

Мне неловко. Штурман старше меня по возрасту и по званию. Мне хотелось бы молодого, с новой, современной выучкой. Ну да ладно, что поделаешь. Судить о качествах еще, пожалуй, рано.

Подходит второй — высокий, подобранный, с густыми вьющимися волосами, лицо доброе-доброе. В светлых глазах лукавинки.

— Старший сержант Заяц. Стрелок-радист. Назначен к вам в экипаж.

Подходит третий. Невысокого росточка. Круглый, как колобок. На розовых не тронутых бритвой щеках пушок. Как на персике. Глаза — сама готовность. Скажи ему: «Прыгни в огонь» — прыгнет! Встал по стойке «смирно», доложил:

— Младший сержант Китнюк. Воздушный стрелок. Назначен к вам в экипаж.

Смотрю на всех троих. «Значит, теперь мы — экипаж. Мы связаны одной веревочкой, и жизнь каждого зависит от внимания и умения другого. Мы должны быть дружны и спаяны. Один за всех — все за одного. Но...» Я прерываю свои мысленные философские рассуждения. Чего уж там: у нас ведь нет еще и самолета!..

Спрашиваю у сержанта, устроились ли в общежитии.

— Нет, товарищ командир, — отвечает Заяц, оправляя безукоризненно сидящую на нем гимнастерку. — Там еще ребята спят после боевого вылета, не хотим их тревожить.

«Пять очков в твою пользу, — подумал я. — Значит, ты сердечный человек, не эгоист и у тебя развито чувство уважения к другим. Молодец, Заяц!»

— Ну тогда идите, погуляйте. Осмотритесь. Когда нужно будет, позову. — И тут же поймал себя на том, что повторяю чужие слова.

Со штурманом у меня разговор особый. Штурман, как я убедился, фигура в экипаже важная, и мне хочется узнать о Евсееве побольше.

Идем с ним в тень аллеи и садимся на скамью. Штурман достает портсигар с папиросами, вежливо предлагает мне. Я отказываюсь — не курю. Толстыми пальцами достает из коробки спичку. Чиркает, обламывает. Пальцы его чуть заметно дрожат. Волнуется, наверное. Закурил, потушил спичку, посмотрел, куда бросить. Не нашел, сунул в коробок. Мне это понравилось, значит, аккуратный человек.

Через полчаса я уже знал о нем многое.

Евсеев попал в полк из госпиталя. Летал на Ил-4. В первом же дневном боевом вылете их самолет был подожжен фашистским истребителем на высоте пять тысяч метров. Экипаж выпрыгнул на парашютах и был

тотчас же расстрелян в воздухе из пулеметов тем же асом.

Евсеев прыгнул тоже, но допустил еще большую ошибку, чем его товарищи, он выдернул кольцо еще в кабине... Парашют, распустившийся раньше времени, зацепился стропой за хвостовое колесо, и падающий самолет поволок за собой штурмана. Но ему повезло: возле самой земли оборвалась стропа, и Евсеев благополучно приземлился на изодранном в клочья парашюте, только вывихнул ногу.

Я слушал его, затаив дыхание. Ничего себе, «окрестился»!

Из дверей штаба полка вышел комиссар нашей эскадрильи капитан Соловьев. Высокий, худой, сутулый. Сейчас, заменяя выбывшего в командировку майора Назарова, он исполнял обязанности командира эскадрильи.

Извинившись перед Евсеевым, я сорвался с места, догнал Соловьева.

— А, это вы? — сказал капитан, глядя куда-то мимо меня. — Очень хорошо. Сегодня в ночь вы с вашим экипажем полетите на боевое задание. Ваш самолет «десятка». Готовьтесь.

И ушел. А я остался в растерянности. Ведь сам же летчик, должен понимать, а он... Сухой, казенный голос, отсутствующий взгляд. Такой торжественный момент, и столько равнодушия!

Ну, ладно. Значит, так надо. Возвращаюсь, сообщаю Евсееву о предстоящем полете и предлагаю сходить к самолету, облетать его. Такой порядок был у нас в Аэрофлоте.

Разыскали Зайца с Китнюком, снарядились шлемофонами, взяли в штабе разрешение на облет самолета и, не найдя попутной машины, пошли пешком.

Далеко шли. Устали, вспотели. Наконец вот она — «десятка». Нас встречает техник. Невысокого роста, рыжий, лицо в конопушках.

— Гм! Облетать? Это можно. — Полез пятерней в затылок. — Только вот, знаете... у нее астролюка нет.

— Как это — нет?

— Нет. Сорвало в полете.

Смотрю — действительно: в потолке штурманской кабины зияет квадратная дыра, а люка нет. Плохо дело.

Мысленно представил себе, каково будет нам в полете с этой дырой. Рев мотора будет резонировать, как в корпусе гитары, и всю дорогу ветер будет продувать нас

со штурманом, как в трубе. И будет нести пыль и песок в глаза. Штурману нельзя открыть карту — вырвет воздушной струей. Какой уж тут полет!

Спрашиваю:

— К вечеру люк будет готов?

— Не-е-ет, что вы! Это дело долгое.

— Тогда все. Пошли, ребята.

Шел я в расстроенных чувствах. Ведь, наверное, знал капитан Соловьев о люке? Как же он мог включить такую машину в план боевого расписания, да еще предлагать ее летчику, отправляющемуся в свой первый ночной боевой вылет?

Капитана я нашел в коридоре общежития. Он стоял ссутулившись и что-то выговаривал двум летчикам. Лицо — как маска. Без выражения. Сухое, неулыбчивое. Полная противоположность майору Зинченко, майору Назарову или командиру полка.

Уже предчувствуя, какой у меня выйдет с ним разговор, я все же подошел и, выдержав паузу, обратился:

— Товарищ командир! Разрешите доложить: «десятка» неисправна, и лететь на ней нельзя.

Соловьев медленно повернулся ко мне, его близко посаженные круглые глазки уставились на меня, как буравчики.

— А что с самолетом? — спросил он, едва разжимая губы.

— Нет астролюка.

— Только-то всего?

И никаких эмоций. На меня смотрела маска. Стало неприятно и вместе с тем обидно. Что он на себя напускает?

— А что, этого мало? — несколько вызывающе спросил я.

— Мало, — ответил капитан. — Мало, если вы действительно хотите лететь, и много, если не хотите.

Ну уж, это слишком! Я задохнулся от возмущения.

— Вам... вам никто не давал повода подозревать меня в трусости, товарищ капитан! — Я перевел дыхание.— А посылать в полет неисправную машину вы не имеете права!

Кажется, я сказал это слишком громко. Открылась дверь, и из-за нее показалось несколько любопытных.

Лицо Соловьева пошло пятнами, но выражение не изменилось ничуть.

— Не забывайте, что вы находитесь в действующей

армии, — сказал он угрожающе. — Приказ командира не обсуждается. Иначе...

— Что иначе?! — Я уже был не в силах сдерживать себя. — Договаривайте!

Мы стояли друг перед другом в недвусмысленных позах.

— Ну-ну! Что за разговор в таких тонах?

Я обернулся. Это был подполковник Щербаков. Он улыбался. Доброе лицо, добрые глаза. Мне стало стыдно.

— Извините, товарищ командир. Я хочу лететь, но...

— Знаю, — сказал подполковник, глядя на меня со смешливым любопытством. — Знаю все. «Десятка» не пойдет, и вам придется подождать. — Он положил руку на плечо Соловьева. — «Десятку» я вычеркнул. Она неисправна. А этому петуху завтра дадите «четверку», которую пригнал Назаров. Это будет его самолет. Ну, а сейчас пойдем, нужно разобраться в одном деле. — И увел Соловьева.

Я проводил командира полка влюбленными глазами. За такого — в огонь и в воду!

Над целью снаряд угодил в мотор, и летчик, не дотянув до дома, посадил машину ночью на брюхо посреди колхозного поля. Самолет подняли, отремонтировали, перегнали в полк. Это и была «четверка», которую дали мне.

Назаров сказал:

— Машина хорошая, легкая, но... Сам знаешь — посадка на брюхо. Словом, чуть-чуть деформировалась. И летит как-то по-собачьи — боком.

Ладно, сойдет. Я и этому был рад. По крайней мере, своя машина.

Техника дали мне с «десятки» — того самого, в рыжих конопушках. Молчаливый и какой-то медлительный. Тоже сойдет. Торопливость в авиации подчас вредна.

И вот мы летим в первый ночной полет. Небо закрыто облаками. Темно, как в печке. Кое-где сверкнет огонек и погаснет. И не разберешь сразу, где: на земле или в воздухе. Лечу, волнуюсь. Во рту сухо. А ну как подкрадется истребитель! А ну как поймает прожектор и шарахнет зенитка! Что мне делать, какой маневр?

Но никто не подкрадывается и никто не шарахает. Даже линию фронта прошли без приключений.

Постепенно освоился и даже горизонт стал различать

в темноте, и леса, и реки. Совсем хорошо! Ночью-то куда лучше, ты все видишь, а тебя — нет. Лечу, блаженствую. И уж гордостью меня всего охватывает: теперь-то я настоящий боевой летчик, как и все.

Штурман тоже, видать, освоился. Смотрю — включил свет, расстелил карту на полу кабины, встал над ней на карачки, докладывает:

— Подходим к Ельне!

И только произнес, как у нас перед самым носом, ослепительно сверкнув, с громким треском разорвался снаряд:

— П-пах!

Штурман полетел кубарем. Вскочил, кинулся к левому борту и, стоя на коленях, принялся царапать пальцами шпангоут.

— П-пах!

Второй снаряд. Я догадался: немцы бьют прицельно, по освещенному носу кабины. А штурман царапает стенку.

— Евсеев, ты что? Выключай свет к чертовой матери!

— П-пах!

Третий снаряд...

— У-у-у! — подвывает штурман. — Выключатель не найду-у-у!..

Опомнился. Кинулся к правому борту, пошарил руками, выключил. Наконец-то! Вот тебе и Ельня!

— Голова ты голова! Да разве ж можно ходить через узловые станции с зажженным фонарем?!

Летим дальше, под Смоленск, бомбить фашистские склады с боеприпасами. Чувства у нас самые растрепанные. Никак в себя прийти не можем после Ельни.

Цель видна далеко по вспышкам рвущихся бомб, по синим лучам прожекторов. Подходим, смотрим во все глаза. Ох, страшно! Иногда там, на земле, что-то взрывалось, и тогда блекли прожектора, и взбудораженные, смешанные с дымом облака светились мрачным грязновато-бордовым светом. И на миг становились видны повисшие в воздухе самолеты и рябь от дымков только что взорвавшихся зенитных снарядов. И снова обшаривают ночь прожектора, и снова густо сверкают звездочки разрывов зенитного огня. А на земле, падая расплавленными каплями металла, вспыхивают, перекрывая друг друга, длинные серии бомб. Воздух стонал и дрожал, осыпь осколков врезалась в самолет. И он вздрагивал, словно от боли, подпрыгивал, качался, а мимо проносились тени...

Влетаем прямо в ад. Штурман склоняется к окуляру прицела.

— Чуть-чуть левей! Еще! Так, хорошо!

Я не дышу, выдерживаю курс. Штурман прицеливается. Он должен положить свои бомбы как надо.

Лучь прожектора ударил по глазам. Проскочил, остановился, стал шарить и... справа, чуть выше нас, совсем рядом, наткнулся на другой самолет. А мы его не видели! Мы могли бы и столкнуться с ним над целью или попасть под осыпь его бомб. И тотчас же склонились сюда другие лучи, взяли в пучок. И открылась такая канонада!..

Наконец, штурман говорит спокойно, будто мы с ним сидим у штаба на скамейке:

— Подверни чуток направо. Та-ак,. хорошо. Бросаю!

И я почувствовал сладкий запах взрывающихся пироксилиновых патронов и ощутил толчки — отрывались бомбы от замков: одна за другой. Тринадцать штук. Как долго... Все!

Резко отворачиваю влево, круто пикирую, ухожу подальше. Уф-ф!

В столовой нам подносят законные сто граммов. И я вдруг вспоминаю ту сцену в аэропорту, когда из-за глупого лихачества единым духом выпил пол-литра водки, которую налил мне в кружку Грызлов. Мне было плохо тогда, очень плохо. Долго после этого от одного только вида водки меня всего трясло и мутило...

Поморщившись, я придвинул стакан к штурману.

— Пей, я не буду.

— Ну, что ты! Надо же. Иначе не уснешь.

— Нет, нет, не могу. Мне противно. Пей.

У меня в глазах все еще мелькают взрывы, прожектора, жуткие тени на встречном курсе...

Еле волоча ноги, идем в общежитие. Уже светло. Плывут по небу облачка, чуть позолоченные по краям. Шелестят листвой березки. День, а мы должны ложиться спать. Не могу! Не хочу! Все во мне противится, протестует. Однако иду. Раздеваюсь. Ложусь.

А ребята храпят вовсю. Завидую. Ворочаюсь. Не сплю.

Подходит время — пора вставать. Встаем. Одеваемся. Вялые, измятые. Обедаем. Идем в штаб. Получаем задание. Едем к самолетам. Взлетаем в ночь. Взлетаем в ад... И снова, и снова...

Вот мы опять только что пришли с боевого задания. Не то завтракаем, не то ужинаем. По времени — завт-

ракаем: на дворе утро, по положению — ужинаем: сейчас мы отправимся спать.

Я не сплю третьи сутки. Сижу за столом, в голове звон. Но сознание ясное. Усталости нет. Возбуждение.

Откуда-то из-за сизого тумана выходит командир полка Щербаков. Наклоняется ко мне. Я вижу его добрые лучистые глаза. Шепчет потихоньку:

— Ты что как головешка? Похудел, почернел. Не спишь, что ли?

— Не сплю, товарищ командир.

— А ты сто граммов!

— Не могу, товарищ командир. Не идет.

В глазах командира полка искреннее удивление:

— Вот тебе на! Как же это?!

— Не привык.

Молчание. Командир в недоумении: чтобы летчик да не пил!

— Ну, а что-нибудь пьешь? Вино, например?

— Вина бы выпил.

Командир уходит. И вскоре передо мной на столе возникает бутылка портвейна «777». Ого!

Официантка смотрит на меня, как на чудо. Ставит стакан, наливает.

Вино холодное, ласковое, пахнет морем и свежестью гор. Я выпиваю всю бутылку. Стакан за стаканом. Потом сплю. День и ночь. Меня не будили. Командир не велел.

Каждый отличается по-своему

С нашим переговорным устройством что-то не ладилось. Пока моторы работают на полной мощности, все хорошо, а как сбавишь обороты — сразу падает слышимость. Аккумуляторы, что ли, сели?

Мы пришли с боевого задания. Ночь. Темно. Только кусочек посадочной полосы освещен прожекторами. Веду машину на посадку и в это время слышу слабый голос радиста. Что он говорит, не разобрать, слышно только в наушниках: «Блю-блю-блю!»

Я отмахнулся. «Ладно, — думаю, — сядем — разберемся». И уж сели почти, только штурвал осталось добрать, как у меня перед глазами что-то ослепительно сверкнуло и словно кто палкой по забору провел: «Трр-р-ррахх!..»

С перепугу я резко дал обороты моторам, и мы снова ушли в воздух. И тут на меня полился бензин. Мне стало

не по себе от мысли, что мы загоримся. И я все ждал взрыва и языков пламени. Но было темно, только огни бортовые горели. Я выключил их. Спрашиваю:

— Что случилось?

Но никто не отозвался: вышло из строя переговорное устройство. Вгляделся в приборную доску — вся в клочья, приборы побиты. Не найдешь где какой. Наконец разобрался, скорость работает и вариометр. А бензин все льется, брызжет в лицо. Ядовитый, с этиленовой смесью. В левом сапоге хлюпает и сильно жжет ногу и грудь. А тут еще старт погасили. Сесть бы скорее...

Наконец включили стартовые огни, и я уже не помню, как посадил тяжелую машину.

Очнулся в медсанбате. Солнце клонилось к западу. Значит, я проспал целый день. Ничего себе!

Дежурная сестра, увидев, что я проснулся, вышла, и тотчас же в палату вошли мои ребята — штурман, стрелок и радист. У штурмана в руках букет полевых цветов. Он кладет их мне на койку и поздравляет меня с днем рождения. И откуда он узнал? А я совсем-совсем забыл. Да, действительно, сегодня 28 июня — день моего рождения.

Спрашиваю:

— Друзья, объясните, что такое с нами произошло?

И мне рассказали, что к нам снизу сзади подкрался фашистский истребитель — нас-то видно было, мы шли с зажженными бортовыми огнями — и стал обстреливать из турельного пулемета. Но, видимо, стрелок был плохой и пулеметная трасса проходила мимо меня, и я ее не видел. А Заяц не мог ответить огнем своего пулемета из-за неисправности затвора. Он стал кричать, чтобы я погасил бортовые огни и отвернул в сторону, но я его не расслышал. Тогда немецкий ас дал очередь из своих пушек и пробил нам бензиновые баки, которые не взорвались только потому, что я перед посадкой наполнил их, согласно инструкции, углекислым газом. Тем мы и спаслись.

Разумеется, с разрешения врача мы выпили по стаканчику красненького за мой день рождения и еще по стаканчику за вторичное рождение каждого из нас. И Заяц поклялся тогда, что «добудет» этого аса. Но мы его клятву на веру не взяли, потому что спьяну-то бедный зайчик что не наговорит!

А фашистские ночные истребители досаждали нам здорово. Каждую ночь вылетали они на охоту за нашими

бомбардировщиками. Где мы ходим, они знали. И вот займут позицию над нашей территорией, как раз по трассе, и кружатся в воздухе — нас поджидают. А мы летим один за одним и, чтобы наши зенитчики в нас не стреляли, время от времени установленного цвета ракеты пускаем. Дескать, смотрите, братки, не стреляйте, я свой. И так как мы ходили на цель большой группой, то вплоть до самого аэродрома в воздухе светились ракеты: то один пальнет, то другой. Немецким летчикам не стоило никакого труда обнаружить нас. Подкрадется снизу, сбоку, чтобы стрелок хвостовой не увидел, и — в упор из пушек...

Тогда мы перестали бросать опознавательные ракеты, но фашистские асы и тут применились: стали искать нас по пламени, что вылетало из наших выхлопных труб.

Надели мы на выхлопные патрубки специальные пламегасители и, чтобы фриц не смог подойти снизу, стали возвращаться домой бреющим полетом. Лететь низко над землей и днем-то опасно, а ночью и того хуже. Были такие случаи, когда самолеты цеплялись винтами за макушки деревьев и падали...

Трудно стало фашистам разыскивать нас по маршруту, и они повадились ходить к нам на аэродром.

Это только на первый взгляд кажется, что такие полеты рискованны. А на самом-то деле риску у них не было почти никакого. Ночь. Темно. Над аэродромом гул от нескольких десятков самолетов, теснота. Чтобы не столкнуться друг с другом, мы включали бортовые огни. Немецкие же истребители не включали. И получалось, что они нас видят, а мы их нет. Если и мелькнет силуэт двухкилевого самолета без огней, стрелять в него опасно: а ну как свой! У нас тоже были двухкилевые самолеты. Кто возьмет на себя такой грех — сбить, может быть, своего же друга?!

А фашист нас бил. В упор, почти без промаха. И так уж нам хотелось подловить хоть одного.

Однажды, после того, как нас чуть не зажгли на посадке, назначил меня командир полка дежурить по старту.

Проводили мы полк на боевое задание, выключили огни и, чтобы не скучно было, собрались всей командой возле счетверенного пулемета. Сидим, разговариваем. Тихо вокруг, только сверчки стрекочут и в темноте цигарки светятся. И уже переговорили все, все пересказали. И уж

сон начал веки смеживать, как вдруг вдали послышался рокот моторов. Я поглядел на часы: может, наши возвращаются? Нет, вроде бы рановато.

— Идет! — сказал пулеметчик.

— Кто идет? — спросил я.

— Фриц.

— Откуда вы знаете?

— Духом чую.

Я только кашлянул с досады. «Духом». Этого мало, чтобы открыть огонь. Мало и неубедительно. Однако меры предосторожности принял.

— Старт не включать! Все по местам! Рассредоточиться. Без моей команды не стрелять!

Самолет приближается, держит курс прямо к летному полю. Прислушиваемся к звуку моторов. Вроде наш, а вроде и не наш.

— Ишь ты! — ворчит пулеметчик. — Идет как домой. — И приготовился к стрельбе.

А я почему-то вспомнил, как встретил неделю назад на одном из аэродромов Героя Советского Союза Александра Молодчего и как он на прощание сказал: «Как-нибудь, возвращаясь с задания, залечу к вам в гости. Примете?»

Еще бы не принять такого героя! А ведь он летает на двухкилевом самолете.

Моторы гудят. Все ближе и ближе. Ждем. Подлетает. Становится в круг. Снижается. И вот уже летит низко-низко, прямо на нас. Кто он? Может, это летчик из соседнего полка и ему нужно срочно сесть? А может, это Молодчий? Ну нет, старт я включать не буду. Не имею права. Здесь люди, и я за них в ответе.

Нам уже виден расплывчатый силуэт.

— Двухкилевой? — спрашивает кто-то.

— Кажется, да.

— Фриц?

— Черт его знает...

Пулеметчик, привстав на цыпочки, ведет всеми четырьмя стволами навстречу движущемуся пятну. Стоит только нажать пусковой крючок, и огненный шквал превратит самолет в груду металла.

Кто он — друг или враг?

Я почти уверен, что это враг. Что это тот самый обнаглевший фашист, который стрелял в нас тогда. Так сбить его, гада!

Я весь в напряжении и готов дать команду. Уже вот-

вот сорвется с моих губ короткое слово: «Огонь!» Но я не решаюсь. Нет, не могу. А вдруг это наш?!

Обдав землю горячим своим дыханием, самолет пролетел над нашими головами, оставив нас гадать, кто же все-таки это был: друг или враг?

Три боевых вылета за ночь — это, конечно, много. Последний полет мы завершали, находясь уже в каком-то бессознательном состоянии. Казалось, самолетом управляет кто-то другой. Кто-то крутит штурвал, выпускает шасси, сбавляет обороты моторам. И, как назло, на этот раз над аэродромом скопилась куча самолетов. Всякий, норовя скорее сесть, лезет напропалую, пересекает курс, нарушает очередь. Только огоньки мелькают на крыльях и на хвосте: то справа, то слева.

Я тоже плюнул на вежливость, и, не вставая в круг, сделал крутой разворот над самым стартом. Оттеснил кого-то, бесцеремонно занял его место на последней расчетной прямой. Тот, испугавшись внезапно появившегося перед ним самолета, шарахнулся в сторону. В ту же секунду я успел заметить длинную пулеметную очередь, идущую откуда-то снизу сбоку и явно предназначенную тому, кого я оттеснил. И трасса досталась нам.

Я слышал, как вскрикнул радист, и тут же в ответ затрещал наш пулемет. И туда, в темноту, откуда только что стрелял наш невидимый враг, полилась нескончаемая огненная линия.

Конечно, мне уже было не до посадки. Я выключил огни и ушел на второй круг, недоуменно слушая, как стрекочет без умолку наш пулемет. В наступившей внезапно тишине — видно, кончилась лента — я услышал, к своей радости, звучные проклятия радиста:

— Г-гад! П-паррразит! Жаба! Прострелил мне плечо. У-у-у! Я снимал парашют, а он!..

Когда мы сели, то увидели: на земле, возле самого «Т» лежит на брюхе «фокке-вульф» и тут же, окруженные нашими офицерами, стоят, понурив голову, три фашистских летчика.

— Ну вот,— подавляя стон, проворчал сквозь зубы радист. — Сказано — сделано. Заяц трепаться не любит.

...И получил наш радист нежданно-негаданно за сбитого фрица орден Красной Звезды. Плечо его, пробитое пулей, быстро зажило, и вот он лежит с нами в густой траве под крылом самолета и нет-нет да покосится на

свою грудь, словно невзначай раздвинет ворот комбинезона.

Штурман сказал, подмигнув:

— Знаешь что, командир. Как-то неловко получается, что экипаж начинают награждать с хвоста. Теперь я тоже слово даю, отличусь как-нибудь. Ну, прямо хоть в этом вот полете. И тоже, как Заяц, отхвачу себе орденок. Тогда, братцы мои, ко мне не только на козе — на таракане не подъедешь.

Радист, спрятав в глазах смешинку, приподнялся на локте:

— Это вы на что намекаете, товарищ гвардии капитан? Разве я уж так заважничал?

— А как же! Вчера говорю: «Заяц, дай-ка мне хоть клочочек твоей шерстки — лысину прикрыть». А ты что ответил? Самому, дескать, надо. И не дал. Нехорошо так, Заяц, не по-товарищески.

Заяц провел пятерней по своей густой шевелюре.

— Ладно, товарищ гвардии капитан, отличайтесь. Мешать не будем. А что касается шерстки, то у меня есть волшебная расческа. Хотите, подарю?

— Не надо, — буркнул штурман. — У меня своя есть. — И действительно: вынул из кармана гимнастерки расческу, подул на нее, делая вид, что очищает с зубьев прилипший волос, и принялся с серьезным видом скоблить себя по голой макушке.

Я смотрю в небо, разрисованное перистыми облаками, и вспоминаю свои полеты на ПС-41: Ташкент — Ургенч и обратно. Облака ползут на восток. Все правильно! Отбомбившись, мы наберем высоту, и потащит нас домой попутным сильным ветром!

Бомбардировщики, замаскированные ветвями и сетками, крылом к крылу стоят длинной вереницей вдоль опушки леса, окружающей большое и не очень-то ровное для взлета поле. Экипажи, как и наш, лежат в тени, сдержанно разговаривают.

Перед нами ответственный полет. Сегодня, в ночь на 18 июля 1942 года, нам, летчикам бомбардировочной авиации дальнего действия, предстоит совершить первый рейд в глубокий тыл врага. Это пристрелочный рейд. Потом будут еще и еще, конечная цель которых — достигнуть логова фашистского зверя — Берлина.

В августе сорок первого года наши Ил-4 ходили на Берлин. Летали они тогда с острова Эзель, что на Балтийском море. Расстояние до цели и обратно — 1700 ки-

лометров. По расчету, горючего на этот рейд должно бы хватить с избытком. А его не хватало! Самолеты прилетали домой с пустыми баками. И невдомек было летчикам, что причиной этому являлись сильные встречные ветры, против которых они летели на большой высоте.

Сколько раз бомбили оккупанты советскую столицу. Рушились, горели московские дома, гибли в развалинах мирные люди, а берлинские обыватели, прячась за толщей расстояния, рукоплескали кровавому шествию фашистских орд. Они верили: Берлин от русских далеко. Берлин недосягаем.

Да, сейчас до Берлина расстояние увеличилось вдвое, но вдесятеро увеличилось наше желание дойти до логова фашизма. Конечно, предел возможностей наших самолетов известен: столько-то горючего на столько-то часов. Но кто может измерить пределы возможностей советского человека? А если добраться все-таки до Берлина? Приложить к этому всю свою злость, весь свой опыт, все свое умение?

И было решено: объявить своеобразный конкурс на мастерство вождения самолета на дальние расстояния, на степень выносливости экипажей, на умение летчиков экономить горючее. Намечены этапы в проверке сил и возможностей: бомбардировочные рейды на Кенигсберг, затем — на Данциг. После каждого рейда будут тщательно замеряться остатки горючего в баках. И тот экипаж, результаты которого позволят рассчитывать на то, что он, достигнув Берлина, сумеет дотянуть домой, будет зачислен в ударную группу.

И вот сегодня — первый бомбовый налет на Кенигсберг. В люках самолета — бомбы, в баках — бензин «под завязку». Да еще под фюзеляжем на бомбовых замках два дополнительных бака с горючим. Это придает самолету внушительный вид. Но мне эти баки не нравятся. С ними тяжелее взлетать, а в полете они создадут излишнее лобовое сопротивление, на которое придется потратить тот же самый бензин, что находится в них.

В несчетный раз мысленно перебираю основные источники экономии горючего в полете. Их четыре.

Во-первых, надо вести самолет так, чтобы весь маршрут пройти с минимальным отклонением от расчетной прямой. Чем меньше отклонений, тем, разумеется, короче путь!

Во-вторых, надо пилотировать машину так, чтобы она не рыскала по высоте. Здесь тоже немалый выигрыш в

пути. По существу, мне предстоит более чем восьмичасовой полет по приборам.

В-третьих, нужно правильно эксплуатировать моторы. Чем больше высота, тем воздух беднее кислородом: бензин, не успевая сгореть, выбрасывается из чрева мотора вместе с выхлопными газами. Чтобы этого не было, летчик должен, ориентируясь по приборам-газоанализаторам, регулировать подачу воздуха от нагнетателей в смесительные камеры двигателей. Все это было бы проще простого, если бы газоанализаторы работали исправно. Но они безбожно врали! Доверившись им, летчик рисковал вывести моторы из строя.

И наконец, в-четвертых, отбомбившись по цели, нужно, возвращаясь домой, помнить о ветре. Теперь он будет попутным и, чем выше, тем сильней. Значит, надо набрать как можно большую высоту.

Вот только «белое пятно» меня тревожило — наши газоанализаторы. А в остальном я к полету готов.

Солнце склонялось к закату. Все тише, тише становились разговоры. Экипажи с нетерпением ждали команды на вылет. Нервы у всех натянуты до предела. Как удастся этот первый почин, ведь у летчиков столько случайностей!

Точка вылета самолетов продумана умно. Мы один за другим снимаемся с пустынно-болотистого места. Линия фронта здесь вытягивается длинным языком к западу, чуть ли не до Великих Лук, и можно лететь, почти не беспокоясь о том, что тебя атакует немецкий истребитель или обстреляют зенитки.

Еще светло, и местность под нами просматривается хорошо. Но мне смотреть некогда. Я весь ушел в борьбу за экономию горючего. Не спускаю глаз с приборов. Чуткая стрелка вариометра замерла в одном положении: набор высоты — четверть метра в секунду. Мне торопиться ни к чему. Вот наберу три тысячи метров и хватит.

Через сорок минут полета зачихали моторы — выработался бензин из подвесных баков.

Говорю штурману:

— Баки выработаны. Сбрасывай их скорее ко всем чертям!

— Есть сбрасывать! — бодро отвечает Евсеев.

Через прорезь в приборной доске мне видно, как он склонился над бомбосбрасывателем.

— Впереди населенный пункт,— говорит Евсеев,— а

в баках наверняка остался бензин. Давай сбросим их в огороды, мужикам на зажигалки.

— Здесь еще наши? — спрашиваю я.

— Наши.

Баки легкие, из прессованного картона, и опасности при падении не представляют. И конечно же, в них остался бензин. В хозяйстве он как пригодился бы. Но... порядок есть порядок.

После некоторого раздумья говорю:

— Нет уж, Николай Гаврилыч, такими вещами шутить не полагается. Сбрасывай куда-нибудь в болота.

Справа от нас нашим курсом идет самолет. Его хорошо видно на светлом фоне северной части неба. А слева — темнота. Горят звезды. Странно. Мне такого никогда не приходилось видеть. На правом крыле хоть заклепки считай, а левого не видать.

С трудом доходит до меня, что в Ленинграде сейчас белые ночи. Ну, а юг остается югом.

На меня откуда-то вдруг пахнуло сквозняком. Самолет вздрогнул. Вслед за тем невнятное бормотание штурмана:

— Ах, черт побери! Ах, черт побери! Как же это... Как же...

Включаю переговорное устройство, чтобы спросить, что случилось, но меня опережает насмешливо-фамильярный голос радиста:

— Ну вот, товарищ командир, теперь можно и возвращаться.

Я опешил: какая вольность!

— Это что еще там за команда с хвоста?! Что вы себе позволяете?

— А как же, — обиделся радист. — Бомбы-то... сброшены...

Я не верю своим ушам.

— Что-о?! Что ты сказал?

— Сброшены, говорю... Вон они — догорают.

Накреняю самолет, смотрю вниз. Пустынный болотистый луг, речка, и поперек ее — серия огненных пятен. Сомнений нет — это наши бомбы. Но как это случилось?

Обалдело смотрю на приборную доску. Это же просто чудовищно! Столько трудов, столько надежд...

Мне уже все понятно. Перед взлетом штурман поставил, как полагается по инструкции, рычажки бомбосбрасывателя на отметку «залп», а перед тем, как сбросить баки, забыл поставить эти рычажки на нулевое положение. И вот результат...

В душу мою змеей вползает мысль о предстоящих объяснениях с начальством. Неприятностей не оберешься. Расспросы, допросы, оскорбительные подозрения. Докажи вот теперь, что бомбы сброшены не из-за трусости. Еще хорошо, что я не разрешил ему освободиться от баков над населенным пунктом. От мысли, что могло бы за этим последовать, меня продирает мороз по коже.

— Ах, черт возьми! Ах, черт возьми! — причитает Евсеев.

— Замолчи! — кричу я вне себя от бешенства. — Ворона!

Штурман умолкает. Подавленный случившимся, он сидит, согнувшись и обхватив голову руками, мычит, словно от зубной боли.

Мне становится стыдно за свою несдержанность.

— Ладно,— говорю,— успокойся. Как-нибудь обойдется. Давай обратный курс.

Подавляя вздох, разворачиваю машину, беру обратный курс. Теперь уже правое крыло самолета растворяется в темноте, а левое...

Что такое? Что такое? По крылу от мотогондолы тянется широкая темная полоса, испещренная рябью. Рябь колышется от воздушных струй и, сползая с кромки крыла, срывается, образуя в пространстве длинный шлейф.

Масло! Что-то случилось с масляной системой левого мотора, и сильный насос выкачивает его наружу. Еще минут пятнадцать-двадцать, трудно сказать, я не знаю, когда это началось, — мотор заклинился бы, остановился и... кто мог бы предугадать, что нас ожидало там — за линией фронта, во вражеском стане?..

Буря самых противоречивых ощущений охватила меня. Еще не остыла досада на штурмана за его преступную небрежность, еще болела душа от огорчения и стыда за прерванный рейд, и вот я уже радуюсь и тому, что штурман ошибся, и тому, что именно сейчас, а не позже обнаружена эта серьезная неисправность.

Штурман сидит в носу самолета, и ему не видно, что творится с левым мотором. Это может заметить только радист из своей прозрачной башни. И я выжидаю с десяток секунд: может, он скажет об этом? Но Заяц молчит. Так оно и должно быть. Это значит, что он бдительно несет свою вахту. С изменением курса он повернул свою башню с пулеметами на правый борт и сейчас до боли в глазах всматривается в темноту, откуда всегда можно ждать атаки истребителя. Молодец, радист! Ты вы-

держал экзамен. Теперь остается выдержать экзамен мне.

Решаю задачу с одним неизвестным: сколько осталось масла в баке? Если мотор через десять-пятнадцать минут остановится, нам придется прыгать с парашютом. В баках полно бензина, машина тяжелая, и на одном моторе не дойти.

В этот момент я, наверное, похож на ученика, сидящего перед строгим экзаменатором. В руке у него секундомер. С каждой отсчитанной секундой все меньше и меньше остается шансов на благополучный исход.

Скорее интуитивно, чем сознательно, сбавляю обороты левому мотору и в то же время прибавляю правому. Стрелка вариометра, качнувшись, клюнула вниз и нехотя возвратилась к нулю. Сбавляю еще левому и прибавляю правому. Мотор ревет, звенит, задыхается. Иного выхода нет. Убираю почти до отказа левый мотор. Вариометр показывает снижение — один метр в секунду. Это уже терпимо. У нас на приборе — пять тысяч метров. Хватит, чтобы дотянуть. Лишь бы только крутился левый. Если его остановить, широкие лопасти винта упрутся в воздух, и тогда...

Ладно, не будем гадать, что тогда, пора уже обрадовать штурмана. Щелкаю выключателем переговорного устройства, вызываю радиста, говорю небрежно:

— Заяц, передай на КП: «Неисправен левый мотор. Бомбы сброшены, пытаемся дотянуть до ближайшего аэродрома». Все!

— Мотор?— восклицает радист. — А что с мотором?

— Воспаление хитрости,— угрюмо констатирует Евсеев. — Брось, командир, не старайся!

— О-о-о! — удивляется Заяц.— Смотрите-ка, и в самом деле все крыло в масле.

Штурман недоверчиво хмыкает:

— Эх, Заяц, Заяц, и ты туда же! Да что я — маленький, что ли? Обманите свою бабушку.

— Ну ладно, хватит! — вмешиваюсь я. — Прекратить разговоры! Мы сейчас идем на правом моторе. Левый в любую минуту может остановиться. Приготовьтесь, Николай Гаврилович, проложите курс на ближайший аэродром. Выполняйте!

Мне слышно в наушниках, как судорожно вздохнул штурман, освобождаясь от нестерпимого груза совершенной ошибки. Кажется, нам всем повезло в этом полете именно благодаря рассеянности штурмана. Не сбрось он

бомбы, мы ушли бы в глубокий тыл противника и там... Страшно себе и представить, что было бы там.

В блеклом сумраке белой ночи я осторожно посадил машину на бетонную полосу какого-то полупустующего аэродрома. И первое, что мы сделали, когда выбрались из самолета, от всей души обняли Евсеева.

— А вы все-таки свое слово сдержали, товарищ гвардии капитан, — сказал радист.

— Это какое же?— спросил Евсеев.

— А как же — отличились!

— Ах, да! Гм...— только и смог ответить Евсеев на эту двусмысленную похвалу. И, чтобы скрыть смущение, достал из кармана расческу.— Когда-то у меня тоже была такая шевелюра, как у тебя, Заяц.

Утром следующего дня к нам подрулил и выключил моторы только что севший ЛИ-2. Я обрадовался: там есть борттехник, попрошу его, пусть посмотрит, что с нашим мотором.

Подхожу. Дверь распахивается, выпрыгивает человек, кидается ко мне, обнимает. А я глазам своим не верю: да ведь это же Романов Иван! Мой старый друг по школе! Вот это встреча! Нарочно не придумаешь.

А тот оттолкнул меня, смотрит счастливыми глазами:

— Бо-орька, это ты? Да как же это, а? Вот здорово-то, а?! А «комнатную ракету» помнишь? — И расхохотался.

Иван, ловко орудуя отверткой, раскапотил наш левый мотор и тут же устранил неисправность.

Мы обнялись на прощание и разлетелись по тернистым дорогам войны.

Мы побиваем рекорд

Начальник штаба полка, коренастый, с добродушнейшим лицом гвардии подполковник Шевчук, давая летному составу боевое задание, сказал:

— Этим рейдом мы должны убить сразу двух зайцев: во-первых, нанести поражение скоплению вражеских танков под Константиновкой и, во-вторых, потренироваться на дальние полеты. Прошу развернуть карты.

Штурманы зашуршали планшетами.

Константиновка — это на юге, в районе Донбасса, под Горловкой. От нас — 900 километров. А до Кенигсберга — 1100.

Толкаю Евсеева:

— Дай-ка взглянуть.

Наш маршрут пролегает над территорией, не занятой противником. Пролетев две трети пути вдоль линии фронта почти строго на юг, мы где-то возле Богучар развернемся на запад и пересечем фронт.

Да, полет трудный. И туда и обратно — при сильном боковом ветре. Одна надежда — на экономичную эксплуатацию моторов. Эх, если бы можно было подобрать правильные дозы газовой смеси! Но эти злосчастные газоанализаторы по-прежнему оставались для нас «белым пятном».

«Экипажам прошу учесть,— продолжал начальник штаба.— На этот раз в баки ваших самолетов будет залито бензина на шесть часов плюс аэронавигационный запас. И поэтому блуждать не рекомендуется».

Взлетели мы засветло. Но от этого нам не было легче. Густая мгла непроницаемой стеной застлала все вокруг. Едва оторвавшись от земли, мы повисли в каком-то неопределенном пространстве.

Эти секунды самые неприятные. Пока самолет разбегается, ты еще видишь дальний край аэродрома: капониры, опушку леса. И вдруг все это, промчавшись под крылом, исчезает. А впереди мгла! Ты лихорадочно ищешь, за что бы зацепиться взглядом, чтобы по этому предмету ориентировать машину, но ничего не находишь. И тогда в оглушительном реве моторов тебе начинают слышаться тревожные нотки. Может быть, у самолета уже крен и он валится к земле?

Слева под ребрами: «Ек! Ек!» Тогда, мысленно плюнув на горизонт, которого не видно, ты впиваешься взглядом в приборы. И тут же перестает щекотать под ребрами. Все нормально! Самолет набирает высоту. Никакого крена нет. И уже в сознании вспыхивает искоркой хвастливая мысль: «Вот я какой! Как хорошо взлетел!»

Все эти чувства, самые что ни на есть противоречивые, промелькнут в сознании за какую-то ничтожную долю секунды, встряхнут тебя всего с головы до ног и придадут такой острый вкус к жизни, какой едва ли испытает тот, кто не ходит рядом со смертельной опасностью.

На высоте четырех километров штурман надевает кислородную маску. На высоте пяти я плотнее застегиваю воротник комбинезона: холодно.

Темнеет. Земли не видно. Все та же мгла вокруг. Откуда ее принесло? Монотонно, усыпляюще гудят моторы.

В памяти встают мирные полеты над песками и горами Средней Азии, Каракумы, Кызылкумы, отроги Тянь-Шаня, скалистые хребты Памира... Тогда у меня были совсем другие грузы: почта, пассажиры. Чабаны, инженеры-нефтяники, геологи, геодезисты, строители, врачи...

Впереди слева виден какой-то неясный силуэт. Осторожно приближаюсь к нему. Самолет нашего полка. На хвосте — синяя полоса и цифра «19». Гришанин. Пожилой, тихий, молчаливый летчик. Ветеран полка. У него уже перевалило за сто боевых вылетов, и мы, молодые летчики, смотрим на него с почтением. Редко кому удается перешагнуть такой рубеж.

Стрелок-радист, увидев нас, приветливо махнул рукой. Гришанин повернул к нам свое бледное лицо. Оно у него всегда бледное, а на этот раз, оттененное черным шлемофоном, кажется белым, как бумага. Некоторое время он смотрел на нас каким-то странным, отрешенным взором, в котором, как мне казалось, чувствовалась необыкновенная усталость и тоска. Посмотрел, отвернулся, втянул голову в плечи и замер, глядя на приборную доску. Мне стало не по себе, и я поспешил отойти в сторону.

Вскоре стемнело совсем. Отчетливо засветились фосфорическим светом цифры и стрелки приборов, стал хорошо различим накалившийся глушитель левого мотора.

Сколько раз я видел этот глушитель! То он был ярко-красным, то розовым, то почти черным. Видел и... не придавал этой разнице цветов никакого значения. А тут мне словно кто в ухо шепнул: «Дурень ты дурень! Зачем тебе газоанализатор, который врет? Ты ведь можешь хорошо отрегулировать смесь по глушителям! При нормальной смеси глушитель должен быть светло-красным. Вот и подгоняй его под этот цвет сектором воздуха!»

В самом деле, как это мне прежде не приходило в голову? При богатой смеси, когда в карбюратор поступает мало воздуха, горючее, не успевая полностью сгорать в цилиндрах, выбрасывается в глушители и, охлаждая их, придает им темную окраску. Проще простого!

Я нетерпеливо заерзал на сиденье. Черт побери, это уже было своего рода открытие! Волнуясь, осторожно сдвинул сектор подачи воздуха и поглядел на глушитель. Никаких изменений. Странно. Неужели я ошибся в выводах? И газоанализатор молчит. Сдвинул еще немного. Ага! Стрелка газоанализатора, показывавшего до этого крайне обедненную смесь, дрогнула и поползла к смеси

богатой. Так. Хоть наоборот, да показывает. А глушитель?

Я смотрю на него минут пять. Наконец-то! Черное, чуть светившееся до этого колено трубы, уходящей под крыло, начало покрываться светлыми пятнами. Еще минут пять, и глушитель приобрел ровный темно-вишневый цвет.

Так. Хорошо. Чудесно! Уже смелее передвигаю сектор еще немного вперед. Нужно довести глушитель до светло-красного цвета.

Глушитель правого мотора мне не виден. Не беда. Зато он виден штурману. Я попрошу его помочь мне.

Через два часа полета мы изменили курс. Нас время от времени обдавало сыростью, и тогда вокруг раскаленных глушителей начинал светиться грязновато-красный ореол. Мы шли среди рваных облаков.

Вскоре под нами обозначилась линия фронта. Пожары, пожары и огненные швы пулеметных трасс и летящих снарядов. Что-то вспыхивало, взрывалось, летели искры, и к самым облакам вздымались мрачные столбы дыма. Внизу шли кровопролитные бои.

На несколько секунд мой взгляд остановился на бомбардировщике, летящем впереди. Четкий силуэт его был ясно виден на фоне освещенных облаков. А снизу, справа, силуэт поменьше. Истребитель! В тот же миг стремительные огненные язычки лизнули борт бомбардировщика. И его не стало... Он испарился в адском взрыве собственных бомб. А потом все исчезло. Наш самолет вошел в облака.

Мы молчали. Все было ясно и так: Гришанин...

Вынырнули из облаков через десять минут. Осмотрелись. Тихо. Темно. Совершенно темно.

Спрашиваю у Евсеева:

— Сколько лететь?

— Сорок пять минут.

И все. Опять молчим. Бледное лицо Гришанина стоит передо мной. И радист приветливо машет рукой. Штурман... Кто у Гришанина штурман? Ах да, Цыпляков! Высокий такой. Балагур и гитарист. А воздушный стрелок вроде нашего Китнюка — круглый, как колобок. Нет их. Были — и нет. Ушли в ничто. Мгновенно. Может быть, даже ничего не ощутив.

А вот и цель. Впереди, слева. Прожектора, зенитки, вспышки рвущихся бомб. Все как надо...

Отбомбились, отошли от цели. Взяли курс. Вошли в

облака. Штурман закурил папиросу. Я не курю, но сейчас едва ощутимый дымок табака создает мне иллюзию мирной обстановки. Будто сидишь у кого в гостях за мирным домашним столом. Ровно гудят моторы. Мерцают приборы. Пахнут влагой облака.

Высота — шесть тысяч метров. Холодно. Время от времени я поглядываю на глушитель. Ровный приятный розовый цвет. Такой же, по докладу штурмана, и у правого мотора. Интересно, даст ли нам ощутимую экономию горючего это новшество?

Наверное, мы уже прошли линию фронта. Но штурман молчит и не просит, чтобы я вышел из облаков для уточнения маршрута. Что ж, ему видней.

Прошло еще минут пятнадцать. Начинаю беспокоиться. Вроде бы пора и курс менять.

Включаю переговорное устройство:

— Николай Гаврилович, ты не спишь? Наверное, пора и курс менять?

— Через восемь минут.

— Снижаться будем?

— Обязательно.

— Тогда пошли?

— Пошли!

Снижаемся. Пять тысяч метров. Четыре. Три! Мы вырвались из облаков.

— Ого! Что это — линия фронта?!

Это мы выкрикнули чуть ли не хором. Под нами изломанные полосы пожаров, столбы дыма и нервно шарящие по облакам метелки прожекторных лучей.

Штурман в растерянности:

— Что за ч-черт?

А у меня в глазах силуэт самолета и яркая вспышка... Опять нарвались на то же место!

Синий луч коснулся крыла. Рядом глухо хлопнул крупнокалиберный снаряд.

Мы ушли в облака, растерянные, обескураженные. Что за чертовщина? Судя по времени, линия фронта должна быть далеко позади...

Молча осмысливаем положение. Мне слышно, как вздыхает штурман, взваливая на себя всю ответственность за эту странную историю: потерял ориентировку, факт!

Стрелка индикатора радиополукомпаса, укоризненно кивая мне со своего циферблата, утверждает, что мы уклонились влево.

Евсеев взрывается:

— Черт бы побрал этот РПК!— щелкает выключателем. — Держи прежний курс. Будем идти еще двадцать минут.

Двадцать минут — это сто километров. Ничего не понимаю. Как это случилось? Шли, шли и, пожалуйста,— пришли!

Облака кончились. Над нами звездное небо. На земле — ни огонька. Держу курс. До боли в глазах всматриваюсь в местность. Леса, овраги, поля. Какая-то река, железная дорога, шоссе...

У меня за голенищем карта. Развернуть бы ее, посмотреть. Но тогда нужно включить в кабине свет, а это, во-первых, опасно: можно привлечь внимание истребителей, а во-вторых, я все равно ничего не разберу: меня ослепит, и ночь за бортом станет для меня словно политая тушью.

Томительно проходят двадцать минут. Судя по маршруту, на месте излома курса должна быть река, железная дорога и город. Но под нами ровная местность с жидкими перелесками и маленькими хуторками. Где мы?

Штурман досадливо кашляет и дает мне новый курс. Теперь мы будем идти на северо-запад. Линия фронта слева. Это все, что мы пока знаем. Мало! Слишком мало или почти ничего, если учесть, что у нас в баках осталось горючего на три часа, то есть как раз столько, чтобы дотянуть до аэродрома. Ч-черт!..

Я уже принял все меры для строжайшей экономии горючего. Сбавил обороты моторам, снизил скорость. Сейчас нам важно не дальше пролететь, а дольше продержаться в воздухе. Прикидываю в уме: может, хватит горючего, чтобы продержаться до рассвета? Нет, не хватит.

О том, чтобы выйти на свою базу, нечего и думать. Оставалось надеяться на случай, который заботливо подсунет нам какой-либо аэродром с ночным стартом. Мало ли их тут разбросано!

Евсеев сидит курит. А кто будет сверять карту с местностью? Кто будет восстанавливать ориентировку?

Так вот у него всегда: замрет и философски отдается воле случая. Никак не могу понять: то ли у него «заклинивает» что-то в голове, и он теряет всякую способность здраво рассуждать, то ли это я его избаловал, как он любит выражаться, — «счастливой звездой». Спорить с ним в это время, ругаться — бесполезно.

В таких случаях я стараюсь говорить с ним ласково: «Коля, милый, сделай то-то». Коля делает, но не так, как надо.

Еле сдерживаю себя, чтобы не взорваться:

— Слушай, дорогой. Ну, развернул бы ты карту, расстелил бы ее на полу, тебе ведь удобно. Посмотрел бы внимательно, прикинул. Вон, видишь, река под нами? Какие крутые берега? Ведь можно же ее опознать! А вон железнодорожный мост...

В наушниках слышен подавленный смешок. Это Заяц хихикает над моим елейным голосом. И смех, и грех!

— Справа впереди аэродром! — неожиданно провозглашает штурман. — Самолеты летают!

Меня коробит его победоносный тон. Будто это его заслуга, что впереди появился аэродром.

— Чему ты радуешься?— спрашиваю я. — Это что — наш аэродром?

— Нет, конечно,— беззаботно отвечает Евсеев, —но мы там сядем.

Садиться на чужой аэродром — удовольствие маленькое. Вряд ли нас там накормят, а уж спать-то наверняка придется, сидя в кабине.

— Сядем,— ворчу я и тут же, к слову, ехидно замечаю: — А ты уверен, что это наш аэродром, а не фашистский? А может быть, мы болтаемся сейчас над территорией, занятой врагом, а?

Штурман явно обескуражен.

— Ну-у-у, тоже мне скажешь... Ясно, наш.

В голосе его неуверенность. Он так сбит с толку этим ночным приключением, что может сейчас поверить чему угодно.

На высоте тысячи метров подходим к аэродрому. Светится ночной старт, но какой-то странный. По кругу ходят три самолета, четвертый взлетает. Аэродром явно тренировочный, и самолеты небольшие. Возможно, что нам и не сесть здесь. Надо посмотреть, не то завалишься в конце пробега в овраг.

Договариваемся: я сделаю предварительный заход на посадку, и когда мы будем проходить низко над землей, Заяц запустит вверх осветительную ракету. Мы увидим, какие стоят самолеты. Если большие или истребители, значит, можно садиться.

Снижаюсь. Включаю бортовые огни, захожу на посадочную полосу. Мне видны силуэты приаэродромных построек и стоящих в ряд самолетов. Все они мчатся на меня со скоростью свыше двухсот километров. Успеем ли мы разглядеть?

— Заяц, давай! — кричит штурман.

В воздух взлетает ракета. Сначала мне виден только ее искрящийся след, а затем мертвенно-бледное дрожащее зарево освещает окрестность. Бросаю взгляд вниз направо и... ох-х! — под нами проносятся пять или шесть зачехленных немецких транспортных самолетов Ю-52.

— Немецкие самолеты! — кричит Заяц.

— О-о-о! — стонет штурман.

Я резко даю обороты моторам, торопливо выключаю бортовые огни. У меня в голове мешанина. Кисель. Ничего не понимаю. Что же это — неужели мы в тылу у немцев?

Обычно, когда человек лишен возможности соображать, он обращается за помощью к инструкции. Я никогда не мнил себя ее знатоком, а тут вдруг вспомнил: «Если экипаж потерял ориентировку и не уверен в том, что он находится над своей территорией, командир самолета обязан взять курс на восток и лететь до полной выработки горючего, после чего выброситься на парашютах...»

Не особенно уверен в точной передаче текста, но главный смысл инструкции именно такой: «Экипажу выброситься на парашютах».

Соображаю: горючего в баках еще на два часа. Это значит: мы сможем пролететь почти шестьсот километров. Прикидываю по памяти на карте: допустим, что линия фронта не слева от нас, как мы думали, а справа, ну от силы в пятнадцати-двадцати километрах (хотя это никак не укладывается в моем сознании). Тогда выходит, что наши моторы остановятся где-то за... Пензой! А если вдруг окажется, что мы уже сейчас болтаемся над Пензой (а это тоже не умещается у меня в голове: откуда же там немецкие самолеты?), тогда выходит, мы залетим аж чуть не под Урал. Уму непостижимо!

Фантазия рисует мне «веселую» картину: где-то в глубочайшем тылу, на Урале, грохается об землю самолет и с неба на «зонтиках» опускаются четыре «ангела». Конечно, нас хватают, как «шпионов-диверсантов».

«Вы откуда? Кто вас послал? С каким заданием?» — «Да вот, понимаете, полетели мы бомбить фашистов...» — «Фашистов?! Так вы же не туда курс взяли, голубчики! Совсем в другую сторону. Фронт-то во-о-он где — на западе, а вы на восток ударились».

Потом, конечно, все выясняется, и нас отпускают с богом. Но стыд-то какой! Позор на всю страну!

От таких мыслей хочется взвыть по-собачьи. Сижу в полной растерянности, набираю высоту, машинально дер-

жу прежний курс — на северо запад. Самолет охотно лезет вверх. Еще бы! Он стал на четыре тонны легче...

Справа на горизонте что-то светлеет. Будто пожар. Всматриваюсь: луна! Ну, теперь проще. Через четверть часа она поднимется и засветит так, что можно будет свободно восстановить ориентировку. Облегченно вздыхаю. К черту инструкцию.

И вот я уже почти счастлив. Много ли человеку нужно? Луну! Всего только одну луну! Горючее у нас еще есть, а значит, есть и время на распутывание этого странного узла событий сегодняшней ночи. Единственно, что меня еще тревожит, — придется ведь все-таки доложить начальству о том, что мы заблудились. Последствия могут быть самые печальные: нас не допустят к подготовительным полетам на Берлин. А наши-то сейчас возвращаются домой. Садятся. Идут в столовую. А мы...

Щелчок в наушниках, и Заяц докладывает:

— Товарищ командир! С КП распоряжение: «Всем экипажам! Наша база подверглась нападению бомбардировщиков противника. Посадка запрещена. Идите на запасные аэродромы». Все!

Час от часу не легче! Впрочем... впрочем... Черт возьми!

Радист словно угадывает мои мысли:

— Ну и везет же нам, товарищ командир. Кто теперь подумает, что мы заблудились.

В наушниках осторожное покашливание штурмана:

— Даю поправку, товарищ Заяц. Везет не вам, а лично мне. Так-то вот. Я олух царя небесного и признаюсь в этом во всеуслышание.

Мне радостно слышать повеселевший голос штурмана, но я обрываю его самобичевание:

— Перестань, чудило! Мы с тобой оба хороши, и давай разделим эту историю — по-братски. Если бы мы, летя в облаках, вместо поспешных решений сменили курс по расчету времени, было бы все это?

— Нет, конечно!

— Ну так вот, дорогой, разворачивай карту и прокладывай ориентировочно по времени этот наш распронесчастный маршрут.

Штурман долго копается с картой. Луна уже поднялась высоко, и ее отражение скачет внизу по каким-то болотам. Напрягаю память. Что-то знакомое. Озера, крутые извилины речек и сеть прямых каналов, какие я видел на торфоразработках.

Невероятная догадка почти ослепляет меня. Не может быть! Придерживая левой рукой штурвал, правой вынимаю из-за голенища карту. Лист трепещет от воздушных струй. Сгибаю его, кладу на коленку. Вот так! И свет включать не надо — все видно отлично.

Всматриваюсь вниз. Слева неожиданно появляется отрезок железной дороги. Один конец ее, загнувшись к западу, упирается в озеро, другой уходит вперед, нашим курсом. Справа — тоже озеро и река.

Лихорадочно шарю глазами по карте. Не выдерживаю, включаю освещение кабины. Так. Все ясно! Выключаю свет, сворачиваю карту. Если минут через пять наткнемся на перекресток железных дорог, значит, мы в районе города Гусь-Хрустального. Ничего себе, отклонились! Почти на триста километров!

Через пять минут появляется перекресток. Точно! Гусь-Хрустальный!

Штурман тоже определил наше местонахождение. Это видно по его сокрушительным вздохам:

— Ах, черт возьми! Надо же так!

Спрашиваю:

— Что там у тебя?

Отвечает не очень-то весело:

— Понимаешь, под нами-то Гусь-Хрустальный! Вон куда занесло!

Через десять минут мы приземляемся на запасном аэродроме. Здесь уже стоят десятка полтора самолетов нашего полка. Подруливаем, выключаем моторы. Все спят, и нас никто не встречает. И не надо. Нам чертовски радостно и так.

Мы проболтались в воздухе десять часов. В мирное время нам с Евсеевым преподнесли бы по лавровому венку с лентой, потому что мы побили мировой рекорд по дальности полета на данном классе самолетов. Но, разумеется, из-за вполне понятной скромности мы ни перед кем не стали хвастаться своими достижениями. Мы обсудили их тихо, с глазу на глаз.

— Что же все-таки с нами произошло? — спросил я. — Как это мы так с тобой?

Евсеев почесал макушку.

— Не говори! Вспоминать тошно. Вот, смотри. — Он развернул карту.— Возвращаясь от цели, мы из-за сильного попутного ветра промахнули точку разворота и вышли на эту вот узловую станцию, которую бомбили немцы. Нас приняли за фашистов и обстреляли. Мы, подумав,

что это линия фронта, снова ушли в облака и вышли вот сюда, аж за Пензу... Там мы увидели трофейные «юнкерсы» и...

— Ладно, Коля не продолжай. Все ясно. Мы с тобой... плохо думали.

— И то верно,— согласился штурман.— Особенно я. Хороший мужик этот Евсеев!

А мировой рекорд по дальности полета был все-таки нами побит!

Специальное задание

Я по-прежнему летал на своем стареньком самолете-ветеране под номером четыре. Он был легкий в управлении. Я любил его, как хороший кавалерист любит своего коня. После полета, в благодарность за верную службу, я гладил ладонью его округлый, покрытый заклепками бок. И в эти мгновения в груди моей теплилось к нему нежное-нежное чувство. Мы были с ним одно целое. Я верил ему, и он никогда не подводил меня. В свою очередь он доверялся мне. В полете я слушал его сердце. Ритмично работали двигатели. Стрелки приборов докладывали, как обстоят дела в недрах моторов: какие обороты коленвала, какая температура головок цилиндров, какое давление масла и многое-многое другое. Приборы не всегда радовали меня хорошими показаниями. Но я не обижался на них, наоборот, я любил их за это, потому что они говорили мне правду. И когда я получал предупредительный сигнал, то принимал необходимые меры. Приборы были моими друзьями, моими союзниками. Они служили самолету, мне, общему делу. Служили честно и действительности не приукрашивали.

Мы летали много, трудно, тяжело. Мы теряли товарищей. Часто на наших глазах чей-нибудь самолет, цепко схваченный прожекторами над целью, вдруг взрывался или опрокидывался, и среди дымов и огня вспыхивали иногда белые купола парашютов. И тогда мы страдали. Жестоко, мучительно. В товарища бьют, стреляют, а он висит беспомощный, и ты ничем, ничем не можешь ему помочь, не можешь его спасти, даже ценой своей жизни...

Стояли тихие ясные ночи. Мы их видели и не видели. Они едва воспринимались в нашем сознании сквозь густую завесу зенитного огня, сквозь голубые лезвия лучей прожекторов, сквозь атаки ночных истребителей. Боевые ночи, летная страда!

Все крутилось, вертелось, сменялось, как в калейдоскопе. Порхали листки календаря, и, просыпаясь после тяжкого сна, весь скованный страшной усталостью, ты отмечаешь мимолетом, что где-то горланит петух, кричит козленок и лучик солнца пробился сквозь листву к тебе в комнату: значит, ты жив, ч-черт побери!

Наш полк стал дивизией. Я стал комэском в новом полку. Какая разница! Все те же боевые вылеты, все те же страдные ночи...

Вчера у нас был выходной. Мы легли спать по-человечески — вечером — и утром проснулись. Здорово!

Где-то действительно блеял козленок, кудахтала курица, устраивали свару воробьи, шуршала листва за окном. Я слушал, слушал, не открывая глаз. Какое-то волшебство. До чего ж хорошо!

Но затрещал телефон, и все волшебство пропало. Война. Война. Зенитки. Истребители. Прожектора... Я вскочил с постели, схватил трубку. Я еще не привык к этому атрибуту и не привык к должности комэска. Я — летчик, это прежде всего. И, наверное, — летчик неплохой. Я знаю, что неплохой, но хочу быть еще лучше. Хочу, чтобы меня узнавали по почерку, по боевым делам, а не по телефону и не по важному виду. К черту важный вид! Даешь боевой задор и летное мастерство! Все остальное — приложится. Однако телефон — это все-таки штука...

Звонили из штаба полка:

— Вас вызывают в дивизию. Срочно. Высылаю машину...

— Есть!

С почтением опускаю трубку, а сердце у меня: ек-ек! За лаконичностью слов я уловил что-то важное, большое.

Еду с удовольствием. Командир дивизии — наш бывший командир полка Щербаков. Я люблю этого человека, его добрую улыбку, добрые с лукавинкой глаза.

Командир встречает меня приветливо. Поднимается из-за стола, высокий-высокий. Выходит навстречу, смотрит внимательно, с высоты своего роста и нового положения. Протягивает руку: «Здравствуй. Садись». И ласково трогает меня за плечо. Он чем-то смущен. Явно смущен. Я это вижу. И готов пойти ему на помощь. Готов сделать для него все возможное и невозможное.

— Гм... Да... — говорит он, садясь за стол и обеими руками крепко потирая себе лицо.

Он хочет что-то сказать и не решается. Соображаю —

что? Догадываюсь: задание. Ответственное и, очевидно, опасное. Если он не решается, мнется, значит, опасное. Волнение командира передается и мне. Говорю почти шепотом:

— Товарищ командир, я готов на выполнение любого задания.

Он бросает на меня быстрый взгляд.

— Спасибо. Я это знал. — Чуть-чуть улыбнулся. — И там, «наверху», тоже знали. Словом, ты угадал — задание.

Потянувшись рукой, он не глядя взял стоявшую в углу свернутую в рулон карту, развернул ее на столе и прижал тяжелым пресс-папье и пепельницей.

— Полетите вот сюда... под Варшаву...

Я удивленно откинулся в кресле:

— Под Варшаву?! Товарищ командир, так нам же не хватит ночного времени!

Щербаков вздохнул, постучал пальцами по столу.

— Вот то-то и оно, что не хватит. Об этом и речь.

Так вот оно что! В груди у меня холодок, азартное волнение. Мелькнула мысль: «Задание Верховного Главнокомандования?»

— А... это что — важно?

— Очень. Сказано: «Даже ценой экипажа!» Вот как.

Молчание. Я взвешиваю обстановку. Мысли идут стройной чередой: «Ценой экипажа? Ерунда! Как-нибудь это дело обмозгуем. Важно долететь туда, это ясно. Ну и... конечно, важно вернуться обратно! Но это уж мое дело». Я уже увлечен заданием.

— А что мы там должны проделать?

— Сбросить на парашютах четыре человека и груз.

Четыре человека? Я уже догадываюсь, что это за «человеки». Разведчики. И, конечно, большие, раз задание «сверху». Я уже не могу сидеть спокойно. Вскакиваю с кресла, вытягиваюсь по стойке «смирно».

— Товарищ командир, я готов!

Щербаков вздыхает, убирает карту со стола, долго-долго скручивает ее в рулон. Я вижу, он хочет что-то спросить. Жду. Наконец он решается. Поднимает голову и смотрит на меня с нескрываемым интересом.

— Ты вообще-то, между нами говоря, понимаешь, что это значит — нехватка ночного времени?

— Понимаю, товарищ командир. На обратном пути, где-то возле линии фронта, нас, возможно, собьют истребители.

— Ну, и на что ты надеешься?

Я пожал плечами:

— На случай. И на обстановку. Сейчас трудно сказать. Там видно будет.

Командир опустил глаза. Нет, он не такого хотел от меня ответа, я это видел отлично. И я уже знаю, о чем он хотел бы еще спросить. Он хочет знать: почему я с такой готовностью соглашаюсь на этот полет?

Откровенно говоря, я и сам не знал точно — почему. Просто хотелось — и все. Нельзя, конечно, принижать достоинства врага, но не нужно их и преувеличивать. Мы ведь тоже не лыком шиты. Ну, а основную роль играл, наверное, фактор доверия. Задание «сверху», да еще персональное — это, это... Недаром же мы говорим: «Служу Советскому Союзу!» Вот ему-то я и должен послужить, раз это надо.

— Ну, ладно,— сказал командир. — Раз так — прощаться не будем. Действуй, выполняй и... возвращайся.— Он поднялся, поставил в угол свернутую карту и протянул мне руку.— Иди. У тебя теперь эскадрилья, выбирай любой самолет. Вылет отсюда, с нашего аэродрома. Все!

«Любой самолет. Любой самолет, — думал я про себя, трясясь на трескучем сиденьи «эмки». — Какой же мне взять самолет? Ну, разумеется, свою «четверку». Какой же еще?»

Да у меня, собственно, не было и выбора. Правда, только вчера нам пригнали с завода четыре новеньких Ила, но они еще не облетаны. Сегодня в первый раз пойдут на боевое задание, и лететь на них в дальний полет нельзя. Могут быть какие-то неполадки.

По пути заезжаем на аэродром, подкатываем прямо к моей «четверке». Подзываю инженера эскадрильи, тихо, вполголоса даю указания: горючего залить «под завязку», снять хвостовой пулемет и бронеплиту. Бомбы не подвешивать. Все!

Инженер понимающе кивает головой. Он ничего не спрашивает, ему все ясно. Если снимается хвостовой пулемет и бронеплита воздушного стрелка — значит, самолет полетит на спецзадание, повезет какой-то груз.

Я уезжаю. По дороге то и дело поглядываю на часы: времени в обрез, только пообедать, одеться и перелететь на дивизионный аэродром. Там Евсеев получит задание, и там загрузят самолет.

Евсеев ждет меня, лежа на койке. Перед ним на та-

буретке поршень от мотора, заменяющий пепельницу. Он полон окурков.

— Что ты так долго? Заморился, ждавши.

— Давай, давай, собирайся быстро! Спецзадание. — Я снимаю с вешалки комбинезон. — Одевайся теплее.

Штурман кряхтит и мгновенно, по-молодому поднимается. Гладит короткими пальцами лысину.

— Спецзадание?

— Да. Собирайся.

Я хлопочу, суетливо мотаясь по комнате. Зацепил коленкой, опрокинул пепельницу. «Черт тебя дери!» Наконец сажусь на табурет и замираю в неподвижной позе. Мне нужно разобраться в странных чувствах, вдруг нахлынувших на меня. Какая-то ноющая боль в сердце, какие-то смутные предчувствия. Что бы это такое могло быть?

Евсеев, ворча, ползает по полу, собирает окурки, а я сижу, полузакрыв глаза, и лихорадочно доискиваюсь: что могло послужить причиной такого моего состояния?

Мне было ясно одно: в этом полете нам угрожает опасность. Но откуда и какая?

Может быть, это покажется кое-кому смешным, но я верю в предчувствия. Верю не слепо — по опыту. Услужливая память тотчас же подсказывает примеры.

Однажды мне предстояло перелететь с базового аэродрома на оперативный. Днем, не ночью и не на боевое задание. Но на меня тогда вот так же напала тоска. Болело сердце, лететь не хотелось. Но лететь надо было. Техники до предела загрузили самолет разным снаряжением и сели сами — девять человек. Итого вместе с экипажем нас было тринадцать. И за всех я в ответе.

Запустил моторы. Опробовал, послушал тщательно и так и этак. Кажется, все хорошо. А сердце болит.

Вырулил, взлетел. Пока взлетал, весь покрылся холодным потом. Перегруженный самолет оторвался только в конце аэродрома. Замелькали столбы, дома, деревья, опоры высоковольтной линии. Откажет мотор — верная смерть.

В страшном напряжении набираю высоту. Сто метров. Двести. Жду. Когда же, когда же это случится?!

Взлет был по курсу, и мы могли бы так прямо и идти по маршруту, но я, ни на йоту не сомневаясь в предчувствии, сделал разворот и пошел с набором высоты по кругу. Триста метров. Четыреста. На сердце отлегло. Теперь уже не было страшно, у нас — высота. Круг завершен, мы

над аэродромом. Высота восемьсот. Ложусь на курс. И тут случилось—отказал мотор. Мы благополучно сели.

Или еще: старый опытный летчик Чулков. Лучший в дивизии ас. Как он маялся тогда перед вылетом. И сядет, и ляжет, и закроет глаза, и руки запрокинет за голову. Я сказал тогда Евсееву: «Смотри, как мается человек. Вот увидишь: не зря».

И точно! На наших глазах срезал его над целью огнем своих пушек ночной истребитель.

И еще случай, и еще, и еще...

Нет, не зря болит мое сердце. Не зря. Значит, где-то глубоко во вражеском тылу откажет какой-нибудь мотор — и все, крышка! А в ствол моего пистолета будет заложен девятый патрон — «для себя».

Откуда-то издалека до меня доносится голос Евсеева:

— Ты что, командир, невеселый такой? Тебе плохо?

Я открыл глаза. Да, мне было плохо. Выходило, что лететь никак нельзя. Будет честно, если я откажусь от полета сегодня, а завтра вместо своей старушки возьму другой самолет — новый. Ведь, наверное, можно отложить? Зачем рисковать? Кому это нужно? Ведь мы, очевидно, повезем очень больших и важных разведчиков. Если случится что и они попадут в лапы врага, это будет такая потеря, что и оценить нельзя.

Перед моими губами стакан с водой.

— На вот, выпей.

— Хороший ты мой, Гаврилыч!

Я осторожно отвел рукой стакан.

— Спасибо, друг, не надо. Пошли обедать.

Я почти не ел. Не хотелось. По-прежнему болело сердце. Отказаться. Отказаться! Но под каким предлогом! Сослаться на предчувствие? Меня же засмеют. Опытный летчик, коммунист, и вдруг такое... Смешно!

Мы поехали на аэродром. Я подходил к машине, как к чужой. Я уже не верил ей, твердо зная: сегодня она меня подведет.

Мы перелетели на дивизионный аэродром. Нас поставили в самый дальний угол, подальше от любопытных глаз. Густая трава, кустарник, с десяток берез и за ними река. Я всегда восторгался ею, с наслаждением слушая мирный плеск воды и вдыхая запах речного простора. Но сегодня мне было не до природы.

Подъехала «эмка» командира дивизии. Я подал команду «смирно», хотел доложить, но Щербаков поморщился, махнул рукой: «Не надо!»

Ну, не надо так не надо. Я не любил докладывать. Зачем? И так все ясно: «Материальная часть в исправности, экипаж к полету готов...» — хотя это сейчас и не соответствовало действительности. Но попробуй докажи!

Командир, заметив мое состояние, спросил:

— Ты что, тебе нездоровится?

Наверное, было бы лучше, если бы я сказал, что нездоровится. Но я не мог соврать. Нет, я чувствую себя хорошо, но... И я решился, тем более, что передо мной стоял такой человек, которому можно довериться. Я рассказал ему все. И он мне поверил. Выслушав, помрачнел и принялся вышагивать взад и вперед возле хвоста самолета.

— Да! — сказал он. — Да... Хуже всего то, что я не в силах отменить полет. И командир корпуса не в силах. И даже командующий АДД. Вот какая штука. — Он остановился, ожесточенно потер ладонями лицо. — Ну, а предлог — сам понимаешь — смешон. «Предчувствие». М-да. А вон и твои пассажиры едут.

К нам подкатила легковая машина, а вслед за ней — доверху нагруженная полуторка. Кузов ее был тщательно закрыт брезентом.

Из легковой машины вышли четверо: трое мужчин и девушка. Мужчины в шляпах, в элегантных костюмах заграничного покроя, девушка в изящном комбинезоне, перетянутом в талии широким кожаным ремнем, на котором с правой стороны висела фляга, а с левой — маузер в деревянном футляре.

— Вот это да-а-а! — восхищенно проговорил Заяц, выглядывая из своей сферической башни. — Вот это си--и-ила!

Девушка была действительно «сила». Изящная, стройная, нежная. Пышные волосы золотистыми волнами спадали до плеч. Большие голубые глаза с длинными ресницами источали само очарование, а прямой тонкий нос и чувственные губы говорили, кричали о том, что в жизни есть не только бомбы, самолеты, прожектора, зенитки, но и кое-что другое.

Заяц ахал в фюзеляже: «Бывает же такое, а!»

Щербаков посмотрел на девушку, на Зайца, на меня и, кашлянув, с досадой бросил:

— Ладно, что-нибудь придумаем.

Пассажиры подошли, поздоровались и тут же, сняв пиджаки, принялись разгружать полуторку. Сдернули брезент, открыли борта. Я ошеломленно смотрел на длин-

ные тяжелые тюки, упакованные в прочные брезентовые чехлы. Техник самолета сокрушенно всплеснул руками:

— Да куда же это мы впихнем такую прорву?!

Действительно, узкий фюзеляж бомбардировщика не был приспособлен для такого груза, а кроме того, ведь еще и пассажиры!

Я машинально прикинул: весь груз на хвосте — задняя центровка. Опасно. Соверши на развороте хоть небольшую ошибку в технике пилотирования — машина завалится в штопор.

Командир, поговорив о чем-то со старшим группы, открыл дверку, повернулся ко мне:

— Без команды не вылетать. Все указания пришлю с посыльным. Поеду потолкую с синоптиками. Кажется, там по маршруту гроза.

И он уехал, оставив меня с самыми тяжелыми мыслями. Надежды на отсрочку я не питал.

Пассажиры работали: подносили тюки, прикрепляли к ним парашюты. Техник и Заяц укладывали груз в фюзеляж. Мы с Евсеевым отошли в сторону и легли в траву.

Солнце склонялось к горизонту. Наши часы истекали. Я мысленно перелетел в свой полк. Сейчас ребята ужинают, потом пойдут в штаб, затем — к самолетам. Цель сегодня близкая — железнодорожный узел Вязьмы. Правда, там сильно бьют зенитки, но ведь это почти возле самой линии фронта. Если и подобьют, то можно спуститься на парашютах к своим.

Груз уложен. Изрядно вспотевшие пассажиры надели пиджаки, комбинезоны, опоясались ремнями и прицепили к ним по фляге, по куску пакли и какую-то дощечку с шершавым красноватым слоем, как на коробке со спичками, и еще — кобуру с пистолетом.

Я спросил одного из них, высокого, седоволосого, с недовольным лицом: для чего эти фляги и пакля с дощечками?

Седоволосый, поведя крючковатым носом, сказал сварливо:

— Неужели не знаете такой ерунды? Во флягах бензин, им смачивают паклю, чиркают вот этой штучкой по дощечке, и факел готов. Это будет сигналом для вас, что все в порядке.

— Ясно,— сказал я и, увидев бежавшего к нам человека, поднялся. — Прошу занять места!

Ко мне подбежал, запыхавшись, молоденький веснуш-

чатый сержант с васильковыми глазами. Остановился, взял под козырек.

— Вам записка, товарищ гвардии капитан!

Я взял свернутую в несколько раз, влажную от пота бумажку, развернул ее и, не веря своим глазам, прочитал:

«Ваш полет из-за метеоусловий переносится на завтра. Летите домой и отдыхайте. Щербаков».

Я был готов расцеловать сержанта.

— Спасибо, дорогой, спасибо! — и, не сдерживая радости, крикнул: — Отставить занимать места! Разгружать самолет! Вылет не состоится!

И тут со мной произошла метаморфоза. Мне никак не хотелось лететь сегодня, а сейчас... Отдыхать? Как бы не так! Нет, мы сегодня слетаем. Обязательно слетаем. Нужно доказать командиру и самому себе, что мои предчувствия верны.

— Быстро разгружать самолет! — заорал я. — Быстро! Мы должны слетать на боевое задание!

Евсеев удивленно вытаращил на меня глаза, но ничего не сказал. Пассажиры пожали плечами, и по их лицам можно было видеть, что они недовольны. И я их понял: мобилизовать себя на подвиг, на который они шли, стоило больших трудов. И вот — досадный перерыв, расслабление, может быть, бессонная ночь в ожидании.

Но... ведь они же не знают, что этот вот ясноглазый паренек принес сейчас для всех нас счастливый билет, на котором написано: «Жизнь».

Ладно, каждому свое. Радость меня не покидала. Я уже знал: опасность миновала нас. Я даже знал приблизительно... нет, пожалуй, точно — где, когда и как это произойдет. Это будет после бомбежки по цели. У меня будет хорошая высота, которая позволит дойти до аэродрома на одном моторе. Я ощущал себя окрыленным, заряженным.

— Скорей, скорей!

Седоволосый, вдруг повеселев, подошел ко мне, дернул носом.

— А вы знаете, я так себя скверно чувствовал. Я тоже не хотел лететь сегодня. Завтра — пожалуйста, а сегодня — нет. — Он приложил руку к груди.— Вот тут что-то болело, так нехорошо.

Я вытаращил на него глаза:

— И вы? И вы тоже?! Но откуда вы знаете, что я не хотел лететь?

Седоволосый пожал плечами.

— Не знаю. Я ощущал опасность. Вы — тоже. Это было видно.

Техник крикнул:

— Товарищ командир, самолет разгружен!

Я кивнул седоволосому:

— Вы правы. До свидания. Завтра я вам все расскажу.

На нашем аэродроме было пусто. Полк улетел на задание. Мы сели. Самолет еще не закончил пробег, а я, открыв фонарь, приподнялся на сиденьи и, надрывая связки, закричал:

— Бо-ом-бы-ы-ы!

Меня поняли сразу. В эскадрилье забегали, засуетились. Откуда ни возьмись, появились бомбы, лебедка для подвешивания. Оружейники работали, как маги, как волшебники. Минута, другая, третья...

— Все готово, товарищ командир!

— Молодцы, спасибо. От винто-ов!..

И вот мы отбомбились, отошли от цели, взяли курс домой. Я весь в напряжении, я чего-то жду.

Придирчиво вслушиваюсь в работу двигателей: может, уже есть какие симптомы? Нет. Моторы поют, урчат! «Ровно-ровно-ровно-ровно!» Ничего похожего.

Я обескуражен: неужели обманулся?

Под нами линия фронта. Надо снижаться. Идти над своей территорией на такой высоте рискованно: свои могут обстрелять из зениток. И снижаться боязно.

И тут сдал мотор. Левый. Хорошо сдал, красиво: с искрами, с дымом, с языками пламени. Вот оно!

Быстро принимаю меры к ликвидации возможного пожара.

— Заяц! Свяжись с КП, передай: «Отказал левый мотор. Идем на одном. Приготовьте посадку».

Мои предчувствия оправдались, и совесть моя чиста. Ах, какой же опасности мы избежали! И все это командир Щербаков. Был бы на его месте сухарь, флегматик, хлебать бы нам горе полными ложками...

Задание выполнено

Наш самолет опять набит до отказа. Но это уже другой самолет — новый. И настроение у меня другое. Так весь мир и обнял бы!

Сегодня утром в штабе мы мимоходом встретились с

Щербаковым. Командир сделал движение, будто хотел обнять меня. У меня был такой же порыв, но кругом люди. Мы только переглянулись и поняли друг друга без слов. Слегка коснувшись пальцами моей груди, он спросил:

— Ну как, а сегодня тут в порядке?

Я засмеялся:

— Еще бы, товарищ командир. Порядок полный!

— Ну и ладно. По маршруту опять гроза. Но сейчас это уже хорошо. Мы выпустим тебя пораньше, чтобы ты мог вернуться домой затемно. Понял? — И прошел.

Я смотрел ему вслед, не веря ушам. Да при такой ситуации полет этот будет увеселительной прогулкой! Вернуться затемно, подумать только!

Мои пассажиры, уже одетые во всю свою амуницию, лежали поодаль, курили. Только девушка была в стороне, и возле нее увивался Заяц.

Я подошел и прилег возле старшего группы. Это был лет сорока, коренастый, с артистической внешностью мужчина. Крупная голова его с рыжеватыми волосами была разделена безукоризненным пробором. Нос с горбинкой. Густые нависшие брови. Голубые глаза смотрели важно и надменно. На среднем пальце холеной руки красовался перстень с крупным бриллиантом. Он лежал на животе, закинув ногу на ногу и подперев обеими руками массивный подбородок, курил папиросу, задумчиво пуская вверх кольца синеватого дыма.

— Закуривайте.— Он пододвинул мне большой золотой портсигар, украшенный каким-то замысловатым гербом и драгоценными камнями.

— Спасибо, не курю, — сказал я, рассматривая портсигар.

Он перехватил мой взгляд, вздохнул.

— Не ломайте голову, — сказал он. — Бутафория. Портсигар, конечно, золотой, и камни настоящие, но... все равно бутафория.

— А девушка? — поинтересовался я. — С маузером. Тоже бутафория?

Он усмехнулся, глядя на флиртующего Зайца:

— О, не-е-ет, девушка настоящая. Маузер тоже. Между прочим, она может с любой руки, хоть с правой, хоть с левой, влепить десяток пуль в полной темноте, только по шороху, в предмет величиной, ну, скажем, с консервную банку на расстоянии двадцати метров.

Я опешил:

— Такая... такая воздушная?!

— Вот именно — воздушная. Она прыгает уже девятый раз.

Признаюсь, у меня по спине поползли мурашки. Трудно было отказаться от установившихся взглядов: раз нежная, изящная — значит, слабая, беспомощная.

Но у меня было к старшему дело: самолет наш был совершенно не приспособлен к сбрасыванию парашютистов и тем более громоздких грузов. Хвостовой люк узок и неудобен; для каждого раза требовался отдельный заход, а у нас парашютистов четыре и тюков девять. Значит, нужно сделать тринадцать заходов и, конечно, на малой высоте. Но на какой: двести, триста метров или на сто?

Вот об этом я и спросил у старшего. Тот задумчиво пыхнул папиросой.

— Как можно ниже, — ответил он.

Мое самолюбие было задето. Да за кого он меня принимает!

— А можно и с бреющего! — вызывающе сказал я.— Подойдет?

— Вполне,— ответил старший.

И я попался! Ночью сделать на бреющем полете тринадцать заходов?! Но пятиться было поздно. Назвался груздем — полезай в кузов!

— Хорошо,— сказал я.— Будем бросать с бреющего. Но как я узнаю о результатах?

Тот пощелкал наманикюренным пальцем по фляге:

— А факел?

Я недоверчиво хмыкнул.

— Да вы же не успеете!

— Успеем.

Я пожал плечами. Выторговать хотя бы метров пятьдесят высоты не удалось. Ну, ладно, с бреющего так с бреющего.

Вскоре прибежал посыльный, как и вчера, принес сводку погоды и распоряжение на вылет. Сводка была великолепной — гроза в районе Курска.

Линию фронта мы прошли засветло, между грозовых и слоисто-дождевых облаков. Очень удобно и хорошо. Если привяжется фриц, мы уйдем от него в дождевую муть. А пока, лавируя меж ними, идем открыто на высоте трех тысяч метров. Внизу, под нами, на нашей земле снуют вражеские автомашины. Взлетают, садятся самолеты. Как у

себя дома. Сердце мое негодует. В нем только ненависть. Острая, болезненная, лютая.

Слева и справа бородатые облака поливают землю дождем. Сходясь, обстреливают друг друга огненными клинками молний. Под нами пересекающим курсом прошли четыре «мессершмитта».

— Заяц, смотри!

— Вижу, товарищ командир. Идут мимо.

Ясно! Конечно, кому из них придет в голову, что днем, на таком отдалении от линии фронта идет совершенно открыто самолет противника.

Впереди сплошная облачность и дождь. Влетаем в ливневый грохот. Хорошо! Каскады воды хлещут в ветровое стекло. Спокойно, не болтает. Машина словно замерла. Только вот неудобно — вода течет на колени. Пахнет озоном, прибитой пылью и деревней, какую я помню с детских лет. На душе моей празднично.

Постепенно день гаснет. Темнеет, наступает ночь. Дождь хлещет по-прежнему. Идем вслепую на высоте триста метров. Моторы гудят, гудят. Хорошо, уютно.

— Заяц, как там пассажиры?

— Спят, товарищ командир.

Я удивлен:

— Спя-ат? Вот молодцы! И девушка?

Отвечает не сразу. Потом нерешительно:

— Нет, товарищ командир, девушка не спит.

— Хе-хе! — вмешивается Евсеев. — А что же она делает, а, Заяц?

— Она... помогает мне, — нехотя признается радист.

Кроме девушки не спит еще один, пятый пассажир. Это инструктор. Он прыгать не будет. Он отвечает за десант. На земле перед вылетом мы разработали с ним технику сбрасывания. Десантник, присев на корточки перед открытым узким люком, должен ждать энергичного толчка в спину ногой. И все!

Я прыгал с парашютом, и не раз. Не скажу, чтобы это было очень легко — перебарывать в себе чувство страха перед высотой. Но чтобы тебя выталкивали пинком в спину?!

Дождь резко прекращается, и мы освобождаемся из облачного плена. Слева и сзади в чистом, умытом небе висит огрызок луны. Ее отражение бежит за нами по земле. Догадываюсь: болота. Значит, мы где-то возле Пинска. Ага, вот и река! Наверное, Припять. Вынимаю карту из-за голенища, ориентируюсь. Точно — Припять!

— Припять! — говорит Евсеев. — Через двенадцать минут будет Пинск. Обойдем?

— Справа сзади на нашей высоте вижу самолет, — докладывает Заяц. — Идет нашим курсом.

Впереди на земле медленно зажегся свет. Ясно — посадочный прожектор.

— Аэродром! — говорит штурман. — По кругу ходят самолеты.

— Эх, бомбочки бы сюда! — вздыхает Заяц.

— Хорошо бы! — соглашаюсь я.

Меня душит бессильная злоба. «Г-гады! Сволочи! На нашей земле!»

Оборачиваюсь. Самолет, очевидно Ю-88, идет с зажженными огнями. Если убавить скорость и дать ему возможность пройти над нами, можно отлично вспороть фашисту брюхо кинжальным огнем наших пулеметов.

Соблазн велик. Рука сама тянется к секторам газа. Обороты убавлены, скорость снижается. Глядя назад, поджимаю ножным управлением свою машину под фашистский бомбардировщик. Он нагоняет нас. Ближе, ближе! Ярко горят на крыльях огни. Вот он уже рядом, почти над нами. Мне уже видны его синеватые выхлопы моторов.

Заяц сказал нетерпеливым шепотом:

— Ого!.. Товарищ командир, команда будет?

Евсеев метнулся с кресла.

— Какая команда?! — заглянул в иллюминатор, увидел, понял. — Ты... Ты что, с ума сошел? Забыл, кого везешь, какое задание выполняешь?! Да за это нас, знаешь...

Я скрипнул зубами и резким движением бросил машину в сторону. Евсеев был прав, конечно, но до чего же обидно!

Пинск позади. Бежит луна по болотам. Тихо. Скучно. Борюсь со сном. Мы продвигаемся вперед долго, нудно, медленно. Мой палец почти застыл на карте: скорость его движения — один сантиметр за пять с половиной минут! А сколько у нас всего таких сантиметров! Пятьдесят пять! Или тысяча триста семьдесят километров в один конец...

Но время идет, пережевывая расстояние. Кобрин. Брест. Граница Польши. Я сбрасываю с себя дремоту. Наконец-то! Цель близка. Осталась самая малость — двести километров, или сорок пять минут полета. Сорок пять! Это и мало и много. Мало — если тебе предстоит

еще и обратный путь. Много — если ты уже устал от монотонного гула моторов, от ночного бдения, от огненной боли в раковинах ушей, прижатых шлемофоном, от многочасового неподвижного сидения, от борьбы со сном. И я гоню, гоню от себя мысль, что нам еще лететь назад, так же долго, так же трудно, так же утомительно.

Цель близка. Всего... восемь сантиметров. Я поджигаю себя мыслью, что мы идем хорошо, совершенно точно. Что мы вот-вот выйдем на речку, потом на озеро, потом на небольшой лесной массив. Там мы разыщем поляну, с четырех сторон которой нам замигают условным кодом огоньки карманных фонариков... От мысли, что мы можем и не выйти на эту речку, проскочим озеро и лесную полянку, нехорошо замирает сердце. А вдруг?! А вдруг?!

Нет, никаких «вдруг» быть не должно!

— Хорошо идем, — говорит штурман.— Сейчас будет железная дорога, потом речка. Заяц! Буди пассажиров, пусть готовятся.

Дальше все пошло стремительно быстро. Вильнула речка, проскочило озеро. Лес!

Мы смотрим во все глаза. Полянка! Нет, не та. Еще полянка! Опять не та. А вот и та! Четыре огонька замигали по углам. Наши! Наши! В глубоком вражеском тылу!

Снижаюсь, делаю разворот. Намечаю ориентир для захода.

— Заяц, вы готовы?

— Готовы, товарищ командир. Парашютист у люка...

Идем над самыми соснами.

— Внимание! — кричит штурман. — Приготовиться!.. — И вслед за тем у меня на доске ярко вспыхивает красная лампочка: — Марш!

— Готово!

Я скрениваю самолет и невольно восклицаю от изумления: факел уже горит!

Мне просто не верится. Да когда же он успел?

Последней прыгала девушка. Заяц тяжело задышал, будто это он склонился над черным проемом открытого люка, будто над его спиной повисла нога, обутая в унт...

Красная вспышка.

— Марш!

— О-о-о!.. — стонет Заяц. — Тебя бы так!.. Готово...

Четвертый факел опустился на землю и угас. Все!

Я облегченно вздыхаю. Люди сброшены благополучно. Теперь тюки: девять заходов. Чувствую себя уставшим от нервной перегрузки. Сбрасывать ночью с малой высоты?! Ничего, ничего, сам виноват — напросился.

Еще один за другим девять заходов. Мне слышно в наушники, как кряхтит и ругается Заяц:

— Ч-черт! Тяжелый какой! Застрял...

Наконец-то все! Усилием воли стряхиваю с себя усталость. Ее нет. Ее не должно быть. Ведь нам еще предстоит обратный путь.

Теперь вверх! В высоту. В объятия попутного воздушного потока.

Возвращались мы розовым утром. Вставало солнце, переливалась бриллиантами росистая трава. Дремала Ока под туманным одеялом, а на хмурых опушках сосновых лесов блондинки-березки сушили свои косы.

К аэродрому подошли на бреющем полете. На старте стояла машина руководителя полетов и лениво, словно мухи, ползали люди. Один, коренастый, отошел в сторону и встал в позе Наполеона. Ишь ты — стоит. Надо его положить!..

Прижимаю машину к самой траве. Сейчас ты у меня, голубчик, поцелуешь землю.

Фигура ближе. Стоит?! Ах, ты!

Налетаем как вихрь. Не выдержал, плюхнулся. Ну вот это — другое дело!..

— Заяц, как он там?

— Отряхивается.

— Хорошо! Значит, поцеловал.

Лихо закладываю машину в глубокий боевой разворот, выпускаю шасси, сажусь. Рулю мимо старта к своей стоянке. Коренастый, смеясь, грозит мне кулаком. Вглядываюсь, и сердце мое обрывается: генерал! Командир корпуса Логинов...

По союзникам врага!

Я зашел в штаб полистать свою летную книжку: все ли полеты записаны.

Июнь. Июль. Август... Книжка жжет руки. Каждая строка в ней — драма, трагедия, ужас. Каждая буква написана кровью. Тоскливо сжимается сердце: мы бьем врага, но враг-то... в нашем доме!

«Харьковский аэродром». «Курск, станция товарная». «Брянск, вокзал товарный». «Ржевская группировка».

«Аэродром Болбасово». «Танки под Воронежем»...

Наши бомбы рвут родную землю! До чего ж обидно!

Сорок второй год. Чаша весов часто склоняется на сторону врага. Против нас многие государства Европы. Их солдаты топчут нашу землю, убивают, грабят, жгут. Их родина далеко — там, за горами. Солдаты спокойны. Их семьи в безопасности. Русским их никогда не достать. Никогда!

Час расплаты? Это невозможно! Горы. Далеко. Русским сюда никогда не дойти. Никогда! Но русские долетели.

Июль. «Кенигсберг». «Кенигсберг». Наконец-то! Бомбы рвутся на фашистской земле!

Август. «Данциг». «Берлин». «Берлин!» По фашистской Германии!

А теперь — по ее союзникам. Сегодня мы со своими «поздравлениями» идем на Будапешт. Там — праздник. Чей-то день рождения, какого-то фашистского высокого лица. Там собралась вся фашистская нечисть из государств, воюющих против нас.

Будапешт, это уже сложнее, чем Берлин. Во-первых, дальше и, во-вторых, курс не строго на запад. В полете на обратном пути почти отпадает важный фактор попутного ветра. Здесь нужно ухо держать востро. Ох, трудный будет этот полет.

Сборы. Подвеска бомб. Заправка горючим. Перелет на Лугу, на аэродром «подскока». В целях маскировки на поле — деревянные лошадки с мочальными хвостами, фальшивые копны сена. Самолеты в кустах, вдоль опушек леса, накрыты маскировочными сетками, чехлами, срубленными ветками. Все чин по чину. Даже в воздухе рокот фашистского разведчика. Ищет, проклятый.

День, как назло, выдался жаркий. Горючее в баках расширилось и потекло из пробок. Пришлось сливать. Жалко до слез. Каждый грамм на счету.

По экипажам ползут неприятные слухи: синоптики колдуют плохую погоду. Что они — ошалели, что ли? Небо — синь-бирюза. Ни облачка! Плохая погода. Откуда?

Слухи все настойчивей!

«Отменяют полет».

Не верится.

Ползет время. Тени от деревьев становятся длинными. Вроде бы и взлетать пора.

Молчание. Отменить такой полет может только Глав-

нокомандующий, которому летчики, сбросив бомбы над целью, докладывают: экипаж такой-то, командир корабля такой-то — задание выполнил!

Начинаем нервничать:

— Ждать да догонять — хуже всего.

— Черт бы их побрал совсем, этих колдунов! Гадают на кофейной гуще.

— Что им Гитлер сводку, что ли, отрадировал?

Наконец команда:

— Вылет разрешен! Запасная цель — Львов, станция товарная. Там большое скопление войск, техники, боеприпасов...

— Запускай мото-оры-ы!..

Летчики рады: даешь удар по германским союзникам!

Ночь. Звезды. Темь под крылом. Я регулирую качество смеси по глушителю. Летим, летим, летим, а под нами — все наша страна. Много захватил фашист со своими сподручными!

Впереди какие-то огненные всплески. Что это?! Вот — опять.

Штурман ворчит что-то про себя.

— Ты что, Николай Гаврилыч?

— Да вот, говорю, этого еще не хватало.

— Чего не хватало?

— Да вон — гроза. Не видишь разве?

— Гроза-а-а?

Гроза — это плохо. Особенно ночью.

Держим прежний курс. Всплески все чаще и чаще. В ноздрях защекотало пряным запахом озона. В лицо пахнуло влагой. Дело дрянь. Молнии гуляют по небу со всей своей необузданной силой. Злость берет, хоть плачь. До цели — рукой подать, только перевалить через Карпаты. И вот — пожалуйста! Что делать?

И как всегда в подобных случаях, мое «я», раздваиваясь, вступает в спор с самим собой.

«Лететь нельзя — опасно!» — говорит одна половинка.

«Конечно, опасно! — охотно соглашается вторая.— Но ведь обидно-то как! Надо попробовать. Не возвращаться же обратно. Может быть, там окно, коридор. Может, пройдем...»

Рядом, перед самым носом, полоснули по черным тучам разветвленные зигзаги молний. Страшный треск. Самолет становится на дыбы. В ветровое стекло с силой бьют водяные потоки. Опять молния!

«Что ты делаешь — опомнись! — вопит первая половина моего «я». — Немедленно назад!»

«Да, да! — изрядно напугавшись, соглашается вторая и кладет машину на обратный курс. Думает: — Надо что-то сообразить. Но что? Перешагнуть через грозу? Нет, это невозможно — слишком высоко. Но что же, что?»

Мы выскакиваем из грозового хаоса. Опять звезды. Тихая ночь. Справа в отдалении возникает вспышка на земле. Одна, другая, третья. Утыкаются в небо синие иглы прожекторных лучей. Падают бомбы, занимаются пожары.

— Что это?

— Запасная цель,— хмуро говорит штурман.— Станция товарная. Ребята не прошли.

«Вот-вот!— обрадовалась первая половина моего «я».— Запасная цель. Живая сила. Техника. Боеприпасы. Смотри, смотри — бомбят все самолеты! Через эту грозу никто не пройдет. Облака над горами. А ты знаешь, какие они мощные, эти облака? Как в них бросает. А скалы — рядом. Ка-ак шмякнет! Знаешь же? Вот. Иди на запасную цель, отбомбись, и все в порядке».

«Обидно-то как! — вздыхает второе «я», разворачиваясь вправо. — Ведь только через Карпаты перешагнуть!»

Но первое «я» уже знает, что второе хитрит. И точно! Самолет, развернувшись, идет вовсе не на Львов.

Гроза неистовствует. Беспрестанные вспышки молний освещают бесконечно длинную гряду черных туч. Иногда нас встряхивает, иногда швыряет в лицо шквалистыми ливнями. Наш самолет представляет собой сейчас заряженный аккумулятор: тронь — убьет! Концы крыльев, стволы пулеметов, стойка антенны — все светится голубым электрическим сиянием.

Летим минуту, другую, третью. Пять минут! Десять! Вдоль грозы... Запасная цель уплывает назад. Она кипит в огневой сумятице. Самолеты, уткнувшись в грозу, возвращаются бомбить станцию товарную. Вспоминаю игривый мотив глупой джазовой песенки, слышанной мною еще в начале войны в Ташкенте:

Сосиски с капустой
Я очень люблю —
Ждем вас во Львове!..

Горько усмехаюсь. Дождались...

Время идет. Никаких изменений. Гроза. Молнии. Чер-

ные тучи. Гудят моторы, жрут горючее. Сердце сжимается: ведь на учете каждая капля!..

«На что ты надеешься?» — въедливо спрашивает первое «я».

«На случай! — стиснув зубы, деспотически огрызается второе. — Случай — это великая вещь! Это жар-птица! Надо только не спать, как это делали старшие братья Иванушки-дурачка. Надо набраться терпения и подкараулить...»

Время идет. Сердце болит, разрывается. Горючее! Горючее!!

«Нет, безнадежное дело, — гнет свое первое «я». — Надо возвращаться».

«Ну, еще минутку», — униженно просит второе.

«Ладно, минутку можно! — торжествуя, великодушно соглашается первое. — Можно даже две! От Львова домой — горючего хватит...»

Прошла минута. Проходит вторая. И вдруг справа, среди клубящейся тьмы я увидел... звездочку!

Руки сработали сами. Глубокий разворот в сторону звездочки, и мы ворвались в тьму. Огненный всплеск, грохот, нас схватило, тряхнуло и бросило вверх. Вверх, вверх, вверх, с невиданной бешеной скоростью. Молния! Грохот. Снова молния, и вот мы уже падаем. Падаем, падаем, падаем!.. Все!.. Конец. Сейчас ударит о скалы...

Нас жестоко тряхнуло и... все осталось позади! Тихая, теплая южная ночь распахнула свое покрывало. На небе — ни облачка. Звезды.

— Проткну-улись! — радостно закричал Евсеев. — Смотри-ка — звезды! Молодец ты, командир!

Я вытер ладонью мокрое от пота лицо:

— Молодец не я. Молодец мое второе «я».

— Что ты сказал? — не понял Евсеев.

— Да так. Хорошо, говорю! Смотри-ка, смотри! Ч-черт побери, да у них и города светятся! Как в мирные дни...

И уже сердце наполняется недоумением и гневом: их сыны топчут нашу землю, убивают мирных людей, разрушают села, деревни, города, а они сами живут припеваючи, прячась от возмездия за толщей расстояния. Но мы достанем вас, достанем! Ах, жаль вот только, что у нас в люках всего десять бомб!..

Под нами треугольник из городов. Светятся рекламные вывески, по ниткам шоссе стремительно движутся искорки фар. Автомобили, автомобили. Весело живут... грабители!

— Ужгород, Мукачево, Чоп! — перечисляет штурман названия городов. — А впереди, видишь, — громадное зарево? Это Будапешт. Сорок пять минут лета!

Сорок пять? Не верится. Так далеко, и такое зарево. Вот это городище!

Я подавлен и восхищен. Когда-то, очень, очень давно, в каком-то сказочно прекрасном сне я, летя на гражданском самолете, видел сверху ночью освещенные города. И вот опять — тот же сон... А может быть, это вовсе и не сон? Может быть, я все еще сижу за штурвалом гражданского самолета и сзади меня, в салоне, в мирном сне похрапывают пассажиры? И я, наверное, тоже вздремнул чуть-чуть, и мне приснились кошмары войны.

Мы летим, не таясь, на высоте двух тысяч метров. Зарево растет, расползается, как при пожаре. Вот уже появляются отдельные огоньки. Кучки огней. Море огней. Они колеблются, переливаются, мигают. Какая прелесть! Бриллиантовая россыпь!

Огни отражаются в Дунае. Мосты, мосты, и по ним вереницы скользящих автомобильных фар. Город рассекается пополам широким и прямым, как стрела, проспектом. Хрустальной люстрой светится королевский дворец.

— Наша цель!— говорит штурман. — Сейчас мы поздравим именинника. Открываю люки!

Я вздрагиваю, приходя в себя. Нет, мы не везем пассажиров. Сон — это другое. Это прошлое, это будущее. Сейчас же — действительность. Мы везем бомбы. Война. Цель: сборище фашистских прихвостней.

Самолет наползает на бриллиантовую россыпь.

— Китнюк! Приготовиться бросать листовки!

— Есть приготовиться, товарищ командир!

Слева внизу что-то вспыхнуло. Слабо, едва заметно в зареве огней.

— Ого — бомбят! — восклицает штурман. — Это «ТБ-седьмой». Вон сколько вывалил бомб!

Над городом встали лучи прожекторов: немного — штук восемь, бледные-бледные. Стоят, растерянно качаясь. Сразу видно, что водит их неопытная рука. Вот один коснулся нашего крыла.

— Заяц, огонь по лучу!

— Ду-ду-ду-ду! — солидно затукал наш крупнокалиберный пулемет. Вниз, вдоль луча, полетели огненные точечки. Луч, словно обжегшись, отскочил в сторону да так и замер.

— Чуть-чуть правей! — командует штурман. — Так, хорошо. Залп!

Машина вздрагивает. Все, можно отходить. Штурман закрывает люки, будничным голосом задает обратный курс. Нам нужно спешить — у нас мало горючего.

Бросаю прощальный взгляд на Будапешт. Город уже кое-где пригасил огни. Разом проваливаются в темноту отдельные районы. В потемневшее небо тут и там летят редкие снаряды. Стреляют плохо, наугад. Падают бомбы — тоже не густо. Мы сосчитали — шесть самолетов. Мало. А что было бы, если б не гроза над Карпатами?

В тот же час радио столицы Венгрии оповестило мир: «Самолеты неизвестной принадлежности бомбят Будапешт». И только утром, прочитав листовки, сконфуженно дало поправку:

«Ночью четвертого сентября советские самолеты бомбили Будапешт...»

Советские?! Не может быть! Откуда?

Какая была погода над целью?

Возвращение было томительно долгим. Болела душа: а хватит ли горючего? Меры по экономии приняты все, и даже больше, чем надо; я обеднил смесь почти до предела. Глушитель левого мотора светится бледно-розовым цветом. То и дело справляюсь у штурмана:

— Как правый глушитель?

— Чуть темнее левого.

— Та-а-ак. Добавим еще немного воздуха!

Евсеев беспокоится:

— А клапана не сожжешь?

— Что поделаешь,— вздыхаю я. — Бог не выдаст, свинья не съест. Иначе не доберемся.

Летим. Вернее — висим в какой-то полупрозрачной облачной мути. Высота — восемь тысяч метров. Моторы гудят, гудят. Мучительно хочется спать. Стынут ноги и руки. Болят раковины ушей. Болит все тело. Я то и дело меняю положение в кресле. Не помогает. Усталость, усталость, усталость. Все это принимается безропотно, как должное. На то и дальний полет! Но вообще-то хорошо бы встряхнуться. Например, чего-нибудь испугаться. Или рассердиться. Но все спокойно. Ночь.

Чуть сереет небо. Рассвет. Я беспокойно ерзаю в кресле: «Где мы находимся? Как бы не встретиться с истребителями».

Евсеев, конечно, спит. Он это умеет делать «незаметно и классически»: уткнется локтями в коленки, подопрет подбородок ладонями и спит. Сзади смотреть — сидит прямо, бодрствует, а на самом-то деле находится в объятиях Морфея.

Дрожащим от зависти голосом хрипло произношу:

— Где мы? Скоро ли линия фронта?

Штурман, словно от удара в челюсть, вскидывает голову:

— А? Что? Линия фронта?..

Начинаю сердиться и сразу же чувствую, как меня покидает усталость.

— Да. Далеко ли линия фронта?

Евсеев для вида заглядывает в иллюминатор и, ткнув пальцем в планшет, изрекает:

— Недалече...

Я подпрыгиваю в кресле. И это ответ штурмана?! «Недалече».

— Что значит — недалече? — кричу я. — А точнее?

Евсеев, ворча себе что-то под нос, снова проделывает ту же процедуру с иллюминатором и планшетом и, стараясь придать своему голосу как можно больше убедительности, докладывает:

— Под нами... Жиздра. Через восемь минут — линия фронта.

Ну врет же! Нахально врет! У меня раздуваются ноздри. Сон как рукой сняло. И усталости нет, и боли в ушах.

«Значит, врать?! — кипячусь я. — Ну, погоди ж ты, я тебя проучу!»

Спрашиваю въедливо:

— Так уж ровно через восемь?

— Ну, не через восемь, так через восемь с половиной или через девять...

— Угу! — только и мог я сказать от возмущения.— Засекаю.

Штурман обиженно шмыгнул носом:

— Засекай...

Восемь минут душевного кипения.

Уже совсем рассвело, и, если мы все еще болтаемся в расположении врага, встречи с истребителями нам не миновать. А замки наших пулеметов смерзлись. Мороз 50 градусов.

Ревниво слежу за стрелкой секундомера, завершаю-

щей последний круг. Стоп! Конец. Включаю переговорное устройство:

— Восемь минут прошло. Можно снижаться?

Евсеев опасливо заглядывает в иллюминатор.

— Н-нет, — неуверенно бормочет он. — Подожди еще чуток... На всякий случай.

«Чуток, на всякий случай. Эх, Евсеев, Евсеев!»

Наклоняюсь, чтобы достать карту, и в то же время пытливо всматриваюсь вниз. Земля просматривается хорошо, только выглядит все уж что-то мелко. Ах да! Ведь у нас высота — восемь тысяч метров.

— Ну что, можно? — спрашиваю опять.

— Еще чуток подожди.

Жду...

Леса, квадраты полей, населенные пункты. Река. Большой, в несколько пролетов железнодорожный мост. Что-то знакомое почудилось. Я еще не успел осознать, как острая догадка пронзила мозг. Не может быть! Вглядываюсь — точно — наш аэродром! А рядом — хорошо охраняемый крупнокалиберной зенитной артиллерией железнодорожный мост...

От неожиданности теряю дар речи. При нашей высоте нас запросто могут принять за фашистского бомбардировщика. Еще минуту, и мы могли бы попасть в неприятное положение. Слева мост и зенитки, справа — запретная зона и опять зенитки. Уж, наверное, мы у них сейчас на прицеле...

Торопливо, рывком убираю обороты моторам, закрываю наглухо систему охлаждения и резко кладу машину в глубокую нисходящую спираль. Самолёт камнем валится вниз.

Евсеев схватился за живот:

— Ой!..

Я знаю — он терпеть не может резкого снижения, но что же поделаешь, я не виноват — сам привел.

Через круто опущенный нос машины с опасением смотрю на землю: если откроют огонь — нам крышка. Сбить самолет на спирали — проще простого.

...А на земле в это время разыгралась следующая сцена.

Начальник штаба полка, выйдя после короткого сна по малой нужде из КП, услышал рокот моторов на большой высоте. «Кто бы это мог быть? — подумал он. — Все самолеты давно вернулись, летчики спят. Наверное, фриц!»

Запрокинул голову, разыскал в сером небе еле видную точку. «Высоко, ч-черт, забрался. Ну, конечно же, фриц! Ю-88, бомбардировщик. Ага, вот и моторы убрал, сейчас будет бомбить...»

Кинулся в КП к телефону, вызвал командира обороны моста:

— Алло! Алло! Что ж вы не стреляете? Фриц над нами!

В трубке короткий смешок и потом мягкий с ленцой украинский говор:

— Та нет же, товарищ подполковник, це наш.

— Какой там наш, открывайте огонь, Ю-88 над нами!

— Та нет же, це Ил-4... Вин уже на посадки иде-е-е...

Подполковник бросил трубку, выскочил из КП и в великом смущении полез пятерней к затылку:

— Срам-то какой! Надо же так опростоволоситься!

Насквозь промороженный и весь белый от неуспевшего растаять инея, наш самолет, свалившись с «верхотуры», уже заканчивал пробег по травянистому аэродрому.

Начальник штаба, на лице которого было видно радостное изумление, встретил нас у входа в КП.

Я доложил о выполнении задания.

— Значит, прошли до Будапешта?! — удивленно переспросил он. — Ну, молодцы, ну, молодцы! Очень, очень рад за вас. Проходите.

На КП непривычно тихо. Нет шума, нет говора, нет шелеста карт. Пустые скамьи, пустые столы. Мы с Евсеевым упали на первую попавшуюся скамью. До чего же хорошо упереться локтями о стол и положить на ладони тяжелую голову!

Начальник штаба, смущенно улыбнувшись, сказал:

— А я тут на вас чуть зенитчиков не натравил. — И, устало моргнув покрасневшими веками, добавил: — Не вернулись три экипажа, в том числе и ваш. Мы вас не ждали, думали... конец.

Мы с Евсеевым одновременно вскинули головы.

— Не вернулись? Это кто же?

— Ветров из нашего полка и Моргачев — из соседнего.

— М-да, — сказал Евсеев, подавая подполковнику заполненный бланк боевого донесения. — С Ветровым это уже второй раз. Тогда он пришел один, без экипажа. Жалко ребят!

Достав из кармана портсигар, закурил, пустив колеч-

ки дыма в робкий солнечный лучик, заглянувший в окно землянки.

Подполковник, держа листок на отлете, пробежал глазами по строчкам. Одно место в донесении чем-то привлекло его внимание. Он запнулся, прочитал еще раз и как-то исподлобья взглянул на нас.

— Так какая же была погода над целью?

Мы переглянулись. Вопрос по крайней мере нетактичный и даже оскорбительный. Получилось так, будто он сомневается, действительно ли мы дошли до цели?

Я почувствовал, что бледнею. Евсеев был невозмутим, только пальцы его, сломав мундштук папиросы, принялись крошить табак.

— Над нашей — ясно, товарищ начальник штаба,— медленно поднимаясь из-за стола, сказал он. — Но разрешите узнать, почему вы так спрашиваете?

Начальник смутился:

— Вы меня не поняли. Садитесь, пожалуйста. Я не хотел вас обидеть и нисколько не сомневаюсь в том, что вы были над целью. Наоборот. Но... впрочем, сейчас вам все станет ясно.

Он подошел к столу, уставленному телефонными аппаратами, взял трубку, нажал на зуммер.

— Алло! Алло! «Лилия»? Суровикина мне. Спит? Разбудите!.. Суровикин? Да, это я. Надо, потому и разбудил. Слушай, ты еще не отправил донесение хозяину? Нет? Хорошо. Поправка есть. А вот какая: у нас только что возвратился с задания один экипаж... Да, да, с основной. Прошли... Конечно, молодцы, но я тебе не об этом. У вас тоже один прошел, но погоду-то над целью и боевую обстановку он дает другую! Ваш докладывает, что цель была сильно защищена и что там была гроза, а наш — наоборот. Ясно? Кто из них брешет? — Начальник штаба повернулся к нам и подмигнул. — Ваш! Уверен... Ты не шуми, не шуми! Какие основания? А вот какие: ваш давно уже спит, а наш только что вернулся. Ясно? Прикинь по линейке — путевая скорость, расстояние, продолжительность полета. Проверить? Нетрудно. Спроси у соседей, они там были... Ну, давай, действуй. Результаты сообщи. Жду.

Подполковник положил трубку.

— Вот какие дела, друзья. Ну, что же — можете быть свободными. Берите машину и езжайте отдыхать.

Наконец-то я обрел дар речи.

— Отдыхать?— сказал я. — Нет уж, товарищ на-

чальник. Если разрешите, мы подождем результата. Интересно все-таки...

И мы остались. Ждать пришлось недолго. Солидно загудел телефон. Начальник штаба схватил трубку:

— Слушаю! Да, у телефона.. Так... Так... Все ясно. Я же говорил! Пожалуйста... Не стоит благодарности... Конечно, хозяину была бы неприятность, а тебе вдвойне. Будь здоров!

Начальник штаба потер пальцами глаза, потянулся и откровенно зевнул:

— Ну, братцы, а теперь отдыхать. Даже я и то устал. Езжайте...

Паника или тревога?

Мы опять лежим под крылом самолета все на том же полевом аэродроме, и трава по-прежнему высокая и густая, но теперь она звенит сухим осенним звоном. На лугу все те же кони с мочальными хвостами, все те же копны сена. Ни дать ни взять колхозное поле с сенокосными угодьями.

Все правильно, по уставу, но деревенских коней я убрал бы. Именно они своей неподвижностью и могут привлечь внимание фашистских летчиков-разведчиков. А немцы нас ищут. Они обескуражены. Такая дерзость — бомбить Берлин как раз в то время, когда министр пропаганды Геббельс раззвонил по всему свету, что у русских почти нет самолетов, бомб не хватает, летчиков мало, бензина нет! Русские задыхаются, русским конец. Арийцы, держитесь! Еще немного. Еще совсем-совсем немного! Уже победа близка. Хайль!

А самолеты летят, летят, как из прорвы. Сыплются бомбы, рвутся в глубоком немецком тылу — в Восточной Пруссии, в Центральной Германии! И советский радиодиктор Юрий Левитан, которого Гитлер посулил повесить, как только немецкий сапог ступит в Москву, торжественно вещает всему миру: «Большая группа наших самолетов бомбардировала военно-промышленные объекты Берлина, Кенигсберга, Данцига, Штеттина...»

Мы, летчики, все экипажи, все, кто в данный момент находились в части, собирались возле репродуктора и слушали в строгом молчании. Да, это о нас, о нашей работе, о наших делах. Мы понимали: сейчас это сообщение Совинформбюро слушает вся страна. Слушают женщины-работницы, недавние домохозяйки, заменившие у стан-

ков мужей, готовящие оружие и боеприпасы для фронта. Колхозницы, одни в обезлюдевших деревнях, кормящие армию и город, сами впрягающиеся в плуги, чтобы пахать землю, потому что лошадей почти не стало. Они слушали эту сводку, и на душе у них становилось легче: значит, не только фашисты бомбят наших, но и наши им тоже дают... И пехотинцам, артиллеристам, саперам — всем родам войск, испытавшим на себе удары «юнкерсов» и «мессершмиттов», им тоже становилось веселее, и крепла вера в нашу конечную победу. Да и у самих летчиков АДД — Авиации Дальнего Действия — распрямлялись плечи: нет, ничто не проходит бесследно, и наши жертвы тоже. Пусть не спят по ночам и трясутся от страха немецкие бюргеры. Пусть их гансы и фрицы на передовой получают из дома тревожные вести. Пусть! Мы будем еще сильнее бомбить их заводы, мосты, железнодорожные эшелоны, сеять панику в их тылу. Мы знали: бомбовые налеты нашей авиации на глубокие тылы противника производили на врагов подавляющее впечатление. Авиации у русских нет, а бомбы сыплются — и с бомбами листовки.

«И откуда они летают? — гадали фашисты. — Из-под Москвы — далеко, не хватит горючего. Может быть, из какой-нибудь нейтральной страны?»

И тут их осенила «догадка»: русские делают «челночные» рейды! Взлетают от линии фронта, летят на Берлин, бомбят, садятся в Англии. Там заправляются, подвешивают бомбы и возвращаются домой. По пути бомбят Берлин. Так, и только так!

Сегодня у нас третий налет на фашистское логово. Позади опыт: Кенигсберг, Данциг, Берлин, Будапешт. Мысленно ворошу в памяти предыдущие рейды. Может быть, что сделано не так? Нет, все как будто правильно. Найденный нами способ экономии горючего оправдал себя с лихвой. Мы возвращаемся на свой аэродром с таким остатком горючего в баках, что его хватило бы еще на два с лишним часа.

Солнце склонялось к западу. В синем небе там и сям висели облачка. Крутобокие, тугие, ослепительно белые. Мне не нравились эти лицемерно-мирные облака, ползущие с запада. Значит, там, над Балтикой, собирается гроза. Ничего хорошего.

Я взглянул на часы. До вылета оставалось пятьдесят минут.

Зашуршала трава под чьими-то ногами, затрещали

кусты, и перед нами появился Китнюк. Круглое розовое лицо его светилось детской радостью.

— Товарищ командир, смотрите! — и он протянул мне горсть красных ягод.

— Малина?! Где набрал?

— А тут, недалеко. Там ее полно.

Мы разом поднялись:

— Показывай, Китнюк, где этот рай.

По кустам уже ходили ребята из других экипажей. Нагибались, присаживались, обрывали ягоды, клали в рот и замирали в блаженстве.

Мы продрались сквозь терновник на просторную полянку, сплошь заросшую малиной, и остановились. Лес, шуршание травы и кустов, запах прелых листьев, шляпки грибов из-под них, ведь это же олицетворение жизни и мира, а мы...

Подавляя в себе невесть откуда взявшееся чувство беспокойства, я наклонился и приподнял приникшие к земле кусты малины. Рубиновые капли не тронули меня, как бывало в детстве. Неужели я так огрубел? Равнодушно обобрал ягоды и ссыпал их в рот. Ну, душистая, сладкая, и что из этого?

Малины было много. Я собирал ее и ел горстями, все время бессознательно прислушиваясь к чему-то.

— Ишь, г-гад, летает, — проворчал Китнюк, набивая рот очередной порцией ягод.

И только тут мне стало понятно мое беспокойство, моя тревога: где-то над лесом гудел самолет, не наш, фашистский. Прислушался. «Рама»! Да вот он и сам. Кружится, ищет. Значит, нащупал. Если найдет — беда! Вызовет по радио пикировщиков, и наломают они нам дров! Самолетов полно. Стоят тесно — крылом к крылу. У каждого бензин под завязку, бомбы. Стоит только задеть любой, и пойдут рваться один за другим..

— Ты что насторожился? — спросил Евсеев. — На «раму», что ли? Ерунда! Они давно тут летают. И прошлые разы ходили, помнишь?

— Да-а? Ты думаешь? А помнишь, как они ходили прошлые разы? Спокойно, ровно. А сейчас... Видишь, видишь! — разворачивается. Рыскает, как собака по следу.

— Лупануть бы его, г-гада, — сказал Китнюк. — Низко ходит, враз можно сбить.

— Стрелять нельзя,— возразил Заяц, — можно демаскировать аэродром.

«Фокке-вульф» развернулся и, словно собака, почуявшая след, принялся рыскать по курсу.

— Похоже, что нашел, — почему-то шепотом произнес Евсеев.

— Все может быть, все может быть... — бормотал я, не отрывая взгляда от самолета. — Ага, спикировал! Взял курс на запад. Теперь уж точно обнаружил. Ну, братцы, бежим к самолету, сейчас наверняка будет тревога.

Мы ринулись сквозь терновник. Затрещали кусты, полетели клочья шерсти от унтов.

— Скорей! Скорей!!

Бежавший впереди меня Евсеев налетел на кого-то, споткнулся и, смешно взбрыкнув унтами, с ходу сунулся головой в малинник.

— Кто тут, кто тут? Фу ты, ч-черт, напугал!

Передо мной выросла высокая фигура летчика из третьей эскадрильи по фамилии Каланча:

— Что вы, ошалели? Куда вас черт несет?

У меня запалилось горло от бега. Не останавливаясь, я прохрипел:

— Запускать моторы. Нас обнаружил разведчик.

— А что, команда была?— прокричал мне вслед Каланча.

Я только махнул рукой. Неужели непонятно: «Нас обнаружил разведчик!»

Мы подбежали к самолету. Сидевшие группами летчики недоуменно посмотрели на нас — исцарапанных, запыхавшихся. А я-то думал, что здесь уже дана команда! Впрочем, дать-то ее в этих условиях трудно: телефона нет, самолеты, расползлись по опушкам на несколько километров. Пока от КП добежит связной...

— Вы что, будто за вами медведь гнался? — усмехнувшись, спросил у меня горбоносый летчик с лихим казацким чубом.

— Медведь не медведь, — несколько обескураженно пробормотал я, — но... нас обнаружил разведчик.

Чубатый насмешливо хмыкнул:

— Ну и что? Значит, панику разводить?

Я смутился вконец. Паника? А вдруг я ошибся и «фокке-вульф» вовсе не обнаружил нас? В таком случае мои действия можно расценить именно как панику. А за панику, за ложную тревогу, да еще перед таким полетом, когда мы над целью лично докладываем Верховному

Главнокомандующему, при такой ситуации можно запросто угодить в штрафбат.

Я окинул взглядом бесконечную цепочку Илов.

А если я не ошибся? Если, скажем, на КП не обратили внимания на маневры «фокке-вульфа»? Так что же, ждать, пока прилетят пикировщики и начнут делать из нас винегрет?

— Как хотите, — сказал я. — Вас никто не принуждает, а приготовить моторы к вылету мне никто не запретит.— И подчеркнуто командным тоном отдал распоряжение: — Экипажу занять места! Приготовить моторы к запуску!

Мгновенно сняты чехлы, откинуты ветки. Я надел парашют и забрался в кабину.

В экипаже слева от нас забеспокоились. К нам подбежал моторист:

— А что, разве команда была?

— Нет, — ответил техник. — Хотим прогреть моторы. И вам рекомендуем.

— А зачем? — выпытывал дотошный моторист.

Техник что-то ответил, ткнув пальцем в небо, а затем покрутил им возле своего лба: «Соображать надо!» Моторист мотнул головой:

— Понял.

Прокрутили винты, засосали в цилиндры смесь. Я облизнул пересохшие губы. «А, была не была!»

— От винто-ов!

Громко стрельнув, запустился мотор: правый, левый. Тщательно прогоняв их на всех режимах, я выключил зажигание. Я готов. Теперь при необходимости мы можем взлететь сразу, без прогрева двигателей.

Самолет наш стоит носом на юг. За пологой выпуклостью поля, с которого уже убрали и деревянных коней и фальшивые копны, мне видна далекая опушка леса. Там КП и место старта. Если встать на крыло, то откроется широкий горизонт. Направо пустынная желтизна лугов, болотистых и топких, прямо — лесные чащобы. Лишь оттуда, и только оттуда следует ждать врага. И, разумеется, они пойдут, крадучись, на бреющем полете.

Приказав экипажу сидеть на местах, я вылез на крыло. Слева с шумом запустился мотор. Ага, все-таки здравый смысл победил! Справа, у другого самолета, техники прокручивали винты, и командир экипажа, горбоносый скептик с казацким чубом, стараясь не смотреть в мою

сторону, копошился в кабине. Пуская дымки, зашумели моторы.

Я взглянул на часы. До вылета осталось тридцать минут. Отводя глаза от циферблата, я боковым зрением заметил далеко на горизонте, над самой кромкой леса какое-то неясное движение. Вскинул голову. Нет, показалось, наверное. Птица пролетела или марево. Отвернулся, скосил глаза. Вот опять! Вгляделся внимательно — они! Летят самолеты. Бреющим. Много, штук тридцать.

И в это время коварная мысль: «А может, это наши истребители или штурмовики? Ой, смотри, паря, не ошибись! По лезвию ходишь. Отсюда до штрафбата рукой подать...»

Но голос другой, твердый и уверенный: «Ошибки быть не может, это враг!»

Указывая пальцем, я завопил во всю мочь:

— Идуу-ут!!! — И плюхнулся в кабину. — От винто-ов!

Моторы запустились сразу.

— Убрать колодки!

Порулили. Скорей, скорей к старту!

Поле большое, неровное. Громко стучат стойки шасси. Мне жалко машину, но что поделаешь! Сзади уже выруливают другие. Тревога поднята, назад возврата нет.

Вот и старт. Из-за кустов с флажками в руках выбегает дежурный по полетам. Высокий, стройный. Вглядываюсь — наш командир Щербаков. Лицо его — сплошное недоумение. Подчеркнутым движением он задирает рукав гимнастерки и тычет пальцем в часы, затем красноречивым жестом крутит этим же пальцем у своего виска.

Было понятно без слов: «До взлета осталось двадцать пять минут, куда тебя черти несут сумасшедшего?»

Я приподнялся на сиденьи. Пикировщики уже были хорошо видны. Злые осиные силуэты с раскоряченными шасси. Сомнений нет — Ю-87.

Несмотря на трагичность положения, губы мои расползаются в дурацкой улыбке. Протягиваю руку:

— Посмотрите назад!..

Командир оборачивается, роняет флажки, хватается руками за голову. В следующее мгновение я вижу его побледневшее лицо. Быстро нагибается, подбирает флажки, торопливо машет:

— Давай! Давай! Давай!..

Взревели моторы. Машина, переваливаясь на неровностях, как-то лениво и вяло пошла на взлет. Моторы ревут на предельной мощности, а самолет никак не может набрать нужной скорости, бежит тяжело, нехотя, подпрыгивает, падает. Жутко стучат шасси. Каждый удар отдается в сердце: вот-вот подломятся стойки... Ощущаю всем телом, как гаснет от прыжков с таким трудом набираемая скорость. И снова бежит самолет. Бежит, бежит... Только бы оторваться! Только бы оторваться!..

И тут мы влетаем в яму! Жесткий удар! Самолет по инерции выскакивает, но скорость разбега потеряна... Мой мозг в долю секунды (в долю!) оценивает положение и делает вывод: взлет продолжать нельзя — впереди неизвестно что. И прерывать нельзя — сзади взлетают самолеты. Если я остановлюсь — будет «куча-мала». Значит, только взлетать!..

Самолет бежит, бежит, прыгает. Только бы оторваться! Только бы оторваться!..

Но мы налетаем на трамплин. Самолет подпрыгивает, валится вниз. Скорость еще мала, крылья не держат его в воздухе. Я замираю в страшном напряжении: если сейчас колеса ударятся о землю, то это будет конец...

Я делаю все, чтобы не дать машине опуститься, но она медленно сыплется вниз. Моторы воют, молотя по воздуху винтами — напрасно: мы падаем... Падение прекратилось возле самой земли. Самолет повис, словно в раздумье, и стал понемногу набирать скорость.

Я дернул на себя рычаг уборки шасси. Проклятый трамплин, был бы чуть-чуть позднее!

Через минуту, придя в себя, я услышал в наушниках бодрый голос радиста:

— Ох! Ох! Товарищ командир, посмотрите, что сзади творится!

А я весь выдохся. Нет сил пошевельнуться. Да и нельзя сейчас — земля вот она — рядом, зацепишь крылом... Наконец скорость набрана, и мы пошли на набор высоты. Теперь можно и посмотреть. Скренил машину и, повернувшись в кресле, заглянул назад. Пачками взлетали самолеты: по три, по четыре, а между ними вскидывались вверх черные султаны земли. В воздухе роем носились пикировщики. Поздно, г-гады, поздно! Мы уже рассредоточились.

Над Берлином

Взлететь раньше времени на двадцать пять минут — это значит очутиться засветло над территорией, занятой врагом! Хорошего мало! Но нас спасают грозовые облака. Мы идем по коридорам между грозными клубящимися стенами. Коридоры узкие, настоящие лабиринты! Иногда, огибая тучу, мы меняем курс на 90 градусов. Это мне не нравится: лишний расход бензина, а перед нами большой и тяжелый путь.

Идем на высоте пять тысяч метров. Внизу уже темно, а верхушки облаков, громоздящихся над нами, еще алеют под прощальными лучами солнца. Впереди встает темно-синяя стена тучи. Неприятно сжимается сердце: неужели мы попали в тупик, в ловушку?

Подлетаем ближе — кажется, нет. Кажется, ход разветвляется. Куда повернуть? Налево, где уже ночь, или направо, где еще день?

Конечно, направо! Готовлюсь. Крепче сжимаю штурвал. Коридор узкий, надо не зевать, не то как раз влезешь в тучу. Она уже рядом, дышит влагой и холодом и мчится на меня. Пора! Отжимаю штурвал, ввожу машину в крутой разворот, огибаю крутобокую тучу и вдруг вижу: прямо на нас мчится пересекающим курсом немецкий самолет.

Сильно, пожалуй, слишком сильно, швыряю машину в крутое пике. Меня отрывает от сиденья, я повисаю на ремнях, и мимо, над нами — вжжик! — мелькает страшная тень. Краем глаза вижу, как штурман, нелепо раскинув руки и ноги, парит в невесомости под потолком своей кабины. Глаза выпучены, широко раскрытый рот хватает воздух.

Тяну штурвал на себя. В тот же миг от внезапно возросшей тяжести плюхаюсь на место. Штурман летит кувырком вдоль кабины, ударяется о пулемет и, возвращаясь обратно, застревает головой между креслом и кислородным прибором.

Все произошло в считанные секунды. Страх еще не успел прийти, а смертельная опасность уже миновала. Страх пришел, а его место уже заняла радость.

Впрочем, штурман моей радости не разделял. Он сидел по-турецки на полу кабины и потирал ладонью покрасневший лоб. Немецкий бомбардировщик так же внезапно исчез, как и появился. Мне кажется, он даже не заметил нас. И это было к лучшему. Иначе он наверняка

бы сделал точно такое же движение штурвалом, и мы сошлись бы с ним в крутом пике...

«Ничто не появляется из ничего, ничто не исчезает бесследно». Для нас эта встреча также не прошла бесследно.

Штурман включил переговорное устройство и хмуро сказал:

— На голове — синяки и шишки, дома — пироги и пышки. Поворачивай, командир, домой...

— Что-что?! — не понял я. — Почему домой?

— Да вот... кислородная трубка оборвана...

— Как — оборвана?— возмутился я. — Ты что, не проверил перед вылетом?

— Проверил. Вот видишь, отпечаток. — И показал шишку на лбу.

Я онемел от этой вести. Час от часу не легче. Кислородная трубка... Маленькая такая, тонкая, загнутая спиралью. Она идет от баллона к кислородному прибору. И из-за нее, из-за этой паршивой трубки, возвращаться домой? Да еще после всех передряг?! И с такого важного задания? Нет, это немыслимо, невозможно, недопустимо!

Однако и лететь нельзя. Без кислорода — как? Евсеев надевает маску с четырех километров. А мы бомбим с семи.

М-да... Впрочем, разве обязательно с семи? Можно и ниже. Ну, с пяти, например. Нет, с пяти нельзя. Над городом висят аэростаты воздушного заграждения. Как раз на этой высоте. Что же делать?

Перебираю в уме все возможные варианты. У штурмана свой баллон, у меня свой. В крайнем случае можно дышать, приставив шланг маски прямо к оборванной трубке. Правда, в баллоне высокое давление, но можно открыть чуть-чуть...

Нет, не пойдет. Будет очень большой расход кислорода, а его нужно беречь на обратный путь. Ведь нам нужен попутный ветер.

«На обратный путь... На обратный путь...»

Ну, конечно же, на обратный путь! До цели мы дойдем на высоте трех тысяч метров. Затем наберем до пяти с половиной и отбомбимся. Когда возьмем обратный курс, штурман откроет баллон. Только тогда, и не раньше!

Сообщаю штурману свои соображения. Он возражает:

— Не выдержу.

— Выдержишь. Ничего с тобой не случится. Ишь, разбаловался — на четыре тысячи маску надевать!

— По инструкции же.

— Ладно, помалкивай. Я надеваю на пяти и то не всегда.

— То ты... Натренировался в Средней Азии-то.., — И тут же соглашается: — Ладно, пошли, это я так.

Мы уже давно вышли из окружения облаков. Над нами звезды. Другие миры. И если там живут разумные существа, они, конечно, не знают, что такое война. Забыли, пройдя этот мучительный путь эволюции. Мне хочется верить в это. Очень! А мы вот тут несем вахту мира... через войну.

Время от времени спрашиваю у Китнюка, что он делает, как поживает. Не вздремнул ли случайно. Для стрелка вздремнуть — плевое дело. Велик соблазн. Весь полет он лежит в хвосте на броневой плите возле пулемета. И, конечно, веки смежаются сами. А смотреть надо в оба. Фашистские ночные перехватчики уже оснащены радиолокаторами. Подкрадется, даже если ты будешь идти в облаках, — расстреляет в упор из пушек.

Евсеев величает Китнюка начальником пассивной обороны и министром пропаганды одновременно. В его обязанности входит время от времени брать приготовленные заранее, связанные в пачки тридцатисантиметровые полоски фольги и, разрезав тесемки, бросать за борт. Тонкая фольга, разлетаясь облаком, создает большой металлический экран. Пусть гоняется перехватчик-фашист за призрачными самолетами!

А над целью Китнюк бросает листовки. Чтобы знали фашистские бюргеры: расплата придет! А сейчас:

— Эй, не дремать на посту, не дремать!

Моторы гудят свою старую песню: «Ровно-ровно-ровно-ровно...» Мерцают фосфорическим светом приборы. Чуть подрагивают стрелки. Они тоже на посту: следят, докладывают. Это мои друзья. Их несколько десятков: большие, маленькие, неподвижные и нервные. Всякие. И все они нужны. Через них я узнаю, что творится в недрах моторов. И если стрелки, дрогнув, сообщат мне тревожные данные, я не буду выдавливать каблуком сапога циферблаты приборов. При чем здесь прибор?

Я ненавижу лишь газоанализатор. На него нельзя положиться. Он всегда говорит неправду, приукрашивает действительность. Мотор задыхается от бедной смеси, а газоанализатор докладывает, что все хорошо, всего достаточно. Мотор захлебывается от избытка горючего, а при-

бор говорит: «Все идет отлично! Так и надо, в самый раз...»

Сейчас газоанализаторы молчат. Вчера, перед вылетом, я приказал технику выключить их. Обхожусь. Смотрю на глушитель и подбираю нужный цвет. Так оно лучше. Надежней. Не люблю дезинформаторов.

Штурман в своей кабине пытается закурить. Я это слышу по запаху серы.

— Черт побери совсем! — раздраженно ворчит Евсеев. — Спички какие пошли — воняют, а не горят.

— Голова! — отвечаю ему. — Спички — народ несознательный. Они не загораются от величия цели. Ты меня понял?

— Н-нет, — признается Евсеев. — Не пойму, что им надо?

— Кислороду.

— Тфу ты, ч-черт! — ругается Евсеев. — Действительно, голова! — И, придвинувшись к баллону, закуривает, чуть-чуть приоткрыв вентиль.

Потом он затихает. Копошится с картой, ложится на пол, прижимается лбом к плексигласу своего фонаря и долго смотрит на землю.

Я уже знаю, сейчас он скажет трагическим голосом: «Пересекаем границу Восточной Пруссии!»

Его волнение передается мне. Я тоже, как и он, ощущаю, будто летим мы сейчас не над землей, а над бездонной пропастью. Вспоминаются не то виденные в фильме кадры, не то что-то прочитанное: показалось какой-то фрау в Берлине в 1914 году, что пересекающий площадь пожилой господин как-то подозрительно оглянулся.

— Русский шпион! — взвизгнула фрау.

И тотчас же сбежались почтенные дамы с зонтиками... А когда подоспел полицейский, то опознал в бесформенной груде мяса и тряпья уважаемого господина Винделя — часовщика из магазина фрау Мюллер...

Нет, здесь уже не спустишься на парашюте, если откажут моторы или собьют истребители. Здесь советских партизан не найдешь.

Далеко справа видно, как наши бомбят Кенигсберг. Это запасная цель для тех, кто по разным причинам не может дойти до Берлина. У кого неладно с мотором, у кого не хватает горючего, а у кого и выдержки — всякие бывают причины. Летчик больше, чем кто-либо другой, зависит от случайности. Летит, летит уже пять часов, а вон еще только Кенигсберг появляется. Из-за встречного вет-

ра машина еле ползет. Двести тридцать километров в час — путевая скорость. Пять часов да еще до Берлина три — итого восемь. Да обратно лететь столько же. А ветер? Ветер может стихнуть или перемениться, кто его знает. Разве можно надеяться? Нет, вернее на Кенигсберг. Сворачивают, идут на Кенигсберг.

Летим дальше. Молчим, не разговариваем, думаем каждый о своем. Перебираем в памяти прошлое. О будущем мы не мечтаем. Не положено. Рано. Война еще не кончилась.

Томительно, очень томительно ползут минуты последнего часа. Наконец штурман завозился в своей кабине. Сейчас он включит переговорное устройство, прокашляется и скажет: «До цели осталось тридцать минут. Приготовиться к пряникам!» Пряники — это разрывы зенитных снарядов.

Потом, когда даже в темноте уже будет видна распластанная громада города, Евсеев начнет пыхтеть, стонать и, наконец, признается, что у него... «нет спасу», как болит живот. Так бывало с ним уже два раза при полетах на Берлин.

Наш полковой доктор говорит, что это психологический эффект и что ему подвержены многие. Тогда я приказал технику класть штурману перед полетом оцинкованную коробку из-под патронов. С крышкой.

Щелкнуло в наушниках. Евсеев прокашлялся и сказал:

— До цели осталось тридцать минут. Приготовиться к пряникам!

— Ладно, слышал, старо. Ты вот лучше о себе скажи.

— Н-не знаю... Пока не болит.

Я поставил машину в набор высоты. Вглядываюсь вперед. Сегодня над целью необычная тишина. Ни прожекторов, ни разрывов снарядов. Оно и понятно: самолеты еще не пришли, и мы будем первыми. И наш доклад Верховному Главнокомандующему будет первым. Радист нажмет на ключ, подаст в эфир позывные нашего экипажа и: «Москва, Кремль... Задание выполнено!»

Уже ощущается близость большого города. Если приглядеться, можно различить переплетения шоссейных и железных дорог, каменные глыбы городишек. Дороги все гуще, гуще, и городишки все чаще и чаще. И вот он — Берлин! От непривычной тишины становится как-то не по себе. Почему не стреляют?

— О-ох! — стонет штурман и торопливо снимает парашют.

— Черт возьми! — взрываюсь я. — Ты что — спятил? Цель почти под нами...

— Ох, ох, не могу — нет никакого терпения...

Ну, что ты с ним поделаешь! Открываю обе форточки в своем фонаре и, ловя лицом холодные струи забортного воздуха, замираю:

— Ладно уж... Скоро ты там?

Мы над окраиной города. Не стреляют. Тихо, темно.

— Бросаю! — кричит штурман.

Я вздрагиваю от неожиданности.

— Что бросаешь?! Люки-то не открыты!

— Сюрприз!.. Обвязал проволокой.

— Тьфу ты, черт тебя подери!..

В наушниках смех стрелка и радиста.

— Товарищ командир, готовлю листовки!

— Правильно, Китнюк, молодец!

Потянуло сквозняком. Штурман открыл бомболюки.

Под нами мелькает округлая тень. Что это? Ах, да, я и забыл: аэростаты воздушного заграждения!

Город, как паук в паучьей сети. Притаился, замер. Мы почти над самым центром. Не стреляют. Наверняка сейчас в воздухе полно истребителей и нас приняли за своих. Штурман нажимает на кнопку:

— Залп!

В тот же миг мне в лицо брызжет ослепительным светом. Я прячусь за борт, тщетно — мы в лучах прожекторов. Слепит глаза. Я едва различаю приборы. Рядом лопается снаряд. Другой, третий! И вот уже вокруг нас беснуется огонь...

Они не пройдут! Мы пройдем!

Вдавив голову в плечи, я делаю левый разворот. Он длится вечность, а я сижу, скованный тупым, тяжелым страхом, порожденным беспомощностью. Что я могу поделать, если скорость самолета не превышает 250 километров в час и если нам нельзя уйти от прожекторов и зенитного огня обычным пикированием: ведь под нами аэростаты! Мы висим в грохочущем пространстве, оглушенные и ослепленные, и ждем, куда кривая вывезет... Что-то сзади мягко толкает меня в затылок. И все кончается. Разом. Будто я, хлопнув дверью, вышел из шумного зала, наполненного грохотом машин. Вышел — и рас-

творился. Меня нет. Я — это нечто необъяснимое, большое и в то же время — безгранично малое. Я — восторг, любовь и счастье. Я невесом. Я — розовый свет, розовый звон. Отлично вижу, что этот звон — розовый, чуть фиолетовый по краям. Смотрю на эти перемежающиеся фиолетовые края, что-то силюсь понять — и не могу.

Восторженность исчезла. Вместо нее я ощущаю какое-то смутное беспокойство, смешанное с болью. Боль безграничная, объемная, пространственная. Она во мне и вне меня. Вязкая, нестерпимая. И звук тоже нестерпимый, нарастающий, тревожный. Все громче, громче.

Боль, звук, свет, острое беспокойство, сойдясь в кошмарном сплетении, сдавили меня, словно тисками. Яркая вспышка в тысячу солнц и... темнота. И боль. И вой. Будто кто-то снова открыл дверь в шумный зал, где, выматывая душу, надсадно воют машины.

Некоторое время, превозмогая боль, тупо смотрю на какой-то предмет, расплывчатый и неясный, пока до меня не доходит, что воют наши моторы, а я, уткнувшись лбом в приборную доску, разглядываю колонку штурвала.

Бессознательно, заученным движением пальцев уменьшаю обороты моторам. Вой прекратился, осталась боль. Теперь ее границы определяются уже точно — разламывается голова. Я сделал судорожный глоток, в ушах хлопнуло, и боль исчезла.

Некоторое время, может быть, долю секунды, нахожусь в безмятежном блаженстве — тихо, боли нет, какое наслаждение! И в этот миг моего сознания коснулся смертельный холодок. Это еще не был страх, он еще не пришел. Мой мозг был занят анализом событий: где я, что со мной?

Обеими руками, почти не прилагая усилий, я легко оттолкнулся от приборной доски и повис на ремнях в невесомости. И тут я понял: мы падаем!

И страх ворвался. Он пронзил меня с головы до пят: «Давно мы падаем?! Какая высота?!»

Молниеносный ищущий взгляд на приборную доску: где указатель высоты, скорости?..

Десятки приборов. Мерцающее месиво из стрелок и цифр. Разберись тут!..

«Время!! Уходит время!... Черт с ней, со скоростью и высотой! Надо скорее выводить самолет из пикирования! Рвануть штурвал на себя...»

Мысли, противоречивые, несвязные, стараясь опередить в невероятном беге время, наскакивали друг на дру-

га, как бильярдные шары, и разлетались в стороны: «Скорей! Скорей!»

«Нет! Торопиться, рвать штурвалом нельзя! Тяжелая машина дала разгон. Мы в отвесном пикировании... Громадная скорость. Самолет при резком выводе разрушится от перегрузки».

«Земля! Где земля?! Далеко ли? Близко ли? Скорей, скорей, уходит время!»

«Нельзя скорее, надо медленней... Развалится машина...»

О, голос разума! Как ненавидел я его в эти мгновения! Нельзя скорее — самолет развалится; нельзя медленней — можно врезаться в землю...

«Пропади ты пропадом! К черту разум! Может быть, все обойдется и самолет не развалится? Я хочу жить! Жить!.. Жить!..»

«Ты хочешь жить в плену? — это голос разума. Холодный, жесткий голос. — Ты хочешь, чтобы враг торжествовал?»

«Пле-е-ен?! — Я внутренне содрогнулся от ужаса. — Нет, лучше смерть!»

«Так говорят только трусы. Мужественные борются!»

«Трус?! Ладно. Конечно, я боюсь плена, я не хочу, чтобы враг торжествовал, и поэтому буду бороться!»

Обеими руками вцепился в штурвал и потянул на себя: руль подался легко, словно плоскости его находились в безвоздушном пространстве.

«Все! Конец... Перебиты тросы... Надо прыгать...»

«Прыгать?! Куда, в плен?..»

Опять этот разум! Вспоминаю: заложил ли я девятый патрон «для себя» в ствол пистолета? Да, заложил.

«Тогда зачем же прыгать?..»

Разум смеется надо мной. Он ловит меня на наивной хитрости, он уличает меня в нерешительности.

В бессильной ярости толкаю штурвал от себя и вдруг чувствую, что он живой! Дрожит чуть-чуть под слабыми ударами воздушных струй. Значит, целы тросы! Значит, аэродинамическая тень...

Рву штурвалом на себя. Опять от себя.

Страх отодвинулся: я занят. Весь интерес моей жизни сейчас заключен только в том, чтобы зацепить рулем высоты побольше воздуха. Ага, наконец-то! Я торжествую. Самолет задрожал, застонал, рули налились упругостью.

Теперь надо тянуть штурвал на себя. Медленно-мед-

ленно. В груди холодок. Это страх. Он твердит свое: «Скорей! Скорей! Близко земля!»

«Медленней, медленней! — возражает разум. — Развалится самолет. Плен...»

Плен — это страшнее смерти. Весь холодея в ожидании удара о землю, миллиметровым движением тяну на себя упруго дрожащий штурвал. На плечи наваливается тяжесть. Все больше и больше. Штурвал вот-вот вырвется из рук. Держу. Продолжаю тянуть. В глазах — красная пелена. Голова, словно налитая свинцом, склоняется на грудь... Секунда, другая, третья... Я задыхаюсь. Вот-вот удар...

И вдруг разом — облегчение, невесомость. Вышли!

Широким движением отдаю от себя штурвал и передвигаю вперед секторы управления газом. Всхлипнув, заурчали моторы. Бросаю взгляд на прибор. Триста метров!

Я весь обмяк. В душе сумятица: радостное недоумение, горделивое чувство победы (что — взяли?!) — все вперемешку. С минуту сижу бездеятельно. Прихожу в себя. С приборной доски мне тускло подмигивают зелеными кошачьими глазами мои друзья-приборы. Мигают звезды над головой. Ветром щекочет ресницы. С трудом доходит до сознания: нет фонаря кабины. Очевидно, снесло взрывной волной. Снимаю с лица кислородную маску, оглядываюсь. Прожектора, зенитки, вспышки рвущихся бомб и частокол стальных тросов аэростатов, между которыми мы падали, все это уже далеко. И все это пройденный этап. Впереди большой, трудный путь, и кто знает, удастся ли его благополучно завершить. А пока нужно действовать.

И еще: надо узнать, что с экипажем.

Ставлю курс. Включаю ларингофоны. Тишина. Даже треска не слышно. Та-а-ак. Значит, вышло из строя переговорное устройство. Нажимаю на сигнальную кнопку пневмопочты. Та же история. Красная лампочка не загорается: нет тока, очевидно, разбит генератор.

Достаю из кармана листок бумаги и карандаш. Под блеклым светом приборов пишу крупными буквами: «Как дела», ставлю большой вопросительный знак. Вынимаю из зажимов патрон пневмопочты, закладываю в него записку и нажимом рычага отправляю патрон в хвостовой отсек, к радисту и стрелку. Затем резким движением педалей ножного управления трижды качаю самолет, влево — вправо.

Моих ног касается рука. Это Евсеев дотянулся из своей кабины, тормошит, дергает за унты и, сжав кулак, выставляет вверх большой палец. Та-ак, ясно: штурман жив и здоров, чувствует себя «на большой».

С минуту выжидаю и, ощутив слабые толчки в педалях (это из задней кабины дергают за тягу управления), лезу пальцем в приемник пневмопочты. В патроне записка: «Полный порядок!»

Облегченно вздыхаю. Чувствую себя чертовски счастливым. Задание выполнено, экипаж цел, моторы крутятся, чего еще надо? Шепчу, как молитву, заученный мною лозунг испанских антифашистов: «Но пасаран! Но пасаран!» — «Они не пройдут! Они не пройдут!» «Пасаремос!» — «Мы пройдем!»

А почему бы нет? Советские люди умеют совершать невозможное. Разве ждали нас фашисты над Берлином? Нет, не ждали. А мы пришли!

Еще в начале войны, когда самолеты Балтийского флота совершали налет на фашистское логово, командир полка бомбардировщиков Герой Советского Союза Е. Н. Преображенский рассказывал, как, выполнив задание, летчики возвращались домой буквально с несколькими килограммами горючего в баках. Это тогда, когда они взлетали с острова Эзель. А сейчас мы на этих же машинах летаем из-под самой Москвы, и путь наш удлинился вдвое!

Нет. Они не пройдут. Они не пройдут! Мы пройдем!

Набираем высоту. Самолет легкий, идет вверх хорошо. В воздухе спокойно. Мерцают звезды. Впереди по курсу ярко блестит Сатурн. Чтобы не таращиться на компас, держусь Сатурна.

На высоте шести тысяч метров надеваю маску. Морщась от боли в раковинах ушей, расправляю резинки, охватывающие голову. Тяжелый шлемофон нарушил кровообращение. Боль несусветная. Привычно терплю.

Высота — семь тысяч восемьсот метров. Меня обдувает ледяным ветром. Мерзну. Терплю и это неудобство. Меня согревает сознание, что с каждым оборотом винтов мы ближе и ближе подходим к линии фронта, а там — конец опасностям и — дом!

Начинает светать. Сереет небо, тускнеют звезды. Сатурн поднялся высоко, переместился вправо и сейчас одобрительно мигает мне со своей верхотуры. Гудят моторы. Клонит ко сну. Сильно клонит. Я засыпаю мгновенно. Голова падает на грудь. Самолет клюет носом. Тревожно гавкают моторы. Я просыпаюсь, вздрагиваю, испу-

ганно таращу глаза, выравниваю машину, и все начинается сначала. Это же пытка!

Чтобы отвлечься, достаю из кармана шоколадку «кола», отламываю кусочек, кладу за щеку. Таращу глаза, стараясь разглядеть, что там нас ожидает впереди. Небо на востоке окрашивается в грязно-фиолетовый цвет. Неожиданно различаю чуть розовеющие кромки кучевых облаков. Облака высокие — не перешагнуть, и нижняя кромка — наверняка метров на триста-четыреста. Что же делать? Снижаться? Нельзя. Сейчас высота для нас — гарантия. Приборы не работают. Я не знаю, сколько в баках горючего. И еще — в любую минуту может отказать мотор, один или другой. Очень сомнительно, чтобы после такой передряги они не были бы повреждены. Нет, снижаться нельзя!

Сон как рукой сняло. Я снова в борьбе. Все мои помыслы сейчас — как можно больше набрать высоты. Борюсь за каждый метр.

Облака ближе. Явно грозовые. Громоздятся, вздымаются. Беспокойно ерзаю на сиденьи, ищу лазейку между тучами. Вверху, под робкими лучами восходящего солнца, они белые, как снег, а внизу синие-синие.

После некоторого раздумья решаю: если не найду лазейку, пойду напролом. Другого выхода нет. Набираю высоту по крошечке, по сантиметру. На приборе девять тысяч метров. Так высоко мы никогда не забирались. Как-то там штурман?

Наклоняюсь, смотрю через прорезь приборной доски. Евсеев лежит на полу, держит шланг маски возле штуцера кислородного баллона, дышит. Встретился со мной взглядом, ободряюще мигнул.

Мороз дает себя знать. Облака уже рядом. Мчатся на нас, обдают холодом. Нужно входить. Нет, боюсь. Зачем лезть на рожон? Отворачиваю вправо, иду рядом с чернобокой тучей. Ага, коридор! Была не была! Круто разворачиваю и ныряю в узкую мрачную щель. Машина вздрагивает. Мимо проносятся стены фантастических замков. Коридор сворачивает налево, затем направо и вдруг теряется в серой лохматой облачности. Черт возьми, вот это удача! В следующее мгновение мы влетаем в непроглядную вату спокойных высокослоистых облаков. Тихо, хорошо. Идет снег. Я облегченно вздыхаю. Я снова счастлив.

Уже совсем светло. Наверное, пора снижаться. Заглядываю к штурману. Евсеев прилип к баллону. Лежит на полу, держит шланг возле штуцера. Лицо закрыто мас-

кой, но все равно мне видно, какой у штурмана кислый вид.

Показываю на часы, делаю знак рукой: «Не пора ли снижаться?»

Евсеев радостно закивал головой: «Пора, пора!» — и красноречивым жестом потряс шланг кислородной маски: мол, надоел до смерти!

Из облаков вынырнули на высоте четырехсот метров. Сумрачно, дождливо. Видимость скверная. Под нами болотистая местность. Слева какая-то речушка, впадающая в озеро.

Евсеев стоит в коленопреклоненной позе у прозрачного носа своей кабины, уточняет ориентировку. Перед ним, словно коврик у молящегося магометанина, лежит развернутый планшет с картой. И сам Евсеев до смешного похож на правоверного. Посмотрит вперед, беззвучно пошевелит губами, нагнется к карте, упираясь ладонями в колени, и снова выпрямится.

Вот опять — нагнулся, ткнул пальцем в карту, схватил карандаш, листок бумаги, черканул торопливо две строчки и полез ко мне передавать.

Та-а-ак, хорошо! Мы вышли левее Клина, правее Калинина, на речку Шошу, впадающую в Волгу. Сейчас будет железная дорога, идущая на Ленинград, и отсюда мы будем менять курс на свой аэродром. Москва останется слева. Это запретная зона. Залетать в нее категорически запрещено. Да нам и нет необходимости.

Наскакиваем на железную дорогу. Какая-то вдрызг разбитая станция. Валяются остовы полусгоревших вагонов. Корежатся к небу ржавые железные конструкции водонапорной башни.

Разворачиваемся, берем курс домой. Идем почти бреющим. Проносимся над домами разбитого Клина, над аэродромом, забитым Илами-штурмовиками. Погода совсем никудышная. По самой земле стелются клочья тумана. Все гуще и гуще. Впереди все закрыто, и, как видно, до своей базы нам не дойти. Дело дрянь, нужно куда-то садиться. Разве, пока не поздно, вернуться в Клин?

Бросаю взгляд налево. Москва! Черный дым из заводских труб накрыл город грязным шлейфом. Решение приходит внезапно:

— А, была не была!

Круто разворачиваю влево. У штурмана округляются глаза. Хватает карандаш, бумажку, пишет, сует мне записку: «Ты с ума сошел?! Запретная зона!» Я верчу

записку в руке: «Запретная зона?! Хм!» Озоруя, пишу «резолюцию»: «Но пасаран! Пасаремос!» Возвращаю Евсееву. Прочитал, засмеялся, махнул рукой: давай, мол.

Подходим к городу. Где-то здесь должен быть центральный аэродром. Почти из-под самого нашего носа из облаков вдруг появляется округлая громада аэростата воздушного заграждения. Шарахаюсь в сторону и тут же замечаю зеленое поле аэродрома с белым посадочным «Т». Выпускаю шасси, с ходу иду на посадку.

В самом конце пробега самолет вдруг ни с того ни с сего заартачился, заскрежетал колесами и, высоко задрав левое крыло, резко крутнулся на месте. Этого еще не хватало! Торопливо ударяю рукой по лапкам выключателей моторов. Самолет остановился, вздохнул, как запаренная лошадь, и, осев на правый бок, замер в такой позе, будто увидел что-то интересное в траве.

Я отстегнул ремни и вылез из кабины. К нам, постреливая вверх синими кольцами дыма, спешил аэродромный трактор-тягач.

Розовый рай

Самолет приволокли на стоянку. Именно приволокли. Крупный осколок снаряда вклинился в тормозной диск да так и застрял в нем. Выпали из-под крыльев светящиеся рваными дырами посадочные щитки. Из-под раскромсанных капотов черной блестящей струей текло масло на землю.

С красной повязкой на рукаве из служебного здания вышел дежурный. Еще издали крикнул:

— Кто вас сюда звал? Вы что, не знаете, что здесь запретная зона?!

Подбежал, козырнул официально, явно собираясь сделать разнос, но, взглянув на машину, обмяк:

— Где это вас так?

— Над Берлином.

— О-о-о!.. — В глазах испуг и уважение. — Тогда другое дело! — Снова козырнул, уже по-другому. — Извините, пойду доложу. — И, придерживая рукой кобуру пистолета, убежал.

— Ишь ты, он доложит, — проворчал штурман, доставая из кармана портсигар. — А пригласить нас в помещение не дотумкал.

Я взглянул на Евсеева. Лицо прозрачное, зеленое, под

глазами черные круги. Подошли Заяц с Китнюком. Тоже — видик...

Заяц усталым движением потер ладонями лицо, сказал смущенно:

— Не смотрите так, товарищ командир, вы тоже не лучше выглядите. Дать вам зеркальце?

— Нет, Заяц, не надо. Не хочу разочаровываться.

Только сейчас я ощутил в себе страшную усталость. Это была не та усталость, при которой человек, получив возможность отдохнуть, падает, проваливается в блаженное ничто. Это была совсем другая усталость, когда каждая клетка тела, нокаутированная — взлетом, спадом, жизнью, смертью, — немеет и, теряя чувствительность ко всему, вдруг начинает постепенно возвращаться к жизни. И возвращение это несет с собой такую вездесущую и опустошающую боль, что порой кажется — уж лучше умереть бы!

Были бы мы сейчас в полку, оглушили бы себя перед завтраком (или перед ужином?) добрым стаканом водки — к ней я уже не испытываю прежнего отвращения,— добрались бы кое-как до своих коек и умерли б на несколько часов. Но это в полку, а здесь... Действительно, почему этот дежурный капитан не пригласил нас в помещение?

Подавляя в себе уже знакомое мне растущее чувство беспричинного гнева, я полез на машину, вынул из кабины парашют и лег на крыле, положив парашют под голову.

Но лежать было неудобно. Меня раздражало серое небо, смешанные с дымом облака, приземистое здание аэродромной службы, скрип железного флюгера на старинном шпиле. В голове позванивало: треньк! треньк! треньк! А изнутри на черепную коробку что-то давило, причиняя тошнотворную боль.

Черт знает что! Долго мы будем находиться так, в полной неизвестности?

На крыло, пыхтя, взобрался Евсеев. Лег рядом, пахнув на меня табачным перегаром.

— И как мы долетели, командир, ума не приложу! В правом моторе все кишки перемешались. Масляный бак разбит. Генератор вдребезги.

— Черт с ним, с генератором!.. — меня мутило. — Важно, что мы целы и сидим... в запретной зоне.

— Вот и плохо, что в зоне! В приказе расписывался?

Расписывался, а сам же его и нарушил! Потянут нас с тобой к ответу.

Меня отпустило. Конечно, на время, на несколько секунд, но какие это были блаженные секунды! Мысль ясная, четкая, во всем теле легкость.

— Не потянут,— сказал я, все еще боясь открыть глаза.— Избитый вдрызг самолет из Берлина. За тридевять земель. Из фашистского царства, из гитлеровского государства. Что ты, Коля! — Мне снова стало дурно. — О, ч-черт, как я устал!

— Тихо! — сказал Евсеев. — Смотри.

Я открыл глаза. Рядом с самолетом стоял камуфлированный лимузин и какой-то коренастый полковник в очках, заложив руки в карманы распахнутой шинели, с задумчивой внимательностью смотрел на самолет. Потом нерешительно, словно боясь, что его окрикнут, подошел к обвисшим посадочным щиткам и что-то вынул оттуда. Это был небольшой, длиной со спичку, с острыми рваными краями осколок зенитного снаряда. Покрутив его перед толстыми стеклами очков, полковник вынул из кармана кителя бумажник и положил в него находку.

— Порядок!— шепнул Евсеев. — Теперь он пошлет железку домой и опишет всякие там страсти-мордасти.

Я не ответил, мне было нехорошо. Но об этом полковнике я почему-то не мог думать плохо. Уж очень много было у него уважения к этому страшному сувениру, привезенному ценой смертельной опасности и больших страданий из самого логова врага.

Потом подъезжали еще машины. Вылезали майоры, полковники, подполковники. Смотрели, обменивались вполголоса замечаниями и, бросая украдкой взгляды на нас, неподвижно лежащих на крыле, уезжали.

Мы уже почти по-настоящему задремали, когда нас разбудил громкий окрик:

— Эй, люди, кто тут есть живой, вылезай!

Мы поднялись. Завозились в своей кабине Заяц с Китнюком. Небольшого росточка юркий капитан, проворно выскочив из машины, громко хлопнул дверкой:

— Поднимайтесь, герои, я за вами приехал!

Мы сползли с крыла на землю. Капитан подлетел, щелкнул каблуками, лихо козырнул:

— Здравствуйте! Я из штаба АДД. Мне приказано отвезти вас в столовую. Затем за вами прилетят. — И он с подчеркнутой вежливостью пожал нам руки. Потом обежал самолет, сунул кулак в пробоину в крыле, поцокал

языком: — Здо-о-орово вас попотчевали! — И тут же заторопился: — Поехали, товарищи.

Мы втиснулись в «ЗИС».

— Ну и разговору тут о вас! — сказал капитан, когда машина выехала на шоссе. — Подумать только — от самого Берлина да еще в таком состоянии! — И, внезапно перейдя на шепот, повернулся ко мне, многозначительно поднял палец к потолку: — Звонок о вас дошел даже доверху. Во!

У меня екнуло сердце. Доверху! Может быть, после этого и мы тоже найдем свои фамилии в списках Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР? А почему бы и нет! У нас с этим вот вылетом стало ровно пятьдесят боевых. Кроме того, из девяти глубоких рейдов на столицы и административные центры воюющих против нас государств мы сделали восемь. Из трех самых наитяжелейших рейдов нашей авиации на Берлин мы сделали три. Никто не сделал столько! Разве только молодой талантливый Герой Советского Союза гвардии капитан Молодчий.

Зря мы ездили в столовую. Громадный зал, спешащие на службу люди. Все одеты как полагается. А мы в комбинезонах, в лохматых пахнущих псиной унтах. В руках планшеты, шлемофоны, меховые перчатки. Лица зеленые, прозрачные.

Когда мы вошли, в зале — на секунду, не больше — произошло замешательство. На секунду стих гул, на долю секунды — короткие взгляды, брошенные будто невзначай в нашу сторону. Затем победила столичная корректность. Все занялись своими делами, но в воздухе еще витали обрывки разговора:

— Экипаж из Берлина...

— Берлин бомбили...

— Ну-у-у?!

— Плохая погода — мало дошло...

— А этих подбили...

— Говорят, они сели на Красной площади...

— Да что вы?..

Мы умостились возле стола и, взгромоздив себе на колени свое «барахло», уткнулись взглядами в скатерть. Тотчас же к нам подплыла дебелая официантка с накрашенным ртом. Хлоп-хлоп! — перед нами тарелочки с перловой кашей и сбоку, выпятив голые ребра, какая-то костлявая рыбешка.

Есть не хотелось. Давила усталость. Мы выпили от-

даленно сладкого чая, пахнувшего мочалкой, и поднялись

— Мерси!

Официантка проводила нас жалостливым взглядом.

Словно во сне мы вышли на улицу, сели в машину, приехали на аэродром. Погода улучшилась. По умытому небу плыли чередой редкие клочки облаков, и от них по земле, догоняя друг друга, бежали по-осеннему четкие тени.

В воздухе прогудел Ил-4, сделал круг, выпустил шасси, приземлился и подрулил прямо к нам.

«За нами, — догадался я. — Кто там, интересно?»

Из самолета вылез и легко соскочил на землю невысокий коренастый летчик. Я пригляделся: командир корпуса Логинов!

Сон продолжался. Он не очень удачно начался, но так сказочно кончается. Раз прилетел сам генерал, значит, действительно наша посадка в Москве наделала много шуму.

Генерал усадил нас в самолет и привез домой. Мы снова оказались в столовой.

Стакан чуть-чуть разведенного спирта, отбивная с жареным картофелем, соленые огурчики. Огненная жидкость враз растеклась по жилам, снимая без остатка мучительную боль и страшную усталость. Душа покатилась в розовый рай. Передо мной сидел усердно работавший ножом и вилкой розовощекий, бодрый, помолодевший лет на сто Евсеев. И говорил он умные-умные вещи. Смешные. По стенам столовой порхали веселые солнечные зайчики, и в воздухе висела радость. Задание выполнено! Задание выполнено! Было так хорошо!

Мы нашли в себе еще мужества и силы добраться до коек, разуться, раздеться и, ткнувшись головой в подушку, провалиться в сказочное небытие.

Топалев Слава

Он был чем-то похож на Швейка, этот невысокий коренастый летчик, ходящий вразвалку. С лица его никогда не сходила улыбка: то поддельно-грустная, то дурашливая, то лукавая и озорная.

В самые тяжелые ночи труднейших полетов, когда полку приходилось делать по три-четыре боевых вылета, когда летчики, изнуренные до умопомрачения, с натянутыми до предела нервами, готовы были прийти в бешенство от ничтожной причины, у Топалева Славы все-

гда находилась шутка. Он бросит ее как бы невзначай, улыбнется простодушной улыбкой и, скорчив уморительную мину, попросит у разбушевавшегося докурить или «обжечь губы».

— Понимаешь,— с деланно-глупым видом бормочет он, растерянно разводя руками.— Немцы над целью давали прикурить, да, видать, табак не тот: огонь есть, а дыму нет. Понимаешь?

Летчик стоит, прервав на полуслове гневную тираду, и обалдело хлопает глазами, а все вокруг уже смеются:

— Ну и Слава! Вот чертушка!

А Топалев, хотя только что дымил, с наслаждением затягивается окурком, жмурит глаза, чмокает губами:

— Хо-о-рош табачок. Где брал?

Атмосфера разрядилась. Тот, который сердился на что-то, уже смущенно трет себе уши:

— Вот, ч-черт, до чего же болят!

— И у меня, — говорит Слава. — Ты сколько полетов сделал? Три? Молодец. На четвертый пойдешь? Здорово! — Плюет на окурок, бросает под ноги, старательно затаптывает каблуком. — Вот Гитлера бы так, г-гада!

Только один раз я увидел его грустным и задумчивым. Сидел он на койке, обхватив руками голову. На коленях лежало вскрытое письмо. Из дому. Это письмо и явилось причиной тому, о чем я хочу рассказать.

Полк собирался на Берлин. Самолеты готовы к вылету на аэродром «подскока», но команды еще не было. Летчики-«берлинцы» собрались в кружок, лежат в траве, в тени кустов, подальше от машин, — курят, смеются, слушают, как Слава Топалев держит «банк».

Он сидит на пеньке спиленной березы. У его ног шлемофон и меховые перчатки. Меж пальцев зажата толстая самокрутка.

— Что-о?! Далеко, говоришь? — продолжает он начатый разговор с молодым «безлошадным» летчиком.— Удивляешься, как нам хватает горючего? Ха! А помните, ребята, как летал в сорок первом на Берлин полк Преображенского? Они ходили тогда с острова Эзель. Расстояние в оба конца — тысяча семьсот километров. Машины те же, что и у нас, и возвращались они домой с пустыми баками!

Молодой летчик недоверчиво пожимает плечами:

— Как же это — на тысячу семьсот едва хватало, а сейчас ведь почти в два раза дальше?!

Топалев вздыхает, смешно выпячивает губы:

— Да, брат, почти в два раза дальше. Это тебе не баран чихнул.

Неожиданная метафора вызывает у слушателей дружный взрыв смеха. Но Славы этот смех будто и не касается. Затянувшись с задумчивым видом своей самокруткой, он сбил пальцем пепел в траву и тихо сказал, глядя себе под ноги:

— Нет, вы только подумайте, братцы, что значит величие цели! Ведь долетаем! Хватает! Ну, а если не хватит... крови добавим, а долетим. — Он бросил окурок и придавил его унтом.

Веселый был Слава, как и всегда, но я, помня о письме, не верил его веселости, улавливая в глазах искорки затаенной боли и душевных страданий.

На временном аэродроме наш врач, общий любимец полка, разложив, словно коробейник, свой «товар» на раскладном столике, раздает экипажам коробочки с таблетками «кола».

— Ребята, только не баловаться! — уже в который раз предупреждает он. — «Колой» нужно пользоваться разумно. Лучше всего их принимать на обратном пути, когда устал и хочется спать. Ясно? Вот. Что? Две коробочки? Нельзя. Вот вам одна.

— Ах, доктор, доктор, — канючит Топалев. — Скажите уж лучше, что вам жалко таблеток. Ну дайте еще коробочку!

Доктор притворно сердито хмурит брови:

— Не дам. Вредно. Проходите дальше. Следующий!

— Эй, эй! — сделав глаза по полтиннику, восклицает Слава, глядя через плечо доктора. — Слушай, Мотасов, как не стыдно, ты сразу сожрал все таблетки?!

Доктор оборачивается, а Топалев молниеносным движением стягивает со стола еще коробочку. Летчики смеются, доктор тоже. Он отлично знает, зачем его разыграли, но делает вид, что ничего не заметил. Хохочет со всеми, даже слезы вытирает. Что ж, смех — это лучше всякой «колы».

Топалев отходит в сторону, открывает коробочку, высыпает в ладонь все содержимое — десять круглых шоколадных конфеток. Смотрит с выражением детского восторга и вдруг резким движением отправляет их в рот. Жует, смеется:

— Вкусно!

Пробую его урезонить:

— Ну зачем же, Слава! Брось, тебе же плохо будет. Ведь почти двенадцать часов за штурвалом!

На долю секунды сверкнула в глазах душевная боль. Оглянулся, не слышит ли кто, придвинулся, сказал тихо:

— Ха! Плохо. Хуже того, что есть, не будет. Понял? — И, отойдя, вынул вторую коробочку, поднял ее над головой. — Ешьте «колу», «колу», «колу»! Лучшее средство для бодрости и для ращения волос. Евсеев, дать тебе?

Прозвучала команда на вылет. Летчики побежали к самолетам. Зарокотали моторы. Один за другим двинулись к старту бомбардировщики. Порулил и Топалев. Глаза блестят, настроение сверхбодрое! «Кола»...

Взлетели. Набирают высоту. Все отлично! Никакой тоски. Хорошо, легко.

Опускается ночь. Загораются звезды. А моторы гудят, гудят, гудят. Самолет летит средь ночи. Курс — на запад. На логово фашистского зверя.

Штурман, капитан Овечкин, завозился в своей кабине, сказал хриплым голосом:

— Сильный встречный ветер. Наша путевая скорость — двести тридцать километров в час.

Сказал и умолк.

Медленно, едва заметно ползет по циферблату часов минутная стрелка. Ползет самолет навстречу сильному ветру. Три и восемь десятых километра в минуту. А до цели — шесть часов полета. Туда и обратно — двенадцать.

Мелькает опасение: «Не хватит горючего». Мелькает и гаснет. «Черт с ним, с горючим!» — Криво улыбается про себя: «Не хватит — крови добавим». — «Ишь — расхвастался...»

Мерцают приборы. Колеблется стрелка вариометра. Чуть шевельнулся, а она уже клюет, показывает на снижение. Чуть зазевался, а курс уже не тот! Ах, черт, чтобы вас разорвало пополам!

И часы, что они — стоят, что ли?! Как утомительно медленно движется время.

Моторы гудят, гудят. Слипаются глаза. Во всем теле какая-то вялость. Сколько прошло времени? Наверное, скоро цель?

Топалев нагибается к приборной доске. Они в полете всего третий час. Так мало!

Кончилось действие «колы». Письмо. Где письмо?! Ах, здесь вот, в кармане. Достает треугольник конверта,

рвет его в клочья: «К черту! К черту вас, баб! — открывает форточку, бросает за борт. — Обойдусь...»

Самолет набирает высоту. В наушниках щелчок и голос штурмана:

— Командир, курс!

Топалев смотрит на компас.

— А, ч-черт, куда тебя повело!

Выправляет, но ненадолго, компас снова ползет в сторону. Сердито толкает ногой педаль. Самолет рывком заносит хвост. В ответ тревожно гавкают моторы. Тошно все. Тошно!

Мерцают звезды. Мерцают приборы. Внизу — темно. Высота — четыре тысячи семьсот метров. Трудно дышать. Привычным движением нащупывает рукой кислородную маску. Надевает. Долго возится с резинками. Уж очень больно давят на раковины ушей.

Облегчения от маски не наступает. Глупо. Очень глупо все-таки сделал он, что принял такую дозу «колы». Личные переживания? У воина их не должно быть! Воин — это надежда страны, рычаг победы. Он должен быть душевно спокойным, выносливым, крепким. Крепче, гораздо крепче, чем враг. Но там, в тылу?.. Не понимают, что ли?..

— Командир, курс!

Топалев стискивает зубы.

— А, ч-черт...

Рывок ногой. Гавкают моторы. Картушка компаса нехотя занимает нужное положение.

Высота — пять тысяч шестьсот. Справа видны метелки прожекторов. В черном небе густо вспыхивают бурые звездочки разрывов зенитных снарядов. Рвутся бомбы.

Топалев оживляется. Наконец-то цель! Подправляет ногой.

— Командир, курс!

Топалев взрывается:

— Да ты что — ослеп, что ли? Не видишь — впереди справа?

— Это Кенигсберг, — спокойно отвечает Овечкин. — Запасная цель.

Топалев приникает к фонарю:

— Не может быть!..

— Нет, командир, так. До Берлина еще около трех часов. Курс.

У Топалева никнут плечи. Словно кто придавил. Около трех часов... Это невозможно.

Гудят моторы. Мерцают звезды. Кенигсберг медленно-медленно проплывает в стороне и остается позади. Высота — шесть тысяч сто. Стынут ноги, стынут пальцы рук. Какая-то слабость в теле. Какой-то розовый цвет в глазах. Отчего бы это? От «колы»? И вдруг яркая вспышка и... тьма.

Штурман в обороте

— Командир, курс! — сказал штурман.

Молчание.

Прозрачный нос штурманской кабины чертит своими переплетами иллюминаторов ночное небо. Звездный хоровод ползет направо вниз. Все быстрее, быстрее.

Что это? Неприятная легкость в теле. Овечкин хватается руками за кресло:

— Командир! Командир!

Молчание.

Легкость нарастает. Ноги сами отрываются от пола. Моторы работают взахлеб.

— Командир!!

— Товарищ капитан, мы падаем! Что с командиром?

Это кричит радист.

Если бы знать, что с командиром!..

Штурман, держась за кресло, поворачивается назад. Темно, ничего не видно. Только носки унтов да педали.

Моторы рявкают сердито. Толчок! Звезды дружно вскинулись вверх. Овечкина оторвало от кресла, придавило к борту. Моторы завыли на высокой ноте.

— Падаем! Падаем!

— Не ори!— сказал штурман и, преодолевая тяжесть, пополз на коленях к противоположному борту кабины.

Душераздирающий вой моторов, тошнотворное вращение звезд. За голову что-то потянуло. Нащупал рукой: гибкий шланг кислородной маски. Сорвал маску, бросил. Ручка! Где ручка управления? Ага, вот она, прижатая зажимами к борту. Выдернул. Стал щупать пальцами холодный пол кабины.

Звезды крутятся, крутятся. Воют моторы. В лицо дуют упругие воздушные струи. Пальцы нащупали выемку-гнездо. Теперь нужно вставить ручку. Машину мотает. Никак не попасть. Ага, наконец-то! Ручка торчит в полу кабины. Теперь педали. Сдвинул защелку. Педали пружинисто встали над полом. Теперь нужно сесть в кресло и попытаться вывести машину из штопора. Как это де-

лается, он не знал. Он умел лишь кое-как водить самолет по горизонту. Топалев иногда давал ему управление, а сам откидывался на бронеспинку сиденья и спал.

Ручка поддавалась с трудом, педали тоже. Но самолет чутко среагировал на движение. Сначала сильно мотнуло в сторону, так, что глаза полезли из орбит, затем отпустило. Перестали вращаться звезды. Зато еще надсадней завыли моторы. Звезды взметнулись под потолок. Все спуталось, перемешалось. Где верх, где низ?! Ничего не понять. Что делать, что делать?

Инстинктивно потянул ручку на себя. На плечи тотчас же обрушилась тяжесть. Мелькнула мысль: «Бомбы! Как бы не оборвались!..»

Тяжесть внезапно сменилась тошнотворной легкостью. «Ну, а сейчас? Что делать сейчас?!»

Звезды роем посыпались с потолка, сгрудились впереди, метнулись в сторону. Сиденье уплыло вниз. Крепко вцепившись пальцами в ручку управления, Овечкин повис в пространстве и вслед за тем с силой плюхнулся в кресло. «Кажется, снова падаем...»

— Моторы! Уберите моторы!.. — прохрипело в наушниках. Это кричал радист.

«Моторы? Ах да... моторы...»

Голова, как в пьяном угаре, — ничего не соображает. Дотянулся рукой до секторов, сдвинул их на себя. Разом прекратился вой. Откуда-то из-под пола выпорхнули звезды, и далеко впереди взметнулись лучи прожекторов. Ага, теперь хорошо — есть ориентир...

Без моторов оказалось легче. После нескольких попыток световое пятно впереди заняло наконец устойчивое положение. Теперь надо дать обороты моторам. Рявкнули двигатели, и световое пятно поплыло вниз. Ч-черт!.. С сердцем толкнул от себя ручку. На секунду-другую уплыло сиденье, но зато снова появились прожектора. Наконец самолет занял нормальное положение.

Овечкин вытер ладонью мокрое от пота лицо, посмотрел на высотомер. Три тысячи метров! Ничего себе — отмахали три километра за тридцать секунд...

Однако что же с командиром?

— Командир! Командир! Топалев!..

Молчание. Посмотреть бы. Попытался повернуться, но моторы тотчас же загавкали и прожектора полезли вверх. Неуклюжие попытки установить машину в горизонтальном положении заняли целых полминуты. Ну уж нет — больше он падать не хочет!

Что же делать? Разумеется, идти домой. Но не с бомбами же! Надо их сбросить. Сбросить и вернуться домой. Он покосился на компас. Курс не сходился на целых сорок градусов. Попытка исправить его не привела ни к чему. Едва прожектора ушли в сторону, как застонали, загавкали моторы, и Овечкин снова ощутил только что пережитые чувства невесомости и перегрузки. Глаза, привыкшие к световому ориентиру, уже не различали в темноте горизонта. Пришлось ставить машину носом на Кенигсберг...

Город приближался. Уже видны были дымы, ползущие над землей, и вспышки бомбовых разрывов. Ощущение неуверенности и беспомощности охватило штурмана. Как завороженный глядел он на цель, где в воздухе густо рвались снаряды и куда против воли тащила их машина.

— Командир!.. Командир! Топалев!..

Молчание. Что с ним?

Овечкин судорожно хватил пересохшим ртом воздух и, подчиняясь привычке, открыл бомболюки. Кенигсберг с прожекторами, с беспрестанными взрывами бомб, подползал под самолет. Штурман, все еще цепко держась обеими руками за управление, сжался в комок. Страх, парализующий волю страх вползал в его душу. Он всегда волновался и переживал неприятные чувства, когда машина, подходя к цели, пробивала носом огневую сумятицу. Когда на него со страшной быстротой мчались какие-то тени, то ли дым от разрывов снарядов, то ли самолеты на встречных курсах; когда сверху, слева и справа, и впереди вдруг пронесется осыпь из бомб, сброшенных с других самолетов, с тех, что невидимками висят над ними... Все это страшно, и никогда не будет привычным, как бы кто ни храбрился. Но сегодня было страшнее страшного. И страх этот, схватив в кулак сердце, все сжимал и сжимал его с беспощадной жестокостью...

И они влетели в огненный ад... Все клубилось, дымилось. Огонь внизу, огонь вверху, огонь слева, огонь справа. Где верх, где низ? За что зацепиться взглядом, как вести самолет?

А самолет, по существу лишенный управления, стал валиться на левое крыло. Может, он не валился, может, это только так казалось, но Овечкин, исправляя крен, принялся давить ногой на правую педаль и двигать ручку вправо. К его ужасу, крен влево будто бы увеличился еще сильнее. Ему уже казалось, что машина готова была

совсем перевернуться. Он не замечал, что творилось сейчас вокруг него. Затаив дыхание и стиснув зубы, он давил на упруго неподдающуюся педаль и ручку. Тщетно — самолет переворачивался влево...

И в этот момент что-то случилось. Овечкин почувствовал, как дрогнули рули, и кто-то спокойно сказал:

— Брось управление. Я сам...

Это было счастьем! Таким счастьем, что, услышав голос и догадавшись, кому он принадлежит, Овечкин не удержался и спросил совсем не к месту:

— Слава, родной, ты очнулся? Что с тобой, дорогой?

— Ничего, — прозвучало в ответ. — Бросай бомбы, цель под нами. Это Берлин?

Луч прожектора уперся в машину. Но сейчас это было уже совсем, совсем не страшно. Штурман протянул руку и, надавив пальцем кнопку бомбосбрасывателя, повернулся, чтобы заглянуть в пилотскую кабину. И тут ему все стало ясно. Топалев, держась обеими руками за штурвал и низко пригнувшись, вел самолет по приборам. На нем была кислородная маска, только конец ее гибкого шланга свободно болтался между педалями ножного управления...

Невероятно, но факт

На войне, в особенности у нас, летчиков, нередко происходили случаи самые удивительные, почти необъяснимые. И тем не менее они происходили. Как говорится, невероятно, но факт.

Официальная загрузка самолета Ил-4, рассчитанная его конструктором Ильюшиным, была тысяча килограммов. Максимальная — тысяча триста. Десять соток подвешивались в бомболюки и три — под брюхом. Эта загрузка считалась незыблемым законом для всех. Молодому, еще не опытному летчику командир мог дать загрузку поменьше — тысячу, например, или восемьсот килограммов, и никто его не осудил бы. Но приказать даже опытному летчику взять на борт свыше установленной нормы командир был не властен.

Часто, когда требовалось разбомбить сильное железобетонное укрепление противника, к самолету подвешивались три бомбы по двести пятьдесят или две по пятьсот килограммов на наружные замки и к ним соответственно добавляли несколько соток. В итоге опять-таки получалось тысяча триста. Параграф инструкции был соблю-

ден, хотя, разумеется, наружная подвеска из двух пятисоток создавала гораздо большее воздушное сопротивление, чем три маленьких сотки.

Когда полку предстояло бомбить аэродромы или живую силу противника, нам привозили РАБы (рассеивающиеся авиабомбы). Это были толстенные, как купчихи, каплеобразные оболочки, начиненные множеством мелких бомбочек фугасного или осколочного действия. Сзади этого внушительного сооружения красовались обтянутые и прижатые к корпусу три больших металлических лопуха, похожих на лопасти пароходного винта.

Две такие штуки, обтянутые ободьями из мягкого железа, и подвешивались под брюхо. Предварительно оружейники делали надрез на ободьях. Сброшенная с высоты бомба тотчас же распрямляла хвостовые лопасти-винты и начинала вращаться все быстрее и быстрее. Уложенные внутри бомбочки, приобретая большую центробежную силу, начинали давить изнутри на оболочку бомбы. С жутким воем и фырканьем летел к земле грозный снаряд, и наконец — п-пафф! — не выдержав давления, лопались надрезанные ободья, оболочка распадалась, и освобожденный смертоносный груз, визжа, разлетался по громадной площади.

И хотя к РАБам подвешивали в люки только шесть соток, летчики не любили их возить. Большое лобовое сопротивление давало себя знать. Самолет становился вялым, трудно взлетал и плохо набирал высоту.

Слава Топалев возил все.

— РАБы? Пожалуйста! — соглашался он. — Только, слушайте, какое это имеет значение, сколько бомб вы подвесите в люки — шесть или все десять?

— По Малинину-Буренину десять соток тяжелее шести! — возражал ему инженер по вооружению.

Слава ухмылялся:

— Между прочим, по Малинину-Буренину, если вместо лишнего бензина, который я вожу до цели и обратно, подвесить бомбы, то это будет нисколько не больше. Ферштеен?

— Ферштеен, — смутился инженер. — Но ведь без командира я не имею права...

— Ну конечно!.. — Слава пошел искать командира.

Командир был в своей маленькой каморке. Он сидел на койке, покрытой солдатским одеялом, и пришивал к гимнастерке пуговицу.

— Садись, — сказал командир, пододвигая табуретку. — Что у тебя?

— Да вот, — замялся Топалев, — кое-какие соображения насчет загрузки.

— Ага, интересно, — буркнул командир, нацеливаясь насадить иголку на нитку. — Что там у тебя, выкладывай.

Слава принялся выкладывать. Командир внимательно слушал, одобрительно кивал головой, потом вдруг решительно отложил гимнастерку, взялся за карандаш и карту, лежащую у изголовья, и принялся записывать на обратной ее стороне размашистые цифры.

— Ну, ладно! — воскликнул он. — Обратимся к твоей выкладке. Полет на сегодняшнюю цель займет три часа в оба конца. Горючего потребуется тысяча двести литров плюс двадцать пять процентов аэронавигационного запаса. Итого полторы тысячи. А мы возим в баках по две-три тысячи литров. Зачем? Для чего?

— На всякий случай, — подковырнул Топалев.

— Вот именно, — согласился командир. — На всякий случай. На какой? Можете сбиться с курса — раз! — И загнул палец.

— Ну уж это исключается, товарищ командир, — обиделся Слава. — Да мой штурманяга...

Командир выставил ладонь.

— Ну, это твой. Я говорю в среднем, обо всех. Теперь, баки пробьют — два! — Загнул еще палец. — Штурмана ранят или убьют — три! Фриц прилетит бомбить аэродром — четыре. Ну и все прочее — пять! Запас нужен? Нужен. Вот.

— Двадцать пять процентов по инструкции, — сказал Слава.

Командир фыркнул, бросил на подушку карандаш. Он чувствовал, что его доказательства неубедительны даже для него самого.

— Ну, ладно, что ты хочешь?

— Я хочу получить разрешение варьировать бомбовую загрузку с горючим. Меньше горючего — больше бомб, и только! И вообще: мы воюем? Воюем. Так зачем же возить бензин вместо бомб?

В дверь постучали.

— Можно?

Вошел комиссар полка Морозов. Пожилой, худощавый, с добрым прищуром глаз.

Топалев вскочил.

— Сидите, сидите. Я не помешал?

— Нет, — ответил командир. — Даже наоборот. Вы нужны для преодоления инструкции.

Комиссар решил вопрос просто:

— Мы не имеем права приказывать, но если летчики просят, так отчего же не разрешить? Тем более асам. Ведь полетный вес самолета не будет превышаться? Нет. Чего же здесь страшного? Ладно, поговорю с начальством.

И Топалев получил разрешение варьировать. К десяти неизменным соткам в бомболюках он добавлял тяжелые бомбы наружной подвески. Сначала взял две по двести пятьдесят, получилось тысяча пятьсот. В другой раз две по пятьсот, получилось две тонны, а затем подвесил три пятисотки. Две с половиной тонны вместо обычных тысячи трехсот килограммов. Почти двойная загрузка! Это было внушительно. Три громадных черных чушки висели под фюзеляжем. Настороженные, грозные. Привычные сотки рядом с ними казались убогими и смешными. Летчики, приходившие смотреть на топалевский самолет, стыдливо отводили глаза.

И за Топалевым потянулись другие. Но командир полка был осторожен. На две с половиной тонны он давал разрешение только летчикам, в технике пилотирования которых не сомневался. Так в полку определялась категория асов. Разрешили человеку взять эту загрузку — значит, он мастер летного дела. Значит, он уже «два», как говорил про таких Топалев. Значит, он воюет за двоих. Борисов-два, Назаров-два, Балалов-два...

Как-то об этом стало известно конструктору Ильюшину.

— Две с половиной тонны с полевого аэродрома?! — воскликнул он. — Этого не может быть, это невероятно. Вы что-то путаете. Такую загрузку этот самолет возьмет только с бетонной полосы испытательного аэродрома. С трамплина. Мы проверяли.

Так и не поверил.

Жабры налима

Взлетная полоса! Сколько с ней было связано тогда у меня ложных представлений!

Однажды, взлетая с максимальной загрузкой с бетонки, я почувствовал что-то неладное. Ревели моторы,

бежала машина. Все было как надо, и в то же время ощущалось, что поступательная скорость самолета нарастала слишком медленно. Вот уже и время прошло — пора бы отрываться, а машина бежит и бежит, словно ей жалко расстаться с идеально ровной поверхностью. Я уже видел конец бетонки, а за ней — стена соснового леса. Пришлось подрывать машину. Легкое движение штурвала на себя, и мы в воздухе. Только скорость мала: самолет качается и лениво плывет навстречу соснам. Быстрым движением убираю шасси и терпеливо выдерживаю машину возле самой земли. Сосны — вот они, рядом, но я держу, держу. Я уже чувствую, как налились упругостью рули, как, словно конь, дрожит от нетерпения машина. А я уже из озорства прижимаю ее к земле и держу, держу до самой грани. И уж тогда, когда штурман от страха вжимает голову в плечи, отпускаю штурвал, и машина взмывает вверх....

Всю дорогу до цели и обратно я ломал себе голову: в чем же все-таки дело? Ведь только вчера я взлетал с такой же загрузкой, и даже не с полосы, а с грунта, и все было отлично! Моторы? Нет, моторы работали нормально. Может быть, ветер изменился и стал попутным? Тоже нет. Я сразу уловил бы вертлявость самолета на разбеге.

Я чувствовал, что хожу где-то рядом с разгадкой и что она удивительно проста, но над ней надо еще подумать, сопоставить все свои предыдущие взлеты. Предыдущие?! Ага, стоп!

Разгадка — вот она — извивалась в моих руках, подобно скользкому налиму. Но это был пока не весь налим, а только хвост. Добраться бы до жабр!

Предыдущие взлеты. Что же было у меня предыдущего? С такой же нагрузкой мы взлетали с неровного кочковатого аэродрома. Было трудно. Стучали шасси, чертом прыгала машина, но все равно мы оторвались от земли нормально.

Взлетали с травянистого аэродрома. Неплохо! С аэродрома плотного, покрытого мелким, величиной с горошину, камушком-песчаником — отлично!

Отлично? Почему отлично? Может быть, тогда был сильный ветер? Нет, было так же тихо, как и сегодня...

Стоп! А с бетонки с такой загрузкой я взлетал когда-нибудь?

Нет. А, ч-черт! Налим извивался в руках. Я уже

пальцами касался жабр. Я ходил около. Разгадки не было. Налим собирался ускользнуть...

«А может быть, дело в бетонке?» — робко подумал я и тут же отбросил эту мысль, как возмутительно несправедливую. Бетонка — это мечта летчиков, гладкая, ровная.

Меня разыскал адъютант эскадрильи. У него в руках боевое расписание. Вежливо подходит, вежливо спрашивает:

— Вы сегодня опять возьмете максимальную загрузку?

Цель вчерашняя — железобетонные укрепления фашистов. Надо размолотить их тяжелыми бомбами, чтобы легче было пехотинцам взять штурмом цитадель врага. Каждая лишняя бомба...

Это я агитирую себя?! Хорош вояка, нечего сказать!

Я гоню прочь трусливую мыслишку — отказаться от максимальной бомбовой загрузки.

— Да, конечно, — небрежным тоном отвечаю я. — Максимальную.

Адъютант почтительно заносит в боевое расписание цифру 2500. Смотрит на меня с восхищением.

— Вчера у вас был такой красивый взлет!

— Что? Взлет? Да, да, конечно. Сегодня он будет еще красивее.

Адъютант уходит, а я уже весь занят соображениями о предстоящем взлете. Эх, налим, налим, так и не ухватил я тебя за жабры!

Аэродром отгуделся моторами и затих. Летчики, торопясь, докуривали папиросы: скоро на взлет. Мимо, с флажками в руках, прошел дежурный командир. Покосился на наши пятисотки, ничего не сказал.

Штурман солидно откашлялся:

— Полезли?

— Полезли.

Разбирая лямки парашюта, я подумал: «Может, мне зарулить подальше, на самый конец взлетной полосы? Нет, это будет неправильно. Нехорошо по отношению к товарищам. Это значит — показать, подчеркнуть для всех, что-де вот, мол, смотрите, у меня максимальная загрузка. Видите, как трудно.

Нет, надо взлетать, как и все. Даже, наоборот, надо сделать так, чтобы всем было яснее ясного, что взлет с такой нагрузкой не сложнее взлета... на пустой машине. Вот как надо сделать!

Порулили. Еще светло, и мне виден дежурный, стоящий возле бетонной взлетной полосы.

Подрулили четвертым. Взлетал самолет. Чтобы не мешать, мы остановились на грунте. И тут мне пришла в голову мысль: взлечу отсюда! Не буду заруливать на полосу. Конечно, все будут удивлены, что мы с такой загрузкой пренебрегли бетонной полосой. Пусть удивляются, пусть.

Первым удивился командир, когда увидел, что я, развернувшись, встал рядом с бетонкой. Сначала он подумал, что у меня не ладится с машиной. Он принялся растерянно перебирать в руках флажки, но я, отодвинув фонарь, поднял правую руку — прошу разрешения на взлет.

Командир опешил. Осмысливая мой поступок, он некоторое время пристально смотрел на нас, потом, как-то не очень настойчиво, пригласил меня жестом на бетонку, и, когда я, отрицательно мотнув головой, показал рукой, что буду взлетать отсюда, он пожал плечами, улыбнулся и, внезапно приняв стойку «смирно», отчетливым движением белого флажка дал мне разрешение на взлет.

К моему удивлению, бежали мы недолго. По крайней мере, вдвое меньше, чем вчера, взлетая с бетонки. В чем же дело? Налим, где твои жабры?

К вечеру следующего дня, давая боевое задание полку, командир сказал, кивнув на меня головой:

— Отдаю должное сообразительности командира первой эскадрильи. Он вчера предпочел взлететь с максимальной загрузкой с грунта, не с бетонки.

— Мы это заметили, — сказал кто-то. — А почему?

— А как вы думаете — почему? — спросил командир и заговорщицки мне подмигнул: — Ну, кто скажет?

Летчики растерянно молчали. Многие из них, повернувшись ко мне, ждали ответа. Я покраснел до ушей. Что я им скажу, когда и сам не знаю.

Меня выручил командир.

— Все дело в колесах, — сказал он. — Покрышки наших самолетов не рифленые. Гладкая взлетная полоса, гладкие покрышки. При большой нагрузке баллоны присасываются к бетону. А на грунте этого нет. Гравий...

Я готов был треснуть себя кулаком по лбу и провалиться сквозь пол. Такой простой вещи и не мог сообразить!

Я сидел посрамленный в своих собственных глазах. Налим был взят за жабры, но — увы — не мною...

Хорошо, что об этом никто не догадывался.

Юбилейный вылет

Тяжелый четырехмоторный бомбардировщик ТБ-7 гвардии капитана Карташова шел с полным грузом на боевое задание. Это был юбилейный, сотый вылет экипажа, и в полку собирались отметить его.

Замполит эскадрильи уже который день ходил с озабоченным лицом и все шептался в красном уголке с сержантами и офицерами, умеющими писать лозунги, рисовать и красить. А сегодня в столовой вдруг ни с того ни с сего подошел к Карташову шеф-повар, низенький, толстый, со смешной фамилией Непейвода, и, почтительно склонившись, спросил, что бы он и его экипаж хотели получить к столу после юбилейного вылета.

Карташов угрюмо проворчал, что нужно сначала сделать этот вылет, а потом звонить в колокола. И штурман, чтобы вывести шеф-повара из затруднения, заказал... мороженое. Непейвода удивленно вздернул бровями, так как на дворе стоял октябрь, но возражать не стал: заказ есть заказ.

И вот они летят на сотый боевой. Уже видна цель. Упираясь в облака, нервно шарили по небу лучи прожекторов, и частые разрывы бомб озаряли все вокруг красноватым мерцающим светом. Иногда, разбрызгивая искры, с земли вздымалось кверху хвостатое пламя. Тогда в наушниках со всех сторон корабля неслись восхищенные охи и ахи воздушных стрелков и радиста: «Вот хорошо влепили! Вагоны рвутся».

Естественно, что штурман корабля, гвардии капитан Соломатин, всегда старался получить такие похвалы и в свой адрес, но, честно говоря, это удавалось не каждый раз, хотя в боевом донесении и приходилось скрепя сердце писать: «В результате бомбометания на земле возник один взрыв и два пожара», — иначе не зачтут боевой вылет. Так, по крайней мере, было недавно заведено у них в полку вновь назначенным начальником штаба, с которым экипаж Карташова был не в ладах.

Месяц назад они всей дивизией бомбили спрятанные в лесу крупные склады фашистских боеприпасов. Было тихо — ни прожекторов, ни зениток. Бомбы сыпались, как из мешка, но никаких взрывов не наблюдалось. Вид-

но, разведка не точно дала координаты. Тогда Соломатин на свой страх и риск отвел корабль километров на пять в сторону, где, как ему показалось, вроде сверкнул огонек, прицелился и сбросил бомбы.

Произошел невероятной силы взрыв. Вздыбилось небо, на мгновение исчезла ночь, и машину так тряхнуло, что Соломатин едва удержался на сиденьи. В те минуты он испытывал величайшую радость успеха, весь экипаж восторгался его находчивостью. В своем донесении Соломатин тогда записал: «В 00 часов 32 минуты сброшены бомбы на пять километров южнее заданного квадрата по подозрительному огоньку. В результате бомбометания на земле возник большой силы взрыв». Но пожары и взрывы были у всех, и начальник штаба, сделав строгий выговор командиру корабля за бомбометание не по цели, этот вылет не засчитал.

Случай этот запомнился всему экипажу и особенно ему, штурману. Дернул же его черт проявить тогда телячий восторг и написать в боевом донесении, что бомбили не по цели! Ведь теперь у них был бы уже сто первый боевой вылет.

Лететь до цели осталось десять минут. Доложив об этом командиру, Соломатин достал из кармана комбинезона алюминиевый портсигар, закурил и, зажав папиросу в кулаке, чтобы не мешала, прильнул к иллюминатору. Ему показалось, будто бы впереди, внизу, среди темного лесного массива, вспыхнул огонек. И огонек мигал. Это было более чем странно: лес — и вдруг электрический свет! Что бы это могло быть?

И чем ближе они к нему подлетали, тем настойчивей мигал огонек. Длинные вспышки перемежались с короткими. Несомненно, кто-то давал сигналы с земли, но кто? Враг или друг? Известен случай, когда таким вот способом фашисты спровоцировали бомбометание советскими самолетами лагеря партизан.

Соломатин не был силен в азбуке Морзе, но фраза все время повторялась, и он, наконец, прочитал: «Огонь на меня... Огонь на меня... Огонь на меня... на меня!..»

От волнения у штурмана задрожала рука, державшая папиросу. Он сделал несколько жадных затяжек. Где-то здесь вот, слева, должно проходить шоссе. Ага, вот оно. И речка. Там, где мигает фонарик, должен быть населенный пункт Светлые Роднички. Внезапно вспомнилась фраза, сказанная кем-то из летчиков во время ужи-

на: «Хороший санаторий, братцы, эти Светлые Роднички! Я в нем был до войны. Сейчас там, конечно, отдыхают фашисты...»

«Санаторий? Фашисты?»

Соломатин задумался. Какая-то еще неясная догадка вот-вот готова была приобрести весомый смысл, воплотиться в логический вывод. Санаторий... Да, тут что-то есть.

«Огонь на меня... Огонь на меня... Огонь на меня...» — настойчиво мигало внизу.

Машина слегка покачивалась, вздрагивала, словно живая. Через открытую форточку в кабину врывалось сырое дыхание облаков. Рокотали двигатели. За спиной, в бомболюках висел смертоносный груз. Несколько тонн взрывчатки, упакованной в стальные оболочки...

Огонек приближался. На темном фоне леса едва проглядывали заснеженные линии шоссе, извилистое русло речки и прямоугольное пятно населенного пункта. И в самом центре его — световые сигналы: тире, тире, два тире, точка... Кто же это? Враг или друг?

Догадка вертелась рядом, неуловимая и ускользающая. Чего-то не хватало, какого-то звена.

Не отрывая взгляда от огонька, Соломатин пошарил рукой сбоку сиденья, достал планшет. Нужно посмотреть разведывательные данные об аэродромах противника. Здесь их целая сеть.

Пальцы легли на тумблер включения настольной лампочки. Легли и не включили. Все вдруг стало ясно и так. Волнуясь, Соломатин перекусил мундштук папироски, выплюнул огрызок, жадно затянулся снова. Рука его дрожала. Вечером, давая задание, начальник штаба сказал: «Тщательно смотрите за воздухом. Имеются данные о прибытии в район сегодняшней цели крупного авиационного соединения противника».

Вот он, вывод: этот санаторий сегодня битком набит фашистскими летчиками. Это точно! Значит, сигнализирует друг?..

Соломатин сжал в ладони погасший окурок, растер его пальцами. «А, друг, друг! И какое мое дело! — зло подумал он, не в силах оторваться взглядом от назойливо мигающего огонька. — У нас есть задание, и нарушать его мы не имеем права. Хватит, уже научили разок!»

И вдруг кто-то крикнул:

— Истребитель!..

Крик утонул в стремительном шквале выстрелов: ту-ту-ту-ту! Ррах! Ррах!..

Штурман сорвался с сиденья. Огненные языки пулеметов левых мотогондол лизали темноту. Длинные трассы пуль, извиваясь и перекрещиваясь, полосовали пространство. Выстрелы внезапно смолкли. Ревели моторы. Самолет, вздрагивая, шел прежним курсом. В наушниках было слышно чье-то прерывистое дыхание и короткие ругательства командира.

Запахло бензином, и вслед за тем из-под капота левого среднего мотора длинным шлейфом полетели искры.

Кто-то крикнул:

— Левый средний горит!

Командир Карташов проворчал в ответ совершенно буднично:

— Ти-хо. Без паники. Иванов, перекрыть пожарный кран! Включить огнетушители! Стрелкам следить за воздухом!

— Есть включить!

— Есть следить!

Хвостовой стрелок доложил хриплым голосом:

— Товарищ командир, их было два. Одного мы, кажется, подбили.

— Ладно, уж, — словно про себя сказал Карташов. — Прозевали. «Кажется»... — В этих словах была досада и укор. — Экипажу доложить о состоянии! Штурман?..

Соломатин, глядя на искристый шлейф и тяжело дыша, пощупал рукой парашютное кольцо (может, придется прыгать).

— Все в порядке, товарищ командир!

— Стрелки мотогондол! Левых?

— В порядке!

— Правых?

— В порядке!

— Вот и хорошо. Значит, все живы и невредимы. Ладно.

У него была привычка чуть не по каждому поводу говорить «ладно», придавая этому слову самый разный смысл. Сейчас оно прозвучало почти весело, словно бы никакого боя не было и никакая опасность им не грозит.

Средний левый мотор неожиданно смолк. Самолет дернулся, словно наткнулся на что-то. Соломатин покосился на мотор. В темноте виделось, что винт по инер-

ции еще крутился, но искрового шлейфа уже не было, только сильно пахло бензином.

— Наверное, пробиты бензобаки, — сказал Карташов. — В любую минуту мы можем... Ладно! Штурман, бросай бомбы, будем возращаться домой.

Вот уже перед самым носом машут метелки прожекторов, вспыхивают звездочки разрывов крупнокалиберных зенитных снарядов. Полыхают пожары на земле, рвутся бомбы, освещая в беспрестанных вспышках стальные нити железнодорожных путей. Цель почти рядом — пять минут полета.

— Командир, может, дотянем, а? — подавляя тошноту от запаха бензина, нерешительно сказал Соломатин. — Ведь юбилейный, сотый!

Он и сам понимал, конечно, что говорит нелепость.

Карташов ответил не сразу, видимо, взвешивая «за» и «против». Потом с досадой в голосе:

— Ладно. Ведь говорил же, черт возьми, сначала надо сделать этот сотый вылет, а потом звонить. Чуешь, как воняет бензином? Бросай, будем возвращаться.

— Есть бросать!

Удушающе острый, тошнотворный запах бензина означал опасность. Самолет был подобен пороховой бочке, готовой взорваться от малейшей искры. Нет, конечно, на цель лететь нельзя. Соломатин понимал это. И вместе с тем... Полк ждет их возвращения, чтобы отметить сотый боевой. А боевого нет. Не вышел...

«Сбросить бомбы и записать, что по цели?» Эта лукавая мысль сразу нашла себе оправдание. Вспомнился тот несправедливо не засчитанный вылет. «А, баш на баш!..»

Весь во власти захватившей его мысли, Соломатин почти машинально сказал:

— Курс восемьдесят семь!

Пожары, лучи прожекторов качнулись, вздыбились и стали опрокидываться вправо. Тяжелый корабль снижаясь, лег на обратный курс.

Да, да, он так и сделает. Но как убедить командира?

— Открываю бомболюки!

В кабине потянуло сквозняком. Стало легче дышать, и в проясненной голове вдруг отчетливо возникла спасительная мысль: «Сигналы! Сигналы с земли!» Как он мог забыть о них?

Соломатин кинулся к прицелу. Огонек... Где огонек?! Случай сам идет ему навстречу. Но огонька не было. Под

самолетом — заснеженное, рассеченное дорогой поле, багровое и мрачное от пылающих вдали пожаров. Но поле скоро кончилось. Ниточка шоссе нырнула в лес. Ясно — шоссе вело туда, к санаторию Светлые Роднички. Но огонька не было.

Штурман впился глазами в чернеющий внизу лесной массив. До сих пор он не успел сказать командиру об этих странных сигналах с земли, а теперь уже поздно. Командир осторожен, начнутся расспросы, сомнения, а тем временем цель пройдет и бомбы придется бросать куда попало. «Возьму целиком на себя!» — решил Соломатин и, установив бомбосбрасыватель на отметку «залп», положил палец на кнопку. Одно легкое нажатие — и пять тонн бомб разом оторвутся от замков.

— Ну, чего ты тянешь? — нетерпеливо спросил Карташов.

— Что? — притворился Соломатин. — Повтори, не расслышал.

— Почему не бросаешь, говорю?! — рявкнуло в наушниках. — Ведь на трех идем.

— А-а! Сейчас... Сейчас.

Огонек появился внезапно. Чуть впереди, по курсу. И на этот раз его увидел радист. Увидел, закричал взволнованно:

— Товарищ командир! Товарищ командир! Смотрите — сигнал с земли! Передают морзянкой...

— Вижу, но не разберу, — спокойно ответил Карташов. — А что передают?

Огонек сыпал дробью сигналов. Четкие и раздельные до этого, теперь они почти сливались в необъяснимой спешке.

— Передают... — радист замолчал на мгновение. — «Умо... Умоляю... Огонь на меня! Огонь на меня! Здесь полно фашистов...»

«И он еще умоляет!..»

Штурман, словно обжегшись, отдернул руку от кнопки. Он представил себе: на крыше здания, прижавшись к трубе, сидит человек — советский. Патриот. Герой. И просит... смерти. И жизнь его сейчас — вот в этой кнопке, в этой руке... под этим пальцем! Это было немыслимо — заведомо зная, убить своего. Да еще такого человека! Вот так — нажатием кнопки...

Но огонек, подползая к прицелу, просил, мигая: «Умоляю! Умол...» — и замолк. Не стало огонька. Тихо. Темно.

Что-то тошнотворное подкатилось к горлу Соломатина, наверное, от запаха бензина, он рывком положил руку на бомбосбрасыватель и, зажмурившись, нажал на кнопку.

Самолет вздрогнул. К запаху бензина примешался запах пироксилина от сработавших замков бомбодержателей.

— Ты что?! Ты что?! — закричал Карташов, срывая голос. — Спятил?! Зачем бомбил? Кто позволил? А может, ты сейчас по штабу партизан!..

Полыхнуло небо. Клочкастые облака на несколько мгновений окрасились в бордово-грязный цвет и стали медленно угасать, как угасает в кузнице раскаленный металл. На земле, разбрызгивая искры, лениво занимался пожар.

«Вот и все, — подумал штурман, обессиленно откидываясь на спинку сиденья. — И все!..» А вслух сказал:

— Не сердись, командир, так надо.

Карташов промолчал.

Весь разбитый и опустошенный, с тяжестью на сердце, Соломатин некоторое время сидел неподвижно, приходя в себя. В висках стучало. От незакрытых бомболюков несло сквозняком. Бессознательным движением он расстегнул шлемофон и подставил лицо холодным струям воздуха. Закрыв бомболюки, так же бессознательно, привычным движением достал планшет, положил на штурманский столик и включил освещение. Прямоугольное светлое пятно скупо легло на листок боевого донесения. Штурман взял карандаш и твердым почерком записал: «25 октября... в 22 часа 02 минуты бомбы сброшены по цели...»

Закончив эту формальность, Соломатин выключил освещение.

— Товарищ командир!

— Ну, что тебе?

— Докладываю: бомбы сброшены по цели. Боевое задание по уничтожению живой силы противника выполнено...

Доклад прозвучал официально и сухо. В наушниках — молчание. Только слышно было, как вздыхал и кашлял командир, грызя конец нераскуренной трубки. И мысли Карташова были самые нерадостные. «А вдруг действительно бомбы угодили в партизан? А в полку нас ждут. Ребята лозунги пишут, готовят какие-то подарки... Эх, если бы не этот сотый, юбилейный! Пришел бы к коман-

диру, доложил: вот он я. До цели не дошел, задания не выполнил. Бомбы сбросил черт-те куда, судите, как знаете. А сейчас... Соломатин тоже — хорош гусь: поставил командира в такое положение. Старый боевой товарищ называется. Все принял на себя. Поди вот теперь доложи: «Товарищ гвардии полковник! Штурман Соломатин сбросил бомбы без моего разрешения...» На что это будет похоже?

Второй пилот, капитан Беляков, всегда хмурый и неразговорчивый, словно угадав мысли Карташова, выключил ларингофоны, чтобы экипаж не слышал, склонился с сиденья, прокричал над ухом:

— Не журись, командир! Тут уж ничего не поделаешь. За нами не пропадет. В долгу не останемся!

Карташов вынул трубку изо рта, благодарно кивнул:

— Ладно. Бери управление.

...Прошло несколько дней. Все это время Соломатина и Карташова не покидала какая-то неловкость и неискренность в отношениях. Разговаривая, они пытались, как и прежде, открыто смотреть друг другу в глаза, но зрачки помимо воли избегали встречаться, уклонялись, и от этого взгляд у обоих становился отчужденным, холодным, словно где-то там, в глубине души, у каждого образовались невидимые льдинки. Опуская глаза, они расходились. Это их угнетало и мучило. У каждого не хватало мужества признаться даже самому себе, что мучает их страх за неизвестные последствия того бомбометания на сотом, юбилейном вылете.

И вот однажды, когда летчики и штурманы полка, получив боевое задание, уже собирались расходиться, открылась дверь, и на пороге появился в сопровождении командира корпуса и еще какого-то общевойскового майора высокий худой генерал в прямоугольных очках на горбатом носу.

Все встали, недоумевая, что означает это внезапное посещение начальства из Ставки Верховного Главнокомандования. Начальник штаба приготовился доложить, но генерал, махнув рукой, мол, не надо, твердым шагом старого служаки подошел к столу, заваленному планшетами и картами, поздоровался со всеми: «Здравствуйте, товарищи летчики!» И когда в ответ прозвучал дружный хор голосов, сказал: «Прошу садиться», — и сел сам на подставленный майором стул. Снял фуражку, бережно положил ее на край стола и усталым движением пригладил коротко подстриженные волосы.

Все это он делал так раздражающе медленно, что Соломатин, сидевший рядом, нетерпеливо заерзал на стуле. «Да не тяни же ты, не тяни!» Он уже догадывался, о чем будет сейчас говорить генерал. И Карташов тоже догадывался. На широких скулах его побледневшего лица застыли желваки.

Генерал прокашлялся и полез в карман за носовым платком.

Соломатин весь подался вперед. Больше не было сил переносить эту пытку, это неведение. Он во всем виноват. Только он. Один! Сейчас он встанет и во всем признается.

Штурман сделал движение, чтобы подняться, но рука Карташова, сидевшего рядом, властно сдавила коленку. Злой шепот прошелестел над ухом:

— Сидеть! Слышишь?

Генерал поднял голову:

— Вы что-то сказали?

Карташов привстал со стула.

— Нет, нет, это я не вам, товарищ генерал. Простите.

— Пожалуйста, — ответил тот и вытер платком губы. — Так вот, я хотел спросить у вас, товарищи летчики...

Внимание генерала привлекли запотевшие стекла очков. Он снял их, подышал на стекла и принялся протирать кончиком платка. Стоявший сзади майор, громко щелкнув замком большого портфеля из желтой кожи, вынул сложенную гармошкой карту и положил ее на стол.

Генерал благодарно кивнул, почесал дужкой очков седую бровь и, близоруко сощурившись, окинул взглядом настороженные лица летчиков.

— Мне поручено узнать, товарищи летчики, кто из экипажей ТБ-седьмых в ночь на 25 октября в 22 часа 02 минуты сбросил бомбы на населенный пункт Светлые Роднички. — Он ткнул пальцем в карту: — Вот здесь.

Тишина нарушилась движением, скрипом стульев, шелестом карт. Летчики потянулись за своими планшетами. Сдержанный шепот пронесся по залу:

— Светлые Роднички? Интересно! А что там случилось?

Соломатин, чувствуя, как бледнеет, взял свой планшет, но смотреть не стал. Что смотреть? Кого обманывать? «Что там случилось». Случилось самое страшное — бомбил по своим, и за это в лучшем случае трибунал,

разжалование, штрафной батальон. Впрочем, он может и не признаваться, но совесть, совесть! Как он будет жить с этим страшным грузом?

Шелест карт утих. Наступила мертвая тишина. Все смотрели на генерала. Лицо его было взволнованно. Дрожащими пальцами он надел очки и, тут же сняв, постучал ими по карте.

— Так кто же, товарищи летчики? Кто? Я объехал все полки ТБ-седьмых — ваш последний. Но ведь кто-то бомбил?

Молчание. Мертвая тишина.

— Никто? Странно. И... очень жаль! — Генерал сердитым движением накинул очки на горбинку носа и рывком поднялся со стула. — Очень жаль! — еще раз повторил он. — У меня к вам вопросов больше нет. До свидания!

Он кивнул головой и, круто повернувшись, направился к выходу, забыв на столе фуражку. Майор, торопясь, запихивал в портфель карту.

— Совершенно необъяснимо, — тихо сказал он сидевшему рядом Соломатину. — Никак не можем найти, кому вручить ордена Ленина и Красного Знамени. В ту ночь в Светлых Родничках был уничтожен весь летный состав крупного фашистского авиасоединения.

Соломатин уронил планшет.

Секунды, стоящие жизни

Мелькают дни, мы их не видим. Ночи, ночи, ночи. Рев моторов. Бомбы. Взлеты. Цель. Прожектора. Зенитки. Атаки истребителей. Линия фронта под Сталинградом. Аэродромы противника. Южная окраина Сталинграда. Северная окраина. Отдельные кварталы. Отдельные точки. Бомбежки с малых высот. Сыплются бомбы. Встают фонтаны земли. Жуткое месиво из огня и дыма, из едкой цементной и кирпичной пыли. Ад на земле. Ад в воздухе. По два, по три, по четыре вылета в ночь...

Мы не люди. Мы сгустки невообразимой воли и страстного желания победить. Не видим, что едим, не знаем, когда спим. В наших сердцах холодное кипение, в сознании — единая цель, ради которой не жалко отдать жизнь. Мы знаем одно: идет великая битва за ключевые позиции. Враг надеялся, что здесь он схватил нас за горло. Он орал из окопов, припирая нас к Волге: «Русь — буль-буль!» Но мы не собирались делать для их удоволь-

ствия «буль-буль». Наши пальцы тоже что-то нащупали. Так раздавить же гадину! Раздавить!

И мы давили. Порой нам не хватало воздуха. Порой нам не хватало сил. Но воля наша была несгибаема. Русь, родина наша, никогда сыны твои тебя не предадут!

Декабрь дает передышку. Низкая облачность, туманы. Летать нельзя. Лишь пехота воюет. Враг под ударами советских войск откатывается на запад. Линия фронта расчленена. Возникают котлы тут и там. Фашистские части, хорошо оснащенные техникой, занимают круговую оборону: окутываются проволокой, ощетиниваются противотанковыми надолбами, ежами, окапываются рвами и, подчиняясь приказу фюрера, ждут помощи свыше.

Фронт уходит на запад, а в тылу остаются «орешки». Опасно. Надо ликвидировать. Но ликвидация требует много сил, а силы нужны сейчас для развития успеха на главном направлении. Авиацию б сюда, бомбардировщиков! Но погода плохая. Низко, над самой землей ползут облака. Враг притаился под их прикрытием, не открывает себя, как обычно, зенитным огнем. Плохо дело. Зло берет: пехота дерется, а мы... Особенно мешал один такой большой «орешек».

Несколько раз вылетали дивизией на «провокацию». Ходили низко, ходили высоко. Гудели моторами, дразнили. Хоть бы один выстрел! Нет, враг хитер. Молчит.

В штабе ломали головы.

— Надо заставить его стрелять. Но как?

— Очень просто — огонь на себя!

— Гм! Похоже на сказку про кота и мышей. Но кто же повесит коту звонок на шею?

— А надо спросить у летчиков.

Спросили. И почти не удивились — каждый ответил: «Я!»

Гадали долго, кого послать. Тут надо, чтоб точно. Вокруг «орешка» наши войска, не попасть бы по своим. Чтоб штурман мог вывести самолет безошибочно, прямо на укрепленный пункт врага. Чтоб летчик мог хорошо водить машину в тумане на бреющем полете.

И тут генерал Логинов вспомнил про нас.

— Я знаю такой экипаж! Это тот, который заставил меня однажды целовать землю. Ручаюсь, они отлично выполнят задание!

Ну, лететь так лететь. Мы готовы. Мы не задумывались над тем, что этот полет, вероятнее всего, будет для

нас последним. Не задумывались, может быть, потому, что лишь от нас зависел успех этой операции. Полки готовились к полету, и мы должны сыграть первую скрипку в этом грозном бомбовом оркестре.

Мы гордились таким заданием.

Пришли в штаб. Командир дивизии сказал:

— Пойдете без бомб, так лучше будет.

Я опешил. Как это — на боевое задание и без бомб? Тебя будут бить, хлестать огнем изо всех видов оружия (на бреющем полете и палкой можно сшибить!), а ты даже и ответить не сможешь! Мне стало обидно.

— Товарищ командир, да как же это?

— Полетите без бомб, — повторил командир и тут же, увидев кислое выражение моего лица, добавил: — Пойми, голова, кругом пули будут свистеть, а вдруг какая по взрывателю заденет!

Нет, я не мог лететь без бомб. Идти на врага без оружия?!

— А что, если враг окажется умнее, чем мы думаем? Если он возьмет да и не будет в нас стрелять?

У командира даже брови на лоб полезли. Посмотрел на меня, усмехнулся:

— А ты хитер, братец! Правда твоя: врага недооценивать нельзя. Ладно, полетите с бомбами. Взрыватели — замедленного действия.

Нам была предоставлена возможность решать самим, как заходить, с какой стороны, только чтобы время было выдержано точно.

Мы с Евсеевым разложили карты на полу, посмотрели, поползали и выбрали: заходить будем с запада. Во-первых, удобно: местность там испещрена оврагами. По ним можно подкрасться поближе, неожиданно выскочить, и, во-вторых, с запада прямо к цели подходит большак — хорошо наводящий ориентир, не собьешься, и, в-третьих, немцы получают медикаменты и продукты питания с воздуха, на парашютах: мы лелеяли надежду, что они могут принять нас за своих и не открыть огня, а мы их — бомбами!

Наконец, все готово. Щербаков сам провожает нас на линейку. Мы молчим. Говорить больше не о чем.

На аэродроме рев моторов: идут последние приготовления. И вдруг разом — тишина. Все вокруг словно замерло. Ни звука! Только снег скрипит под нашими унтами.

Я понял эту тишину и растрогался: люди провожали нас в последний полет. Спасибо, друзья, спасибо! Только почему вы решили, что этот полет для нас будет последним? Я так не думал. Я послушал свое сердце — оно было спокойным. Никаких тревог, никаких предчувствий. Только в груди будто скручена тугая пружина....

Стоит розовый день. Над головой ползут клочки облаков в несколько ярусов. Облака золотые от солнца. Небо — голубое-голубое. Безветренно. Тихо. Все самолеты готовы к вылету. У каждого под брюхом полутонные бомбы. Сила!

Запускаем моторы. Выруливаем. Командир сжал пальцы обеих рук, поднял их высоко над головой, потряс в прощальном приветствии. Я помахал ему рукой:

— Спасибо, хороший человек!..

Взлетаем. День. Непривычно светло и до чего же интересно! Облачка с позолотой, клочки голубого неба. Под крылом заснеженные зимние поля, тут и там пересеченные дорогами. Бежит поезд. По черному асфальту ползет на запад вереница машин, крытых брезентом. Стоят сосны — темно-зеленые с белым. Красотища-то какая! Какая красотища! От моторов, как и всегда, тянет горячим запахом цилиндров. Штурман сидит с планшетом на коленях. Уютно сидит, хорошо.

Держим курс на север. Высота — 400 метров. Погода пока терпимая. Разрозненные облака — выше нас, ниже нас. Видать землю, видать небо. Но скоро картина резко меняется: небо над нами становится чистым, зато землю покрывает пелена тумана. Снижаемся до бреющего. Мелькают макушки елей, лесные полянки, пробитые зверем тропки, печные трубы сожженных деревень... Сколько их!.. Много... Много. Сердце наливается гневом: «Гады! Гады проклятые! С-сволочи!» Это как молитва перед боем.

Ныряем под сырые облака. Сразу становится темно и неуютно. Меняем курс на северо-запад. Облака все ниже, ниже. И мне становится не по себе: надо точно выдерживать курс и в то же время ни на секунду не упускать из глаз мелькающие елки, овражки, высотки с геодезическими вышками. Трудно и смертельно опасно ходить в тумане бреющим полетом. Но облака, словно жалея нас, приподнимаются, образуя узкую спасительную щель.

Штурману тоже трудно. Ориентиры внезапно появляются и тут же исчезают — проносятся мимо на беше-

ной скорости. Разбери попробуй: то ли это речка, занесенная снегом, то ли просто овражек.

Летим долго. У меня уже занемели руки от напряжения, и в глазах, как от мелькающих досок забора, стоит сплошная рябь. Но вот — внимание! Штурман вскочил с кресла, упал на колени. Я уже знаю: сейчас должен быть контрольный ориентир: речка под названием Межа и отросток железной дороги. Если выйдем точно, хорошо. А если не выйдем... Я уже не могу себе и представить, что будет, если не выйдем.

Сейчас, пока мы летим под туманом, наши авиационные полки по расчету времени прокладывают путь над облаками. Передовые их отряды придут в намеченное место минут на пять раньше нас и будут ждать, когда враг обнаружит себя.

Нет, мы не можем, не имеем никакого морального права не выйти на контрольный ориентир!

Летим три или пять долгих-долгих минут. Леса, перелески, полянки. Овраги, овраги и белый-белый нетронутый снег. Сжимается сердце от страха: «Не вышли...»

Но штурман поднимает руку:

— Внимание!.. Курс девяносто восемь!

Я склоняю крыло, и в то же время под нами мелькают крутые берега речки, остатки разбитого моста.

Вышли! Вышли!

Я облегченно вздыхаю. Сердце наполняется радостью. Я счастлив безмерно. Молодец! Молодец штурманяга!

А теперь прятаться — в перелесках, в складках, в оврагах. Через восемь минут — цель.

Перед нами речка с крутыми высокими берегами. Ныряем к речке, скованной льдом. Берега выше нас. Хорошо! Звук наших моторов уходит вверх. Речка вильнула в сторону. Не по курсу! Выскочили: лес! А затем — заснеженная балка, поросшая кустарником. Мчимся по самому дну.

— Здорово идем, — говорит Заяц. — Аж сзади снег столбом!

Снег столбом? Хорошо! Я с наслаждением вдыхаю морозный воздух.

Штурман стоит на коленях. Он недвижим. Он выразительно красив в эти минуты. Он как скульптура. Вся его поза — сплошное напряжение.

Щелчок в наушниках:

— Внимание! Сейчас выходим на большак!

Балка сворачивает влево. Чуть-чуть штурвал на себя! На нас наползает склон. Еще штурвал на себя! Мы вылетаем на простор, и... сердце мое обрывается...

Мы налетели на колонну! Длинную серую колонну войск, шагающих на восток. Чьи это войска?.. Свои?.. Чужие?.. Те и другие при данной обстановке одинаково опасны. Немцы откроют шквальный огонь, увидев красные звезды, наши обстреляют лишь потому, что мы крадемся с запада. Разбираться будут потом, когда уже станет поздно...

Но что это? Все многотысячное войско разом стало! И вверх полетели шапки. Замелькали восхищенные лица, открытые рты, несомненно кричавшие русское «ура». Колонна, вздымая оружие, благословляла нас на правый бой.

Это было потрясающе! Секунды, стоящие жизни.

Штурман повернулся ко мне взволнованным лицом. Он что-то хотел сказать и не смог. Только слышно было в наушниках, как кто-то ахнул восторженно и вздохнул — очевидно Заяц с Китнюком.

Все пронеслось, промчалось, будто во сне. Под нами большак, широкая изъезженная дорога, сплошь заваленная по сторонам разбитой военной техникой: пушками, танками, машинами. Тут и там зияли глубокие воронки, едва засыпанные снегом, валялись трупы лошадей. Все мелькает, мелькает, проносится мимо. Облачность ниже, ниже. Этого еще не хватало! Краем глаза вижу, как штурман, весь подавшись вперед, положил руку на кнопку бомбосбрасывателя.

Рвы, мотки колючей проволоки, надолбы, ежи. Цель близка, но страха нет. В груди — онемение, холод, пустота. Лишь где-то в уголке, согревая душу, теплится виденное — поднятое вверх оружие, раскрытые кричащие рты...

Из-под клочьев тумана на нас внезапно надвинулись стены бревенчатых хат. Успеваю заметить — крыш нет, а из-за стен, судорожно дергаясь и изрыгая пламя, бешено палят орудия. Огонь, огонь, пламя... На нас со всех сторон летят снопами искры, красные, зеленые, желтые. Под нами мелькает месиво из человеческих тел, пушек, пулеметов, касок, искаженных ужасом лиц.

Внезапный крик резанул по натянутым нервам. Я вздрогнул, дернув руками штурвал. Самолет подскочил и влетел в облака. В ту же секунду штурман упал,

как подкошенный. Упал и лежит на боку в скрюченной позе.

«Убит!.. А бомбы-то не сброшены!..»

Левой рукой отжимаю штурвал и, глядя вниз, на мелькающее месиво фашистских войск, правой рукой тянусь к рукоятке аварийного бомбосбрасывателя. Скорей, скорей, под нами еще враг!..

Но штурман поворачивает голову, смотрит на меня с явной усмешкой:

— Ты чего там? Погоди, я сам...

Я оторопело отдергиваю руку:

— Ко-лька! Ты жив?..

— Жив, конечно, — говорит Евсеев, поднимаясь на колени.

— И не ранен?

— Нет. Откуда взял?

Я озлился:

— Какого ж черта ты упал?!

Евсеев хмыкул и иронически спокойно:

— А какого черта ты дрыгнул самолетом?

Моментально прихожу в себя. Мне неловко. Да, я действительно дрыгнул самолетом, но по какой причине? Ах, да! Кто-то, кажется, кричал.

Спрашиваю грозно:

— Кто орал?

Молчание. Потом робкое:

— Это я, товарищ командир. Заяц...

— А что случилось? Ты ранен?

— Нет, товарищ командир, — виновато отвечает радист. — Я просто хотел сказать, что сильно стреляют...

Ну что ему скажешь на это?

Самолет тем временем пробился вверх, в розовый свет заходящего солнца. В ясном-ясном небе висели комариной тучей наши самолеты. Было видно, как сыпались стальные чушки, а навстречу им из-за облаков вставали черные столбы дыма.

Мирное задание

Декабрь совсем никудышный. Туман. Мы изнываем от безделья. Шахматы, шашки — все надоело. Полк располагается в бывшем подмосковном санатории. Спим по-барски, на широких кроватях с пружинными матрацами. Хорошо! Но скучно, потому что не летаем. Здесь сказывается не только привычка, но и бессознательный страх утратить, притупить чувство воздуха.

Внизу, на первом этаже, стоит бильярдный стол с тяжелыми шарами. Здесь всегда шумно. Играем в «американку» — на высадку. Я разошелся — гоняю четвертую партию.

Открывается дверь, входит замкомандира полка подполковник Назаров. В руках кипа газет.

— Ребята, указ!

Все бросаются к вошедшему, хватают из рук газеты.

Сердце мое замирает на несколько мгновений, но я не двигаюсь с места. «Мне еще рано смотреть указы, — говорю я сам себе. — Я еще в полку недавно, всего семь месяцев...»

Ребята шумят:

— Братцы, Мотасова наградили!

— И Васькина!

— Орден Красного Знамени!

— О-о-о! Серегу Балалова орденом Ленина!

— Молодец, Серега! Поздравляем!

— И Петухова!

— Ой, сколько тут наших!

Ловлю себя на том, что ощущаю колючее чувство обиды. Все-таки как-никак летаем мы неплохо. И вылетов достаточно. Могли бы, кажется, подбросить орденок...

Вдруг слышу: называют мою фамилию. Я вздрагиваю, роняю кий. Боюсь повернуться: «Неужели? Интересно, что? Наверное, орден Красного Знамени!»

— Ты что? Тебе плохо? Побледнел весь.

Я вижу обеспокоенное лицо Назарова. Прихожу в себя. С трудом подавляю желание — обнять его на радостях.

— Нет, совсем не плохо, наоборот!

— Тогда валяй в штаб, тебя командир вызывает.

Я моргаю глазами. До меня не доходит смысл сказанного.

— Что-о?.. Куда-а-а?..

— В штаб, говорю, быстро!

В штабе меня ожидало задание, весьма мирное и прозаическое: какой-то экипаж, возвращаясь с боевого задания, попал в пургу, залетел аж к Волге и сел там с пустыми баками на брюхо где-то возле Кинешмы. Самолет цел. Техники поставили его на шасси, а сейчас машину нужно перегнать на ближайший аэродром, а затем в полк.

— До Кинешмы поедешь поездом, — сказал коман-

дир. — Вот тебе билет. Сухой паек уже в машине. Собирайся, я отвезу тебя на вокзал.

Я почесал затылок. У меня в душе все еще не растаяла горечь только что пережитого разочарования. «Ладно, — подумалось мне, — ехать так ехать, я человек покладистый. Но почему выбор пал именно на меня?»

Командир понял мои мысли без слов: они были написаны на моем лице. Положив оба локтя на стол, он наклонился ко мне, заглянул в глаза и сказал довольно строго:

— Это персональное указание командира дивизии. Во-первых, потому что ты гражданский летчик и приведешь машину домой без штурмана; во-вторых, или, пожалуй, это во-первых, уж очень мала там площадка. Очень. Понял? Ну вот, мы на тебя и надеемся. — Командир посмотрел на часы и заторопился: — Давай собирайся, быстро! Опоздаем к поезду.

...Было безветренно и морозно — градусов под тридцать, не меньше. Но мне жарко. Я в меховом комбинезоне и унтах шагаю в сопровождении моториста к самолету. Снег почти по пояс. Он выпал за ночь и повис громадными комьями на пригнувшихся лапах елей. Кашлянешь или крикнешь громко — тотчас же обвал. На голову, за воротник. И долго потом висит в воздухе прозрачная, сверкающая на солнце всеми цветами радуги кисея.

На душе моей неуютно. Не нравится мне этот лес, молчаливый, высокий. Ох, трудно, наверное, будет взлетать! Вдобавок и ветра нет. Плохо. А потом еще — как моторы, после вынужденных посадок они всегда барахлят...

Наконец мы вышли на полянку. Вот и самолет. Стоит как раз посередине. Я остановился, окинул взглядом поле, и у меня от тоски засосало под ложечкой. Площадка была мала, очень мала и неудобна для взлета. Ребристая волнистость снега привлекла мое внимание. Моторист, перехвативший мой взгляд, сказал, нажимая на «о», таким голосом, будто это он виноват во всем:

— Здесь было картофельное поле.

Вон как! Ясно. Черт бы их побрал, эти борозды. И ведь надо же так — как раз поперек взлета... А тут еще ветра нет.

Площадка склонялась к югу. Под уклон удобно взлетать, но там, в конце, в неприятной близости сплошной стеной стояли сосны. На северной стороне сосен близко

не было. Какой-то кустарник, заваленный снегом, да высокие пни. Но о взлете на подъем нечего было и думать.

Чем больше я изучал обстановку, тем тоскливей становилось у меня на душе. Взлетать с такой площадки, да еще на самолете, пролежавшем полмесяца под снегом, явно было нельзя. Здесь вся надежда на моторы, а на них-то я как раз меньше всего и надеялся. Чихнет хоть раз на взлете — и конец! Имел ли я право рисковать людьми, которых повезу отсюда? Нет, такого права мне никто не давал. Надо отказаться от этой сумасбродной затеи. Так будет лучше и честней. Но вместе с тем...

И начались мучительные взвешивания. Разум говорил одно, сердце твердило другое. Тут было все: и разыгравшееся самолюбие (недаром же послали именно меня!), и страх, и опять самолюбие. Ведь если я откажусь, значит, этот самолет останется здесь как свидетельство моего бессилия! С какими глазами я вернусь в полк? Командир пошлет другого летчика, и он взлетит, а скорее всего разобьется. Как я буду тогда себя чувствовать?

Так говорило сердце. Но разум, холодный разум был неумолим. Уж очень, очень велик был риск! Велик и смертельно опасен. На карту ставилась жизнь не только моя, но и этих вот копошащихся возле машины пяти человек.

По протоптанной в глубоком снегу тропинке я подошел к самолету. Под крыльями сугробы. Возле мотогондолы проталины, желтые пятна от пролитого масла. Моторы укрыты ватными чехлами, и под ними, гоня по трубам к цилиндрам горячий воздух, громко гудели обогревательные лампы. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, каких героических усилий стоило техникам поднять в таких условиях машину на шасси.

Один из техников, высокий и худой, как жердь, вопросительно взглянул на меня грустными глазами:

— Ну, как вы находите площадку, товарищ капитан?

Все насторожились в ожидании ответа. А я смотрел на их уставшие лица, на их почерневшие от масла и потрескавшиеся от мороза пальцы. Нет, я не мог ответить им отказом. Просто не в силах. Я вздохнул и, к своему собственному ужасу, сказал:

— Готовьте моторы к запуску.

И в душе моей что-то произошло, какое-то короткое замыкание. Сомнения исчезли, остался отчаянный холодок. Решение принято, и с этого момента все помыслы, вся энергия, весь ум и все умение должны быть отданы

только одному — выполнению невыполнимого. Потому что так было надо — и все!

Ох, как ждали уставшие люди этой моей команды! В мгновение ока были погашены и убраны обогревательные лампы, сняты чехлы. И уже в кабине сидит техник, и мотористы прокручивают винты. От прогретых цилиндров тянуло теплом, и над моторами играло марево.

— От винто-ов!

— Есть от винтов!

Стрельнув синим дымом, запустился левый мотор. Вслед за ним — правый. Лес, сбросив от неожиданностей к своим ногам лавину пушистого снега, ответил многократным эхом.

Все ожило вокруг, и мне уже перестали казаться враждебно опасными сосны, на которые мне предстояло взлетать.

Моторы прогреты, опробованы на всех режимах. Техник вылез из кабины, и я занял его место. Парашют? К черту! Мне не нужен парашют!

Пережевывая смесь, аппетитно чавкали моторы. Пахло горячим маслом, пахло живым самолетом. Я вживался в него, старался завести с ним дружбу.

Проверил себя: как, боюсь хоть немного или не боюсь? Нет, я не боялся. Мне сейчас нельзя бояться. Совсем нельзя. Нисколечко!

Техник и мотористы, дружно погрузив чехлы и лампы, забрались в самолет: двое в кабину штурмана, трое в хвостовой отсек. Отчаянно смелые люди! Ведь знают же, что площадка мала и непригодна для взлета, а вот, поди ж ты, садятся! И на лицах их не было видно страха, только радость: «Конец тяжелой работе. Через несколько минут мы будем в блаженном тепле».

Я положил левую руку на секторы управления моторами: пошли, голубчики! Заурчали, рявкнули двигатели. Самолет, качнувшись, тронулся с места. Я знал, что мне делать. Сначала, чтобы примять хоть немного снег, мы пробежим до конца поля, затем обратно — до другого конца. Потом я все повторю сначала и уж только тогда... Пошли, пошли голубчики!

Самолет бежал неохотно. Уж очень глубокий был снег. И еще сильно мешали поперечные борозды поля. Машина прыгала, стучали шасси, в воздухе прозрачным облаком висела снежная пыль.

И все же мне было страшно. Страх был глухой, затаенный. Но его подавляла необходимость. Это она, необхо-

димость, двигала сейчас моими пальцами, сжимавшими штурвал и секторы газа. Это она зорко смотрела вперед, на вспаханный колесами снежный покров, на молчаливую стену леса. Я подчинялся ей, необходимости. Она была сильнее страха.

Одна пробежка. Вторая. Возвращаясь обратно, я зарулил как можно дальше, и, чтобы не оставить себе времени на раздумывания, дал полные обороты моторам. На взлет!..

Машина бежит, прыгает. В груди холодок. Слушаю каждой клеткой своего тела, как медленно-медленно нарастает скорость. Мы бежим под уклон, на сосны. Страха нет. Ничего нет. Все чувства выключены. Я только слушаю, слушаю...

Самолет становится легче. Еще легче. Но лес все ближе, ближе. В груди холодок все больше, больше. Хочется дернуть штурвал, чтобы подорвать машину, скорее очутиться в воздухе. Но я терплю. Терплю сколько можно, до самой-самой последней грани. Здесь горячиться нельзя: поддернуть машину раньше времени — это значит уронить ее на землю, потерять всю скорость и врезаться в сосны.

Я жду... Жду... Пора!

Чуть поддернул штурвал. Самолет подскочил, оторвался, повис, качаясь в воздухе, и медленно поплыл к соснам.

Высокие сосны, страшные сосны. Ах, как хочется, потянув штурвал на себя, перескочить через них! Но это невозможно: мала скорость. И я смотрю, смотрю расширенными глазами на сучковатые стволы. Вот тут-то, если чихнет мотор...

Самолет плывет, плывет на малой скорости. Моторы ревут, ревут на полной мощности, отдавая без остатка все свои две тысячи лошадиных сил.

А сосны ближе, ближе... Перетяну или не перетяну? Макушки сосен проплыли рядом. Неужели? Неужели проплыли?! Я не верю такому счастью. Да, проплыли. И у нас уже высота пятьдесят метров. Сто!.. Двести! Я безмерно счастлив. Мы летим как надо. Я даже убавил обороты моторам. И мы видим впереди аэродром. Вот он, совсем близко. Стоят самолеты...

Тррах-х! Левый зачихал, закоптил, затрясся... Чихай! Мы уже идем на посадку, и нам совсем, совсем не страшно. Вот чихнул бы ты при взлете...

Как это случилось

До Нового, 1943-го года осталось три дня, а я все еще сидел на чужом аэродроме.

Приняли меня хорошо. Определили на квартиру к командиру учебной эскадрильи капитану Ефимову. И сам Ефимов, и его жена, маленькая голубоглазая женщина с толстой русой косой во всю спину, люди хорошие, очень гостеприимные. Я в их глазах овеян боевой романтикой. Они оба ухаживают за мной, предупреждая все мои желания, и мне от этого неловко. Стараюсь быть поменьше дома. Хожу на линейку к самолету, мужественно мерзну возле техников. Однажды хотел помочь, схватился голой рукой за гаечный ключ да так и примерз к нему. Мороз подкручивал к тридцати.

Техники измучились вконец. Моторы никак не хотели нормально работать. Крутятся, крутятся, гудят, ревут на разных режимах, все хорошо — и вдруг: тррах-тах-тах-тах! — затарахтят, задымят, застреляют. Черт бы их побрал совсем! На ребят жалко смотреть: промерзли насквозь. Черные стали, как головешки. На пальцах, на ладонях кусками сорвана кожа. Проклятый мороз!

Ломаем головы, гадаем, отчего барахлят моторы? Перепробовали все. Снимали, продували, чистили карбюраторы. Нет, все то же! Может быть, что с зажиганием? Нет, не то. Не могут же по этой причине барахлить сразу оба мотора?

Я подозревал, что где-то в системе бензопровода замерзла капелька воды, и гуляет теперь по трубкам ледяная пробочка. Может быть, и так. А что делать? Разбирать самолет, снимать баки?

Как смогли, продули воздухом бензосистему. Вроде бы ничего. Запустили моторы, опробовали, облетали в воздухе — нормально. И решили: тридцать первого, в канун Нового года, вылететь. Надоело все, тянуло в полк.

Ефимов с женой принялись меня уговаривать:

— Да куда же вы полетите? Оставайтесь. Вместе встретим Новый год.

Но я стоял на своем:

— А ребята? Вы посмотрите на них: головешки! Одни носы остались. Нет, полетим. До полка-то всего — час пятнадцать лета. Как-нибудь...

Я планировал так.

Дни стояли безоблачные. Взлетим, наберем над аэро-

дромом высоту. Тысячи три-четыре. И пойдем. Если и чихнут невзначай моторы, у нас высота. Почихают, почихают и опять заработают. А там и Москва, и наш аэродром...

Но утром оказалось все не так. Небо покрылось облаками, и мороз упал до десяти. Мороз ничего, но вот облака!.. Что делать? Как поступить?

Моторам я не верил нисколечко. То, что облетывал позавчера, — это они притворились. Лететь или не лететь?

Техники молча, не говоря ни слова, смотрели на меня умоляющими взорами. И я сдался:

— А, ладно, как-нибудь. Полетели, ребята!

Мигом загрузили машину имуществом, погрузились сами. Запустили моторы, взлетели. Набрали высоту шестьсот метров и уперлись в облака. Мала высота. Очень мала! У меня от неприятных мыслей сосет под ложечкой. Может, вернуться? Или уйти —за облака? А что это даст? Земли не будет видно. Откажут моторы — придется планировать на авось. А здесь места гиблые, сплошные леса, да еще какие! Даже лоси водятся. Сам видел. Стоят в буреломе, как лошади, головы друг другу на шею положили, нежатся.

Летим. Проходим Иваново. Проходим Лежнево. Хвала аллаху, сто километров позади. Моторы гудят, винты крутятся. Надолго ли?

Скоро Суздаль. Ищу глазами город. Дымка, видимость неважная. Под нами сплошные леса. И вдруг — трррахх! И... тишина. Отказали оба мотора... Враз! Винты еще крутятся по инерции, но моторы мертвы. Высота пятьсот метров... Четыреста!.. Триста!.. Самолет валится вниз. Камнем. Лихорадочно шарю глазами: нет ли где какой площадки?.. Нет. Лес. Сплошной лес.

Двести метров! Сто!.. Мчусь на сосны. Все — конец... И именно в эти-то последние секунды передо мной, необъяснимо откуда, появилась полянка. Откуда она взялась? Ведь не было же ничего! Сплошной лес—и вдруг!!. Хорошая, довольно большая полянка. Сосны выше меня! Я еще жив?! Жив. Перед глазами ровная-ровная снежная целина. А вдруг это болото?..

Все еще не веря своим глазам, добираю штурвал. Машина едва слышно касается колесами снега. Бежит, постепенно гася скорость. Впереди внезапно появляется валун. Большой, метра три в поперечнике. Осторожно огибаю его. Еще один — слева. Он не опасен, проносим-

ся мимо. Машина замедляет бег. Я уже начинаю ликовать в душе, но радость оказалась преждевременной.

Я ничего не понял. Удар! Треск. Звон металла, и уже самолет, вздымая к небу каскады снежной пыли, брюхом скользит по земле...

Тишина. Абсолютная. Мне на ресницы падают снежинки. Я все еще держусь за штурвал. Что случилось? Прихожу в себя. В штурманской кабине кто-то встает на колени, шарит рукой. Потерял шапку. Сзади, в фюзеляже кто-то кашлянул, чертыхнулся. Осторожно отпускаю штурвал, открываю фонарь и выбираюсь на крыло. Все ясно: на пути оказалось шоссе с глубокими кюветами.

Вылез техник и мотористы. Все живы, даже ушибов никто не получил.

Из-за поворота дороги, гремя цепями, вылетела грузовая машина. Подъехала, затормозила. Из кабины, широко распахнув дверцы, выскочили двое: шофер в овчинном полушубке, высокий, крепкий, с обветренным лицом, и молодая женщина в тулупе и в пуховом платке. Подбежали. У обоих трясутся губы, страхом наполнены глаза.

— Целы, не убились?! Слава богу!

— А мы видим, вы падаете, скорее к вам. — У шофера большие руки, пальцы в ссадинах и трещинах. Он полез в карман стеганых брюк, достал кисет с табаком. — Закурите, вам легче будет.

— Спасибо, я не курю.

Он сует кисет в карман. Не закуривает, наверное, из солидарности.

— Вас надо устроить на ночевку, — сказал шофер. И к женщине: — Леля, отведешь их к Спиридоновне.

— Нет, там занято. Геологи ночуют. Я отведу их к Марфе.

— Ладно, — согласился шофер. — Садитесь, поехали. Тут недалече.

Нас привезли к Марфе, пожилой степенной женщине. У нее муж и два сына на фронте. Ее большие скорбные глаза полны душевной доброты. Приняли нас как родных, и мне от этого стало почему-то хуже. Или, может быть, оттаяла боль поражения? Ведь эта посадка — мой легкомысленный промах. Саднило в груди. Я не мог простить себе поспешного вылета, приведшего к такому печальному исходу. Не оправдал доверия, разбил машину, чуть людей не погубил...

Не снимая комбинезона и унтов, я прилег на лав-

ку и, очевидно, от нервного потрясения, тотчас же забылся в тяжелом сне.

Меня разбудил уже знакомый шофер, которого звали Федей.

— Командир, командир! Вставайте, закусим, чайком побалуемся.

В соседней комнате за длинным столом возле чугуна с картошкой сидела компания. Нечесаные головы, уставшие, небритые лица. Кто в свитере, кто в гимнастерке, кто в стеганке. Заскорузлыми пальцами, обжигаясь, брали из чугуна горячую картошку, чистили, макали в соль. Тут же стояло деревянное блюдо с солеными огурцами и большой жестяной чайник с кипятком. Ели молча, сосредоточенно. Наевшись, вставали из-за стола, надевали шапки, накидывали на плечи полушубки, кивали на прощание и выходили в морозную ночь. Тотчас же за стеной во дворе взвывал на высоких нотах мотор, скрежетали шестерни коробки скоростей, и тяжело груженная машина, звеня цепями на колесах, выползала на обледенелое шоссе.

Я ел через силу, обдумывая, как мне теперь добраться до полка, не имея при себе никаких документов: ни командировочного предписания, ни литера, ни отпускного свидетельства. Все это в спешке было забыто, и сейчас билета мне никто не продаст и в вагон не посадят. Обо всем этом я рассказал Федору. Тот рассмеялся.

— Попали вы, командир, в переделку. Ну что ж, выручим вас. У моей сестренки, у Лельки, парень один знакомый проводником на пассажирском ездит. Как раз сегодня в двенадцать он и пройдет здесь. Договоримся, посадим.

Федор сам отвез меня к полустанку. Мы сидели в кабине втроем. Поезд запаздывал. Я нервничал, а Федор то и дело прогревал мотор. Леля, склонив мне голову на плечо, мирно посапывала в беззаботном сне.

Поезд показался лишь во втором часу. Мы вылезли из теплой кабины и пошли куда-то в кромешную темноту. Прошипел паровоз, и лязгнул буферами состав.

— Восьмой, где восьмой? — закричала Леля.

— Нету восьмого! — хрипло ответил чей-то старческий голос. — Отчепили в Иваново!

— Вот те на! — ахнула Леля. — Как же так?!

— А так. Бандаж лопнул.

— Дядя Вася, это ты? — спросила девушка.

— Я, — прохрипел проводник. — А это хто — Лелька?

— Я, дядя Вася, я!

— Чего тебе?

Леля подбежала к ступеням вагона и вполголоса принялась объяснять.

— Нет, — сказал проводник. — Не могу, не проси. У нас ведь строго. Найдут без документов — греха не оберешься. А у меня ведь, сама знаешь, семья-то вон какая стала...

Паровоз дал свисток, зашипел парами.

«Ну уж нет! — в отчаянии подумал я. — Без меня ты не уйдешь!» Нащупал в темноте руку Федора, пожал, сказал торопливо:

— Спасибо, милые люди, и прощайте. Я поехал.

Вагон медленно полз мимо меня. Вот и вторая площадка. Я вскочил на нее, подергал ручку: может, открыта? Нет, конечно, заперта. Ну, сейчас мы ее откроем.

Достал из кобуры пистолет, вынул обойму с патронами и, оттянув рамку затвора, вставил ствол своего «ТТ» в замочную скважину. Так, хорошо. Поворот. Замок открылся. Я вошел в тамбур, осторожно закрыл за собой дверь и запер ее таким же порядком.

Было без пяти два, когда я, еще раз применив пистолет, открыл вторую дверь и пробрался в битком набитый спящими пассажирами вагон. Поискал глазами, где бы примоститься. Ага, вон есть местечко под самым потолком, на багажной полке! Залез, отодвинул какие-то ящики и, сняв унты, соорудил из них подушку. Ноги втиснул в пространство между потолком и чьим-то баулом. Не очень удобно, но спать можно.

Засыпая, вспомнил: черт возьми, да ведь сейчас же— Новый год! А я... еду зайцем по железной дороге! Но все равно: с Новым годом, с новым счастьем, товарищ летчик!

Проснулся оттого, что кто-то бесцеремонно дергал меня за ногу.

— Эй, гражданин, проснитесь, приехали! — Я открыл глаза и поднял отяжелевшую голову. Было уже светло. Сквозь давно не мытые окна в вагон пробивался свет морозного утра. Из-за открытой двери под потолок били струи чистого пьянящего морозного воздуха.

— Что? Приехали? Куда?

— В столицу приехали, в столицу. Да отдайте же, ради бога, мой баул!

— Ах, баул, простите!

Я поджал ноги. Пожилой усатый мужчина в лисьей шапке и старомодном пальто с облезлым меховым воротником, сердито хмуря лохматые брови, схватил баул и стащил его вниз.

В вагоне стояла сутолока. В узком проходе, сталкиваясь, словно в водовороте, плыли узлы, мешки, фанерные чемоданы. Я обулся и, улучив момент, опустился на пол. Проходя через тамбур, бросил взгляд на свое отражение в дверном стекле. Ну и ви-и-дик! Опухшее от неудобного сна лицо, под глазами темные круги, подбородок в щетине. До первого патруля. А мне еще надо добраться на Каланчевскую, к электропоезду. А комендантские посты на вокзалах, я и забыл про них. Ведь там без пропуска не пройдешь.

Шагая вместе с толпой по подземному переходу, усиленно думаю, как мне быть. Но ничего не придумал. Толпа поднесла меня к проверяющим КПП. Прочные барьеры из толстых труб, узкие проходы. Четыре младших командира со строгими лицами под командой еще более строгого лейтенанта придирчиво рассматривали пропуска.

— Проходите! Следующий! Не толкайтесь. Кому говорят! Не спешите.

Оказавшись в проходе барьера, я локтем сдвинул на живот кобуру с пистолетом и, взяв в руки планшет и меховые перчатки, сделал вид, что собираюсь достать документ, да вот — руки заняты, неудобно.

— Проходите, товарищ летчик, — сказал лейтенант и одарил меня теплым взглядом. — Следующий!

Над Москвой стояла розовая дымка, сквозь которую просвечивал медный диск солнца. Ожидая электричку, я с беспечным видом прохаживался по дощатому настилу платформы. Звонко скрипел снег под унтами, валил пар изо рта. Мне было чертовски не по себе. Опять предстояло ехать зайцем. Чтобы купить билет, я должен предъявить какой-то документ.

Подошел поезд. Я вошел в вагон и, увидев свободное место, сел. Рявкнули клаксоны. Площадка поплыла назад. Все быстрее, быстрее. Мост. Трамвай, троллейбус. Вид на Каланчевскую площадь. Древние московские избушки. Сараи. Склады. Заборы, заборчики. Заводские трубы. Стучат колеса, стучит мое сердце: вот-вот сейчас откроется дверь, войдет ревизор, начнет проверять билеты, что я скажу? Стыд-то какой...

Вагон празднично расцвечен свежими листами газет, которыми шуршат пассажиры: «С Новым годом! С Новым годом!».

Против меня сидит важный пожилой гражданин в каракулевой шапке. На носу — пенсне. Читает «Правду», остро пахнущую свежей типографской краской. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей о ревизоре, я тоже приноравливаюсь читать последнюю страницу. Газета полна сообщениями о фронтовых делах и героизме тружеников тыла. Сосед шевельнул листом, и газетная страница, загнувшись, закрыла текст. Я с досадой отвернулся к окну. Теперь передо мной расстилался унылый пейзаж с дымящимися заводскими трубами, с оврагами, заваленными разным металлическим хламом.

Бросаю досадливый взгляд на читающего пассажира. У меня к нему неприязнь. Такой важный, медлительный. Перед моим носом перевернутый вверх ногами текст, набранный крупными буквами: «Указ...»

Сзади, громыхая роликами, тяжело открывается дверь.

— Граждане, приготовьте билетики!

Я съеживаюсь, будто меня кто стукнул по затылку. На меня смотрят или мне это только кажется? Делаю вид, будто очень заинтересован указом. Читаю:

«...Президиум Верховного Совета Союза ССР...»

С дрожью слушаю, как, приближаясь ко мне, пощелкивает сзади компостер. «Черт возьми, что же делать?! Бежать? Неудобно». Сижу как прикованный, читаю:

«...о присвоении звания Героя Советского Союза...»

И вдруг мой взгляд натыкается на знакомое сочетание букв. У меня захватывает дыхание. Черт возьми, не может быть! Да ведь это же моя, моя фамилия!

Я выхватываю у незнакомца газету.

— Па-а-звольте! — изумленно восклицает гражданин. — Что вы делаете?!

Лицо его вытянуто, глаза по блюдечку, пенсне вот-вот свалится с носа. Он протягивает руку за газетой.

— Подождите, подождите, — бормочу я, отводя его руку и жадно впиваясь галазами в строчки указа. — Ведь это меня!

Все пассажиры, вытянув шеи и привстав с мест, смотрят в нашу сторону.

— Что случилось? Что случилось?

— Да тут пьяный какой-то...

— Он ненормальный, что ли?

— Тише, тише, товарищи, ну как не стыдно!

Первым приходит в себя мой сосед. Он забирает у меня газету, поправляет пенсне, дрожащими пальцами разглаживает измятые страницы.

— Простите меня, пожалуйста, как ваша фамилия, молодой человек? — голос его дрожит от волнения.

Я несмело, будто чужую, называю свою фамилию, и имя, и отчество.

— Да, да! Совершенно верно! — восклицает незнакомец, приподнимаясь и растерянно снимая шапку: — Поздравляю вас сердечно и прошу простить великодушно!

В вагоне тишина, затем взрыв голосов:

— Где? Что?

— Не может быть!

— Поздравляем вас, поздравляем!

Зашуршали газеты, расцвели улыбки.

— Герой Советского Союза!

— Смотри-ка ты! Смотри-ка!

Я сижу совершенно обалдевший, не свожу глаз со строк указа, упиваюсь непередаваемой музыкой слов: «Герой Советского Союза!..»

Ко мне подошел ревизор:

— Ваш билетик, молодой человек.

Я сваливаюсь с «седьмого неба».

— А, что? Какой билетик?

— Послушайте, товарищ ревизор! — грозно прогудел чей-то бас. — Будьте хоть сейчас человеком! Тут такое дело, а он...

— Извиняюсь, — сказал ревизор. — До меня не сразу дошло. Поздравляю и не смею беспокоить.

— Спасибо, — ответил я. — Большое спасибо!

Все это было для меня так неожиданно. Да и не только для меня. На мои недоуменные вопросы, как это случилось, командиры пожимали плечами. Наградной лист на Героя? Нет, не посылали. На орден Красного Знамени — да. Было дело. Но это полгода назад — 20 июня.

Двадцатого... Двадцатого. Перебираю в памяти промчавшиеся месяцы войны, листаю летную книжку. Первый свой боевой вылет я сделал 25 мая. Месяца не прошло, и уже командир полка Щербаков и комиссар Морозов подписывают наградной лист: «Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени».

Конечно, это было рано, и в штабе АДД лист поло-

жили отлежаться. И вот... такая награда! Ничего не понимаю, почему так, вдруг?

Через неделю отправляюсь в Москву, в Кремль. Вместе со мной по каким-то делам едет заместитель командира дивизии Федоров, получивший звание Героя еще в финскую войну.

— Не ломай голову! — смеется он. — Все идет как надо. Ты же знаешь: за работой АДД следит сам Верховный Главнокомандующий. А у тебя целых три полета на Берлин. Да еще, да еще...

Поезд замедлил ход. Москва. У меня от волнения вспотели ладони. Сегодня 13 января... Тринадцатое?! Вот это здорово! Тринадцатая койка, тринадцатый по списку, тринадцатое января. Между прочим, из тринадцати я остался один... Ничего не поделаешь — подкидыш, а у подкидышей все наоборот. Вот и не верь после этого в приметы!

Операция «Карак»

Я снова получил совершенно мирное задание: нужно было перегнать свой самолет в Семипалатинск, в военную школу.

Видавший виды, весь латаный и перелатанный, самый старый бомбардировщик в полку отвоевался. И теперь ему остается дослуживать свой век на учебно-тренировочных полетах в авиашколе. Редкостная судьба! Его собратья давным-давно превратились в груды ржавых металлических обломков, разбросанных по полям войны.

Мне жаль машину-старушку. Я так привык к ней! Пусть она кренит немножко и движется в воздухе по-собачьи — боком, но ведь на ней мы сделали столько боевых полетов — и близких, и дальних! На ее крыльях мы перевезли и сбросили по врагу тонн полтораста бомб. И возили бы еще, но командир сказал: «Пора! Пора старушке на пенсию». Ну что ж, на пенсию так на пенсию — полетели!

Погода выдалась хорошая. Январь 1943 года стоял во всей своей красе. Холодное небо — чистое-чистое, холодное солнце, холодная белизна. Летим, а сердце тук-тук-тук! Я ощущаю давно забытое волнение полета. Мирного. Дневного. И территория под нами не тронута войной. Смотришь — не насмотришься. Крыши хат, занесенные снегом. Дымки над ними синие, веревочкой. Бе-

резки в инее, провода. По накатанным проселкам бегут лошадки, запряженные в сани. Мужики в тулупах. От лошадей пар, даже сверху видно. Все чистое, все белое, до чего ж хорошо!

Под нами проплывают города, городки, деревушки, села. Реки и речки, покрытые льдом, железные дороги. Все видно, как на ладони, потому что день. Непривычно.

Пролетели Выксу, Саранск, Куйбышев. Ночевка в городке Н. Аэродром полевой, но и здесь, хоть и тыл, ощущается строгость и постоянная готовность: в любую минуту сняться, полететь, пойти, поехать — куда укажут.

Мы ночуем в комендатуре: на диванах и топчанах, положив под головы парашюты. На дворе ночь. Звезды по кулаку. Мороз. Сугробы под самые окна. Пылает уголь в печке, пронзительно визжит промерзшая дверь. Из прихожей в помещение врывается клубами пар, и тогда по ногам тянет холодком. Хорошо! Почему-то именно в такой вот контрастной обстановке острее ощущается вкус к жизни.

Утром долго прогревали моторы, мороз завернул под сорок. В небе розовая дымка и холодный диск солнца. Взлетаем. Набираем высоту, берем курс на восток. В груди копошится какое-то стыдливое чувство: сегодня ребята опять пойдут на боевое задание, а мы летим на восток. Ощущение такое, будто дезертируем. Враг-то на западе! Мелькает мысль: «Отхватил Золотую Звездочку — и в кусты!» Гадко. И уже не хочется лететь, и настроение испорчено.

И самолет тоже летит вроде бы нехотя. Привычное ухо нет-нет да и уловит какое-то едва различимое утробное рычание в моторе. В каком — не разберу. На всякий случай набираю высоту. Три тысячи метров. Четыре. Пять! Маячивший перед нами Уральский хребет расплющился, расползся и превратился в незначительную неровность, и только! Разве это горы?! Вот в Средней Азии горы так горы!..

И тут неожиданно чихнул левый мотор. Этого еще не хватало! Из-под капота потянулся веревочкой белый дымок. Евсеев кинулся к левому борту, приткнулся лицом к иллюминатору:

— Что с ним?

— Черт его знает!

Несколько минут поработав ровно, мотор затрясся, зачихал, закашлялся. Все — спекся!

Убираю обороты и принимаюсь лихорадочно шарить глазами по местности. Мы как раз над хребтом. Только что прошли Уфу. Вернуться, найти аэродром, сесть? А впереди дымятся заводские трубы. Сверяюсь с картой — Челябинск. Пойдем вперед, все ближе к цели!

На окраине города аэродром. Стоят рядами корпуса. Очевидно, школа. Садимся. Подруливаю ближе к служебному зданию, выключаю моторы. На аэродроме ни души. Понятно, сегодня воскресенье, а у них в тылу в эти дни не летают. Выходной.

Вылезаем из самолета. Ветер несет поземку. Холодно, неуютно. Что может быть хуже прерванного полета! Чужой аэродром, чужие люди. Сейчас же расспросы: чей, откуда? Зачем сели? Поесть — проси, поспать — проси, запчасти — тоже проси. Что дадут, а что и не дадут. Я с тоскливым беспокойством смотрю на ряды истребителей и штурмовиков: моторы у них не такие, как у нас...

Появляется дежурный с красной повязкой на рукаве шинели и с тремя «кубарями» в петличках.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Неисправно что-нибудь?

— Да. Мотор отказал.

— Гм... — почесал в затылке, постоял, подумал, придерживая от ветра полу шинели. — Ночевать будете?

— А как же — придется.

— Тогда пошли в дежурку, что ли. Холодно здесь.

Я посмотрел на техника.

— Кравцов, тебе помочь?

Техник, сдвинув тыльной стороной ладони сползавшую на глаза шапку, сказал виноватым голосом:

— Да не мешало бы, товарищ командир. Как бы не пришлось снимать цилиндр.

— Ци-ли-индр?! Черт возьми, это плохо.

— Куда уж хуже...

— Я останусь, товарищ командир, — сказал Заяц.

— Хорошо, — согласился я, — оставайся, а мы пойдем устраиваться.

В дежурке стоял присущий только этому помещению многослойный запах махорочного дыма, пота и сапожной мази. Потрескивал уголь в голландке. Огненные крошки с легким шорохом падали из раскрытого поддувала на проржавленный железный лист, усеянный окурками, и тут же тускнели, превращаясь в пепел.

Мы с Евсеевым сели на старый дерматиновый диван, протертый до дыр, дежурный устроился за своим столом. Прижав к уху трубку полевого телефона, он тусклым голосом принялся вызывать какого-то Кулагина, потом Степанова, затем Балабашкина. Никто не отвечал. Дежурный взял другую трубку.

— Эскадрилья? Эскадрилья? Але! Але! Капитана Елизарова. Але!

За окном темнело. Выло в трубе, позвякивало в форточке стекло. Меня одолевали невеселые мысли: «Черт бы побрал этот мотор! Что с ним? Если поломка серьезная, наше дело труба. Здесь вряд ли удастся найти нужные запчасти. От полка далеко. Запрашивать? Ждать? Или оставить здесь самолет и техника да рвануть в полк? Вряд ли за это похвалят. А с другой стороны... А, ч-черт! Тоска зеленая. Не могу же я здесь отсиживаться. Не могу!»

В коридоре заскрипели половицы под чьими-то шагами, взвизгнула дверь, и на пороге появились радист и техник. Уже по их лицам я догадался: дело плохо.

— Прогорел поршень, — хмуро сказал техник. — Задралось зеркало цилиндра, а у нас в запасе только одни компрессионные кольца.

— Тэ-э-эк, — протянул Евсеев, швыряя окурок к печке. — Значит, засели, как говорится.

— Засели, — поднявшись со стула, чтобы включить свет, подтвердил дежурный. — У нас к вашим моторам ничего не найдется. Это уж точно. Летом садились к нам на вынужденную Ил-4, толкатели, что ли, полетели, так летчики отправляли за деталями в полк радиста. Почти месяц сидели.

В дежурке наступила обволакивающая душу тишина. Шуршали падающие угольки, да вздыхали Заяц с Кравцовым.

Нет, сидеть здесь без дела мне не хотелось никак! Только вчера мы ходили на цель, на бомбежку. Ночь, линия фронта. Прожектора, зенитки. Напряжение. И вдруг — безделье! Это у них сегодня выходной, а завтра чуть свет начнутся полеты. И днем и ночью. Мирные, правда: по кругу, в зону, учебные стрельбы, но труд-то какой — ничуть не меньше, чем у нас! Как же мы будем чувствовать себя в такой деловой обстановке?!

Наши готовятся сейчас к боевому вылету, а мы вот тут, за тридевять земель, слушаем нудное «але». И какого черта я согласился на этот полет?!

Опять шаги по коридору. Скрипнула дверь. Вошел капитан, подтянутый, стройный, с открытым веселым лицом, шапка в инее. Щелкнул каблуками, представился:

— Командир третьей учебной эскадрильи капитан Елизаров! Здравствуйте, боевые орлы!

Мы поздоровались.

— Припухаем?

— Припухаем.

— Вам не грех!

— Как сказать.

— Отчего же?

— Душа болит, злоба душит.

Капитан помрачнел, дернул плечом, покосился на дежурного:

— А нас не душит? Да в нашей школе нет ни одного командира, чтобы не просился на фронт! А толку? Позавчера нам объявили перед строем приказ: кто подаст рапорт, будет отправлен в штрафбат. Так-то вот.

Капитан посмотрел на часы:

— Ну ладно, друзья, пойдемте для начала в столовую. Аттестаты у вас? Хорошо! А спать я вас устрою у себя в эскадрилье. Пошли.

Я ужинал нехотя. Мысль билась, как птица в клетке. Улететь! Завтра мы должны улететь. Но как? Где достать цилиндр и поршень?

Елизаров сидел с нами, развлекал разговорами. Видно было — он бесконечно любит свое дело. Я слушал вполуха. Славный командир, хороший учитель. Разве такого отпустят?.. Стоп! Я что-то придумал! Мысль дерзкая, но выполнимая, и надо действовать немедленно! Назовем это дело (я усмехнулся про себя) — операция «Карак» *.

И я сразу же повеселел. Теперь-то уж мне что-то «светило», и у меня появилась цель. Итак, операция «Карак»!

Придвигаюсь к капитану и осторожно, как бы из вежливости, спрашиваю у него, какие моторы они изучают.

Елизаров, загоревшись, начинает перечислять, загибая пальцы. Я терпеливо жду. Ага! Наконец-то, самым последним он называет наш М-88-б!

— И у вас есть, э-э-э... экспонаты?

---

* Карокчи — по-узбекски вор, грабитель.

— А как же! — восклицает капитан. — Классы что надо! Целый музей. Хотите посмотреть?

— Охотно!

Елизаров польщен, а Евсеев смотрит на меня с недоумением: нашел что смотреть — моторов не видел! Только Заяц, кажется, понял, в чем дело: допивая из стакана чай, он широко ухмыльнулся и хитро посмотрел на капитана. Я незаметно ткнул Зайца ногой под столом и подмигнул: «Помалкивай!»

Мы поднялись. Капитан Елизаров как-то смущенно улыбнулся и, похлопав себя по карманам, вынул связку ключей:

— Пошли?

На улице было темно и морозно. Скрипел снег под ногами, чернея глазницами окон, дремали корпуса. Лишь в одном, стоявшем в отдалении, светился нижний этаж. Желтые снопы яркого света ложились на сугробы снега и на елочки, усаженные строгими рядами. Ну не так! Совсем не так, как там у нас! Ведь это же кощунство — без светомаскировок!..

И мне еще сильнее захотелось в полк, к своим друзьям, в свою, уже ставшую привычной, обстановку. Но путь туда лежал через... операцию «Карак»! А что поделаешь? Цель оправдывает средства!

И вот мы в учебном корпусе. Включив свет, Елизаров повел нас по длинным пустым коридорам. Классы направо, классы налево. На дверях таблички: «Класс самолетоведения», «Теории авиации», «Аэронавигационный», «Электрики», «Вооружения». И в каждом из них мы искренне ахали от восхищения: экспонаты, фотографии, диаграммы, все так здорово сделано, с такой любовью и вкусом! Это был истинный храм науки. Елизаров рдел от наших похвал.

Но чем ближе мы подходили к моторному классу, тем сквернее становилось у меня на душе. Обмануть такого человека!.. А как же быть? Сидеть здесь и ждать у моря погоды?! А что, если... попросить? Честно. Так, мол, и так: дайте нам, товарищ капитан, поршень и цилиндр от экспоната, мы их поставим на свой мотор и улетим.

Я мысленно попробовал обменяться с капитаном ролями: не я у него, а он у меня просит этот распронесчастный поршень и цилиндр. Конечно, я великодушно даю — бери, не жалко! Самолет улетает. И вот с ним в пути что-то случилось. Туман, непогода. Или, скажем,

отказал мотор, даже не левый, а правый. Авария, а может быть, и катастрофа. Как бы стал чувствовать себя капитан, то бишь я?

Следствия, переследствия, протоколы допросов. Находятся свидетели: «Командир 3-й учебной эскадрильи такой-то, грубо нарушив то-то и то-то, дал летчику детали от аварийного мотора, что явилось причиной...»

Я так увлекся этим вариантом, что чуть не прошел моторный класс. Капитан Елизаров остановил меня за локоть и как-то сочувственно заглянул мне в глаза:

— Вы что?

— Да так, ничего, задумался немного.

— Бывает, — лукаво усмехнулся капитан и отпер дверь.

Большой зал, столы. Вдоль стен — стеллажи. На стеллажах — приборы и разные детали. Их много — глаза разбегаются. Возле громадной доски — кафедра преподавателя, а справа и слева — моторы на стендах. Моторы разрезаны так, что хорошо видно все их внутреннее устройство. Нетерпеливо шарю глазами: ага, вот он — наш М-88! Двухрядная звезда с ребристыми цилиндрами. Рядом на стеллаже — детали мотора: коленчатый вал, шатуны, несколько цилиндров. Техник как завороженный подошел к стеллажу и любовно, словно хрустальную вазу, снял с полки цилиндр.

Капитан рассмеялся:

— О! Нет-нет, он негодный! Эти детали мы получили с завода. Брак. Волны на зеркале, трещины и прочее. Видите — внутри красные отметки?

О, ч-черт! Я готов был растерзать техника. Надо же так — всю обедню испортил!

— Кравцов, положи на место цилиндр! — резко сказал я.

— Ничего, ничего, что вы! — поспешил на выручку Елизаров и взял из рук смутившегося техника цилиндр. — Мы держим их с целью, чтобы научить летчиков и техников отличать неисправные детали от исправных.

Он положил на место цилиндр и взял другой.

— А этот вот совершенно исправный. Тут недалеко разбился в непогоде Ил-4. Новенький, с завода. А вот и поршень от него, вместе с кольцами!

Положив цилиндр на кафедру, Елизаров достал и поршень.

Я нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Мне стало

жарко. Техник, словно он с голоду умирал и ему показали шашлык на вертеле, сглотнул слюну и, пряча горящие глаза, сбычился. А Заяц изо всех сил, пытаясь сделать равнодушный вид, отвернулся, чтобы рассмотреть какой-то чертеж, висевший на стене. Евсеев, скользнув по поршню равнодушным взглядом, полез в карман за портсигаром:

— Можно закурить?

— Пожалуйста, — сказал капитан и, положив поршень рядом с цилиндром, вдруг заторопился: — Ах, простите! Я совсем забыл, ведь у меня билеты на второй сеанс!

Мы вышли с таким чувством, будто нас обманули, ограбили. Гулко раздавались шаги капитана в пустом коридоре. Поспевая за ним и шаркая унтами, я машинально пересчитывал двери. Так, без всякой задней мысли: восемь шагов — дверь, восемь шагов — еще дверь. И когда мы дошли до поворота, я насчитал тринадцать дверей. Тринадцать! Гм... Забавная цифра!

— Чертова дюжина! — тихо сказал Евсеев.

Я встрепенулся:

— Что?

— Ничего, я так.

Сейчас вот — слева — выход. Но капитан свернул направо, и я с трудом воздержался от восклицания. Ладно, пусть ведет — он хозяин.

Еще поворот — лестница. Поднялись на второй этаж. Елизаров щелкнул выключателем. Небольшой холл, кадушка с фикусом, круглый стол, диван, два кресла и гудящая печь. Возле нее — груда душистых сосновых поленьев.

Погремев связкой, Елизаров нашел нужный ключ, отпер единственную дверь и, распахнув ее, по-хозяйски пригласил:

— Прошу!

Мы вошли. Щелкнул выключатель.

— Вот это си-ила! — воскликнул Заяц. — Не то что в Бузулуке!

Помещение и в самом деле было отличное. Шесть аккуратно заправленных коек, диван, стол, покрытый тяжелой плюшевой скатертью, зеркальный шкаф для одежды. В дальнем углу — застекленная дверь, очевидно, в туалетную.

Елизаров взглянул на часы:

— Располагайтесь и... извините, я побегу. А вот вам

ключи: от гостиной и от входной. — Он положил ключи на стол. — До завтра!

И побежал, громко топая сапогами по лестнице. Хлопнула дверь внизу. Мы стояли ошарашенные: какой прием!

А мне было не по себе. Я боролся с собой. Ведь такой человек! Такой человек! Ну не мог я выполнить эту чертову операцию! Совесть не позволяла. Я опустился на стул и принялся снимать унты. Заяц и Кравцов последовали моему примеру, а Евсеев вынул портсигар.

— Пойду покурю, — сказал он.

— Валяй.

Мы разделись и, разморенные теплом и уютом, повалились на койки. Хотелось спать. А в голове сумбур. И душа разрывалась на части. Громко вздыхал Кравцов, ерошил свою шевелюру Заяц.

— Нет, не могу так! — воскликнул Кравцов, поднимаясь на койке. — Товарищ командир! Ну разрешите, я возьму грех на свою душу!

Я опешил:

— Какой еще грех?!

— Я тоже! — сказал Заяц. — Вместе пойдем!

А я представил Елизарова. Его честное открытое лицо. Утром обнаружена пропажа. Ерунда, конечно, какой-то паршивый цилиндр и поршень, но разве в этом дело?! Дело в доверии! А тут — украли! Ну, какими глазами я буду смотреть на него? И как укоризненно он посмотрит на меня и отвернется. Боевой летчик, Герой Советского Союза, и — украл!.. Нет, нет, нет! Не могу! Это свыше моих сил. Не пойду я на это!..

— Нет! — сказал я. — Нет. Этого делать нельзя! — И отвернулся к стене.

Слышу: открывается дверь и, отдуваясь и пыхтя, входит Евсеев. «Насосался, куряка!» — подумал я, зная его привычку накуриваться перед сном.

— А, вы уже спите! — воскликнул он и засмеялся мелким смешком. — Вставайте на военный совет. Хе-хе-хе! — И чем-то тяжелым грохнул о стол.

Меня ожгло невольной догадкой. Вскочил, гляжу — так оно и есть! На столе лежали цилиндр и поршень!

Заяц и Кравцов с вожделением смотрели на заветные детали. У Кравцова отвисла челюсть, и он, не в силах оторваться взглядом от стола, принялся торопливо натягивать на себя комбинезон. А Евсеев, скрестив руки на груди, стоял с победоносным видом.

— Целуйте пятку турецкому паше! — И подмигнул Зайцу: — Сила?

— Сила! — отозвался Заяц.

Я промолчал. Чего уж тут говорить? Живой цилиндр и поршень повергли в прах мои моральные устои.

Конечно, поршень и цилиндр нужно было поставить на мотор немедленно. Заяц с Кравцовым оделись и ушли, таща под мышкой результаты операции «Карак». Поплелся за ними и Евсеев.

— Пойду, — сказал он. — Помогу чем-нибудь. А ты спи — тебе завтра самолет вести.

Меня разбудили затемно. Ребята, блестя глазами, доложили, что все в порядке: поршень с цилиндром на месте и мотор работает, как зверь. Погода отличная, можно вылетать... пока капитана нет.

Я поморщился:

— Нет уж, друзья, удирать мы не будем. Надо попрощаться с капитаном и... покаяться. Зачем улетать с таким грузом!

И Елизаров пришел к самолету. Подошел ко мне сзади и обнял за плечи:

— Ну, ни пуха вам, ни пера. Молодцы!

Я готов был провалиться сквозь землю. Стыд-то какой!

— Слушайте, Елизаров...

Но Елизаров меня перебил:

— Ладно, ладно, старина, о чем разговор! Я же сам все подстроил!

— Са-а-ам?! А какой же был для этого повод?

— Как какой? А кто мне в столовой сигнал подавал? Ногой. Под столом?..

Я обнял капитана:

— Хороший ты мужик, Елизаров!

Курсант Алексеев

Мы не ожидали здесь пасмурной теплой погоды. Сквозь тонкий слой снега тут и там проглядывали черные проплешины земли, и от этого аэродром выглядел неряшливо.

Мы сели. Не зная, куда рулить, я отодвинул фонарь кабины и приподнялся на сиденье. Ага! Вон кто-то бежит навстречу, машет руками. Порулил к нему. Развернул машину и поставил ее на якорную стоянку так, как

сигнализировал мне молодой нескладный моторист в старой, видавшей виды прорезиненной куртке.

С минуту я сидел, отдыхая. Все-таки пять часов полета в довольно скверную погоду давали себя знать. Остудив моторы, я с чувством грустного недоумения ударил пальцами по лапкам выключателя. Моторы, смачно похлюпав, остановились.

Все! Конец. Отвоевалась старушка! Не бомбить тебе больше фашистов. Не блестеть серебром в лучах прожекторов и не стонать от осколков...

Но ты не радуйся, старушка, и покоя не жди. Всякие летчики будут садиться теперь в твою кабину. И не летчики даже — ученики. И ты не будешь для них плацдармом, защитой, надеждой. Ты не будешь возмездием. Ты будешь просто трамплином учлета. И никто не погладит тебя любовно рукой и не поблагодарит за то, что вынесла ты экипаж из зенитной сумятицы...

Я взволнован по-настоящему. Взволнован так, будто мне и в самом деле предстояло расставание с настоящим живым другом. А машина действительно была словно живая. Еще теплились в кабине запахи горячих моторов, еще потрескивали, остывая, цилиндры и слышен был шорох в наушниках.

Евсеев опустился на землю по лестнице, подставленной Кравцовым, и стоял поодаль, и уже в руках у него был портсигар. Продувая мундштук папироски, он с каким-то интересом поглядывал на хвост самолета.

Что он там увидел?

Я вылез на крыло и бросил взгляд туда же, куда смотрел Евсеев. Моторист, совсем еще мальчишка, долговязый, в замызганной шапке-ушанке, в грубых солдатских ботинках с обмотками, выглядел действительно интересно. Но не это привлекало к нему внимание, а его какое-то странное поведение. Он стоял, почти весь прижавшись к самолету, и любовно гладил ладонью небольшую рваную пробоину в борту, которую так и не успели залатать после недавнего вылета на цель. И лицо моториста, совсем еще по-мальчишески свежее, с легким пушком на щеках, выражало столько благоговения к машине, что у меня благодарно и сладко закатилось сердце.

Я спрыгнул на землю. Моторист вздрогнул, обернулся на шум и, встав по стойке «смирно», лихо приветствовал меня, взяв под козырек:

— Здравствуйте, товарищ командир!

— Здравствуйте, — ответил я, отдав ему честь.— Вы кто — моторист?

— Никак нет, товарищ командир! — бойко ответил паренек. — Я учлет. — И, подумав, добавил: — Старший сержант Алексеев! Прохожу ночное переучивание на Ил-4.

Ну, совсем огорошил меня этот парнишка! Контрастная фигура, что и говорить. По обличию — моторист, по поведению — летчик, да еще, видать, какой! А что передо мной стоял прирожденный летчик, в этом я уже не сомневался. Было видно — он страстно любил авиацию, а это в летном деле означало все!

— Та-а-ак, — растерянно протянул я. — Значит, вы учлет. А где же техник или еще кто? Почему нас не встречают и... кому же тогда сдавать самолет?

Алексеев как-то настороженно оглянулся, и на лице его промелькнула на миг такая лукавая ухмылка, что было видно — парень хитрит.

— Товарищ командир! — сказал он, приняв заговорщицкий вид. — Тут у нас такое дело: ну... не хватает самолетов. И-и-и... там война, а мы тут в школе прохлаждаемся. Надоело — вот так! — И он черканул себя пальцем по шее. — Ну и-и-и... я вас встретил. В нашу эскадрилью. — Он снова оглянулся, торопливо, шепотом договорил: — А рулить вам надо было во-он туда... Видите, машут и бегут. А вам все равно, а? Ну, ведь правда, все равно?..

Мне определенно нравился этот паренек. Конечно, он рвался на фронт, и ему хотелось скорее пройти курс обучения, но самолет нужно было как-то сдать по начальству, а не так, кто перехватит.

Я оглянулся. Да, действительно, двое бегут из последних сил и отчаянно машут руками.

Подошел заинтересованный Евсеев, вылез Заяц из своей «норы», растерянно сдвинул шапку на затылок Кравцов, а паренек просяще заглядывал мне в глаза и все твердил:

— Ну все равно ведь, а? Ну все равно?..

И мне снова представился его жест, как он гладил ладонью пробоину, и какое у него при этом было одухотворенное лицо. И вспомнились мои горькие мысли при расставании со своим самолетом. Нет, неправ был я! Глубоко неправ. Этот самолет попадет в настоящие руки.

А двое уже подбегали, и надо было на что-то решиться. И я сказал торопливо:

— Ладно, успокойся, — пусть будет по-твоему. Что надо делать?

Алексеев даже застонал от счастья:

— О-о-о, товарищ командир! Скажите им только, что самолет уже сдан, а я мигом инженера приведу! — И убежал.

Двое приблизились, запыхавшись: старший техник-лейтенант, среднего роста крепыш с угловатым самонадеянным лицом, и высокий, как жердь, моторист.

Техник, глаза по ложке, подлетел ко мне:

— Вы летчик? Переруливайте в третью эскадрилью!

Я опешил, и меня уже задело: не поприветствовал, как полагается, и сразу же приказывать! Подожди, голубчик, я сейчас тебя отчищу! И, встав по стойке «смирно», вежливо ему откозырнул:

— Здравствуйте, товарищ старший техник-лейтенант! Это во-первых...

Техник смутился, но не очень. Небрежно мне козырнув, он раскрыл было рот, чтобы что-то сказать, но я его опередил:

— Помолчите! Это во-вторых. В-третьих, почему вы со мной в таком тоне разговариваете? И в-четвертых, вы опоздали, — самолет уже сдан. До свидания!

Я опять козырнул и отвернулся.

Евсеев въедливо захихикал и, чтобы окончательно добить самонадеянного техника, небрежно сдвинул «молнию» на своем комбинезоне, будто ему стало жарко. Показался краешек петличек со «шпалой», весомо блеснул золотом орден Ленина.

И техник ретировался.

Пришел Алексеев с инженером эскадрильи, высоким здоровяком, похожим на медведя, и с добродушнейшим лицом, исковырянным оспой. Не глядя на самолет, он тут же подписал приемо-сдаточные акты.

— Чего уж тут, — сказал он. — Лётом же пришли. А нам — хоть на палке летай — не хватает машин.

И как все порой складывается странно! Как иногда заведомое действие, происходящее наперекор установленным порядкам и традициям и здравому смыслу, направляет ход событий по другому руслу. И тогда люди, удивляясь происшедшему, говорят: «Вот если бы не было того, то было бы это!»

Так получилось и на этот раз: не встреть меня Алексеев, дело несомненно приняло бы совсем другой оборот.

В тот день нам уехать не удалось: вдруг что-то плохо стало Кравцову, видимо, отравился чем-то, и его отвезли в изолятор. Нас троих поместили тут же на аэродроме, в комнате для приезжих. Ничего вообще-то, но только очень шумно. Начались учебные полеты. Аэродром расцветился гирляндами огней, и где-то в другом конце его то и дело вспыхивал посадочный прожектор. Взлет был на служебное здание, и когда самолет пролетал над нами, все тряслось от грохота моторов, и в груди неприятно вибрировали легкие. Спать было невозможно. Мы с Евсеевым оделись и вышли на воздух.

Чернильная ночь разливалась вокруг, и лампочки ночного старта лишь сгущали темноту, и в ней, в этой темноте, в издревле непонятной, заселенной злыми духами и всякими темными силами, что-то рычало, стучало, грохало и разноцветные огоньки сновали в разных направлениях. Смотреть на это со стороны мне почему-то всегда было не очень приятно: возникало какое-то чувство беспокойства и безотчетного страха. Но стоило лишь самому сесть в самолет, вдохнуть в себя дыхание моторов, ощутить вибрацию крыльев, увидеть вздрагивающие стрелки многочисленных приборов, поставить ноги на педали да взяться за штурвал, как ты уже органически сливаешься с машиной, и какие там уж страхи, когда сердце твое рвется в воздух, и ноздри трепещут, и пальцы левой руки нетерпеливо сжимают рукоятки секторов управления двигателями, чтобы выжать из них своей волей две тысячи двести лошадиных сил!

Все это мне было близко и понятно, и, постояв с минуту, я уже вжился в эту родную мне симфонию звуков и в калейдоскоп огней. И уже привычным ухом ловил иногда фальшивые нотки в работе какого-то мотора.

К служебному зданию подъехала полуторка. Хлопнула дверца, и в полосу света, падающего из окон, вошел человек, в котором я сразу же узнал инженера, принявшего наш самолет. Увидев нас, инженер подошел и попросил у Евсеева «огонька». Прикурив, сказал:

— Сейчас Алексеев самостоятельно полетит. На вашем самолете. — И, прислушавшись, добавил: — Да вот он, взлетает!

Я насторожился:

— На нашем? Так быстро?

— Да, а что же? — удивился инженер. — Вы же на нем прилетели!

— Да, конечно, но... — пробормотал я, обеспокоен-

ный мыслью: а успел ли Кравцов предупредить, что мы заменили цилиндр и поршень левого мотора?

И тут меня словно дубинкой огрели: да не наш ли это мотор барахлит?

Самолет был уже в конце разбега, почти на отрыве, и вдруг от него посыпались искры — и через мгновение до нас долетели характерные звуки барахлящего двигателя.

Сердце мое куда-то провалилось. В долю секунды я оценил ситуацию: взлетать нельзя! И не взлетать нельзя! Аэродром кончался, а тут уже стояли служебные помещения, корпуса общежитий... Надо было взлетать почти на одном... Но для этого была нужна чудовищная выдержка и высший класс в технике пилотирования, а за штурвалом сидит курсант... мальчишка...

Бомбардировщик, рассыпая искры, грохочущий и страшный, мчался в черной ночи прямо на нас. Я оцепенел. И не оттого, что был почти уверен в том, что нам, здесь стоящим, грозила верная смерть, а оттого, что вина в этом, в какой-то степени, была моя...

Но свершилось чудо: самолет оторвался! Ошеломив нас грохотом и ревом, осыпав искрами, пронесся он в каком-нибудь метре от крыши служебного здания...

Дальше все было как в невероятном сказочном сне. Аэронавигационные огни, почти скрываясь за домами, прочертили в черной ночи круг, развернулись, исчезли, вновь появились. И вот уже вспыхнул посадочный прожектор, и появился силуэт... И вот уже катится самолет по земле, и слышно, как стучат шасси, и как победоносно хлопают глушители...

Только тут мы пришли в себя, и только тут я заметил, что немеющими пальцами крепко держу инженера за плечо, а тот стоит, закрыв глаза, с необычно белым, но уже счастливым лицом.

Мы обнялись на радостях, отдавая дань пережитым чувствам отчаяния и страха, и оба враз крикнули: «К машине!»

Полуторка домчала нас до самолета. Он стоял в стороне, не мешая взлету и посадке (пилот и тут оказался на высоте!), и Алексеев, загораживаясь рукой от света наших фар, сидел на колесе под гондолой правого мотора.

Мы выпрыгнули из машины. Инженер, первый подбежав к Алексееву, сграбастал его в медвежьи объятия:

— Толя, дорогой! Ты молодец, ты молодец!

— А я что? А я что? — бормотал парнишка. — Понимаете — сдох правый мотор...

— Правый?! — воскликнул я.

— Правый! — резюмировал Евсеев. — Я так и знал! Левый не мог отказать, потому что там все в порядке! — И добавил: — Странно как получилось: если бы мы сдали самолет, как полагается, — некого было бы нам и поздравлять...

Дед Захар

И снова боевые полеты. Правда, хоть и по-прежнему трудные, но уже какие-то размеренные, вошедшие в ритм и... в привычку. И линия фронта, хоть медленно, но верно, двигалась на запад. А вот бомбы наши все еще рвались на нашей же земле. Железнодорожные узлы, разъезды, перегоны, аэродромы противника, скопление танков — все на нашей территории! Горько!

Однажды за мной присылают:

— Готовьтесь слетать к партизанам. На ЛИ-2.

— К партизанам? Отчего же — пожалуйста!

— С посадкой. Раненых забрать.

— Можно и с посадкой. ЛИ-2 — не Ил-4.

И мы полетели. Полет как полет. Темная ночь с небольшим снегопадом. Разыскали партизанскую площадку. Сели. Подсвечивая фарами, подрулили к заснеженной опушке леса и выключили моторы. Пока я выбирался из пилотской кабины, борттехник Козодоев, пожилой и молчаливый, уже открыл дверь и приставил лесенку. Снаружи спрашивали:

— Аккумуляторы привезли?

— А детонаторы?

— А патроны?

Это были обычные вопросы, которые задавали партизаны, но борттехнику доставляло большое удовольствие отвечать на них, получая взамен радостные возгласы вроде: «Отлично! Вот молодцы!»

Из соснового бора тянуло сыростью, и, хотя термометр показывал только восемь градусов ниже нуля, было холодно.

— Хотите погреться? — обратился ко мне один из партизан. — Пойдемте, я вас в землянку провожу. Там как раз пассажиры дожидаются.

Он повел меня в лес по тропинке, протоптанной среди

высоких снежных сугробов. Землянка оказалась близко. Мой проводник остановился, предупредил:

— Осторожно, здесь ступеньки! — и нырнул в чернеющий провал.

Снизу доносились приглушенные голоса, смех. Кто-то громыхал, как из бочки, густым раскатистым басом, ему вторил другой — звонкий захлебывающийся голос.

— Дед Захар чудит! — объяснил партизан, шаря ладонью по двери. — Раненых развлекает. Он у нас такой — веселый!

Скрипнув, открылась дверь. Партизан посторонился, пропуская меня вперед.

— Вот и отдыхайте, пока мы самолет разгрузим.

Большая землянка с бревенчатыми стенами и крепкими дощатыми нарами в два этажа слабо освещалась коптилкой, подвешенной к потолку. Посредине стояла докрасна раскаленная печь, сооруженная из оцинкованной бочки. Возле нее на ящике из-под патронов сидел сутуловатый узкоплечий старик в меховой кожаной шапке с козырьком, в гимнастерке, в ватных штанах и валенках.

Держа в руках кисет с табаком и еще нераскуренную козью ножку, он заразительно смеялся дребезжащим старческим тенорком. Все лицо его, морщинистое, белобровое, с пожелтевшими от табачного дыма обвислыми усами и реденькой седой бородкой, выражало такое беззаботное веселье, будто дело происходило не в глубоком вражеском тылу, а на Большой земле. Он быстро по-птичьи крутил головой, поглядывая на нижние и верхние нары, где, громко смеясь, сидели и лежали бойцы. Это были раненые партизаны, собранные из соседних отрядов для переправки их самолетом на Большую землю.

Когда шум улегся, дед нагнулся, поднял с пола сосновую ветку, прислонил ее концом к раскаленной печке. Ветка вспыхнула и зачадила густым смолистым дымком.

— Так что же, дедушка Захар? — спросил сидевший на нижних нарах широкоплечий паренек в матросской тельняшке, с забинтованными руками, тот самый, который смеялся густым басом. — За что же вам такое прозвище-то дали? Расскажите!

— Да што рассказывать-то! — прикуривая, возразил дед. — Ну, дали и... шут с ними! Давно это было, не помню...

— Расскажите, дедушка Захар, расскажите! — напе-

ребой стали просить партизаны. — Ну, напоследок! — И снова смешок прошел по землянке. Видимо, история эта была всем знакома, слушали ее здесь не в первый раз.

Дед польщенно улыбнулся, неторопливым взглядом окинул нары, будто желая убедиться, все ли его слушают.

— Ну, ладно! — согласился он. — Напоследок расскажу, только, чур, не перебивать, особливо ты, Степочка! — указал он на паренька в тельняшке. — Так вот, слушайте... А дело-то это было в империалистическую войну. Послал нас унтер-офицер разведать, что делается в соседней деревне и кто в ней сидит. «Вот, — говорит, — языка надо. Как подвернется, тащите, по чарции будет вам».

Ну, мы и пошли. Я, да еще солдат один, земляк мой, Ефим, по прозвищу Скворешня, длинный такой, шея тонкая и тоже длинная, и рот всегда открытым держал, вроде скворешни. Силища была — у-у-у, какая! Подковы руками разгибал. Во-о!

Ну, значит, пошли мы. Ночь, темнота. Дождь мелкий сыплет, холодно. А дорога-то разведчикам, сами знаете, не дюже гладкая. Где кустарник, где лесок, где пашня, а где и болото. Грязь и... страшно.

Но это сначала так было. А потом, как рассмотрелись, да к месту-то применились, то и тропочки стали замечать, и от ходьбы вроде бы теплее стало, и страх пропал. Долго шли. И уж деревней запахло, сарай какой-то показался, собака где-то тявкнула. Только хотел я шепнуть Ефиму, что, дескать, надо прямо к сараю идти, как за что-то ногой зацепился. Нагнулся, пощупал — провод. Телефон, значит. Пошептались мы и решили — немецкий.

Вынул Ефим нож и — чик! Перерезал провод. Спрятались рядом в кустах. А из деревни в это время ракета взвилась. Яркая такая, ну прямо как днем стало все видно. Смотрим, а за сараем орудийные зарядные ящики стоят, да много так! Вгляделись — немецкие.

Сидим, ждем. Конец провода я в руках держу. Холод пробирать стал, а без языка-то возвращаться нельзя! Вдруг слышим: идет кто-то, сквозь кусты продирается, грязь под ногами хлюпает. Слышу: провод тащит. Проверяет, значит, где обрыв. Вдруг опять ракета. А немец—вот он, тут! Здоровенный такой и в каске с шишаком... Увидел меня, да за винтовку, да как заорет: «Ха-а-альт!». А Ефим сзади: «Хенде хох!..» Да как навалится на не-

го! Разом на спину повалил, ручищей рот зажал. Так это мы ловко проделали, что пока ракета догорела, он у нас как миленький лежал, и рот портянкой заткнут, чтобы не орал, значит. Ну, тут собаки залаяли, стрельба поднялась. Ефим немца на плечи и — в кусты.

Намаялись мы с ним не дай бог...

— Так всю дорогу и несли?! — не удержался паренек в тельняшке.

— Всю дорогу, сынок! Не идет, хоть убей! Мы его на ноги ставим, а он падает и все мычит что-то. Когда рассвело, из нас и дух вон!..

Бросили мы немца на землю, сели около, цигарки закрутили. Сидим и дымом ему в морду пыхаем. А он сначала все выкручивался да мычал, а потом тоже, видать, обессилел. Лежит, буркалы на нас уставил, и... кажется мне, что глаза его будто смеются. Я его даже со злости ногой пхнул, а потом на плечи взвалил. Моя очередь нести была.

Ну, принесли мы его. Тут он сам на ноги встал. Видим, унтер бежит, радостный такой, а Ефим меня в бок толкает: «Сейчас, — говорит, — мы с устатку-то по чарции опрокинем!»

Ефиму-то хорошо, он здоровый, а у меня спина трещит и ноги трусятся.

— За такого, — говорю, — бугая и по две мало!

А немец на нас буркалами повел, и опять у него глаза вроде смеются.

Разозлился я, хотел было его по морде съездить, да унтер подбежал, и слышу — Ефим уже докладывает:

— Так что, разрешите доложить, господин унтер-офицер! Деревню разведали и... вот языка привели!

— Молодцы, — говорит, — ребята!

— Рады стараться! — отвечаем.

— Ну, ведите его, — говорит, — к поручику!

А сам за портянку — раз! И освободил немцу рот.

А тот вдруг по-украински как заругается:

— Щоб в ваших таких-сяких разведчиков очи повылазилы! Да щоб им пусто було! Схватылы, призвище не спыталы, онучу у рот запхалы! Да щоб им пусто було! Самопэры нещастные!..

Да как понес, да как понес!..

Унтер глаза выпучил, руками развел, ничего не понимает. И мы тоже.

— Да ты хто такой будешь? — это наш унтер его спрашивает.

— Унтер-офицер Остапчук из батальона связи Двадцать восьмой дивизии!

Это нашей, значит! Мы так и присели... А унтер все не верит.

— А что, — спрашивает, — ты у немцев делал и почему в немецкой форме?

— А это, — говорит, — пид вечир немцев из того села Двисти тринадцатый полк вышиб, ну, мы и примеряли на складе ихнюю амуницию...

Наш унтер к телефону. Так все и было, как он сказал. Вот, после того нас с Ефимкой «самопэрами» и прозвали. Дразнили — ужас как! Почти, почитай, более шести верст этакого бугая на горбу проволокли. Вот.

Дружный хохот разорвал тишину землянки.

— Ну и дед у нас! Такого поискать.

Моего плеча коснулась чья-то рука. Я обернулся. Передо мной стоял высокий худой человек в овчинном полушубке. Это был заместитель командира партизанского отряда по политчасти. Он улыбнулся, потом молча снял шапку, стряхнул снег и шагнул на освещенное место.

— Погода, товарищи, в самый раз! — сказал он звучным голосом, по-волжски нажимая на «о». — Снежок идет. Давайте готовиться, вылетать пора.

Партизаны засуетились. Дед Захар резво поднялся с места и побежал в дальний угол помогать одеваться слабым.

Мы вышли из землянки. Было темно. На ресницы падали снежинки.

Через несколько минут, когда раненые были размещены в самолете, дед Захар заглянул в пилотскую кабину. Прощаясь, подал всем по очереди прямую жесткую ладонь.

— Уж вы, товарищи летчики, того... это... полегче с ними, — сказал он, кивая в сторону пассажиров. — Вы уж довезите их в аккурате. Хорошие ребятки! Ну, прощайте!

И поспешил к выходу.

Жучок

С базового аэродрома мы вылетели налегке. Упакованные в фанерные ящики медикаменты весили всего триста килограммов, поэтому нам предстояло еще сесть на прифронтовом аэродроме и догрузиться какими-то специальными минами с часовым механизмом, детонатора-

ми, патронами — словом, всем тем, в чем особенно нуждались партизаны.

Выпавший за ночь обильный снег тщательно прикрыл израненную землю, припудрил макушки сосен, нагромоздил сугробы. Кругом стало чисто, опрятно, словно не было здесь боев, не полыхали пожары, не лилась человеческая кровь. Только вдоль дороги, напоминая о недавних битвах, чернели кузова опрокинутых машин, походных кухонь, да торчали, уставившись в небо, стволы разбитых орудий.

Мы с трудом разыскали аэродром, оказавшийся обычной деревенской улицей. Вдоль одной стороны ее, тесно прижавшись друг к другу, стояло несколько чудом уцелевших бревенчатых хат, а вдоль другой — самолеты — истребители и штурмовики. Сзади них тускло желтел песчаным откосом высокий берег речки, обильно занесенной снегом. За речкой начинался бор, из-за которого валили густые столбы черного дыма. Там была линия фронта.

Подрулив к прикрытой брезентом груде уложенных ящиков, я выключил моторы.

Начальник штаба, щуплый носатый капитан с мефистофельским профилем, щурясь от дыма трубки, старательно накладывал сургучные печати на пакет. Увидев меня, он кивнул и, продолжая работать, сказал:

— Ну, вот, хорошо. Прилетели, значит? Одну минутку, я сейчас.

Я положил перед ним документы.

Смолистый запах раскаленного сургуча и висящие в воздухе сизые струйки табачного дыма придавали комнате, заваленной папками и рулонами карт, такой домашний вид, что я, прислонившись к горячей печке, блаженно зажмурил глаза: «А может, и нет войны? Может, это только сон? И этот капитан в накинутой на плечи шинели, и этот отдаленный гул артиллерийской перестрелки?..»

— У нас очень важный груз, но полторы тонны, — сказал капитан, рассматривая грузовые документы.—Не много ли будет?

Я прикинул. Вообще-то многовато, но... ведь к партизанам летим!

— Нет, ничего. Грузите, — сказал я и вышел на улицу.

Самолет уже грузили. Три бойца, сняв телогрейки, подтаскивали к трапу тяжелые ящики с минами.

Тут же вертелись мальчишки, кричали звонко:

— Товарищ техник-лейтенант, а это можно тащить?

— Можно, — отвечал из самолета борттехник. — Тащите!

Кряхтя и высовывая от усердия языки, ребята таскали груз, который полегче. Одеты мальчишки были кто во что горазд: кто в старую, не по росту телогрейку, кто в немецкий мундир до пят, кто в женскую кофту. На ногах у кого были валенки с дырявыми пятками, у кого старые опорки. Только один был одет во все новое: защитного цвета телогрейка, гимнастерка, синие суконные штаны-галифе, аккуратно подшитые валенки. Все было по росту и впору, лишь великовата шапка. Она беспрестанно съезжала на лоб, и мальчик быстрым привычным движением то и дело поправлял ее. Старался он изо всех сил. Подняв ящик и взвалив его на спину, он, согнувшись до самой земли, торопливо побежал с ним к трапу.

Бортрадист Бедросов, худощавый сержант с широкими черными бровями, подхватив груз, сказал:

— А ты крепкий, Жучок, молодец! — и, увидев меня, предупреждающе шепнул: — Майор!

Мальчик оглянулся, поправил шапку и, лихо взяв под козырек, поздоровался со мной:

— Здравствуйте, товарищ гвардии майор!

— Здравствуй, — сказал я. — Это ты Жучок?

— Я! — глядя на меня живыми серыми глазами, с готовностью ответил мальчик.

— Что-то имя странное у тебя. Или это прозвище? Не похоже. Жучок должен быть черным, а ты... светишься весь.

Мальчик снисходительно улыбнулся:

— А это не имя. Фамилия у меня такая — Жучок. А звать Иваном. Иван Жучок.

— А сколько тебе лет?

— Четырнадцать.

Я посмотрел на него с недоверием:

— Будто?

Жучок смутился, поправил шапку и принялся носком валенка ковырять в снегу ямку.

— Ну, не четырнадцать, конечно, а одиннадцать, — признался он. — Это я так, прибавляю, чтобы в бой меня взяли — фашистов бить. Да вот все говорят — мал. А я из пулемета могу стрелять, гранаты бросать.

Внезапно он обернулся, посмотрел укоризненно на своих застывших от любопытства товарищей:

— Ну, чего встали?! Уж и поговорить не дадут. «Мстители». Грузить надо, помогать фронту. Как уговорились?.. — И ко мне: — Разрешите продолжать погрузку, товарищ гвардии майор?

— Грузите, — ответил я и отошел от самолета.

Темнело. Сосновый бор наливался чернотой. И только там, где дымились пожары, розовели слегка макушки сосен да грязноватым заревом отсвечивали облака. Изредка глухо, раскатисто ухало. Мерцая в морозном воздухе, взлетали ракеты.

Вылетать было рано, и я стоял, глядя на сверкающие вдали орудийные сполохи. Кто-то, поскрипывая снегом, подошел ко мне сзади, вздохнул и помолчал, видимо, не решаясь заговорить. Я обернулся. Это был Жучок.

— Ты ко мне?

— К вам! — обрадовался мальчик. — Я хочу попросить... Товарищ командир, возьмите меня с собой к партизанам! Там мое родное село.

— Ах, вон оно что! А ты разве не здешний?

— Нет, не здешний.

И он назвал местечко, куда лежал наш путь.

Я подозрительно покосился на мальчика. Знал ли он наш маршрут, или это случайное совпадение?

— Нет, Ваня, мы летим совсем не туда, — проверяя его, соврал я. — Мы... правее. Значительно правее.

— Ну и что же? — просто ответил он. — Ведь на запад же? За линию фронта? — И добавил мечтательно: — Мне бы лишь к партизанам попасть, а уж там я доберусь. Моего батьку каждый знает. Он у меня боевой, хороший!..

И в голосе его послышались такие теплые, горделивые нотки, что сердце мое дрогнуло, и я едва не сказал: «Ну, ладно, давай!» И сказал бы, если бы вдруг кто-то не крикнул сердито:

— Ты опять здесь, дрянной мальчишка?!

Это был начальник штаба.

— Все готово, — сказал он, обращаясь ко мне. — Можно вылетать. Погода в Куреновской хорошая...

Стоявший поодаль Жучок вскрикнул сдавленно:

— К батьке?!

Капитан сердито фыркнул:

— Вот чертенок! Сладу с ним нет. — И, как бы извиняясь, пояснил: — Это воспитанник наш. Сын полка.

Рвется на фронт, к партизанам, фашистов бить. Отряд организовал «мстителей». Видали сорванцов у самолета? Трижды на передовые бегал. Мне за него влетало не раз — командир в нем души не чает. Говорит: «Отвечаешь головой».

Начальник штаба протянул мне журнал и пакет, подсветил фонариком:

— Вот, распишитесь. Пакет вручите командиру.

На горизонте за лесом один за другим неслышно вспыхнули взрывы. Выхваченные из темноты самолеты окрасились на миг в бордово-красный цвет, блеснули стеклами кабин и вновь потерялись в ночи.

Расстегнув шинель, капитан прикрылся от ветра полой, закурил. Огонек его трубки затлел, засветился, озарив кончик сухого хрящеватого носа.

— Ну, майор, ни пуха вам, ни пера!.. Пошли, Жучок.

Но Жучка не было.

— Удрал, — добродушно проворчал капитан. — Обиделся.

...В иссиня-черном бархатном небе горят, переливаются звезды. С высоты двух километров они кажутся ярче и холодней. Внизу, под самолетом, темнеют леса с извилистыми лентами заснеженных рек, с прямыми тонкими ниточками шоссейных и железных дорог. Села и хутора угрюмо спят, настороженные, непокорные. Здесь, в этих лесах, враг не был хозяином.

Положив на колени планшет, штурман склонился над картой. Тусклый свет лампочки освещает штурвал, кисть руки и, мягко отражаясь от приборов, вырисовывает широкоскулый профиль с упрямо сжатыми губами. Губы шевельнулись, что сказал штурман, я не расслышал. Что-то грохнуло, затрещало, и перед глазами запрыгали голубые молнии. Удары, тяжелые и частые, потрясли самолет. В наушниках крики радиста: «Истребитель!» И снова: «Тук-тук-тук!» — стрельба из бортового пулемета.

Потом все кончилось так же резко и неожиданно. В наушниках тяжелое дыхание радиста и хриплый голос:

— Товарищ командир! Атака отбита. Фашист подожжен...

Я силюсь унять дрожь в коленках. В горле пересохло, и, так же как радист, хриплым голосом отвечаю:

— Молодец, Бедросов!..

В кабине густо пахнет пороховыми газами. Светятся циферблаты приборов, мерцают звезды на небе. Они кажутся ярче, даже видно крыло, поблескивающее металлом. Штурман возится в своем кресле, вытягивает шею, смотрит за борт.

— Правый мотор горит, — угрюмо, без волнения докладывает он.

— Что-о?! Правый мотор?.. — Я приподнимаюсь на сиденье: — А, ч-черт!..

Из-под капота по крылу, словно уголки пионерского галстука, трепещут красные язычки.

«Пожар!» — страшное слово для летчиков. Это означает: «Секунд через тридцать-сорок взорвутся баки. Надо прыгать с парашютами!»

Охваченный страхом, я бессознательным движением руки перекрываю бензокран, увеличиваю до отказа обороты горящему мотору: так скорее выработается бензин из карбюратора.

Борттехник, согнувшись в проходе, срывает пломбу с огнетушителя. В кабине поблескивают оранжевые зайчики. Мне видно напряженное лицо борттехника — смертельно бледное, с расширенными глазами. Смотрит на меня, ждет команды.

Пламя трепещет, но, кажется, меньше. В кабине светло. Удушливый дым забивается в легкие. Машина резко дергается — остановился мотор. Так, хорошо! Киваю головой: «Давай!»

Борттехник дергает рычаг. Пламя трепещет. Секунды бегут: вот-вот взорвутся баки. Болит охваченное страхом сердце. Скорее!.. Прыгать!..

Громко кричу:

— Надеть парашюты! Прыгать будем!

Борттехник исчезает. За ним, путаясь в привязных ремнях, выбегает штурман. Я остался один. Левый мотор ревет с предельной нагрузкой. Сквозь дым успеваю заметить — высота теряется. Слишком сильно нагружен самолет. Пламя не унимается. Ждать больше нельзя. Пора!

Тяжело, как свинцовую, поднимаю руку, чтобы нажать кнопку — сигнал для прыжка. Там, в фюзеляже, зажжется красная лампочка, и я останусь один. Совсем один. Тогда я заглушу мотор, введу машину в планирование, вылезу из тесного сиденья, побегу в фюзеляж, сниму с крючка парашют, пристегну к карабинам и только потом прыгну.

Сзади возня, какой-то шум, крик. В проеме между

кресел показывается борттехник. На лице его растерянность. Правой рукой он тащит кого-то за шиворот.

— Вот, видали?! В чехлах сидел!..

Передо мной стоит Жучок, растрепанный, без шапки. Лицо в черных масляных пятнах, в глазах восторг и восхищение.

Рука моя безвольно падает на штурвал «Пять человек и... четыре парашюта!»

Противоречивые чувства — радости и гнева, страха и надежды охватывают меня. Некоторое время сижу в замешательстве, не знаю, что предпринять, и вдруг замечаю — в кабине темно. Голос штурмана, спокойный и какой-то безразличный, доходит до меня словно издали:

— Пожар прекратился. Мотор горел пятьдесят восемь секунд...

Я откидываюсь в кресле, облегченно вздыхаю. Волна радости сладкой истомой разливается в груди. В темноте нащупываю прижавшегося в проходе Жучка, ласково глажу коротко остриженную голову, потом мягко выталкиваю из кабины. Борьба еще не кончилась, опасность еще не миновала.

Штурман сидит в кресле, сверяет карту с местностью. В проходе настороженно замер техник. По-прежнему ярко горят звезды, чернеет лес внизу. Гулко, с надрывом рокочет мотор, и стрелка высотомера, с которого я не свожу глаз, ползет по шкале все ниже и ниже.

Нет, опасность еще не миновала. Она впереди, в неизвестном. Партизаны ждут нас, чтобы решить задачу, важную для фронта, и я отгоняю соблазнительную мысль — сбросить груз и налегке вернуться домой. Нет, мы должны долететь! Даже ценой самолета! Даже...

Я поворачиваюсь к штурману:

— Сколько километров до Куреновской?

— Сто.

— Это много, не дотянем. — И к борттехнику. — Груз сохранить, остальное — все за борт!

Техник вздрагивает, умоляюще смотрит на меня. В глазах страдание. Я понимаю его: самолет новый, инструмент, домкраты — все новое.

— Все, все за борт! Живо! Даже пулеметы!

В наушниках восклицание радиста:

— Товарищ командир!..

— Отставить! Выполняйте приказание!

Техник исчез. Штурман неловко выбирается из сво-

его сиденья, молча жмет мне руку, лежащую на штурвале.

Мотор тянул из последних сил, звенел, переливался на высоких нотах и все же самолет снижался. Уже вдали были видны костры на партизанском аэродроме — три пары огоньков. Но нет, не дотянуть до них.

Не отрывая взгляда от костров, спрашиваю техника:

— Все лишнее сбросили?

— Все, товарищ командир! — торопливо ответил он. — Даже сиденья отвинтили.

Костры замерцали и потухли, скрывшись за макушками сосен. Самолет снижался. Внизу, под нами, зловеще чернел лес, рядом, близко. И ни одной полянки, ни одного просвета!

Самолет подбрасывало слегка, словно он уже задевал крыльями за деревья. Он еще жил. Еще билось его сердце, и пульс штурвала, вздрагивая, отсчитывал последние минуты. Металлические пряжки меховых перчаток отражали звезды. В темноте кабины отчетливо белели лица с плотно сжатыми губами. И одна и та же мысль в расширенных глазах: «Вот сейчас... самолет врежется в лес. А сзади смертоносный груз. Удар! Взрыв... Столб огня, и... все будет кончено».

— Где чехлы? — не обращаясь ни к кому в частности, хрипло спрашиваю я.

— Что? — наклоняясь ко мне, переспросил техник.

— Чехлы! — заорал я. — Где чехлы?! Теплые моторные чехлы?!

Техник виновато втянул голову в плечи.

— Здесь, не выбросил. А что?

— Обернуть коробки с детонаторами!..

И снова чернота внизу, густая, непроглядная.

Лес внезапно оборвался, и перед нами снежной белизной возникла длинная прогалина.

Кто-то хрипло сказал:

— Охх!..

Может быть, это был общий вздох надежды и облегчения?

Я резко приглушил мотор, включил фары. Два ослепительно ярких луча уперлись в снег, бугристый, неровный. Навстречу нам, отбрасывая тени, неслись торчащие стволы обломанных деревьев и черные сплетенья корневищ.

Заученным движением я медленно тянул штурвал на себя — сажал машину. В полуоткрытую форточку с

унылым свистом врывался ветер. Свист, постепенно меняя тон, переходил на басовые ноты. Самолет терял скорость. Это было его последнее дыхание. Сиял, искрился снег.

Техник вбежал в кабину:

— Товарищ командир, детонаторы обернуты!..

В тот же миг самолет зашуршал брюхом по снегу. Вцепившись обеими руками в штурвал, я инстинктивно откинулся назад. Жесткий толчок, треск, звон металла. Самолет подпрыгнул, встал на дыбы, повалился вниз. Опять толчок, грохот ящиков в фюзеляже, скрежет, металлический звон. Вслед за тем — тишина.

В кабине, оседая, кружилась снежная пыль. Снаружи в ярких лучах фар кивал ветвями потревоженный ствол осинки, а по нетронутой белизне моталась зигзагами тень длинноухого зайца.

Звонкий детский смех прозвучал неожиданно:

— Вот напугали зайчишку!.. Улю-лю, косой!..

Я вздрогнул, приходя в себя, отпустил штурвал и выключил фары.

Часа через два томительного ожидания мы услышали скрип лыж по снегу. Я приказал сидеть тихо: это могли быть и немцы. Рядом, прижавшись ко мне, стоял Жучок.

Шаги ближе. Треснула ветка, и кто-то громко сказал:

— И где их искать? Словно сквозь землю провалились!

Жучок встрепенулся:

— Батя!!

Через два дня за нами прилетел самолет. На этом и закончились мои полеты к партизанам.

Поворот судьбы

Февраль. Март. Апрель. Май. Полеты, полеты, полеты. Потери. Сбили такого-то. Не вернулся такой-то. Новый самолет. Новый экипаж. Полеты. Потери. Все воспринималось как должное. Война. Никто не считал себя лучше других. Перед вылетом каждый из нас вкладывал в ствол своего пистолета девятый патрон, «для себя». При возвращении тут же, в кабине, патрон вынимался. Все очень просто: собьют — что ж. Не собьют — совсем хорошо!

Июнь. Ночь короче воробьиного клюва. Чуть задержался над целью, и уже рассвет застает тебя над терри-

торией, занятой врагом, и вездесущий «мессершмитт», подкараулив на маршруте, начинает клевать тебя с дальней дистанции из пушек. И ты крутишься на сиденье, как флюгер: летишь вперед, а смотришь назад. И все видишь: и всплески пламени в носу истребителя, и как летят тебе вдогонку снаряды — красные, желтые, голубые шарики. Смотришь, не отрываясь, и ногой-ногой потихоньку отворачиваешь. И снаряды пролетают мимо. А когда застучит, затарахтит ответным огнем твой радист из башни, «мессершмитт» торопится уйти. Но все равно война есть война, и наша боевая страда продолжалась.

А для меня она неожиданно прервалась.

Звонок. Беру трубку и слышу взволнованный голос начальника штаба:

— Срочно! Одна нога там, другая тут — беги ко мне!

— Есть! А что такое?

— Потом скажу.

Пожимаю плечами: что за спешка? Однако сердце затрепетало от каких-то неясных, но добрых предчувствий.

Подполковник Леонидов, худощавый, с большими добрыми глазами, раскуривая трубку «мефистофель», сказал:

— Сдавай эскадрилью.

Я недоверчиво хмыкнул:

— Что за шутки!

Леонидов пыхнул трубкой.

— Нет, серьезно, — указание свыше: «Направить в распоряжение начальника штаба АДД».

— И все?

— Все.

— Не густо.

— Какое-то задание, — так я думаю.

Я фыркнул:

— Ну, подумаешь — свет клином сошелся!

Леонидов нахмурился и сказал, не вынимая трубки изо рта:

— Ладно, не кокетничай и не напрашивайся на комплименты. Иди — прощайся с эскадрильей. Через час с четвертью отъезжает машина.

Открытие нового, познание неизвестного! Кому не знакомо это непередаваемо волнующее чувство?

Война есть война, со своими рисками, со своими опасностями и, если это действительно какое-то серьезное задание, значит, оно должно быть сопряжено с еще большим риском, с еще большими опасностями! И странное

дело: все-таки любому нормальному человеку свойственно чувство самосохранения и, казалось бы, в такие минуты следовало задуматься над тем, чем все это может кончиться? Но мне в эти дни исполняется тридцать, и поэтому беспокоиться о чем-то... просто было некогда.

И уже у меня что-то отключилось. Я был весь там, в Неизвестном. И все то, с чем я сжился, к кому и к чему привык, все было сейчас в Прошлом, помыслы же мои — в заманчивом Будущем.

Сегодня эскадрилья полетит без меня. В мой самолет сядет другой командир. И штурман Евсеев, и радист Заяц, и стрелок Китнюк будут слетываться с новым комэском, а это в боевой обстановке сложно и опасно: другие повадки, другие привычки, другая... судьба...

...В Москве, в просторной приемной командующего АДД оказалось довольно много людей; все аэрофлотские, и потому почти все друг другу знакомы: борттехники, летчики, радисты. Восклицания, удивления:

— Гриша,— ты? Вот здорово!

— Сережа?! Ты куда?

— Не знаю. Вызвали вот.

— И я не знаю.

Никто не знал. А в воздухе витала загадочная фраза: «Специальное задание». И все!

Мне кто-то, обняв сзади, прикрыл ладонями глаза.

— Догадайся, кто? — голос радостный и очень знакомый.

Я догадался сразу:

— Романов Иван, вот кто!

— Ты смотри-ка, угадал!

Ваня из худенького мальчика превратился в крепкого мужчину. По отцу он был русский, по матери — цыган. Раньше как-то не замечалась эта его цыганская особенность, а сейчас — самый настоящий цыган: кучерявый, черноглазый, живой.

...Мы обнялись и, выбрав себе место возле высокого сводчатого окна с тяжелыми портьерами из белого парашютного шелка, сели на свободные стулья.

— Комнатную ракету помнишь? — спросил я Ивана.

— Еще бы не помнить! Как его звали-то, этого иранца, помнишь? Гасан? Хасан?

— Ахмет, — сказал я. — Дядя Ахмет. «Дэньга нэт— вси равна нэ купышь»...

— Да-да! — рассмеялся Иван. — «Папа с мамой радоваться будут, иды!» Здорово он нас тогда надул, а!

В приемной появился адъютант командующего, расторопный веселый подполковник. Его тотчас же окружили, засыпали вопросами.

Подполковник отвечал сдержанно. Для чего собрали? Для подготовки к выполнению специального задания Правительства. Что будете делать сейчас? Летать. Как можно больше. В сложных метеоусловиях. Можете не сомневаться, работа будет.

И работа нашлась, только совсем не такая, какую я ожидал. А где же риск? А где же опасности? Ташкент — разве это опасность? Меня вместе с другими экипажами отправили в Ташкент!

Вообще-то, конечно, это было здорово! У меня даже дух захватило от такого сообщения. Ташкент — моя вторая родина. Детство, юношество, становление — все связано с этим любимым мною городом.

Задание было прозаическое: там, в бывших Ташкентских мастерских, куда эвакуировался из Москвы авиазавод, выпускавший пассажирские самолеты типа «дуглас» — ПС-84, теперь клепали транспортные ЛИ-2 — тот же ПС-84, только без пассажирского комфорта. Сейчас по особому заданию завод выпустил несколько машин пассажирского варианта. Самолеты надо было придирчиво осмотреть, испытать в полете и перегнать в Москву. Вот и все! Проще простого!

Мы подлетели к Ташкенту. Я волновался, я трепетал, глядя сверху на знакомые мне пригородные кишлаки и колхозные поля. Я не был здесь сто лет! Ну, может, не сто, а целых... восемнадцать месяцев! Мало? Нет, много! Нам на войне день шел за три дня, и это справедливо: жизнь там крутится бешено. И я думал, что увижу Ташкент таким же, каким покинул его, когда ушел на фронт. Но я ошибся. Ташкент был не тот. Совсем не тот. Здесь тоже, видимо, день шел за три дня, если не больше. Ритм теперешнего города не уживался с тем, что закрепилось в моей памяти. Нет больше тихих улиц, нет поливальщиков на них, которые из ведра по вечерам, разгоняя дневную жару, ловко обрызгивали дорожную пыль. И уже за грохотом машин не слышно больше мелодичного журчания арыков. Город был в напряжении: «Все для фронта! Все для победы над врагом!»

На заводе нас встретили сдержанно. Небывалая практика, чтобы продукцию принимали «чужие» летчики. Все-таки «свой» испытатель вернее. Он уже сжился и зря придираться не будет. А тут еще поставлены условия —

если машина будет плохо брать высоту — браковать беспощадно! Чужим-то летчикам что — закапризничал и все тут, а как же план?!

Мы пришли на завод рано утром, чтобы облетать машины до жары. Наши самолеты стояли отдельно: зеленые, со звездами, под новыми чехлами. Экипажи разошлись по машинам. Иван Романов, назначенный мне в экипаж на перегонку самолета, подбежал к машине, хлопнул ладонью по фюзеляжу, крикнул на цыганский манер:

— Ай, маладой, карасивый, неженатый-холостой! А ну, стоять! Не лягаться! — и дернул завязки чехлов.

Расчехлили, отперли дверь, и когда распахнули ее — ахнули. Ряды мягких пассажирских кресел, салон с просторными диванами, овальный столик, красная ковровая дорожка, шелковые занавески на окнах.

Романов восхищенно щелкнул пальцами.

— Шелковая машина! — сказал он. — Кто же, интересно, полетит на ней и куда?

Копались долго. Иван придирчиво осматривал машину: узлы, ролики, тросы управления. Чуть ли не обнюхивал каждую деталь. Но все было сделано на совесть. Лишь радист, высокий молчаливый парень по фамилии Бурун, хмуро копался в рации. Где-то завалилась какая-то колодка, и он не мог ее достать.

Наконец, все готово: моторы опробованы, рация в порядке, барограф включен. Выруливаем к старту. Взлетаем.

В мою задачу, кроме всего прочего, входило: за единицу времени набрать побольше высоты. Стрелка самописца прочертит на барограмме наш путь по вертикали и по времени. Это и будет документ качеств самолета.

Идем по кругу. Высота берется легко. Тысяча метров. Две. Три. С волнением смотрю на горы, сверкающие снежными вершинами. Вон там за ними — Ферганская долина, а там вон, за грядой высоких отрогов, — Фрунзе, Алма-Ата. Все летано и перелетано.

Романов, сидящий на правом сиденье, как-то обеспокоенно взглянул на меня, потом на вариометр, стрелка которого показывала скорость набора высоты — два метра в секунду.

— Может, хватит, командир?

— Чего хватит? — не понял я.

— Высоту набирать.

— Как это «хватит»? Ты что?!

Борттехник смущенно отвернулся и промолчал. Набрав еще метров триста, я посмотрел на Романова. Странно, он явно задыхался. Сказывалась привычка к полетам на малой высоте.

— Иван, ты что?

Борттехник обиженно повел глазами:

— Кислорода не хватает.

Я удивлен до крайности. Вот уж поистине «сытый голодного не разумеет»! Три тысячи четыреста. Да разве это высота? Мы сидим тут, в самолете, не двигаясь и не тратя энергии, а как же наши бойцы там, на Эльбрусе, на Кавказском фронте, ползают по снегу на высоте четырех километров?! Да еще с винтовками, да с минометами и пулеметами?!

— Ничего,— сказал я. — Потерпи. Вот доберем до четырех и будем снижаться.

Романов испуганно вытаращил глаза.

— Не выдержу!— простонал он. — Снижайся!

Я разозлился. Сколько лет летал здесь на почтовых самолетах и всегда запросто, набрав пять тысяч метров, перемахивал через горы. Мне и в голову тогда не приходило, что на этой высоте кислорода меньше, чем на земле. Наоборот, я наслаждался свежестью воздуха и крепким морозцем, обжигавшим щеки. А там, на фронте... Да что и говорить! Нежности какие. Распустят слюни...

— Сиди! — жестко сказал я. — Ничего с тобой не случится. Будем набирать до четырех.

В проходе неожиданно появился радист. Рот открыт, глаза выпучены, грудь вздымается и опускается, как после марафона.

— Здрассте! — приветствую его. — Явление второе. Что случилось?

Бурун судорожно вцепился руками в подлокотник моего кресла:

— Командир... не могу... Задыхаюсь...

Я вскипел:

— Час от часу не легче! Да вы что — обалдели?! Да как вам не стыдно! Еще нет и четырех, а вы уже нюни распустили! Идите оба в пассажирский салон да посмотрите, что показывает барограф.

Радист, одарив меня укоряющим взглядом, вышел в салон, вслед за ним, еле волоча ноги, поплелся борттехник. И почти тут же, чуть не сбив Романова с ног, появился Бурун. Глаза его горели победным огнем.

— Товарищ командир!.. На барографе четыре тысячи шестьсот! Вот! — и сел на пол.

Я посмотрел на высотомер: три тысячи семьсот. Странно. А может быть, кто-то врет? Либо мой высотомер, либо барограф, либо Бурун?.. Однако ладно. Жалко ребят.

— Что ж, будем снижаться.

На земле разобрались: был неправильно установлен высотомер в пилотской кабине, и мы набрали тогда высоту с разными там инструментальными и прочими поправками — пять тысяч пятьдесят метров, что и было торжественно запротоколировано дирекцией завода.

Совершенно секретно!

Мы пригнали в Москву таинственные «шелковые» самолеты и поставили их на прикол. Зачехлили, запломбировали. До какой-то поры, до какого-то времени.

Меня посадили на ПС-84, и стал я возить молодых штурманов на радионавигационные учебные полеты.

Экипаж у меня теперь другой. Борттехник, он же радионавигатор, Глушаев Тимофей, невысокого росточка, круглый, как колобок, глаза — щелочками. В движениях нетороплив и даже важен. И как-то у него получалось: подойдет к самолету, коснется рукой, и сразу кажется, будто это и не самолет вовсе, а добрый-добрый красавец-конь. Вот-вот заржет он, потянется мордой и тронет мягкими губами ласковую руку хозяина. И Глушаев-хозяин смотрел на свой самолет как на создание вполне одушевленное.

Бортрадист Николай Белоус был полной противоположностью капитана Глушаева. Высокий, стремительный. Дело свое тоже знал отлично и ключом владел виртуозно.

Летали мы днем и ночью и в любую погоду. По пять, по семь часов без посадки. В пассажирском салоне человек двадцать штурманов. У передних кресел — два столика с компасами и радиоаппаратурой. Практиканты, сменяя друг друга, по очереди «колдовали» над картой. Если были облака — шли по сложному маршруту в облаках, и ребята, ориентируясь по радио, прокладывали путь. Это было здорово! И это было совсем не похоже на то, как вел ориентировку мой Евсеев: «Недалече!»

Иногда мы прилетали домой в тумане. Тогда Глушаев сам становился к прибору и быстро-быстро, один за другим, давал мне пеленги. Потом мы выпускали шасси,

на расчетной высоте выходили точно на приводную, выпускали посадочные щитки, убирали обороты моторам и шли на посадку, не видя земли, но точно зная, что сейчас вот, через несколько секунд, перед нами появится посадочная полоса. И она появлялась! Восхитительные это были полеты! И нас за них другие летчики называли «смертниками».

В ноябре все побелело. Леса, поля — в синеватом снеге. Светит морозное солнце в морозном чистом небе, и с высоты четырехсот метров уже видно хорошо, как мышкуют лисы. Встанет огненная чертовка, вытянет хвост, ушки торчком — вся внимание! Потом вдруг кинется, и пошла работа. Летит снег фонтаном из-под задних ног. Затем носом — тык! И уже видно — поймала! Сидит, жмурится — жует. Вкусно!

Но в такую погоду летать скучно: нет напряжения и нечем похвастать перед самим собой — вот мы какие! А сердце все чего-то ждет, ждет...

И вдруг в середине ноября команда: «Явиться в штаб на прием к командующему АДД маршалу авиации Голованову...»

Та же приемная, где мы уже были пять месяцев назад. Те же знакомые лица, человек двадцать, тридцать. С удовольствием здороваюсь с Романовым и Буруном. В назначенный час все робко входим в просторный кабинет Голованова, которого мы обожаем и которым гордимся. Это наш человек — аэрофлотский, неисчерпаемая энергия которого и острый ум создали воздушную армию — Авиацию Дальнего Действия.

Голованов сидит прямо, сухопарый, высокий. Удлиненное лицо, высокий лоб и какие-то особенные, проницательные и в то же время добрые умные глаза.

— Проходите, рассаживайтесь, — сказал он и, взяв со стола ярко вышитый кисет, принялся закручивать длинными пальцами махорочную самокрутку.

Мы сели на стулья, расставленные вдоль стен, и тихо, как дети, положив руки на колени, замерли.

Голованов чиркнул спичкой, прикурил, затянулся и, выпустив струйку сизого дыма, сказал:

— Я собрал вас, чтобы сообщить — будем готовиться к полету... в Вашингтон. — Сказал и окинул нас всех пытливым взглядом.

А мы замерли, соображая, что к чему. Все мы летчики были опытные. Быстрая прикидка в уме, расчеты, подсчеты. Нет, не получалось! Лететь зимой, через всю

страну, через горы, через сопки, через тайгу и тундру на Аляску, а потом в Америку. Конечно, будут пассажиры (ведь повезем же мы кого-нибудь!). Дальность полета наших ПС-84 с полной загрузкой вообще-то никудышная. Придется часто заправляться, а это значит, часто лететь на предельном запасе горючего. А вдруг в это время испортится погода, что тогда? Странное какое-то задание!

Не дав нам опомниться, маршал добавил:

— Надеюсь, здесь сейчас сидят передо мной серьезные взрослые люди, которые понимают, что говорить об этом...

Общий вздох, общее движение. У всех были такие лица и такие убедительные жесты, что было ясно — ну, никто! Абсолютно никто никому ничего не скажет. Даже своей жене. Могила!

Убедившись в том, что государственная тайна будет соблюдена, Голованов спросил, у кого будут какие вопросы и предложения по поводу полета. Обладая феноменальной памятью, он называл при этом каждого из нас не только по фамилии, но и по имени. Зная, что он не любит, когда его величают по званию, мы называли его Александром Евгеньевичем, и обстановка от этого сразу же стала какой-то домашней, будто мы собрались в мирное время в аэропорту, чтобы обсудить обыкновенный рейс.

И предложения посыпались, как из рога изобилия. Кто предлагал обязательно включить в снаряжение экипажа, на случай вынужденной посадки, охотничьи ружья с запасом патронов, кто лыжи, кто утепленные палатки и даже деревянные лопаты для разгребания снега. Более практичные предложили спирт. А вдруг обледенение!

Александр Евгеньевич с серьезным видом все это записывал. Потом, когда набрался длинный перечень наименований, кому-то пришла в голову мысль, что самолет с таким грузом не взлетит, даже если не будет ни одного пассажира. Подсчитали — да, действительно, не взлетит. И все рассмеялись.

Тогда стали список сокращать. Исключали все подряд, лишь на спирте произошла заминка. Все-таки — обледенение!

— Спирт нужен, — твердо заявил Романов и красноречиво облизнулся.

Все рассмеялись, но спирт оставили. Мало ли зачем будет нужен: в шасси залить или еще куда...

Через несколько дней нас собрали снова, уже к ночи, посадили в грузовой автомобиль, крытый брезентом, и повезли. Ночная темь, звезды, скрипучий снег под колесами. И ветерок с морозцем. Куда нас везут?

Наконец, привезли. Вылезли, встали на одеревеневшие ноги. Какая-то набережная. Какие-то высокие дома с темными глазницами окон. Визжит под каблуками снег. Ну и морозище!

Скрипнула дверь, и нас обдало теплом и запахом складского помещения. Ослепленные светом, мы не сразу сообразили, куда попали. Мимо торопливо прошмыгнул человек в штатском, через плечо у него свисал портняжный сантиметр. Вслед за ним прошли еще несколько человек и тоже с сантиметрами. Кто-то сказал вполне отчетливо, но не совсем понятно:

— Заходите, товарищи, выбирайте, кому какая понравится...

Чего выбирать? Кого выбирать? Еще не пришедшие в себя от мороза, мы прошли в другое помещение, где на специальных вешалках висело множество полускроенных и полусметанных генеральских шинелей из самых лучших сортов драпа.

— Эх, вот это да-а-а! — воскликнул кто-то, и мы опомниться не успели, как этот кто-то, оказавшийся мотористом, кинулся в самую гущу шинелей выбирать себе по вкусу.

— Эй-эй! — крикнул Романов. — Тебе не положено по уставу!

— Ничего, ничего, — вмешался портной. — На это есть особое распоряжение. Выбирайте, и мы сейчас же на вас все и подгоним.

— Ну, раз особое указание...

Я выбрал себе шинель. Портной, хлопоча возле меня и намечая мелком, где урезать, где подшить, сказал:

— Вот, товарищ майор, вчера я Иосифу Виссарионовичу шинельку справил, а сегодня делаю вам.

— Иосифу Виссарионовичу?!

И я с трепетным чувством посмотрел на его ловкие пальцы, порхающие у моей груди и словно благословляющие меня на что-то, пока мне неизвестное.

Через два часа мы были одеты с головы до ног во все новенькое. Даже носовые платки и великолепные кожаные перчатки на нежнейшем меху лежали в карманах наших шинелей.

— Вот это па-а-рень! — восхитился Белоус, разгляды-

вая себя в зеркале и поправляя на голове потрясающую шапку-ушанку из светло-серого каракуля.

Что и говорить, все мы были писаные красавцы, только вот мотористы в шинелях из генеральского драпа выглядели странно.

— Разжалованные генералы! — сострил Белоус и загоготал. Он любил острую шутку.

Куда мы летим?

Утро 23 ноября 1943 года выдалось морозное и туманное. Мы вышли к самолету еще как следует не проснувшиеся и не пришедшие в себя от вчерашнего сказочного переодевания. Нас подняли рассыльные:

— Срочно! Перелетать на Центральный аэродром!

«Начинается!» — подумали мы. На душе волнение перед неизвестным. Такой полет! Такой громаднейший маршрут! Все ли долетим до места назначения?

Застоявшийся самолет принял нас холодком. Но заработали моторы, запульсировали стрелки заиндевевших приборов, и машина согрелась, ожила. Все готово, все в порядке! Выруливаем, взлетаем. Ставлю курс на Москву. Но где же Москва и где Центральный аэродром? Как найти его в этой густой смеси тумана и дыма, висящего над столицей?

Однако нашли. Заход, посадка. Подруливаем к указанной стоянке и выключаем двигатели. На аэродроме тихо, и уже стоят другие наши самолеты. Однако до чего же неприятная, промозглая погода!

Выбираюсь из сиденья, чтобы еще раз проверить пассажирский салон — все ли в порядке. Ряды мягких кресел ослепляют белизной чехлов. Ноги мягко тонут в ярко-красной ковровой дорожке. Глушаев, пока мы летели, уже успел наладить отопление салона, и в самолете тепло и уютно.

Нас никто не встречает. Пассажиров нет. Странно. Ждем минут двадцать. Наконец появляется автобус, и из него как-то вяло и с каким-то, как мне показалось, недовольством вылезают офицеры с планшетами в руках. Они расходятся по самолетам. Это кто же? Наши пассажиры? Что-то очень мало — по одному на экипаж.

Вглядываюсь в приближающегося к нам офицера и узнаю в нем штурмана Сергея Куликова.

Куликов поднимается по лесенке. Здороваемся. Сергей явно не в духе. Говорит ворчливо:

— Штурманом я у тебя. Пошли.
— Как пошли?
— Пошли. Запускай моторы и пошли.
— Ничего не понимаю! А пассажиры?
Куликов досадливо махнул рукой:
— Не будут. Пошли, потом расскажу.
Я пожал плечами:
— Ну, пошли так пошли.

Запустили моторы. Надо выруливать, а мне все не верится: пассажирский салон пустой. Неужели так и полетим? Куда? Зачем?

С недоумением смотрю за борт. Стоит Голованов и с ним флаг-штурман полковник Петухов. Он машет мне рукой:

— Выруливай! Взлетай!
Отвечаю жестом: «Понял!»

Взлетаем. Легкий, как пробка, самолет тотчас же отрывается от земли и устремляется вверх. Непривычно как-то и несолидно.

На компасе курс 145. Сейчас мы наберем высоту и возьмем курс на восток — 90. Ведь нам лететь в... Америку!

Куликов сидит на правом сиденье. Вид у него кислый и какой-то загадочный.

— Курс? — говорю я, обращаясь к нему.
Сергей кивает головой:
— Так и держи!
Я обалдело хлопаю глазами.
— Это что за новость?! Куда мы летим?
Между кресел появляется Глушаев:
— Почему не ложимся на курс?
Отвечаю сухо:
— Мы на курсе!— И к штурману: — Показывай!

Куликов разворачивает карту. На ней маршрутная линия: Москва — Сталинград. Курс 145. Расстояние 900 километров. И все!

У Глушаева глазки-щелочки превращаются в кругляшки.

— Ничего не понимаю! Что это значит?

— Не знаю,— растерянно говорит штурман. — Этот маршрут мы получили... только вчера. Поздно вечером и... ночевать нас оставили в штабе АДД. А сегодня утром вот — тепленьких прямо сюда...

— Ладно. Раз не знаешь, значит, не знаешь, — обиженно говорю я и отворачиваюсь.

Глушаев уходит.

Летим молча. Высота две тысячи метров. Под нами разорванные облака, и земля просматривается плохо: снежный покров смывает очертания рельефа. А мне плевать. Не в первый раз. И вообще я зол на штурмана: подумаешь — секреты!

Куликов совсем раскис. Он ворочается в кресле, то и дело посматривая на меня. Наконец не выдержал:

— Ну, чего ты надулся? Думаешь, я от тебя что-то скрываю?

— А то нет?

— Ну, честное слово, ну!..

Заглядываю ему в глаза. Да, действительно, он ничего не знает! Вот так штука!

— Ладно, Сережа, извини.

Появляется Белоус, сует мне в руку бланк радиограммы. Земля запрашивает:

«Сообщите ваше местонахождение».

Передаю радиограмму штурману: это по его части.

Куликов бросает взгляд на часы, потом на карту, что-то подсчитывает по линейке и, перевернув листок, пишет на его обороте ответ. Беру у него радиограмму. Только после моей визы радист подаст ее в эфир.

Читаю: «Пролетели Ковров» — и подпись: «Куликов».

Вот это здорово! Ковров — ведь это на восток, а мы летим на юг!

Быстро подсчитываю: мы в воздухе 1 час 15 минут. Значит, прошли что-то около трехсот километров, и под нами должен быть... Да вот он — Ряжск.

Я готов возмутиться. Только что клялся, что ничего не знает...

— Слушай, Сергей!..

Куликов растерянно улыбается, пожимает плечами:

— Ничего, давай. Так надо, чтобы не знали, куда мы летим.

Ладно, понял. Раз надо, значит надо, и штурман здесь ни при чем. Визирую радиограмму и передаю ее Белоусу.

Белоус исчезает. Снова молчим. Летим в прослойке между облаками. Земли не видно совсем. Скучно.

Мы в полете уже три часа. Скоро Сталинград, и надо пробиваться книзу. В проходе появляется радист. Подает радиограмму с тем же самым: «Сообщите ваше местонахождение». Передаю бланк штурману, достаю карту, линейку, подсчитываю. По расчету времени, мы сей-

час должны быть примерно в районе Борисоглебск-Поворино, а Куликов наверняка даст... Чебоксары.

Куликов улыбается, возвращает мне бланк. Так и есть: «Пролетаем Чебоксары».

Радист уходит и скоро возвращается:

— Товарищ командир! В Сталинграде плохая погода. Нас догоняет маршал. Он предлагает вам пристроиться к нему и вместе идти на посадку.

Куликов заглядывает в форточку.

— Да вот он — справа, сзади.

Голованов возглавляет нашу группу. Он сам ведет машину. У него настоящий «дуглас» с моторами «Райт-Циклон», и скорость его несколько больше, чем у нас.

— Хорошо. Передай: «Вас понял, спасибо — пристроюсь!»

Я немного польщен и немного обижен: «Что это он меня опекает, как маленького!»

Пропускаю вперед «дуглас» и, нырнув под него, пристраиваюсь справа.

Идем рядом, метрах в восьми друг от друга. С правого сиденья мне улыбается через форточку полковник Петухов и рукой показывает: «Сейчас будем садиться!» Ясно, мы готовы!

В облака ныряем вместе. Снижаемся. Валит густой снег. Хлопья его влетают через щель полуоткрытой форточки и тают на щеках. Не отрываю глаз от самолета Голованова. Теперь мы — целое. Повторяю все его движения. Высота сто метров. Пятьдесят! Голованов уверенно снижается. Он в этих местах когда-то летал, и здесь все ему знакомо. Каждый кустик, каждый овражек.

На приборе нуль! Ага, кажется, пробились! Но видимость скверная: белый покров сливается с падающим снегом. Горизонта не видать, только под нами что-то мелькает, кажется, овраги.

Голованов убавил скорость. Ясно — сейчас он выпустит шасси! Выпустил! Выпускаем и мы. Выпускает закрылки. И мы — закрылки! Идем на посадку, но куда — не имею понятия. Хватился только тогда, когда машина мягко коснулась колесами невидимого снежного покрова. Ну и молодец же Голованов! Вот летчик так летчик! И как он разыскал в такой погоде аэродром?!

На пробеге, отвернув чуть-чуть вправо, стараюсь не терять из виду «дуглас». А Голованов, как дома: убрал щитки и уже рулит куда-то на приличной скорости. Я восхищен — вот это летчик!

Впереди замаячили темные пятна. Приглядываюсь — самолеты! Стоят, выстроившись в ряд, зачехленные истребители, и рядом громоздятся сугробы.

«Дуглас» затормозил и, подрулив к снежной стене, развернулся. Чихнув синим дымом, выключились моторы. Все — прилетели!

Я поставил свою машину слева от «дугласа», дверь которого выходила в нашу сторону. В наступившей тишине слышно, как потрескивают остывающие двигатели и гудят вращающиеся роторы пилотажных приборов. Близкие сердцу, родные и знакомые звуки!

Посидели с минутку, приходя в себя. Все-таки полет — это наслаждение. Это музыка. Это радость. А сегодня — особенно. В груди скакали солнечные зайчики. Все было так необычно! Куда мы летим? Зачем летим? Неизвестно. А что может быть заманчивей и интересней неизвестности?!

Неожиданно за бортом послышались крики. Штурман открыл форточку:

— Ого!

Я и сам понял, что «ого!». Кто-то отчаянно ругался, вспоминая всех святых.

Куликов фыркнул:

— Вот заворачивает! Вот заворачивает! Ничего себе— встречают. Посмотри-ка, посмотри-ка, — генерал!

Я выглянул в форточку. Да, действительно, генерал в папахе. Низенький, толстый, в фетровых бурках, в новеньком, настежь распахнутом кожаном пальто-реглане на меховой подстежке. Он только что выбрался из подъехавшей «эмки» и, разъяренно размахивая кулаками, кинулся к «дугласу», из двери которого с нарочито-важным видом, неторопливо спускался по лесенке флаг-радист капитан Топорков.

— Какого черта вы тут объявились?! — кричал генерал.— Кто вас сюда приглашал? Убирайтесь отсюда сейчас же! Чтоб духу вашего не было!

Топорков с невозмутимым лицом выслушал гневную тираду генерала и, когда тот сделал паузу, чтобы набрать в легкие новую порцию воздуха, кончиком пальцев тронул его за плечо:

— Товарищ генерал, доложите, пожалуйста, маршалу...

Генерала словно водой облили. Он вздрогнул, обернулся и обомлел: в проеме двери в накинутой на плечи шинели стоял маршал авиации Голованов.

— Генерал, встречайте гостей! — сказал Голованов, прикрывая рукой улыбку. — Непрошеных. Сейчас прилетят еще четыре самолета. Распорядитесь привлечь их цветными ракетами.

Это что—Америка?

Все вокруг было разбито, разворочено, выжжено. Даже сугробы снега не могли скрыть трагических следов войны. Хозяин-генерал был в отчаянии:

— Да куда же я вас положу?!

Кинулся к телефону, чтобы позвонить в город, там должна быть гостиница для особых случаев, но Голованов властно положил руку на аппарат:

— Ни в коем случае! О нашем прилете никто не должен знать.

Странно все это, таинственно.

Ночевали на полу в чудом уцелевшей избушке, которая была сверху донизу набита постоянными ее жильцами — тощими голодными... клопами. Кошмарная ночь! Чтобы скоротать ее, мы рассказывали друг другу анекдоты, а Романов рассказал нам назидательную быль такого содержания:

...Это было как раз вчера, поздно вечером. Ложимся мы, значит, с жинкой спать. И дверь уже заперли, и свет пригасили. И только-только я задремал, как послышался стук, тихий такой, неуверенный. Нюрка моя — прыск с постели.

— Кто там?

— Это я — Катя.

— Чего тебе?

— Выдь на минутку.

Накинула пальто, влезла в валенки и за дверь. И чего-то там зашептались. А я подумал: «Почему за дверью шепчутся, а не в комнате? Значит, от меня секреты?»

Вернулась. Раздевается, ложится. Молчит.

Спрашиваю для порядка:

— Чего это Катьке так поздно спонадобилось?

— А так, ничего!

И ответила как-то, будто хотела, чтобы я еще раз спросил.

А меня уже заело:

— Как это — «ничего»?

— Да так.

— А все-таки?

Молчит.

А я распалился — что это еще за секреты такие!

— Ну, ты долго будешь молчать?!

Тихо, робко отвечает:

— Да она, знаешь, Ванечка, просила, чтобы ты ей... Ну, это... из Вашингтона чулки со стрелками привез...

Меня так к потолку и подбросило:

— Это что же,— заорал я,— значит, ты уже растрепалась тут всем?!

Клянется, божится, что никому ничего не говорила.

А я уже разошелся. Возмутило меня, что никому ничего доверить нельзя — сразу же все и разболтают.

— Как же не говорила?! — допытываюсь я.— А откуда же тогда она узнала?

Теперь уж Нюрка разозлилась, шипит, как гусыня:

— Дурень ты, дурень! Да пойди на базар, вся толкучка только и говорит о вашем полете в Вашингтон!..

— Не смешно,— сказал кто-то, — вовсе не смешно.

И все рассмеялись, и тут же зачиркали спичками, закурили.

А наутро — туман, и как назло потеплело. Самолеты покрылись корочкой льда. Обледенение. Попробуй тут улети! А лететь мы знали куда — в Баку. Только не знали — зачем. А спрашивать боялись. И где же тут Америка? Где Вашингтон?

Ждали до полудня, с душевным трепетом поглядывая на хибарку. Неужели ночевать? Нет, это немыслимо! И лететь опасно. С обледенением в полете шутки плохи. Тут уж не помогут никакие качества пилота: разом превратишься в кусок льда.

А туман стоял. Иногда он редел, становился светлым. Значит, толщина его небольшая, и там солнце. А что, если пробиться вверх и пойти по курсу до Каспия? Уж возле моря-то наверняка хорошая погода.

Голованов смеется:

— Что, клопов испугались? Ладно, давайте попробуем.

Хозяин-генерал — сама готовность: нужна горячая вода — пожалуйста! Быстро вскипятили, наполнили цистерны и полили из шлангов самолеты. Корочка льда с протестующим звоном сползла на снег. Запустили моторы, прогрели и один за другим пошли на взлет, в туманную хлябь. Стекла тотчас же мазнуло кристалликами изморози, но немного. Пошли низом.

Местность явно понижалась, и мы уже шли над кал-

мыцкими степями, пробиваясь через щель между землей и облаками.

А через два часа полета впереди порозовело, облака ушли назад, и мы вырвались на ослепительный морской простор, с голубым пологом неба и сияющим солнцем.

Море тихое, гладкое. Справа — прямой линией тянется песчаный берег, устье реки с камышами и масса птиц. Прижимаю машину к самой воде. Вот сорвалась спугнутая нами стайка диких уток и пошла наперерез. Нам видно, как селезень-вожак ритмично и сильно взмахивает крыльями. Но мы догоняем. Селезень вывернул шею, чтобы посмотреть, и бухнулся в воду — только брызги полетели.

Куликов расхохотался. Глаза его сияли, и в эти минуты он был похож на ребенка, которому показывают сказку. И действительно, все вокруг было сказочно и непривычно.

Вон впереди на песчаном берегу, гордо выпрямив плечи, стоит возле самой воды горец в черной бурке. Подлетаем ближе. Он неожиданно расправляет полы своей бурки и, тяжело взмахивая крыльями, отрывается от земли. Орел! Вот тебе и горец!

Баку встречает нас сильным ветром, сухим и обжигающим. Мы прилетели дружно, кучкой, и садимся один за другим на аэродроме ГВФ. Кругом вышки, вышки. Сердце колотится: ведь здесь же я родился!

Зарулили, выключили моторы, ступили на землю, на которую с таким вожделением целились фашисты. К самолету подошли четверо. В штатском:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

Смотрят зорко, ощупывая взглядом. Распределились по одному, взяли машину в каре и замерли.

Так, ясно — специальная охрана. А чего охранять-то — пустые самолеты? Однако это не наше дело. Взяли свои чемоданы, пошли.

Поместили нас тут же, в гостинице. Шикарно! Через час пригласили к ужину. Большой зал, длинный стол, обильно уставленный закусками и выпивкой: коньяк, шампанское, водка.

— Ого! — воскликнул Белоус. — Это что — Америка? — и смачно щелкнул пальцами.— Вкусим!

Вкусили. Без Голованова. Он уехал в город. А жаль. Я хотел отпроситься, походить по Баку, попробовать разыскать приют, куда меня подкинули тридцать лет назад, найти дом, в котором я жил в семье рабочего бакинских

нефтепромыслов на правах приемного сына. Тридцать лет!

Глушаев сказал:

— Здесь живет мой брат. Пойдем, позвоним ему, а потом вместе и отпросимся.

Поднялись наверх. На стене телефон. Подходим. Со стула поднимается человек. В штатском.

— Вы хотите звонить?

— Да, а что?

— Лучше воздержаться.

Глушаев удивленно округляет свои щелочки-глаза:

— Но у меня здесь брат!

— Все равно.

Мы переглядываемся. Так, понятно — раз нельзя, значит, нельзя. Пожимаем плечами, выходим. Настроение мое падает. Если нельзя звонить, значит, нельзя и в город! Ясно.

Дует горячий ветер, несет поземкой песок. Неуютно.

— Пойдем домой, что ли!

«Дома» нет никого. Да куда же все делись? Открываем одну дверь, открываем другую — пусто! Наконец нашли. Все собрались в самой большой комнате. Сидят на койках, гадают: куда летим, зачем? А где же Америка? А где Вашингтон? Или, на худой конец, — Нью-Йорк?

Воздушный десант

Солнце взобралось в зенит. Жарко. Сонно гудят мухи. Их здесь много, это в ноябре-то! Я все время думаю о Баку. Странно. Я совсем его не знаю. Одни лишь смутные воспоминания детства. Узкие кривые улицы, мощенные булыжником, густой воздух, пропитанный запахом моря, нефти и жареных каштанов. Ажурный лес из нефтяных вышек, куда ни посмотри. Ловлю себя на мысли, что я люблю Баку.

Вот и сейчас — вышки, вышки, вышки. И запах моря и нефти. Ну, что хорошего? А я горжусь. Баку — это такой город! Такой город!.. Наши летчики, танкисты, автомобилисты — все обязаны Баку! Здесь нефтяники добывают нам победу... из-под земли! Это уж точно.

На аэродроме тихо. Никто не прилетает, никто не улетает. Закрыт аэродром. И даже дорога к нему закрыта. Люди в штатском с оттопыренными полами пиджаков стоят на своих постах. Хрустит песок под ногами. Скучно.

Мы сидим здесь уже второй день. Зачем сидим — не знаем. А спрашивать неловко. Не хотим мы знать ника-

ких государственных тайн! Так легче — душа не болит от нагрузки. Ведь знать тайну и ни с кем не поделиться, даже по строжайшему секрету, ой как трудно! Так уж лучше не знать. Нужно будет — скажут, а наше дело — выполнять, и постараться оправдать доверие.

Но вот какое-то оживление. Какая-то команда передается из уст в уста: «Экипаж такого-то на вылет!»

И мы уже насторожились, подтянулись.

Вслед за тем — еще команда. И еще. И еще...

У меня от волнения пересохло во рту: «Почему не вызывают?» А солнце уже перевалило зенит и опускается. «Неужели опять ночевать?»

Наконец-то слышу свою фамилию. Срываемся, как спринтеры на старте. Глушаев бежит к самолету, мы со штурманом — получать задание.

Лететь в... Тегеран! Тегеран?! Зачем? Э-э-э!.. — не наше дело. В Тегеран так в Тегеран. Конечно, это не Америка, но все же — заграница. А Белоус ворчит:

— Курица не птица, Иран не заграница!..

Мы у самолета. Ждем пассажиров. Нервничаем. Солнце склоняется к западу, а лететь три часа — времени в обрез.

Наконец приезжают пассажиры. Двадцать пять человек. С чемоданами, с пишущими машинками в объемистых футлярах. Снуют, грузятся. Что-то потеряли. Ищут какого-то Петрова. Нет Петрова и его чемодана, а в чемодане — вся соль.

Я сижу на своем месте, держусь за штурвал. От страшного волнения у меня вспотели ладони. Если через пять минут этот Петров с чемоданом не явится, мы наверняка не вылетим. В ночь, в горы, да еще с такими пассажирами, нас никто не выпустит.

Проходит пять томительных минут. Шесть. Восемь! Петрова нет. Салон гудит, как улей. Пассажиры нервничают.

— Петров! Где Петров, ч-черт его побери!

Я срываю зло на мухах. Они набились в самолет и сейчас нахально ползают по стеклу, как у себя дома. Сбиваю их щелчком.

Наконец появляется Петров. Маленький, рыженький, весь мокрый и страшно сконфуженный: волочит за собой громадный рыжий чемодан, обтянутый ремнями. Его встречают возгласами негодования.

Смотрю на часы. М-да. Время вышло. Однако...

— Ну-ка, Сережа, дай карту!

На карте маршрут проложен с изломом. Горы. Их надо обходить. Смотрю на отметку: три тысячи метров. М-да. Задачка! А если их перевалить, пойти напрямую? Тогда мы сэкономим целых сто километров. А это 25 минут полета!

Переглядываюсь с Куликовым.

— Так как, Сережа, а?

Тот пожимает плечами:

— Не знаю. Как пассажиры, высоковато все же...

— А что пассажиры — они даже и не заметят. Ну, будет чуть-чуть в голове кружиться и только. Пойдем напрямую!

— Пойдем.

Запускаем моторы.

Рядом кто-то дышит мне в ухо. Оборачиваюсь — какой-то полковник в зеленой фуражке. Высокий, красивый. Нос горбинкой, усики. Грузин. Глаза строгие. Начальник.

Даю команду — убрать колодки из-под колес.

Убирают. Но в это время бежит дежурный с флажками, машет мне и показывает крест. Вылет запрещен. Понятно — опоздали! Однако обидно.

Полковник вытягивает шею, грозно выкатывает глаза:

— Что это там он флажками машет?

— Вылет запрещен, товарищ полковник!

— Почему?!

— Поздно, наверное...

Полковник вытаращил на меня глаза:

— А лететь можно?

Я встрепенулся:

— Конечно, можно, товарищ полковник! Успеем. Пойдем напрямую.

— Успеем, да-а? Тогда какого черта! — Нагнулся к форточке, властно махнул рукой:

— Па-ашел вон отсюда!

Дежурного как ветром сдуло, и мы выруливаем.

Взлет. Курс. Набор высоты. Под нами — море. Бирюзовое. С запада и юга оно окружено горами. Тень их ложится сейчас на прибрежную долину, уже тонущую в предвечерней сиреневой дымке.

Нет, все-таки полет — это не просто полет. Это высшее эстетическое наслаждение! Ну, когда и кому удастся подсмотреть такое диво, такое сочетание красок, такой пейзаж!

Золотом брызжет солнце. Лучи его касаются макушек

гор. Искрится на вершинах снег, а у подножья синеет вечер, и тут и там в неподвижном воздухе поднимаются веревочки дымков.

Кто-то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь — полковник. Приветливо улыбаясь, он преподносит мне разрезанный и полуочищенный в виде экзотического цветка апельсин.

Вот это да-а-а! Я не верю своим глазам. Полковник смеется:

— Берите, кушайте, пожалуйста.

— Спасибо.

Такой же апельсин получает и Куликов.

Вгрызаюсь в сочную оранжевую мякоть.

— Сладость-то какая!

— Вкуснота!

Высота около трех тысяч метров. Становится прохладно. Мимо моего носа, усиленно работая в разреженном воздухе крыльями, медленно пролетает муха, за ней вторая.

А вот это уже ни к чему — везти за границу мух!

Осторожно открываю форточку. Чуть-чуть. Сильный отсос воздуха. Мухи, почувствовав неладное, разворачиваются и начинают угребаться подальше от окна. Балуясь, регулирую форточку так, чтобы скорость полета мухи уравновесилась со скоростью движения воздуха. Отлично! Мухи, изо всех сил работая крыльями, висят на месте. Открываю форточку пошире: вжжжик! И они за бортом.

Куликов смеется:

— Воздушный десант!

«Воздушный десант? Это идея! Надо выгнать всех мух. Пассажиры помогут. Отвлекутся и не заметят высоты».

Зову Глушаева:

— Тимофей, как там в салоне, мух много?

— Ой, полно, товарищ командир!

— Давай-ка их выгоним. Попроси пассажиров, пусть помашут газетами, журналами, чем могут.

— Неудобно как-то...

— Ничего, они поймут.

Борттехник уходит, а мне интересно: как среагируют пассажиры на эту необычную просьбу?

Склоняюсь в кресле, заглядываю через открытую дверь в салон. А там оживление. Пассажиры смеются, вооружаются газетами, журналами, машут. Мухи роем повалили к нам в кабину и прямиком за борт. А вот и пики под нами! Иран.

Тегеран

Перевалив через горы, мы стали снижаться в опаленную солнцем пустынную долину с редкой паутиной проселочных тропинок и дорог, с небольшими тут и там разбросанными кишлаками. Пылили арбы, шли караваны верблюдов. Ну точно так же, как и у нас, в каком-нибудь глухом уголке Средней Азии.

Тегеран открылся неожиданно. Он стоял за горой, и мы увидели его только тогда, когда аэродром оказался почти под нами. Жадно всматриваюсь в кварталы иранской столицы. Город как город. Центральная часть — европейского типа: широкие асфальтированные улицы с многоэтажными домами, площадь с монументом, парк. А окраины — древние-древние, с кривыми улочками и глинобитными одноэтажными домишками, с мечетями и минаретами. У меня к такой старине особое почтение. Мудрость человека зарождалась тут.

Делаем круг. Справа из пыльного марева показалась группа самолетов. Это был С-47 с эскортом истребителей. Уступаю дорогу. Самолеты проносятся мимо. Успеваю заметить — наши! Кого-то привезли, наверное...

Сажусь вслед за ними. Рулю. Аэродром большой. По одну сторону стоят американские самолеты, по другую — наши. С-47 подрулил к небольшому служебному зданию, развернулся и выключил моторы. Подкатили лимузины, захлопали дверцы, засуетились люди, встречая прилетевших. Мы встали рядом. И пока я выключил моторы, от лимузинов и след простыл.

К нам подъехал автобус. Пассажиры погрузились и уехали, а мы остались ждать своей машины.

И здесь так же, как и в Баку, к нам вышли четыре человека в штатском. Так же взяли самолет в каре и замерли, каждый на своем посту. Было сумеречно, и я не мог хорошо разглядеть их лица, но мне почему-то показалось, что на них лежал какой-то отпечаток грусти. Проходя мимо одного из них, я случайно задел локтем что-то твердое и больно ушибся.

— Ой, простите! — сказал человек. — Вы ушиблись?

— Ничего, ничего, это я виноват! — Кончиком пальца я тронул его талию. — Что тут у вас?

Незнакомец доверительно распахнул полы пиджака, сказал с усмешкой:

— Арсенал. — И взволнованно спросил: — Ну, как там у нас?

— Где? — не понял я, глядя на рукоятки пистолетов.

— В Москве! Москвич я. Снегу небось навали-ило. Хрустит, а?

И тут я догадался, что за печать лежит на лицах этих людей. Ностальгия! Тоска по родине.

— Хрустит, — сказал я. — Морозец щиплет уши. Березки в инее. И вам привет от Родины!

У незнакомца сверкнули глаза:

— Спасибо вам! Спасибо, товарищ гвардии майор!

Уже опустилась теплая южная ночь, когда за нами приехал небольшой автобус. Мы заняли места, и шофер, рванув машину, стремительно вылетел на шоссе, где все было вперемешку: шли ослики с поклажей, мчались грузовые автомобили допотопной конструкции, гордо вышагивали верблюды с вьюками, и среди них, нисколько не снижая скорости и круто лавируя, сновали юркие «виллисы» и сверкающие лаком лимузины. Мимо нас мелькали тюки, вьюки, частокол верблюжьих ног, сюртуки и шапки погонщиков. От света фар вспыхивали изумрудом глаза верблюдов и ослов, пахло конским потом, навозом и пылью. Шофер, объезжая препятствия, лихо выкручивал баранку, нас бросало из стороны в сторону, и мы, вот-вот ожидая столкновения, изо всех сил сжимали пальцами подлокотники кресел. Ну и ну! Вот это заграница!

Очнулись только, когда остановились на узкой улочке, возле небольшого двухэтажного здания с ажурными балконами, с которых нас приветствовали криками экипажи самолетов, прилетевших раньше.

Откуда-то из сводчатых ворот появился молодой иранец в широких шароварах и в длинном жилете, одетом поверх чистой белой рубахи. Вежливо открыл дверь, улыбнулся, сказал по-русски, с трудом подбирая слова:

— С-да-раствуй-те. Очен рад вам. Пожалста.

Он повел нас почему-то через черный ход. По узкой скрипучей лестнице мы поднялись на второй этаж, где нам была отведена комната с четырьмя кроватями и керосиновой лампой под потолком. Два распахнутых настежь высоких окна и просторный балкон выходили на улицу.

К нам в комнату с шумом ввалились ребята. Они были чуточку навеселе.

— Привет!

— Привет.

— Притопали?

— Как видите.

— Ну, как, вам нравится заграница?
— Еще не осмотрелись.
— Тогда пошли, мы вам покажем.
И все повалили вслед за хозяином. Иранец показал нам умывальник с «пипкой» и примитивную уборную, которой мы немало подивились: два очка в каменном полу и тут же медные кумганы для омовения. Водопровода не было. Как объяснил нам хозяин, вода в Тегеране принадлежала шаху, и населению ее развозят в бочках за плату. Есть деньги — есть вода. Нет — пей из арыка!
Мы удивлены:
— Вот так заграница!
Романов спросил:
— Есть хотите?
— Хотим.
— Ну, тогда пошли. У нас еще осталось кое-что.
В комнате у ребят кавардак. Постели примяты, пепельница на столе полна окурков. Тут же на пергаментной бумаге — остатки еды: куриные косточки, шкурки от колбасы, огрызки яблок. Рядом — опорожненный до половины графин с мутноватой шахской водой, несколько граненых стаканов и двухлитровая зеленая фляга американского происхождения, на алюминиевом боку которой по английски надпись: «Дистиллированная вода».
Мы сели за стол.
— Ну, тамада, подавай, что там есть!
И нам подали завернутую в бумагу половину отварной индюшки, хлеб и несколько луковиц. Иван Романов взял флягу, потряс ее, широко улыбнулся:
— Булькает!— и налил нам в стаканы по приличной дозе. — Так будете или разведете? Чистый спирт.
Мы переглянулись:
— Так, — сказал Куликов.
Остальные молча кивнули.
— Принято единогласно!
Я поднял стакан и тут же почему-то вспомнил этого парня — возле самолета, и тех — других. И их печальные лица. Ностальгия. Страшная болезнь!
— Хлопцы, вы видели этих ребят у самолетов?
— Видели, — отозвался кто-то из дальнего угла. — Тоскуют по родине. Один кинулся меня обнимать. Как брата родного. И слезы на глазах...
— Мда! — сказал Куликов и передернул плечами.— Выпьем за Родину.

Выпили. Распотрошили индюшку. Закусывали молча. Романов взял флягу:

— Еще по одной?

— Нет, хватит.

Куликов задумчиво обгладывал косточку.

— Ну, а зачем же мы сюда прилетели, кто скажет? Маршал ничего не говорил?

— Ничего. Прилетел и уехал. Озабоченный такой.

— Странно,— сказал Куликов, положил косточку в общую кучу, собрал объедки, туго завернул их в бумагу и вытер пальцы о сверток. — Ладно, не знаем так не знаем. Пошли-ка спать.

Большая Тройка

Нас разбудило громкое воркование голубей. Я просыпался медленно, не торопясь и как-то по особенному вкусно. Безмятежно. Войны будто и не бывало. Уже отвык за пять месяцев от ночного бдения, от грохота моторов, от стука шасси на взлете, от прожекторов и зенитных снарядов. Уже пять месяцев я ложусь спать по-человечески — с вечера и утром просыпаюсь. Открываю глаза и по привычке тут же таращу их через окно на небо, чтобы узнать из первоисточников, а какая же там погода и как поживает доброе старое Солнышко? А тут голуби — олицетворение мира. И воркованье, несущее с собой воспоминание о детстве...

...Ташкент. Высокие тополя в центре города. Магазины. Там под крышами жили голуби и так же вот стонали по утрам от избытка любовных чувств...

Кто-то прошлепал по коридору босыми ногами, открыл дверь.

— Ребята, вставайте, казначей приехал!

— Казначей? Какой казначей?

Однако интересно! Полетели одеяла в сторону. Быстро! Быстро! Надо бежать в умывальную, там небось очередь сейчас.

Белоус потрогал пальцем подбородок:

— Побриться бы.

— Я дам тебе бритву,— сказал Глушаев.

Белоус мотнул головой:

— Не надо, пойду в парикмахерскую.

— А деньги?

— Даст казначей. Зачем же он тогда приехал!

Схватил полотенце, мыло, зубной порошок — вылетел.

Через полминуты стремительно распахнулась дверь. Белоус просунул голову:

— Казначей выдает денежки! Двадцать два с половиной тумана в сутки. Во! — и скрылся.

Двадцать два с половиной тумана? Много это или мало?

Казначей, с желтым лицом, молчаливый, строгий, поправив кончиком пальцев очки в золотой оправе, отсчитал двадцать две новенькие бумажки и, придавив их сверху пятью монетами, пододвинул ведомость:

— Распишитесь.

Первый раз в жизни я держал в руках иностранные кредитки со странным названием «туманы». А что мы будем делать с этими туманами?

И тотчас же нашелся ответ. Полковник Петухов сказал:

— Товарищи! Питаться будем за плату в посольской столовой. Кто готов, пойдемте со мной, остальные с капитаном Топорковым. Он знает, где посольство. Ну, пошли?

Я поискал глазами свой экипаж. Борттехник здесь, штурман здесь и моторист здесь. А где же Белоус? Радиста не было. Куда его черти уволокли?! Пришлось ждать. Оказывается, он и борттехник Романов пошли в парикмахерскую. Вот шутоломные головы!

Но вскоре они явились. Белоус влетел в комнату, словно кто гнался за ним. Дышит часто — запалился, глаза горят, на лице румянец.

— Бра-атцы!— сказал он, с трудом переводя дыхание. — А вы знаете, зачем мы здесь?! — и обвел всех торжествующим взглядом.

— Ну, зачем? — сердито спросил я, собираясь сделать ему хороший нагоняй.

— Сталин в Тегеране!

Мы подскочили на стульях.

— Что-о-о?!

— И Рузвельт! И Черчилль! Я видел их всех!

Глушаев махнул рукой.

— Брось трепаться! Что вы слушаете его, командир?

Белоус пылко стукнул себя кулаком в грудь.

— Провалиться мне на месте!..

Это было, конечно, нелепо: пошел какой-то радист и сразу уже увидел и Сталина, и Рузвельта, и Черчилля!

Подавляя смех, я спросил с издевкой:

— А где же ты их видел, дорогой?

У Белоуса от возмущения захватило дух, и он, сверкнув в негодовании очами, выпалил:

— В парикмахерской!

Мы взорвались хохотом. Куликов, сидевший на койке, смешно дрыгнул ногами и повалился лицом в подушку:

— И вы... И вы... все брились?.. О-хо-хо-хо-хо!.. И ты спросил у Черчилля, кто последний? А-ха-ха-ха-ха! Ну и чудак же наш Белоус!

Но Белоус нисколько не смутился. Укоризненно посмотрев на нас, он открыл дверь в коридор и крикнул:

— Романов!

Романов тотчас же отозвался:

— Что тебе?

— Иди сюда! Вот тут не верят...

Вошел Романов и улыбнулся, увидев нас, растрепанных от смеха.

— Нет, товарищи, не смейтесь. Все так. Мы вошли в парикмахерскую и сразу же увидели портреты Сталина, Рузвельта и Черчилля. «А где же ваш шах?» — спросил я у парикмахера. «А вот наш шах! — сказал парикмахер и показал на Сталина. — Уж он тут с ними договорится!» — «С кем?» — спросил я. «Как с кем? — удивился парикмахер. — С Рузвельтом и Черчиллем! Сегодня конференция Большой тройки». Вот, — закончил Романов.— За что купили, за то и продаем.

Мы смущенно переглянулись.

— А ведь похоже на правду, — пробормотал Глушаев.

— А это и есть правда! — вставил Белоус. — Что я врать, что ли, буду?

— Ладно, пошли,— сказал я, вставая. — Где там наш проводник?

Мы вышли на улицу уже с каким-то новым, приподнятым чувством. Мы понимали: сейчас свершается процесс творения Истории, и одно то, что Рузвельт и Черчилль согласились на эту встречу, ярче всяких слов говорило, что они обеспокоены успехами советских войск на фронте. И слова парикмахера: «Вот наш шах!» — не случайные слова. Оценка тут дана безошибочно: авторитет Советского Союза — на должной высоте!

Мы были так взволнованы, что не заметили, как вышли на проезжую часть оживленного перекрестка. Завизжали покрышки тормозящих машин, и вокруг нас сразу же образовался затор.

Крайне смущенные, мы бросились назад. Мы ожидали гневных реплик и жестов, но — что это? Вместо рассер-

женных лиц — широкие улыбки. Шоферы, высунувшись из кабин, доброжелательно махали нам руками:

— Проходите! Проходите!

Мы показывали жестом:

— Проезжайте! Проезжайте!

Тогда водители стали что-то дружно скандировать. Заулыбались прохожие на тротуарах, и один из них, пожилой персиянин в больших роговых очках, сказал по-русски:

— Идите, идите, молодые люди! Они кричат, что не поедут, пока вы не пройдете.

Мы подчинились. И лишь сделали первые шаги, как все умолкло. Стало так тихо, что было слышно, как цокали подковки наших сапог. Мы шли в каком-то опьянении. Чувство гордости за родину переполняло нас. Это было необыкновенно сильное чувство!

Перешли улицу, обернулись. Пальцы сами сжались в замок, в символ единения и дружбы. Мы подняли руки над головой: «Спасибо! Спасибо!»

Затор рассосался. Машины разъехались.

Мы шли тесной группой, ни на минуту не забывая, что находимся за границей, стараясь подметить черты, свойственные зарубежным городам. Но ничего такого пока в глаза не бросалось. Такие же улицы, дома, деревья, как, скажем, в Ташкенте. Такие же люди, по-разному одетые. Есть, правда, кое-что из прошлого Ташкента, каким он был в годы нэпа: фаэтоны, например, и уличные чистильщики сапог. Вот один из чистильщиков, дробно барабаня щетками, наводит блеск на ботинках какого-то европейца, которых в Тегеране много. Тот, поставив ногу, лениво, как бы от нечего делать, посматривает по сторонам. А у меня сердце: ек! В этом человеке я сразу узнал нашего!

Что его выдавало? Показное равнодушие или, может быть, какие-то чисто профессиональные жесты? Нет, тут что-то другое. Что-то социальное и национальное, что может явиться своеобразным паролем только для нас — советских людей!

И лишь когда мы подошли ближе, мне стало ясно, чем он себя выдавал: глазами! Взгляд его был очень взволнованным. Глаза так жадно смотрели на нас, и столько лилось из них ласки и какого-то душевного порыва, что я, проходя мимо, не удержался и, раскрыв его инкогнито, широко ему улыбнулся и подмигнул. Он растерялся. Лицо его вспыхнуло, озарилось радостью.

Этого человека тоже мучила ностальгия.

Советское посольство размещалось в обширной усадьбе, некогда принадлежавшей богатому персидскому вельможе. Большой парк, могучие кедры, платаны, пруд с ярко-красными стаями рыб, плакучие ивы. Воздух насыщен прохладой журчащих арыков. Высокая каменная стена надежно огораживала территорию посольства от нескромных взглядов.

Мы были сначала удивлены, когда узнали, что Рузвельт остановился в нашем посольстве, но потом все разъяснилось. Оказывается, советской разведке стало известно, что группа агентов третьего рейха под руководством матерого эсэсовца штурмбанфюрера Отто Скорцени готовилась по поручению Гитлера выкрасть в Тегеране президента Рузвельта и ликвидировать Большую тройку. В случае удачи в этой операции Гитлер рассчитывал договориться с Америкой и тем самым повернуть ход войны в свою пользу.

Советское и английское посольства были в непосредственном соседстве, американская же миссия находилась на окраине города. На это и рассчитывала немецкая разведка. Если бы Рузвельт остановился у себя, то кому-то пришлось бы ездить каждый день на переговоры по узким улицам города, а это было опасно.

Мы скоро освоились с городом и стали подмечать признаки отсталости страны и социального неравенства. Улицы иранской столицы носили отпечаток какой-то странной смеси архаичности и современности. Цокали подковами лошади, впряженные в фаэтоны, громыхали моторами автомобили старинных марок, неслышно катились новенькие «форды», «бьюики», «фиаты» и тут же вышагивали с гордо поднятой головой верблюды, семенили ослики.

Среди пестро одетой публики из коренного населения выделялись люди, явно не знающие, куда себя деть. Хорошо одетые, они либо разъезжали в шикарных лимузинах, либо просто фланировали вдоль тротуаров. Это были состоятельные беженцы из охваченной войной Европы, сумевшие вовремя перевести в Тегеран свои капиталы и жить здесь безбедно.

Конечно же, среди этой толпы находились и фашистские агенты. Прежде чем установились дружественные отношения между Ираном и антигитлеровской коалицией, престарелый Реза-шах, не скрывавший своей симпатии к Гитлеру, создал условия резидентам абвера. Реза-

шах отрекся от престола и бежал в Южную Америку, а тщательно законспирированная гитлеровская агентура осталась.

Зная об этом, американская военная охрана, сопровождавшая на совещание остальных членов своей делегации, остановившихся в миссии США, каждый день устраивала в городе своеобразный спектакль. Вдруг откуда ни возьмись выскакивают «виллисы», резко тормозят, и на мостовую с пулеметами в руках спрыгивают ловкие парни. Раз-два! — пулеметные сошки уперлись в асфальт, и уже на тротуаре в картинной позе раскинуты ноги, и солдат держит приклад у плеча. А мимо: «Фррр! Фррр! Фррр!» — проносятся машины. Парни вскакивают, облепляют «виллис», и только дымок остается.

Вот так встреча!

А уже на второй день мы были в Тегеране как дома. Тем более, что в магазинах чуть ли не все их владельцы хорошо говорили по-русски. Ребята удивлялись, но все было очень просто: во времена нэпа многие иранские подданные жили в наших южных городах: в Баку, в Ташкенте, имели свои магазинчики и торговали чем придется.

Мы обошли чуть ли не все магазины, в которых продавались часы: непромокаемые, неразбиваемые, антимагнитные.

Облокотившись о перила, мы подолгу стояли возле витрин, с любопытством наблюдая, как искусно сделанная механическая рука в белой манжетке, держа часы за ремешок, методично окунала их в стеклянную банку с водой, и часам, как выражался Романов Иван, было «хоть бы хны!»

Часов было много. Разных. И с черными, и с белыми, и с позолоченными циферблатами, и на часах была этикетка с ценой. Но мы уже знали, что в Тегеране, в древнем городе Востока, принято торговаться без всякого стеснения. И хозяин был за это не в обиде. Даже наоборот: человека, купившего товар после продолжительного торга за полцены, он провожал за дверь с бо̀льшим уважением, нежели того, который просто уплатил назначенную цену и ушел.

Каждый из нас хотел купить часы, чтобы привезти домой подарки, но торговаться!.. Это было свыше наших сил. Тогда на выручку пришел Романов.

— Братцы!— сказал он. — Вы ничего не понимаете.

Здесь нет ничего зазорного. Доставьте это удовольствие мне. Я буду покупать вам часы! Зачем же платить лишние туманы?

И он покупал нам часы. Он знал до тонкости все ритуалы, чем приводил в восторг и умиление владельцев магазинов. Для этого Иван специально надевал под фуражку старую тюбетейку. В самый нужный момент, в апогее торговли, он срывал с головы тюбетейку, страстно швырял ее на пол, придавливал носком сапога и, со всего размаху хлопая хозяина ладонью по протянутой руке, предлагал свою окончательную цену.

Растроганный до слез хозяин сдавался. С тяжелым вздохом отвязывал от непромокаемых, неразбиваемых и антимагнитных часов бирку с первоначальной ценой в 40 туманов и вручал их необыкновенному покупателю за... 15 туманов.

Однажды, возвращаясь после обеда домой, мы с Романовым, отбившись от компании, оказались в незнакомой части города. Мы шли просто так, без всякой цели. На душе было празднично и хорошо. Ласково пригревало солнце, едва заметно трепетали листья на платанах, где-то на крышах ворковали голуби. По узкой асфальтированной улице, круто спускавшейся вниз к старому городу, неслышно проезжали легковые машины, гордо вышагивали верблюды с громоздкими вьюками, семенили доверху навьюченные ослики, скрипели колесами арбы, сновали прохожие.

Торговцы, выложив на тротуарах перед дверями магазинов кипы мануфактуры, громко зазывали покупателей. Расхваливали свой товар продавцы фруктов. В воздухе разносился запах апельсинов, дынь и жареных каштанов.

Мы дошли до перекрестка и остановились, выжидая, когда пройдет поток машин. Стоявший на высокой чугунной тумбе рослый полисмен с шоколадным лицом размахивал руками в белых перчатках — регулировал движение. Вот он повернулся и пустил машины по другому направлению. Путь был свободен, но мы не двигались. Словно зачарованные, смотрели мы на вывеску, висевшую над тротуаром, справа за углом. Вывеска до странности знакомая, связывающая нас обоих с временами почти двадцатилетней давности: на зеленом поле оранжевый заяц, надувая лохматые щеки, дудел в трубу. Из трубы вместо звуков выползала прихотливая вязь из арабских букв.

— Она! — сказал Романов. — Провалиться мне на месте!

— Пожалуй, — согласился я. — Но тогда была надпись по-русски: «Детский мир!»

— Все равно она! — сказал Романов. — Пойдем посмотрим! Там должны остаться следы русских букв.

Мы подошли. Вывеска была старая, с мелкой сетью трещин, выступавших из-под позднего слоя красок. И действительно, под арабским шрифтом виднелись слабые очертания русских букв.

Мы переглянулись.

— Надо же такое! Старая ташкентская знакомая!

— Значит, жив мошенник Ахмет? — воскликнул Иван и шагнул к двери маленького магазинчика с выставленными игрушками из папье-маше. — Сейчас мы спросим у него, зачем он это сделал!

— Нет, погоди! — сказал я, останавливая друга. — Погоди. Дай опомниться. И, знаешь, — не будем его обижать.

— Не будем, — подтвердил Иван. — Зачем? Он славный дядька! Пошли!

Иван поправил фуражку, одернул китель и решительно толкнул дверь.

В магазине было темно и неуютно. Пахло столярным клеем и пылью. Сидевший у прилавка седой грузный иранец с большими очками на горбатом носу медленным движением положил газету, которую читал, тяжело поднялся со стула.

— Гаспада афицер желают купить игрушка? — с вежливым недоумением осведомился хозяин и моргнул большими грустными глазами.

— Э-э-э... Понимаете ли, — сказал Романов, многозначительно взглянув на меня. — Мы ищем... комнатную ракету!

Хозяин недоуменно сдвинул очки на лоб.

— Простите, гаспада афицер, ви, навирна... шутите, или я не понимал вас, но-о... простите — комнатный ракэт не бывает.

Романов огорченно поджал губы и, как бы нехотя, повернулся к выходу.

— Что ж, — сказал он. — Очень жаль! Я так и знал. Здесь нет таких игрушек, какие были в Ташкенте у Ахмета в «Детском мире». Помнишь?

При этих словах хозяин умоляюще протянул руки.

— Постойте, постойте! — взволнованно проговорил он. — Ахмет — это я! «Детский мир» был у меня! Вы знали Ахмет?! Я Ахмет!..

Прижав руки к груди, он стоял, красный от волнения, и растерянно моргал глазами, пытаясь что-то вспомнить, увязать нас — двух улыбающихся офицеров с обстановкой прошлых лет. Но мы явно не увязывались в его памяти. Он нас не узнавал. Не помнил.

— Ну, если вы Ахмет, — сказал я,— то у вас обязательно должны быть комнатные ракеты. Вспомните двух таких мальчишек (я показал рукой, какие были мальчишки), которые каждый день приходили к вам в «Детский мир» поглазеть на игрушки. Это было недавно, лет... восемнадцать назад. Как раз под Новый год. И вы продали им две комнатные ракеты. Помните?

— Да, да! Два мальчишка... — растерянно проговорил Ахмет. — Каждый день, с книжками... Да, да, помню, мальчишка, но... комнатный ракэт не помню. Я продал им ракэт и сказал, что они... комнатный?

— Ну конечно! — рассмеялся Иван. — Вы еще сказали тогда: «Новый год пустышь, папа с мамой радоваться будут. Иды!»

Лицо у Ахмета сделалось пунцовым. Он в смущении схватился руками за голову, взъерошил коротко подстриженные волосы:

— И я им сказал, чтобы пускал в комната?! Ай, ай, ай! Как минэ стыдна! Я обманул мальчишка... Я верил в аллах, читал Коран. Ах, бедный я, бедный Ахмет! Я думал, если обмануть неверного, то девять грехов спадет с души правоверного. Ах, как минэ стыдна!

Внезапно Ахмет выпрямился. Седые кустистые брови его, подпирая очки, полезли на лоб, в широко раскрытых глазах засветилась догадка.

— А где эта мальчишка? Эта мальчишка вы?! Эта блестящий офицер те самый мальчишка? О-о-о! О-о-о!..

И он разохался, распричитался. Потом, спохватившись, принялся приглашать к себе в гости. Сейчас он закроет магазин, а дома у него есть бочонок хорошего вина...

Но мы, сославшись на занятость, извинились, распрощались и ушли, оставив старика взволнованным до слез.

О'кей!

Мы в Тегеране уже пятый день. Солнце светит. Теплынь. Воркуют голуби. Шуршат листвой платаны. По утрам над минаретами сияет снежной вершиной гора Демавенд. Экзотично. Красиво. По вечерам по городу тянет запахом жареных каштанов, дынями, апельсинами. Отношение к нам со стороны населения самое предупредительное. Все хорошо, все отлично, но... Ностальгия, наверное, болезнь инфекционная. Наверное, мы подхватили ее от тех ребят, которые стоят на карауле возле наших самолетов. Скучно. Надоело. Скорей бы домой!

Вчера, когда мы проходили с Глушаевым в районе Старого базара, к нам подошел средних лет иранец, приложил руку к груди, извинился за себя и за товарища, сидевшего у порога чувячной мастерской, и сказал, что они просят разрешения потрогать рукой... наши сапоги!

Мы с Глушаевым удивленно переглянулись, но отказать в такой просьбе не могли. Пусть потрогают. Нам краснеть за выделку советской кожи не придется.

Мы подошли, поставили ноги на порог. Мастеровые с благоговением притронулись кончиками пальцев к голенищам, поцокали языком: «Ах, хаароший русска хром!»

На обед пошли группой, человек пять. Идем по тротуару тихо, вежливо. Встречным уступаем дорогу. По узкой улице мечутся звуки восточного города: цоканье копыт нагруженного ослика, журчание воды, текущей по асфальтовым канавкам по обочине дороги, неумолчные страданья голубей, скрип немазаных колес, плач ребенка во дворе.

Навстречу нам по противоположной стороне улицы идет, печатая шаг, английский офицер. Чопорный, строгий. Высокий белый воротничок подпирает подбородок: голова чуть-чуть запрокинута назад, надменный взгляд устремлен в пространство. Прошел. Не увидел нас. Не заметил.

— Валяй, валяй! — ворчит Романов. — Скатертью дорога. Невежда.

Через минуту слышим гомон. Из-за угла навстречу, заняв всю проезжую часть улицы, размахивая руками и громко разговаривая, шествует группа американских летчиков. Увидели нас, засияли улыбками. Старший из них, майор по званию, высокий круглолицый блондин, вежливо взял под козырек и так держал, пока мы, от-

ветив на приветствие, не прошли. А он, обернувшись, все еще держа руку у головного убора, восхищенно глядел на нас, как на заморское чудо. Несомненно, это была дань успехам наших войск на советско-германском фронте, бьющих фашистских оккупантов один на один, без помощи союзников, которые не очень-то уж торопились с открытием второго фронта.

— Хорошие ребята! — сказал кто-то.

— Хорошие, когда спят... — уточнил Глушаев.

Да, конечно, еще бы! Ребята славные... пока наши в битве с фашизмом таскают для них каштаны из огня. Кому война, кому прогулка.

По пути нам попался винный магазинчик. За широким стеклом — небольшое помещение. Стойка. За стойкой толстенный иранец, и за его спиной во всю стену — полки, заставленные всевозможными бутылками.

Мы уже знали — выпивка в Иране стоит дорого, но надо же хоть посмотреть, какие же у них вина!

— Зайдем?

— Зайдем.

Зашли. Хозяин, круглый, как луна, сощурил в радостной улыбке заплывшие глаза. Толстыми волосатыми пальцами проворно переставил рюмки, одернул фартук и замер в красноречивой позе готовности.

Мы уставились на полки. О-хо-хо-о! Сколько здесь разных вин! Но местных нет. Английские, французские. Высокие, низкие, пузатые бутылки с радужными этикетками. Выкладывай туманы — пей!

В это время гомон за дверью. Оборачиваемся — американцы! Тот же самый майор и компания.

Ввалились. Веселые, шумливые.

— О'кэй!

— О'кэй!

Майор показывает жестом:

— Выпьем?

— Выпьем!— отвечаю я.— Рузвельт, Сталин?

— О-о-о!..

Американцы польщены. Майор повернулся к бармену, небрежно ткнул пальцем по направлению к полкам:

— Виски!

Бармен проворно достал бутылку, вытер ее салфеткой, откупорил. Поставил рюмочки, хрупкие, маленькие, как наперсточки — десять штук. Разлил.

Майор широко улыбнулся, сделал рукой приглашающий жест:

— Плииз! — и взял рюмочку за тоненькую ножку.

Поднимаем рюмки в полной тишине. Майор из вежливости ждет, что скажу я — старший в нашей группе. А может быть, он хитрит, зная, что именно я скажу? А мне только этого и надо! Хитри, хитри, майор, у меня свой план!

Оглядываю американцев, поднимаю рюмку над головой:

— За дружбу!

— О-о-о!..

Понято без переводчиков. Чувствую, что попал в самое-самое!

— За здоровье президента Рузвельта!

— О-о-о...

Тоже понято без переводчика.

Выпили. Поставили рюмки. Пауза. Теперь моя очередь угощать. Американцы смотрят на нас с интересом. Держу невозмутимый вид. Поворачиваюсь к бармену и показываю пальцем на самую пузатую бутылку. Бармен забирается на лесенку. Бутылка у меня в руках. Смотрю, тычу пальцем на обозначение крепости — 12 градусов. Презрительно морщусь:

— Нет. Слаба. Не пойдет! — И к бармену: — А ну-ка вон ту!

Вторая чуть покрепче — 16 градусов. Бракую и эту.

— Нет, не пойдет!

И третья, и четвертая. Я разочарован, огорчен. А ребята уже догадываются, что я задумал, тоже разочаровываются и тоже огорчаются.

— Разве это крепость?! Ерунда какая-то!

Тогда я говорю:

— Ваня!

Романов вытягивается передо мной в струнку:

— Слушаюсь, товарищ командир!

— Давай!

Иван энергичным движением ударяет себя ладонью по бедру и, рисуясь, медленно опускает два пальца в карман. Американцы изумлены. Искренне. Они даже пригнулись, стараясь угадать, что же это такое собираются учудить загадочные русские?

А Ваня тем временем вытягивает флягу. Вот появилась металлическая пробка-крышечка, потом горлышко, затем рифленый корпус с надписью. Английские буквы ползут одна за другой: «Ди... сти... ллед...»

Американцы грохнули дружным смехом:

— Дистиллед ватер?!

— О-хо-хо-хо-хо!

— А-ха-ха-ха-ха!

По-прежнему выдерживая невозмутимый вид, показываю бармену:

— Рюмки!

Тот в недоумении: рюмки стоят, чего же надо?

Показываю пальцами:

— Такие!

Бармен ставит покрупнее. Но я куражусь.

— Нет, вон те!

Американцы, все еще смеясь, с неподдельным интересом смотрят, что же будет дальше.

Говорю Романову:

— Ваня, разливай!

Тот разливает, а я сквозь зубы:

— Ребята, не подкачайте — пить как воду!

Сзади шепот:

— Понято!

Романов наполнил рюмки, жестом приказал бармену откупорить бутылки лимонада.

Поднимаю рюмку, киваю головой американцам:

— Плииз!

Все подняли. Все держат. Все ждут. Майор растерян: предлагать или не предлагать тост за Сталина, ведь в рюмках же вода!

Я поощрительно смотрю ему в глаза:

«Ну же! Ну! Смелее! Вы про нас тоже так же думали, что русские — вода. Что Гитлер хлопнет нас, как мух. Все принимали нашу доброту за слабость. Вы — тоже. Роковая ошибка! Давай, майор, давай!»

Майор решился. Что-то сказал по-английски, заключив свою фразу словом «Сталин». Его друзья закивали:

— Сталин! Сталин!

Подняли рюмки, но не пьют, выжидательно смотрят на нас.

Я сказал:

— Пошли, ребята!

Пригубил и, глядя на майора, принялся тянуть неразведенный спирт, как воду. И с каждым моим глотком лица у американцев меняли настороженность на обычную беспечность.

«А ведь это и в самом деле вода! — наверное, думалось им. — Что за странный народ, эти русские!»

Я допил рюмку, поставил, взял стакан с лимонадом, чуть-чуть запил и поощрительно кивнул американцам:

— Плииз!

Майор совсем повеселел. Будет что порассказать своим друзьям, как они пили за здоровье маршала Сталина... дистиллированную воду! Ха-ха! И смело опрокинул рюмку, за ним его друзья.

— О'кэй!

Это выкрикнул кто-то из наших ребят, глядя, как майор, задохнувшись, так и остался с открытым ртом, как полезли глаза из орбит и брызнули слезы. Общие ахи, дружные охи. Майор, согнувшись пополам, и кашлял, и смеялся. Я хлопнул его ладонью по спине:

— О'кэй?!

— О'кэй! — прокашлял майор, выпрямляясь и вытирая слезы. — О'кэй!

Майор был не лишен юмора. Или, быть может, он понял скрытый смысл этого «русского тоста»?

Мы пожелали американцам успехов в открытии второго фронта, распрощались и ушли.

На обед мы, конечно, опоздали, столовая закрыта, это факт. Там строго. Что же делать? Есть-то хочется!

И тут наш взгляд упал на две стойки с белыми стеклянными шарами. На шарах по-английски надпись: «Бар», и вниз, под двухэтажный дом из красного туфа — ступеньки в подвальное помещение, откуда лились приглушенные звуки джаза.

Вообще-то я не любитель ресторанов: у меня к ним предубеждение. Слишком дорогое удовольствие, если идешь за свои «кровные». Ну, а если за «бешеные» — тогда другое дело! Но у меня никогда «бешеных» денег не водилось. Профессия не та! Не тот характер.

Мы переглянулись. Чуть-чуть поколебались (хватит ли наших туманов?), однако есть-то надо!

— Ладно, ребята, пошли!

Спустились в небольшой вестибюль. Направо — вешалка и негр-швейцар в золотых галунах. Налево — за широкими бархатными портьерами — вход в ресторан. Джаз-оркестр играет какое-то танго. Красиво играет, хорошо.

Швейцар с широкой радостной улыбкой принял наши фуражки, что-то быстро заговорил, пробежал вперед, раздвинул портьеры:

— Плииз!

Мы вошли. Танго оборвалось. Оркестранты, сидящие слева на подмостках, вытянув шеи, с нескрываемым интересом уставились на нас. Я кивком головы поздоровался с ними. В ответ засияли улыбки.

Дирижер, словно собираясь взлететь, взмахнул руками, и трубы, флейты, саксофоны грянули «Катюшу»!

— Здорово! Вот это да! — отметил Белоус.

Небольшой зал на десять-двенадцать столов, высокая длинная стойка с батареей бутылок и рюмок, человек десять посетителей, в основном американские военные.

Среднего роста, седой, но подвижный бармен с черными проникновенными глазами влетел в зал, блеснув перстнями, приложил в почтительном поклоне руки к груди:

— О-о-о! Ита нам ба-алшая честь! Прахадите, пажалста, гаспада афицер! Пажалста!

Сам придвинул недостающий стул, усадил. И уже стоит официант — сама готовность! Большущие глаза, лохматые ресницы. Продувная бестия!

Бармен спросил:

— Что прикажете? — И посыпал разными мудреными названиями.

У меня похолодело под ложечкой: «Хватит ли наших денежек?»

Остановились на каком-то труднопроизносимом супе и рыбе в соусе. Пить? Нет, пить не будем.

Бармен понимающе кивнул. Да-да, конечно, русские— это такие странные люди!

Музыка ласкала слух. Звучали наши родные мотивы: Дунаевский, Шостакович, Соловьев-Седой, Чайковский.

Подали суп с мудреным названием. Это был крепкий бульон с разбитым в тарелку сырым яйцом, белок которого сваривался на наших глазах.

Романов поморщился:

— Борща бы.

Хлеба — кот наплакал: несколько тоненьких ломтиков.

Шепотом говорю:

— Ребята, на хлеб не наваливайтесь, чтобы досталось всем, а добавки просить неприлично.

— Понима-а-ем, заграни-ица, — вздохнул Белоус.

Бульон оказался вкусным и сытным. Мы доканчивали каждый свою порцию, когда к нам подошел американский офицер. Щелкнул каблуками, мотнул головой в почтительном поклоне, что-то спросил.

Мы непонимающе переглянулись. Военный улыбнулся и обратился к бармену.

— О-о-о! — сказал бармен, выходя из-за стойки. — Американский офицер просит у вас разрешений играть танго-о. Он хочет танцевать со свой подруга.

— Танго-о-о?! — удивился я. — Так пусть обращается к оркестру!

— О-о-о, нэт! — сказал бармен. — Оркестр в вашу честь играйт только советска мюзика. Все остальной — с ваш разрешений.

Я бросил взгляд на капельмейстера. Он выжидательно смотрел в нашу сторону.

— О'кэй! — сказал я и утвердительно кивнул головой.

Нам было неловко. Если бы не этот офицер, мы так бы и не знали, какой чести были удостоены. А погордиться лишний раз за родину, ей-ей, было не грех!

...Хотя все то, что говорилось в зале совещания Большой тройки, было для нас неведомо, мы не могли не ощущать связи с происходящим. Второй фронт — вот что было основой основ переговоров! Сталин один против двоих. Удастся ли ему убедить своих оппонентов прекратить дальнейшее оттягивание с открытием второго фронта? Привезем ли мы домой на родину радостную весть?

И уже не радовала нас заграница, и раздражало воркование голубей, и не трогал шелест листвы на платанах. Хотелось домой. Пусть там пурга, мороз, скрипучий снег под ногами. Пусть. Но это родина, которая зовет!

И словно согласуясь с нашим настроением, в вечер под второе декабря вдруг похолодало. Выпал снег в горах Хузистана, морозный ветер опалил на платанах листья, и они шурша закружились по асфальту улиц.

А утром второго декабря — команда:

— Готовиться к вылету!

...Широкое крыльцо с белыми колоннами, шеренги советской и американской военной охраны, фоторепортеры, кинооператоры — все взволнованно ждут появления Рузвельта.

Медленно отворилась тяжелая дверь. Два филиппинца выкатили на площадку коляску с президентом. Затрещали кинокамеры, защелкали затворы фотоаппаратов. Рузвельт в черной накидке, поверх которой наброшен клеенчатый плащ цвета хаки. На голове — старомодная шляпа с помятыми полями, в зубах длинный мундштук с сигаретой. Президент широко улыбался, но даже изда-

ли было видно, как он устал, а ведь перед ним еще лежал далекий путь в Америку!

Два рослых американских сержанта, взбежав по ступеням посольства, легко подхватили коляску, поднесли ее к «виллису» и пересадили президента на переднее сиденье, накрыли ноги толстым ковром, затянули брезентом.

Появился Сталин с Черчиллем. Сталин первым подошел к автомобилю. Крепкие рукопожатия, несколько фраз на прощание. Подошел Черчилль и тоже попрощался. Шофер запустил мотор. Несмолкаемо трещали кинокамеры. На подножки «виллиса», словно заводные, вскочили четыре человека из охраны президента, двое из них, с ручными пулеметами в руках, картинно упали на крылья машины. Рузвельт, широко улыбаясь, поднял правую руку с двумя расставленными пальцами: «Виктория» — «Победа»! Виллис рванулся с места, вслед за ним помчались и остальные две машины из свиты. Небо неуютно хмурилось сырыми облаками.

Аэродром встретил нас настороженно. Вроде бы все было так, как и обычно, и в то же время что-то все-таки было не так. Экипажи, разойдясь по самолетам, занялись подготовкой машин к вылету. Каждый делал свое дело, но был настороже. Все чего-то напряженно ждали.

Рядом с нами, крылом в крыло, стоял самолет С-47, на котором прилетел глава советской делегации Сталин, и к этой машине было сейчас приковано общее внимание.

На другой половине аэропорта американцы готовили к вылету четырехмоторный самолет. Техник, взобравшись на высокое крыло, заправлял баки горючим. Держа над воронкой шланг, он то и дело бросал любопытные взгляды в нашу сторону.

Отревели моторы, и над аэродромом повисла тишина. Напряженная, необыкновенная. Люди разговаривали шепотом.

Мы выстроились возле правого крыла и замерли в ожидании. На американской половине техники закончили заправку. Сидевший на крыле вынул воронку и, держа ее под мышкой, принялся заворачивать пробку горловины бака. Завернул, поднялся, да так и застыл в напряженной позе. Словно электрическая искра пролетела над аэродромом. Замерло все. Тихо. И в этой тишине стал отчетливо слышен нарастающий звук шуршащего гравия под колесами автомобиля.

Длинный черный лимузин остановился возле нас.

Щелкнул замок открываемой дверки. Полуобернувшись, я впился глазами в коренастую фигуру Сталина, выходящего из машины. Навстречу ему спешил командир самолета полковник Грачев. Скомандовав «смирно» и взяв под козырек, он доложил о готовности экипажа к полету.

Выслушав рапорт, Сталин пожал Грачеву руку, и тот, отступив на шаг в сторону, пригласил пассажиров на посадку. Сталин поднялся по трапу, вслед за ним вошли в самолет Ворошилов и Молотов. Дверь закрылась, Грачев запустил моторы, и общее напряжение спало. Принял нормальную позу американский техник, стоявший на крыле, зашевелился шофер заправщика, и моторист, поставив под колеса колодки, побежал исполнять какое-то приказание летчика.

Приехали и наши пассажиры. Погрузились. На этот раз Петров втащил свой желтый чемодан первым. Сел и засмеялся: «Здесь опаздывать нельзя».

Взлетели. Набрали высоту. Перевалили через горы. Пролетели над Каспием. И вот мы уже дома. Пасмурно. Ветрено. Летит песок в глаза. Вокруг аэродрома, куда ни кинешь взгляд, частоколом стоят нефтяные вышки. Баку. Все для войны! Все для победы!

Погода явно портится. Это здесь, на юге, а что творится по пути?

Техники уже копаются в моторах. Нужно снова обмотать теплоизоляцией масляную проводку, надеть чехол на маслобак; по трассе мороз под тридцать, и мы должны встретить его во всеоружии.

В Москву добирались трудно: туманы, пурга, густые снегопады.

В свистопляске пурги нашли аэродром. Сели. Моторист, прикрываясь воротником куртки от хлестких ударов снега, выбежал на стоянку — встретить самолет.

Зарулили, выключили двигатели. Все! Рейс окончен!

Открыли дверь, глотнули воздуха, суматошного, родного. Моторист, зажимая струбцинками рули, сказал сочувственно:

— Не повезло вам, товарищ командир, не долетели.

— Как не повезло?..— удивился Белоус.— Да мы, знаешь, где были?

Я дернул радиста за локоть:

— Не болтай чего не следует! Об этом сообщат без нас.

Белоус осекся:

— Да, конечно, вернулись. А что, про другие экипажи не слыхать?

— Сгинули, — уныло сказал моторист. — Как сквозь землю провалились! Семь самолетов. Надо же! Их и лыжники искали, и воинские части. Погода плохая...

Мы переглянулись. Ясно! Результат наших ложных сообщений по радио о маршруте полета. Для наземных служб десять дней назад семь самолетов, выполняя специальное задание правительства, вылетели на восток, и аэропорты этой трассы были готовы нас принять. Нас ждали в Перми, а мы сели... в Сталинграде. И, пока мы были в Тегеране, нас искали, как без вести пропавших...

Лишь на третий день, когда в газетах и по радио был объявлен текст Тегеранской декларации трех держав, весь мир узнал, куда и зачем мы летали.

С чувством великого волнения читали мы этот документ. Победа будет, но только ценой общих усилий всех советских людей.

И я уже не сомневался: не сегодня завтра последует приказ о моем возвращении в полк. И настроился. И, между прочим, напрасно.

Конфликт

Декабрь словно взбесился: низкие облака, густые снегопады. Но мы летали. Днем и ночью. Молодые штурманы проходили практику радиовождения самолета в сложных метеоусловиях, и такая погода была в самый раз.

Уютно сиделось в пилотском кресле. Я в гимнастерке и с непокрытой головой—в кабине тепло. Урчали моторы: «ровно-ровно-ровно-ровно». Таинственно светились приборы. За бортом метель и непроглядная тьма. Маршрут на пять часов по замкнутому треугольнику. Вообще-то говоря, скучновато: каждый день одно и то же. Но я мысленно был уже в полку, в своей эскадрилье. А чего же мне еще тут дальше находиться?! Меня отозвали, чтобы совершить полет в Тегеран, и только! Задание выполнено, и, наверное, вот-вот придет распоряжение...

Правда, боевой самолет не такой удобный, у него в кабине так же холодно, как и за бортом, и если ты летишь сквозь снеговые облака, то к тебе через щели фонаря тоже пробивается снег. И еще одно неудобство, и очень важное: Ил-4 — дальний бомбардировщик, а управление одноштурвальное. Случись что-нибудь с пилотом, и весь экипаж под угрозой...

Словом, вроде бы и лучше здесь, и спокойней, а у меня душа не на месте, сам себя понять не могу: тянет в полк, и все тут!..

И, может быть, на этой почве стали портиться мои отношения с командиром. Он мне вообще не понравился с первого знакомства. Немужественный какой-то. На тонких губах его всегда играла ядовитая насмешечка, голос был тихий, елейный.

Он никому из нас ничего не выговаривал, ничего не приказывал, только присутствовал при вылетах да подписывал «добро» на метеосводках. А что он мог сказать опытнейшим летчикам, великолепно знающим свое дело?

И все же его не любили. Фамилия его была Вознесенский, и за ним, с легкой руки Белоуса, закрепилась кличка «поп».

Однажды вечером, когда я шел на диспетчерский пункт за разрешением на ночной вылет, меня встретил моторист. Помялся, помялся, что-то хотел сказать и не решился.

Я подбодрил:

— Ты что, Карасев?

Моторист обернулся, нет ли кого сзади, и, запинаясь, начал:

— Я к вам как к члену партбюро. Вот. Ну... это... Наш каптенармус и его дружки... пропивают казенное белье...

Я удивился:

— Чудак! Чего же ты ко мне? Доложи командиру!

Карасев покраснел до ушей, опустил голову и замкнулся. Молчит.

Меня кольнула догадка.

— Та-а-ак. Ну-ну, давай — выкладывай.

Карасев поднял голову и кисло улыбнулся:

— Нельзя к командиру... Он... сам с ними пьет.

Мне стало гадко и неловко перед мотористом. Офицер, получающий высокий должностной оклад, отличное бесплатное питание, да еще находясь в тылу, вдали от фронтовых опасностей, и вдруг потворствует такому делу!..

Я не знал, что сказать Карасеву. В бюро меня ввели недавно, и обещать что-нибудь...

— Ладно, иди, я поговорю с командиром.

Карасев как-то испуганно вскинул на меня глаза, что-то хотел сказать, но вместо этого пожал плечами и отошел.

А я уже накалился. Конечно, здесь наверняка сказалась вся моя неприязнь к Вознесенскому. В памяти всплы-

ли мелочные реплики и тонкие уколы, которые он иногда мне отпускал как бы невзначай. Видимо, зная мое отношение к нему, он платил мне той же монетой. А может быть, он видел во мне претендента на его командирское кресло?

Конечно, у него были преимущества: он имел «иммунитет». Командир — фигура непререкаемая, и любой конфликт всегда решился бы в его пользу. Я это знал, но ничего с собой не мог поделать. Поэтому, взбежав по крутой деревянной лестнице на второй этаж, где мы на метеопункте получали бланк погоды, и увидев Вознесенского, стоявшего спиной к двери, возле барьера, я почувствовал, как у меня сбилось дыхание и затрепетали ноздри.

— Здравствуйте! — вызывающе бросил я, с неприязнью уставившись на квадратный зад Вознесенского. — Как погода, Костя?

Синоптик Дворовой, по прозвищу Журавль, близоруко сощурившись, двумя пальцами поправил очки и, двинув кадыком на длинной тощей шее, доброжелательно ответил:

— Для вас — всегда хорошая! Как по заказу: сплошная облачность, высота нижней кромки 300 метров. Возможен снегопад. Температура воздуха минус двадцать пять. Все! Желаю вам счастливого полета, — и протянул мне бланк.

Вознесенский, так и не ответивший на мое приветствие, не оборачиваясь, двумя пальцами, подчеркнуто небрежно перехватил листок, положил его перед собой на крышку барьера и, готовясь его подписать, сказал тусклым голосом:

— Между прочим, лейтенант метеослужбы товарищ Дворовой сейчас при исполнении своих служебных обязанностей, и обращение к нему по имени здесь неуместно.

Дворовой отпрянул, словно получил пощечину, и както по-детски заморгал глазами.

Мы очень любили этого талантливого парня и, зная, что ему не нравится, когда его величают по званию, обращались к нему просто — Костя, вкладывая в это слово все свое уважение к молодому синоптику.

Знал об этом и Вознесенский, но почему именно сейчас, да еще в такой форме, решил он сделать мне замечание? Что это — вызов или провокация?

У меня перехватило дыхание. Почти потеряв контроль над собой, я лихорадочно принялся подбирать такие сло-

ва и выражения, которые сразили бы «противника» наповал и в то же время не уронили бы моего достоинства.

Но нужные слова не находились. Не было нужных слов! На язык лезли крикливые выражения, какими обмениваются торговки на базаре. В конце концов, стоп! Я овладел собой настолько, чтобы сделать для себя логический вывод: «Формально ты неправ» и «Будь осторожен — тебя провоцируют на выходку. Ну посмотри, посмотри сам!..»

Действительно, сделав выпад и не получив на него, как он ожидал, моментально вспышки, Вознесенский с нескрываемым недоумением повернул голову и через плечо с интересом посмотрел на меня. Глаза его хитро сощурились, на тонких губах зазмеилась усмешка, и весь его вид словно поощрял меня: «Да ну же! Да ну! Давай, давай, взрывайся!»

И я отрезвел! Еще одно усилие воли и, подавив в себе бунтующее чувство, я попытался улыбнуться.

— Прошу извинить, командир... больше этого не будет.

Умышленно сделав паузу, я упустил слово «товарищ», и Вознесенский это заметил. Усмешечку его как ветром сдуло. Губы сложились в куриную гузку. Он резко отвернулся и, подмахнув подпись на бланке, не оборачиваясь, подал листок через плечо. Оскорбительный жест!

Дворовой брезгливо посмотрел на Вознесенского.

Оскорбленный вторично, я тупо уставился на сводку. Миллибары-изобары, ч-черт бы их побрал совсем! Что же я хотел сказать такое командиру? Ах да, вспомнил! О пьянстве каптенармуса и К°! Сейчас или потом?

«Сейчас, сейчас! — твердил мне голос. — Возьми реванш!»

«Нет, сейчас не надо! — убеждал второй. — Посторонние люди, нехорошо. Подрыв авторитета...»

«К черту! — возразил первый голос. — Он сам себе подрывает авторитет! Ты скажешь сейчас, а потом подашь рапорт о переводе в действующий полк. Здесь тебе все равно не ужиться: плетью обуха не перешибешь!»

И мне сразу же стало легче. Выход найден. Я подаю рапорт и... пошли они все к чертям, и каптенармусы, и командиры, их прикрывающие! Вознесенский по-прежнему стоял, облокотившись о барьер, но во всей его фигуре отражалось беспокойство: шея покраснела, носком сапога он отбивал по дрожащей половице такт.

— Между прочим, — сказал я, обращаясь к его спине. — Мне как члену партбюро подали жалобу на воров-

ство и пьянство каптенармуса, и вам это известно. Вы член бюро. товарищ командир, вам карты в руки! — И, не дожидаясь ответной реакции, повернулся и вышел.

И все это я сделал напрасно! На следующий день по заискивающей улыбке каптенармуса я понял, что он предупрежден о возможной проверке и что защитные меры приняты. А секретарь партбюро Фоменко, тихий застенчивый штурман, со следами оспы на лице, подсев ко мне в столовой, сказал, катая шарик хлеба, что все это напраслина, проверкой ничего не обнаружено и что виновника поклепа надо наказать. И, как бы между прочим, поинтересовался, а кто же мне об этом заявил?

Мне было тошно слушать, еще тошнее смотреть в его виновато бегающие глаза. Я его понимал: жена с тремя детьми, старуха-мать — все на его спине. Конечно же, он должен был остерегаться попасть на фронт.

— Ладно,— сказал я.— Не старайся, Фоменко. Я не выдам того, кто нажаловался. Но если вам так уж будет нужно, то считайте, что все это мною придумано.

— Ну, что ты, что ты! — запротестовал Фоменко.— Это я так...

В тот же день я подал рапорт по инстанции с просьбой перевести меня в действующий полк. Вознесенский от себя охотно написал докладную высшему начальству с горячим ходатайством о положительном решении моей просьбы.

Мой рапорт вернулся обратно. С внушением Вознесенскому: «Ставлю на вид за недооценку важности в деле подготовки штурманов». И все! Намек был ясен: «Летчики везде нужны, здесь — тоже!» Я мог гордиться, но мне от этого не было легче. Мысленно я уже был в своем боевом полку, а тут — опять Вознесенский!

Неприязнь наша только усилилась. Мы почти не разговаривали, и при встречах оба отводили глаза, боясь выдать свои сокровенные чувства. И оба ждали: я — неприятности и подвоха, он — момента, когда это можно будет сделать.

И момент такой наступил.

Развязка

В начале апреля разом потеплело, да так, что заплакали сосульки. Сквозь низкие облака тут и там пробивались по-весеннему робкие лучики солнца. Но иногда вдруг повеет откуда-то теплой сыростью, потемнеет и по-

валят густые хлопья снега. И снова чисто, и проглядывается синий горизонт с зубчатой кромкой соснового леса.

Нам предстоял дневной полет почти на шесть часов, и погода такая мне не нравилась. Где-то, видимо, на высоте от трехсот метров и выше, нас может подстеречь критическая температура. Обледенение верное.

Лететь не хотелось. Я подошел к самолету, поздоровался со штурманами-практикантами. Двадцать человек. Молодые славные ребята. Они уже собрались и ждать не могли. Это их последний зачетный полет, и сейчас они мысленно были в полках, куда рвались их горячие сердца. Поймал себя на том, что завидую им.

Подошел Глушаев.

— Что, командир, хмурый такой?

— Лететь не хочется.

Глушаев изумился: из моих уст слышать такое!

— Почему?

— Погода не нравится.

— А, это другое дело! Согласен — погода хитрая. Когда сосульки плачут — гляди в оба.

Я вздохнул. До чего же не хочется встречаться с Вознесенским!

— Ладно, пойду возьму погоду.

Ноги как свинцовые. Поднялся на второй этаж в метеобюро. Тот же Вознесенский, в той же позе. Стоит, точит лясы с девушкой-синоптиком Аллочкой Любезновой.

Вошел, поздоровался. Аллочка вскинула длинные ресницы. В голубых невидящих глазах отблеск прерванной беседы. Кивнула в ответ золотым ореолом светло-рыжих волос и, протянув мне изящными пальцами сводку погоды, сказала, продолжая разговор:

— А я ей говорю: «Ой, Линочка, не поддавайся его чарам, у него жена!» А она: «Ну и что же?» Понимаете?! А я ей...

Сводка мне не понравилась. Не было температурных данных по высотам, а они сейчас нужны! И не с кем проконсультироваться: Костя Дворовой сегодня не дежурит. Как назло! Уж он бы сказал точно. И не только сказал, а даже записал бы в сводку: «На высотах таких-то возможно интенсивное обледенение». И все! А там, если командир пожелает, пусть берет ответственность на себя. Да он и не возьмет с такой записью! Тут же — черт знает что! Расплывчатые данные и... подпись командира! «Вылет разрешаю». Уже подмахнул!

Чувствую, как у меня начало сбиваться дыхание. Ал-

лочка, закончив тираду, рассыпалась звонким смехом. Ей тонко, по-бабьи вторил Вознесенский. Они не здесь, они далеко: там — во вчерашнем, среди петечек и лиНочек.

Голос мой был прерывист, тон вызывающ:

— Товарищ лейтенант метеослужбы Любезнова! Прошу вашей консультации о погоде!

Аллочка, словно ей на голову ведро воды вылили, ахнула, всплеснула руками, удивленно округлила глаза. Вознесенский, дернувшись, повернулся ко мне. Крылья носа его побелели.

— Вам непонятна сводка? Вы не умеете читать?! А подпись мою разбираете? — он перешел на фальцет. Сорвался, закашлялся.

А я растерялся. Никогда не видел его таким. Кричит, будто я его денщик. Безобразно, оскорбительно.

Я стиснул зубы и принялся подавлять в себе буйные чувства.

В глазах розовый свет. В душе космический холод. Сердце импульсами нагоняет кровь. Мышцы как железные. Все готово сорваться, прийти в неистовство. Но где-то, словно в осаде за крепостной стеной, еще теплится рассудок: «Нельзя взрываться!.. Взрываться нельзя! Он будет торжествовать...»

Что это — разум? Осторожность? Или трусость?..

Вознесенский, кончив кашлять, вынул из кармана платок, поднес его к губам. А щелочки глаз смотрят испытующе: «Как, удалась провокация или все еще нет?»

Это меня охладило немного. Подавил порыв, сдержался. У Вознесенского в глазах — разочарование. Аккуратно сложил платок, разгладил и уже спокойно, но официально сухо:

— Так что вас не устраивает в этой сводке?

— Нет температурных данных по высотам.

— Только-то? — удивился Вознесенский. — Их не было и вчера. Почему же вы тогда не закатывали истерики?

«Опять кольнул! Какая истерика?! Тихо!.. Тихо!.. Тихо!..»

И спокойно, как можно спокойней:

— Извините, товарищ командир, это вы закатили истерику. Орали на меня, как царский генерал на денщика.

У Вознесенского дернулись губы.

— Так зачем же вам нужны температуры по высотам?

«Опять за свое! Провоцирует... Ну ведь сам же летчик, и неплохой, неужели не ясно, что меня беспокоит? Все ведь понимает, все! Но... Спокойно! Спокойно!»

Цежу сквозь зубы:

— Вы подписали разрешение на вылет, хорошо зная, что при такой температуре возможно интенсивное обледенение. Зачем же напрасно подниматься в воздух?..

— Ах, вон оно что! — перебил он меня. — Вы боитесь лететь?! Так не летите! Запишем вам отказ и все!

Опять розовый цвет в глазах: «Меня обвиняют в трусости!..» Но разум был настороже. Приказ!..

Я круто повернулся и вышел. В состоянии душевного окостенения дошел до самолета. Молча занял свое место. Запустил моторы. Вырулили. Взлетели. На высоте 150 метров вошли в облака, и стекла тут же мазнуло обледенением.

Продолжаю набирать заданную высоту. Четыреста. Пятьсот. Шестьсот. Все! Ставлю самолет в режим горизонтального полета. Штурманы-практиканты начинают работу.

Летим в облаках. В кабину через полуоткрытую форточку врывается сырой промозглый воздух. Лобовые стекла покрыты корочкой льда, и уже прослушивается легкая тряска моторов, это винты покрываются льдом. Сердце болит, словно кто сжал клещами. Я боюсь за себя. Боюсь потерять контроль над собой.

В кабину заглянул Глушаев. Подозрительным взглядом окинул приборную доску, прислушался.

— Что такое, не пойму, будто моторы потрясывают.— Покосился на меня. — Ты что такой? Поссорился, что ли? С Вознесенским?

Я не ответил. Только судорожно вздохнул.

— Из-за чего? — не унимался Тимофей.

Вопрос его мне показался обидным. Удивительное дело: как иногда люди не дают себе труда осмыслить и привести к общему знаменателю ряд отдельных явлений. Ведь был же разговор на земле? Ведь сам же сказал: «Сосульки плачут — гляди в оба». А вот поди ты — забыл! И еще спрашивает: «Из-за чего?»

Я посмотрел на него с укоризной и постучал пальцем по обледеневшему стеклу.

Глушаев ахнул:

— Обледенение! То-то я слышу — режим изменился. Так что же мы летим? Надо возвращаться!..

Я отвернулся:

— Нет!

— Как это нет?— забеспокоился Тимофей.

— А так. Это тебе показалось. Так же, как Вознесенскому. Иди, занимайся своими делами.

Вообще-то напрасно я срываю зло на Тимофее. Он здесь ни при чем. Но меня мутит. Мне плохо.

Глушаев, пожав плечами, полез на правое сиденье, открыл форточку и, бросив взгляд на крыло, повернулся ко мне:

— Командир, на кромке лед, надо возвращаться!

А я уже, потеряв контроль над собой, впал в упрямое безрассудство.

— Нет!

Тимофей молча сполз с сиденья, потоптался в проходе и вышел. А через минуту: тр-р-ррах! тр-р-рах! — словно осколки зенитных снарядов загрохотали по обшивке самолета куски льда, летящие с винтов. Затряслась приборная доска.

В кабину влетел Глушаев. Глаза по блюдечку.

— Командир, надо возвращаться!

— Нет!

Глушаев насупился:

— Командир, опомнитесь! Разобьемся!..

— Нет!!

Глушаев выпрямился и посмотрел на меня ледяными глазами.

— Значит, вы ставите свой принцип дороже жизни двадцати ни в чем не повинных штурманов?

Не слова Тимофея произвели на меня воздействие, а его взгляд, холодный, презрительный. Мне стало стыдно. Мучительно стыдно. Я очнулся.

— Ты прав, Тимофей, будем возвращаться. Прости.

Глушаев метнулся в салон. Через несколько секунд он, стоя в проходе, уже выкрикивал мне пеленги.

Машина шла тяжело. Трясли моторы. Они ревели на полную мощность, и все же мы понемногу снижались. Иногда, срываясь с винтов, грохотали по обшивке куски льда. Самолет качался, и, чтобы удержать его, мне приходилось делать широкие движения штурвалом. Глушаев укоряюще посматривал на меня, а я обдумывал, как будет вести себя Вознесенский, когда мы, по его вине, придем домой в таком вот неприглядном виде?

Облака оборвались возле самого аэродрома. Мы вышли точно к посадочной полосе и, почти не сбавляя обороты моторам, плюхнулись в раскисший снег. А теперь ру-

лить! Рулить, пока не отвалился с крыльев лед. Надо привезти «доказательства»! Мчимся, как на взлет. Вот и наши ангары. Стоят люди, смотрят. А вон и Вознесенский! Но... что это?! Ага, он отвернулся! Хочет сподличать и тут! Пока то да се, лед отвалится, и тогда он спросит, почему вернулись?! Ну, погоди ж ты, погоди!..

Я подрулил к ангару, затормозил, сорвался с сиденья, и как был, без шапки и шинели, пробежал через салон, рванул рукоятки запора двери и, распахнув ее, выпрыгнул в снежную жижу. Вознесенский, не оборачиваясь, удалялся от самолета.

Жгучий гнев охватил меня. В два прыжка я настиг Вознесенского, схватил его за плечо и рванул с такой силой, что треснул шов на рукаве шинели. Пошатнувшись, он круто повернулся ко мне лицом, в глазах его были страх и растерянность.

Задыхаясь от бешенства, я обеими руками держал его за воротник.

— Ах, ты уходишь?! Уходишь?! Ты не хочешь видеть, как мы обледенели?! Ты куда нас посылал, куда?!.

Я встряхнул его и отпустил. Он упал. И тут я вдруг увидел себя со стороны. «Что я делаю?! Что я делаю?! Опуститься до такого! Стыд-то какой, позор!..»

Вознесенский молча поднимался из мокрого снега. Сапоги его скользили, и он упал еще раз. Мне стало жаль его, и чувство острой досады и недовольства собой заполнило меня.

Смотрели люди. В глазах молодых штурманов светилось любопытство.

«Хороший пример. Хороший!»

Я повернулся и пошел прочь, забыв в самолете шапку и шинель.

Снова в боевом полку

Маршал Голованов поступил со мной более чем мягко: трое суток домашнего ареста и назначение в 124-й гвардейский бомбардировочный полк на должность комэска.

И вот, доложившись по форме, я стою перед командиром полка. Гвардии подполковник Гусаков Николай Сергеевич высок и мускулист. Сбит что надо. Глыба! Коротко, под ежик стриженная голова плотно сидит на богатырских плечах. Круглые глаза смотрят на меня с интересом. Погладив громадной лапищей тяжелый подбородок, сказал удовлетворенно:

— Хорошо, пойдем, я представлю тебя эскадрилье.— И зашагал, придерживая рукой висевший у бедра маузер в деревянном футляре.

Эскадрилья выстроена. Летчики, штурманы, воздушные стрелки-радисты, стрелки, техники, механики, мотористы. Коллектив. Люди. Каждый со своим характером, со своими мнениями, мыслями, переживаниями. Я должен им понравиться, но чем? Уж, конечно, не такими поступками, которых потом будешь стыдиться всю жизнь. Хотя... Черт побери, кто в своем поведении гарантирован от ошибок?! Каждый свой поступок заранее не предусмотришь. Человек — это характер: один флегматик, другой холерик. Я наверняка принадлежу к последним: завожусь с пол-оборота, взрываюсь по пустякам, а потом казнюсь...

Люди смотрят на меня выжидающе. Изучают. Каждое мое слово, сказанное сейчас, остро зафиксируется в их сознании и явится на первый случай предпосылкой для разных домыслов и предположений. А что я им скажу? Я не люблю и не умею говорить. Слова — это ветер. Себя надо показывать в деле, а это требует времени. Значит, лишь только со временем мы сможем понимать друг друга.

Гусаков меня представляет. Оказывается, он знает обо мне гораздо больше, чем я предполагал: и что я в прошлом — гражданский летчик, и что у меня большой опыт в летной работе, и что мне «была доверена высокая честь — выполнять специальное задание правительства». На этих словах командир сделал особый упор, и люди это приняли. В их глазах я увидел искорки интереса. Вспыхнули и погасли. Хорошо. А время покажет: любить или не любить, или просто... терпеть командира.

Ладно, ладно, мои новые боевые друзья! Я постараюсь подобрать к вам ключики. Потом. Не сразу.

Гусаков окончил речь и повернулся ко мне:

— Я оставлю вас. Нужно готовить к вылету полк. Адъютант принесет вам расписание.

И ушел. Я распустил строй и попросил адъютанта Ермашкевича, сутуловатого худого лейтенанта со светлой шевелюрой волнистых волос, познакомить меня с инженером эскадрильи и с парторгом.

Инженер капитан Гончаренко, среднего роста, тихий, с застенчивой улыбкой, и парторг эскадрильи, высокий, костистый, с угловатым лицом, техник звена Тараканов, повели меня по стоянкам самолетов. Я придир-

чиво всматривался в каждую мелочь, выискивая признаки, по которым можно было бы судить об отношении людей к своим обязанностям, но, к моей великой радости, везде был отменный порядок, как перед смотром, только вот стоянок было тринадцать, а самолетов — двенадцать. Из последнего боя не вернулся экипаж — сбили над целью... Было грустно смотреть на пустое место.

Подошел Ермашкевич, четко взял под козырек и протянул мне листок боевого расписания.

— Подпишите, товарищ гвардии майор.

Я взял листок. Незнакомые фамилии. Двенадцать экипажей. Дальность полета — 370 километров в оба конца, а заправка горючим — полные баки! Это меня удивило, но, изучая расписание, я промолчал. Посмотрел на бомбовую загрузку. У кого десять соток, а у кого только восемь. Так мало? Хотелось спросить, но сдержался. «Не надо! Не надо! Это будет выглядеть как хвастовство».

Ермашкевич, словно поняв мои мысли, сказал:

— Аэродром неровный. Трудно взлетать.

Я кивнул, соглашаясь, а про себя подумал: «Вот он — ключик, с помощью которого можно открыть сердца людей эскадрильи!»

Просматриваю дальше, и к Ермашкевичу:

— У вас есть при себе список экипажей нашей эскадрильи?

— Есть, товарищ командир!

— А ну-ка дайте.

Сверяю боевые расчеты и нахожу чужую фамилию.

— А это кто на «девятке»? Какой-то Карпов. Откуда он?

— Из третьей эскадрильи, товарищ гвардии майор.

— Из третьей? А почему летит на самолете первой эскадрильи?

— Командир полка приказал. У них самолет неисправен, так он на нашем...

Мне это было неприятно слышать. Чужой летчик летит на нашей машине! Ясно, что он будет к ней относиться не очень-то бережно. «Девятка» — это был уже «мой» самолет, и меня кольнуло чувство самолюбия.

— А этот Карпов хороший летчик? — продолжал я допрашивать адъютанта.

— Хороший,— уверенно ответил Ермашкевич. — Любимец командира полка.

— Гм! Любимец? Ладно. — Подписал листок. — Несите.

— Плохо, когда самолеты обезличиваются, — сказал инженер, нагибаясь и закручивая трос вокруг крепежного штопора. — В своей эскадрилье еще можно — есть кому и с кого спросить, а с чужого что возьмешь? Вылез из кабины и пошел.

— Да-да, — подтвердил Тараканов.— Этот Карпов мне не нравится. Бреющим ходит. Зачем? Поломает машину.

Мимо пробежал техник, бросил на ходу:

— Алексеев вернулся, слыхали?

— Алексеев?! — воскликнули враз Гончаренко и Тараканов. — Вот это да-а-а!

— Кто это? — ревниво спросил я.

— О-о-о! — с чувством уважения ответил Гончаренко.— Летчик нашей эскадрильи. Сбили над Джанкоем. Пришел, смотри-ка! Отважная головушка! Пойдемте посмотрим!

Возле штаба толпился народ: летчики, техники, вился дымок от самокруток, слышался смех, восклицания.

Алексеев — фамилия распространенная. Я знал многих летчиков с такой фамилией, и все они почему-то были высокие, богатырского сложения. И сейчас еще издали я разыскивал глазами такую же фигуру.

— Вот он! — сказал Тараканов, показав на худого светловолосого парня, весьма странно одетого. Он был в рваной телогрейке, в каких-то, явно не по росту, полосатых штанах. На голове — шапка с полуоторванным ухом, на ногах щербатые солдатские ботинки. Лицо его, обросшее жиденькой бородкой, светилось радостью. Мне показалось, будто я где-то уже видел именно такую вот — лукаво-детскую радость.

Мы подошли, люди расступились, и я оказался лицом к лицу с героем дня.

Алексеев прервал на полуслове фразу и, зажав в кулаке самокрутку, вытянулся по стойке «смирно».

Весь его вид выражал несказанное удивление.

— Это командир нашей эскадрильи, — представил меня Гончаренко. — Знакомьтесь.

Алексеев расплылся в радостной улыбке.

И тут я вспомнил его! Точно — это был Алексеев, тот самый учлет, который так поразил нас тогда своим изумительным летным мастерством и хладнокровием. Ну и ну, вот это встреча!

Я обнял Алексеева и еще раз оглядел его с ног до головы. Худой, высокий, со смешливыми глазами. На ма-

кушке торчит хохолок. Упрямый, с характером. Передо мной стоял мальчишка! По виду. А по отношению однополчан к нему — настоящий летчик! Однако молодой уж очень.

— Слушайте, Алексеев, сколько вам лет?

— Исполнилось двадцать один!— сказал он так, будто уже достаточно пожил на свете, и полетал, и повидал.

— Много. — Ответил я ему в унисон. — Прямо совсем старик!

Все рассмеялись.

— С бородой!

Анатолий смущенно тронул пальцами подбородок.

Алексеев слыл в полку личностью незаурядной, и мне интересно было узнать, чем же он так отличился за сравнительно короткий промежуток времени пребывания в части? И случай представился. Жена одного штабного офицера Нина Николаевна Сердюк, ведающая полковой библиотекой, в свободное время вела летопись части. Записки, документы, наблюдения—все это было у нее аккуратно собрано и подшито в папки. И когда я заговорил с ней об Алексееве, она выложила передо мной толстую папку:

— Вот, почитайте, тут вы все о нем и узнаете. Интересный человек.

Я взял папку и в редких перерывах после боевых ночей прочитал записки.

Арифметика

Итак, я принял эскадрилью. С чего же начинать? Собственно, я уже начал: адъютант Ермашкевич принес мне боевое расписание, и я его подписал, хотя подпись моя, конечно, была формальной. Все шло пока без меня, по заведенному в полку порядку. Кто-то в штабе, минуя командиров эскадрильи, заполнял графы боевого расписания: столько-то бензина, столько-то бомб. А у меня были свои соображения: во-первых, мне не нравилась загрузка — мало бомб и много бензина; ведь мог бы, наверное, я сам варьировать загрузку сообразно дальности полета и способности летчика? Алексеев, например, может быть вполне застрельщиком повышенных бомбовых загрузок. И что он будет мне поддержкой в этом деле, я не сомневался. И во-вторых, летчик третьей эскадрильи Карпов не выходил из головы. И тут тоже — хотел того командир или не хотел, — обезличивая самолет, он этим

самым обезличивал инженера эскадрильи и комэска. Конечно, боевой исправный самолет простаивать не должен, это верно, но все же...

Полк готовился к боевому вылету, а я напросился на тренировку и проверку техники пилотирования, как это положено. Гусаков посмотрел на меня удивленно (мог бы и не торопиться!) и тут же дал распоряжение приготовить самолет. Он сам будет меня проверять! Что ж, это лестно.

И все-таки тяжелая была машина Ил-4. Как утюг. Я отвык от нее. Остро чувствовалась разница против С-47 и ЛИ-2. Но, сделав полет в зону и прокрутив самолет как следует на глубоких виражах и разворотах, я быстро сжился с машиной, восстановив ее особенности в памяти мышц. Ничего самолет — летать можно.

Потренировался днем, потренировался ночью и утром третьего дня занес свою фамилию в список боевого расписания, которое было заполнено по привычным нормам: почти у всех в графе «бомбовая загрузка» стояло по 10 соток, а у молодых — по 8. Я все так и оставил, только себе вписал 1500. Для начала. Я не сомневался: реакция будет самой положительной — ребята пойдут ко мне с просьбой увеличить загрузку.

В столовой ко мне с листком в руке подбежал Ермашкевич. Вид у него был несколько смущенный.

— Товарищ гвардии майор! Вы не ошиблись в бомбовой загрузке? У вас тут тысяча пятьсот!

Я взял у него листок:

— Нет, дорогой, не ошибся. Все правильно: бомб 1500 и горючего столько же. В литрах, конечно. Проверьте, чтобы лишнее слили.

Сидевший со мной за столом командир второй эскадрильи, пожилой бывалый летчик майор Бутко, пододвигая к себе тарелку с борщом, спросил:

— Гм! Опыты делаете?

— Ну почему же опыты. Вполне нормальная загрузка.

Бутко хлебнул борща и обжегся.

— Фу, черт побери, горячий какой! — полез в карман за платком, вытер губы, спросил как бы между прочим: — А взлет — с форсажиком?

— Ну, что вы, что вы! — искренне всполошился я.— О форсаже не имею понятия. Между нами говоря — боюсь им пользоваться. Зачем моторы насиловать?

— Гм! — сказал Бутко, принимаясь за борщ. — Аэродром у нас гадкий.

Я пожал плечами.

— Как и всякий полевой: и впадины есть, и бугры. Однако... Вы, например, сколько сегодня берете бомб? — внезапно спросил я его.

— Десять соток,— ответил он.

— А горючего?

Бутко замялся.

— Ну-у-у... наверное, три тысячи литров. Я даже как-то и не интересовался. На горючее и бомбы команда сверху подается, им видней.

Я даже подскочил на стуле:

— Вон как, «сверху», значит! А если подсчитать? Три тысячи литров — это примерно будет 2300 килограммов и плюс тысячу килограммов бомб. Итого 3300. А у меня — 1170 килограммов бензина и 1500 килограммов бомб. Итого — 2670 килограммов. И выходит — мой самолет легче вашего на 600 килограммов! Зачем же здесь форсаж? Вы же им не пользуетесь?

Бутко положил ложку на стол. Вид у него был растерянный-растерянный.

— Ну и ну-у-у, — сказал он и полез в карман за трубкой. — Ч-черт-те что! Арифметика.

Полк получал боевое задание. Цель такая-то, высота бомбометания такая-то. Обратить внимание на то-то и то-то. По данным разведки, над целью будут истребители противника — смотреть в оба. Над Карпатами возможна гроза — обойти. Лучше всего с юга...

Каждый внушает свое: начальник штаба, начальник связи, командир полка. Все! Задание дано. Все оговорено, все понятно. Мы сидим на КП в обширной землянке, ждем команду на выезд.

Я собрал свою эскадрилью.

— Ну как, ребята?

— Ничего-о-о.

— Самочувствие хорошее?

— Что на-а-до!

Отвечают дружно и доброжелательно. Глаза у всех пытливые, хорошие. Ощущаю тепло их сердец. Контакт есть, что и говорить. Им понравилось всем, что командир только что прибыл, а уж сразу и на боевой!

На первый раз ставлю перед ними небольшую задачку: после команды на вылет постараться вырулить на старт всем вместе. Дружно, первыми, как и полагается первой эскадрилье. А командирам звеньев проследить, что кому мешает, и в будущем неполадки устранить.

Командиры звеньев Алексеев, Ядыкин, Шашлов кивнули в ответ:

— Будет сделано, товарищ командир!

Вспоминаю:

— Да! На «девятке» кто летит? Красавцев?

Поднимается летчик, высокий стройный блондин. Прямой нос, голубые глаза на чуть бледноватом лице. Я знаю, он из Ленинграда, и бледность присуща ленинградцам. Красивый парень!

— Красавцев, вы летите сегодня в первый боевой?

— Да, товарищ командир.

— Машина вам знакома?

— Знакома, товарищ командир. Позавчера я на ней тренировался. Должен был вчера лететь, но не пустили. На ней Карпов полетел, из третьей эскадрильи. Хорошая машина, легкая.

— Отлично! Желаю вам успеха. Садитесь.

И тут раздается команда:

— По ко-оням!

Все поднимаются, берут шлемофоны, перчатки, планшеты. Выходят, залезают в кузова автомашин. Разговоры, смех, шутки, будто и не на боевое задание собираются, а так — на вечернюю прогулку.

— Поехали!

Уже темно. Густая черная ночь наступает с востока. Наступает быстро, по-южному, гася за собой светлые перистые облака и вместо них зажигая звезды, крупные, мерцающие. Южные.

Мы едем мимо леса по гладкой проселочной дороге. Пахнет сеном и рекой, которая петляет слева, в темноте, меж живописных берегов: тихая, спокойная. Рядом со мной сидит Морунов — мой воздушный стрелок. Невысокого роста, подвижный, с забавными ужимками. Забираясь в машину, он сорвал с дерева листок и сейчас, приладив его меж ладоней, мастерски подражает плачу грудного ребенка: «Уа! У-а! У-а!» — и дает комментарии, от которых все сидящие в машине покатываются с хохоту. А мне приятно, что в моем экипаже такой весельчак. И радист у меня тоже хороший — лейтенант Алпетян. Аккуратный, вежливый, воспитанный. Он худощав и строен. Черные брови, черные глаза. Парень что надо! Рядом с ним — штурман капитан Краснюков. От него за километр веет деревенским радушием, и сам он какой-то тоже деревенский. Гимнастерка на спине всегда пузырем, помятая фуражка сидит как-то боком. Лишенные стройно-

сти тонкие ноги небрежно всунуты в широкие голенища кирзовых сапог, нечищеных и рыжеватых, как и он сам. Манера курить толстенную самокрутку, держа ее щепоткой пальцев, вполне довершала портрет деревенского мужичка, только-только отошедшего от сохи и как-то случайно надевшего на себя гимнастерку с погонами.

Вот и весь мой экипаж. Я еще не знаю их в работе, но они мне нравятся. Славные ребята!

Самолеты растянулись поэскадрильно вдоль опушки леса. Мы выбрались из машины и разошлись к своим бомбардировщикам. Техник доложил о состоянии готовности: бомб столько-то, горючего столько-то, самолет исправен, моторы опробованы.

Окидываю взглядом линейку. Все привычно, все знакомо. Пахнет бензином, отработанным маслом, теплом моторов. В темноте тут и там раздаются стук металла и отрывистые замечания вполголоса. Экипажи деловито, без суеты проверяют оборудование: радист — рацию и бортовое оружие, стрелок — хвостовой пулемет и запас боекомплекта, штурман—подвеску бомб и контровку взрывателей. Все идет по заведенному порядку, толково, по-хозяйски. Война перешла уже фазу исключительности, потеряла остроту непредвиденной опасности. Мы поднаторели, набрались опыта и знаем теперь что к чему. Да и фриц теперь не тот, что прежде. Не стало спеси, поубавилось нахальства. Он знает — дела его плохи, и сейчас, сдаваясь в плен, кричит: «Гитлер капут! Гитлер капут!»

Время подходит к вылету. Забираюсь на крыло, вынимаю из кабины парашют, разбираю лямки. Щелчки карабинов ласкают слух: щелк! щелк! Усаживаюсь в кресло. Самолет новый, только что с завода, и приборы смотрят на меня ясным голубым сиянием. Остро пахнет свежей краской, особой — авиационной, и от этого сами собой раздуваются ноздри. Хорошо!

Бездумно, заученным движением передвигаю кобуру вперед, вынимаю пистолет и, достав из кармана патрон (у меня их там целая пригоршня!), вставляю в ствол. Привычка! Взлетает ракета: вылет разрешен!

— К запуску!

Техник с мотористом бросаются к винту, проворачивают, и я шприцем вжжжик! вжжик!—впрыскиваю смесь.

— Готово! От винтов!

Мотор запускается сразу: правый, левый. Пробую на всех режимах. Отлично! Про себя, в душе, благодарю техника: «Спасибо, дружок!»

Включаю аэронавигационные огни и медленно выруливаю. Оглядываюсь. Так, хорошо! Мои ребята слово держат! Рулим группой, один за другим, и так же взлетаем по одиночке. Гасим огни, ложимся на курс, растворяемся в ночи...

Из летописи полка: запись первая

Нарушитель инструкции

Алексееву отчаянно «везло»! Даже в самом понятии этого слова, всегда раздваивающегося, когда приходится его применять к Анатолию. Судьба, словно испытывая человека на прочность, то и дело подсовывала его под снаряды. Прямое попадание в мотор и... начиналась «карусель». Но судьба же его и оберегала.

Ему «повезло» — подбили над целью, и повезло, когда он, кое-как перетянув линию фронта, темной ночью отлично сажал машину куда придется... на колеса!

Инструкцией это запрещалось. Категорически! Человек дороже любой машины. Подбили — перетяни линию фронта и прыгай! Для того и парашют. Днем еще можно при желании посадить самолет в поле. Но только на брюхо, с убранными шасси. И чтобы никакого риска! Так гласила инструкция. Но Анатолий ее нарушал. Жалко было машину. Он был летчиком, это прежде всего, и не мыслил ходить в «безлошадных». «А раскокать машину может каждый дурак!» — так говорил Алексеев, оправдываясь перед командиром полка в очередном нарушении инструкции. А таких нарушений у него было шесть.

Ему «повезло» и в седьмой раз. Снаряд угодил в левый мотор. Алексеев пошел на одном. Правый, получив максимальную нагрузку, стал обрезать. Видимо, досталось и ему. Летели искры, потом рывок, и — чих-чих-чих! — сникали обороты. Машина как бы застывала, норовя свалиться на крыло. Но, прочихавшись, мотор набирал обороты, и Алексеев, уже непонятно каким чувством определяя режим полета, миллиметровым движением штурвала заставлял самолет «вспухнуть». И тогда чуткая стрелка вариометра вставала на нуль и даже чуть-чуть отклонялась кверху, показывая хоть малый, совсем-совсем ничтожный, но набор высоты! Нужно было любой ценой перетянуть линию фронта.

Перетянули. На малой высоте.

Штурман, гвардии лейтенант Артемов, щупая парашютное кольцо, уже поглядывал на люк: сейчас командир даст команду покинуть самолет. Сзади, в хвостовом отсеке, отключив ларингофоны, стрелок-радист Ломовский, пересиливая рев мотора, давал наставления воздушному стрелку Щедрину, как прыгать на малой высоте.

Но команды покинуть самолет не было. Стараясь уйти подальше от линии фронта, Алексеев тянул до последнего. Обострившееся зрение хорошо различало в кромешной темноте рельеф местности.

Штурман, потеряв надежду на прыжок, застегнул покрепче привязные ремни и, вцепившись пальцами в подлокотник кресла, отдался на волю судьбы. Мимо проносились препятствия: церквушка, деревья, крутой обрыв реки. Что дальше?!..

А дальше было просто: Алексеев увидел поле. Место вроде бы ровное, и соблазн поэтому был очень велик: спасти машину — это ли не дело! Руки все сделали сами: удар по рычагу, машина вздрогнула — выпали шасси. Тускло засветилась фара...

Сели. С грохотом побежали по неровному полю, взрывая колесами податливую землю. Самолет остановился. Перегретый мотор, лязгнув металлическим нутром, закрутил винтом в обратную сторону и, как-то по-старчески крякнув, заглох. Темно. Тихо. Только в цилиндрах потрескивало.

Анатолий открыл фонарь.

— Эй, друзья, вы живы там?

— Живы, товарищ командир! — отозвались стрелки.

— Жив, — проворчал Артемов. — Чуть-чуть не убил ты нас, командир.

— Чуть-чуть не считается, — ответил Алексеев. — На этом «чуть-чуть» и дотянули.

На душе было радостно: машина спасена, и он не будет ходить в «безлошадных». Для него это хуже всяких наказаний.

Спустился на землю, обошел кругом самолет. В крыльях и фюзеляже чернели дыры от осколков снарядов. Удивился, как это никто не ранен. Под ногами хрустела густая прошлогодняя трава. Подумал про себя: «Не скосили почему-то», — а вслух сказал:

— Ну что ж, поужинаем, что ли? Ломовский, тащика там НЗ, вспотрошим его по инструкции.

— По инструкции,— проворчал штурман, внутренне

содрогаясь от мысли, что его ожидало, будь бы здесь какое препятствие. — Тут-то ты инструкцию соблюдаешь...

— Ну ладно, ладно, старик, не ворчи. В полку скажем, что местное население разожгло нам костры и что мы трижды облетели площадку, разглядели, что надо и, только убедившись... Ну, и все прочее. Понял?

— Понял, — хмуро согласился Артемов. — Только зря все это: Гусаков все равно не поверит.

— Поверит. Машина-то цела!

Ломовский, пыхтя, вылез из нижнего люка, держа в руках оцинкованный ящик с запасом продовольствия.

Алексеев сказал:

— Садитесь, братцы! Поедим да спать, а утро вечера мудренее.

Утро действительно было мудреное. Проснулись от крика:

— Э-э-эй! Чудаки-и-и! Как вас туда занесло-о-о?!

Алексеев поднял голову из травы. Человек в телогрейке и ватных штанах, стоя на пригорке вдалеке, размахивал шапкой.

— Э-эээ-й! — панически закричал человек, срывая голос. — Не двигайтесь с ме-е-еста! Вы на минном по-о-оле!..

У Алексеева встали дыбом волосы. Он замер и огляделся. Ч-черт побери, куда же это действительно их занесло?! Окопы, траншеи. Все перерыто. Валяются снаряды, гильзы, ржавые куски разбитой техники, и в траве, вот — совсем рядом, почти под колесом — подозрительная выпуклость. Пригляделся — мина! Большая, круглая. Противотанковая.

Остались в живых?! Это было чудо из чудес!..

И за это вот «чудо» командир полка снял с Алексеева на три месяца звание гвардейца.

— За что? — попытался уточнить Алексеев. — Ведь если бы я посадил на брюхо...

Командир уважал Алексеева и простил ему эту форму пререкания.

— А ты не должен ночью сажать самолет на брюхо: инструкция не велит. Надо прыгать. С парашютом. Зачем же рисковать экипажем?

Алексеев сделал обиженный вид.

— Так, товарищ командир, высоты же не было!

— Вот тогда на брюхо! На, почитай инструкцию. — И подал книжечку в зеленом переплете.

Анатолий отдернул руку.

— Бери, бери, не стесняйся! — сказал командир. — И вообще запомни: надоело мне с тобой возиться. Еще раз сядешь на колеса — отстраню от полетов. Будешь нести аэродромную службу. Понял? Иди.

Алексеев понял. Он знал командира: если сказал, то сделает. И командир знал Алексеева. Постращав его так, он усмехнулся про себя: до чего ж разные бывают люди! Для одного — отстранение от боевых полетов — нет страшнее наказания! А для другого... Вот Федосов, например, старый летчик, капитан. Полк воюет, а он в общежитии на койке валяется. Все у него с моторами не ладится. Как ни полетит — возвращается: упало давление масла! Техники к фильтрам: металлическая стружка! Надо мотор менять. И меняют. Уже четыре заменили.

Все здесь, конечно, ясно: взлетает с форсажем, гоняет моторы почем зря на максимальных оборотах. Не выдерживают двигатели, перегружаются, перегреваются, и, глядишь, задрался коленвал в подшипниках — скоблит стружку. Запрыгала стрелка масляного манометра, упала до нуля. Надо возвращаться. Возвращается. Поймать бы, да как?

...Экипаж Алексеева готовится к вылету. Обходя самолет, Анатолий ласково с ним разговаривает:

— Ну, что ж, дорогой, сколько раз ты садился черт знает где? Семь? А не много ли, а? Может, хватит? — Потом, подбоченившись, сказал строго:—Заруби себе на носу: больше на колеса сажать не буду! Хватит. Дядя Коля не велит. Ишь — повадился!..

И в это время кто-то за спиной:

— Здравствуйте, орлы!

Алексеев резво повернулся:

— Здравствуйте, товарищ гвардии майор!

— Как дела?

— Хорошо, товарищ комиссар!

Комиссар полка Иван Васильевич Клименко, невысокого роста, плотный, проведя ладонью по иссиня-черному бобрику волос, сказал с усмешкой:

— Что-то тебе, Алексеев, не везет за последнее время. Все подбивают, и все садишься где попало?

Алексеев искренне удивился.

— Как не везет, товарищ комиссар?! Наоборот, сколько сажусь, — и ничего!

— Плюнь! — смеясь, сказал комиссар. — Три раза. Через левое плечо, и не хвастайся — я с тобой полечу!

Полетели. Комиссар вторым, в штурманской кабине.

Цель — Севастопольский порт. Там стоят фашистские боевые корабли. Цель точечная, и поэтому было задано два захода. Трудное дело! Алексеев по опыту знал: зенитчики-моряки стреляют метко. Может быть, у них техника была лучше, со стационарными средствами радионаводки? Он ничего хорошего от них не ожидал. Но и не трусил. Привык. И не то что привык, а просто это хождение рядом с опасностью, через буйное пламя зенитного огня, и риск, риск, риск — стало уже нужно ему. И совсем не потому, что он не мог обойтись без этих острых эмоций и жаждал войны и крови, а лишь потому, что был так воспитан, вобрав с молоком матери, с наставлениями отца, с мировоззрением окружающей среды, в пионерии и комсомоле — понятие о Родине и чести. И с каждым боевым вылетом, обрушив на головы врагов смертоносный груз возмездия, Алексеев утверждался в собственных глазах как истый комсомолец-патриот. И нужно сказать — это была самая лучшая проверка! Без крика с трибуны, без биения в грудь...

В темноте ночи еще издали были видны синие метелки лучей прожекторов, грязновато-красные вспышки разрывов зенитных снарядов и взрывы бомб.

Подойдя ближе, Алексеев определил боевой курс и повел машину прямо на снопы прожекторов. Внизу, в их кольце была цель.

Щелкнуло в наушниках, и штурман Артемов сказал каким-то виноватым голосом:

— Майор предлагает отбомбиться с одного захода — как?

— Нет,—немного подумав, сказал Алексеев.—Нельзя. Цель точечная. Будем делать два, как положено.

— Ясно...

Беснуются прожектора, беснуются зенитки. Рвутся снаряды, и от них остаются черные сгустки дымов. Самолет, держа курс, то и дело влетает в них, и в эти тысячные доли секунды екает сердце, потому что в скоростном набеге трудно разобраться — дым ли это или мчащийся навстречу самолет...

В тот миг, когда от замков оторвалась первая порция бомб, от очередного снаряда что-то зазвенело в правом моторе и... чих-чих-чих! — знакомая история! Алексеев прямо среди прожекторов сделал глубокий разворот и пошел на цель вторично.

Бомбы сброшены, и снова, словно этот самолет был заговоренным, тускло блеснув, разорвался снаряд под

правым крылом. Глухой удар — мотор остановился. Алексееву явно «везло»...

Взгляд на прибор: высота четыре семьсот. А снаряды рвутся, рвутся. Взрывные волны бьют по барабанным перепонкам. Надо уходить, но за счет высоты — только! Пикировать, иначе добьют. А высота сейчас — это жизнь! И получается: уйдешь от одной беды, попадешь в другую. Удастся ли перетянуть на одном моторе линию фронта?..

Ушли. Со снижением. На приборе — тысяча пятьсот, и это было все богатство, от которого сейчас зависела жизнь экипажа. А до линии фронта еще порядочно: нужно было все взвесить, распределить.

Летное дело — это искусство. У Паганини во время исполнения скрипичного концерта лопнули на скрипке струны. Осталась одна, одна-единственная! И он — великий мастер — продолжал играть! И играл блестяще.

У Алексеева осталось... полструны. Левый мотор, хоть и в полную нагрузку, работал нормально — тянул. А вот правый... Своими лопастями упирается в воздух, тормозит, отбирая половину мощности у левого. Скорость упала до предела — 150 километров в час. И если в это время чуть-чуть зазеваться и сделать рулями неловкое движение — самолет свалится на крыло и начнет безвольно падать, как осенний лист в ненастную погоду. Но если к этой борьбе приложить всю свою волю, всю свою злость, все свое желание — не поддаться врагу и победить, — можно еще кое-как заставить стрелку вариометра периодически держаться на нуле.

Самолет норовил развернуться вправо. Алексеев, скособочившись в кресле, держал его рулем поворота, сильно надавив ногой на левую педаль. Встречный воздух бил по рулю. Самолет дрожал, качался, и Анатолию стоило громадных усилий, чтобы держать его немеющей ногой на курсе.

Летели молча, глядя на высотомер. В ней, в высоте — вся надежда. Только бы перетянуть линию фронта, а там...

Как он поступит тогда, Алексеев не думал. Рано. Медведь не убит, нечего шкуру делить! Мечтать заранее об этом — значит расслаблять себя. Кроме того, у него на борту старший офицер, заместитель командира полка: как он скажет, так и будет.

Линию фронта перешли на высоте 600 метров. Пройдя для гарантии подальше и потеряв на этом еще пять-

десят метров, Алексеев включил переговорное устройство:

— Артемов, спроси у майора, что делать будем: садиться или прыгать с парашютом?

Клименко сидел в полной растерянности. Все происшедшее воспринималось им болезненно и обостренно. Он был человеком посторонним на борту, непосредственного участия в полете не принимал и ни за что не отвечал. Всем своим существом он ощущал неустойчивость самолета, его вялость, его дрожание и догадывался, как тяжело сейчас летчику в кромешной тьме удерживать машину. Все его мысли, не отвлеченные борьбой, целиком вращались вокруг чувства собственной опасности и самосохранения. «Что-то будет?! Что-то будет?!» — думалось ему. И он представлял себя плененным, избитым, истерзанным — ведь он же комиссар!.. И когда штурман прокричал ему вопрос Алексеева, Клименко махнул рукой и, целиком доверяясь бесшабашному везению пилота, сказал:

— На усмотрение командира! Как решит, пусть так и поступает!

Получив такой ответ, Алексеев, несмотря на трудность положения, озорно ухмыльнулся. До этого он сам был в затруднении: что лучше — сажать машину на брюхо или выброситься на парашютах? Сейчас же он знал, как поступить: он подыщет площадку и сядет. На колеса. Да, да — на колеса! Машина будет цела, а перед командиром полка он оправдается тем, что получил на это разрешение начальства!

И уже Алексеев в действии: за плечами опыт вынужденных посадок ночью и уверенность. Обостренным зрением ночного летчика окинул местность. Не очень-то она ему понравилась: лес и, кажется, овраги. Видно плохо, в темноте не разобрать, но он верил своей интуиции, разбираться же сейчас, что к чему, не было времени и высоты. Едва он отвлекся, как чуткий вариометр стал показывать снижение. Надо было поторапливаться.

Пролетели еще немного. Местность изменилась. Внизу уже просматривалось что-то однотонное и ровное. Показалось село, извилина речки. «Все — будем садиться!» Подвернул к селу, осмотрелся и нажатием кнопки сбросил осветительную ракету. Красноватая вспышка, и где-то сзади в воздухе повис на парашютике магниевый горящий факел. Бледный мерцающий свет выхватил из темноты пятно с невнятными краями, белые стены хатенок и какое-то поле. Отлично! Здесь он будет садиться.

Сбросил вторую ракету и, торопясь, круто повел машину к земле. Ракета горит три минуты, за это время надо успеть прицелиться и сесть.

Прямо на него неслись белые стены хатенок. Промелькнули. Началось поле, дальний край которого тонул в темноте. Алексеев включил фару и выпустил шасси. В этот миг погасла ракета, но луч фары уже освещал ровные свекольные ряды.

Посадка была великолепной! Колеса неслышно коснулись земли, машина, сочно хрустя приминаемой ботвой, помчалась в темноту.

Все шло хорошо. Такой посадкой можно гордиться! Спадала напряженность. Прижав штурвал к груди и надавив на тормоза, Алексеев выжидал, когда угаснет скорость. И тут внезапно, словно в жутком сне, прямо впереди в свете фары выросла церквушка!..

Удар неминуем! Лобовой! На скорости!

Казалось — конец. Все. Отвоевались! Но Алексеев был не таким, чтобы сдаваться. Мгновенная реакция: тормоз правому колесу, сильный рывок левым мотором, штурвал от себя! Рявкнул двигатель во все свои тысячу сил: «Гав!!» — и умолк. Машина, подняв хвост, резко развернулась на правом колесе и, сделав два оборота, остановилась, чавкая мотором на малом газу. В ту же секунду с треском открылся астролюк в штурманской кабине, и оттуда, как чертик на пружине, — Клименко:

— Ты что, так-перетак, на колеса сел?!

— Да, — подтвердил Алексеев.

— Убирай скорей шасси к чертовой матери!!

— Зачем? — опешил Алексеев. — Мы уже сидим!

Клименко обеими руками потрогал себе голову, будто удостоверяясь в ее целости.

— А-а-а, — растерянно сказал он. — Тогда ладно.

В задней кабине рассмеялись.

Анатолий облегченно вздохнул, выключил фару и мотор. Открыл фонарь и только принялся расстегивать карабины парашюта, как вдруг: вжи-вжи-вжи! Трррата-та-та! Ррррах! Ррррах! — засвистели пули, затрещали очереди из автоматов.

Алексеев, как был с парашютом, свалился с крыла, выхватил пистолет:

— В чем дело! Кто стреляет?

А в ответ из темноты:

— Фриц, сдавайся!

И — ррах! ррах! — очереди, но уже вверх.

У Алексеева камень с души. Хоть и был он уверен, что линия фронта пройдена и что сели они у своих, а все же — война, и всякое может случиться.

— Сам ты фриц! — закричал в ответ Алексеев. — Перестаньте стрелять! Мы свои. Идите сюда, здесь разберемся!

— Ишь ты какой! Иди ты сюда! — прозвучало в ответ.

— Ну, пожалуйста!

Отцепив парашют, Алексеев с пистолетом в руках пошел на голос.

Тут же выскочили трое с автоматами наперевес.

— Бросай пистолет!

— Еще что! Зачем! Потом искать? — искренне удивился Алексеев и сунул пистолет в кобуру. — Ну, вот я. Зачем лупите по своим?

Трое подошли, недоверчиво пощупали погоны.

— И правда наш! Чего вы тут? — сказал один из них, коренастый и плотный, как гриб-боровик.

— Да вот, подбили над Севастополем.

— А-а-а...

Шурша ботвой, из темноты вышли еще человек двенадцать. Окружили, стали предлагать махорку и газету для закрутки.

— Ты уж извини, что за фрица приняли, — сказал коренастый. — Навесили фонариков. Ну, думаем, сейчас бомбить будет. А вы сели. На-ка огоньку. — Чиркнул спичкой, дал прикурить Алексееву. В темноте засветились цигарки.

— А вам повезло, — затянувшись, сказал коренастый. — Еще шагов пятьдесят и загремели бы в речку! Тут обрыв, метров тридцать.

У Алексеева меж лопаток потянуло холодком.

— А церквушка?

— Церквушка на другой стороне. Речка узкая... Однако пойдем, спать определим. Устали небось.

Утром, проснувшись, Анатолий увидел: выпачкал комиссар в извести свою жгуче-черную шевелюру. Видать, во сне терся головой о стену.

— Товариш гвардии майор, вы волосы испачкали.

— Чем? — всполошился Клименко. — А ну-ка дай зеркало.

Алексеев подал. Клименко всмотрелся и ахнул: вся голова была седая!..

Из летописи полка: запись вторая

Сон в руку

Алексеев видел сон, до неприятности отчетливый и яркий: будто куда-то он полетел и потом вдруг оказался на турнике. Турник необычный — высокий-высокий — дух замирает, и в чистом поле, с колючками. И он, Алексеев, на удивление самому себе, крутит «солнце» и делает разные фокусы. Потом опустился на землю, вращаясь по стойке на одной руке, как это делают клоуны в цирке. И тут откуда ни возьмись — немцы! Бегут, стреляют, кричат «хенде-хох». Алексеев за пистолет — нет пистолета! Бросился бежать. Какие-то развалины, сарай какой-то, груды мусора, уборная. Влетел в уборную, спрятался, притаился. Страшно. И проснулся. До чего ж неприятный сон!

Посмотрел за окно — туман. Нелетная погода. Отдохнуть бы сегодня, не лететь. Уж вот вторая неделя кончается, как полк без отдыха совершает боевые вылеты в трудной погоде. Усталость ощущается изрядно: плохо спится, пропал аппетит, и в голове тренькает.

Встал, умылся, пошел прогуляться. Возле штаба его окликнули. Девушка из шифровального отдела, высокая, стройная, с длинными черными косами, выбежала с «ФЭДом» в руках.

— Алексеев! Алексеев! Давайте я сфотографирую вас!

Алексеев пошутил:

— Что ты, Катя, перед полетом же нельзя, примета плохая.

— Можно, — сказала Катя, откидывая за спину косы. — Сегодня полк не полетит — выходной.

— Ну, тогда другое дело! — и принял позу.

После ужина в клубе шел фильм о партизанах, как они воюют в тылу у немцев. На самом интересном месте вдруг открылась дверь, и дежурный по штабу громко объявил:

— Экипаж Алексеева, на выход!

На «выход» — это значит лететь. Алексеев поднялся, вместе с ним встали со своих мест штурман и стрелок с радистом.

Вышли. Экипаж в сборе. Воздушный стрелок Щедрин, с восковым лицом, с ввалившимися глазами, держится руками за живот.

— Что с тобой, Щедрин?

— Живот болит, товарищ командир. С утра схватило.

— Так. Не полетишь. Ищи замену.

— Можно, я полечу?

Алексеев обернулся. Перед ним стоял навытяжку недавно прибывший в полк воздушный стрелок. Худой, высокий, сутулый, с глазами навыкат.

— А-а, Вайнер! Хочешь слетать?

— Хочу, товарищ гвардии лейтенант! На боевое крещение.

Алексеев взглянул на тяжелые сырые облака, сыплющие мелким дождем, поморщился.

— Какое там «боевое»! Просто так полетим. На разведку погоды, наверное.

В штабе Алексееву сказали:

— Полетите в Крым. На Джанкой. Есть сведения: станция забита фашистскими войсками и составами с боеприпасами — все вперемешку. Сфотографируете и отбомбитесь. Погода над целью хорошая. Там работают другие полки. Все. Вылетайте. Ни пуха вам, ни пера!

Взлетели и сразу же вошли в облака. Только над Азовским морем вырвались на простор.

Джанкой был виден издалека, его уже обрабатывали. Вспышки бомбовых разрывов, множество прожекторов и частые всплески бурых звездочек от шалого огня зениток. Били здорово. Оно и понятно — большая узловая станция, важная перевалочная база врага.

К цели, как и положено фотографу, подошли на высоте трех тысяч метров. Незавидная доля фотографа! Весь зенитный огонь — его! И все бомбы, что сыплются сверху, — тоже его! И тут не отвернешься от прожектора или от мчащейся прямо на тебя неведомой тени, не спикируешь, уходя от огня, и не сделаешь никакого маневра. Тут уж, ослепленный и оглушенный, пригнись к приборной доске, замри и так сиди, выдерживая точный курс, пока штурман не сбросит часть бомб, и с ними, через интервалы, фотабы. И это еще не все: первый сброшенный фотаб взорвется лишь через 25 секунд, вслед за ним второй через такой же интервал, и третий. А ты сиди, не шелохнувшись, в луча́х прожекторов, в кипении огня и жди, когда наконец вспыхнут фотабы и сработает затвор аппарата. Только тогда, лишь тогда ты свободен и можешь пикировать и уходить... если тебя еще не подбили...

Обойдя цель с запада, Алексеев взял боевой курс и

ринулся в ад, прямо в лапы прожекторов. Воздух ревел от зенитных снарядов, и гул их взрывов был слышен даже сквозь рокот моторов. И в этом реве совсем по-будничному прозвучали слова штурмана Артемова:

— Толя! Чуть-чуть правее...

Простые слова, теплые, родные. Здесь, в кипении огня, в разгуле смерти, весь экипаж — побратимы.

Алексеев поправил курс и замер. Это очень важно вести сейчас машину точно. Штурман, приткнувшись к прицелу, ждет, когда в его перекрестке появится цель. И если самолет будет качаться, то может случиться, что привезут они домой (ценой таких усилий!) снимки неба или горизонта. Нет уж, если рисковать, то с толком!

Но сегодня что-то плохо получалось. Сразу же попав в прожектора, они привлекли на себя ураганный прицельный огонь. Взрывные волны били по крыльям, по хвосту, по фюзеляжу, и машину мотало из стороны в сторону. Наконец, после долгого-долгого молчания, штурман сказал:

— Бросаю!

Алексеев замер, затаил дыхание. Бомбы оторвались, вслед за ним фотабы — один за другим...

Снаряды рвутся, рвутся. Как долго не взрывается фотаб! Двадцать пять секунд! Очень, очень долго...

Яркий всплеск света отозвался радостью в сердце: «Взорвался!». Есть один снимок! Вслед за ним второй. Хорошо. Отлично! Дело идет к концу. А что же третий? Третий что же? Почему не взрывается третий?!

А перед самым носом: пах! пах! пах! — несколько взрывов подряд.

— Толя! Толя! Третий фотаб не взорвался! Уходи-и-и! — Это штурман.

— Саша, не бойся, не попадут!..

И в это время странный звук, будто кто карандашом проткнул бумагу: ширк! ширк! ширк! — и в правом крыле появились три зияющие пробоины, а по левому змеевидным шнуром пробежала огненная полоса. В голове мелькнуло: «Конец! Отжила машина!.. Надо хоть Сиваш перетянуть...»

Полный газ моторам, штурвал от себя. Уйти! Уйти подальше, пока машина управляема!..

Крыло горит. Все больше, больше. Пытаясь сорвать пламя, Алексеев вложил машину в правое скольжение. Нет, не помогает! Видимо, бензин разлился по крылу... Вот уже горит элерон, через несколько секунд машина

потеряет управляемость или взорвется. Надо покидать самолет...

— Приготовиться прыгать!..

А зенитки бьют, бьют, Мелькнула досада: «Увидели! Ликуют...» Самолет заваливает влево. От элерона остался кусочек.

— Прыгайте! Прыгайте!.. Мишка, пошел! — это радисту.

Ломовский в ответ:

— Товарищ командир, как быть — Вайнер без сознания.

Алексеев тотчас же нашелся:

— Раскрой парашют и вытолкни в люк!..

— Есть!.. Раскрыл... Бросил! Толя, я пошел, прощай!..

— Прощай, Миша!..

Взгляд в переднюю кабину. Штурман на месте: сидит, ждет особой команды, а может быть, боится: он никогда не прыгал.

Машина — как факел.

— Саша! Прыгай!!

Артемов метнулся к люку. Открыл и замер.

— Прыгай, Саша!..

— Толя, прощай!.. — и пропал.

В тот же момент резко заглох мотор. Машину мотнуло, положило на спину. И вот она со страшным воем мчится к земле, вращаясь вокруг своей оси. Тошнотворно замелькали прожектора. Алексеева центробежной силой придавило к креслу. Едва-едва хватило сил поднять пудовую руку и открыть фонарь, а подняться не смог.

Машина падала устойчиво, и надежды на то, что спадет перегрузка, не было. Короткий взгляд на приборную доску: скорость 600, высота 800...

Что же — так и погибать?!

Стиснув зубы, набрался сил и, упершись ногами в приборную доску, с великим трудом приподнялся с кресла. И едва голова показалась из кабины, сразу стало легче: густой, как патока, воздух, сорвав шлемофон, подхватил за плечи и выволок наружу.

Падения Алексеев не почувствовал. Было ощущение, будто он лег на перину. Отсчитал до трех и выдернул кольцо. Черев несколько секунд сильный хлопок, удар — раскрылся парашют, и чем-то красным озарило. Закинул голову — парашют! Горит!.. Или, может, показалось. Екнуло сердце — последняя надежда!.. В тот же момент

удар по ногам. Земля! Покатился кубарем, вскочил. Перед глазами все кружится: лучи прожекторов, пламя, пламя, и что-то трещит. С трудом дошло — горит самолет на земле, взрываются патроны...

Нагнулся, пощупал ноги — не было сапог. Сорвало в воздухе, когда раскрылся парашют. Шум моторов привлек внимание. Вгляделся и в зареве пожара увидел — с двух сторон подъезжают: машина и два мотоцикла. Мелькнули угловатые каски. Немцы! Схватился за пояс: пистолет! Где пистолет?! Нет пистолета — сорвало. Путаясь пальцами в шелке, быстро-быстро подобрал парашют, подмял под мышку, побежал, не замечая колючек.

Бежал долго, пока не запалило в груди. Остановился перевести дыхание. Гулко колотилось сердце, и мешал парашют. «Какого черта я его тащу?!» Расстегнул карабины, освободился от лямок. Оглянулся вокруг: парашют надо спрятать, а куда? Кругом степь, да колючки, да сухая трава. Разгреб траву и, скомкав кое-как неподатливый шелк, сунул в нору, примял траву. Оглянулся на зарево. От горящего самолета, ища его, кругами разъезжались мотоциклы. Он еще задыхался, еще пылало в груди, но надо бежать. Бежать как можно дальше! И он побежал, почти в беспамятстве от жгучей боли — так запалилась грудь. Где-то сзади трещали мотоциклы, и он бежал, бежал...

В одном месте прямо из-под ног с шумом вылетела птица. Алексеев испуганно шарахнулся в сторону и упал. Но страх быть настигнутым поднял его на ноги. Побежал, но уже тише, стараясь выровнять дыхание. Понемногу боль в груди стала спадать, и вместе с этим появилось трезвое чувство опасения: а правильно ли он бежит? Сейчас все его помыслы должны быть устремлены только на восток!

Мотоциклов не слышно. Остановился, перешел на шаг. Темно. Тихо. Совершенно тихо. Будто и не было бомбежки, и не рвались снаряды, и не шарили по небу лучи прожекторов. Только сзади еще, догорая, чуть светились пожарища в Джанкое. Посмотрел на небо: вон Большая Медведица, вон Полярная Звезда. Это север. Все правильно, он идет как надо — точно на восток!

Вспомнил: а ведь он в Крыму! В глубоком немецком тылу. До линии фронта километров 150 с хвостиком. И чтобы выбраться отсюда, надо перейти через Сиваш! Без помощи людей не обойтись. А как узнать людей?

Нарвешься на предателя!.. Неуютно стало на душе. Страшно.

Ну, ладно, все это потом. А сейчас первым делом хорошо бы переодеться. Снять с себя все летное: комбинезон, штаны, гимнастерку. Уничтожить документы. Сгинуть. Нет никакого летчика Алексеева, есть молодой паренек, которому на вид-то и девятнадцати не дашь...

Начался рассвет. Впереди в блеклых сумерках показалась окраина деревни. Подойти, постучаться в первый же дом, чтобы дали переодеться? А вдруг здесь немцы? А вдруг предатель?! На душе гадко. Нервы напряжены до предела. Плохо то, что чувствовал себя беззащитным. Был бы пистолет! О плене он боялся и думать. Плен — это хуже смерти! И переодеться надо поскорей — уже светает. Постучать? А вдруг!..

Переборол себя, выбрал дом с резным крыльцом, с витиеватыми балясинами. Высокий забор из каменных плит, ворота. Подошел к закрытой ставне, поднял руку, чтобы постучать, и... не смог. Какой-то внутренний голос, твердый и уверенный, сказал: «Не стучи!»

Отошел, опасливо оглядываясь. Нет уж, лучше переждать, может, кто пойдет или поедет. Отошел в поле, к обочине дороги, снял комбинезон, лег в канаву и накрылся. Комбинезон цвета хаки, все ж маскировка на всякий случай!

Лежит, ждет. Ноги болят. В горле пересохло. Холодно. На душе кошки скребут. Страшно. Плен — хуже смерти!..

И уже совсем почти рассвело. Вдруг слышит — телега стучит, лошадь фыркает, и двое громко разговаривают, вроде по-армянски, а ругаются по-русски. Выходить или не выходить? А вдруг это вовсе не армяне, а румыны? Прислушался. Нет, точно, армяне! Пошарил рукой по обочине канавы, подобрал на всякий случай плоский обломок песчаника, сунул в карман: все же!

Подождал, когда подъедут, и поднялся во весь рост. Лошадь, испуганно фыркнув, мотнула головой и стала, кося настороженным глазом. Двое в арбе, оборвав разговор, уставились на Анатолия. А тот — правая рука в кармане (пусть думают, что пистолет!), вихрастый, босой, на небритых щеках мальчишеский пушок, строго сощурив глаза, сказал:

— Здравствуйте!

Старший, круглолицый армянин, брови вразлет, широко улыбнувшись, ответил с заметным акцентом:

— Здравствуй.

Младший, тоже армянин, лет семнадцати парнишка, повторив скороговоркой «здрассте», уставился большущими глазищами на новоявленное чудо.

— Вы советские люди? — спросил Алексеев.

— Ну конечно, советские! — ответили оба. — А что, тебя сбили, что ли?

— Сбили.

— А-а-а, — сказал старший. — Вас тут немцы ищут. Дали вы им здорово!

Восхищенный парнишка скинул с себя телогрейку:

— Нате, оденьтесь.

— Спасибо. — Алексеев надел телогрейку. — Штаны бы еще...

— Будут штаны, — сказал старший. — Все будет. Садись.

Алексеев сказал, забираясь в арбу:

— Там комбинезон лежит в канаве, возьмите.

Старший помедлил.

— Комбинезон? Да, надо взять. Улика. Немцы найдут, будут знать, где искать. — И парнишке: — Вазген, сбегай!

Комбинезон уложили под сено. Вазген, не спуская с Анатолия восхищенного взгляда, сел рядом.

Старший тронул лошадь.

— Мы спрячем тебя, дорогой, ни один черт не разыщет. Сейчас ты у нас переоденешься, а потом документы тебе справим. Моя племянница Изабелла у немцев в комендатуре переводчицей работает.

Алексеев схватился за вожжи:

— Стой! Не поеду я с вами!

Вазген тронул Анатолия за плечо. Прикосновение было ласковое и убеждающее:

— Не надо бояться, мы советские люди! Корюн — это мой старший брат, и он хороший человек. Не бойся!

— Не бойся, — подтвердил Корюн. — Не выдадим. — И тронул вожжами лошадь. — Скажу тебе больше: я — бригадир, а наш дядя — староста сельской управы, и половину моего дома немцы занимают, из комендатуры. Так что знай, куда мы тебя привезем. Но верь. И не бойся.

Ох, муторно было у Анатолия на душе, пока проезжали деревню. И верилось, и не верилось. Самое скверное, конечно, было то, что он безоружен. Был бы пистолет!..

Наступило утро. Розовое, тихое. Проехав село, они снова очутились в степи. Анатолий удивился. О Крыме он имел совсем другое представление: думал, что горы да снежные вершины, а тут вон, голая степь...

Навстречу промчались три мотоцикла. За рулем и в коляске немцы в угловатых касках, с автоматами на груди. Проезжая, они дружески кивнули Корюну.

— Из комендатуры, — сказал Корюн, понукая лошадь. — Наверное, поехали тебя искать.

Алексеев передернул плечами: страшно. Плен — хуже смерти!

Впереди показался полуразваленный сарай с оголенными ребрами крыши, груды мусора, битого кирпича, заросшего полынью. Что-то знакомое, будто он был уже здесь... Ах да — это во сне! Мусор, битый кирпич... А дальше окраина села. Нет, не поедет он дальше! Спрячется здесь...

— Всё! — сказал Анатолий, натягивая вожжи. — Тпр-р-ру-у! — Лошадь остановилась. — Дальше я не поеду. Здесь пережду. В сарае.

У братьев обиженно округлились глаза.

— Да что ты, не веришь? Чего боишься? Уже дома почти!

— Нет, — твердо сказал Анатолий, слезая с арбы. — Не поеду! Тут подожду. А вы, если можно, принесите мне переодеться и поесть.

Братья затараторили по-армянски.

«Продают!» — подумал Анатолий, остро ощущая свою беспомощность.

— Извини, — сказал Корюн. — Мы обсуждали, как нам быть. Ладно, оставайся, может, так и лучше. Мы принесем тебе, что надо. Жди. — И уехали.

Алексеев, пригнувшись, перебежал к развалинам, от которых остро пахло отхожим местом. Под ногами шуршали бумажки с немецким шрифтом. Гм! Не очень-то удачное место он выбрал. Судя по всему, сюда заглядывают проезжие немцы. Но отсюда был хороший обзор, а спрятаться можно на уцелевшей части чердака. Он так и сделал. И едва забрался, зашумела машина. Подъехала, остановилась. Человек двадцать немцев попрыгали из кузова и побежали к сараю, на ходу расстегивая пояса. Тараторили, смеялись.

Алексеева душила ярость. «Гранатку бы вам или очередь из пулемета!» — подумал он.

Уехали немцы, и снова тихо. Жужжат мухи, стреко-

чут кузнечики в траве: тр-р-р-р! тр-р-р!.. Сильно клонило ко сну.

Разбудил чей-то шепот:

— Летчик! Эй, летчик! Где ты?..

Осторожно выглянул из-за укрытия. Корюн. Стоит с кошелкой в руке, удивленно оглядывается.

— Здесь я! — ответил Алексеев и спустился вниз. В кошелке было полное обмундирование немецкого солдата: кепка с высокой тульей, ботинки, штаны и старый обтрепанный френч. Тут же, в бумажном пакете, — вареная курица, лаваш и бутыль с водой.

Алексеев переоделся и, туго скрутив свои штаны и гимнастерку, посмотрел на Корюна.

— Спрячем тут, — сказал Корюн. — Опасная улика.

Выкопали яму в груде кирпича, уложили, засыпали, забросали соломой.

— Вот, теперь хорошо! — сказал Корюн. — Ешь, время-то к вечеру. И знаешь, как хорошо, что ты не поехал с нами! К нам немцев приехало — полный двор. На мотоциклах. Злые за вчерашнюю бомбежку. Ищут сбитый экипаж.

Алексеев расправился с курицей. На душе у него полегчало, и уже загорелась надежда, что все обойдется и он сумеет пробраться к своим, через линию фронта.

Посидели до темноты, грызя семечки, которыми запасся Корюн, а когда стемнело, пошли. Деревню обогнули стороной и очутились опять у каких-то развалин. Сели за грудой кирпича. Скоро под чьими-то шагами захрустел строительный мусор. Алексеев вскочил, готовый бежать, но Корюн его успокоил:

— Не бойся, это наш, — и тихо свистнул.

Из темноты вышел высокий человек в каракулевой шапке, сказал с армянским акцентом:

— Где тут лодчик, которого сбилы?

Корюн толкнул локтем Алексеева:

— Знакомься, это мой дядя — староста управы.

— Ну вот что, — сказал староста. — Чего тут сидэт, айда ко мнэ.

Алексеев уперся:

— Нет, я не пойду, я тут пересижу...

— Э-э-э, — рассердился староста. — Так не пойдот! Чиво боишься? Если б ми хотел тебя прэдать — давно бы это сделал, а? Айда!

Слова его звучали убедительно, и Алексеев пошел.

Анатолия ждали. В просторной горнице за занавес-

кой уже стоял чан с горячей водой и корыто. Такое внимание тронуло Алексеева, и он окончательно успокоился. Искупался с наслаждением, промыл израненные ноги, а когда оделся во все чистое и вышел в зал, там на столе дымилась лапша с курицей. Хозяева не досаждали, оставив его одного. Лишь только когда он поел, в комнату, вежливо здороваясь с порога, вошли человек двенадцать мужчин, все пожилого возраста. Уселись тихо вокруг стола, все армяне, все с морщинистыми лицами и грубыми руками хлеборобов.

Староста, положив свои большие руки на стол, сказал Алексееву:

— Пажалста, сынок, расскажи, как дела на фронте. Немцы тут всакый белиберда говорят, будто их войска под Москвой стоят.

Алексеев усмехнулся:

— Под Москвой? Как бы не так! А про Курскую битву слыхали? Не-ет? Ого! Тогда слушайте.

И рассказал он про черную силу, что собиралась для операции «Цитадель». Почти миллион солдат на узком участке фронта под Понырями. На километр фронта — более сорока танков и самоходок, до восьмидесяти орудий и минометов, а в воздухе около тысячи самолетов. Сила неодолимая! И Анатолий видел, какое впечатление производят его слова, как тускнеют в печали глаза и сами собой никнут плечи. Тяжко слышать о таких вещах!

Но вот Анатолий начал описывать разгром фашистских войск под Курском. Слушатели ошеломлены, они не верят, не верят. Сломить такую силу?! Нет, это невозможно!

В свою очередь был удивлен Алексеев.

— А вы что — не слышали про это?

Нет, они не слышали. Война была где-то далеко, и отсюда доходили только рассказы о ней, да и то от фашистов.

— Тогда вот что я скажу вам,— с ноткой обиды в голосе сказал Анатолий. — Наши на днях овладели Таманским полуостровом, и сейчас войска Толбухина подходят к Перекопу. Вот! А вы говорите: «Под Москвой!..»

Славные ребята

Наш первый боевой был с приключениями.

Отбомбившись и перейдя линию фронта, мы снизи-

лись и пошли у самой земли. И тут к нам привязался истребитель. Его заметил Алпетян.

— Товарищ командир! Справа, сзади, чуть выше нас идет какой-то самолет!

Оборачиваюсь, смотрю: вроде что-то маячит.

— Может, наш, — говорю. — Я отверну чуть-чуть, а ты посмотри на его поведение.

Отвернул.

— Идет за нами, товарищ командир!

— Гм! Отверну еще.

— Опять идет!.. Двухкилевой.

— Ага! Так. «Мессершмитт», наверное, «МЕ-110». У него ведь есть еще и турельный пулемет. Наш или не наш, давай-ка уйдем от него! — И резко клюнул к земле. И вовремя! Он открыл огонь. Огненные черточки прочертили ночь и веером прошли над нами.

— А-а-а, — закричал Алпетян и затукал из своего крупнокалиберного: тук-тук-тук!..

И сразу стало суматошно. Задрожал самолет, в кабину потянуло гарью, и огненные блики засверкали в ночи.

Ррррах! Рррах! Рррах! — это Алпетян дал три короткие очереди из скорострельного «ШКАСа».

И все стихло. И снова темь, будто никто и не стрелял. Только гарь пороховая висела в кабине.

— Ну как, Алпетян?

— Да кто его знает, товарищ командир: как говорится — попал, да не упал.

— Ну-ну, тогда смотри за воздухом.

— Смотрю, товарищ командир!

Ночью бреющим идти опасно: кто знает, какая здесь местность! А вышка или деревья! Врежешься еще. Набрал высоту метров сто. И опять Алпетян:

— Товариш командир! Вижу самолет. Сзади слева, чуть выше нас.

Вот гад, привязался! Вглядываюсь в темноту. Ничего не вижу.

— Ну, где он, Алпетян?

— Идет нашим курсом. Догоняет!

Гм! Догоняет. Конечно, скорость у «мессера» больше, чем у нас, но... потерял он наш самолет или хитрит? Может, хочет открыть огонь из турельного пулемета? Вряд ли. Какой смысл? Уж если бить, так носовыми: у него там целый арсенал — пушки, пулеметы. Что-то тут не так. Скорее всего он нас не видит!..

— Товарищ командир! Давайте подпустим его, и я сделаю ему снизу харакири!

— Харакири? Давай!

Ухожу немного вниз, смотрю назад. Мне виден силуэт, но неясно. Он нагоняет нас. Ага, теперь вижу — двухкилевой! Значит, все тот же!..

— Как у тебя, Алпетян?

— Я готов! Пусть подойдет поближе...

Я весь в напряжении. Сейчас разразится огонь, и все будет кончено... Неотрывно смотрю назад. Силуэт ближе. Мне видно пламя выхлопа из-под брюха самолета. Из-под брюха?! Почему из-под брюха? У «мессера» пламя с боков!..

У меня екнуло сердце: «Это не «мессер», а Б-25! Наш самолет!..».

В тот же миг Алпетян:

— Товарищ командир!..

— Отставить! — кричу я. — Не стрелять! Это Б-25!

— Вот и я хотел сказать... — Алпетян сконфужен не меньше меня. — И откуда его черти поднесли?! Уф-ф!.. Было бы «харакири»!..

Краснюков добродушно смеется:

— Бывает! — и дает новый курс.

Лечу совершенно разбитый. На душе гадко. Подумать только — чуть своих не сбили!

Прилетел уставший, с тяжелым настроением. Техник, как бы между прочим, что-то сказал о «девятке». Будто бы Красавцев взлетел только после третьей попытки и то кое-как.

Я отмахнулся с досадой: «Значит, летчик такой! Надо проверить».

И вот, проснувшись, вспомнил. Опять неприятность! Если летчик слабый, то никогда тебе не будет спокойно. Оделся, пригласил Краснюкова, и мы вместе пошли в общежитие к офицерам.

Общежитие в помещении бывшего клуба. Большой зал, стоят рядами койки. Чисто, хорошо. Дежурный, увидев меня, крикнул «смирно!» и доложил по форме.

У меня было дело к летчикам, у Краснюкова к штурманам. Разделились на две группы, уселись на койках в разных углах зала.

— Ну как, товарищи, самочувствие хорошее?

— Хорошее, товарищ командир!

— У всех?

Мнутся, переглядываются. Вопрос поставлен с «под-

текстом». Отвечают вразнобой и не очень-то уверенно:

— У все-е-ех...

— Ну ладно, тогда поговорим. Командиры звеньев, ваши замечания о прошедшей ночи?

Замечания были, но мелкие. Такой-то припоздал с выруливанием по вине стрелка, такой-то, садясь, забыл включить аэронавигационные огни, за что получил замечание от руководителя полетов. Материальная часть у всех работала исправно, а это в боевом деле — самое главное. И у меня уже отложилось в душе чувство благодарности к техникам, к инженеру эскадрильи. Славные ребята! Молодцы.

Докладывает командир третьего звена лейтенант Ядыкин, плотный ширококостный сибиряк с круглым добродушным лицом. У него в звене неприятности: летчик Красавцев дважды прекращал взлет — упускал направление, и взлетел лишь на третий раз. О причине молчит. Известна она ему или не известна?

Смотрю испытующе:

— Причина?

И сразу вижу — Ядыкин врать не умеет. Опустил глаза, покраснел, сказал тихо:

— Н-не зна-а-ю...

Мне досадно. Значит, знает, да кого-то выгораживает.

— Ладно, садитесь, Ядыкин.

Ищу глазами виновника. Сидит смущенный, недоуменно пожимает плечами.

— Красавцев, что у вас, объясните.

Поднимается, разводит руками.

— Не пойму, товарищ командир, что с ней случилось...

По рядам смешок. Кто-то тихо бросил реплику:

— Почему с ней? С тобой!

Красавцев живо обернулся:

— Нет, Гроховский, с ней!

Ого! Это уже интересно: если человек так уверен, где же искать причину? Самолет не лошадь и настроений менять не может.

— Так, хорошо, Красавцев, значит, вы считаете, что дело в машине? Но ведь вы же на ней три дня тому назад тренировались?!

Красавцев смотрит мне прямо в глаза.

— Вот в том-то и дело, товарищ командир, тренировался! И машина мне понравилась. А вчера — словно подменили!..

Ребята улыбаются. На щеках у Красавцева вспыхнул румянец. Он снова пожал плечами:

— Конечно, товарищ командир, звучит смешно, но это так: самолет почему-то стал другим. И не только на взлете — и в воздухе. Неустойчивый какой-то, тяжелый.

И у меня появилась догадка. И вот уже знакомое мне чувство раздражения и какой-то внутренней обиды.

— Ладно, Красавцев, садитесь, я облетаю машину.

Я весь на взводе. Логически я уже знаю причину. Нужно подтверждение. Но эта волокита принесет много неприятностей. А иначе поступить не могу! Это неизбежно, потому что... потому что...

Я внутренне взрываюсь. Ч-черт побери все эти «потому что»! Почему человек, отстаивая правое дело, должен извиняться перед обстоятельствами, перед самим собой? К черту! На аэродром!..

Ко мне подходит Ермашкевич.

— Товарищ командир, разрешите?

— Да, что у вас?

— Боевое расписание.

Беру листок. Ермашкевич подсовывает мне планшетку. Листок уже расписан. Тринадцать самолетов. Летчикам опытным — по десять соток, двум молодым — по восемь. Мне тоже десять.

— Та-а-ак, значит, я уже опытный?

Беру у адъютанта карандаш, и в этот миг краем глаза замечаю движение. Я его ждал! Я ждал его, этого жеста! Поднимаю голову: так и есть — это Алексеев. Встает, смущенно одергивает сбившуюся гимнастерку.

— Товарищ командир, разрешите обратиться?

— Да, пожалуйста.

— Вот вы вчера взяли тысячу пятьсот, разрешите и мне взять столько же!

Смотрю на него с восхищением. Эти слова я ожидал услышать именно от Алексеева, от первого! И я не обманулся. Будут, конечно, и другие: вот сейчас поднимется Ядыкин, Шашлов, Гроховский, но Алексеев все-таки первый!

Делаю вид, что раздумываю. Пусть доверие командира — взять повышенную нагрузку — будет звучать как поощрение, как оценка качеств летчика.

— Тысячу пятьсот, говорите? Гм! Хорошо, Алексеев, вам можно. Но учтите — горючего будет соответственно меньше.

Глаза у Алексеева сияют:

— Мы знаем, товарищ командир!

«Мы»?! Это слово звучит для меня как награда, как высокое доверие. Доверие коллектива. Вот они, мои новые друзья, мои славные ребята!

Поднимается Ядыкин, встают Шашлов и Гроховский, другие летчики.

— Товарищ командир, и нам тоже...

Я готов согласиться, но... рано.

— Товарищи, спасибо за доверие, за порыв, но сегодня эту загрузку повезут только командиры звеньев. Всем остальным могу пока проставить тысячу триста, а двум молодым по тысяче. Согласны?

Все согласны, все довольны.

Вношу поправку в боевой листок: летчикам по 1300, командирам звеньев по 1500, а себе две тонны. А вот Красавцеву что? Что Красавцеву? А Красавцеву — ничего! В любом случае он сегодня не полетит. Если неисправна машина, какой же тогда разговор? А если исправна, значит, слабо натренирован летчик, и с ним надо еще повозиться. Но нет, тут дело не в летчике, уж в этом-то я уверен. Делаю прочерк против экипажа Красавцева. Ермашкевич смотрит мне через плечо.

Говорю ему:

— Красавцев сегодня не полетит. Причину сообщу по телефону с аэродрома.

Адъютант прикусил губу, посмотрел на меня многозначительно и тихо, почти шепотом, сказал:

— Товарищ командир, вы, наверное, не знаете, полк борется за стопроцентный выход материальной части. Командир полка...

Тихо, тоже шепотом, перебиваю его:

— Товарищ Ермашкевич, я назначен сюда командиром эскадрильи, значит, я вправе решать самостоятельно свои вопросы. И еще, — потрудитесь сделать так, чтобы листок боевого расписания заполнял я сам. А сейчас раздобудьте машину, мой экипаж едет на аэродром. Все, можете идти.

Как ни тихо происходил этот диалог, но его кое-кто слышал. Это было видно, например, по Алексееву. Конечно, на своих ребят теперь я могу положиться, но в стычке с командиром мне от этого не легче. Субординация!

«Девятка» была уже готова, и без лишних разговоров мы заняли свои места.

Запускаю моторы. Прогреваю, выруливаю. Дежурный по полетам майор Бутко дает мне старт. Я весь наготове: обороты моторам — машина нехотя трогается с места. Бежит, набирая скорость, и вдруг, словно споткнулась — рывок влево! Добавляю обороты левому мотору и держу наготове правый. Машина, словно норовистый конь, мотает носом: вправо, влево, опять вправо. Взлетели как-то боком. Мне стыдно (что подумает Бутко?) и в то же время чувствую какое-то облегчение. Все-таки Красавцев летчик что надо! Взлететь на таком утюге ночью!..

Убираю шасси. Машина вибрирует. Трясется приборная доска. Чертовски неприятная штука! Ощущение такое, будто сидишь в кресле дантиста, и он неумело сверлит тебе зубы.

Набираем высоту. Еле-еле. Машина кренит влево. Поддерживаю ее штурвалом и рулем поворота. Представляю, как Красавцев на таком утюге заходил на посадку. Ведь он мог бы запросто перевернуться на крыло!

Краснюков сидит в своем кресле и нет-нет да обернется ко мне.

— Что случилось, командир?

— А вот, посмотри на штурвал! Видишь, как вывернулся? Это так его нужно держать в горизонтальном полете! — И смеюсь, глядя в растерянное лицо штурмана. — Отпустить?

— Не надо! — поспешно отвечает Краснюков. — У нас же мала высота!

Из летописи полка: запись третья

Бланк строгой отчетности

Когда Алексеева разбудили, было еще совсем темно.

— Анатолий, вставай, ехать надо, — сказал Корюн, зажигая лампу.

— Куда? — спросил Алексеев, с трудом просыпаясь.

— Ехать надо, — повторил Корюн. — Я отвезу тебя за Джанкой, к маме. А это вот — на, почитай, свеженькое. — И протянул листок коричневой бумаги.

Алексеев поднялся. Поморщившись от боли, опустил избитые ноги на половик и, придвинувшись к лампе, прочитал свежеотпечатанный текст.

— Ого!

Фашистское командование обещало за поимку каждого члена экипажа со сбитого самолета тридцать тысяч

немецких рейхсмарок, лошадь и три десятины земли. Соответственно: за укрывательство — расстрел...

— Здорово! — Анатолий криво улыбнулся. — Совпадение какое — тридцать!

— Да, — согласился Корюн. — Как у Иуды: тридцать сребреников! — И поторопил: — Ладно, ты не Христос, я не Иуда, одевайся поскорей, выедем, пока темно.

Анатолий оделся. Корюн критически его осмотрел:

— Нормально. Будешь моим ездовым. Я бригадир, ты мой рабочий. Понял? В случае проверки молчи. Сделай безразличный вид и молчи. Я буду разговаривать. Пошли!

На дворе, в темноте, пофыркивая, стояли две лошади, запряженные в телегу. Анатолий забрался на козлы и, подождав, пока усядется Корюн, неумело тронул вожжами:

— Но-о-о! Поехали!

Ехать надо было километров за тридцать через Джанкой, и у Алексеева болезненно сжималось сердце: мало ли что может случиться в дороге? Днем же ведь. Нарвешься на кого...

Беспокоила листовка и в то же время — радовала. Значит, его боевые друзья где-то скрываются. И люди, находясь в глубоком тылу, лишенные сведений о фронтовых делах, верят в победу. Верят!

Село еще спало. В предутренней тишине громко стучали колеса. Разбуженные петухи, словно спохватившись, закукарекали разом во всех дворах, и им в ответ принялись помыкивать коровы.

Алексеев настороженно поглядывал по сторонам, за что получил замечание от Корюна.

— Не так сидишь, — сказал он. — Не в самолете! Ты ездовой, начальство везешь. Согни спину, ссутулься и смотри под ноги лошадям. До всего остального тебе дела нет. Ты ко всему привык. Немцев видел и перевидел. Понял?

— Понял! — рассмеялся Алексеев. — Ишь ты — заважничал. Начальство. — Однако сделал так, как тот велел. Но это было трудно.

Село проехали. Показались развалины сарая, в котором он вчера прятался. Вспомнил сон перед полетом. Что-то ждет его впереди!..

Кони без понукания охотно бежали рысью по степной дороге, и легкий ветерок, завивая пыль, поднимал

ее тонкой пеленой в светлеющее небо, чуть порозовевшее впереди. Там, за полтораста километров отсюда, — линия фронта, и туда он должен добраться. Должен, и все тут! Сейчас это было самым главным в его жизни.

Солнце уже показалось над горизонтом, когда они почти миновали второе село, то самое, где Алексеев был подобран братьями Овагимянами. Повернувшись на облучке, он разыскал глазами дом, куда хотел тогда постучаться. Дом выглядел весело: в настежь распахнутые окна пузырями выдувались гардины. За высоким забором каменной кладки осенней листвой пламенели деревья. Интересно, что его напугало тогда? Почему не постучал? И словно бы в ответ, чья-то рука отодвинула тюль. Алексеев чуть с козел не упал: у окна, подтянутый и стройный, в накинутом на плечи френче стоял немецкий офицер!

— Не смотри! — сердито зашипел Корюн. — Отвернись! — И, сдернув с головы кепку, раскланялся с господином офицером. Лишь когда проехали, Корюн, вытирая платком круглое вспотевшее лицо, сказал с облегчением:

— Фу, пронесло! Как увидел его — душа в пятки ушла. Гестаповец!

Скоро начало припекать. Появились мухи, назойливые, злые. Кони, фыркая, мотали головами, били себя хвостами по лоснящимся бокам. Остро пахло конским потом.

На дороге стало оживленно. Ехали арбы, проносились машины с немецкими солдатами и техникой, шныряли патрули на мотоциклах. Их раз пять останавливали. Грозный окрик, небрежный требовательный жест. Овагимян лез в карман за документами, а у Алексеева уходила душа в пятки. Он сжимался, отвешивал нижнюю губу и, сделав дурные глаза, старательно смотрел коням под копыта. Немцы брезгливо морщились, а Корюн, оживленно тараторя по-немецки, кивал головой на Анатолия и крутил пальцем у виска: «Не все дома!» Немцы смеялись и спрашивали, не слышал ли он про летчиков со сбитого бомбардировщика? Нет, про летчиков он не слышал, но листовку читал. Ох, как он хотел бы услужить великой Германии и получить за это щедрое вознаграждение!

Возле самого города, у полосатого шлагбаума, худой горбоносый немец с автоматом на шее, кивнув Корюну как старому знакомому, подошел к телеге, сунул руку

под сено, нет ли чего, что-то сказал по-немецки. Корюн с достоинством ему ответил и полез в карман за портсигаром. Щелкнул крышкой. У немца дернулся кадык на длинной тощей шее, тонкие губы сложились в колечко: «Яволь! Яволь!» — загребущие пальцы вычистили содержимое.

Корюн сладко улыбнулся и, к ужасу Анатолия, сказал по-русски:

— Давай, давай, может, подавишься!

Солдат осклабился в довольной улыбке, обнажив гнилые зубы.

— Яволь! Яволь! — и махнул рукой, чтобы пропустили.

Алексеев, сжавшись, с замиранием сердца смотрел, как поднимается шлагбаум. Сверлила мысль: «Знал бы этот солдат, кто сидит перед ним на облучке!»

Вокзал был оцеплен, и им пришлось объезжать его стороной. Навстречу одна за другой шли с десяток машин, крытых брезентом. Алексеев сидел, понурившись, с безразличным видом дергая вожжами. Ему не было видно, какой груз везут в машинах, но было понятно и так: вчерашнюю ночь фашисты запомнят надолго. Надеясь на отдаленность от фронта, они допустили одновременное скопление эшелонов с техникой, с боеприпасами, с живой силой, и вот — поплатились за это.

К месту добрались под вечер. Мать встретила сына и гостя радушно. Сердцем поняла, что плохого человека сын в дом не приведет. Она ласково смотрела на гостя, и от ее теплого взгляда растаяли в душе Алексеева последние льдинки сомнения: Корюн хороший человек, честный и бесстрашный. Ведь попадись он при проверке — участь его была бы решена: за укрывательство — расстрел.

Овагимян вылез из-за стола:

— Пойду проведаю племянницу. — И ушел.

Анатолий знал планы Корюна. Через племянницу он надеялся добыть необходимые документы, с которыми Алексеев мог бы свободно передвигаться по немецкому тылу. Есть такие документы! Корюн их видел: стандартный бланк, напечатанный по-немецки, пропуск для фамилии, имени и отчества, года рождения. Такой-то, такого-то года рождения, преданный делу великой Германии, эвакуируется через такие-то и такие-то пункты, к месту своей родины, туда-то, что подписью и печатью удостоверяется. Хороший документ, настоящий! С ним

не страшны никакие проверки. Но добыть такой документ трудно: бланк строгой отчетности. Однако чем черт не шутит, надо попытаться.

Сидит Алексеев, ждет, переживает. Шутка ли сказать, от какой-то бумажки зависит сейчас вся его жизнь! Полк звал. Душа рвалась в полк. Алексеев и сам удивлялся — откуда такая сила? Корюн говорил ему: «Останься! Я свяжу тебя с партизанами, будешь и тут воевать во славу Родины». Куда там! И слышать не хотел. Это было превыше всего — тяга в полк, в родную стихию. Слух, галлюцинируя, улавливал рокот моторов, всплески разрывов зенитных снарядов. В глазах метались лучи прожекторов, и сердце учащенно билось от сознания исполненного долга.

Чуть потрескивая, горела керосиновая лампа. Оранжевый плоский язычок, вытягиваясь по бокам, лизал стекло тонкими нитями копоти. Алексеев убавил огонь, облокотился на стол и, подперев подбородок ладонями, окунулся в чуткую дремоту. Сытость и уют не создали в нем благодушного настроения, он чувствовал себя, как на вокзале, полностью готовым к тягости пути. В полудреме вставали перед ним образы его товарищей: штурмана Артемова, радиста Ломовского, воздушного стрелка Вайнера. Что с ними? Где-то они сейчас? Прислушавшись к себе, Анатолий не ощутил беспокойства за штурмана, за радиста, что-то в подсознании говорило ему, что они живы и находятся в безопасности, а вот Вайнер... Если убит — куда ни шло, а если ранен...

Скрипнула дверь, дрогнул язычок лампы. Алексеев поднял голову. В комнату шагнул Корюн. Он улыбался. Его прямо-таки распирало от радости. Подошел, обдал запахом только что выкуренной папиросы и энергичным жестом положил на стол перед Анатолием документ с фашистской эмблемой, с немецким типографским шрифтом и впечатанным на машинке немецким текстом. Черная круглая печать убедительно красовалась на плотном листке бумаги. Лишь пустовало место для подписи: коменданта и старосты сельской управы.

Алексеев разочарованно поджал губы.

— Что, тебе не нравится?! — всполошился Корюн.— А-а-а, подписей нет! Это мы сейчас.

Пошел в угол комнаты, где стоял небольшой столик, заваленный ученическими тетрадями, взял красный карандаш, ручку, чернильницу «непроливашку» и, вернувшись, размашисто по-немецки красным карандашом

подписался за коменданта, потом коряво за старосту чернилами.

— Вот и все! Но ты не бойся, — добавил он. — Документ отличный. Немецкий текст, машинка, печать настоящая. А подпись — ерунда!

Алексеев пожал плечами: «Ладно, какой-никакой, а все же — документ!», — и принялся разбирать текст, впечатанный на машинке. Та-ак, возраст уменьшен на два года. Теперь ему девятнадцать лет. Он предан великой Германии, добровольно служит ей и, являясь уроженцем станицы Крымской на Кубани, эвакуируется через Анапу, Керчь в Новоалексеевку под Мелитополем.

Прочитав, Алексеев аккуратно свернул документ и уже хотел вложить его в карман френча, но Корюн со словами «Подожди-ка», взял листок, бросил его на пол и принялся топтать подошвами ботинок.

У Анатолия даже дух захватило, и сердце зашлось от недобрых подозрений: «Да что же это он вытворяет такое?!»

Корюн поднял листок:

— Ну вот, теперь у него нормальный вид. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Алексеев и покраснел за свои подозрения. Путь далекий, а липа новенькая, неистрепанная, соображать бы надо самому.

Не вернулся

Мы выбрались из самолета. Мои ребята смущены.

— Ну как? Что вы на это скажете?

Алпетян стоит с поджатыми губами. На лице недоумение.

— Да что же это такое с самолетом?

Краснюков, прилаживая к поясу шлемофон, сказал сердито:

— Не машина, а гроб с музыкой!

Морунов промолчал. Он старшина по званию, и ввязываться в разговор офицеров ему не положено. Свои мнения он выложит друзьям-стрелкам.

Подходит техник звена Тараканов, высокий, медлительный, подчеркнуто солидный, как и полагается парторгу. В эту минуту у меня к нему отношение настороженное. Он отвечает за состояние материальной части, и «девятка» стоит в графе готовности. Самолет цел: крылья, хвост, шасси на месте, моторы работают нор-

мально. Что еще надо? И тут я должен заявить, что самолет неисправен! Как воспримет он это? Ясно же, все в нем воспротивится, и опять-таки — формально он будет прав.

Но Тараканов неожиданно сам выручает меня.

— Товарищ командир, мы с инженером все выяснили.

Удивленно таращу глаза.

— Что именно?

— А как же, Карпов на бреющем в деревья вмазал! Вон и вмятины есть. На крыльях и стабилизаторе.

У меня даже дух захватило от такого сообщения. Уж я-то знаю, что значит врезаться на бреющем в деревья!

— А как же!.. Как же он жив-то остался?!

Подошел инженер эскадрильи.

— Что будем делать? — обратился я к Гончаренко. — Самолет разрегулирован и к полету негоден.

Инженер пожал плечами и, словно ища поддержки, растерянно взглянул на Тараканова.

— Сложно все это, — произнес он, глядя себе под ноги. — Командир полка знает, что Карпов врезался в деревья, но машина-то цела! И, значит, ничего не произошло!..

— Да, да, конечно, — вставил я. — Вы хотите сказать, что при таком положении никто не возьмет на себя смелость отставить самолет от полета? Так ведь?

— Да, — согласился инженер. — Ведь если «девятка» не полетит, тогда придется давать объяснения и выявлять виновных. А Карпова за это по головке не погладят: дело подсудное. Значит, ЧП! Командиру полка неприятность.

Тараканов нетерпеливо кашлянул. Я повернулся к нему:

— А каково ваше мнение как парторга?

— Ставить самолет на прикол, раз он плохо ведет себя в воздухе! — твердо сказал Тараканов. — Мы попробуем его исправить. Но это сложно. Нужно повозиться несколько дней.

На том и порешили. Я позвонил в штаб и сказал Ермашкевичу, что «девятка» неисправна и в бой не пойдет.

Боевое задание полк получал на КП аэродрома. Мы сидели в большой уютной землянке за тремя рядами длинных столов, заваленных сейчас шлемофонами, планшетами, развернутыми картами. Командир полка, на-

чальник штаба, начальник связи, метеоролог — все на своих местах. Командир явно не в духе, и только я, наверное, один догадываюсь — почему.

Вот он поднимается тяжелой глыбой, упирается кулачищами в стол и, глядя перед собой, как это обычно делают люди, твердо убежденные в своей правоте, без всяких предисловий задает вопрос:

— Командир первой эскадрильи, почему вы не проставили в боевом расписании экипаж младшего лейтенанта Красавцева?

На КП сразу наступила тишина. Видимо, все-таки люди знали об инциденте с самолетом, и предстоящее объяснение вновь назначенного комэска интересовало всех: «А как он себя поведет?».

Я встал, стараясь изо всех сил казаться спокойным.

— Ему не на чем лететь, товарищ командир.

— Та-а-ак, — все еще глядя перед собой, с угрожающей интонацией в голосе сказал он. — А «девятка»?

— «Девятка» неисправна, товарищ командир. Вы же знаете, Карпов возвращался утром, хулиганил, шел бреющим, задел макушки деревьев. Самолет разрегулирован.

Командир, вперив в меня тяжелый взгляд, спросил с расстановкой:

— А кто вам это сказал, что... самолет разрегулирован?

— Это я вам говорю.

Подполковник растерялся. Он вскинул голову, хотел что-то возразить, но передумал, видимо, его сбила с толку моя дерзкая решительность: никто в полку никогда ему не возражал, а тут...

Тяжелая рука потянулась к бобрику волос, пригладила, поправила ремень с громоздким маузером в деревянной кобуре, который он, никогда не участвуя в боевых полетах, неизвестно зачем носил.

— Хорошо, — после длинной паузы, сказал Гусаков и кивнул на выход. — Выйдемте отсюда.

И мы, сопровождаемые изумленными взглядами летного состава, вышли. Оба. Я впереди, он за мной, будто вел меня под конвоем. Мы отошли подальше и остановились. Было уже темно, но не настолько, чтобы не заметить, как любопытные высыпали из землянки.

Я был спокоен, совершенно спокоен: правда на моей стороне, и командир сам это доказал своим нелепым предложением поговорить наедине. Он был в невыгодном положении: в разговоре с глазу на глаз я мог, отбросив

уставные положения, высказать ему все, что думал. А думал я о нем нелестно.

Дело в том, что я вспомнил одну историю, слышанную мною в первые дни войны от летчика Бобнева, моего бывшего командира звена по Балашовской школе, приложившего немало усилий, чтобы выпустить в самостоятельный полет бездарного курсанта Гусакова.

Школу Гусаков окончил, но летчиком, в полном смысле этого слова, так и не стал. Он боялся полетов, как черт ладана, а боевых и того больше. И вот, на первом же своем боевом вылете, возвращаясь на Ил-4 с боевого задания, Гусаков так был потрясен обстановкой над целью, что забыл о Карпатах и врезался в пологую вершину горы. Но ему чудовищно повезло: самолет на полной скорости только скользнул по альпийской лужайке и, погнув винты, остался лежать на земле. Никто не пострадал. Все вылезли, кроме летчика.

— Командир! — крикнул штурман. — Командир!

Но командир молчал. Может, ушибся, потерял сознание? Кинулись к кабине, открыли фонарь. Гусаков был невредим, но явно не в себе: широко раскрытые глаза, крепко стиснутые челюсти. Он сидел, судорожно сжав могучими руками штурвал. Ни просьбы, ни уговоры, ни физические усилия не могли оторвать его от управления. Двое суток сидел человек: не пил, не ел, пока не потерял сознание.

И потом началось. Неудержимый панический страх перед боевыми полетами завладел всем его существом. Поскольку случай был редчайший, к нему относились с пониманием: что же — шок! Комиссии, перекомиссии, длительные отдыхи, лечения. А он — здоровый, высоченного роста мужчина, легко играющий двухпудовыми гирями, терпел любые унижения, лишь бы только его снова не вернули в полк, на боевые полеты...

Время стерло первое впечатление и мнение о нем. Сменились люди, знавшие его. А новые обратили внимание — не может найти применения высокий, богатырского сложения человек. «А сделаем из него командира полка!» — и сделали. И не ошиблись. Вновь сколоченный полк сразу же стал отличаться от других организованностью и боевыми достижениями. На месте оказался человек!..

И вот мы стоим друг перед другом в сумеречной темноте. Я понимал его. Он запутался в нагромождении причин и теперь хочет с достоинством выкарабкаться.

Его любимец вывел из строя самолет, и Карпову по закону военного времени грозил трибунал. Трибунал повлек бы за собой... Многое повлек бы за собой трибунал!

Сейчас, пытаясь подавить меня своим величием, подполковник раздумывал, с чего бы начать. Мое вызывающее поведение он расценивал по-своему («Значит, кто-то стоит за его спиной»). А кто стоял за моей спиной? Смешно подумать, никто! Но он не знал этого и боялся меня.

— Ну, — наконец сказал Гусаков, поправляя портупею. — Продолжим разговор.

— Продолжим.

Гусаков засопел, распаляя себя:

— Так кто же в полку командир, я или вы?

— В полку вы, в эскадрилье я.

— Вон как? — удивился Гусаков. — А если я вам прикажу!

— Прикажите, — холодно сказал я. — Это ваше право. По уставу я обязан выполнить любое приказание вышестоящего начальства, даже такое вот — преступное, а потом обжаловать его, что я и сделаю. Я тотчас же напишу рапорт командующему об отказе служить в вашем подчинении и объясню причины. Я от этого не потеряю ничего, для меня везде найдется боевой самолет.

Наступило тягостное молчание. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и скрипел амуницией. А я глядел на звезды, и в груди у меня было пусто.

— Гм, да, — наконец примирительным тоном сказал Гусаков. — Не будем ссориться. Нам вместе воевать. Пошли, скоро вылет.

Я надеваю парашют, собираясь забраться в кабину, и вдруг слышу, кто-то спросил:

— Где командир?

— Здесь я! Кому я нужен?

Подошел Алексеев. Он прерывисто дышал — видимо, бежал ко мне от дальней стоянки. В голосе явная обида:

— Товарищ командир, а вы меня обманули!

— В чем?

— А как же! Мне дали тысячу пятьсот, а себе взяли две.

Я от души смеюсь. Мне чертовски нравится этот парень, о котором я уже многое узнал из полковых записок.

— А-а-а, бывает, бывает. Ну ладно, Алексеев, так и быть, завтра повезете две!

И опять смеюсь, но уже про себя. Завтра я его тоже обману: ему дам две, а себе возьму две с половиной.

Мы вылетаем дружно — двенадцать самолетов, а «девятка» осталась на приколе.

И вернулись мы дружно, все двенадцать экипажей. Ожидая штурманов, заполнявших боевое донесение, летчики делились впечатлениями. Пуще всех шумели мои. Оказывается, с этой нагрузкой никто не почувствовал никакой разницы. Так же бежала машина, так же оторвалась. Летчики других эскадрилий ревниво прислушивались.

— А форсаж на взлете давали?

— Форса-аж?! Что ты! Нам комэск запретил. Говорит: «Жалейте моторы, они вам пригодятся!»

Я смеюсь про себя: тут все дело в самовнушении. Конечно, когда смотришь на самолет, под брюхом которого висят полутонные чушки, так оторопь берет. Уж очень они большими кажутся против соток. Привыкнуть надо, и все тут. А самолету все равно, что поднимать — бензин или бомбы.

А в столовой сюрприз, во всю стену плакат: «Пламенный привет тяжеловесной эскадрилье!».

— Ого! Вот это да-а-а. Почет!

Конечно, законные сто граммов, оживленные разговоры. Мои ребята чувствуют себя именинниками. Направо и налево дают советы. Они уже асы, тяжеловесы.

Легли спать в приподнятом настроении, а проснувшись, узнали: не вернулся Красавцев...

— Как не вернулся?! Ведь он же не летал?..

— Вот то-то и оно, что летал! Позже только, когда полк ушел. Командир вызвал...

У меня оборвалось в груди. Все-таки сделал по-своему... Списал самолет! Война... Теперь с него «взятки гладки»...

Из летописи полка: запись четвертая

Джек Лондон—хороший парень!

Алексеев шагал вдоль железной дороги. Тихо, пустынно. Хрустко шуршала под ногами полынь. Солнце поднялось высоко. Жарко. Снял телогрейку, понес в руках. В заплечном мешке хлеб, сало, десятка два вареных яиц, несколько головок чеснока, солдатская фляга с водой, —

снабдила мать Овагимяна. Жить можно, только бы через Сиваш перебраться. Корюн предупредил: самый трудный участок — между станциями Мамут и Соленое озеро — полицаев полно. Задерживают всех, кого ни встретят. Волокут в комендатуру, а там немецкий офицер проверяет документы.

Перед тем, как отправиться в путь, встал вопрос: как идти — прямо по дороге или в обход, по степи?

Корюн сказал: «Только прямо!» Алексеев усомнился: «Лучше, наверное, в обход, по степи — подписи-то на документе фальшивые». — «Нельзя в обход! — предупредил Корюн. — Заподозрят сразу, тогда и документы не помогут».

И вот он идет, и не прямо, и не в обход. Узкая тропинка, полынь, колючка. Слева голая степь, справа насыпь железной дороги. За насыпью шоссе, и оттуда то и дело слышится шум проезжающих автомобилей и треск мотоциклов. А здесь никого!

Станцию Мамут все же обошел стороной, и уже к вечеру, отмахав больше двадцати километров, вышел к лиману. В лицо пахнуло влажной прохладой. Голые пустынные берега. Ни камышинки! В ясном небе, расправив крылья, ходили кругами аисты. Глядя на них, Алексеев вздохнул: «Вот бы мне сейчас крылья!»

В сторонке в кустах лежал человек. Алексеев не испугался и не удивился: неизвестный был одет в гражданское. Серые бумажные штаны в полоску, старый пиджак с оборванным карманом. На ногах солдатские ботинки. Положив под голову тощий заплечный мешок, незнакомец спал или, может, притворялся?

Анатолий подошел, посмотрел. Круглолицый, плотный. На вид лет двадцать пять. Светлые волосы спутаны, щеки небритые. Сразу видно — бродяга. Ткнул его ногой по румынскому ботинку:

— Эй!

Спит и ухом не ведет. Еще раз толкнул, посильнее:

— Эй!

Человек поднял голову, сказал сердито:

— Чего пинаешься?

— А ты чего лежишь?

Человек настороженно посмотрел из-под опущенных век.

— А тебе какое дело?

— Да так, — беспечно сказал Алексеев. — Ты куда идешь-то, может, попутчиком будешь?

Незнакомец поднялся, пятерней расчесал волосы, осторожно спросил:

— А ты куда?

— В Новоалексеевку.

— Но-о-о! И мне как раз туда же! У тебя что — родные там? И у меня тоже. Вот здорово!

И вот они идут уже вдвоем. Уже лучше, веселей, не чувствуется одиночество. У Андрея Сергеенко точно такой же эвакуационный документ до Новоалексеевки. У него там бабушка. Он идет рядом вперевалку и все твердит одно и то же:

— Самое главное — Сиваш переехать, а там, считай, что дома.

Ох, выдает себя с головой Сергеенко Андрей! Что-то уж очень ретиво он рвется на восток! Но Алексеев молчит. Про себя он сказал, что работал в Анапе в совхозе, а в Новоалексеевке его тетя живет, и все.

В сумерках, когда впереди уже показались домишки станции Соленое озеро, на них наскочил патруль из полицаев. Пять человек с винтовками.

— Стой! Кто такие? Откуда идете? Куда?

— Да мы гражданские, цивильные... — начал было Алексеев.

Старший из них, с круглой лысой головой, с широко расставленными глазами, с нескрываемой ненавистью уставился на задержанных:

— Молчать! Руки за спину! Идите вперед!

Пошли. По каким-то задворкам, по узкой улочке. Из темноты навстречу внезапно появилась фигура. Яркий луч фонарика резанул по глазам.

Гололобый, выйдя вперед, что-то сказал по-немецки, потом, обернувшись, коротко бросил:

— Документы!

Алексеев и Андрей достали свои бумажки. Офицер, осветив листки фонариком, тут же вернул их:

— Гут! — и что-то спросил.

Гололобый перевел:

— Почему нарушаете комендантский час?

— Не успели, господин офицер, — ответил Алексеев. — Собрались переночевать, да вот...

Гололобый, сопя от злости, перевел.

— Гут! — повторил офицер и что-то добавил.

— Можете идти, — разочарованно сказал гололобый.

Офицер ушел, освещая себе путь фонариком, куда-то исчезли и полицаи.

Алексеев вытер холодный пот со лба:

— Уф-ф-ф! Пронесло...

— А эти г-гады! — с сердцем проворчал Сергеенко. — Лизоблюды фашистские! — И умолк, словно сказал что-то лишнее.

Некоторое время стояли в растерянности: куда идти? Но где-то неподалеку вдруг зашипело, лязгнули буфера и продудела дудка сцепщика.

Побежали на звук. Кривая улочка вывела прямо к станции. Шипел паровоз, роняя из колосников на путь раскаленную угольную крошку. Темнота гудела выкриками, металлическим лязгом оружия, звоном солдатских котелков. Длинный товарный состав растворялся в ночи, но все равно были видны площадки с пушками и танками и разверстые пасти вагонов, светящихся огоньками сигарет. Эшелон отправлялся на восток.

У ближайшего к паровозу вагона друзья разглядели две грузовые автомашины, и какой-то солдат метался от машин к вагону, выкрикивая ругань.

Алексеев дернул за рукав товарища:

— Чего это он? Подойдем поближе.

Подошли. Немец, пробегая мимо, вдруг остановился, подлетел, уставился в упор и радостно вскрикнул:

— О-о-о! Руссиш?! — Замотал головой, замахал руками. — Шнель! Шнель! Скоро! Трахен хельфен! Носить, помогай картофельн!..

Алексеев обрадовался не меньше немца:

— Ч-черт возьми, куда же лучше! — сказал он. — Андрей! Поможем рейху?

— Райх! Райх! — подхватил немец. — Райх гут! — и тут же принялся подгонять:—Шнель! Шнель! Траген!

Мешки были тяжелые, и, пока перебросали их в вагон, выбились из сил. А немец торопил, торопил.

Наконец все — последний мешок! В ту же минуту засвистел паровоз и, громко пыхтя, начал трогать. Немец подскочил к двери, принялся задвигать. Алексеев, стоявший тут же, похлопал немца по плечу.

— Эй! Эй! Камарад, так нельзя! Мы, — он стукнул себя в грудь кулаком,—ехать надо. Райзен. Понимаешь?

Немец оттолкнул Алексеева:

— Нихт разен, ферботен!

Паровоз: вах-вах-вах-вах! — пытался тронуть с места состав. Колеса, буксуя, высекали искры, а немец ни-

как не мог закрыть дверь. Это Алексеев незаметно подложил под ролик картофелину.

Наконец поезд тронулся. Немец заметался, закричал и, махнув рукой, бросился бежать к хвосту состава.

— Гутен абент! — озоруя, крикнул ему вдогонку Алексеев и, на ходу отодвинув дверь, влез в вагон, подал Андрею руку.

Друзей охватила радость. Ощущения, которые испытывали сейчас Анатолий и Андрей, не поддавались никаким измерениям. Оба были счастливы безгранично. Они хорошо понимали, что значит выбраться из Крыма через Сиваш, тщательно охраняемый немцами. Случай, подвернувшийся им, был просто исключительным!

Поезд шел медленно, и это настораживало. Улетучивалось счастье.

— Наверное, перед мостом, — сказал Сергеенко. — Надо задвинуть дверь.

Задвинули, и в густой темноте вагона вдруг почувствовали себя неуверенно.

— Как в мышеловке, — сказал Сергеенко.

— Да, — подтвердил Алексеев. — Если они накинут засов, мы попались. А там, куда нас привезут, церемониться не будут.

Помолчали, сидя на мешках. Что же делать?

— Стоп! Я вспомнил, — сказал Алексеев. — Рискованно, но надо. Откинем запор с той стороны!

— На ходу? — удивился Сергеенко.

— А что же, ход-то тихий.

— Ладно, — согласился Андрей. — Давай я пойду.

— Как хочешь.

Отодвинули дверь. С темного неба замигали звезды. Пахнуло ночной прохладой и сыростью. Сиваш был близко.

Оглядевшись по сторонам, Андрей спрыгнул на хрусткий гравий, и почти тотчас же поезд, сбавив ход, затормозил и остановился. Вдали послышались голоса, хруст гравия под множеством ног. У Алексеева екнуло сердце: «Патруль!» Торопливо задвинул дверь, сердце резануло визгом роликов. В то же время настороженным ухом он слышал шаги Андрея и словно бы видел его: вот он поднырнул под вагон и шарит рукой по задвижке. Что-то долго уж очень!..

Кинулся к левой стороне, приложился ухом к двери, спросил тихо:

— Андрей! Андрей! Что там у тебя?

— С-сволочи! — прошипел Андрей. — Закрутили проволокой. Сейчас откручу...

А шаги патруля все ближе и ближе. Наконец с тихим скрипом откинулся запор снаружи, и совместными усилиями дверь была отодвинута.

Анатолий втащил Андрея.

— Закрывай скорее!

Задвинули и замерли, стараясь не дышать. Немцы, перекликаясь, остановились у вагона. Чей-то строгий голос выговаривал кому-то, тот огрызался.

— Картофельн! Картофельн! — твердил он, и Алексеев по голосу узнал немца, грузившего картофель.

Внезапно правая дверь отодвинулась. Алексеев надавил на плечо Андрею:

— Ложись! — И оба упали на пол, прячась за мешки.

Метнулся луч фонарика, пошарил по углам и погас. дверь с грохотом задвинулась, звякнул запор. Шаги удалились.

Рано было еще ликовать, но все же они вполне заслужили эту радость.

— Молодец ты, Анатолий! — шепнул Сергеенко. — Если бы не твоя хитрость...

— Ладно, — ответил Алексеев. — Я тут ни при чем. Скажи спасибо Джеку Лондону.

— Джеку Лондону? Американский писатель? Не читал. Но что он хороший парень — это точно!

И в полку появилась „нулевка"

Стоял июль месяц, была летная страда. Мы летали почти без отдыха, ощущая отчетливо, как гнется враг, уходя от нас все дальше и дальше на запад. И карты наши были сплошь разрисованы волнистыми линиями, обозначавшими обстановку на фронтах. И линии эти тоже двигались на запад. Враг, отходя, концентрируя технику, укреплял, бетонировал рубежи. И именно сейчас, как никогда, нужны были тяжелые бомбы. И мы их возили. Бомбовая загрузка полка увеличилась чуть ли не вдвое, но все равно больше нашей эскадрильи никто не поднимал. Наш рекорд с Алексеевым — две с половиной тонны — оставался непревзойденным. И что нас радовало, бомбы наши рвались теперь на территории врага. В боевом донесении не было горестных записей: «Витебск — ж.-д. станция» или «Брянск — вокзал то-

варный», а стояли заграничные названия, но еще пока не немецкие: «Янув», «Турбя», «Будапешт».

Мне прислали заместителя. Капитан Васькин Николай Ксенофонтович. Выше среднего роста, круглолицый, нос пипочкой. Скошенный лоб с жидкими белесыми волосами. Ходил важно, неторопливой походкой, выставив круглый живот. Был молчалив и тих. Никуда не спешил, никуда не рвался. Летал ровно, без огонька, и бомбовыми загрузками не увлекался; тысяча триста килограммов была его норма.

Теперь у меня в эскадрилье тринадцать самолетов, тринадцать полных экипажей. Нужно было навести порядок в нумерации машин, а я все тянул, пока не получил от командира замечание.

Подготовил список, пригласил инженера:

— Наведите порядок.

— Будет сделано, товарищ командир!

Действительно: на следующий день любо-дорого посмотреть! У всех бомбардировщиков свежие голубые полосы в верхней части руля поворота и красиво оформленные номера.

— Вот это другое дело! — говорю инженеру.

Подходим к моему самолету. Полоса есть, а номера нет.

Оборачиваюсь к инженеру:

— Что, не успели?

Инженер опускает глаза, щеки его покрываются румянцем.

— Не успели, товарищ командир.

— Ну что ж, мел у вас есть?

Мел у инженера был. Беру кусочек из протянутой ладони, подхожу к рулю поворота и единым росчерком рисую на нем... хвостатого кота задом наперед. Захожу с другой стороны, рисую второго. Сую мел в руку смущенно улыбающемуся инженеру:

— Вот! Нет номера — будет кот!

Взлетаем на боевой с котом на хвосте. Возвращаясь, слышу сквозь шум и треск в наушниках команды дежурного по полетам:

— Сел тридцать третий!.. Сел двадцать восьмой! Сел двенадцатый!..

Сажусь и я. Слышу.

— Сел... кот! Кот, говорю!

Мне смешно: «кот». А может, в самом деле, нарисо-

вать кота?! Красками. Выгнул спину, шипит. Глаза сделать огненные.

На следующую ночь опять летим на боевое задание. Возвращаемся, входим в круг. Ревниво вслушиваюсь в монотонное перечисление номеров садящихся бомбардировщиков. «Двадцать первая села!», «Восьмерка!», «Тридцатка!»

Садимся точно, возле самого «Т».

— Сел кот! — объявляет дежурный.

Перед вылетом, уверенный в том, что номер наконец написан, я не посмотрел на хвост и сейчас удивлен до крайности. «Подумать только — кот! Пора бы уж и номер написать!»

Подруливаю на стоянку, выключаю моторы.

— Инженера ко мне!

Торопливо расстегиваю привязные ремни, скидываю лямки парашюта, вылезаю на крыло.

— Где инженер?!

Из темноты появляются двое.

— Я здесь, товарищ командир!

Скатываюсь с крыла на землю:

— Товарищ инженер, что случилось? Почему нет номера на самолете командира эскадрильи?!

Инженер мнется.

— Некому писать, товарищ командир.

— Ничего не понимаю! Всем есть, а мне — некому?! Что вы тут городите?! А Замковой?

— Отказывается, товарищ командир. Вот, я его привел. — И в темноту: — Ну иди, объясняйся сам!

До меня не доходит смысл сказанного. Замковой — это техник эскадрильи по приборам. Он старше меня по возрасту. Мастер — золотые руки. Художник. Аккордеонист. Воспитанный, культурный, исполнительный, и вдруг — отказывается!

Подходит Замковой, приземистый, крепкий, вытягивается по стойке «смирно».

— Замковой, это правда?

— Так точно, товарищ командир!

— Отказываетесь писать номер на моей машине?

— Отказываюсь, товарищ командир. Категорически!

— Почему?

Молчит. Переступает с ноги на ногу и потом тихо, словно боится, что его подслушают:

— Вам какую цифру написать, товарищ командир?

— Что за вопрос? Тринадцать, разумеется!

— Вот поэтому и не могу! И не заставляйте... Не хочу брать грех на свою душу. Два раза писал — хватит! Война еще не кончилась.

Я растерялся: что сказать человеку?! Посмеяться над глупыми предрассудками, прочитать ему мораль? А имею ли я право? Ведь он старше меня! И, кроме того, Замковой носит душевную травму. Действительно, дважды писал цифру тринадцать своим командирам, и они не вернулись...

Мог ли я его заставлять? Нет. И я все обернул в шутку:

— Ладно, Замковой, не можете писать цифру 13, напишите тогда круглую цифру — нуль!

И в полку появилась «нулевка».

Из летописи полка: запись пятая

Рубеж испытаний

Колеса простучали последний пролет. Все—мост позади! Разом свалилась тяжесть с души. Потянуло спать. Мешки с картошкой казались мягче перины. Вздремнуть бы, да нельзя. До Новоалексеевки километров тридцать пять — час езды. Надо вовремя сойти с поезда, иначе на вокзале можно снова попасть в лапы к полицаям.

Спрыгнули, когда впереди показался зеленый огонек семафора. Полежали в кустах, пропуская поезд. Поднялись. Неуютно. Сыро и холодно: осень давала себя знать.

Андрей сказал, глядя на звезды:

— Ну, Анатолий, веди к своей тете.

Алексеев почесал в затылке:

— Нет, Андрей, тут знаешь, такое дело: тетка-то моя в Мелитополь переехала. Вот ведь как! Лучше пошли к твоей бабушке, а?

Сергеенко хмыкнул:

— К бабушке? Какое совпадение! Понимаешь, она тоже переехала, только подальше немного. В... Нальчик!

— А-а-а, — разочарованно протянул Алексеев. — Ну тогда, если признаться, то и моя тетка... под Москвой живет.

Оба рассмеялись.

— Хороши мы гуси! — сказал Сергеенко и вздохнул. — По правде сказать, паря, был я в плену, да сбежал, и вот пробираюсь к своим через линию фронта. —

И опять вздохнул. — Знаю — там мне туго будет: коммунист, командир взвода и в плен попал. Но... не могу не идти, ноги сами тащат. Ладно. Но переспать-то надо. Пошли за мной! Тут, когда нас немцы колошматили, стояли мы у одной старушки.

Спустились с насыпи и зашагали по мокрой от росы тропинке к огоньку семафора, мерцающего красным глазком. Показались хатенки под соломенными крышами, сараи, каменные кладки заборов. Где-то тявкнула собака, ей отозвалась другая, и вот уже гомонит вся улица.

Андрей, шедший впереди, остановился возле калитки. Внезапно через забор с громким лаем перемахнула кудлатая тень и кинулась к Сергеенко. Здоровенный пес, взвизгнув, подпрыгнул, ткнулся носом в лицо Андрея, опять подпрыгнул, виляя хвостом, и, поднявшись на дыбы, положил ему лапы на плечи. И вот уже Андрей обнимает за шею кудлатого друга:

— Полкан! Полканушка! Узнал, родимый!..

Улица стихла. Андрей осторожно открыл калитку. Дом хмуро смотрел темными проемами окон. Постучать или просто пройти в коровник да там и переспать?

Андрей тронул щеколду. Заперто. Прислушался. За дверью кто-то копошился, отнимая запоры. Беззвучно открылась дверь, в темном проеме забелел накинутый на голову платок.

— Ктой-то? — тоненько прошептал дрожащий старушечий голосок.

— Марья Тарасовна, бабуся, это я — Сергеенко! — прошептал Андрей. — Пусти переночевать.

— Сынок, Андрюшенька, ты жив? Господь с тобой,— немцы у нас!

Сергеенко чертыхнулся. Старушка вышла во двор, перекрестившись, обняла Андрея.

— А это кто с тобой? Товарищ? Куда же мне деть-то вас?

— Ладно, Тарасовна, не печалься, — прошептал Сергеенко. — Мы сами устроимся. В коровник пойдем. Иди, закрывайся, чтобы не вышел кто.

В сарае было тепло. Корова мыкнула на скрип двери, но не поднялась, лишь звонче зажевала жвачку.

Подстелили сена, легли. Хорошая Буренка, добрая. Другая бы встала, а эта лежит себе хрумкает: хрум-хрум! хрум-хрум! — и звучно глотает жвачку.

Алексеев снял телогрейку и, приткнувшись спиной к

теплому коровьему боку, прикрылся стеганкой. Стало уютно, но почему-то заныли кисти рук. Ах, да! — это от мешков с картошкой, ободрал на сгибах пальцы. Хорошо бы промыть да смазать чем-то, хотя бы маслом от автомашины. Отработанное масло — это первое средство! Лучше всякого йода. Любая рана и заживает быстро, и не воспаляется. Это факт, уже проверено. Да где его взять, масла-то?

Однако на душе что-то неспокойно. Мысли подспудно крутились вокруг одного: как перейти линию фронта, и где она на самом деле, эта линия? Новоалексеевка останется позади, и любой полицай догадается, что тут дело не так. Страшно. И страшно было еще от того, что он представлял себе линию фронта как сплошную цепь окопов: стоят пушки и минометы, и пулеметные гнезда, и немцев полным-полно. Как пройти такой заслон?

Их разбудил петушиный крик. Какой-то недоросль, ретивый и горластый, соревнуясь с другим, отвечавшим ему откуда-то издалека, неумело выводил свое «ку-а-реку!». И может, оттого, что ему не удавалась эта музыкальная фраза, он орал без передышки.

— Чтоб ты лопнул, зараза! — проворчал Сергеенко. — Доорешься, дурак, до кастрюльки.

И петушок, будто до него дошел смысл сказанного, умолк что называется на полуслове.

Анатолий рассмеялся:

— Вумный! Все понимает. Однако, слышь, Андрей, наверное, пора?

Поднялись. Тело побаливало: сказалась вчерашняя картошка. Сгоряча-то не почувствовали, перекидали целую машину.

Буренка, шумно вздохнув, принялась подниматься. Поднялась, расставила задние ноги.

— Ну, ты! — зашипел на нее Сергеенко, хватая с подстилки пиджак. — Приспичило!..

Вышли во двор. Прохладно и еще темно. Сквозь белесый туман слабо просвечивалась розоватая полоска на востоке, и на ней, словно вырезанные из картона, вырисовывались крыши хат, печные трубы, поредевшие макушки тополей.

Появился пес. Подбежал к Андрею, тиранулся боком о его коленку и направился к забору делать свои собачьи метки.

Сергеенко вскинул на спину заплечный мешок.

— Пошли, Анатолий. Проберемся задами. Тут мне местность знакомая.

Утро застало в степи. Полынь, колючка. Тихо, безлюдно. Оставив справа шоссе и железную дорогу, идущую на Мелитополь, пошли напрямик, держа курс на восток. Сначала решили, что населенные пункты будут обходить, но взошло солнце, стало жарко, и захотелось пить.

В первую же попавшуюся на пути деревушку вошли не таясь, хотя и сжавшись от опасения снова встретиться с полицаями. Но деревня была пуста. Ни одного человека! Только кое-где копошились в навозе куры да перебегали улицу одичавшие кошки. Населенный пункт без людей — зрелище жуткое.

Напившись у первого колодца и набрав флягу воды, друзья отправились дальше уже по дороге.

И второе село было пустое, и третье. Где теперь эти люди, согнанные с родных обжитых мест? Какие лишения, какие душевные муки переживают они сейчас на далекой чужбине, находясь на положении рабов?

Лишь на третий день к вечеру, остановившись ночевать у стога сена, друзья услышали отдаленный артиллерийский гром. Линия фронта! Вот он — долгожданный рубеж испытаний!

И Анатолий и Сергеенко переживали предстоящий переход по-разному. Если первого, при удаче, ожидали друзья родного боевого полка, то второго — лагеря мучительной проверки. Анатолий сбит над целью и не был пленен, и это ощущение давало ему моральное преимущество перед Андреем. Алексеев думал просто: если уж, защищая Родину, бьешься с врагом, так бейся до конца, до последнего патрона, имей самолюбие и живым не сдавайся. Ведь было же заведено у них в полку (между прочим, втайне от начальства) — закладывать в ствол пистолета девятый патрон «для себя»!

И отдыхали они перед этим предстоящим переходом по-разному. Анатолий уснул сразу, а Сергеенко ворочался, шуршал соломой и глядел в звездное небо. Старики говорят: «Пути господни неисповедимы». Так было и у него. Сумев убежать из лагеря военнопленных, попал он в село Никулино и пристроился переночевать у солдатки Марьи Афанасьевны, шустрой крепкой бабенки, стосковавшейся по мужику, да так и остался, и прижился. Она выдавала его за брата, и с нее никто не спрашивал, благо те, от кого это зависело, находились с ней в родстве.

Дом у Афанасьевны добротный, с большим приусадебным участком, с коровой, с курами и с фруктовым садом. И дел у Андрея было много: и вскопать, и посадить, и урожай собрать. Что муж вернется, Марья не надеялась, и хоть была она на пять лет старше Сергеенко, но находилась в форме и по своей бабьей логике мечтала о семейной жизни. Андрей был и в работе и в любви неистов, чего же еще надо для бабьего счастья?

Но Сергеенко стосковался по душевной чистоте. Глодала совесть и чувство вины перед Родиной. Полыхала в огне советская земля, а он тут, здоровенный бугай, прохлаждается с бабой на пуховиках... И подпоив не единожды деверя-полицая, влюбленного в Марью, а вернее, в ее дом и приусадебный участок, заручился Андрей документом и бежал от призрачного счастья, бросив и сытое жилье, и горячую бабу, которую любил.

Жалел ли он сейчас об этом? Нет, не жалел. Сила, увлекшая его на этот шаг, была сильней любви, сильней благополучия. И душа его разрывалась, а все равно иначе он не мог поступить. Будь что будет!

Посерело небо, и Андрей, так и не сомкнувший глаз, разбудил Анатолия.

Последний переход был самым трудным, и здесь помогла сноровка Андрея-пехотинца. Он знал систему расположения воинских частей по глубине фронта и безошибочно находил места их флангового стыка. А поскольку на эти места приходились овраги и речки, и непроходимые болота, то нашим друзьям и пришлось хватить лиха, ползая на животе по оврагам и болотным кочкам.

Ночь накрыла их в какой-то болотистой речке, мокрых до нитки и продрогших до костей. Над головой то и дело повисали белые ракеты, а вокруг, срезая кусты, вжикали шальные пули, пущенные наугад из пулемета, и смачно чмокались мины. Взрываясь, они поднимали фонтаны грязи и создавали такую маскировку, что можно было подняться во весь рост и, насколько позволяла топь, сделать перебежку туда, откуда хлестко била по «ничейной» полосе пулеметная очередь и где, по расчетам Андрея, были наши.

Линия фронта бывает только на карте, и только там понятно, где наши, а где не наши. Да еще знают об этом солдаты той и другой стороны, а постороннему здесь не разобраться.

Видимо, чем-то выдав себя и попав в переделку, друзья залегли в болоте. А конец октября заявлял о се-

бе. Холодная липкая жижа, отбирая тепло, властно завладела телом. Андрею не привыкать, он пехотинец и бывал в такой обстановке не раз, но Анатолий задыхался. Грудь словно тисками сдавило, и судорогой скрючивало ноги. Мутилось сознание, хотелось встать во весь рост и — пропади все пропадом! — пойти на вспышки жаркого огня.

Андрей положил Алексееву руку на плечо:

— Держись, парень, сейчас угомонятся.

И точно: как по команде, выстрелы затихли. Шипя, взвилась над головой последняя ракета, мертвенный свет ее, мерцая, вырвал из мрака полуголые кусты, глинистый берег речки, опушку леса и померк. Стало темно и тихо.

— Пошли! — прошептал Алексеев, остро нуждаясь в движении.

— Лежи! — приказал Андрей. — Сейчас они прислушиваются. Чуть шевельнешься, тут нам и конец. Понял? Лежи и слушай. Нужно разобраться, кто где. Они ж заговорят.

— Кто? — вяло спросил Анатолий.

— И наши, и не наши.

Внезапно где-то справа что-то брякнуло, и кто-то, выругавшись, сказал равнодушным баском:

— Опять ты, такой-пересякой, коробку под ноги бросил!

Слаще любой музыки прозвучала сейчас эта чисто русская речь!

Алексеев рванулся:

— Наши!

— Тихо ты! — прошипел Сергеенко. — Всю обедню испортишь. Не спеши, разобраться надо.

— Слышь, Серега! — снова с той же стороны прозвучал уже другой, молодой голос. — А Катька-то твоя чего пишет? Любит она тебя?

К горлу Алексеева подкатился комок. Так нереально-контрастно звучали эти слова здесь, в логове смерти! И в то же время так они были близки и понятны! Хотелось крикнуть: «Братцы, родные!»

— Пошли! — прошептал Сергеенко и ловко, словно ящерица, пополз по болотной жиже.

А у Анатолия не было сил. Ноги будто не свои. Будто их нет. Только руки еще двигались. Сергеенко уполз, растворился в темноте, лишь слышно было, как хлюпает вода. Страх остаться одному охватил Анатолия. Откуда

и силы взялись: опираясь локтями в податливый грунт, вырвал тело из грязи и пополз. Получилось неплохо. Он даже догнал Андрея, но вот беда — разговаривать нельзя, и по движению товарища он понял, что тот потерял направление.

Подполз ближе, лицом к лицу, прошептал в самое ухо:

— Ну?

— Не знаю, куда ползти, — клацая зубами, ответил Сергеенко. — Замолчали, ироды. Придется ждать.

Ничего не ответил Анатолий, только подумал: лежат они сейчас на открытом месте, и если кому вздумается бросить ракету...

И вдруг, словно обухом по голове, кто-то произнес совсем рядом длинную фразу на чужом гортанном языке. Потом раздался звук, будто ложкой выскребывают котелок, и чавканье. И кто-то ответил, тоже на чужом языке, грубым простуженным голосом.

Сергеенко сжал пальцами Анатолию плечо:

— Румыны!..

И тихо-тихо стал отползать в сторону. Алексеев за ним. Ему было уже все равно. Он больше не ощущал холода, только боль в мышцах рук, тупая, гнетущая боль, отдающая в позвоночник, в затылок, в мозг... До слуха дошло, словно откуда-то издалека:

— Ефремов, диски набил?

— Набил, товарищ гвардии старшина!

— Сколько?

Ответа он не услышал. Что-то внезапно навалилось на него, придавило, ткнуло лицом в болотную жижу...

Васькины четверги

Радуя душу и глаз, линия фронта на нашей карте уже перешагнула через границу Союза ССР. Уже красная линия клином подошла к Варшаве и, опускаясь вниз по Висле, захватила важные опорные узлы противника: Сандом, Жешув, Добромиль. И Станислав уже у нас, и Коломыя!

Гитлеру уже капут, это ясно. При такой обстановке только маньяк может на что-то надеяться. А на что? На чудо? Чуда не будет! Это явление редкое, и оно, по крайней мере, уже произошло. Наши военные заводы были на колесах: на пути в Сибирь и на Урал. Бери Россию голыми руками!

Не далась Россия Гитлеру! И это в те труднейшие годы, когда против бронированного танкового вала русский солдат шел в атаку один на один с зажигательной бутылкой в руках... И вал был остановлен. Вот это было чудо!

Конца войны еще, конечно, не видать, но все же... И мы нет-нет и помечтаем — какое счастье будет, когда наступит мир! И всякий раз, прослушав сводку Совинформбюро о фронтовых делах, мы кидались к карте, расстилали ее, всю разрисованную стрелками, кружочками, изломанными линиями, и чертили новые. И радовались, и мечтали. Враг отступал. Но война есть война. С одной стороны, ты радуешься, а с другой... иногда екнет сердце: «Вот будет обидно, если убьют на самом финише!»

Я себя одергивал: «Не расслабляться! Не расслабляться!» Ох, как это плохо — отвлекаться на финише! Задумываться, оберегаться, начинать принимать какие-то меры. Если ты очень хочешь жить — желай! Но желай активно. И не отвлекайся! Все силы на разгром врага — вот твоя единственная цель.

А с моим заместителем было что-то неладно. Из пяти боевых — три возврата. По вине материальной части: то моторы затрясут, то упадет давление масла. Техники ищут, копаются, гоняют моторы на всех режимах. А я подписываю сводку о возврате: «Из-за неисправности моторов». Тяжело подписывать. Стыдно. Лучшая эскадрилья в дивизии!

И я — в каком положении: с одной стороны, должен верить на слово летчику, а с другой, не могу не верить техникам, уверявшим в том, что моторы исправны. И уже в душе начинает копошиться червь сомнения. А как проверить? Как?..

Ломаю голову. Гадаю, словно ворожея на кофейной гуще. Передо мной листки бумаги и в разных вариантах записи: когда, в какой час, по какой цели? Ведь должна же быть какая-то закономерность?!

Пока гадал, еще три боевых и один возврат, опять у Васькина!

Пишу: «Четверг, такого-то числа...» Стоп! Четверг! А не тут ли загвоздка? Четверг... четверг... Ах, у меня нет календаря! Календарь в военное время — о-о-о! Звоню в штаб полка.

— Будьте добры... Ничего здесь странного!

Через десять минут получаю данные. Все возвраты Васькина совпадали с... четвергами!..

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Четверг. А что такое четверг?

Я стою на квартире у глухой старушки Агафьи Тимофеевны, опрятной и богомольной. С великим трудом объясняю ей, что мне надо.

— Шетверг? — шепелявит Агафья Тимофеевна. — А это ш нешастливый день для Николая, Никифора, Ксенофонта...—и пошла и пошла перечислять имена святых угодников.

«Нешастливый», значит? Та-ак. Я уже знаю, что мне делать, и страшно нервничаю: ведь могло быть и совпадение! И я молчу. Никому ничего не говорю. Никому!

Как на зло — понедельник, вторник и среда — нелетная погода. А четверг удался с утра! Цель — узловая станция Кельце, на территории Польши. Рядом большой аэродром, забитый самолетами. Осиное гнездо! Бить там будут дай-то боже — и сверху и снизу...

Полк выруливает, а я, против обыкновения, — сижу. У меня «не ладится» с правым мотором. Я кричу и гоняю техников. Прибежал инженер. Небывалый случай! Лучший техник, и так опозорился!..

Сижу в кабине, наблюдаю за Васькиным. Он справа от меня, на «двенадцатой». Тоже не торопится. Что-то копается, долго гоняет моторы. Наконец, выруливает. Командую к запуску и, к удивлению техников, тут же выруливаю вслед за Васькиным. Пропускаю его вперед, даю ему взлететь, а сам... заруливаю обратно.

Все всполошились. Небывалое явление! Запрос по радио:

— Что случилось?

— Ничего особенного! Небольшая неисправность. Через полчаса вылетим.

Полк улетел, только я один остался. И душа у меня разрывается: а вдруг?..

Инженеру все-таки пришлось сказать. Тот понимающе кивнул и благодарно улыбнулся.

Бежит связной из КП. Там интересуются, когда вылетим.

— Минут через двадцать, — отвечает инженер.

Сидим, ждем, прислушиваемся. Тихо. В звездном небе появился тоненький серпик луны. Народился! Показать бы ему денежку, да деньги нам сейчас ни к чему. Нас кормят, поят, обувают, одевают. В театры мы не ходим, в рестораны тоже. Все это где-то далеко-далеко,

в каком-то призрачном прошлом, а для кого-нибудь и в будущем...

— Чу! — восклицает инженер. — Слышите? Идет!

Прислушиваюсь. Да, точно — идет Ил-4. И в груди у меня словно пружина закручивается.

— Хорошо, встречайте его. Моторы не выключать. Васькина ко мне!

Я уже не сомневаюсь, что это Васькин. Сильно бьется сердце. Что я ему скажу? И как? А не сорвусь ли? Ведь надо же все-таки сделать так, чтобы никто не догадался. Конечно, этого не скроешь, но чтобы не было официальных отправлений. Гусаков ведь тоже —не лыком шит!..

Самолет ближе. Вот он уже на кругу, и явно слышно — барахлит мотор. Но я не смущаюсь. Старые штучки! Если выключить одно магнето — мотор будет давать перебои. Включил АНО. Идет на снижение. Красивая серебристая птица в лучах посадочного прожектора!

Сел. Рулит. Я вылезаю из кабины. Краснюков, Алпетян, Морунов остаются на своих местах. Им не надо объяснять, что к чему, они — в курсе. А сердце мое бьется, бьется. Самолет заруливает на стоянку. На крыло метнулась фигура. Это инженер. Васькин, сняв парашют, неторопливо слезает. Моторы чавкают на малом газу.

Васькин подходит ко мне, прикладывает руку к шлемофону:

— Товарищ командир, возвратился из-за неисправности правого мотора, упало давление масла.

— Хорошо, — совершенно спокойно отвечаю я. — Переходите на мою машину, она в полной исправности. Полетите с моим экипажем. А я — с вашим. Вы меня поняли?

Вот, оказывается, и все! И никаких тебе криков, и распеканий, и красивых слов насчет патриотизма.

Залезаю в кабину «двенадцатой» и демонстративно, не опробовав моторов, выруливаю к старту.

Меня всего трясет. Конечно, я должен был бы разрядиться, поорать, пошуметь... Ладно, разряжусь над целью...

В этот четверг возврата в нашей эскадрилье не было.

Из летописи полка: запись шестая

Триста шагов до смерти

Все остальное было как сон. Кошмарный, мучительный сон. Шесть румынских солдат, грязных, продрогших и чем-то обозленных, остервенело ругаясь и толкая в спину прикладами винтовок, привели Алексеева и Сергеенко в штаб румынской разведки.

Высокий смуглый майор с орлиным профилем и густыми черными бровями, брезгливо поморщившись, спросил на чистом русском языке:

— Номер полка? Номер дивизии?

Как ни трагично было положение, Алексеев, еле стоявший на израненных босых ногах (румыны сняли ботинки), иронически хмыкнул:

— Какой полк? Какая дивизия, господин офицер? Гражданские мы, цивильные.

Тот и сам понял, что произошла ошибка и что его разведчики, даром потратив время в поисках языка, привели не то что нужно. Получился конфуз, и за это ему предстояло объяснение перед офицером немецкой разведки, которому он подчинен. Черт дернул его поспешить с сообщением о поимке двух языков, и теперь нужно было выкручиваться.

Зло посмотрев на солдат и прорычав что-то по-румынски, офицер подошел к Алексееву и кончиком пальца поднял его голову за подбородок:

— А что вы делали на линии фронта? Вы партизаны? Ну, отвечай!..

«Началось!» —подумал Анатолий, готовый ко всему...

Они прошли через все: провокации, допросы, побои. Пытки голодом и жаждой. И потом был объявлен приговор: расстрелять!

К вечеру двое румын с винтовками повели их за деревню.

У Анатолия дела плохи: неделю назад, после побоев, загноилась рана на ноге, и началось воспаление. Опухла нога, посинела, идти невозможно. И по такому случаю знающий по-русски пожилой усатый конвоир, по имени Штефан, сжалился и развязал Алексееву руки.

Идет Анатолий, ковыляет, морщится от боли, стонет. Штефан утешает его со всей своей крестьянской серьезностью:

— Иди, иди, сынок, недолго страдать осталось. Там вон у скирды и покончим...

— Спасибо, камарад, — в тон ему отвечает Анато-

лий, — ты меня утешил. Век не забуду твоей доброты!

До скирды метров триста, а за ней, в полукилометре — лесок. И этот лесок словно магнитом притягивал к себе все помыслы, усилия и волю Алексеева. Вообще-то нога не так уж болит, терпеть можно, и он больше притворяется. И эта его уловка дала результаты — руки развязаны, и голова его сейчас усиленно соображает. Поле, скирда, лес... Какое-то решение — вот оно — близко-близко, как в ребусе, в головоломке, призрачно маячит, а ухватить нельзя — ускользает. Может, еще рано? Но время-то идет! Смерть-то вот она — в двухстах пятидесяти метрах...

Все эти тягостные дни пленения Алексеев ни на минуту не расставался с мыслью о побеге, но не было возможности. Сейчас эта возможность есть. Единственная и последняя. Терять-то нечего!..

Стонет Алексеев, то и дело нагибается, гладит ногу.

— Ничего, ничего, сынок, потерпи.

Лицо у Штефана участливое, доброе. Если бы не Патэч, молодой придурковатый солдат, то взял бы, пожалуй, Штефан себе на плечи этого славного русского парня и донес бы до скирды...

А Сергеенко смирился. Идет молча, понурив голову, оборванный, босой. Связанные руки за спиной, отрешенный вид. Совсем упал духом.

Впереди развилка дорог. Колодец с журавлем, две повозки с молочными бидонами. Женщины-возницы поят лошадей. Солнце садится, уже висит над лесом. В небе ни облачка. Большая скирда стоит в стороне от дороги, высокая, как трехэтажный дом, и мысли Анатолия неотвязно возле нее: поле, скирда, лес...

Штефан ворчит: бабы здесь ни к чему. И уже напрягся было заорать на них, чтобы убирались поскорей, как из-за пригорка, поднимая пыль, показалась какая-то процессия: человек двенадцать пленных и шестеро конвойных с капралом во главе. Капрал — широкий, грузный, богатырского сложения, с большими обвислыми усами. Штефан, загородившись ладонью от солнца, громко ахнул, узнав в капрале своего кума, с которым не видался с начала войны.

— О-о-о! Георге, Думитреску!

И заметался, и заорал на Анатолия, подгоняя его стволом винтовки.

— Ну-ну, живее!

Анатолий, страдальчески сморщившись, запрыгал на

одной ноге. Сердце зашлось от радости: вот он — случай!

Капрал что-то крикнул своим конвоирам, конвоиры заорали на пленных, и те, выполняя команду, опустились на корточки в пыль.

Штефан, тоже повернувшись, сказал:

— Садитесь!

Сергеенко сел, а Анатолию нельзя — нога болит. Подошел к Андрею, остался стоять, всем своим видом показывая, как он страдает.

Капрал, сунув свою винтовку одному из конвоиров, пошел навстречу Штефану, широко расставив руки:

— О-о-о! Ште-е-фан!.. Штефанэску!..

Маленькие заплывшие глаза его наполнились слезами. Сошлись в объятиях, хлопая друг друга по спине. Штефану мешала винтовка, и он, не зная, куда ее деть, бросил на ремень, стволом вниз.

Анатолий весь сжался. Не забывая стонать, подумал: «Самый раз бежать!.. Рвануть к скирде, обогнуть ее, загородиться от выстрелов, и в лес!..»

С трудом успокоил себя. Бежать один он не мог. Надо вдвоем. Больше шансов. Побегут в разные стороны, в кого стрелять? А если и подстрелят кого, так другой наверняка убежит.

Сергеенко сидел отрешенно. Ничего не видел, ничего не слышал. Анатолий, словно невзначай, наступил ему на кисть руки и просигналил нажатием пальцев.

— Бежать будем, Андрей! Бежать!..

А кумы сели на землю, поджав по-турецки ноги, и оживленно заговорили, делясь новостями. Капрал то и дело повторял слова «Курск» и «Сталинград», а Штефан сообщил, что ведет на расстрел двух партизан. В голосе его при этом не было ни нотки грусти, ни чувства сожаления. Потом они, видимо, перешли на другую, более близкую и пикантную тему: конвоиры, вытянув шеи, слушали с интересом и ржали, как жеребцы. И Алексеев, воспользовавшись этим, пальцами ног расслабил узлы на руках Андрея. Подавленный предстоящей казнью, тот сидел безучастно и даже, видимо, не сознавал, что руки его почти свободны.

Женщины, напоив лошадей, подтягивали сбрую, готовясь уезжать. Одна из них, пожилая, в белом платке, повязанном так, что виднелись только одни глаза, бросала на конвоиров взгляды, полные ненависти. И Алексеев это заметил. Это был плюс, да еще какой!

«Пора!» — подумал Алексеев и, подковыляв к хохочущим дружкам, жалостливым тоном попросил:

— Камарад, можно я напьюсь? Грудь горит.

Штефан отмахнулся, а капрал, смеясь и разглаживая широченной ладонью длинные обвислые усы, что-то бросил коротко, и Штефан разрешил:

— Иди, напейся перед смертью.

— Мы вместе пойдем, ладно? — сказал Алексеев и ткнул друга ногой. — Вставай!

— Иди, я не хочу,—безучастно отозвался Сергеенко.

Анатолий, разозлившись, ткнул сильнее:

— Вставай, тебе говорят!

Андрей нехотя поднялся.

— Пошли! — сказал Анатолий. — Поддерживай меня плечом.

И они заковыляли. Если со стороны смотреть — сплошная беспомощность!

Молодой конвоир, гогоча над отпущенной капралом шуткой, поплелся за ними.

Женщина, что постарше, метнулась к телеге:

— Сынки, не пейте воду, я молока вам дам! — И загремела бидоном. Откинула крышку, наклонила, налила через край в литровую кружку. — Пейте, родимые!

Алексеев взял кружку и, поднеся ее к губам Андрея, шепнул:

— Будем бежать, понял? Ты направо, я налево. Вокруг скирды и в лес. Руки твои я развязал, держи их пока за спиной? Ясно?

У Андрея сверкнули глаза. Обливая грудь, он жадно отпил половину.

Только сейчас заметил Алексеев, когда поднес кружку к своим губам: случайно или с умыслом женщина поставила бидон позади конвоира. Допив остаток, Алексеев как бы нечаянно сделал шаг к конвоиру и сильно, обеими руками толкнул его в грудь. Солдат, споткнувшись о бидон, перевернулся вверх ногами. Заголосила женщина: кони, испуганно заржав, встали на дыбы, затрещали оглобли. И пока поднимался солдат и приходил в себя капрал и Штефан, беглецы, петляя, как зайцы, уже пробежали полпути до скирды.

Бах! Бах! Бах! — загремели выстрелы, но было поздно. Та самая скирда, возле которой, по замыслу убийц, должны были оборваться две молодые жизни, явилась для них спасительной защитой...

В ту же ночь войска Южного фронта, преодолев мощ-

ный рубеж обороны противника на реке Молочной, вышли к Сивашу. Семнадцатая немецкая армия оказалась блокированной на Крымском полуострове, а наши друзья, проснувшись утром в лесу от артиллерийского гула, были удивлены, почему он гремит позади, на западе, а не на востоке?

Так Алексеев оказался в полку. И снова полеты, и снова испытания: будто кто-то пробовал его на прочность. А прочность его была удивительна. Бесшабашная неунываемость — вот что всегда светилось на его лице. Но эта бесшабашность ничуть не была показной: просто он верил в себя и верил правильно. Что и говорить — летчик он был отличный. Впрочем... слово «отличный» к нему не подходило: значение не то. Маловата была для него такая оценка!

А несколькими днями позже опять сенсация: вернулись штурман Артемов и радист Ломовский, и экипаж Алексеева стал в полном сборе. А Вайнер погиб. Он был ранен и не мог идти и, когда его окружили немцы, застрелился.

Морщинки

Он называл себя Стариком. Старик. Хотя было ему тридцать, и в полку его звали Сеня Лукин, без эпитета. Молодые летчики его любили и не хотели, чтобы он был старым. Он был хорошим летчиком. Высокий, сутуловатый, худой, с морщинистым лицом.

Он устал сегодня как никогда. Четыре боевых вылета за ночь. Четыре. А всего двести! Двести переживаний, больших и малых. Двести битв с врагом, двести встреч со смертью. Он очень устал. Очень. Хочется спать. Нет больше сил удерживать веки. Чуть забылся — и сладкий одуряющий туман охватывает голову. Глаза закрываются сами собой, все тонет в мучительном желании сна. Нет, нет! Спать нельзя. Нельзя! Это опасно. Земля — вот она — рядом. Самолет, разрезая крыльями спокойную прохладу осенней ночи, гудит, рокочет моторами.

Внизу все дремлет в предрассветном сне. Оголенные леса подернуты прозрачным туманом. В небе висит луна, и свет ее борется с утренней зарей.

Летчик наклоняется к часам. Светящиеся стрелки дрожат, двоятся. Ничего не разобрать! Тогда он включает освещение приборов. Скоро шесть. Пилот подни-

мает голову, долго смотрит на свое отражение в ветровом стекле. Потом медленным движением снимает с руки перчатку и, словно не веря себе, щупает пальцами заострившиеся скулы, ввалившиеся глаза. Двести вылетов, двести взлетов с тяжелым опасным грузом. Прожекторы, зенитки, истребители — все здесь, в этих морщинках, в этих уставших глазах.

В наушниках голос штурмана:

— Через пять минут аэродром!

— Хорошо! — отвечает летчик. Надевает перчатку, выключает освещение приборов. — Значит, скоро отдохнем.

Под левое крыло подплыла просека с длинными серебристыми от луны нитями железной дороги. Откуда-то сбоку выскочила речка, нырнула под мост и пропала в лесу. Впереди, в воздухе, мерцая, повисла ракета.

Подходя к аэродрому, Лукин подумал с досадой: «Опять этот старт!»

Это была самая неудобная посадка: со стороны сосен, высоковольтной линии, крыш домов. Тут гляди в оба! Не то, если не дотянешь — чиркнешь колесами по проводам или скосишь винтами макушки сосен. Перетянешь — врежешься в конце пробега в капониры. Нужно рассчитать точно, совершенно точно!

Электрическое «Т» и стартовая линия огней блекло светились на выбитой «лысине» аэродрома. Вспыхнув, зажегся посадочный прожектор. Все в порядке! Можно садиться.

Летчик выпрямился. Движения его стали короткими, энергичными. Кожа на лице натянулась, морщинки сгладились. Глаза, измеряя расстояние, напряженно смотрели на бледный луч прожектора. Земля освещалась слабо. Лунный свет, побежденный утренней зарей, дрожал в тумане, и все предметы, теряя очертания, как бы висели в пространстве, неопределенно далеко и неопределенно близко.

Тяжелая машина, со свистом рассекая воздух, неслась к земле. Навстречу вырастала зубчатая кромка леса. Как бы не задеть! Сидящий впереди штурман инстинктивно подобрал ноги, впился пальцами в кресло: «Ох, как близко!»

Деревья промелькнули, пронеслись дома с черными проемами окон, тоже совсем рядом. Это был мастерский расчет, идеальный. Машина, конечно, сядет, немного не

долетая до «Т». Отлично! В душе шевельнулось гордое чувство удовлетворенности.

Летчик выровнял машину. Земля, расплывчатая, неопределенная, замелькала под колесами. Пронесся прожектор. Что-то очень быстро?!

Молниеносный взгляд на прибор. Нет, скорость нормальная. Но почему же?!

Промелькнуло «Т»!

Лукин похолодел. Мгновенно, в долю секунды, чувство удовлетворенности сменилось опасением. Что такое? Почему?!

Попутный ветер!..

Страх ворвался с непостижимой скоростью, остановил, раздвинул время. Секунды стали длинными, как часы. Мысль заработала быстро и четко, и неумолимо жестко.

Он представил: посадочное поле с пологой возвышенностью посередине. Самолет, приземлившись, выскакивает к центру и оттуда, под уклон, мчится к капонирам, а там... там... сложены бомбы!..

Дать моторам обороты? Взлететь? Нет, нельзя — попутный ветер! Он отнесет машину прямо на сосны. Поздно!

Самолет приземляется легко. Он мчится, едва касаясь колесами земли. Придавить бы его, затормозить... Но он бежит. Вот перевалил возвышенность. И сразу же перед глазами встали сосны, хмурые, враждебные. Под ними округлые, поросшие травой земляные валы — капониры. Уже светло, и летчику видно: тут и там копошатся, проснувшись, техники. Лежат чехлы, тормозные колодки, баллоны сжатого воздуха. Капониры ближе. Бегут, увеличиваются в размерах. Люди настороженно поднимают головы, смотрят испуганно.

Возникает мысль: «Впереди сидит штурман, первый удар — ему...»

Обостренный слух, галлюцинируя, уже улавливает треск, грохот металла, взрыв... Товарищи скажут: «Был экипаж такого-то. Четыре человека...» И кто-нибудь добавит: «Старик...»

У летчика вырвался стон:

— Н-нет!!

Губы сжались в прямую тонкую линию, широко раскрытые глаза засветились не страхом — упрямством! Бешено заработало сознание:

«Развернуться сейчас с помощью моторов? Нет, нель-

зя — рано. Не выдержат, сломаются шасси. Надо переждать, погасить скорость... Дать обороты левому мотору... Убрать. Дать правому...»

Левая рука в кожаной перчатке соскользнула со штурвала, легла на рукоятки управления моторами.

Все рассчитано, секунды взвешены, разделены. И в тот момент, когда удар казался неизбежным, — резкий рывок левому двигателю!

Тысячесильный мотор взревел, подхватил, развернул машину. Под левым крылом, мелькнув, проскочил капонир...

Доли секунды отсчитываются в сознании с беспредельной точностью. В ней, в точности—спасение, жизнь. Секунда ползет как улитка. Хронометр мужества отсчитывает доли. Пора!

Пальцы разом приглушили мотор и тотчас же, чтобы прекратить вращение машины, дали обороты правому. Дали и убрали. Мотор взвыл, рявкнул и умолк. И на глазах у изумленных техников тяжелый самолет, легко и послушно свальсировав, помчался, гася скорость, в обратном направлении.

Летчик придавил ногами педали. Было слышно, как скрипят тормоза и шуршит под колесами гравий. Самолет остановился. Рука в кожаной перчатке протянулась к приборной доске, вяло и безвольно скользнула по лапкам выключателя. Лязгнув шестернями, остановились моторы. Летчик опустил голову. Словно что-то оборвалось в груди, и мягкий туман безразличия охватил его.

Машинально расстегнул привязные ремни и парашютные лямки, заученным движением открыл фонарь и, превозмогая слабость в ногах, вылез на крыло.

К самолету бежали люди. Прохладный ветерок скользнул по щекам, запутался в ресницах, затормошил ворсинки меха на унтах. Три ракеты одна за другой взлетели красными точечками в поголубевшее небо — посадка запрещена! Кто-то крикнул бешено: «Скорее меняйте старт, черт вас возьми! Ветер изменился! Проспали!..» Над головой гудели самолеты. Снизу заботливые руки приставляли лесенку.

Летчик молча спустился на землю, окинул взглядом коренастую фигуру штурмана, пытавшегося достать дрожащими пальцами папиросу из портсигара. Думать ни о чем не хотелось, и говорить не хотелось. Он так же молча, не замечая испуганно-почтительных взглядов, сел в подъехавшую машину, устало прислонился к спинке.

закрыл глаза. Лицо его, бледное, но спокойное, не носило никаких следов только что пережитого волнения. Лишь пара новых, едва заметных морщинок у глаз да невидимый шрам где-то в глубине души — вот и все, что осталось от этой ночи.

Все в жизни относительно

У меня большая неприятность. Пришел приказ, согласно которому комэски (лично!) обязаны провести проверку техники пилотирования всех летчиков своей эскадрильи. Днем и ночью...

— Прочитайте и распишитесь, — сказал мне начальник штаба полка подполковник Меклер. — И с этого дня в боевое расписание себя не вносите. — Потом доверительно добавил: — Война идет к концу, и командиров эскадрилий, особенно Героев, приказано беречь...

Я взял листок с приказом и тут же представил себя сидящим ночью в передней кабине. Длинный решетчатый нос с целлулоидными окнами. Торчит ручка в полу. Не штурвал, а ручка! Откидные педали руля поворота (без тормозных клапанов!), сектора управления моторами. И все! Приборов почти никаких — все они в кабине пилота. Целлулоид искажает видимость. Сидишь, как в клетке, совершенно беспомощный.

А летчики бывают разные. Совершил ошибку на взлете или на посадке, чем исправлять?!

Нет, я не признавал таких полетов, в которых проверяющий целиком зависит от способности проверяемого. Все должно быть на равных. По крайней мере, я к этому привык. А тут...

Меня охватило оцепенение. Лишь в эту минуту я узнал, что такое страх. Это был совсем не тот страх, когда тебя возьмут в прожектора и станут бить прицельно из крупнокалиберных зениток и когда снаряды лопаются под крылом, и тебя бросает из стороны в сторону. Или когда вдруг над целью прекращается стрельба, а ты в лучах... Прожектора ведут тебя, ведут, а ты, ослепленный, — весь как на ладони — торчишь в перекрестке оптического прицела ночного истребителя, который где-то рядом и которого не видно...

В том страхе ты разбираешься и знаешь, что к чему. И на это испытание идешь сознательно. Но страх, охвативший в эти минуты все мое существо, был безотчетным и не сравнимым ни с чем.

«Убьют! — тоскливо подумал я. — Ни за понюх табаку!» — и поднялся.

— Я не буду расписываться под этим приказом.

Меклер удивленно вытаращил на меня глаза.

— Почему?

— Потому что боюсь, — откровенно признался я. — Потому что не хочу, чтобы меня в лучшем случае убили, а в худшем — искалечили мои же летчики. Будь что будет, а этого не будет! Вот.

— Да, но-о... летают же другие.

— Летают. И я преклоняюсь перед их мужеством. У меня же на это не хватает пороху. Видимо, я трус. Так и доложите командиру.

Меклер взволнованно поднялся. Мы с ним были в хороших отношениях, и мое упрямство его обеспокоило. Кто знает, как посмотрит на это начальство? Ведь как-никак — невыполнение приказа!

— Ну, хорошо, — сказал он. — А что вы предлагаете?

— Пусть проверяет мой заместитель, а я буду ходить на боевые.

И подполковник сдался.

— Ладно, поговорю с командиром.

И через час он с радостью мне сообщил, что все утрясено и в порядке исключения мне разрешено проверкой не заниматься.

Гора с плеч! Чувствую себя именинником. Я даже готов простить своему заместителю его четверги. Посылаю за ним, а сам немножко боюсь: а вдруг он откажется!

Стучится:

— Разрешите войти?

— Да, да, пожалуйста!

Входит. На нем лица нет. Наверное, и у меня было такое же выражение, когда я читал приказ о тренировках.

— Товарищ командир, по вашему приказанию...

— Ладно, садитесь.

Садится на краешек стула, смотрит на меня со страхом и мольбой. Что он думает сейчас?

Беру листок боевого расписания. У Васькина бледнеют пухлые щеки, округляются глаза. «Рапорт! — думает он. — Все, конец! Трибунал...»

А я говорю будничным голосом:

— Согласно приказу по АДД, мы должны заняться

проверкой техники пилотирования всех летчиков эскадрильи. Этим будете заниматься вы. Днем и ночью...

Васькин качнулся, словно кто его толкнул. Несколько секунд он осознавал сказанное. Он не верил. Это было так неожиданно! И это было такое счастье! Вместо наказания он получает поощрение, да еще какое — не летать на боевые задания!

Он не скрывал своей радости. Я тоже. И мы облегченно вздохнули.

Поистине, все в жизни относительно!

Для нас наступили тяжелые дни. Октябрь накрыл землю туманами и слякотью, и мы вошли в полосу вынужденного безделья. Нарушился ритм, спало боевое напряжение, и для командиров это было неприятнее всего.

Полк, продвигаясь за линией фронта, уже стоял возле Карпат, на территории Западной Украины. Здесь все было несколько по-иному. Крестьяне варили самогон из бурака и для крепости клали в него табак. Выпьет парень такого рюмашечку и лезет на стену. Только смотри!

Гусаков собрал командиров эскадрилий. Он был озабочен. Зима у Карпат мягкая, и надеяться на погоду нельзя. Если же не принять меры и не занять чем-то людей, дисциплина падет, полк разложится.

— Вот что, друзья, — положив кулачища на стол, сказал командир. — Займемся-ка с вами... самодеятельностью.

Мы переглянулись. Командир третьей эскадрильи Герой Советского Союза майор Марченко, смуглый, как цыган, смешливо выпятил губу, а Бутко в растерянности полез в карман за трубкой, да спохватился — командир полка не курил и дыма не выносил.

«Черт знает что! — неприязненно подумал я. — Этого еще не хватало: из летчиков артистов делать!»

— Итак, будем готовить артистов, — сказал Гусаков, заглянув в какую-то бумажку. — У меня расписание. Сегодня что у нас? Понедельник? В четверг всем полком собираемся в клубе смотреть и слушать выступление первой эскадрильи. В субботу слушаем вторую, а в воскресенье — третью.

Командир окинул нас смешливым взглядом.

— Как вам это нравится? — И, не дав нам опомниться, встал. — Ну вот и договорились! Можете идти и готовиться...

И выпроводил нас за дверь. Мы разошлись — ошарашенные и злые-презлые. Но приказ есть приказ, его надо выполнять. И тут уж возразить было нечего!

Я прислушивался к себе. Какое-то одно из моих «я» бунтовало, выкрикивая возражения, а другое, уже деловито засев в углу, — соображало. И этому «я» понравилась манера ставить задачи перед комэсками. Во всяком случае он нас не унизил, поступил как со взрослыми. Если бы стал растолковывать да разжевывать, было бы хуже, а тут — соображайте сами!

И я почувствовал интерес. Тут уж на карту ставилась честь подразделения. Первая эскадрилья должна быть первой! Так надо ставить перед ребятами вопрос! Но времени было мало, и нужно спешить.

Решаю: сначала пойду к сержантам — к стрелкам и радистам. Народ веселый, молодой. Потолкую с ними.

Иду. Не иду, а ползу, перебирая руками колья плетней. Грязь по колено. Темь — хоть выколи глаз. Брешут собаки. Помыкивают коровы, и где-то сонно гогочут гуси.

Мой поздний приход приятно удивляет ребят, уже готовящихся спать. У них душновато и тесновато. На стене — две керосиновые лампы. Нары в два этажа, соломенные подушки и матрацы. Но чисто, несмотря на уличную грязь.

Сажусь на нары, вынимаю записную книжку, и меня тотчас же окружают. Выкладываю им задачу. Морунов тут как тут, вьется вьюном. Он заводила, и я, поднимая его авторитет, то и дело обращаюсь к нему.

— Найдутся у нас артисты?

Сначала растерянно замолчали: вроде бы и нет, а потом, подумав, стали предлагать:

— Князев поет и на гитаре играет.

— А Одинцов на балалайке.

— Петров играет на трубе. А труба есть?

— Есть труба, и барабан есть, и контрабас.

— Контрабас? Да на контрабасе Ермаков умеет!

— А Семенков читает стихи!

Все почему-то смеются, а я готовлюсь записать.

— Чего вы смеетесь? — спрашиваю. — Кого он читает, Пушкина?

Ребята хохочут:

— Не записывайте, товарищ командир, он читает Баркова!

Хохочу и я. Уж очень контрастное сравнение!

И вообще-то уж одно это было здорово: вот так, вместе обсуждать программу выступления.

Я предупреждаю:

— Ребята! Вторая и третья эскадрилья тоже готовятся. У них времени больше, они лучше могут сделать. Мне не хотелось бы, чтобы наша эскадрилья была на последнем месте.

Ребята загорелись: «Уступить первое место — ни за что!» Решили: завтра же с утра и начать репетицию. Роль конферансье единогласно поручили Морунову. Он мастер: и пантомиму может, и дирижировать оркестром, и шутки отпускать.

Утром собираю офицеров. Здесь реакция несколько другая. Раскачивались долго. Стеснялись. Потом постепенно вошли во вкус, и артистов набралось хоть отбавляй.

Техники тоже внесли свою лепту. Замковой принял на себя общее руководство. И вся эскадрилья загорелась одним интересом — дать хорошую программу! А время не терпело: по сути дела осталось два дня. Стрелки с радистами вывесили лозунг: «В кратчайший срок дадим отличную программу!»

Не обошлось без шпионажа. Из второй эскадрильи появились лазутчики, но Морунов их быстро обнаружил и с позором выставил. Объявили бдительность. Готовились втайне, даже меня не пускали.

Наступил день смотра. Клуб битком набит народом: и наши, и местное население. Шумно, празднично. Колышется старый латаный занавес неопределенного цвета, и что-то громыхает за сценой. Две керосиновые лампы освещают зал. Настроение у всех — театральное.

Появилось начальство: командир полка, замполит, начальник штаба. Их усадили в отведенное место. Ударил гонг, и сразу же наступила тишина. Скрипя немазаными блоками, начал раздвигаться занавес, но застрял на полдороге и задергался. И я уже стал досадовать на неудачное начало, да тут выскочил какой-то юркий человечек во фраке с фалдами, в цилиндре, схватил обе половинки, стянул их вместе, заверещал пронзительно:

— Не открывайте! Не открывайте второго фронта! Иначе нам хана!.. — Повернулся, извиняясь, к зрителям, свободной рукой снял цилиндр, скорчил рожу, раскланялся, смешно дрыгнув ногой. — Пардон! Не хана, а крышка!

Зрители грохнули смехом, зааплодировали. С разных концов зала восторженно закричали:

— Васька, давай!

Я пригляделся — Морунов! Вот это да-а-а! Ну и талантище! Спас положение!

На сцене ударили в тарелки, артиллерийским громом прокатился барабан. Занавес раздвинулся, Морунов расшаркался, раскланялся и представил публике артистов джаза «первого в истории полка!»: три аккордеона, труба с валторной, две гитары, балалайка и барабан с тарелками.

И то ли обстановка была необычная, праздничная, то ли в самом деле ребята хорошо сыгрались, но каждый номер оркестра награждался взрывом аплодисментов, а чудачества Морунова вызывали такой хохот, что кое-кто из зрителей доходил до икоты, а это, в свою очередь, смешило весь зал.

Были номера и грустные, навеянные темой войны, и лирические, и комические. Радист из экипажа Алексеева, Михаил Ломовский, сопровождаемый барабаном и тарелками, выступил с пантомимой: «Как экипаж бомбардировщика летит на боевое задание». И это было так блестяще проделано во всех лицах, что зал то замирал в напряженной тишине, то охал, то разражался хохотом.

Я смотрел и слушал с восхищением. Я хохотал и шмыгал носом от волнения и гордости за своих славных ребят, но в глубине души своей ощущал какую-то неудовлетворенность собой. Бросая ревнивые взгляды на хохочущих командира полка и замполита, я с горечью думал: «Ну неужели ж нужно во все тыкать тебя носом, как слепого котенка?! Сам-то не мог додуматься до этого?!»

Концерт закончился. Все расходились, уставшие от работы и от смеха, но очень, очень довольные.

— Хорошо, хорошо, молодцы! — растроганно говорил Гусаков. — Ну, теперь очередь за второй эскадрильей. Трудно им будет, трудно.

Самодеятельность! Это была прекрасная находка, отличный выход из скуки.

Новый год

А линия фронта двигалась на запад без нашего содействия, и это было обиднее всего. Мы летали, но мало: прижимала нас непогода: туманы, низкие облака. А тут еще шалят какие-то бендеровцы. Расправляются по но-

чам с сельскими активистами, терроризируют население, обстреливают из лесу взлетающие самолеты.

Однажды, прилетев с боевого задания, я вылез на крыло, и мне говорят: «Товарищ командир, что это у вас сзади на парашюте белеет?»

Снял парашют, глянул: «Ого! Вот это да-а-а!» — девять дырок в парашюте! Кто-то полоснул из автомата, а я и не почувствовал.

Дело плохо. Гусаков задумался. Если так пойдет дальше, они распояшутся совсем, и летчиков побьют, и самолеты сожгут.

Разработали план, наладили разведку. И однажды под утро подняли нас потихоньку, и полк, вооруженный гранатами и автоматами, пошел в оцепление к соседнему лесу, через который проходило шоссе.

Подошли, залегли в неглубоком снегу, ждем артиллерийского огня из зениток, развернутых к наземному бою. Им удобно стрелять — они наверху, на плато, и оттуда все видно, и снаряды класть хорошо — через наши головы.

Лежим, молчим. На лицо падают редкие снежинки. Черной стеной стоит лес, и там тишина. Вдруг слышим: телеги стучат, и кони фыркают. К начальнику разведки капитану Одинцову кто-то подбежал, бросил впопыхах: «Едут!» Одинцов поднял ракетницу: п-пах! — полетела зеленая ракета! И в тот же миг с аэродрома один за другим помчались прямо на нас огненные шарики, с шипеньем пронеслись над нами и где-то за лесом: бу! бу! бу! — стали рваться, а с аэродрома донеслось запоздалое: ду-ду-ду! ду-ду-ду!..

Постреляли с минуту, пока Одинцов не дал вторую ракету—красную. Тогда по команде «Огонь!» мы вскочили и из автоматов в лес: ррpax! ррpax! ррpax! — и потом: «Уррра-а-а!» — побежали к шоссе. А там обоз, и никого нет, только телеги опрокинутые и лошади носятся с обломанными оглоблями.

Собрали трофеи: десятка полтора повозок, переловили коней, запрягли кое-как, поехали.

Трофеи оказались богатыми: оружие и продовольствие, главным образом — консервы в яркой заграничной упаковке.

В конце декабря перелетели на новую точку. Уже севернее, в Белоруссию, на Неман. Наконец-то вырвались из грязи! Крупное село: школа, больница, баня, костел, солдатские казармы и тайный увеселительный

дом. Здесь раньше польские паны хозяйничали, стоял пограничный гарнизон. Теперь стоим мы двумя полками. И опять непогода!

Наш командир получил звание полковника и стал командовать дивизией, оставаясь пока и командиром нашего полка.

Подступал Новый год, и Гусаков задумался, помрачнел. Никогда эти праздники для воинских частей не проходят без ЧП. Как ни смотри, какие меры не принимай, все равно что-нибудь случится!

А тут еще под праздник вздумал командир реформу провести. Из третьей эскадрильи перевел командирами звеньев в другой полк двух летчиков и вызвал меня:

— Хочешь быть заместителем командира полка?

А я не хотел. Я мечтал, если жив останусь, вернуться в Аэрофлот, и военная карьера меня не соблазняла.

— Нет, — сказал я. — Не хочу.

— Тогда вот что, — сказал он, подумав. — Одного твоего командира звена нужно перевести в третью эскадрилью. Кого — подумай сам.

Я даже прикусил губы от душевной боли. Да кого же я отдам?! Я сжился с ними, сросся, и отдать кого-то — это все равно, что палец отрубить! Да и как я могу нанести человеку моральную травму? Сказать: «Возьмите Шашлова или возьмите Ядыкина!» А что тогда подумает тот, про кого я так скажу? «Значит, я плохой?! Чем-то хуже того или другого?!» — И законно обидится. А я не мог никого из них обидеть. Не имел на это никакого морального права: мои ребята были все хорошие! А тут отдай, да еще сам!..

Я обескураженно молчу минуты две. Гусаков терпеливо ждет.

— Ладно, — говорит он. — Я вижу: тебе тяжело определить самому, кого отдать. Тогда я сам...

— Нет! — почти закричал я. — Нет!.. — И взмолился: — Товарищ командир, прошу вас, не берите никого! Неужели это так обязательно? И именно у меня?

— Видишь ли,—сухо сказал Гусаков, видимо, вспомнив нашу давнишнюю размолвку. — У каждого командира свои соображения. У меня свои. И здесь в полку, а теперь и в дивизии, я вправе поступить так, как мне это нужно, для пользы дела. Итак, я выбираю сам...

— Не надо! — взмолился я. — Погодите! Дайте подумать дня три.

Гусаков нахмурился, постучал пальцами по столу.

— Хорошо,—сказал он после некоторого раздумья.— Даю тебе два дня. Не решишь за этот срок — возьму сам.

Я согласился, втайне надеясь, что за это время что-нибудь изменится и все останется как было.

И тут я испугался: «А если он возьмет Алексеева?» Алексеева я потерять не мог. Он был моей опорой, примером для эскадрильи и полка, эталоном мужества для наших ребят.

Я остановился возле двери:

— Товарищ командир, очень прошу, только не Алексеева...

Гусаков растерянно улыбнулся, помедлил несколько секунд, потом с ноткой сожаления в голосе сказал:

— Ну, разумеется.

Я ушел с тяжелым сердцем.

Своим ребятам я сказал об этом, и они приникли. И уже каждый из них чувствовал себя получужим.

Прошло два дня, и Гусаков спросил:

— Ну как — надумал?

А я не надумал. Мне казалось, что он забыл...

— Тогда беру Ядыкина. — Сказал, как отрубил.

И Ядыкин перешел в другую эскадрилью. За три дня до Нового года.

А Новый год подступал. Я собрал эскадрилью и по секрету высказал ребятам пожелание—встретить праздник достойно. Ведь это ж будет год победы! И чтоб наша эскадрилья была на высоте! Чтоб никаких ЧП. И чтоб елку сделали и игрушки. Можно?

— Можно! — сказали ребята. — Сделаем что надо!

И пошла работа! Морунов у меня за хозяйственника: оборотистый, шустрый. Добываю у председателя сельсовета, на квартире у которого я стоял, лошадь с санями и отправляю Морунова за покупками: чтоб кур достал и уток. Уехали ребята, одевшись в тулупы. Скрылись за снежным занавесом. Все кругом бело и сказочно-красиво. Небольшой морозец. Иней на деревьях и проводах. И с синевато-серого неба тихо падают крупные снежные хлопья.

И вот уже канун Нового года. Красуется елка в общежитии, вся в разноцветных бумажных цепях, вся в игрушках, искусно сделанных ребятами, вся в тонких серебристых лентах, нарезанных из конденсаторной бумаги, и вся в гирляндах из разноцветных лампочек. Не елка — сказка!

Тут же в проходе между нар длинный-длинный стол и скамьи на всю эскадрилью. Стоят бутылки с разведенным спиртом, блюда с квашеной капустой, с мочеными яблоками, с огурцами. Все в изобилии, все подано со вкусом. Ну и Морунов!

Ребята толкаются в вестибюле, побритые, подстриженные, с начищенными пуговицами, с медалями и орденами. Сапоги блестят, скрипят, цокают подковками. Двое аккордеонистов «наводят» музыку. Шумно, весело, хорошо. Собрались все до единого, и на сердце у меня спокойно. Выпивки много? Так ведь и под выпивку-то есть чем закусить! Хуже, когда выпьют да закусят рукавом. А у Морунова полные противни с жареной птицей, с картофелем, с соусом. При такой закуске хмель не возьмет.

Через двадцать минут Новый год. Морунов приглашает к столу. Садимся. В середине стола свободные места для начальства. Обещал прийти Гусаков «на первую рюмочку». Это для нас большая честь. Сидим, ждем, немножко волнуемся. Наша «разведка» донесла: «Елки ни у кого нет во всей дивизии! И стола такого — тоже ни у кого. Все уже поели в столовой...»

Странно слышать! Неужели трудно организовать?! Пускать праздники на самотек опасно. Люди выходят из-под контроля, теряют чувство локтя и коллектива.

До Нового года осталось десять минут.

А старый год был для нас неплохим. Эскадрилья в боевом соревновании вышла на первое место в корпусе. Звание «тяжеловесной» пристало к нам официально. Теперешняя наша эскадрилья равна двум прежним. И полк стал равен полутора полкам. И награды на полк посыпались, и звания. А на знамени сколько орденов!

Наконец кто-то крикнул:

— Идет!

Входит полковник. Высокий, грузный, представительный и, конечно, с маузером у бедра. Глыба! Все встают. Гусаков оглядывает стол, с неодобрением косится на бутылки.

— Ого! Не много ли?

Но Морунов в белом колпаке и фартуке уже командует помощникам, и те тащат шипящие противни с жареными курами.

— Ага, — говорит Гусаков, — тогда нормально!

Все садятся. Стаканы наполнены. Стрелки часов придвигаются к рубежу. Гусаков поднимается. Речь его на-

полнена похвалами в адрес нашей эскадрильи. И нам приятно слышать это в такой знаменательный день.

Новый год на пороге! Победный год, уж это без сомнения! Командир поздравляет. Гаснет свет, зажигаются гирлянды на елке, два аккордеона лихо отхватывают туш. Все поднимают стаканы: «Уррра-а-а Новому году!» Выпили, набросились на закуску.

— Моченые яблоки? Вот прелесть!

— А капустка, капустка!

— Ну, а курочка, я вам скажу-у!

Гусаков посидел минут десять, поднялся:

— У вас хорошо, спасибо, за вас душа не болит, но извините — я пойду. У меня ведь дивизия.

Ушел. А я почему-то вспомнил Ядыкина. Утром в столовой, встретившись с ним, я пригласил его на Новый год в эскадрилью. Ядыкин сконфузился: ему и хотелось бы, но рядом стояли его новые боевые товарищи, и он отказался. Из деликатности я не настаивал, и, наверное, напрасно. Сейчас он, видимо, чувствует себя не очень-то уютно. Может быть, послать кого, чтобы поискали? Но я отогнал эту мысль. Люди веселятся: вон как отплясывают «цыганочку»! А третья эскадрилья от нас далеко — на другом конце села, а на дворе пурга.

И вдруг с треском распахивается дверь и кто-то крикнул сдавленно, в самое веселье:

— Братцы, Ядыкина убили!..

Враз все замерло, померкло и, опрокидывая скамьи, люди ринулись в прихожую.

— Как? Что? Кто?..

— Не знаю толком. Пришел Карпов пьяный, расстегнул пояс с пистолетом, бросил на нары и вдруг — выстрел! Федя упал, а я к вам...

Скоро выяснилось, скользящее ранение в череп. Федю перевязали, все в порядке...

Но праздник был испорчен.

Два парашюта

Весна была ранняя. И победа — вот она! Но погода! Аэродромы раскисли. А врага надо бить. Бить! Бить!!

Приказ: «Выпускать на боевые задания только опытных летчиков». Опытных. А молодых? Что делать молодым?!

...Сосны чертили вечернее небо, все лохматое от облаков. Облака бежали быстро, грязновато-серые и по-весен-

нему неряшливые. К ночи они, конечно, сгустятся, пойдет дождь или нахлынет туман, как вчера, и вылет снова не состоится. Или, что еще хуже, прибежит со списком в руках адъютант эскадрильи и объявит, как объявляет вот уже почти месяц, что полетят только «старики». И начнет перечислять «молодых». И уж, конечно, фамилия командира корабля младшего лейтенанта Королькова будет выкрикнута с особым ударением и даже повторена.

Прошлый раз младший лейтенант, несмотря на запрет, попытался вырулить, но его задержали, и было по этому поводу в эскадрилье комсомольское собрание.

Нет, не везет Королькову в жизни! Родился поздно, в революции не участвовал, геройских дел не совершал. Война уже кончается, а он? Учился! Десять лет в школе, четыре года в авиаучилище. Что он дал Родине за всю свою жизнь? Ничего!

Месяц назад, по прибытии в полк, заполняя в штабе какую-то анкету, он на вопрос — «профессия» — написал, озоруя: «Токарь по хлебу». Конечно, был разговор. И теперь все смотрят на него как на маленького. И нянькаются и цацкаются. Даже звать стали насмешливо-ласкательно: «Витюньчик». И штурмана дали, как на смех все равно, совсем молодого. Конечно, с таким штурманом разве пустят в плохую погоду? Ну, а про радиста со стрелком и говорить не приходится —мальчишки! Впрочем, ребята хорошие, и стрелок, и радист.

Корольков уже знает: штурмана Серова ждет невеста Нина. Белобрысенькая, смешливая — он показывал карточку — совсем девочка! Но Олег говорит: «Подрастет!» Дома у него мать. Отец погиб на фронте. У радиста одни старики остались. Два старших брата «пали смертью храбрых». У стрелка — никого. Все в Ленинграде во время блокады от голода умерли. Сердце кровью обливается!

А у него, у Королькова, и тут благополучно. Отец инженер на военном заводе, мать лаборантка. Две сестры замужем, а он самый младший. Все живы, никто не погиб. Хорошо? Хорошо! И все же чувство негодования за свою «неустроенную» жизнь не покидало Королькова.

И еще в полку прилепили ему этот эпитет — «молодой». Конечно, так и останешься молодым при такой погоде! Война-то кончается! Хоть бы сегодня слетать!

Корольков перекусил лозинку, которую держал во рту, растер зубами горьковатую веточку и, перевернувшись со спины на живот, стал смотреть на сутолоку аэродрома.

Отсюда, с песчаного пригорка, где они лежали со

штурманом, хорошо было видно все летное поле с расставленными на противоположной опушке леса бомбардировщиками соседнего полка. Рядом в капонире возились оружейники возле самолета. Трещала лебедка подъема бомб, клацали затворы пулеметов, и кто-то спрашивал уныло:

— Горит? Не горит?! Вот, чертова собака, а!

Дивизия готовилась к боевому вылету. Тут и там раздавались слова команды:

— От винто-ов!

— Есть от винтов!

Вслед за тем, стреляя синим дымком, рявкали моторы, ворчали сердито, словно великаны над костью, наливались гневом, ревели, рассекая металлом лопастей густой пьянящий весенний воздух, и умолкали вдруг. И в вязкой тишине, тревожа душу, слышалось чудесное: «Чили-чилю! Чули! Чок-чок-чок-чок!..»

Штурман сказал глухо — он лежал, уткнувшись лицом в прошлогоднюю траву:

— Скворец. Ах, хорошо выводит! Это он к ночи — прощальное. — Поднял голову, вздохнул. — Вот и у нас: выйдешь за город — птицы поют, снегом талым пахнет, прошлогодней травой. Ляжешь вот так и вдыхаешь, вдыхаешь... Ты меня слушаешь?

— Слушаю, — проворчал Корольков, хмуро поглядывая на облака. — Опять сегодня слетать не придется!

Штурман поднялся, сел, снял шлемофон, расчесал пятерней волнистые русые волосы. Ничего не сказал, только подумал: «Надо бы мне попроситься к старому летчику, уж летал бы давно...»

Лицо у штурмана розовато-детское, с припухшим ртом, с большими голубыми глазами. Под прямым тонким носом едва пробивается пушок.

Корольков машинально пощупал пальцем у себя над верхней губой: и у него не густо! Неделю назад брился, а торчит несколько тычинок.

По ту сторону капонира, везле землянки командного пункта, раздался дружный взрыв смеха. Это ребята второй эскадрильи держат «банк», разыгрывая летчика Васютина, тоже молодого. Он гогочет вместе со всеми:

— А чего! Милое дело быть токарем по хлебу! Резцы у меня хорошие — во!

Все знают, Васютин отсидел трое суток домашнего ареста. Пытался взлететь самовольно, да на разбеге не выдержал прямую, угодил в болотце, каких на поле после

недавно сошедшего снега много. Самолет застрял и задержал вылет дивизии.

Молодец, Васютин, решительный. Вот только жаль, что не справился. И теперь в полку строго. Каждый раз перед вылетом руководителю полетами дают список номеров машин «молодых». Попробуй вылети!

Зашуршала трава под ногами, треснула веточка. Корольков посмотрел через плечо. Это были радист со стрелком — Петросян и Кирилюк. Первый — высокий, с орлиным носом и сросшимися у переносицы черными бровями. Второй — низенький, коренастый, с круглым веснушчатым лицом. Оба в летном облачении: в меховых комбинезонах и унтах. Шлемофоны сбиты на затылок. Лица розовые от ходьбы. Жарко. Остановились, попросили разрешение сесть.

Корольков кивнул: «Садитесь!» —и тут же спросил:

— Ну, что там слышно на КП? Какая погода?

— Погода пять — ноль не в нашу пользу! — опускаясь на траву, сказал радист. — Плохая погода. Опять нас пускать не будут!

Снял шлемофон, сердито бросил его на землю и, сверкнув большими черными глазами, принялся выкладывать все, что видел и слышал:

— В третьей эскадрилье стрелок Парамонов упал с крыла и повредил ногу, теперь летчик ищет стрелка на полет...

Кирилюк приподнялся, посмотрел умоляюще на Королькова. Корольков нахмурился, опустил голову.

— Ну!..

Петросян метнул взгляд в сторону стрелка, едва заметно пожал плечами. Кирилюк огорченно сложил губы: «Нет, не вышло!»

— Техник-лейтенант Иванов, — продолжал Петросян, — за предотвращение пожара на бензоскладе после бомбежки награжден орденом Красной Звезды.

— Заслуженно. Дальше.

— Повар Фетисов упросил нашего комэска взять его на боевой полет вместо стрелка, заболевшего гриппом...

Корольков передернул плечами:

— А, даже повар!.. Дальше.

Петросян шевельнул бровями:

— Командир, у него месть за отца!

— Знаю. Дальше.

— Командир звена Астахов — из третьей эскадрильи — жалуется на головную боль. Наверное, грипп...

Корольков стремительно сел, стряхнул прилипшие к комбинезону сосновые иголки:

— Астахов?! Это высокий, с крючковатым носом?

— Да. Самолет его «тридцатка» — стоит у капонира возле поваленной сосны.

Разговор умолк, будто дошел до самого главного. Корольков, кусая губы, что-то прикидывал в уме, соображал. Штурман ерошил волосы, улыбался чему-то.

Аэродром погружался во мрак. Темные контуры капонира, чернея, сливались с небом, с заснувшими соснами, с невидимыми, но пахнущими сыростью облаками. Все застыло кругом, замолкло. Люди говорили шепотом: ждали сигнала. Две зеленые ракеты. И тогда полетят все. А если зеленая и красная...

На лоб Королькову упала капля. Он стряхнул ее, взглянул на часы — пора! И тут же, шипя и мерцая, взлетели в небо две ракеты — зеленая и красная! Всё! Вылетают только старики...

Корольков, поднимаясь, выругался. Во всех концах аэродрома уже слышалось:

— От винто-ов!

— Есть от винтов!

Аэродром ожил грохотом моторов, оранжевыми вспышками выхлопов. Тут и там замигали на крыльях и хвостах самолетов зеленые, желтые, красные огоньки. Заревели двигатели. Сила! И он, Корольков, не принимает в этом участия! До чего же досадно, хоть плачь...

Кто-то, взяв рукой за плечо, сказал в самое ухо:

— Ну что, Витюньчик, поехали домой?

Корольков обернулся разъяренно и в зареве выхлопа соседнего самолета увидел высокую фигуру с крючковатым профилем. Астахов?!

Схватил за плечи, спросил возбужденно:

— А ты? Ты что, не летишь?!

— Нет, не лечу. Нездоровится что-то.

Самолет зашумел моторами, порулил. Снизу из глушителей с громкими хлопками полетели лоскутки оранжевого пламени. Зеленая лампочка на правом крыле, качаясь, двинулась в темноту.

Корольков толкнул Астахова:

— Иди, я сейчас. — И крикнул бешено: — Серов?!

— Ну, тут я. Чего кричишь? — голос у штурмана деланно спокойный. Нащупал руку, сжал заговорщицки. — Понял, товарищ командир, на «тридцатку».

И ничуть он не понял, этот Серов! Совсем не то хотел сказать Корольков. Совсем не то. Просто досадно было, что он еще «молодой», и что его зовут «Витюньчиком», и что... Конечно, Корольков тоже думал об этом: воспользоваться случаем, взять самолет Астахова и слетать! И доказать! Да, да, доказать! И потом, ведь это же не для себя! Для общего дела!

— Да, да, конечно, идти...

Эти слова вырвались сами собой. Серов сказал с ноткой почтения в голосе:

— Молодец, командир, правильно! А за последствия не бойся — победителей не судят.

Петросян, склонившись, шепнул Кирилюку:

— Наконец-то решился. Я нарочно ему рассказал про Астахова. Побежали!

Самолеты рулили на старт. В темноте видны были только медленно плывущие, словно в хороводе, бортовые огоньки. Изредка тут и там нетерпеливо пофыркивали моторы, и тогда огоньки, подпрыгивая и обгоняя других, устремлялись вперед, туда, где призывно мигал зеленый фонарик руководителя полетов.

Летчики торопились скорее взлететь. Знали, на малых оборотах забрызгиваются маслом свечи, и тогда на взлете моторы теряют мощность. Чем скорее взлетишь, тем лучше. Скорей! Скорей!

Корольков и его экипаж бежали изо всех сил. Было очень неудобно бежать в унтах и меховых комбинезонах. Под ноги то и дело попадалось разбросанное и еще не убранное авиационное имущество: баллоны сжатого воздуха, тормозные колодки, чехлы.

Споткнувшись один раз о привязь якорной стоянки, Корольков упал, покатился по земле. Поднимаясь, увидел: идут трое, курят. Догадался — экипаж. Прислонился к капониру, пропустил. Совсем рядом прошли, не заметили. Один сказал громко, ломающимся баском:

— Тьфу ты, память чертова! Совсем забыл. Надо бы технику напомнить — исправить замок на башне. Я его проволокой закрутил.

— Это ты зря, — возразил другой. — А если прыгать или на брюхо садиться! Как из самолета выберешься?

Прошли, шурша унтами по траве. И тут, словно из-под земли, снова три тени. Бегут, дышат запаленно.

Корольков окликнул:

— Серов?!

— Да, товарищ командир!

— Не отставайте!

И снова побежал. Дорогу преградило поваленное дерево. Обогнул его и сразу увидел едва различимый на фоне леса силуэт бомбардировщика. Ткнувшись с ходу в чью-то пахнущую маслом прорезиненную куртку, догадался: «Техник!» Тяжело дыша, спросил:

— «Тридцатка?»

Техник, высокий, сутулый, удивленно обернулся:

— Так точно, — «тридцатка», а что?

— Командир приказал... Быстро! Я полечу... Готовьте самолет!

Слова прозвучали естественно. Техник сам слышал: комэск, выруливая, крикнул инженеру: «Тридцатку» держать наготове! Командир полка пришлет запасной экипаж!..» Значит, это и есть запасной экипаж.

Воздух дрожал от рокота моторов. Самолеты, разбегаясь, один за другим тяжело поднимались в воздух. Их огоньки, померцав в темноте, скрывались за соснами.

Вот взлетает опытный летчик — ас: оторвал самолет и, набирая скорость, долго держал его над землей, а потом вверх — сильно и уверенно!

Корольков проводил его завистливым взглядом и, когда увидел подбежавший экипаж, поторопил командой:

— По местам!

Техник, наклонившись, прокричал Королькову в самое ухо привычный доклад:

— Товарищ командир! Моторы опробованы, самолет к полету готов! В баках две тысячи литров; бомбовая загрузка тысяча пятьсот!

— Хорошо, — сказал Корольков и покосился на две черные туши, висевшие под брюхом самолета.

«Тысяча пятьсот! Многовато для первого раза...»

Парашют лежал на сиденье. Путаясь в лямках, младший лейтенант надел его, застегнул карабины. Было жарко. По спине, между лопаток, струйками стекал пот. И, наверное, от этого на душе у Королькова было как-то неспокойно. Или, может, все-таки от угрызений совести?

Все четыре года, пока он учился на летчика, его приучали к суровому закону дисциплины. Он знал — нарушение ее ведет к расплате. В лучшем случае накажет командир, в худшем — жизнь. Накажет сурово, жестоко, неумолимо.

Усаживаясь в кресло, Корольков вдохнул привычный запах самолета, окинул взглядом многочисленные светящиеся приборы и вдруг почувствовал, что он уже не в силах изменить решение. Конечно, он полетит! Все будет хорошо, и... победителей не судят!

Включил шлемофон, приготовил моторы к запуску. Стал спокоен. Совершенно спокоен. Или, может быть, ему только так казалось?

— От винто-ов!

С земли ответили привычно:

— Есть от винтов!

Торопливо опробовал моторы. Все в порядке, хорошо! Перегнулся через борт, скомандовал:

— Убрать колодки!

Включил бортовые огни, порулил. Самолет, подпрыгивая на неровностях, вычерчивал крылом замысловатые зигзаги. Слышно было, как покачиваются бомбы наружной подвески. Две по двести пятьдесят! Подумал: «Если садиться на брюхо...» Но мысли тотчас же переключились на другое: с противоположной стороны аэродрома уже выруливал соседний полк. Скорей! Скорей! Не то попадешь в толчею, придется ждать очереди.

Но он не успел. Подрулил пятым.

Линия стартовых огней уходила к лесу, и туда, в темноту, разбегаясь, взлетали самолеты. Корольков, приподнимаясь на сиденье, провожал их взглядом. Стоявший впереди самолет отрулил немного, и на освобожденное место тотчас же втиснулся другой. Корольков стал шестым. И пока он возмущался, самолет, словно устыдившись, передвинулся вперед, а на его место тут же подрулил другой. Корольков стал седьмым.

И если бы он знал, что эти потерянные минуты... Но он был «молодым» и поэтому не знал многих тонкостей. У него не было опыта. Он даже не догадался, чтобы не стыли моторы и не забрызгивались свечи, придавить ногами тормоза, увеличить обороты двигателей. Учил ведь командир, а он совсем забыл. Он сидел и злился. И когда, наконец, настала его очередь взлетать, Корольков совершил еще одну грубую ошибку: не прогонял на максимальных оборотах двигатели...

Красный огонек руководителя полетами погас. Корольков, затаив дыхание, вдавил пальцы в рукоятки управления моторами. Вот сейчас решится его судьба! Он слетает на боевое задание и раз и навсегда докажет, что он летчик и что недаром ему на всех тренировках

доставались похвалы и самые высокие оценки. Он докажет тем, кто не выпускал его на боевые полеты.

Зеленая звездочка, вспыхнув, качнулась по направлению стартовой линии — взлет разрешен!

Заревели двигатели. Самолет тронулся с места, и сразу же куда-то в сторону поползла стартовая линия огней. Корольков выправил машину, удовлетворенно отметив про себя: как хорошо он это сделал!

Самолет, тяжело подпрыгивая на неровностях, нехотя побежал по летному полю. «Почему нехотя? — мелькнула мысль. — Ничего, все в порядке! Это оттого, что велика загрузка». И тут же где-то в глубине сознания возникло опасение: «Уж что-то очень вяло набирается скорость!» И снова успокоительное: «Нет, нет, все в порядке! Это потому, что я еще ни разу не взлетал с такой нагрузкой...»

Ревели моторы, стучали шасси. Самолет бежал долго, очень долго. Иногда он отрывался от земли, но тут же, падая, тяжело ударялся колесами. И тут вдруг понял Корольков, что моторы недодают мощности, даже понял, почему...

Первое решение — прекратить взлет — было отброшено тут же. Поздно! Впереди торфяное болото и... лес. Надо попытаться оторвать машину. В воздухе она быстрее наберет скорость, нагреются моторы, и он перетянет лес...

Наскочив на какой-то бугор, машина резко подпрыгнула вверх. Корольков поддержал ее, не дал опуститься. Молотя винтами по воздуху, самолет повис над землей и с задранным носом, качаясь, поплыл в темноту.

И тут пришел страх. Он сдавил сердце, помутил разум. Летчику мерещились сосны, могучие, высокие. Они где-то здесь, рядом. Стоят стеной, ждут...

Надо было бы прижать машину, но... не хватило мужества. Вместо того, чтобы чуточку «отдать», отпустить штурвал, Корольков, наоборот, стал тянуть его на себя. Самолет, задрав нос и подставив встречному потоку воздуха всю площадь крыльев, потерял скорость, повалился вниз.

Штурман видел только, как очень близко промчались макушки сосен. Затем тяжелый удар, треск, жуткий вой моторов. Еще удар! И все стихло...

Корольков несколько секунд сидел в глубоком замешательстве. Что случилось? Может, это сон?

Где-то что-то булькало и шипело. Кто-то спросил:

— Командир, ты жив?

Это штурман. Он уже выбрался из своей кабины через астролюк и сейчас заглядывал к нему. Корольков пришел в себя.

— Жив, — сказал он и тут же подумал: «Уж лучше бы не быть живым!»

Все в нем опустилось, оборвалось, словно он постарел на целую сотню лет. Тяжело, как чужую, поднял руку, отодвинул фонарь. Машина лежала на полянке, так непривычно и нелепо уткнувшись носом в податливый болотный грунт, что Корольков, закрыв глаза, отчаянно замотал головой: Нет! Нет! Нет!! Это все ему кажется, этого не было! Не было!! Ему мучительно хотелось проснуться сейчас и быть счастливым...

Острый запах бензина вонзился в мозг. В любую секунду могли от замыкания загореться электропровода, и тогда пожар, взрыв!

— Петросян! Кирилюк! — закричал Корольков, вылезая на крыло. — Вы живы?!

— Живы! — ответил Петросян.—Сейчас выберемся.

В ту же секунду странные блики заиграли вокруг. Засветился красным заревом мотор с погнутым винтом, засветилось крыло. Вспыхнула черная лужица под самолетом. Заметались оранжевые языки, забегали по кочковатой полянке длинные тени.

Штурман спрыгнул на землю:

— Пожа-а-ар!.. Горим!.. Бомбы взорвутся! Бежим скорей!

Корольков скользнул вниз. Не помня себя, рванул воротник гимнастерки с целлулоидным подворотничком. Он задыхался. Словно кто-то сжимал его горло железными пальцами. Пламя охватило центральную часть самолета.

— Петросян!.. Кирилюк!..

— Сейчас, идем!..

Вдоль опушки от кочки к кочке металась фигура штурмана. Левой рукой он поддерживал парашют, в правой сжимал планшет. «Зачем он? Бросил бы...»

Над головой с жутким воем пронесся бомбардировщик. Корольков бросился за штурманом. Пробежал шагов пять — увяз. Вылез, свернул в сторону. Сзади шумело пламя. Вот-вот взорвутся бомбы!

Лес будто ожил. В багровом отблеске, кривляясь, плясали сосны.

— Две тысячи литров бензина и тысяча пятьсот килограммов бомб...

Корольков в который раз повторял эти слова. В груди

невыносимо жгло. Сорвал шлемофон с головы, бросил. Сзади по ногам колотился парашют. Подхватил его рукой, прижал.

— Две тысячи бензина и тысяча пятьсот...

Он уже догнал штурмана.

— Две тысячи бензина...

И в это время раздирающий душу крик:

— Помоги-и-те!!

Они остановились. Оба. Словно очнулись. В расширенных зрачках плясало пламя.

Бессвязно бормоча, Корольков торопливым движением расстегнул карабин парашюта. Наклонился, расстегнул другой, третий. Парашют упал в сухую прошлогоднюю траву. Рядом лег парашют штурмана.

— Помоги-и-и-те!!

И Корольков вспомнил: башня стрелка-радиста законтрена снаружи, и они не могут выбраться!..

— О-о-о! Что я наделал!..

Гудело пламя, трещали патроны в кабине штурмана. Черным столбом поднимался к небу дым. Сферическая башня радиста светилась оранжевым светом, и там, в ней, метались две фигуры...

Летчик и штурман подбежали к самолету одновременно. Корольков схватился руками за башню. Пальцы, не чувствуя боли, легко прошли сквозь расплавленный плексиглас...

Ни штурман, ни Корольков не услышали взрыва. Лишь на долю секунды что-то сверкнуло, и... время для них остановилось. Не было боли, не было страха, не было ничего...

Гулкое эхо прокатилось по лесу, вернулось, снова прокатилось и замерло вдали. Накрапывал дождь, по-прежнему взлетали самолеты. Потом все стихло. Где-то пронзительно вскрикнула птица, где-то треснул сучок, и тихо журчала вода, наполняя большую воронку...

Утром недалеко от места катастрофы мы нашли два парашюта. Они лежали рядом, как родные братья...

Берлинская операция

В конце марта — начале апреля войска союзников подошли к Рейну. Хотя по решению Ялтинской конференции советская зона оккупации была определена далеко западнее столицы Германии, советское командование уже располагало данными о том, что союзники, так вяло развивавшие военные действия против немцев, сейчас намеревались взять Берлин.

Их не смущало то, что они находятся от него в 450 километрах, а советские войска уже на Одере и Нейсе — в 60—100 километрах. Зная о том, что гитлеровское руководство ищет пути тайного соглашения с ними, они не ждали особого сопротивления при своем продвижении на восток. Они знали, что против их восьмидесяти полнокровных дивизий стоят силы в три с лишним раза меньшие, в то время как против советских войск на Берлинском направлении было не меньше миллиона человек, десять тысяч орудий и минометов, тысяча пятьсот танков и самоходных орудий и свыше трех тысяч боевых самолетов, и в самом Берлине формировался двухсоттысячный гарнизон. А мощные оборонительные рубежи, начиная от Одера и кончая самим Берлином, представляли собой эшелонированную крепость, где каждая улица—дот, который можно взять, только расколупав его тяжелыми снарядами и бомбами. Союзники думали, что русским такой силищи не одолеть, и Берлин будет их.

А советское командование думало по-другому. Берлин должен быть взят, и за очень короткий срок! А как его взять, если ушедшие на запад армии оторвались от своих тылов и баз снабжений, если не хватает танков, горючего, пушек, боеприпасов и если наша авиация застряла на раскисших аэродромах. И если все это, вместе взятое, ставило соотношение сил не в нашу пользу?

Надо было свершить второе чудо! И чудо начало свершаться. По ночам мимо нас громыхали орудия тяжелых калибров, лязгали гусеницами колонны танков, и нескончаемым потоком шли, шли, шли машины, крытые брезентом. По железной дороге один за одним двигались эшелоны, замаскированные лесом, сеном, под которым прятались пушки, танки, тягачи, боеприпасы.

Мы все это видели, мы все это слышали. Нам было и радостно, и больно. Ранняя весна растопила снег, но не совсем. Летное поле все в чернеющих плешинах. Летать надо, летать! Бить ненавистного врага! А мы не можем: раскис аэродром! Да какой аэродром — случайное поле! Лужайка, лесная поляна с разбросанными тут и там болотистыми топями.

Но фронт, обстановка требовали, и мы летали.

Бежит машина темной ночью. Ревут моторы. Впереди маячит подвешенный к сосне фонарик, а ты весь в ожидании, если отклонишься чуть-чуть от идеальной прямой — влетишь в трясину. Скоростной капот! Машина, споткнувшись, встанет на нос, опрокинется на спину, и

тогда летчику не выбраться. Будет он висеть на привязных ремнях вниз головой, и на него польется бензин... Это в худшем случае. В лучшем — самолет взорвется... Смерть без мучений. Это мы знали. Но в самих нас где-то что-то «заело», что-то «сработало», выключив начисто свойственное человеку чувство самосохранения. Столько накипело, столько накопилось. Бить врага, бить! В его же собственной берлоге!..

В ту ночь мы знали, куда готовились лететь. Операция называлась «Берлинская». Мы должны взломать, разрушить укрепления, подавить противника внезапностью и мощью, чтобы дать возможность нашим наземным войскам ворваться в траншеи и на плечах ошеломленного врага проникнуть в глубь его обороны.

Одер. Отсюда и до самого Берлина — сплошной железобетон. Гряды окопов, укрепленные, опутанные проволокой, естественные рубежи: озера, реки, каналы, овраги. Каждый населенный пункт, каждый дом — это крепость, приспособленная к круговой обороне. И солдаты, солдаты, солдаты и пушки. И танки. И разная техника. И вот сюда-то нам нужно положить свои бомбы. Ах как жаль, что их всего тринадцать штук...

Мы летим на высоте шести тысяч метров. Нам отчаянно повезло: погода отличная! Горят предутренние звезды, и в кабину через открытую форточку врывается пряный запах весны. Все сейчас необычное. И радость какая-то охватывает душу. Войне конец! Конец войне! И ты остался жив. Это чудо какое-то! Это выигрыш по лотерее! Тебе просто выпал счастливый билет.

Рассвет начал наступать как-то внезапно. Сначала будто кто с классной доски стер тряпкой утренние звезды и вслед за тем брызнул в небо розоватой краской. Это засветилась пелена прозрачных облаков, висевших высоко над нами. И от их призрачного света появились блики на контурах крыльев нашего самолета.

А внизу ночь. Я взглянул на часы: ровно пять. И в ту же секунду земля под нами осветилась вспышками.

— Командир, началось! — торжествовал Краснюков.

— Пушки бьют! Дальнобойные!—закричал Алпетян.

— Вот дают! Вот дают! — восторгался Морунов.

А я молчал. Мне спазмой сдавило горло.

Орудия в невиданном количестве были расставлены рядами, почти по прямой вдоль фронта. Языки пламени, вылетающие из стволов, перебегали справа налево и

слева направо, и ощущение было такое, словно чьи-то большие руки нажимали пальцами на клавиши гигантского органа, исполняя гимн победы.

И впереди, где только что было темно и тихо, вздымались теперь вверх космы пламени и дыма. Сплошное кипение огня! Пушки били, били, били. Десятки тысяч стволов! Потрясающее зрелище!..

Цель все ближе. Мы должны отбомбиться чуть сзади, куда не достигает артиллерия, и там уже рвутся бомбы.

У нас посветлело, а внизу еще ночь. Поворачиваю голову, смотрю назад и вскрикиваю от невиданного зрелища: все небо словно в комариной туче! Летят бомбардировшики. Тысячи! И только сейчас замечаю, что мы идем, зажатые со всех сторон другими самолетами. Самолеты слева, самолеты справа, самолеты под нами и... самолет над нами! Он висит рядом, хоть рукой доставай, а под брюхом — бомбы!..

Оторопело смотрю на три двухсотпятидесятикилограммовые чушки с лоснящимися боками...

И все мы шли к одной цели, до которой осталось несколько минут полета. И я представил себе, как будут разгружаться висящие над нами самолеты, как будем разгружаться мы — на головы летящих под нами... И я понял тогда, что рано радовался по поводу «счастливого» билета: тираж еще не состоялся...

Щелчок в наушниках и голос Алпетяна:

— Товарищ командир! А посмотрите-ка, кто с нами слева идет!

Смотрю: ха! Чудеса в решете! Зажатый со всех сторон бомбардировщиками, впритык к нашему крылу летит фашистский истребитель. Летчик крутит головой: попал как кур в ощип! А слева от него стрелок-радист с Ил-4 с угрожающим видом вращает башню, нацеливая на фашистского летчика спаренные пулеметы.

У меня сердце в пятки: что он делает?! Разве можно стрелять? Он же в нас попадет!.. Грожу радисту кулаком. Радист смеется и опускает пулемет. Он и сам прекрасно знает, что стрелять нельзя. Фашистский летчик щерится в угодливой улыбке. Он понял ситуацию.

Кипение огня под нами, нам бросать свои бомбы...

— Бросаю! — кричит Краснюков, и в тот же миг мимо нас проносится черная осыпь фугасок...

Некоторое время мы летели на запад, потом осторожно свернули на юг и со снижением пошли к земле.

Слева сзади пламенный ад, и дым, и пыль до самого

неба, а в небе самолеты, и на земле еще видны сполохи орудий. Внезапно на переднем крае все затихает, и вдруг — что это?! Ослепительный всплеск бьет по глазам. С трудом доходит до сознания — прожектора! Их сотни полторы, но как-то странно они светят — вниз, по земле... И острая догадка, и восхищение талантом полководца: после ошеломляющего вала орудийного и бомбового огня — ослепительный свет по глазам...

В груди похолодело: сейчас, в эти секунды, наши солдаты с криком «ура!» идут в атаку. Сейчас, в эти секунды, гибнут тысячи людей... И мне стало стыдно за свою недавнюю радость. Подумаешь — выиграл жизнь по лотерее!.. Побывал бы ты там...

Впрочем, война еще не кончилась. Еще шли ожесточенные бои на подступах к Берлину. «Не сдавать Берлин русским! Лучше американцам!» — такова была установка Гитлера. Войска снимались с Западного фронта и направлялись на восточный. Но было поздно. Вся грандиозная военная машина, весь порыв советских солдат приобрели такую инерцию, что встречные фашистские войска обращались в прах.

А мы взлетали с раскисших аэродромов, чтобы громить эти части, переброшенные с запада. Мы громили порты: Штеттин, Грайфсвальд, Кольберг, Свинемюнде. При свете пожарищ топили бомбами транспорты с фашистскими войсками.

Наши войска добивали фашистов в логове, а мы собирались на Грайфсвальд. Город у Балтийского моря. Порт. Железобетонные укрепления. Их не берут артиллерийские снаряды. Нужны бомбы. Тяжелые.

Мы готовимся в ночь. Под моим самолетом висит длинная, как торпеда, тонновая бомба. Особая бомба, повышенной взрывчатой силы. Командир предупредил: «Там, на земле, будет выложена световая стрела, указывающая на объект. Бомбу надо положить в пятистах метрах от стрелы на северо-запад. И помните, — добавил он, — бомбить с высоты не ниже тысячи метров, иначе попадете в свою же взрывную волну. Ясно?»

Куда уж ясней. Взрывная волна — это сила. Может оторвать хвост у самолета или покорежить крылья.

Ночь была весенняя, ясная и лунная, и мы были неприятно удивлены, когда на высоте 600 метров появились облака. Нырнули под них. Летим. Переживаем. Неужто везти обратно эту чушку и бросать ее на пассив, где-нибудь в болото?! Обидно до слез.

— А может, рискнем?

— Рискнем, — согласился Краснюков.

Решаю. Сделаем так: я разгоню машину до предельной скорости, на что она способна, и, как только штурман сбросит бомбу, рывком швырну машину в облака. Глядишь — и будет около тысячи метров!

Подходим к цели. На земле полыхают пожары, и, выделяя линию фронта, передовые позиции угощают друг друга ливнем трассирующих пуль и снарядов.

Акватория порта вся забита кораблями, наверняка идет высадка фашистских войск, снятых с Западного фронта. А вот и стрела! Штурман открывает бомболюки и кидается к прицелу. Я даю полные обороты моторам. Скорость растет, но медленно, в кабине ветер, в лицо летят песчинки! Пора! Краснюков нажимает кнопку, самолет вздрагивает, и я поддергиваю штурвал на себя. Меня вдавливает в кресло. Земля с пожарами и взрывами проваливается в тартарары. Мы в облачной мути, и в этот миг — ослепительный всплеск. Нас жестоко толкает в бок, потом в спину, и я, почувствовав, что повис на ремнях, глянул за борт. И обомлел: там, где по всем правилам должна находиться земля, была... луна! Бездонное небо и — луна! Мы падали на луну!..

Это было так реально. Меня охватил ужас. Я ждал чего угодно, но только не этого. В этот миг я готов был с радостью грохнуться, разбиться в лепешку, но о свою, родную Землю, а вот падать на Луну?!.

Это продолжалось несколько секунд, но каких секунд! Потом луна скользнула под крыло, и мы снова оказались в облаках. Меня вдавило в кресло, и вот уже передо мной в тошнотворном вращении замелькали огни пожаров. Мы падали на Землю, и это было чудо как хорошо! Я вывел машину из пике. Я был счастлив. Задание выполнено, и мы... не упали на Луну!

Это был наш последний боевой полет. Наступило затишье, и все уже догадывались, почему: в воздухе витала радость победы...

И мы не очень удивились, когда однажды ночью были разбужены трескотней из пулеметов и громкими криками «ура!».

Я спросонья схватил автомат и выскочил во двор. Мимо, стреляя вверх из пистолетов, бежали летчики.

— Что случилось?

Кто-то налетел на меня, обнял, расцеловал:

— Победа, товарищ гвардии майор! Победа!

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Ермилович Тихомолов

РОМАНТИКА НЕБА

Повести

Переиздание

Рецензент — Г. Седов, член СП СССР

Редактор *Р. Москалева*
Художник *В. Елизаров*
Художественный редактор *А. Кива*
Технический редактор *Т. Смирнова*
Корректоры *Т. Красильникова, И. Виноградова*

ИБ № 3465

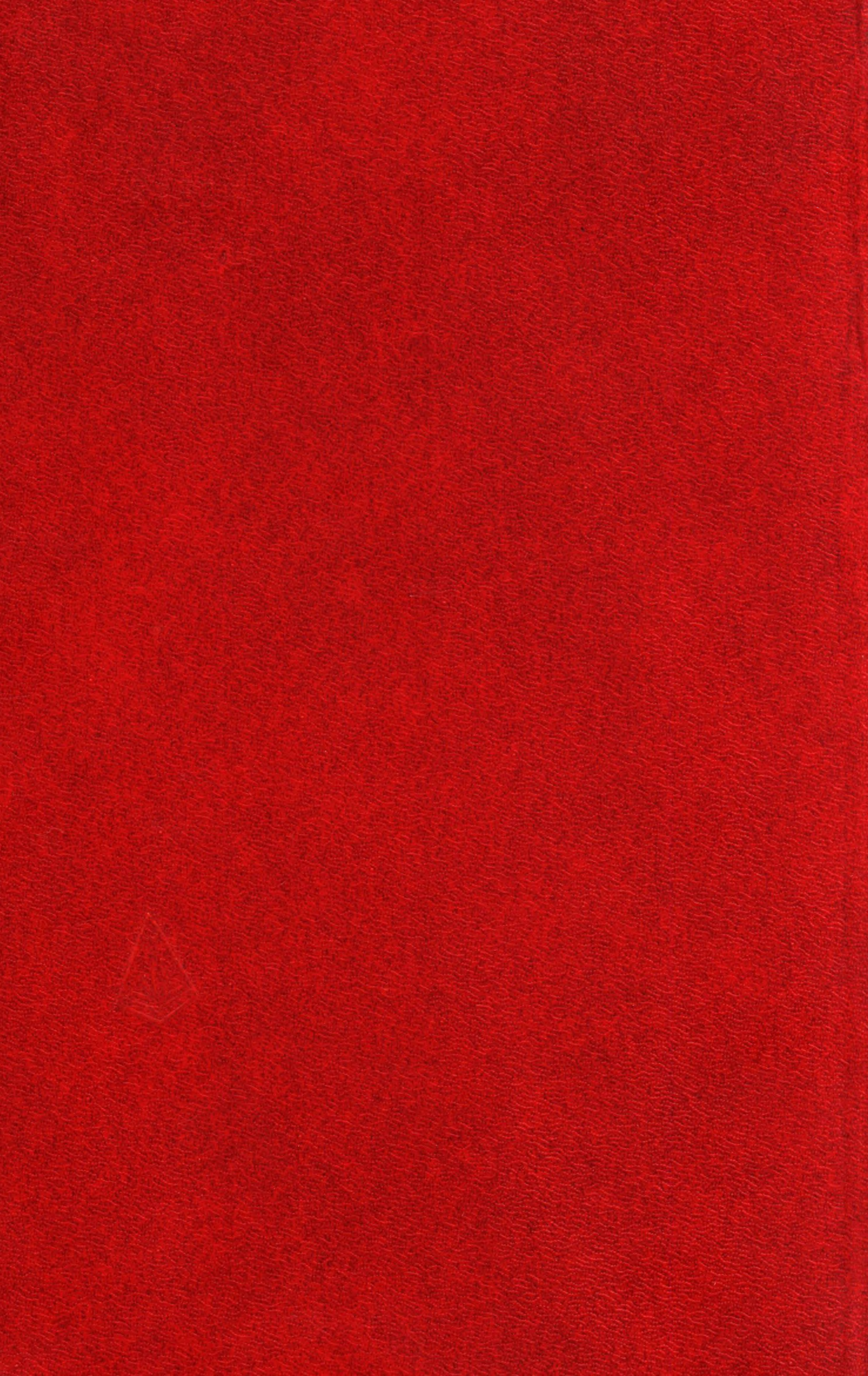
Подписано в печать с матриц 23.05.85. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 3. Школьная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр-отт. 31,08. Уч. изд. л. 35,48. Тираж 200000. Заказ № 1804. Цена 2 р. 50 к.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

Набрано и отматрицировано в типографии изд-ва «Таврида» Крымского Обкома КП Украины. Г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

ГП ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательств полиграфии и книжной торговли. Ташкент —700129, ул. Навои, 30.






БОРИС ТИХОМОЛОВ
РОМАНТИКА НЕБА